

# ПАМЯТИ

## Анатолия Яковсона



Сборник воспоминаний к 75-летию со дня рождения





С отзывами, предложениями и вопросами  
обращайтесь в M·Graphics Publishing:

[www.mgraphics-publishing.com](http://www.mgraphics-publishing.com)

[info@mgraphics-publishing.com](mailto:info@mgraphics-publishing.com)

Тел.: (781) 990-8778

# Памяти Анатолия Яковсона



Сборник воспоминаний  
к 75-летию со дня рождения

БОСТОН • 2010 • BOSTON

## Памяти Анатолия Якобсона

*Сборник воспоминаний к 75-летию со дня рождения*

Составители: Александр Зарецкий, Юлий Китаевич

## In Memory of Anatoly Yakobson

Compiled by Alexander Zaretsky and Yuli Kitaevich

Все материалы (за исключением специально упомянутых) опубликованы в авторской редакции,

ISBN 978-1-934881-31-6

Library of Congress Control Number: 2010924883

Copyright © 2010 by Authors

Copyright © 2010 by A. Zaretsky and Y. Kitaevich, compilation

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.



*Анатолий Якобсон*

Основатель, составитель и редактор

Мемориальной Сетевой Страницы

А. А. Якобсона — Василий Емельянов

Веб-сайт «Иерусалимская Антология», © 2010

Оформление обложки: П. Крайтман, © 2010

На задней обложке — портрет А. Якобсона, выполненный специально для данного сборника Виктором Кульбаком, © 2010

Корректоры Т. Золотарёва, Е. Румянцева.

Published by M•GRAPHICS PUBLISHING

[www.mgraphics-publishing.com](http://www.mgraphics-publishing.com)

[info@mgraphics-publishing.com](mailto:info@mgraphics-publishing.com)

При подготовке издания использован модуль расстановки переносов batov's hyphenator ([www.batov.ru](http://www.batov.ru))

Printed in the USA



## Содержание

<b>От составителей</b>	1
<b>Анатолий Гелескул</b> <i>На полях книги</i>	3
<b>Геннадий Кузовкин</b> <i>Биография А.А. Яковсона</i>	13

### IN MEMORIAM

<b>Майя Улановская</b> <i>Об Анатолии Яковсоне</i>	19
<b>Майя Улановская</b> <i>Письма Юне Вертман</i>	32
<b>Александр Яковсон</b> <i>Интервью Мемориальной Сетевой странице А. А. Яковсона (МСС)</i>	39
<b>Юна Вертман</b> <i>Странички о Толе</i>	67
<b>Лидия Чуковская</b> <i>Стихи памяти Анатолия Яковсона</i>	89
<b>Давид Самойлов</b> <i>Стихи памяти Анатолия Яковсона. Из подённых записей</i>	91
<b>Галина Медведева (Самойлова)</b> <i>Памяти Толи Яковсона</i>	99
<b>Мария Петровых</b> <i>Черновик письма. Дневник (фрагменты)</i>	100
<b>Анатолий Гелескул</b> <i>Русская поэзия была его пристанищем на Земле</i>	102
<b>Анатолий Гелескул</b> <i>Предисловие</i>	109
<b>Павел Литвинов</b> <i>Некролог</i>	111
<b>Павел Литвинов</b> <i>Интервью Мемориальной странице</i>	113

<b>Сергей Ковалев</b>	
<i>Извержение вулкана (из книги «Полет белой вороны»)</i>	124
<b>Людмила Алексеева</b>	
<i>Анатолий Якобсон был среди первых</i>	130
<b>Юлий Даниэль</b>	
<i>Заявление («Письмо Шафаревичу»)</i>	133
<b>Эдвард Клайн</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	137
<b>Питер Вирек</b>	
<i>Угроза русскому учёному. Письмо в редакцию «Нью-Йорк Таймс»</i>	146
<b>Владимр Фромер</b>	
<i>Он между нами жил...</i>	147
<b>Эли Люксембург</b>	
<i>Рядом с праведниками</i>	170
<b>Герман Фейн</b>	
<i>Памяти Толи Якобсона</i>	178
<b>Владимир Гершуни</b>	
<i>Не стало Толи Якобсона</i>	186
<b>Юрий Гастев</b>	
<i>Красив да умен...</i>	196
<b>Леонард Терновский</b>	
<i>Жертвенный огонь</i>	202
<b>Вера Прохорова</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	216
<b>Евгений Пастернак</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	230
<b>Сусанна Печуро</b>	
<i>Мой друг Толя Якобсон</i>	236
<b>Александр Тимофеевский</b>	
<i>Рассказ о Якобсоне. Интервью МСС</i>	242
<b>Владимир Гершович</b>	
<i>Якобсон в Израиле и в Москве</i>	259
<b>Григорий Люксембург</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	272
<b>Муза Ефремова</b>	
<i>Чуковские и Якобсон. К истории знакомства</i>	283
<b>Ирина Глинка</b>	
<i>Тошенька Якобсон. Глава из книги «Дальше — молчание»</i>	291

<b>Юлий Китаевич</b>	
<i>Из книги «Почти жизнь»</i>	298
<b>Игорь Губерман</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	301
<b>Юлий Ким</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	313
<b>Алина Ким</b>	
<i>«Детство за 101-м километром». Отрывок из воспоминаний</i>	323
<b>Елена Боннэр</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	325
<b>Леонид Лозовский</b>	
<i>Якутское лето 1972</i>	330
<b>Александр Черкасов</b>	
<i>Почва и судьба Анатолия Якобсона</i>	346
<b>Владимир Тольц</b>	
<i>Памяти Анатолия Якобсона</i>	353
<b>Татьяна Червонская</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	360
<b>Виктор Кульбак</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	370
<b>Галина Трухачева</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	377
<b>Ольга Рожанская</b>	
<i>Стихи памяти Анатолия Якобсона</i>	393
<b>Галина Габай</b>	
<i>Всего лишь один эпизод...</i>	395
<b>Линда Герштейн</b>	
<i>Об Анатолии Якобсоне</i>	398
<b>Григорий Свирский</b>	
<i>Гениальный исследователь русской литературы</i>	401
<b>Борис Дубин</b>	
<i>Конец Трагедии</i>	404
<b>Виктор Каган</b>	
<i>Анатолий Якобсон</i>	410
<b>Виктор Файнберг</b>	
<i>Интервью Мемориальной странице</i>	414
<b>Эфраим Вольф</b>	
<i>Памяти друга</i>	425



<b>Марк Харитонов</b> <i>Отрывок из очерка «Три еврея»</i>	426
<b>Александр Шаров</b> <i>Письмо Анатолию Якобсону</i>	429
<b>Наталья Григорьева (Гелина)</b> <i>«Анатольич» и «Юночка»</i>	432
<b>Лев Меламид</b> <i>Случай в Бельцах</i>	439
<b>Дина Каминская</b> <i>Из книги «Записки адвоката»</i>	440

## ВТОРАЯ ШКОЛА О ЯКОБСОНЕ

### Учителя

<b>Феликс Раскольников</b> <i>Я привел его во Вторую школу. Интервью Мемориальной странице</i>	445
<b>Владимир Овчинников</b> <i>Интервью Мемориальной странице</i>	452
<b>Герман Фейн</b> <i>Якобсон и есть Вторая школа</i>	456
<b>Наталья Тугова</b> <i>Неоконченный разговор</i>	457
<b>Татьяна Ошанина-Успенская</b> <i>Три фрагмента</i>	461
<b>Людмила Лобода-Ефремова</b> <i>Об Анатолии Якобсоне</i>	465

### Ученики

<b>Александр Крауз</b> <i>Записки о Второй школе</i>	471
<b>Наташа Симонович</b> <i>О такой школе</i>	473
<b>Александр Колчинский</b> <i>Групповой портрет...</i>	475
<b>Регина Турецкая</b> <i>Тридцатилетний перерыв</i>	480
<b>Анатолий Сивцов</b> <i>Заметки</i>	481

<b>Светлана Ганелина</b> <i>А еще Вторая школа!</i>	483
<b>Виктор Тумаркин</b> <i>Вспоминая школу</i>	486
<b>Сергей Недоспасов</b> <i>Случай на платформе</i>	491
<b>Юра Збарский (Георгий Ефремов)</b> <i>Веха</i>	495
<b>Николай Климонтович</b> <i>И питается не щами...</i>	504
<b>Владимир Рок</b> <i>Уроки литературы и истории</i>	520
<b>Александр Даниэль</b> <i>Из истории правозащитного движения. А.А. Якобсон</i>	534
<b>Николай Байтов</b> <i>А.А. Якобсон (Мои детские впечатления)</i>	536
<b>Александр Зарецкий</b> <i>Открылась бездна...</i>	540
<b>Владимир Шаров</b> <i>Якобсон и Вторая школа</i>	556
<b>Алексей Семёнов</b> <i>С большой буквы...</i>	560
<b>Исаак Розовский</b> <i>Интервью Мемориальной странице</i>	562
<b>М. Кларин, Г. Лубяницкий, А. Сивцов, С. Тиходеев</b> <i>Афоризмы А.А. Якобсона из сборника «Крупницы золота»</i>	572
<b>«Хроника Текущих событий №27»</b> <i>Конец Второй школы</i>	577
<b>Послесловие</b>	579
<b>Фотографии</b>	581

*Издание сборника осуществлено на средства,  
собранные друзьями А.А. Яковсона*



## От составителей

Уважаемые читатели!

В этот сборник, приуроченный к 75-летию со дня рождения Анатолия Александровича Яковсона (30 апреля 1935 г., Москва — 28 сентября 1978 г., Иерусалим), вошли воспоминания и посвящённые ему стихи 78 авторов — его близких, друзей и учеников. Многие из вошедшего в сборник было ранее опубликовано на Мемориальной сетевой странице Анатолия Яковсона (МСС) <http://www.antho.net/library/yacobson/index.html>. Новые материалы сборника в ближайшее время пополнят имеющиеся на МСС.

Мемориальная страница родилась 2 ноября 2003 г. Её основателем, составителем и редактором был Василий Евгеньевич Емельянов. Компьютерный веб-дизайн разработала Нехама Полонски. Мемориальную страницу «приютил» на интернет-сайте «Иерусалимской антологии» главный редактор «Иерусалимского журнала» Игорь Бяльский.

Первым материалом МСС был текст книги Анатолия Яковсона «Конец трагедии», куда, кроме главной работы, давшей название всей книге, вошли статьи Яковсона «О романтической идеологии» и «Царственное слово». Сама книга появилась в 1973 г., ещё до отъезда Яковсона в Израиль, и он успел получить её в Москве. Книга впервые была издана Максом Хэйвордом и Эдвардом Клайном в некоммерческом «Издательстве имени Чехова» (Chekhov Publishing Corporation) в г. Нью-Йорке. Основная заслуга в публикации «Конца трагедии» принадлежит Максиму Хэйворду (1924–1979 гг.), который был главным редактором издательства, переводчиком и исследователем русской литературы.

МСС пополнилась материалами вышедшей в 1992 г. в издательстве «Весть» (Георгий и Муза Ефремовы, Вильнюс–Москва) книги «Почва и судьба». Эта книга была составлена Майей Улановской и Владимиром Фромером при участии Анатолия Гелескула, Музы и Георгия Ефремовых, и Владимира Гершовича. В книгу «Почва и судьба» вошли и другие литературоведческие работы Яковсона, а также публицистические работы, избранные письма и дневники, поэтические переводы и воспоминания о нём 13 авторов. Подробные примечания В. Гершовича являются летописью правозащитного движения в СССР и имеют важное самостоятельное значение. Издательством «Весть» впервые в России была также издана книга «Конец трагедии».

Воспоминания учеников и преподавателей Второй московской школы, где Яковсон был учителем (1965–1968 гг.), вошли в изданную в Москве книгу «Записки о Второй школе». Эту книгу о любимых учителях

собрали Александр Крауз, Георгий Ефремов и Александр Ковальджи. «Записки о Второй школе» стали третьим важным материалом МСС.

Идея собрать и сохранить материалы об А. Яacobсоне принадлежит его близкой подруге — Юне Давидовне Вертман (1931–1983 гг.). После смерти Юны её муж Василий Емельянов, переехав в Израиль, создал Мемориальную страницу. Он был бессменным редактором МСС до своей кончины 5 марта 2008 г. Помогавший ему Александр Зарецкий, в прошлом ученик Яacobсона, продолжает собирать материалы и руководит МСС.

С появлением МСС творчество «поэта литературоведения», переводчика на русский язык иностранных поэтов, активного участника нравственного сопротивления тоталитарному режиму в СССР, редактора «Хроники Текущих Событий» и выдающегося учителя Анатолия Яacobсона стало доступным тысячам читателей.

Главная заслуга в сохранении памяти об Анатолии Яacobсоне принадлежит Юне Давидовне Вертман и Василию Евгеньевичу Емельянову.

Благодарим всех, кто помогал в создании МСС и настоящего сборника, и в первую очередь тех, кто ниже поименован в алфавитном порядке:

*С. Айнбиндер (Иерусалим), И. Бяльский (Иерусалим), В. Гершович (Иерусалим), А. Грибанов (Бостон), Т. Громова (Москва), И. Губерман (Иерусалим), Н. и Э. Думанис (Рочестер), Г. Ефремов (Литва), И. Зарецкий (Бостон), Т. Золотарёва (Сиэтл), Э. Клайн (Нью-Йорк), Б. Коваль (Москва), В. Кульбак (Мальта), П. Литвинов (Нью-Йорк), А. Макаров (Москва), М. Минаев (Бостон), И. Островская (Москва), И. Пастернак (Оксфорд), Н. Полонски (Иерусалим), А. Ракитянская (Бостон), Е. Румянцева (Сиэтл), Г. Суперфин (Бремен), В. Тольц (Прага), М. Улановская (Иерусалим), Е. Шиханович (Москва), Т. Янкелевич (Бостон).*

Свои воспоминания об Анатолии Яacobсоне Феликс Раскольников (1930–2008 гг.) закончил словами: «...было бы хорошо в случае, если будет издаваться книга воспоминаний, сделать cross-reference, чтобы не было ошибок». Всё произошло, как было им предсказано: книга у вас в руках, и в ней есть cross-reference. Что же до ошибок, то мы, принося за них извинения, просим сообщить о них в МСС. Просим также отправлять все замечания, дополнения и предложения в гостевую книгу МСС по адресу: <http://www.antho.net/library/yacobson/comments.html>

*Александр Зарецкий (Бостон)  
Юлий Китаевич (Нью-Йорк)*

14 марта 2010

**Анатолий Гелескул**

## **На полях книги<sup>1</sup>**

*Человек не выявляет себя в истории,  
он пробивается сквозь нее.*

*Р. Тагор*

Способность думать путают с умением рассуждать. Одно другого не исключает, но умение — дело наживное, а думать — это дар, равный любому творческому дару, и такой же редкий. И, как любой творческий дар, это источник радостей и мучений. Юна Вертман, знавшая Якобсона совсем еще молодым, вспоминала: «Периоды интеллектуального спада, когда не думалось и не писалось, он и в молодости воспринимал как катастрофу».<sup>2</sup> Это свидетельство близкого друга, менее близким памятной «периоды подъема». Якобсон даже в застолье не любил беспредметных разговоров и обычно задавал тон, разговор разом укрупнялся и переходил в монолог. Могло показаться, что он выговаривается на людях, если бы не одна особенность. Его напористость не раздражала, ей не противились — и не только потому, что энергия мысли вообще заражает и подчиняет. Нет, сам предмет разговора, часто случайный, неожиданно становился важным, затрагивающим каждого. Что-то подспудное и неотступное просвечивало в накате красноречия, как будто Якобсон в очередной раз, пользуясь возможностью, выверял главные для себя мысли. В сущности, его спичи были свежими мазками непрерывно создаваемого полотна, и выговориться ему было необходимо, как необходимо художнику отступить и взглянуть с расстояния. Попал в цель или промахнулся? По разным причинам дневники в наше время — занятие редкое. Якобсон стал вести дневник лишь в последние годы жизни, утратив собеседников.

Вот почему все, что думалось и писалось, сохраняет тембр его голоса. Его тексты звучат, и даже в такой литературно отделанной вещи, как «Конец трагедии»,<sup>3</sup> это ощутимо физически. Все наговоренное Якобсоном, выплеснутое неостывшим, растворилось в воздухе (и значит — не исчезло бесследно). Все написанное (или записанное другими) становится, наконец, доступным прочтению. И время, наверно, задумается над общим смыслом сказанного.

«Центральная проблема — человек в истории» — эту порядком за-тасканную фразу, извлеченную из статьи советского критика, Якобсон счел «очень умной» («Конец трагедии»). И тут же пояснил, почему: «Эту



проблему решить окончательно нельзя, она решается непрерывно всей жизнью и всем искусством, и она будет решаться, пока жив род людской... Блок — один из «решателей» этой проблемы». Якобсон тоже. Он решал ее всей жизнью и всю жизнь. Это его сквозная тема, начиная с полудетской поэмы «Человек и век» и кончая поздними, незадолго до гибели написанными строчками: «...Формула Кестлера: «Человек — ошибка эволюции». Порой с этим трудно не согласиться. Но иногда хочется все же поспорить несколько с этой самой эволюцией, немного исправить — хоть в собственном лице — ее (увы, весьма возможную!) ошибку. И вдруг начинаешь уповать на неокончательную отпетость людской породы» (Якобсон вполне разделял блоковское убеждение — когда о нравственности говорят торжественно, с нею не все в порядке).

Менее всего рационалист, он верил в разум и не доверял его вердиктам. Кому-то это как с гуся вода, но он действительно уважал разум, ценил его мощь и от мышления, своего в первую очередь, требовал четкости и честности. И для него такое противоречие было достаточно трудным; свидетельство — те страницы «Романтической идеологии», где он пытается разрешить конфликт. Исходная посылка: «Идеи... носят на себе в момент рождения сильнейший отпечаток личности творца», но те же идеи, «отчуждаясь, сплошь и рядом превращаются в собственную противоположность... идеи в чужих руках, в чужих мозгах ополчаются на своих первоносителей». Другими словами, творческий акт не может быть злонамеренным — зло в нетворческом присвоении, в корыстном использовании духовных усилий. Рассуждение привлекает не доказательностью («рожденная» идея может быть сколь угодно бредовой), а безотчетной верой в изначальность добра. И здесь Якобсон честно прерывает себя: «Так бывает: идея отчуждается, не переходя по наследству, а в сознании одного человека».

Это Блок мог сказать со спокойным отчаянием:

*Творческий разум осилил, убил.*

Но в Якобсоне все бунтует при мысли, что дух неотвратимо вязнет в косной материи. Он ищет объяснений: «Во всех самоотчуждаемых идеях всегда есть какие-то объективные задатки самоотчуждения, есть какая-то червоточина, за которую и хватаются смердяковы». И вот доказательство от обратного, желанный знак «неокончательной отпетости людской породы» — непротивление злу насилием: «Среди присяжных толстовцев было немало позеров и святош. Но среди них не было ни одного палача, ни одного убийцы. И не могло быть!.. В этом направлении идея неотчуждаема».

Любовь к Толстому не требует объяснений, и отвращение к насилию тоже. Но ведь непротивление и всепрощение — не толстовская идея, и на ней иной «отпечаток личности» — ответ Тайной Вечери

и тень Голгофы. Как говорили тогда, обратимся к Писанию. Предсмертное застолье стихло, допита круговая чаша, тринадцать теней выходят в пасхальную ночь. И вот последнее наставление ученикам: «У кого нет, продай одежду свою и купи меч... Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно».<sup>4</sup>

Что говорить, первые христиане — не нынешние церковники. Но вот первый из первых — Петр, у которого недоставало сил убить, защищая Учителя («имея меч, извлек его и ударил раба первосвященника, и отсек ему правое ухо»,<sup>5</sup> но достало стать палачом (сказал Сапфире: «Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут»)).<sup>6</sup>

И все же, как бы преувеличенно ни звучало, Якобсон тысячу раз прав: «Если мы еще не одичали вконец, то это потому, что духовная атмосфера, нравственный климат нашей эпохи созданы не только фюре-рами всякого рода, но в большей мере Львом Николаевичем Толстым».

Русский интеллигент сегодня, как и век назад, обречен выбирать между Толстым и Достоевским — так он устроен. Откликаться обоим с одинаковой силой способны лишь редкие натуры, редкой душевной чуткости, либо вовсе ее лишённые, всеядные от собственной дряблости. И дело здесь в естественном отклике, в резонансе, а не в выборе двух дорог; выбор, думается, мало что меняет. В этом смысле Якобсон был «толстовцем», и, подобно Толстому, отвергал насилие инстинктивно, не из боязни насилия, свойственной слабым, но из боязни, что сам окажется способным на него. Толстого он любил по-настоящему — благодарно. Недаром это имя так часто возникает в его прощальном дневнике: «...кажется, что Толстой — зол, безжалостен. Ко мне он добр. Добра сама материя его прозы. Добра, здорова и животворна, как ни у кого, кроме Пушкина». И еще о Толстом: «Гармония: здоровое страдание, здоровая боль». Пушкин и Толстой с наибольшей силой воплощали желанный для него образ человека: «Встречаются люди (не слишком часто!), обладающие особым даром жизни, а именно: ее полнотой. Другими словами, это — то проявление жизни, где ее естественное единство и цельность преобладают над ее же противоречиями... Это страстная гармония». Обладал ли он сам такой полнотой? Для невнимательного взгляда — жизнь в нем была ключом, для участливого — очевидной становилась неприкаянность, несчастливость и какая-то беззащитная искренность. Все в нем было широко, размашисто, бурно, от него дышало жаром, и другие рядом с ним выглядели какими-то прохладными, малокровными. Другие казались застегнутыми, он — распахнутым настезь. Но это не делало его легким и не облегчало ему жизнь, да и просто — общение. О близком человеке, соратнице по правозащитному движению, он сказал, словно глядя в зеркало: «Она как-то задыхалась от собственной огромной — внутренней — нервной и духовной деятельности. И создавала вокруг

себя напряжение, как бы поле. И с ней бывало тяжело. Но я же и сам тяжелый человек, я знаю».

Первейшим его душевным движением было доверие — он начинался с доверчивости, безотчетной, пылкой, мальчишеской. У нашего поколения, в сущности, не было детства, зато юность — долгая, затяжная; должно быть, и Якобсон был моложе, чем казался. Судьба его словно предсказана Бабелем: «... доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали».<sup>7</sup> Любили, но обманывали. История с одним его другом, который оказался давним сотрудником органов и вполне успешным провокатором, — это особый случай, крайний. Речь о другом. Якобсон не умел приспособливаться, и неизбежность обмана была в том, что он предлагал больше, чем просили, и получал меньше, чем нуждался.

Странно, но от его хлебосольной, шумной и щедрой, застольной природы веяло необъяснимой бездомностью, бродяжьей тоской проселков, чем-то смутным, прощальным, уходящим в непогоду. Быть может, и вправду его приютом на земле была русская поэзия. Его слова, отнесенные к Блоку: «Трагическая раздвоенность, боль разрыва есть тоска по гармонии» — звучат признанием. Анатолий Якобсон был натурой трагической — и в его понимании трагизма, и в самом обыденном.

И еще одно. Он хорошо знал силу слепых порывов, не рад был своей необузданности и лучше многих понимал, что человек неустойчив и жаждет опоры, твердой земли под ногами, а не услужливых качелей (или — «как бы это выразиться поприличнее — некой диалектики».<sup>8</sup>

Якобсон не терзался религиозными исканиями — христианином себя не считал, иудаизм его не интересовал (по крайней мере, до отъезда), буддизм отталкивал (проповедью безучастия). Правда, искушенные христиане полагали, что только неведение касательно самого себя препятствует ему креститься. Но, думаю, ближе к истине были те грузчики-арабы на израильской мельнице, что таскали с ним мешки и, приглядываясь к странному напарнику, называли его «божьем человеком», не вдаваясь в конфессиональные тонкости.

Ставя во главу угла жизнь — «бесконечное достоинство отдельной души» — он с горечью убеждался, что идеи, рожденные жизнью, легко оборачиваются против нее. Единственной привлекательной для него идеологией был анархизм, но как историк Якобсон знал его уголовные ипостаси, а «великая идея безвластия» витала где-то в прекрасном далеке, по соседству с царством Божиим, и оставалась «или недостижимым для человечества идеалом, или вершиной, куда ведет длинный путь культурного развития» («Конец трагедии»).

Знаменательно здесь будничное «культурный» вместо, скажем, неопределенно-возвышенного «духовный». Культура — невзрачное слово, мертвенное и притом чужое, но другого не придумано, и остается

брать его как условный знак, подразумевающий не оперные театры и картинные галереи, а неустанное, муравьиное и самое главное человеческое дело, которое переживает людей и народы и единственное дает смысл нашим недолгим судьбам. Культура — это «рост мира» (Блок). Говорят, что дети, довольно долго, до трех лет, не различают цвета. Культура — не умение читать и даже не книги и симфонии, но то, что входит в состав крови, становится нравственным инстинктом и позволяет отличать белое от черного. А отличать надо быстро и безошибочно, потому что жизнь не отводит на это лишнего времени.

«Стройте дом невидимый» — эти слова двадцативековой давности были напоминанием. Задолго до них началось строительство, и строили всем миром, как строят и по сей день. Кто кладет кирпичи, кто крадет, но участвуют все, потому что культура — залог жизни, ее инстинкт самосохранения. Это знают даже троглодиты, вымирающие в джунглях Амазонки. Наш век обожествил технику, но техника — лишь инструмент, оружие. Ножом можно резать хлеб, а можно и горло. Техника — мутант культуры, ее побочный продукт, и главное, что роднит ее с культурой — это преодоление пространства и времени.

Для Яacobсона, в отличие от идей — произвольной схемы, прилагаемой к жизни, — культура неотчуждаема («она обладает такой же структурой, как жизнь»). Это «живая преемственность человеческих связей... непрерывная цепь завещаний и исполнений». «Культура, — заключает он, — «как и жизнь, есть достоверность, есть правда» («Конец трагедии»). Хочется добавить: это и свобода воли. Культура, ставя перед выбором, оставляет человека наедине с собой. Искусство не может, не умеет сгонять людей в стадо. Это умеет антикультура, для того она и украшает себя знаками отличия — соц, поп — наподобие армейских «штаб», «лейб» и «унтер».

Невзрачное слово «культура» было для Яacobсона решающим в его споре с историей и главным свидетельством в пользу человека. В сущности, лишь об этом он и писал — исходя из той культуры, к которой принадлежал, в которую верил и которой не уставал гордиться: «Во всей русской культуре сердце билось одно: она была милосердна, была великодушна — и в этом ее монолитность, в этом ее мощь, в этом она превосходила культуру Запада... Жестокие идеи были органически чужды ей». Вот почему он не раз и не два повторяет как заклинание слова Блока: «Культуру убить нельзя».

Блоковское «нельзя» означало «невозможно, неосуществимо». Сегодня вряд ли у кого осталась подобная уверенность. Возможно все, и сегодня «нельзя» звучит как «не надо», обращенное то ли к убийцам, то ли к самоубийцам. Смертоносная техника, смертоносная экология — реальности неоспоримые. Но жизни противостоит не смерть, а нечто худшее — вырождение.

Культура, увы, не скатерть-самобранка. Это вечная пустыня с редкими оазисами и долгими караванными дорогами от колодца к колодцу. Минуло время, когда Анатолий Якобсон мерил эти меченые костями дороги — и снова, уже без него, бредем мы в поисках воды. Одичание — выражаясь изысканно, процесс спонтанный. Оно наступает, как сыпучие пески.

В 68-м году, в возрасте Христа, Якобсон шагнул навстречу судьбе. Годом раньше в своей школе он выступил с лекцией о романтической идеологии<sup>9</sup> и, как вспоминает Ю. Вертман, накануне страшно волновался: «Боюсь, вдруг что-нибудь сорвется. Мне обязательно надо проговорить то, что я задумал, — это сейчас для меня важнее всего». В это «все» входило и прощание со школой. Темы той его давней лекции сейчас мусолятся с базарной бойкостью. Тогда это прозвучало впервые, и разом положило конец учительству Якобсона.

Не для него одного 68-й год был переломным. Произошло вторжение в Чехословакию и засквозило сибирским холодком. «Не слышны в стране даже шорохи» — пели тогда на мотив «Подмосковных вечеров».

«Достоинство человека, — писал Якобсон, — не в том, чтобы подчиниться «исторической необходимости», если эта необходимость враждебна человеку, а как раз наоборот... Лучше дать ей проложить себе дорогу через твой труп, чем помогать (участием или даже безучастностью) прокладывать дорогу через трупы других». После ареста в 68-м году Натальи Горбаневской Якобсон возглавил подпольный бюллетень «Хроника текущих событий».<sup>10</sup> Это был вызов молчанию. Якобсон не раз говорил, что преступления тем безнаказанней, чем они беззвучней.

Он и подпольщиком оказался талантливым: четыре с лишним года могущественнейшая в мире тайная полиция щелкала зубами, выслеживая «Хронику», и не выследила. Думаю, и в этом отчетливо сказалась скрытая, по крайней мере, не самая явная, черта его природы — внутренняя собранность. Она не бросалась в глаза — размашистые краски как бы скрадывали твердый рисунок личности. Он вообще любил четкость, логику и даже в обыденной речи был афористичен. Иные афоризмы, можно сказать, вошли в историю: однажды, встретив на вечернем Арбате отставного Молотова, он участливо осведомился: «Как поживает твой друг Риббентроп?»

Кстати сказать, Якобсону очень по душе было «золотое правило» Георга Лихтенберга: «Судить о человеке не по его убеждениям, а по тому, что эти убеждения из него делают». В дневнике он сформулировал один вариант этого правила: «Не судить людей (исключение — нелюди)».

Внутренняя собранность Якобсона проявлялась в существенном, а в мелочах не раз подводила его, и порой серьезно. Закончив «Конец трагедии», он забыл авоську с рукописью то ли на продуктовом, то ли на винном прилавке Военторга.<sup>11</sup> Когда спохватился, оказалась, что ру-

копись уже проследовала к заведующей отделом, от нее — к директору, а из рук не менее любознательного директора — на Лубянку. Впрочем, до этой гавани доплыл не единственный экземпляр, поскольку Якобсон отослал рукопись в два или три журнала.<sup>12</sup> Как бы то ни было, его спешно изгнали из профкома работников культуры и тем заменили гражданский статус литератора на тунеядца.

В том же 68-м году он начал много и серьезно переводить<sup>13</sup> (переводил и прежде, но силы и время у него, учителя по призванию, отбирала школа). Эту сторону его жизни трудно обойти молчанием.

Себя как переводчика он недооценивал и, боюсь, не слишком ценил. Сколько помню, чужие работы занимали его больше своих — там он находил искру божью, у себя же не находил либо сомневался. Было в этом душевное бескорыстие, которое вообще покоряло в нем с первой же встречи; была, конечно, и присущая лишь одаренности неуверенность. И была особенность, знак личности. Тогда у литераторов, тем паче молодых, в моде было гениальничать — Якобсона же от самоуверенности передергивало. Да и много позже, когда его приняли в Европейский ПЕН-клуб, он комментировал это событие, словно оправдываясь:

— По уставу членом может быть любой способный и честный литератор. Я не бездарен и уж тем более не бесчестен.

С бездарностью он бы еще смирился.

Однажды, заговорив о переводческом семинаре, куда ходил не один год, он сказал:

— Меня научили главному: «Пиши как можешь — переводы лучше, чем можешь».

Учителя у него и вправду были на зависть — Мария Петровых и Давид Самойлов. Но формула наверняка принадлежала ему самому. Стоит задуматься, кого он переводил. Стихи, оплаченные жизнью, — он и принимал их в себя, как чужую, вверенную ему жизнь. Обходиться с ней «хуже, чем можешь» полагал бесчестным.

Даже накануне отъезда он переводил Петрарку — последнее, что переводил на родине, без малейшей надежды напечатать, и продолжал переводить вне ее, тоже без малейшей надежды. Его отношения со словом были любовью, а любовь «долго терпит и никогда не перестает».<sup>14</sup>

А ведь было уже не до переводов. Осенью 72-го года начались допросы. Показания, данные на Якобсона, были скудными ввиду продуманной им конспирации, а сам Якобсон на заверения следователя: «Тюрьма по вам плачет!» — отвечал: «Пусть поплачет». («Я сперва хотел ему сказать «Пускай она поплачет, ей ничего не значит», но он же не знает Лермонтова»). К этому времени уже практиковалось — в случае недостатка или отсутствия улики — «приглашение к отъезду». Кроме того, свидетелей по делу просили «передать своим», что если очередной номер «Хроники» выйдет, Якобсона посадят, и скорее всего в психушку.

«Свои» собрались и в присутствии Якобсона, лишённого права голоса, постановили прекратить выпуск. Это стало одной из причин отъезда. Якобсон спасал сына, семью, но вместе с тем его отъезд развязывал руки товарищам. Сам он ни минуты не заблуждался относительно своего решения, и на вопросы доброхотов, почему он едет в Израиль, а не туда-то или туда-то (адреса варьировались), где ему будет лучше, сухо отвечал: «Потому и еду».

Рассуждения вроде того, что Якобсон любил вымышленную Россию, которой нет, не было и тем более не будет, что он жил не в России, а в русской культуре, и прочие досужие мысли в том же роде (а таковые высказывались) — это чепуха на постном масле. Якобсон жил в той России, которую знал с рождения и любил до гроба, нерассуждающей, телесной любовью. Любил ее воздух, говор, лица, всю ее безалаберную ширь и жилой уют, и ее странную, нерасчетливую и непредсказуемую судьбу. И не была эта любовь головной, как не была и слепой — потому и обошлась ему дорого. «Думать легче, чем любить» — сказал испанский философ.

Была, правда, тень отстраненности, незримая черта, которую Якобсон не переходил. В разговоры о «безднах русской души» и «мерзостях русской жизни» он не вступал убежденно: «Считаю, что русских вправе ругать только русские». Подразумевалось, что это относится и ко всем остальным, будь то евреи или турки. И, кстати, о евреях доводилось слышать от него нелестные вещи. Об «остальных» он вообще высказывался редко, обычно уважительно, но вскользь, как об иностранцах. Родным было русское, а все иное могло казаться лучше, но не становилось дороже. Сергей Довлатов сказал об эмиграции: «Люди меняют одни печали на другие, только и всего». Честные и чистые слова. Но подобный грустный стоицизм Якобсону был чужд.

В его письме Юлию Даниэлю сказано все.

Дневниковые записи нестерпимы, будто скрытая боль: «Люблю Израиль. Намного ли больше люблю Россию? Да, намного. Израиль люблю, как жизнь, т. е. не так уж сильно. Россию люблю несравненно сильнее жизни. Там, там кости моих людей» — или нескрываемая: «... повторяющийся, неотвязный сон про Россию, что вот я в последний момент не уезжаю, извернулся, переиграл; немислимая радость («я самый счастливый человек в мире») — и кошмар пробуждения».

И последняя запись:

*«Героизм души — жить, героизм тела — умереть».* (Цветаева)

Книгу, в которой Якобсону удалось воплотить себя, он назвал «Конец трагедии». Невольно вспоминается пророческий страх Цветаевой: «Написанное сбывается».



Яacobсон пишет о Блоке: «...кончилась его трагедия: двойственное отношение к жизни («любовь-ненависть») сменилось безразличием к ней». И после пристальных прочтений, жадного вслушивания в обертотны, после трудного спора с поэтом, а не только с его душеприказчиками, после долгого вживания, вхождения в его судьбу автор и сам как бы застывает перед внезапно открывшимся целым: «Мы, зрители трагедии, испытываем чувство катарсиса от всей трагедии с начала до конца». Это главное. Яacobсон не останавливается на полуправде, и вот почему Блок в его книге предстает не погибающим, а побеждающим.

Пора осознать раз и навсегда, что мартиролог русской литературы — не списки жертв, но имена героев. Любить — по-русски — жалеть; кого любят — жалеют. Это понятно, это по-человечески, и не должно быть иначе. По умершим плачут — это дальние могут гордиться, а близкие — те горюют, и разговоры о героизме для них не утешение. И все же героев больше, чем кажется, только не всегда они в доспехах и редко бывают триумфаторами.

Судьба Анатолия Яacobсона трагична, и понять ее надо верно. В понятии «трагический герой» нельзя переставлять ударения: трагический — лишь определение и само по себе предполагает героическое начало.

Наверно, глубже других это сознавал Гегель, которого Яacobсон вообще-то недолюбливал и, быть может, не столько за философскую отмычку в форме диалектики, сколько за философское прекраснодушие и не лишенный самодовольства оптимизм. В изложении кратком и огрубленном мысли Гегеля сводятся к тому, что трагический герой идет навстречу судьбе, не уклоняясь, и падает не под ударом, а вместе с ним. Падая, он ломает занесенный меч. Вот что следует помнить. Гибелью он умаляет смерть.

И не его вина, что по телам павших идут мародеры.

- <sup>1</sup> Предисловие к сборнику «Почва и судьба». Вильнюс-Москва, 1992.
- <sup>2</sup> Юна Вертман. «Странички о Толе». — «Почва и судьба», Вильнюс-Москва, Изд-во «Весть», 1992, с. 305. Журнал «22», 2003, № 129 (прим. В. Емельянова).
- <sup>3</sup> Анатолий Яacobсон. «Конец трагедии». Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1973. Переиздание в России: Вильнюс-Москва, Издательство «Весть», 1992 (прим. В. Емельянова).
- <sup>4</sup> Евангелие от Луки, 22. (прим. В. Емельянова)
- <sup>5</sup> Там же. (прим. В. Емельянова)
- <sup>6</sup> Супружеская чета, Анания и Сапфира, продав имущество, утаили от христианской общины часть денег и, призванные поочередно на допрос к Петру, «пали бездыханными у ног его» (Деяния апостолов, 5) (прим. А. Гелескула).
- <sup>7</sup> И. Э. Бабель. «История моей голубятни» (прим. А. Гелескула).
- <sup>8</sup> «С помощью этой самой диалектики было доказано, что правда, совесть, добро — вещи сугубо относительные. Была выявлена условность



любви — и тем самым утверждена безусловность ненависти. И само собой вышло, что насилие — повивальная бабка истории, оно еще (по совместительству) ее, истории, локомотив. И все невдомек нам, что хоть в добре да в правде и есть нечто относительное, условное, но то безотносительное, безусловное, что в них есть, — бесконечно важней» («Конец трагедии») (прим. А. Гелескула).

- <sup>9</sup> Лекция «Из поэзии 20-х годов» была прочитана 9 марта 1968 года (прим. В. Емельянова).
- <sup>10</sup> Это общеизвестно. Но вряд ли известно, что Якобсон был редактором, а по сути — соавтором ряда книг, ходивших в рукописи и позже изданных на Западе. Свидетельства пережитого, эти книги, написанные бывшими (и будущими) узниками, известностью обязаны мужеству и тяжкому опыту авторов, а Якобсону — литературным тактом и выразительностью. Я свидетель его работы (по крайней мере, над двумя такими книгами) и думаю, что хотя бы упомянуть о ней следует. (прим. А. Гелескула) По-видимому, речь идет о книгах «Мои показания» А. Марченко и «Полдень» Н. Горбаневской (прим. В. Емельянова).
- <sup>11</sup> Ошибка А. Гелескула: авоську с рукописью «Конец Трагедии» на прилавке Военторга забыла Майя Улановская. (прим. В. Емельянова).
- <sup>12</sup> Отнюдь не из авторского самообольщения. Дело в том, что согласно уголовной практике тогдашних судебно-литературных процессов уклонение автора от попытки напечатать заведомо непечатное считалось отягощающим вину обстоятельством. Сейчас уже мало кто помнит эти юридические нюансы (прим. А. Гелескула).
- <sup>13</sup> Преимущественно с испанского, и по причинам не только творческим. Не так-то легко было Якобсону получить работу. Переводы ему заказывал В. С. Столбов. Мастер перевода, подаривший нам, в частности, «Сто лет одиночества», он был человеком редкой цельности, и то, что иным фрондерам казалось рискованным, для него было естественным. Кстати, он единственный тогда давал работу еще одному отверженному — Иосифу Бродскому (прим. А. Гелескула).
- <sup>14</sup> 1 Послание Коринфянам, 13 (прим. В. Емельянова).

*Геннадий Кузовкин*

**Анатолий Александрович ЯКОБСОН**  
**(30.04.1935, Москва — 28.09.1978, Иерусалим)\***

*Педагог, литературовед, поэт-переводчик. Автор Самиздата, публицист. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР, редактор «Хроники текущих событий».*

В 1957 окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. До 1968 преподавал историю и литературу в московских школах. Одновременно интенсивно занимался литературной деятельностью: переводил поэтов Западной Европы и Латинской Америки. В 1960-х — начале 1970-х печатает в периодике и поэтических сборниках свои переводы из Ф. Гарсии Лорки, М. Эрнандеса, Т. Готье, П. Верлена и других.

В конце 1960-х — начале 1970-х пишет ряд литературоведческих эссе, заведомо не предназначенных для советской печати. Основой некоторых из них стал цикл публичных лекций о русских поэтах начала XX века — Анне Ахматовой, Александре Блоке, Сергее Есенине, Осипе Мандельштаме, Владимире Маяковском, Борисе Пастернаке, прочитанный в 1966–1968 в московской школе № 2, где он в то время преподавал. Эти лекции были значительным культурным событием не только для его слушателей-учащихся, но и для московской интеллигенции: школьный актовый зал с трудом вмещал всех желающих. На их основе возникли книги и очерки-эссе («Конец трагедии», «Царственное слово», «О романтической идеологии»): академический литературно-критический анализ соседствует в них с просветительским и публицистическим пафосом.

Правозащитная деятельность Я. началась в 1965, после ареста Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Я., близкий друг Даниэля, просил допустить его на суд в качестве общественного защитника, но получил отказ. Подготовленную речь направил в суд; впоследствии она была включена в «Белую книгу» Александра Гинзбурга. В дальнейшем самиздатские статьи и обращения принесли Я. репутацию блестящего пуб-

---

\* Из книги «Документы Инициативной группы по защите прав человека в СССР», М., 2009. Составители: Г.В. Кузовкин, А.А. Макаров. См. <http://www.memo.ru/history/diss/ig/docs/igdocs.html>. Биография подготовлена в рамках проекта «Словарь диссидентов Центральной и Восточной Европы», «Мемориал» (Москва), Центр «Карта» (Варшава).

лициста. Одно из самых известных таких обращений — «Начнем с того, чтобы освободить себя!» (18.09.1968), ответ на разговоры о «бесполезности» «демонстрации семерых» на Красной площади. В этом коротком тексте Я. с предельной ясностью изложил собственное понимание смысла и духа правозащитной активности как, в первую очередь, индивидуального **нравственного** противостояния беззаконию и официальной лжи.

Концепция, лежащая в основе обращения, значительно повлияла на самосознание советских диссидентов; на годы вперед она стала «символом веры» для многих активистов движения в защиту прав человека в СССР.

Весной 1968, не желая, чтобы его диссидентская деятельность ставила под удар коллег-педагогов, оставил преподавание в школе; жил частными уроками и гонорами за переводы.

21 декабря 1969, в день девяностолетия со дня рождения И. Сталина, участвовал в антисталинистской демонстрации на Красной площади в Москве; был задержан и по решению нарсуда Ленинского района оштрафован за нарушение общественного порядка.

Подпись Я. стоит под многими правозащитными петициями 1967–1973. В ряде случаев именно Я. являлся автором правозащитных текстов, подписывавшихся коллективно. Так, его перу принадлежит большинство обращений Инициативной группы по защите прав человека в СССР (ИГ), членом которой Я. стал в мае 1969 и оставался вплоть до отъезда из СССР (за исключением нескольких месяцев в 1970 — начале 1971, когда, разойдясь с *Петром Якиром* из-за слишком тесных контактов последнего с эмигрантским Народно-трудовым союзом, приостановил членство в ИГ).

В 1969 Я. — один из помощников *Натальи Горбаневской* в издании «Хроники текущих событий», а после ареста *Н. Горбаневской* в декабре 1969 становится ключевой фигурой в кругу издателей этого бюллетеня. Несколько выпусков в 1970–1972 составлены им практически в одиночку; в работе над другими он принимал участие в качестве литературного редактора.

Неоднократно подвергался допросам и обыскам.

Работа в «Хронике текущих событий» и участие в ИГ не стали помехой для литературного творчества Я. В начале 1970-х он завершил основной труд своей жизни — книгу о поэзии Александра Блока «Конец трагедии» (в ранних самиздатских списках она называется «Трагический тенор эпохи»). Изданная в 1973 за рубежом издательством имени Чехова Корпорейшн, книга приносит Я. международную известность; в том же году его принимают в Европейский ПЕН-клуб.

С конца 1972 давление на Я. усиливается; ему открыто угрожают арестом, если он не покинет СССР. Шантажируют и других активи-

стов правозащитного движения, в частности — участников издания «Хроники». Один из следователей КГБ прямо заявил, что в случае выхода следующего выпуска будет арестован именно Я. В январе 1973 на встрече издателей «Хроники» и близких к ней правозащитников было решено приостановить выпуск бюллетеня. Я. также был на этой встрече, но «права голоса» ему не дали.

В начале сентября 1973 эмигрировал с семьей в Израиль.

Поселился в Иерусалиме. Работал в Центре славистики Иерусалимского университета, подготовил и опубликовал ряд литературоведческих статей.

В сентябре 1978, в состоянии тяжелой депрессии, покончил с собой. Похоронен на Масличной горе в Иерусалиме.

В 1989 ключевая статья Я. «О романтической идеологии» была опубликована на родине, в 1992 была переиздана книга «Конец трагедии». Тогда же вышел сборник «Почва и судьба», включающий в себя ряд литературных эссе Я., его переводы, избранную самиздатскую публицистику, дневниковые записи, воспоминания друзей.

«...Когда толкуют о диссидентстве как способе самореализации для неудачников и бездарностей, я вспоминаю *Толю Яковсона*, его великолепный талант, человеческий и профессиональный. Когда говорят о диссидентах как людях равнодушных или враждебных России, я опять же вспоминаю *Тошкину* почти физиологическую связь с русской культурой. Разрыв или ослабление этой связи, невозможность слышать вокруг себя русскую речь и привели его — я в этом уверен — к гибели» (из воспоминаний *С. Ковалева*).



IN MEMORIAM



*Майя Улановская*

## **Об Анатолии Якобсоне<sup>1</sup>**

**В Москве**

«Общество взаимного восхищения» — называла моя мать нашу компанию в 1956 г. Действительно, мы, той весной освобождённые, радовались воле, Москве, друг другу и нашим новым друзьям, а они, несидевшие, смотрели на нас с любовью и слушали, затаив дыхание, наши рассказы. «Мы» — была наша группа арестованных пять лет назад «юных ленинцев»<sup>2</sup> вместе с нашими лагерными друзьями. «Они» — оставшаяся на свободе молодёжь, среди них знакомые моей младшей сестры и бывшие завсегдаити литературного кружка в Доме пионеров. После ареста их подруги Сусанны Печуро (ныне сотрудницы московского «Мемориала») их допрашивали в МГБ, но, к счастью, не посадили. Бывший кружковец Саша Тимофеевский, московский поэт и сценарист, привёл в наше временное, у добрых людей, жильё студента — историка Анатолия Якобсона, «ген-Толю», гениального, по общему мнению, марксиста, готового поспорить с тогда же освободившимся моим отцом, который это учение начисто отвергал, но переспорить Якобсона был не в силах. Да и кто его мог переспорить! О том, как царил Якобсон в любом споре, любом застолье, как охотно собеседник уступал ему поле брани, понимая, что не покрасоваться Якобсону важно, а, как мало кому, важна ему истина — о вдохновенных тошкиных монологах помнит каждый, кто его знал.

Время было, по определению А. Ахматовой, «вегетарианское», нам казалось (только казалось), что за разговоры не сажают, но отчётливо помню, что увидев Якобсона впервые, я подумала: легче себя представить снова в тюрьме, чем этого человека. Вскоре мы поженились (развелись в 1974 г.).

Уже в Израиле, незадолго до его гибели, мы вспоминали то время:

*М. У.:* Вернёмся к 1956 г. Когда мы освободились и стали встречаться друг с другом и с более молодыми, с теми, кто не сидел, ведь наши рассказы как-то действовали? Мы не могли в дальнейшем не чувствовать за это ответственность. Мы-то хотели отстраниться. Это нам плохо удавалось, но мы хотели: дескать, ничего не поделаешь, и вообще — мы уже сидели, с нас хватит. И поскольку ты и есть человек более молодого поколения, который сам не сидел...

*А. Я.:* Только в этом смысле.

*М. У.:* Но это очень важный смысл! Ты и есть тот человек, который сам не сидел, но на которого, я думаю, влиял тот факт, что твоя жена,



тёща и тесть сидели. Так вот что значила для тебя встреча с нашей семьёй, и как это повлияло на тебя в дальнейшем, когда ты пустился во все тяжкие? Я помню, мы ехали (в 1968 г.) с Белорусского вокзала в Звенигород, в пионерлагерь к сыну, и я сказала: «Смотри — каждый бежит по своим делам. Почему ты не живёшь спокойно?» — А ты ответил: «Не у каждого посадили жену в 18 лет. Значит, это имело для тебя значение? И я думаю, что имело».

А. Я.: Ну что ж тут думать, это ясно! Это имело очень большое значение. Только трудно его взвесить. Факторов, которые определили моё, так сказать, идейное лицо, моё жизнеотношение, которые заставили меня в своё время — именно заставили — как-то выступить, было много. Встреча с вашей семьёй, где все сидели. Ещё раньше был миф о Сусанне. Я из всех вас знал только про одну Сусанну. И Саша Тимофеевский в своё время для меня, со своими смутными, романтическими рассказами про Сусанну, которая страдает за справедливость, был катализирующим фактором. Так получилось, что я сперва познакомился с Сусанной, весьма условно в неё влюбился и съездил в лагерь, где она когда-то сидела, за справкой, которую было очень трудно достать, о том, что она работала энное количество лет на тамошнем швейном производстве. Справка нужна была ей для поступления в институт.

...К чему я всё это рассказываю? К тому, что Сусанна была для меня всё равно, как Прекрасная дама. Ну, а потом, когда я познакомился с тобой, и стал твоим мужем, и узнал твоих родителей, которые тогда же, в 1956 году, освободились — это, конечно, был могучий фактор влияния. Но ведь их было много. Экспромтом назову ещё два. Во-первых, конечно, антисемитизм. Я выдержал на воле, пока вы сидели, самое страшное давление антисемитизма.

Я имею в виду антисемитизм эпохи дела врачей, ужасный антисемитизм конца сороковых годов и начала пятидесятых, когда я был уже не младенцем и когда происходили вещи страшные. Правда, лично я не испытывал антисемитизма. Но когда до меня доходили правдивые рассказы о том, что сестра из больницы пришла делать укол и, увидев её еврейское лицо, её не пустили в дом, это для меня не проходило бесследно. Но и это не самое главное. Самое главное — деревня. Так случилось, что я два лета провёл в Коноплянке, совершенно классической русской деревне Тамбовской области, в хорошей, чернозёмной среднерусской полосе. Где колхозникам давали сорок соток огорода — максимум того, что давали в России... Мало того, что ничего не давали на трудовень — это Бог с ним, но с этих самых приусадебных участков брали невероятный налог, который отменили только после смерти Сталина, ещё при Маленкове. Сорок соток огорода! Человек, который жил в деревне, понимает, что такое сорок соток. С этого можно жить. Но с этого полагалось сдавать государству сорок килограммов мяса

в год. Мясо на огороде не растёт. Если человек мог выкормить свинью и сдать её государству, он выкармливал. Если нет — я лично знаю случаи, когда колхозник каким-то образом доставал деньги, покупал мясо и сдавал государству, чтобы сохранить свои сорок соток огорода. Я жил в Коноплянке летом 1949 и 1950 годов, всё видел и понимал. Я понимал, что такое колхозы, что этот режим сделал с мужиком. Для меня это был чудовищный режим. Когда собирали налог и выла вся деревня — я этого не забыл. И глубоко убеждён, что память об этом для меня лично было важнее даже государственного антисемитизма».<sup>3</sup>

Свои тогдашние марксистские убеждения Якобсон в том же разговоре объяснял так: «У меня всегда была бескорыстная жажда понять мир, жизнь понять. Я был сформирован сызмальства в марксистских и домарксистских общелиберальных, общеинтеллигентских предрассудках XIX века: считал, что существует прогресс, что наука объясняет жизнь и мир. И был глубоко убеждён, что марксизм — это правильное учение». Разубедили его, конечно, не разговоры с моим отцом, а обнаруженная им при более глубоком знакомстве с этим учением «научная недобросовестность Маркса», приносившего истину в жертву своим установкам на мировую революцию.

Окончив Историко-филологический факультет Пединститута, Якобсон не сразу нашёл работу учителя, и работал грузчиком на Заводе малолитражных автомобилей. Наконец, стал преподавать историю в 689-й школе, где организовал литературный кружок, на котором прочёл систематический курс русской поэзии XX в. Об этом периоде его жизни написала после его гибели ныне тоже покойная Юна Вертман, режиссёр и учительница литературы в той же школе. Вспоминая о якобсоновских лекциях, Юна захватывает и более поздний период, когда во Второй математической школе, при переполненном актовом зале, куда стекалась вся Москва, Якобсон читал о Блоке, Есенине, Маяковском, Цветаевой. Ещё предстояли Ахматова и Мандельштам.

«Затем была подготовлена, прочитана и, к счастью, записана более чем четырёхчасовая лекция о Пастернаке, не претендовавшая на концептуальную оригинальность: он строил её, широко и естественно ссылаясь на Цветаеву, Мандельштама, Синявского,<sup>4</sup> но тем не менее это совершенно самобытное и прекрасное произведение, потому что, адресуясь к школьникам, Толя был заведомо особо чётко и вняттен. Лекция эта — школа плавания в глубоких и трудных для опасливых новичков волнах пастернаковской поэзии; при этом Толя не играл в поддавки: уважая интеллект и восприимчивость слушателей-неофитов, он открывал им глаза и уши, учил и, главное, научал — видеть, слышать, думать и додумывать, и поскольку у доверявших ему слушателей это в конце концов получалось, они избавлялись, быть может, навсегда от читательского комплекса неполноценности. Трудно проверить,

для всех ли его учеников чтение стихов Пастернака сделалось органической потребностью, но о многих я это знаю доподлинно».<sup>5</sup>

О Якобсоне-учителе пусть расскажут его ученики, которых много осталось в Москве и много разъехалось по свету. Судя по вечеру, посвящённому его памяти во Второй московской, бывшей математической, школе, где нам с сыном довелось побывать в 1992 году, Якобсона не забывают.

Последняя его лекция в этой школе была «О романтической идеологии», посвящённая поэтам 20-х годов, воспевшим революционное насилие. Через 20 лет пришлось ко двору в России эта тема, и лекция Якобсона напечатана была в «Новом мире»,<sup>6</sup> даже и с последней строчкой: «Солженицын, который не прощает палачей».

Но в ту пору лекция прозвучала так крамольно, что, заодно с его выступлениями в защиту Галанскова и Гинзбурга, вынудила Якобсона уйти в 1968 г. из школы, а его бывшими учениками вспоминалась потом, как прощальное напутствие. С тех пор и до самого отъезда он зарабатывал на жизнь уроками русского языка и переводами стихов.

«Русская поэзия была его пристанищем на земле» — так кончается статья А. Гелескула о Якобсоне-переводчике.<sup>7</sup> А начинается она так: «Анатолий Якобсон себя как переводчика недооценивал и, боюсь, не слишком ценил. Сколько помню, чужие работы занимали его больше своих — там он находил искру Божью, у себя же не находил либо сомневался. Было в этом душевное бескорыстие, которое ощущалось и покоряло в нём с первой встречи. Была, конечно, и присущая лишь одарённости неуверенность. И была необыденность, особинка, знак личности. В ту пору, когда мы встретились (начало 60-х), у литераторов, тем паче молодых, в моде было гениальничать. Якобсона же от самоуверенности передёргивало.

...Почему вообще он переводил? Речь не о первоначальном побуждении — оно бывает разным и часто случайным. Но само переводческое дело требует терпеливости и известного смирения. Явно не эти невзрачные добродетели отличали Якобсона. И всё же он переводил. Даже накануне отъезда переводил Петрарку, без малейшей надежды напечатать, и продолжал переводить, тоже без малейшей надежды, вне России. Его отношения со словом были любовью, а любовь «долго терпит и никогда не перестаёт». Но думаю, что и эта беззаветность ещё не всё объясняет.

Как-то он заговорил о переводческом семинаре, куда ходил не один год, и сказал о своих учителях:

— Они внушили главное: «Пиши, как можешь — переводы лучше, чем можешь».

Учителя у него и вправду были на зависть: Мария Петровых и Давид Самойлов — любимые поэты, близкие люди, почти родные, и в пря-

мом смысле учителя (вели упомянутый семинар). Со своим символическим учителем — Пастернаком — он, по — моему, ни разу в жизни не встретился.

Убеждён, однако, что сказанное было не цитатой, а его собственной формулой. Это не литературная декларация — «лучше, чем можешь» применимо ко всему — и не декларация вообще. Стоит задуматься, кого он переводил. Бесприютный Мицкевич, нищий Верлен, казнённый Лорка, угасший в тюрьме Эрнандес. Стихи, оплаченные жизнью, — он и принимал их в себя как чужую, вверенную ему жизнь. Обходиться с ней «хуже, чем можешь», полагал бесчестным.

Среди его лоркианских переводов выделяется один — «Нежданное»; для меня он стоит рядом с переводами Цветаевой. Это маленькое стихотворение — его безуспешно переводили и до, и после Jakobsona — трудно своей полифонией, сплавом песни и разговорной речи, тревожных ночных голосов, но главное — своей подлинностью. Мог бы Jakobson перевести, если бы смотрел на убийство иначе, чем Лорка, — отвергая его, но сознанием, а не всем своим существом? Помню, как подробности гибели Лорки, в то время скудные, вызвали у него слёзы.

...Переводческая вершина Jakobsona — сонеты, и здесь у него мало соперников. Это знаменательно. Стиховая культура и техника бесспорны, но в самом обращении к сонету сказалась, думаю, скрытая, во всяком случае не самая явная, черта его природы — внутренняя собранность. Она не бросалась в глаза — размашистые краски как бы скрадывали твёрдый рисунок личности. Он вообще любил ясность, логику и даже в обыденной речи был афористичен. Но это подробности внешние, и не хотелось бы упрощать. О себе он рассказал сам — книгой о Блоке. Мне кажется, многое там понято через себя, и особенно это: «Трагическая раздвоенность, боль разрыва, есть тоска по гармонии».

Книга о Блоке «Конец трагедии»<sup>8</sup> — главное из написанного Jakobsonом. Благодаря этой книге он был принят после её выхода в 1973 г. в ПЕН-клуб. Возможно, не последнюю роль в оказании Jakobsonу этой чести со стороны западной общественности сыграло желание оградить его от нависшей над ним в то время угрозы ареста, но тот, кто прочтёт книгу сейчас, будет поражён, каким самоочевидным было для него то, до чего дозрели на его родине только теперь. И до того самоочевидно и просто то, к чему он взывал, и в забвении чего — хотя бы временном — упрекал любимых поэтов, что вмещается в одно слово: «человечность».

Тема работы, сочетающей тщательный литературоведческий анализ и высокую публицистику — поэт и революция. Русская революция предстала в работе как страшное заблуждение века, накликаемое со-

вестью страны — её интеллигенцией. Она — интеллигенция — перестала чувствовать, что «во всей русской культуре сердце билось одно: она была милосердна, была великодушна». «Русские интеллигенты (часть из них) посмели отринуть (пусть только в мышлении) завет своих предков, духовных и кровных, и прельстились мракобесием, поверив, что бывает на свете «возвышенное злодеяние» (Ницше). Недалеко от этого «откровения» ушла и мысль о том, что можно и должно творить зло во имя добра: «равенства, братства, свободы» (это деревце и пришлось ко двору, ибо имело домашние корни, так что импортная прививка оказалась как раз)».

Но русская революция предстала в книге о Блоке как зло неизбежное (к социальной несправедливости была чувствительна русская интеллигенция, а не только к миазмам жестоких идей, разлитым в воздухе), и как «историческое движение, связанное с вековыми чаяниями свободы». И если так на неё смотреть — «тогда откроется в революции то, что не могло возобладать, но было в ней: тот подвижнический дух, которым были привлечены к революции многие из лучших людей России — от Герцена до Блока».

И не вина, а трагедия этих людей, что «слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка, своего поросёнка» (из письма А. Блока К. Чуковскому от 26 мая 1921 г.)

В работе гармонически слиты патетика и сарказм. Патетика — когда речь идёт о трагическом заблуждении поэта, и сарказм — по адресу тех блоковедов, которые, как считал Яacobсон, судили о Блоке не по правде, а по «дяденькиному слову», то есть по конъюнктуре (видно, и до Блока добрались те, кто решал, «кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мёртв и хулим» (Пастернак).

«Трагедия жизни, — подвёл итог Яacobсон, — завершилась жертвенным приятием революции (завершилась «Двенадцатью»). Потом было погружение во мрак романтической идеологии («Катилина», «Крушение гуманизма»), затем последовало субъективно — трагическое очищение, катарсис — выход к свободе, к Пушкину. Автор глубоко убеждён, что чувство очищения с наибольшей полнотой Блок испытал именно во время произнесения своей пушкинской речи, записанной тремя днями раньше.

Мы, зрители трагедии, которая именуется жизнью и смертью Александра Блока, испытываем чувство катарсиса от всей трагедии с начала до конца.

Автор дал название книге («Конец трагедии») в соответствии с блоковским пониманием природы трагического.

А вот образец сарказма: (по поводу замечания одного из критиков поэмы Блока «Двенадцать» о будто бы абстрактной любви Блока к ближнему):

«Абстрактная, значит, любовь — вот в чём дело...».

Любовь Блока к людям (к загубленной Катюке, в частности), любовь, вылившаяся в образ Христа — образ неотразимой поэтической силы — эта любовь именуется абстрактной. Есть, стало быть, другая любовь — к партиям, классам, правительствам, вождям, программам, уставам, и это — любовь конкретная, любовь — что надо... Здесь уже начинается — как бы это выразиться поприличнее — некая диалектика: без неё не усмотреть, что конкретно, а что абстрактно, что условно, а что безусловно, что относительно, а что безотносительно, абсолютно.

А коли дело дошло до диалектики — тут уж ничего не попишешь. С помощью этой самой диалектики было доказано, что правда, совесть, добро — вещи сугубо относительные. Была выявлена условность любви — и тем самым утверждена безусловность ненависти. И само собой вышло, что насилие — повивальная бабка истории, и оно же (по совместительству) её, истории, локомотив. Насилие было возведено в абсолют, а рядом воздвигнуты прочие абсолюты: абсолютные законы исторического развития, абсолютные представления о классах и об их борьбе, абсолютное преклонение перед государством известного типа, абсолютное презрение к человеческой личности, к её свободе. О свободе, собственно, говорить не приходится — после того, как она стала осознанной необходимостью». «И всё невдомёк нам, что хотя в добре да в правде и есть нечто относительное, условное, но то безотносительное, безусловное, что в них есть, — бесконечно важнее, существеннее.

И всё-то мы в толк не возьмём, что единственная абсолютная ценность — это человек, его жизнь, его душа, его свобода, а с другими (прусскими) абсолютными — по расхожему выражению коренных жителей небызывственной земли — на одном поле присесть зазорно...

И последнее, что никак не войдёт нам в голову, это то, что только при безусловной любви к свободе можно — в известных условиях — научиться по — настоящему ненавидеть рабство, т. е. не быть рабом».

Якобсону не понадобилось никакой смены вех. Он ушёл от марксизма, но не предал идею свободы. Став правозащитником, он не считал, что занят политикой: «Когда государство расправляется с людьми — это политика», — писал он в книге о Блоке. — «Когда человек хочет препятствовать такой расправе — это не политика». Он отрицал революционное насилие, но не нравственное сопротивление власти, влекущей страну назад, к сталинщине. И в этой неравной борьбе с властью был «среди первых» — по выражению историка правозащитного движения Людмилы Алексеевой.<sup>9</sup> В памятном сборнике «Почва и судьба» собраны письма Якобсона — как индивидуальные, так и коллективные, но им же написанные, письма в защиту арестованных. Сначала он защищал близких друзей — Синявского и Даниэля, на процессе

которых он готовился выступить общественным защитником (но допущены были только общественные обвинители), позже — глубоко чтимых, отважных людей — Галанскова и Гинзбурга (за Гинзбурга довелось ему вступить вторично, уже в Израиле), Анатолия Марченко, демонстрантов на Красной площади, протестовавших 25 августа 1968 года против ввода войск в Чехословакию. В письме в их защиту звучал мотив из книги о Блоке о такой любви к родине, какой её любили Чаадаев и Герцен, не закрывавшие глаза на царившее в стране зло. Как член Инициативной группы по правам человека Якобсон вступался за лишённых родины крымских татар (не спуская в частном разговоре кое-кому из деятелей этого движения, наведывавшихся в нашу зюзинскую квартиру, их проарабских симпатий), редактировал после ареста Натальи Горбаневской в 1969 году и до осени 1972 года «Хронику текущих событий».

Посадили Якира и Красина, и они дали показания на Якобсона как на редактора «Хроники». Угроза ареста стала как никогда прежде реальной. А тут подросток наш сын и засобирался в Израиль. В эпилоге к нашим с матерью воспоминаниям я рассказала о том, как мы уехали:

«Якобсон, чувствуя своё еврейство так же, как и я, негативно, как реакцию на антисемитизм, был по самой своей глубочайшей сути типично русским человеком, таким типично русским, какими бывают некоторые, определённого склада, евреи. Израилю, конечно, симпатизировал, но сионизмом в его московском проявлении не интересовался, на проводы не ходил, у синагоги в праздник Симхат-Тора не околачивался. Еврейские сборища, где сходились люди, ничем друг другу не близкие, кроме желания уехать, были нам обоим не слишком милы. Нам виделось на лицах сионистов самодовольство людей, постигших истину в последней инстанции, и их общество нас отталкивало, так сказать, эстетически. А может быть, нас просто шокировало объединение людей по голосу крови, которому мы привыкли не придавать решающего значения. Но меня привлекали на этих сборищах люди, с которыми хотелось повидаться или попрощаться, а муж их избегал вовсе. Но он считал, что надо спасать ребёнка.

Сын наш вырос в особой обстановке. С детства он вместе со сказками слышал рассказы о том, как сидели его близкие — мать, дед, бабка. Позже он встречал в нашем доме таких наших товарищей, как Гершуни, Буковский, Гарик Суперфин, а потом этих прекрасных людей хватали и отправляли в тюрьмы и психушки. Большинство из взрослых, с кем он сталкивался, или сидели в «период культа личности», или исчезали в наше время, или ждали ареста. И мы просили его писать Гершуни и генералу Григоренко, сидящим в тюремных больницах, потому что письма от детей лучше доходят, а узникам они доставляли самую большую радость.



Почему-то так случилось, что он очень рано столкнулся с проявлением антисемитизма. Он был хорошенький, смыслённый мальчик, няньки в детском саду его на руках носили, ровесники тянулись к нему, он был застрельщиком в разных школьных делах и проказах, но когда надо было его отругать, вспоминали, что он еврей, — а он даже похож на еврея не был! «Убирайся в свой Израиль!» — слышал он тогда, когда ещё никто туда не ехал. «Правильно Гитлер сделал, что уничтожал евреев», «всех вас перебить надо», — несколько раз говорили ему и взрослые, и дети.

У нас, родителей, были противовесы, противоядия, мы были связаны с Россией и русскими глубинными связями, наше восприятие было сложным и многогранным. Мы чувствовали, что нас любят, что у нас есть товарищество. И помнили добро. А сын был по-детски прямолинейным и не хотел жить в этой стране.<sup>10</sup>

О своих мотивах Якобсон рассказал сам (в упомянутой беседе 1978 г.):

«Теперь о том, как я решил уехать в Израиль. Так или иначе, я еврей. Я всегда знал, что я еврей. С детства. Я не считал, что это хорошо или плохо. Стало быть, я всегда любил Израиль. Я любил его как еврейское государство. Прежде всего, как государство, в самом грубом, примитивном, марксистском смысле слова. Как государственную машину... Государство — единственное, что меня привлекает. Ибо это сила, которая защищает евреев. И другой силы в мире нет и быть не может. Это я сейчас всё понимаю. Но, видимо, я всю жизнь это бессознательно понимал, потому что я еврей. Но что такое еврей? По культуре я, конечно, русский. Не хочу рассматривать сейчас твой парадокс, что я настолько русский, как только еврей может быть. Я всю жизнь знал, что я еврей, и потому моя душа тянулась к государству Израиль. Это — первое и главное. Второе — я не хотел сидеть. Мне было безумно больно расстаться с моими друзьями. Не только потому, что я их любил, а и потому, что я, действительно, хотел разделить их судьбу. Короче говоря, всё меня привязывало к России. И если проделать совсем уже беспощадный психологический эксперимент и задать себе вопрос: А если бы у тебя, Якобсон, не было бы сына, который нас как бы взял всех и за верёвочку привёл в Израиль? Уехал бы ты из России или нет? ... Я не знаю, может, я и тогда бы уехал. Почему? Из страха перед тюрьмой? Ну, известно, что я был как бы не из последних трусов в России, кое-что делал, но я был не из тех, которые делали, потому что за это сажают. А были и такие. Психологически у меня была другая позиция: я делал, несмотря на то, что за это сажают. Естественно, боясь тюрьмы, как и свойственно нормальному человеку, а ещё больше боясь сумасшедшего дома. Я не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что не уехал бы, если бы не сын».<sup>11</sup>



## В Израиле

Здесь он кинулся учить иврит, ездил по стране с друзьями — с теми, кто уехал раньше, и с новыми. Он рад был всему, что видел, и тому, что его берут на Кафедру славистики Иерусалимского университета. Началась и прошла война; он, как все мы, тревожился и волновался. Потом — как все мы, но ещё сильнее — затосковал, во сне видел бревенчатые стены самойловского дома в Опалихе, как все мы, слал письмо за письмом в Москву, ждал нетерпеливо ответа. Только мы с тоской совладать могли, а ему становилось всё хуже: на холмы Иудеи вокруг нашего временного жилья он смотрел с трудом. Увидел диковинных, с длинными ушами коз и сказал: «Какой ужас!» Здешних девушек стал считать некрасивыми. Забросил иврит, не мог читать и писать. Лежал лицом к стене, а я читала ему стихи Лермонтова. Попытался покончить с собой и попал в больницу. С тех пор и до последнего дня, до 28 сентября 1978 года, наступая и отступая, держа на привязи и отпуская, воевала с ним болезнь, проявляясь как тоска по родине, без которой не стоит жить.

Дважды я отводила его в больницу. Придя в себя, он ездил по стране, всё больше о ней узнавал, написал письмо в защиту арестованного опять Алика Гинзбурга и отчаянно работал — писал и рассказывал о любимых поэтах, читал свои переводы разнообразной публике, но к студентам допущен не был: не зря опасались на Кафедре славистики его резких вспышек (другой полюс болезни, не всем заметный из-за бурной его натуры): таких, как на вечере памяти Юлия Марголина, замечательного израильского публициста, автора книги «Путешествие в страну зека» (1952), где Якобсон читал доклад.<sup>12</sup>

Болезнь терзала его, но оставалось неразрушимым ядро личности — попросту понятия о добре и зле. И если в Москве актуальны сейчас его лекции для школьников, то нам не мешает помнить о его отношении к здешним проблемам. В этом смысле интересна реакция Якобсона на рассказ его друга Ильи Люксембурга «Прогулка в Раму». У гробницы пророка Самуила автор рассказа пытается понять, за что страдает веками еврейский народ. На этот вопрос отвечает мудрый ребе: все беды евреев оттого, что когда-то царь Саул ослушался приказания Господа, повелевшего истребить всех амалекитян, заклятых наших врагов. Саул пощадил царя Агага (1-я книга царств, гл. 15). Прямые же наследники амалекитян — это и Гаман, и Гитлер, и нынешние враги Израиля...

«Первый серьёзный разрыв у нас, — вспоминает Люксембург, — вышел из-за «Прогулки в Раму». Он был первым читателем этой вещи. Я вообще отдавал ему на суд — последний и первый — всё, что шло у меня в ту пору.

Меня удивила его оценка. Абсолютное неприятие, я бы сказал — генетическая ко мне враждебность: «Ты этот рассказ не должен печатать, ты лучше его порви. Вся идея его антигуманная, фашистская. Я только не понимаю, как ты его написал, именно ты».<sup>13</sup>

Главное, что написал Якобсон в Израиле — была большая статья «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака.<sup>14</sup> Ею завершилась работа над Пастернаком, начатая разбором ДВУХ переводов 66-го сонета Шекспира, сделанных Маршаком и Пастернаком<sup>15</sup> (естественно, с выводом в пользу пастернаковского перевода). В промежутке была прочитана во Второй московской математической школе четырёхчасовая лекция (повторно прочитана и записана в Иерусалиме).<sup>16</sup> Здесь же был написан и опубликован в «Континенте» посмертно разбор стихотворения Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник»,<sup>17</sup> в котором Якобсон увидел первый, ещё в 1928 году, поворот темы художника у раннего Пастернака — от утверждения: «поэзия есть молодость», через «победное шествие чувства в творчестве Пастернака», к завершению темы в позднем стихотворении «Душа моя печальница о всех в кругу моём».

В работе «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака» прослежено развитие темы «жизнь — смерть — бессмертие» в творчестве поэта.

Бессмертие — начинает Якобсон с конца — есть общая тема творчества позднего Пастернака. Тема лирики раннего Пастернака была жизнь, точнее, «сестра моя — жизнь». «Была одна тема, один образ — при всём его разнообразии. Была только жизнь, сплошная всеохватывающая непрерывность, «существованья ткань сквозная».

«Жизнь мыслилась как молодость, вечная молодость мира, и в этой системе мышления не было места смерти как явлению универсальному, как идее».

«Тема бессмертия могла возникнуть лишь вместе с темой смерти, рядом с ней — как тема преодоления смерти, воскресения. «Памяти Марины Цветаевой» (1943) — первое произведение Пастернака, за которым стоит новое мирозерцание. Прежнее единство мировосприятия жизнь сменилось новым, триединым единством жизнь — смерть — воскресенье».

«Поздняя манера Пастернака прямо связана с темой смерти... с усиливающимся живым ощущением смерти».

«Онтологическая тема бессмертия, общая для «Августа» и «Вакханалии», и образ онтологического времени, заключённый в этих произведениях, содержит в себе, примесью жгучей щёлочи, тему земную, актуально-историческую, и образ исторического времени — его «гибельного шага».

«В «Вакханалии» христианская и вакхическая линии пересекаются в своей естественной общей точке, страстной, — смерть и воскресение; а кроме того, вакхическое начало вводит в поэму страстную театрално-карнавальную игру, которая завершается очистительной игрой природы — цветов, земли, воды.

Игра цветов ... — завершение отпыхавшей игры страстей, а вернее сказать, её бесконечное продолжение: цветы — воскресение, бессмертие, вечность».

Пусть судят знатоки о том, как сочетались христианская и вакхическая линии в сознании поэта, не мешая друг другу, а лишь обогащая и его самого, и нас, его читателей.

Но о том, что для Якобсона бессмертие было метафорой, относилось не к религиозной сфере, а к высокой поэзии — об этом судить можно. Поэтому — гордясь и радуясь полученной «в наследство» дружбой А. Гелескула, автора замечательного предисловия к сборнику «Почва и судьба» (его и поэта Давида Самойлова Якобсон и в Москве, и в Израиле называл самыми нужными ему людьми), не могу не посетовать на то, что всеу разлил он христианский елей «в контексте Якобсона».

В Израиле он вёл дневник. В основном там — литературные суждения, боль разрыва с родиной, тревога об оставленных москвичках, размышления об Израиле, о еврейской судьбе. И очень много — о своём состоянии. 27 июня 1974 года, выйдя из больницы, он записал: «Не из могилы восстал, из пыточной камеры девятисполовиномсячной». А одна из последних записей, от 10 августа 1978 года, такая: «Очень жалко, что у меня нет души, а то бы я вынул её, как зубы, и положил в воду, и у меня бы ничего не болело. Почему это ничто так болит?».<sup>18</sup>

«Вакханалию» в контексте позднего Пастернака» он писал, борясь с болезнью. Отпускала на время «свирепая воля к смерти» — в чём и выражалась болезнь — «когда отчаянно хочется подохнуть, и не вообще хочется и не по временам, а в каждую данную секунду» — как писал он в Москву Ю. Даниэлю. Это письмо и другие материалы о гибели А. Якобсона вошли в сборник «Почва и судьба». Работа о пастернаковской «Вакханалии» вошла составной частью, вместе с переработанной книгой о Блоке, в диссертацию, представленную Якобсоном на кафедре славистики Иерусалимского университета: «Соотнесённость реально-исторического и карнавально-мистерийного начал в русской поэме XX века». Но докторского звания он не дождался. Оно появилось лишь в траурных объявлениях университетского кампуса в Гиват Раме. 28 сентября 1978 года, почти одолев очередную депрессию, он покончил с собой.

- <sup>1</sup> Опубликовано с сокращениями и с добавлением текста В. Фромера в сборнике «Евреи в культуре русского зарубежья», №4. Иерусалим, 1995, с. 69-84.
- <sup>2</sup> Группа московской молодёжи, 16 человек, арестованы в 1951 г. за участие в так наз. «Союзе борьбы за дело революции» и осуждены через год по ст. 58,1-а, 8,10,11 УК РСФСР. Трое расстреляны: Б. Слуцкий, В. Фурман и Е. Гуревич. 10 человек, среди них я и Сусанна Печуро, получили по 25 лет, трое — по 10. Об этом деле см. в нашей с матерью книге: Н. Улановская и М. Улановская, «История одной семьи». С. –Петебург, Инапресс, 2003. Москва, Весть-ВиМо, 1994 г. и Нью-Йорк, Chalidze Pub., 1982, а также в книге моей одноделки: А. Туманова. «Шаг вправо, шаг влево...», Москва, Прогресс, 1995.
- <sup>3</sup> В первый раз полностью напечатано в сборнике памяти А. Якобсона «Почва и судьба». Вильнюс-Москва, Весть-ВиМо, 1992. 350 с., вместе с прочими материалами, упомянутыми в настоящей работе, самого А. Якобсона, и воспоминаниями о нём (кроме книги «Конец трагедии», опубликованной отдельно). Перепечатано как приложение к вышеупомянутой «Истории одной семьи».
- <sup>4</sup> А. Синявский в то время был в лагере.
- <sup>5</sup> Ю. Вертман. Записи и примечания. Москва, 1992, с. 7-8,15.
- <sup>6</sup> Журнал «Новый мир», Москва, 1989, 4, с. 231-243.
- <sup>7</sup> Газета «Русская мысль», Париж, 1988 г., №3737.
- <sup>8</sup> А. Якобсон. Конец трагедии. Нью-Йорк. Изд-во им. Чехова, 1973. Содержит, кроме книги о Блоке, статьи: «О романтической идеологии» и «Царственное слово» (о творчестве А. Ахматовой), не включённые в московскую перепечатку 1992 г.
- <sup>9</sup> «Почва и судьба», с. 314-316.
- <sup>10</sup> «История одной семьи», с. 279-280.
- <sup>11</sup> «Почва и судьба», с. 264-286.
- <sup>12</sup> См. «Фрагменты из Марголина». Время и мы. Иерусалим, 1978, 29, с. 118-135.
- <sup>13</sup> Э. Люксембург. Реб Нафтали. Круг, Тель-Авив, 1988, 578, с. 56-59. Рассказ Люксембурга «Прогулка в Раму» входит в одноименный сборник рассказов (Иерусалим, Шамир, 1983, с. 245).
- <sup>14</sup> *Slavica Hierosolymitana*, Jerusalem, 1978, Vol. 3, p. 302-379.
- <sup>15</sup> Два решения: ещё раз о 66-м сонете. Мастерство перевода, 1966. Москва. Сов. Писатель, 1968. С. 183-188. Перепечатано в сб. «Почва и судьба», с. 206-210.
- <sup>16</sup> «Почва и судьба», с. 59-93.
- <sup>17</sup> Журнал «Континент», Париж, 25, с. 323-333; «Почва и судьба», с. 94.
- <sup>18</sup> «Почва и судьба», с. 286.

*Майя Улановская*

## **Письма Юне Вертман**

**10 Октября 1978**

Дорогая Юночка!<sup>1</sup>

Мне совсем не хочется писать письма, но приехавший на днях человек рассказывает, что у вас<sup>2</sup> ходят всякие слухи о причинах гибели Толи, и мне, вероятно, следует их проверить.

Я понимаю, как соблазнительно объяснять случившееся психологическими или объективными причинами, и у нас тоже делаются такие попытки. Но все они напрасны. Толя погиб от болезни и от того, что мы, его ближайшее окружение, не поняли опасности его положения. Ты помнишь, что в каждом письме я писала о его состоянии. И только в первые месяцы его болезни, в 73-74 году, когда пришлось положить его в больницу, казалось, что он способен на этот шаг. После этого в течение всех этих лет циклы болезни проходили смягченно, и было похоже, что она постепенно пройдет, вернее, будет проявляться как смена настроений. Был у него врач, который лечил его с самого начала и вывел из тяжелого состояния.<sup>3</sup> Врач молодой, но добросовестный. Когда пропала нужда в госпитализации, Толя продолжал с ним встречаться в частном порядке. Наконец, Толю это стало раздражать: стоит ли пользоваться его услугами? Стоит ли беседовать целый час о литературе, чтобы в результате тот ему говорил, сколько таблеток лития он должен принимать? Да еще платить за это деньги! (Кстати, чтобы этот момент не вызвал особенного внимания: деньги небольшие, вполне ему по карману). К тому же и врач относился к этому моменту не просто: жался, мялся, прежде чем сказать, что пора, в связи с инфляцией, и ему надбавить. В какой-то момент Толя, чувствуя себя хорошо, отказался от услуг врача, а когда снова стало хуже, живущая поблизости от нас врач предложила ему свои услуги: просто так, по-дружески. Нас всех возмутило, что, когда два месяца назад у Толи началась его последняя депрессия, она предложила отправить его в больницу. Как же можно подвергнуть человека такому страданию, когда никакой опасности для него, совершенно очевидно, нет! Он же совсем не в том состоянии, как был когда-то! Стали поступать предложения — найти

<sup>1</sup> Примечания В. Емельянова.

<sup>2</sup> В Москве.

<sup>3</sup> Врач-психиатр Яков Шульц.

ему другого врача. Например, в «Хадассе»<sup>4</sup> есть хорошие психиатры. Да, первое, что сделала эта врачиха — отменила литий, который Толя принимал уже несколько лет. Она ему объяснила, что это — сильнодействующее лекарство, которое может разрушить его организм. Я была очень рада, потому что перед моими глазами — пример моей приятельницы, на которую постоянные дозы лития оказывают именно такое разрушающее действие.<sup>5</sup> Депрессия усиливалась, но, наконец, удалось подобрать для него новый сильный антидепрессант. Тяжелое состояние это лекарство снимало — так уверяли Толя и Лена. Правда, он почему-то не мог заниматься никакой умственной работой. Не только писать, но и читать. Безделье его терзало.

Нам казалось, что все его помыслы нам известны — о своих страданиях он говорил постоянно, я едва сдерживалась, чтобы не попросить его пожалеть меня, не мучить. Невероятно, что ему удалось скрыть от нас свой замысел. Он говорил неоднократно, что, хотя жить ему не хочется, но он понимает, что *этого* делать нельзя. В противоположность первой депрессии, когда он говорил, что ему так тяжело, что он не в состоянии думать даже о матери.

Можно вспомнить о его выступлении в университете на семинаре с докладом, посвященным в значительной степени смерти Маяковского (нет у меня сейчас сил подробно касаться этого прекрасного доклада),<sup>6</sup> о его интересе к этой теме, а также подробности самоубийства Рекубратского<sup>7</sup>, и то, что он узнал недавно о том, что у нас, как в каждом доме, есть подвальное помещение для целей убежища.

Приехавший из Москвы человек рассказал: ходят слухи, что Толю сгубила его несовместимость с Израилем. Это не так. Правда, первая его депрессия носила резко выраженную ностальгическую окраску, но позже он очень полюбил эту страну. Несовместим он был не со страной, а с жизнью. Болезнь как бы отгородила его от окружающего. Хотя, как всегда, у него было много друзей — одинок он не был никогда. Да что уж говорить, если ни молодая жена, ни сын не смогли его привязать к жизни! Поверь мне, если я скажу, что в житейском, челове-

<sup>4</sup> Крупная больница в Иерусалиме.

<sup>5</sup> Из письма М. Улановской В. Емельянову, 1 августа 2006: «... он [Яков Шульц] говорил о Толе очень тепло, но с большой болью услышал от меня неизвестную ему подробность, что сменившая его врачиха Чечик отметила Толе литий, что могло сыграть роковую роль. Он, вероятно, считает, что не уйди от него Толя, всё бы тогда так не кончилось...».

<sup>6</sup> Доклад на семинаре в Еврейском университете в Иерусалиме сделан 17 мая 1978 г. См. наброски лекции: «Детское в творчестве Пастернака...». Якобсон А. А. Почва и Судьба. Вильнюс-Москва: Весть, 1992. С. 178-180.

<sup>7</sup> Виталий Рекубратский (1937-1977), близкий друг А. Якобсона, повесился в подъезде дома на собачьем поводке.

ческом смысле он был вполне счастлив. Хотя были и тяжелые моменты. Он боялся, что его уволят из университета, что он будет бременем для жены. Все это так, но не в этом дело.

Ты знаешь, наверное, ужасные подробности этого проклятого дня, 28 сентября. Утром он проснулся, как все последние дни, в хорошем настроении. Каждый день мучение начиналось тогда, когда он садился за стол, пытался писать, и у него ничего не получалось. Лена ушла и сказала, что придет в 4. Часов в 10 он позвонил приятелю<sup>8</sup>, сказал: «Чувствую, что на этот раз я не выберусь», и повесил трубку. Тот тут же приехал. Провел с ним час, говорил, успокаивал. Сыграли в шахматы. Толя блестяще выиграл. Наконец, сказал: «Тебе пора на работу, а я устал. Иди». И тот ушел. Через 15 минут после ухода приятеля позвонила домой Лена. Телефон не отвечал. Она приехала. Его не было дома. Дверь не заперта. Думая, что он у соседей, прошла по этажам, прошла мимо «миклата» (убежища). Вернулась, ждет. Заметила, что нет собачьего поводка. Стала обзванивать друзей. К вечеру заявили в полицию. Я ее уверяла, что ничего он над собой не сделает. В худшем состоянии бывал, и не решился. Но куда же он мог уйти — один, без денег и сигарет? Он на улицу один без нее в последние дни не выходил. Лена говорит, что завтра она пойдет с друзьями его искать в горы, куда они часто ходили гулять. Похоже было, что произошел несчастный случай. Но зачем он взял поводок? Поздно ночью мы с ней снова анализируем ситуацию. Я говорю: «Если он решил что-то над собой сделать, зачем ему идти в горы? Есть чердак, есть миклат. Вдруг она говорит: «Чердак заперт, а в миклат я заглядывала, там темно». Я с ней попрощалась, зашла домой за спичками и спустилась в миклат. Зажгла спичку и увидела его.

Столько лет вместе прожито, а я вот уже который день ничего другого не могу о нем вспомнить, кроме этого мгновения, как я увидела его там. Хотя лицо его было совершенно спокойно — он умер не от удушья. И не мучился ни секунды. Тоже, вероятно, обдумал, как ловчее сделать.

Впрочем, мои чувства описывать сейчас — неуместно. Хотя так устроен человек, что не забывает и в такую минуту о себе. И вот я думаю о себе, что довелось мне в конце концов вынимать его из петли. Дальше — напрасные попытки его оживить. Он с утра это сделал, как только его друг ушел, после обычного разговора и игры в шахматы.

Похоронили мы его на Масличной горе. Такое это место прекрасное, но никто оценить этого не может. Народу была масса, хотя из-за при-

---

<sup>8</sup> Владимир Фромер. См. его мемориальную новеллу «Он между нами жил...». Реальность мифов. Иерусалим-Москва: Гешарим-Мосты культуры, 2003. С. 393.

ближайшей субботы пришлось поторопиться. «Хевра кадиша» — учреждение, которое этим занимается, не рассматривает случившееся как самоубийство,<sup>9</sup> поэтому все было честь честью, по обряду. Санька прочел кадиш.<sup>10</sup> Его отпустили из армии по такому случаю. Потом мы вернулись домой и устроили нечто среднее между еврейской «шивой»<sup>11</sup> и русскими поминками. 27-го будут «шлошим»,<sup>12</sup> хотят послушать пленки с его голосом. Лена уехала в Хайфу к брату. Томика мы заберем. Удивительно, что собаки ничего не чувствовали целый этот день.

Вот и все, дорогая, целую тебя. Ничего утешительного сказать не могу. Нечем тут утешаться. Разве только тем, что не сделай он этого теперь, сделал бы, наверное, позже. Он очень изменился в последние годы. Болезнь меняла его к худшему. Личность шла на снижение, хотя он и был способен писать иногда замечательные вещи. Как видно, он это чувствовал и прекратил все разом последним усилием воли. Потому что это был акт больного человека, но и волевой вместе с тем.

Прости, если письмо мое местами покажется тебе неудачным или бестактным. Мне трудно. Я ведь даже плакать не умею.

Целую

М.

## 9 Декабря 1978

Дорогая Юночка!<sup>13</sup>

Не хотелось бы тебя опять утруждать, но я так верю в надёжность нашей переписки, что своё письмо Вере решаю послать через тебя, хотя даже не знаю, сможешь ли ты его ей передать.

Один момент в твоём письме меня испугал. «Мои преимущественные чувства ненависть к себе». Я, не разобрав, прочла было: «ненависть к тебе» — аж задрожала. Наконец-то меня обвиняют, и я могу оправдываться. Но тебе-то за что себя ненавидеть? Что ты могла сделать на расстоянии? За то, что осуждала за пьянство? Но разве ты не была в этом права? Разве не писала я тебе неоднократно, что его болезнь алкоголь

<sup>9</sup> В связи с тем, что Толя был душевно нездоров.

<sup>10</sup> Еврейская поминальная молитва.

<sup>11</sup> «Шив'а» (семь — на иврите) у евреев — первые семь дней, считая со дня похорон.

<sup>12</sup> Евреи отмечают тридцать дней со дня похорон; у христиан аналогом «шлошим» (тридцать — на иврите) являются сороковины.

<sup>13</sup> Примечания М. Улановской



усугубляет, мешает действию лекарства. В последнее время, в депрессию, он, правда, не пил совсем, но кто в этой химии разберётся?

То, что он не мучился в самый последний момент, было видно по его лицу, совсем спокойному. Как это объяснить, я тоже не знаю. Значит, смерть наступила не от удушья. Только я из близких видела его. Лену оттащили. Она потом говорила, что он «как живой». Но он был совсем не как живой, и понятно было, что все попытки его оживить — уже напрасны. Соседи закрыли его простынёй, и больше его никто из нас не видел.

Последнее письмо «бабы Лиды»<sup>14</sup> он, конечно, получил. Но депрессия уже началась, ответить он не смог. Потом это письмо лежало у меня, Лена просила ответить на него и на другие письма от друзей, которые он получил в последнее время. Но я не ответила, хотя и обещала. Все и так узнали, а ей письмо от меня — какая радость? Стихи он тоже прочёл и был тронут<sup>15</sup>. Стоят на полке вместе с другими книгами. Как все его и наши общие книги — останутся у Лены, об этом я не спорю, как не стала бы спорить о его «наследстве» материальном. Тем более, что всё это — рядом. Никуда она не уехала. Месяц провела у друзей поблизости, потом я у неё недели три ночевала. Теперь живёт одна. Она оставила университет, поступила в школу медсестёр, хочет поскорей получить надёжную профессию. В Хадассе, где она учится, есть общежитие, ездить туда каждый день тяжело, но она предпочитает жить дома. Переносит она всё с исключительным мужеством и ответственностью. Хорошо, что он её встретил, скрасила она ему последние года полтора. Архивом его она заниматься сможет. Более того — никому не даст другому этим заниматься. По моей просьбе согласилась отдать мне одну его тетрадку, в которой он вёл дневник в период дикого, маниакального состояния и поносил там многих, в том числе меня<sup>16</sup>. Сейчас переписывает плёнки, которые он наговорил мне несколько месяцев тому назад. Я думала их использовать в своей работе. Есть у меня нечто вроде эпилога к воспоминаниям — как мы жили с 56 года до отъезда. Но эпилог этот получился страниц на 25, в самой общей форме, и Толины записи почти не пригодились. Интерес представляют сами по себе<sup>17</sup>. Если бы я знала, что это — почти последнее, что он го-

<sup>14</sup> Л. К. Чуковской.

<sup>15</sup> О стихотворении Л. К., посвящённом отъезду А. Якобсона «Вы с нами ехали или одни?», напечатанном в её сборнике «По эту сторону смерти» (Париж, 1978). Позже вошло, вместе с другими посвящёнными ему стихами, в её сборник Стихотворения. Москва: Горизонт, 1992, с. 105-106.

<sup>16</sup> «Из дневников», включая пять тетрадей, печаталось в памятном сборнике: А. А. Якобсон: Почва и судьба. Вильнюс-Москва: Весть, 1992, с. 264-286.

<sup>17</sup> См. под названием «Автобиографические заметки (неофициальные интервью)», там же, с. 238-262. Более полно вышло под названием: Бесе-

ворит и что останется в записи, я бы не удовлетворилась 5-ю кассетами, а расспрашивала бы ещё и ещё.

Мне странно, что ты увидела в его старых письмах симптомы болезни. Мне всегда казалось, что болезнь началась здесь. Всё, что было раньше, было колебаниями настроения, как почти у каждого человека. Например, он никогда не играл мыслью о смерти. В этом у нас было много общего.

Сейчас пойду к Лене, попрошу несколько фотографий для тебя. Будет трудно выбрать. Есть удивительные — весёлые, даже легкомысленные, вместе с собаками. При желании можно видеть в них — попытки убежать от действительности, от самого себя. Но мне кажется — и таким он был.

У вас собирались на сороковой день, а у нас — на тридцатый. Странно, что при том, что такая масса людей любила его в Москве, большая толпа собралась и у нас, сначала на кладбище, а потом — в квартире. И многие не смогли приехать, потому что это было в канун субботы. Панихида по нём в церкви — кажется странной идеей. Так же она странна, как читать над ним кадиш. А может, и то, и другое — не странно, а дико и неестественно только представлять себе, что его нет.

Конечно, я тоже ловлю себя на мысли — это надо ему рассказать, показать. Сижу, прислушиваюсь, не раздастся ли лай собак. Значит, он пришёл, надо зайти. И у Саньки так же. Звонит мне из армии. А теперь надо позвонить отцу. Как наваждение. Но и это не наваждение. Он должен был бы жить. Почему он не смог преодолеть на этот раз страдания, ведь это уже было и проходило.

Пришлось мне бороться против напечатания в местном журнале некролога. Один-то напечатали, очень хороший, написал тот самый его друг Фромер, что играл с ним в последний час его жизни в шахматы. А другой написал здешний графоман и маразматик, который очень мало знал Толю, но вполне искренно полюбил его. И написал нечто ужасное, обыгрывая водку, собак, стихи, мат, делая из смерти балаган. Совершеннейшая непристойность. Я-то известная ханжа, но и Лена, и Санька и многие — возмущались. Удалось предотвратить это позорище. Но ревнители «свободной печати» наших действий не одобрили. Чёрт с ними. Не представляешь, до какой крайности можно дойти, если святую идею свободы продолжить до бесконечности.

То, что говорит Женя, не совсем справедливо. Свои трудности есть и у нас. Боюсь, что всё это домислы, легенды. Впрочем, не всё ли равно?

---

да с А. А. Якобсоном (Иерусалим, апрель 1978 г.) в кн.: Улановские Н. М. и М. А. История одной семьи. Спб.: Инапресс, 2005, с. 286-312. Частями, следуя задуманному В. Емельяновым тематическому плану, выходит под названием «А. А. Якобсон о себе» на сайте Мемориальная сетевая страница А. Якобсона <http://www.antho.net/library/yacobson/index.html>

Перечитала я Лидочкино стихотворение, в котором она как будто с горечью предвидит для него лёгкую жизнь, успех. Не передавай ей, что меня покорило. Любит она его, и ладно. За это можно многое простить, даже то, что она его упрекала когда-то в письмах, что вот — вырвался он, завертелся в вихре успеха и забыл её и других. Никого он не забывал, всегда мучился разлукой, но часто физически не мог писать. Неужели это было неясно?

Рада, что у вас такая славная дочка. Отговаривать вас я не буду, это Толя считал, что обязательно надо отговаривать. Мне больше всего боязно, что оторвётесь вы от такой необходимой вам среды и когда ещё освоитесь в другой. Видеть тебя очень хочу. Помню про олимпиаду и, если пустят, была бы счастлива приехать. Но будет слишком много желающих.

Целую тебя, дорогая. Васе привет. Знаешь, Санька всерьёз обиделся, что ты его почти не вспомнила в своём последнем письме. Чудак. Он вполне благополучен, но от тоски стал какой-то угрюмый.

Будь здорова,

*Майя.*

«Рослый стрелок» неопубликован, т. к. Толя его собирался переделывать, расширить. Теперь, наверное, опубликуют в здешней «Славике»<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> См.: Якобсон А.: О стихотворении Бориса Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник». — Париж, Континент, 1980, N 25, с. 323-333.

**Александр Якобсон<sup>1</sup>**

## **Интервью Мемориальной Странице<sup>2</sup>**

**30 апреля исполнится 75 лет со дня рождения Анатолия Якобсона. Расскажите нашим читателям о своём отце. Ваши первые детские воспоминания об отце.**

У меня нет какого-то первого воспоминания. Помню, что отец очень любил классическую русскую литературу, но любил также и некоторые современные вещи. В первую очередь он любил стихи. Из современных ему поэтов он выделял Д. Самойлова. То, что он мне читал, то, что я читал под его влиянием, то, о чём он говорил и то, что он любил — это самые что ни на есть магистральные вещи в русской литературе. Русская классическая поэзия XIX и гиганты XX столетия Мандельштам, Пастернак и Ахматова — это то, чем он жил в значительной мере, и любовь к ним он привил мне.

**Что отец Вам рассказывал о своём детстве, своих родителях и предках?**

Он рассказывал о своём отце немного. Дед умер, когда отец был школьником. Говорил он достаточно скупно об этом — это была тяжелая смерть, дед умер от рака и очень страдал. Отец говорил больше о матери, иногда вспоминал военное время, вспоминал о школе. Говорил о дяде Сёме, о своём дяде, который в 1953-м году получил 25 лет за то, что в личной беседе в какой-то компании сказал, что Сталин мстит евреям за Троцкого. Это был конец времени *космополитов*. Дядя Сёма был уволен с работы, не мог найти другую, и позволил себе такое высказывание. На него донесли. Его арестовали, судили, дали 25 лет, был настоящий суд — даже с адвокатом. Отец помнит, что он его видел, хотя в зал суда ему не дали войти. Отец видел, как его конвоиры привели. Дядя Сёма после следствия стал седым и облысел. А года через два он умер в лагере. Это отец мне рассказывал достаточно подробно. Вообще, надо сказать, что о его детстве разговоров было немного.

**Я хотел бы у Вас уточнить — кем ваш дед, Александр Григорьевич Якобсон, был по профессии?**

По-моему, он был аптекарем. Во всяком случае, отец так говорил в своём интервью. Может быть, у него было несколько профессий, но ничего другого я от отца не слышал.

---

<sup>1</sup> Александр Анатольевич Якобсон (1959), профессор Иерусалимского университета.

<sup>2</sup> Интервью подготовлено и проведено по телефону А. Зарецким, Бостон. Отредактировано Ю. Китаевичем, Нью-Йорк.

**В биографии Анатолия Якобсона, опубликованной «Мемориалом»<sup>3</sup>, говорится, что он «сын типографского работника».**

Я ничего по поводу типографии не помню.

**Анатолий Якобсон говорил в интервью, что его «отец был человек чести». Что он имел в виду? Какие-то привязки к конкретным фактам биографии, событиям?**

Я очень мало знаю. Я думаю, что это неестественно так мало знать о своих предках, но это результат того, что об этом очень мало говорилось. От бабушки, например, я знаю, что две её родных сестры погибли в Риге в гетто. Я знаю, что это очень сильно на ней сказалось, что это стоило ей психического здоровья, и что её тогда привели в себя электрошоками. Эту историю я знаю, но как её сестёр звали, я не знаю. Их фамилия была Лившиц, но их имён я не знаю. Я даже не знаю, были ли у них семьи, и в каком возрасте они погибли.

**То есть, Лившиц — это девичья фамилия Татьяны Сергеевны, Вашей бабушки.**

Да. Две сестры моей бабушки, то есть тётки моего отца, погибли, и она каким-то образом себя в этом винила и на этой почве сошла с ума. Она болела. Её привели в себя и вернули к нормальной жизни надолго, но таким жестоким тогдашним способом — электрошоками. Впрочем, к концу её жизни в Израиле она опять скатилась... Она провела несколько десятилетий вполне нормальным человеком. Я знал о её травме, но в подробности мы ни с кем не входили. Ни от неё я не слышал, ни от отца.

**Ирина Глинка в своей книге «Дальше — Молчание» рассказывает о родственниках Анатолия Александровича и Татьяны Сергеевны: «...огромная материнская семья (больше семидесяти человек) в латвийском Резекне была загнана в гетто и уничтожена фашистами».**

Мне сегодня кажется странным, что я так вырос, не зная. Может быть, это характерно для какой-то категории евреев, советских или восточно-европейских, что об этом мало говорили...

**Вы, наверное, большую часть своего детства провели в семье родителей матери?**

Нет, у бабы Тани я провёл очень много времени. Во-первых я у неё жил некоторое время. Мой первый и второй класс — 1966-67 гг. — я просто жил у неё. Моя первая школа была недалеко от улицы Герцена, где она жила. Потом я вернулся к родителям. Не то, что у меня с ней было мало контактов, было много контактов, да и с отцом я говорил

---

<sup>3</sup> Документы Инициативной группы по защите прав человека в СССР. Составители: Г. В. Кузовкин, А. А. Макаров. <http://www.memo.ru/history/diss/ig/docs/igdocs.html>

о её жизни, но вот в эти вещи не вникал... То, что Вы мне сейчас сказали, для меня новость.

**Возможно, так случилось, потому что Вы были ещё ребёнком, и в таком возрасте говорить о гибели родных преждевременно. А разговор на эту тему мог бы опять привести Татьяну Сергеевну к кризису.**

Это понятно, но вообще об этом я в принципе знал. Я уже даже не помню — она мне об этом говорила или отец. По-моему, от него я знал историю того, что с ней произошло, после того, как погибли её сёстры.

**Бронислава Викторовна Цирельсон — двоюродная сестра Вашего отца — в разговоре со мной упомянула, что Татьяна Сергеевна была в 20-30-е годы актрисой ГОСЕТ — театра Михоэлса.**

Я знал, что она была актрисой. Отец мне говорил, что в её биографии был такой момент. Но подробностей не знаю.

Надо сказать, что театр был очень малой частью нашей жизни. Время от времени я ходил в какой-то театр, но семья не была театральной. Наверное, если бы я больше любил театр, я бы расспросил у неё подробности — в каком театре она играла.

Как-то раз она что-то рассказывала о Михоэлсе, помню, что они как-то пересекались, но как именно они пересекались, я не помню.

**Говорил ли Анатолий Александрович в семье на идиш? Со своей матерью?**

Ни одного слова на идише я не слышал ни от него, ни от неё.

**Леонид Лозовский в своих воспоминаниях «Якутское лето 1972» отмечает, что Анатолий Александрович периодически использовал в своей речи идишизмы.**

*Ни одного слова* — это не значит, что он не мог сказать «цорес» или что-нибудь в этом духе. В этом нет ничего удивительного. Но языка как такового, я почти уверен, он не знал. У нас в семье была на сто процентов русская языковая среда. Мама моя сейчас идиш не вспоминает, как некоторые в её возрасте, а она его изучает. Она его никогда не знала, никогда не учила, но вот в последние годы у неё возник интерес, и она принялась его изучать. Я сильно подозреваю, что отец идиш как язык просто не знал, что не исключает использования каких-то словечек.

Кроме русского, отец по-настоящему не знал никакого языка. Русский он знал, испанский когда-то учил, потом в Израиле освоил немного иврит, но идиша, по-моему, он не знал вообще.

**У Анатолия Александровича была большая библиотека. Часть книг он взял с собой, когда уезжал из России.**

Книги, привезённые в Израиль, — это в основном классическая русская литература. Есть и переводная тоже, но в основном русская.

### **По какому принципу собиралась его библиотека?**

Большой акцент ставился на полных собраниях сочинений: Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Толстого, Достоевского. Но были и другие книги: Пастернак, Мандельштам. Книг было очень много, это то, чем он в значительной степени жил. Это была его культурная среда.

### **Быстро и много ли он читал?**

Не могу сказать, быстро ли, но он читал много. Был, конечно, очень читающим человеком. Не было тогда интернета, и футбол он не ходил смотреть, но в своё время был боксёром — об этом он мне рассказывал.

### **И что он Вам рассказывал о боксе?**

Он, по-моему, немножко гордился, что был в хорошей физической форме. В ответ на мои соображения, что бокс — вещь достаточно уродливая, поскольку люди друг другу бьют морду, он однажды сказал, что напрасно я так к этому отношусь, потому что боксёры вырабатывают профессиональное к этому отношение, — тут нет никакой личной агрессии, когда они борются. С одной стороны, дерутся, а с другой стороны, у них нет вражды, и вообще, по количеству травм этот спорт не самый опасный, что есть виды спорта гораздо более опасные, при которых случается больше травм. На что, я помню, его спросил: «А как насчёт публики, которая приходит на это посмотреть? Она тоже не хуже любой другой публики?» На это он сказал: «Нет, это правда, публика не совсем приятная». Даже, по-моему, более резко выразился. То есть сами боксёры — хорошие парни, а те, кто приходит на них смотреть, — нет.

Я думаю, ему льстило, что он не только духовный человек, но и физически сильный. Он говорил, что мужчина должен быть в состоянии защитить, в случае необходимости, и себя и других, и поэтому он должен быть в форме. Такое у него было представление.

### **Вы считаете, что это основной мотив, который привёл Якобсона в школу бокса?**

Во всяком случае, так он объяснял. Он как бы под это подводил такую базу. Насколько я понимаю, там, где он рос, был двор, и там разные вещи могли произойти. Быть парнем, который может за себя и за других постоять, — это было важно. Не знаю, насколько это ещё было под влиянием национального мотива. Он мне рассказывал, что с антисемитизмом он встречался, но он не был затравленным. Наоборот, он был популярным в классе, в школе, но это совершенно не исключает ведь ситуации, когда нужно за себя постоять. И он считал, что это важно.

### **По воспоминаниям Сергея Адамовича Ковалёва, Вы были очень политизированы в детстве. Кто из членов вашей семьи больше всего причастен к Вашему политобразованию?**

По поводу этой политизации — я Вам могу назвать точную дату. Это произошло в 66-м, когда был процесс Синявского и Даниэля. Дело в том, что моя первая политическая информация, которую я получил от родителей, была связана с арестом Юлия Даниэля. Наши семьи дружили, и мы ходили друг к другу в гости. Я даже помню Кирюху — их собаку, которая умерла потом, как мне сказали, с тоски после того, как Юлия посадили. Помню, что я спросил родителей: «А почему мы не ходим в гости к дяде Юле?» И они мне сказали: «А он сидит в тюрьме». Я к тому времени знал, что есть такая вещь — тюрьма, и там сидят люди, которые совершили преступление. Но, что его могли посадить в тюрьму, я не допускал. То, что советская власть плохая, до этого момента я не знал. Родители мне это объяснили совершенно недвусмысленно. Я думаю, что это, в основном, был отец, я даже помню его лицо, как он мне рассказывает: «Ну, вот какой у нас строй. Они его посадили за то, что он их критиковал, писал». После этого я стал вполне сознательным противником советской власти. С этого момента я знал, что советская власть плохая. Ну, а потом вся диссидентская жизнь отца, которая началась, собственно, с этого момента, с этих первых открытых писем протеста, она вся на моих глазах происходила.

Что касается *маминой истории*<sup>4</sup>, я не могу сказать, когда мне об этом рассказали: до посадки Юлия или после. В случае с мамой я понимал, что что-то плохое было при Сталине. Потом я всё уже понимал, но в то время я ещё был в довольно нежном возрасте. Но для меня было большим сюрпризом, когда мне сказали, что у нас строй плохой. 66-й год — это время начала моей политизации. Потом, в июне 67-го, я очень хорошо помню Шестидневную войну и то, что ей предшествовало, — напряжение, страх. Я помню, как родители мамы, к которым я приезжал, слушали все эти *иностраннные голоса* и до начала войны очень боялись за Израиль. В начале войны я уехал в пионерский лагерь, а когда родители приехали ко мне на свидание, я их спросил: «А что с войной?». И они мне сказали: «Война окончилась — Израиль победил!». В этом пионерском лагере громкоговорители вещали об израильской агрессии. Но я точно знал, что хотя Советский Союз и говорит, что Израиль плохой, на самом деле он хороший.

Это был 67-й год, а в 68-м году было вторжение в Чехословакию, и это я помню ещё лучше, я был чуть старше, и об этом было очень много разговоров. И потом эта демонстрация<sup>5</sup>, и всё, что было вокруг, и разговоры знакомых... Я даже помню как мой двоюродный брат Шурик

<sup>4</sup> Дело антисталинского «Союза Борьбы за Дело Революции», 16 участников которого, включая Майю Улановскую, были репрессированы в 1951 г., см. <http://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69223>

<sup>5</sup> Демонстрация 25 августа 1968 г. на Красной площади в Москве против оккупации Чехословакии странами Варшавского договора.



Тимофеевский спрашивал тогда о каком-то нашем соседе: «А он за ввод войск в Чехословакию или против?» Как бы был такой *водораздел*: хорошие люди — это те, кто против ввода войск, а плохие — те за. В 68-м мне было 9 лет, и моя политизация была уже полной.

**Анатолий Александрович после окончания института работал учителем словесности. Рассказывал ли он Вам о своей работе?**

Какое-то время, сразу по окончании института, он работал грузчиком. Это тоже было. Деталей я не помню, но он об этом говорил. Это звучало больше как что-то такое: «Я умею и так тоже». Он был учителем, но о его учительской карьере я знаю, в основном, в связи со Второй школой. Об этом я очень много слышал. Это было в мои более сознательные годы, и я бывал в самой школе. Я, например, слушал там его лекцию «О романтической идеологии», хотя помню её довольно туманно.

Вообще, Вторая школа, даже после того, как его оттуда выгнали, очень для него была важна. Приходили его бывшие ученики, они бывали у нас дома и многое рассказывали. Я знал, что он был очень любимый ими учитель.

Отец мне рассказал довольно подробно, как он расстался со Второй школой. Насколько я помню, у него был уговор с директором, что он уйдёт сам и не заставит себя выгонять, когда это потребуется. Отец себе позволял многое в классе, а директор как бы закрывал на это глаза. Вообще, школа была очень либеральная, свободолобивая, но уговор был такой, что, если потребуется, он сразу уйдёт. И на каком-то этапе это потребовалось. Я точно не помню, было ли это связано с его подписантской деятельностью или же кто-то из учеников всё рассказал родителям, а те — кому-то другому. В общем, вызвали директора и сказали: «Что это у вас Якобсон себе позволяет?». Директор его вызвал, и он уволился.

**А что ещё отец Вам рассказывал о школе, об учениках, о традициях?**

Он очень любил школу, его любили, и он об этом много рассказывал. Я помню, что и Юна Вертман об этом рассказывала. Вообще, я так много об этом читал, что мне даже сейчас уже трудно определить, что я сам помню, а что по рассказам других. Вторая школа всегда присутствовала. Я даже помню себя в этой школе: был на этой лекции. Помню Германа Фейна, завуча, он выходил из комнаты, когда мы шли на эту лекцию. В школе я был, по меньшей мере, один раз, а может быть, и больше. И я помню, что бывшие его ученики, ученицы много раз бывали у нас в доме, вплоть до того, как мы уехали.

**Они приходили на Перекопскую?**

Да. До этого мы жили какое-то время у метро «Молодёжная», где у нас была другая квартира, а потом это была улица Перекопская.

И в обе эти квартиры ученики приходили. В частности, Ольга Рожанская, я помню. у нас бывала.

**Она посвятила Якобсону стихи. Ольга, к сожалению, погибла в Сицилии в прошлом году.**

Я слышал, что она трагически погибла, но не знал, где...

Юра Ефремов тоже был его учеником. Когда я приезжал в Москву в начале 90-х, я был у Музы Ефремовой и встречался с ним.

**А какова Ваша оценка отца как педагога, воспитателя?**

Я знаю, что его любили ученики, во всяком случае некоторые. Это было дорого для них. И для него это было очень важно, но я подозреваю, что, в основном, сила его была в том, что он очень любил своё дело, то есть для него были дороги эти вещи — русская литература и русская история. И это передавалось людям — его страстность, его увлечённость. Он знал и любил свой предмет. К людям у него было доброе отношение, мизантропом он не был. Я не знаю, какой он был педагог в каком-то техническом смысле этого слова.

Он ещё был и репетитором, давал частные уроки русского языка. Я достаточно хорошо помню, что к нему приходили ученики, он объяснял им грамматику. Когда я просил его о помощи в то время, когда сам учился в школе, мне казалось, что он умеет объяснить *ясно*. В этом смысле у него был преподавательский талант.

**Я хотел бы обсудить с Вами историю с А. Локшиным, который учился в нашем 8 «В» классе и был любимым учеником Якобсона. Весной 1966 г. Локшин тяжело заболел. Якобсон очень переживал и пошёл его навестить, не ведая, в какую семью идёт. Там, в изложении Майи Александровны Улановской<sup>6</sup>, он не удержался в разговоре с Локшиным-старшим, и разговор был при его сыне, которому было тогда 15 лет.**

**То, что он не удержался, было страшной травмой для Локшина-младшего. Но насколько справедливо утверждение Локшина-младшего<sup>7</sup>, что Якобсон заранее знал, куда идёт, и использовал его болезнь, чтобы проникнуть в их семью для «разведки боем», «идентификации» и сведения счётов с его отцом?**

На это мне легко ответить. Я готов согласиться, что отец не удержался. Это на него, к сожалению, похоже. Он мог не сдержаться, тем более, что речь идёт о конкретном человеке, возможно, принесшем много горя нашим близким друзьям. В данном случае ситуация была экстремальная. Понятно, что не надо было затевать разговор при ребёнке, это неправильно. Но то, что он был способен на подлость,

<sup>6</sup> Н. М. Улановская, М. А. Улановская. История одной семьи. Мемуары. СПб.: ООО «ИНАПРЕСС», 2003-464 с.

<sup>7</sup> А. А. Локшин. «Гений зла». Москва, МАКС Пресс, 2003.

как Локшин-младший описывает, это совершенно невероятно. Это чепуха. Он может так думать, подозревать, но, насколько я знаю характер моего отца, в нём этого совершенно не было. Он был человеком предельно честным и страстным, поэтому такой заведомо нечестный поступок по отношению к ребёнку мне кажется невероятным. Это никак с отцом не вяжется. Я не идеализирую отца, как раз вспыльчивость у него была, в это я готов верить, но в то, что это так было им спланировано, я совершенно не верю. Более того, Локшин-младший об этом знать не может, это только его домыслы. Как он может знать, какова была мотивация моего отца, когда он к нему шёл? Это на самом деле только домыслы. Я, со своей стороны, тоже всего знать не могу, но доводы Локшина-младшего кажутся абсолютно невероятными.<sup>8</sup>

**Поговорим о поэзии. По словам Иосифа Бродского, в России было четыре поэтических святых: Цветаева, Ахматова, Мандельштам и Пастернак. Выделял ли Якобсон кого-либо из них?**

Может быть, он выделял Ахматову. Термин «святые» он не употреблял по отношению к поэтам, у него было очень чёткое определение — «гениальный поэт», и эту гениальность он относил ко всем четверым. Я думаю, что Ахматова в этой четверке стояла на первом месте.

**В письме от 2 июля 1974 г. своей школьной учительнице Иветте Фалеевой он пишет: «...я не поэт, а поэт-переводчик... Это тоже прирождённое, а не одна техника. И это отличное поприще. Я горько сожалею, что посвятил этому в 100 раз меньше времени и сил, чем надо было посвятить. Так — за всяческой суетой, по глупости и по лени — я пренебрёг в конечном счёте своим призванием». Как Вы прокомментируете эти строки о призвании вашего отца?**

Мне очень трудно судить об этом. Человек о себе всегда знает больше, чем другие, но, может быть, он заблуждается. Это вещь очень субъективная. Я люблю его переводы, хотя, может быть, не все. У него был явный талант переводчика и в каком-то смысле талант поэта. По-моему, он не мог, как я себе его представляю, заниматься только переводами. Не случайно, что он расплылся на многие другие вещи и эти другие вещи очень страстно его увлекали: в первую очередь, литературоведение, вылившееся в книгу и другие произведения, которые он

---

<sup>8</sup> Вера Ивановна Прохорова, рассказывая историю своей посадки, пишет о книге Локшина-сына: «Особенно возмущает то, что он написал об Анатолии Якобсоне, которого я хорошо знала. Это был человек кристальной честности и душевного благородства, его никак нельзя было заподозрить в ведении какой-то двойной игры с семьёй Локшина, «разведки боем» — просто потому, что он всегда прямо говорил людям то, что он о них думал. А в книге Локшина он предстает чуть ли не шпионом, сводящим какие-то счёты». См. Вера Прохорова, «Трагедия предательства». Российская музыкальная газета, 2002, № 4. (Прим. А. Зарецкого).

назвал литературой о литературе. Это сильно его увлекало, и я не думаю, что он смог бы «наступить на горло собственной песне». С другой стороны, вся его общественная деятельность — это тоже ведь он. Его без этого тоже нельзя себе представить.

Мне кажется, что он не смог бы быть только переводчиком.

### **У него была искра Божья как у поэта-переводчика...**

Искра была, но у него она не единственная. В каком-то смысле это трагедия. Возможно, что если бы она была единственная, она могла бы быть больше, он большего мог бы достичь. У него был явно талант к поэтическим переводам, но у него были и другие таланты. Вообще, это невозможно переиграть, я не знаю, что было возможно, что не возможно, но для него было естественным быть тем, кем он был.

### **Говорил ли отец с Вами об атеизме и религии?**

Я помню его высказывания в моём присутствии. Он не был человеком религиозным, он был неверующим. То есть он не относился враждебно к религии. В советские времена религия была какой-то важной частью культуры и была сама жертвой советской власти. Я помню, что он рассказывал о своей беседе с М. М. Бахтиным по поводу «раба Божьего». Бахтин ответил ему хорошо и убедительно, но он отца не убедил в том смысле, что у него осталось убеждение, что религия — это некий тип иерархии, которую он не принимает, и это, по-моему, у него было всегда.

### **В своей работе «О романтической идеологии» Якобсон положительно отзываясь о толстовском направлении в христианстве.**

Понятно, что он понимал моральную, нравственную и культурную важность христианства. Как я уже говорил, при советской власти религия, которую советская власть преследует, давала какую-то отдушину, какую-то альтернативу. Отец был в достаточной мере человеком русской, европейской культуры, чтобы понимать культурную и нравственную ценность христианства, но он не был верующим.

### **А если понимать под верой морально-нравственные ценности?**

Очень важно понимать, что он был человеком высоконравственным, но он не считал, что эта нравственность держится на метафизической санкции. Мне кажется, я от него слышал, что более нравственно быть нравственным именно ради нравственности, а не потому, что тебе что-то обещают за это, что за исполнение заповедей ты будешь вознагражден. Не могу утверждать что это цитата, но по всему его складу и по всему, что он говорил на эту тему, я думаю, что здесь есть как бы две разные темы: историческая роль религии и вопрос *веры* или *не веры*, и насколько человек думает, что его моральные ценности приходят извне, они указаны ему свыше. Это не он.

**Перейдём к истории и поговорим о пророках и праведниках, современниках Анатолия Якобсона.**

Он считал Сахарова праведником и не считал им Солженицына. У него были претензии к Солженицыну. К Сахарову он относился с большим уважением, с восхищением.

Для отца понятия морали, чистоты, храбрости и мужества в отстаивании своих принципов были центральными в жизни.

**Помните ли Вы подробности создания «Конца трагедии» и Ваша оценка этой работы?**

Я помню конкретно, что был такой период, когда он полностью был этим увлечён. Он активно писал и ничем другим не занимался. Он вложил очень много в эту книгу, как и во всё другое, он не работал над книгой спустя рукава.

Что касается самой книги, то я её, конечно, прочёл от начала до конца, когда она была только создана. С тех пор я её не перечитывал. Я, вообще, не перечитываю книги, или перечитываю, но очень редко. Прозу, как правило, не перечитываю, а к стихам часто возвращаюсь.

По-моему, «Конец трагедии» — очень талантливая книга, но я не могу судить о ней вполне объективно. Это всё-таки профессиональная сфера. У отца был слух к поэзии, если не абсолютный, то очень высокий. Кроме того, у него был слух к русской истории. И я думаю, что его книга о Блоке — одновременно книга о революции и о русской интеллигенции в революции. Эта книга находится на стыке русской литературы и русской истории, и поэтому, мне кажется, она является очень важной. Отношение к революции, к идее насилия, к идее исправления мира насильственным путём и спасения народа установлением диктатуры — обо всём этом ему было что сказать, его эта тема очень сильно волновала. Но его также волновала и сама литература, и в первую очередь поэзия. Должен признаться, что я отнюдь не являюсь специалистом в этой области. Всё-таки есть целая литература на темы, которые отец затрагивает, и есть масса критиков Блока, с которыми он спорит так страстно, но я не читал никого из них. Я только заметил ему тогда, что, на мой взгляд, полемика его местами слишком резкая. Но он такой и был.

**В работе «О романтической идеологии», прочитанной на лекции во Второй школе, Анатолий Якобсон говорит об отчуждаемости идеи, религии — позже Сергей Лёзов назовёт это критерием Анатолия Якобсона<sup>9</sup>. Ваша оценка этой работы?**

Я даже не знал, что есть такой термин.

---

<sup>9</sup> Сергей Лёзов. «Освобождение или выживание?». — «Искусство кино», Москва, 1991, № 1.

**Точная формулировка: «проверка идеи относительно пределов ее возможной отчуждаемости».**

Эта работа, написанная до «Конца трагедии», опять-таки на стыке литературы и истории, даже в более прямом смысле, потому что «Романтическая идеология» была с сильным идеологическим акцентом. Тема этой лекции в очень значительной мере — добро и зло. Поэтому это не просто литература. Мне кажется, что лекция была очень сильная, талантливая, она произвела огромное впечатление. Трудно отделить чисто литературное и исторически-нравственное от того факта, что решение прочитать такую лекцию в советской школе было мужественным поступком, поэтому лекция вызывала восхищение. Оценить это по-настоящему мне трудно. Для этого нужно знать контекст литературоведческий: что об этом говорили другие, что говорили до этого, что говорили *после* этого. Литературу русскую я знаю неплохо, но я не специалист в критике и русском литературоведении.

**Одно из направлений Вашей научной деятельности — изучение демократии как института. Я помню ироничный афоризм, произнесённый Якобсоном на уроке применительно к советской действительности: «Демократия — вещь хорошая, но нельзя её пускать на самотёк». Беседовали ли Вы с отцом о демократии?**

Я думаю, что для него, с его мировоззрением и складом ума, демократия, либеральная западная демократия, была наиболее приемлемым политическим выражением основных моральных ценностей, в которые он верил. Не помню, чтобы мы говорили о преимуществах парламентаризма перед президентской республикой, но, в основном, западная демократия и западный либерализм были политическим выражением принципа ценности человеческой личности, гуманизма. В это он верил, поэтому в этом смысле он, безусловно, был демократом. И он считал, как и другие диссиденты того времени, что на Западе действительно существует демократия, существуют свободы, но это не значит, что он идеализировал Запад. Он вообще был не склонен идеализировать какие-либо политические системы. В фундаментальном смысле он, безусловно, был демократом и либералом.

**Оказал ли отец влияние на выбор Вашей профессии?**

Я думаю — да. У меня был интерес к истории и к литературе. Я думаю, что это не только его влияние, а и воспитание, и атмосфера, и разговоры об истории, об исторических судьбах России.

**Возникла ли тема красоты в Ваших разговорах? Красота как универсальное воплощение совершенства.**

Не помню, чтобы возникала такая тема. То, о чём он в основном со мной говорил, — это гармония поэтическая.

### **Говорили ли Вы с отцом о музыке, живописи и скульптуре?**

Отец себя, насколько я помню, не считал специалистом ни в живописи, ни в скульптуре, ни в музыке. Я думаю, любовь к этому у него была какая-то робкая. Я думаю, я и сам мало этого получил, и это был минус в моём воспитании.

### **Было что-либо в характере Вашего отца, что Вам не нравилось?**

Он был вспыльчивый. Мог быть резким, мог сорваться, не удержаться, не вытерпеть.

### **Запомнились ли Вам наиболее яркие проявления характера Якобсона: чем восторгался, что ненавидел и презирал?**

Он восторгался хорошими стихами. Поэзия, действительно, была его стихией. Я думаю, что в поэзии он в наибольшей мере проявлял свою способность восторгаться.

А ненавидел и презирал он советскую власть, все её злодеяния и людей, которые с ней *активно* сотрудничали. Сознательная подлость, сознательное вероломство, сознательное причинение зла другому человеку для своей карьеры — всё это было ему ненавистно.

В более общей форме, можно сказать, что он ненавидел несправедливость. Вопрос справедливости и несправедливости для него всегда был центральным. Он к нему относился, как говорится, смертельно серьёзно.

### **Якобсон и его друзья.**

Отец с большой теплотой относился к друзьям. Я не хочу задним числом давать оценки, кого больше он любил из друзей, кого меньше. Я боюсь, что я могу кого-то не припомнить. Вообще, если говорить о его личности, то он был безусловно человеком, для которого сидеть с друзьями и разговаривать, спорить, обсуждать и т. п. было большим наслаждением. Его любили друзья и он их очень любил, очень уважал их и был им верен.

### **Расскажите о дружбе Анатолия Якобсона с Юлием Даниэлем и Виталием Рекубратским.**

Он их любил обоих. Даниэль ведь почти все годы их знакомства, то есть пять лет, провёл в заключении. После его освобождения отец с ним опять встретился. Даниэль был для меня живым мифом. Рекубратского отец тоже очень любил. Я помню, мы однажды летом с ним и его сыновьями отдыхали на каком-то искусственном водохранилище. Оно было очень большое — километра 2-3, там ловили рыбу, разводили костёр, плавали на лодке. Я с некоторой гордостью вспоминаю, что на лодке я пересекал этот водоём туда и обратно, меня этому научили сыновья Виталия.

**Яacobсон и Лидия Чуковская.**

Лидию Чуковскую отец очень любил, преклонялся перед ней. Уважал — это не то слово: он очень её ценил. Я помню, что мы с ним ходили к ней несколько раз.

**Яacobсон в компании.**

Известно, что он был душой компании. Эти компании собирались, в основном, без меня, но иногда и со мной. Он был очень остроумным, в любой беседе каламбурил, шутил. Он в любой компании был не из тех, кто сидит угрюмо в углу, а, наоборот, очень активно участвует. Это говорят все, кто его помнит, и тут я ничего нового не могу прибавить, кроме того, что таким я его действительно и помню.

**Яacobсон и т. н. «Софья Власьевна»<sup>10</sup>.**

У людей того времени было такое ощущение: есть мир наш, а есть тот мир, которому мы глубоко чужды и с которым мы в той или иной степени в конфронтации. Мой отец был в открытой конфронтации с тем миром.

**Что наиболее сильно его возмущало в советской власти?**

Несправедливость её, что людей она *сажала*.

**А легитимность её?**

Не верил он в её легитимность потому, что идеологически на каком-то этапе — достаточно раннем — отказался от марксизма. Я помню, он мне рассказывал, что, будучи студентом, он спорил с моим дедом Александром Петровичем Улановским по поводу Маркса. Тогда отец был ещё марксистом, а дед отродясь был анархистом, и марксистом никогда не был, даже когда воевал за советскую власть. Но потом отец сам пришёл к выводу, что Маркс был нечестным, потому что скрыл тот факт, что положение рабочего класса начало улучшаться уже в XIX веке. А Маркс настаивал на теории абсолютного и относительного обнищания пролетариата. То есть не только относительного, но даже и *абсолютного*, в то время как во второй половине XIX столетия имело место абсолютное обогащение рабочего класса. Отец увидел в теории Маркса глубокую ложь. Надо обратить внимание на тот факт, что он критикует Маркса с позиции, которой не была чужда марксистская постановка вопроса. Он не говорит, что положение рабочего класса вообще не важно, а важна только духовность или только культура. Для него было очень важно определить: правда это или неправда, что капитализм обрекает рабочий класс на нищету, которая будет только ужесточаться. Поскольку Маркс сознательно исказил ситуацию, он виновен в персональной нечестности.

---

<sup>10</sup> Советская власть



А что касается советской власти, то он был её сознательным идеологическим противником. Встреча с мамой, вся история её дела, всё, что она могла рассказать, — это тоже на него подействовало, но это не было его первой встречей с советскими реалиями. Задолго до этого его дядю арестовали и погубили, потом был антисемитизм последних лет Сталина, потом отец рассказывал о деревне советской, кохозной. События, которым он был там свидетель, были для него большой травмой. В начале 50-х он понял, что такое кохозный строй.

То есть он считал советскую власть нелегитимной. Но главным в его борьбе был не вопрос легитимности её, потому что в то время трудно было представить, что есть какая-то политическая альтернатива советской власти. Я думаю, что он не мыслил такими категориями. А мыслил категориями нравственными: совершается конкретная несправедливость по отношению к конкретным людям, и наш долг протестовать против этого.

Это началось с того, что посадили его друзей — Даниэля, но продолжалось и потом. В 68-м году я помню его сильное возмущение — вторжение в Чехословакию было воспринято им, как и многими, как личная травма, как какое-то несчастье.

Я думаю, что вся его общественная деятельность была продиктована *нравственным* чувством и, опять-таки, чувством *солидарности* с друзьями, потому что дружба для него была святыней. И началось с того, что посадили его друга, это, я думаю, тоже очень существенно.

**Ваша оценка правозащитной деятельности Анатолия Якобсона: его открытых писем, работы над «Хроникой», участия в Инициативной группе?**

Я не знаю, как это сегодня исторически оценить, но его личный вклад в это дело был очень большой. И как ко всему, он относился к этому очень честно и очень страстно. Он не играл в это. Для него это были не шутки.

**В диссидентском движении возникали *бесовские моменты*, к которым Якобсон относился резко негативно.**

Я помню, что вокруг дела Якира и Красина были такие моменты. Отец не только был против элементов разложения на почве политической деятельности, но сама политическая деятельность, сам политический аспект, который сам по себе вполне легитимен, его не увлекал совсем. Я помню, были споры по поводу денег НТС, и он был категорически против того, чтобы эти деньги принимать. Он думал, что советская власть этим воспользуется, чтобы скомпрометировать правозащитное движение. Он на самом деле был правозащитником. И хотя по взглядам своим он был политическим оппозиционером, свою деятельность он рассматривал не как политическую оппозицию, а как защиту прав

человека. Об этом многие так говорили, потому что назвать себя политическим оппозиционером по отношению к советской власти значило подвести себя под 70-ю статью Уголовного Кодекса. Поэтому из чувства самосохранения многие этого не делали. У отца же это было вполне искренне не потому, что он не был её политическим противником, он им на самом деле был, но он не хотел заниматься политикой, а хотел заниматься защитой людей, прав, справедливости. Он совершенно не думал, что есть какой-то шанс на смену власти. Ему это казалось нереальным.

**Просил ли Вас отец писать письма в тюрьмы и спецпсихбольницы, чтобы поддержать узников советской власти? С кем Вы вели переписку?**

Помню точно, что с Петром Григорьевичем Григоренко. И эта переписка была по прямой просьбе родителей. Отец сказал, что для Григоренко очень важно получать письма. Количество писем, которые он пишет, ограничено, но получать он их может без ограничений, поэтому это очень важно. Если я не ошибаюсь, однажды я написал Владимиру Гершуни, тоже, по-моему в психушку.

**Когда Якобсон возвращался домой с «конспиративных квартир», где он сутками редактировал «Хронику», его ждал верный пёс. Расскажите о Томике.**

Я помню — ночью это было, я спал. Вдруг открылась дверь и проковыляла собака Томик. Он ещё был щенком и сильно хромал, позже он почти выздоровел, только чуть-чуть прихрамывал. И отец мне рассказал, что Томик пошёл за ним вслед, то есть Томик его нашёл. Так отец описывал это событие. Он очень любил Томика.

**И он взял его собой в Израиль.**

Это было у меня на глазах, когда в аэропорту Шереметьево таможенник подошёл к отцу и сказал, указывая на клетку с Томиком, что надо позаботиться, чтобы собачка перенесла полёт. Отец спросил: «Сколько?». Тот, кажется, запросил 100 рублей — сумму, равную тогдашней месячной зарплате. Он вымогал, это было очень нагло, потому что человек улетал, и с ним можно было не церемониться.

**Что Вам запомнилось во время проводов Якобсона в вынужденную эмиграцию в августе-сентябре 1973 г.?**

Проводы были несколько хаотичные, люди приходили, уходили. Было очень много людей, бутылок, прощаний и слёз. Помню я это очень туманно.

**А проводы в Шереметьево Вы помните? Почему вылет состоялся со второй попытки?**

Они нас дотошно шмонали. Я помню, что держал в руках транзисторный приёмник. Может быть, таможеннику, который нас досматривал,

показалось, что я держу этот транзистор несколько нервно. Он решил, что этот приемник надо разобрать до последней детали. Он разобрал приемник и начал над ним колдовать. Это продолжалось бесконечно. Наверное, он думал, что в этом приемнике мы вывозим «советского завода план» или золото, или то и другое вместе. В результате мы не успели на посадку по их вине, не по нашей. И они нам предложили вполне корректно: «Зачем так торопиться? У вас виза действительна ещё два дня, улетите в следующий раз, проблемы с билетами не будет». Было страшновато, было ощущение, что это большой риск. Но, во-первых, у нас не было выхода, а во-вторых, если советская власть хочет арестовать, то для чего устраивать задержку с вылетом... Короче говоря, мы согласились.

Я помню, что вернулся тогда в квартиру бабушки — Надежды Марковны — у Красных ворот: я позвонил в дверь, открыла мне её подруга. При виде меня у неё появился страх в глазах, а я рассмеялся. Услышав этот смех, она сразу поняла, что всё нормально: если бы отца арестовали, вряд ли бы я стал смеяться.

Атмосфера была такая, что если тебя задержали, то непонятно, что может произойти. Но ничего не произошло. Второй раз, 5 сентября 73-го, мы приехали в аэропорт, опять шмон, но всё прошло нормально.

Это, наверное, описано, как отец, получая визу, просил отсрочки, так как ему дали на сборы всего десять дней. Он позвонил в ОВИР, и некая сотрудница с замечательной фамилией Акулова ему говорит: «Вам я не советую задерживаться, с вами государство не шутит». Нет — так нет. Но на следующий день позвонили из ОВИРа и сказали, что есть у нас дополнительное время — они дают нам отсрочку. И я помню, это было на Перекопской, вечером того дня был семейный совет, мы трое сидим и думаем: что это может означать? Мы несколько испугались. И даже возник вариант, что отец на следующий день улетит без багажа, а мы потом приедем. Неожиданное согласие дать нам отсрочку вызвало опасение, что это плохо кончится. Но, в конце концов, мы пришли к выводу, что если они хотят отца посадить, то незачем им играть с ним. Пока самолёт не пересёк границу Советского Союза, они в любой момент могут его арестовать и посадить. Поэтому мы отказались от авантюры и решили положиться на судьбу, приняв эту отсрочку, которая была очень нужна. Я тогда сказал: «Этот вечер мы запомним». Да, был такой момент, когда мы думали: «Что это советская власть вдруг подобрела?»

**У Владимира Гершовича есть версия на этот счёт, которая выглядит весьма правдоподобно: 5 сентября 1973 г., в день отлёта Якобсона, П. Якир и В. Красин дали покаянное интервью иностранным корреспондентам. И в этот же день редактор «Хроники текущих событий» уехал за рубеж. КГБ хотело приурочить одно событие к другому.**

Им невыгодно было Якобсона сажать, слишком много людей выступило в его защиту на Западе. Было письмо Питера Вирека в «Нью-Йорк Таймс», были письма президенту Академии наук Келдышу, председателю Союза советских писателей Федину. Анатолия Якобсона, получившего в 1973 г. членство ПЕН-клуба, приглашали в Университет Пенсильвании для чтения лекций.

Я помню, что об этом шла речь, и это было некоторой гарантией, но мы тогда ни в чём не были уверены. Зато мы правильно оценили ситуацию: если они решили его посадить, то это не зависит от даты его отлёта.

**Кто провожал вас в аэропорту? Я знаю, что там была Лидия Корнеевна Чуковская.**

Была Надежда Марковна — мамина мама, которая впоследствии, через два года, присоединилась к нам. Мы улетали вчетвером с бабой Таней — Татьяной Сергеевной.

**Всех, кого выпускали из СССР в Израиль перед войной Судного дня, ожидали серьёзные испытания: эмигранты-репатрианты лета осени 1973 г. попадали из «полюмя в огонь».**

\* \* \*

**Александр Тимофеевский написал стихотворение, которое называется «Якобсон в Вене» и начинается так:**

К земле прижмет колеса,  
И он уже не раб,  
Он раньше стюардессы  
Становится на трап.  
Ах, Вена, Вена, Вена —  
Свободная страна,  
И воздухом свободы  
Душа упоена....

**Как на самом деле это происходило?**

Я должен сказать, что очень мало помню отца в Вене. Но это описание мне кажется большим преувеличением. Я ничего такого не помню. Вероятно, у него было какое-то ощущение свободы. Но у Тимофеевского это всё-таки поэзия, лирика.

**Вера Ивановна Прохорова вспоминает, что на проводах Анатолий Александрович многим говорил: «Это мои похороны».**

У меня есть подозрение, что его болезнь начиналась как раз во время этих проводов. Первые признаки депрессии были уже тогда. Но они казались естественными проявлениями, потому что была сумасшедшая, экстремальная ситуация. В те дни отцом владели, вероятно, противоре-

чивые чувства. У него, понятно, не было безусловной радости, что наконец-то он вырывается из Советского Союза. Этого не было. Но я также не помню, чтобы он выглядел, как приговорённый к смерти или как беженец, которого выталкивают из страны. Этого тоже не было. В первые дни у него и к Израилю было определённо положительное отношение. Помню, например, что когда его спрашивали, ещё в Москве, не поедет ли мы в Америку, он говорил, и я это слышал сам: «Я еврей и я русский, но я не американец, и поэтому или остаться здесь — или в Израиль, и ни в какую Америку я не поеду». Когда же началась болезнь, она проявилась именно на почве ностальгии. Я плохо помню, каким он был в первые дни, скорее всего потому, что не было никаких экстремальных проявлений: не было торжества, как в стихотворении Тимофеевского, но и противоположного не было. Оно наступило позже, а не в самые первые дни.

### **Что Вы помните о Вашем пребывании в Вене?**

У меня осталось два ярких впечатления.

Мы сошли с самолёта Аэрофлота, австрийские жандармы с овчарками и израильскими автоматами узи отвезли нас в замок Шенау.

Там мы провели одну ночь в довольно стеснённой полуказарменной обстановке. Это был лагерь эмигрантов. Раньше эмигрантов возили в Вену на экскурсию. При нас этого не было, опасались теракта, который произошёл уже после нашего отъезда в Израиль. Шенау охранялся вооружёнными жандармами. Я помню, что эмигранты старшего поколения с некоторым содроганием относились к ним, их немецкому языку и овчаркам.

На следующий день автобус еврейского агенства Сохнут отвёз нас на аэродром — лететь в Израиль. И вот, автобус с советскими репатриантами приближается к самолёту, который неожиданно возникает перед нами — самолёт Эль Аль с изображением израильского флага на нём. В автобусе люди начали буквально плакать — я помню плач и причитанья от переживаний и восторга. Это был эмоциональный всплеск при виде большого бело-голубого флага с маген-давидом. Для советского еврея в 73-м году этот флаг был символом того, что советская власть для него кончилась, и начинается Израиль. И тут я слышу — за нами сидит какая-то женщина, и тоже причитает: «Слава богу, наконец-то; сколько мы пострадали, сколько мы от этого ОБХСС натерпелись!». Тут мы переглянулись — что называется, от великого до смешного... Это очень красноречивое подтверждение. С нами имела дело совсем другая организация.

### **Вот вы стоите перед трапом самолёта, сейчас поедете в Израиль. Вспоминали ли Вы о прошедшей жизни?**

Когда мы уезжали, у нас у всех было ощущение, что это нечто революционное и необратимое, что возврата нет, что нас ждёт совершенно

другая жизнь, где всё по-другому. Было ощущение, что уезжаем навсегда, но я не помню, чтобы я думал о прошлой жизни, когда мы поднимались по трапу израильского самолёта.

**Противоречивая ситуация: отец эмигрант, сын репатриант. Вы согласны, что Якобсона выпихнули в эмиграцию?**

У отца был такой лозунг, что он спасает сына. И этот лозунг имел под собой подоплёку, но это не противоречит тому факту, что его выпихнули в эмиграцию. Он спасал меня в том смысле, что я не буду жить в этой стране при этом режиме, и это как бы смягчало тот факт, что ему была прямая личная угроза. Он был вызван на допрос в КГБ, ему предложили давать показания (по делу № 24, как я помню) и угрожали арестом, если он откажется. Я не исключаю, что, если бы он заявил КГБ, что уходит из политической жизни, прекращает заниматься крамолой, антисоветчиной, то, не исключено, он мог бы остаться даже без дачи показаний, — но в этом я не уверен. Вариант показаний был для него, конечно, исключен. Во всяком случае, его бы непременно посадили, если бы он продолжал заниматься тем, чем он занимался. Кроме того, был ещё медицинский факт — у меня была болезнь почек, и врачи сказали, что в Израиле меня можно вылечить. Потом оказалось, что серьезность болезни была сильно преувеличена, но тогда он об этом не знал. Его разговор о том, что он уезжает ради сына, имел, дополнительно, и медицинский смысл.

Отец не был сионистом никогда, это существенно, но всегда к Израилю относился очень положительно. Я бы назвал его про-сионистом, он был определённно за идею еврейского государства, но он не был сионистом в том смысле, что он не принадлежал к сионистскому движению, к сионистской среде в Москве. Я помню его выражение: «У меня своя футбольная команда». Он не считал, в отличие от московских сионистов, что Израиль — единственное место для всех евреев. И он, конечно, был против того, чтобы кому-то читали мораль, что он остается в России и не едет в Израиль, к чему многие сионисты были склонны. Я сказал бы так: ещё будучи там, в России, он к Израилю относился гораздо более положительно, чем к российским сионистам, потому что они ему казались (не все, но многие из них) ограниченными. Казалось, что они слишком акцентируют вопрос на национальности и этническом происхождении. Некоторые из них позволяли себе по отношению к России высокомерные высказывания, хотя русофобии настоящей я среди этих активистов не помню. К Израилю он относился положительно, но он сам был человеком русской культуры. В нормальной ситуации, я думаю, он остался бы в России. Для людей его круга — диссидентов, демократов и либералов того времени — положительное отношение к Израилю было естественным хотя бы потому, что советская власть была против, и там, где она преследует и клеймит, порядочный человек должен

быть — за. Потом он всегда знал, помнил и никогда не игнорировал тему антисемитизма. Он был сильно ассимилирован культурно, но он не был из тех ассимилированных евреев, которые пытались не заметить тот факт, что существует антисемитизм. В той среде, в которой он вращался, среди той русской интеллигенции, частью которой он был, антисемитизм считался позорным явлением. Антисемитизм — это было для хамов, для советской власти. Его отношение к Израилю было изначально положительным, он об этом писал и говорил. Я бы сказал так: он был эмигрант, который был очень доволен тем, что его сын — репатриант.

**Сергей Ковалёв, вспоминая о Вашей политизации в детские годы,<sup>11</sup> отметил: «...было совершенно ясно, что при внимании к Толе и Майе наших органов, этот ребенок был находкой просто. И в любой момент надо было ждать страшного какого-нибудь шантажа через Саньку. А если нет, то в самое ближайшее время появится самая новая, самая молодая «жертва политрепрессий». Не было ли со стороны КГБ попыток шантажировать Вашего отца таким путём?**

В те времена это не было частью их репертуара, во всяком случае, так мне кажется. Были угрозы по отношению к нему, его грозили посадить, и он боялся в основном психушки, больше, чем лагеря. Но через меня ему не угрожали.

**Война Судного дня закончилась победой израильтян. Как представлял себе Анатолий Якобсон решение арабо-израильского конфликта?**

Я не могу припомнить каких-то конкретных политических разговоров в отношении плана урегулирования того или другого, отдавать или не отдавать территории. Но в одном я вполне убеждён: у него было, с одной стороны, положительное отношение к государству Израиль, а с другой — резко отрицательное отношение к любым проявлениям ксенофобии и расизма в отношении арабов. Он встречался с такими высказываниями среди русских *олим* и среди некоторых своих знакомых. Некоторые ударились в религию, и это, к сожалению, иногда сопровождается такого рода проявлениями. Отчётливо помню, как он описывал инцидент в автобусе, который ехал через арабскую деревню по пути в Неве-Яков, где мы жили. Вот что там произошло. Какой-то арабский пассажир хотел сойти, а водитель на остановке не остановился. Пассажир пожаловался, и, по рассказу отца, другие пассажиры отреагировали на это враждебно, потому что он был араб. Я помню, что отец об этом рассказывал с большой яростью. У него была такая же реакция, как вообще на любую несправедливость. Он

---

<sup>11</sup> См. В. Тольц, Памяти Анатолия Якобсона. Транскрипт передачи Радио Свобода из цикла «Разница во времени» 27 сентября 2008 г.  
<http://www.svobodanews.ru/Transcript/2008/09/27/20080927004833763.html>  
<http://www.antho.net/library/yacobson/about/vladimir-tolts.html>

где-то писал, что арабские лидеры — бандиты, они виноваты во многом, что кровь проливается, в основном, по их вине, но, всё-таки, какая-то её часть проливается из-за еврейского хамства по отношению к арабам. Это высказывание не было конкретно политическим. Он не предлагал что-то отдать или не отдать, отступить или уступить, но представление о том, что справедливость необязательно целиком на одной стороне — это у него было. Это была естественная часть его общего мировоззрения.

**В начале сентября 1975 г. в Париже впервые проводился симпозиум, посвящённый творчеству Бориса Пастернака (Colloque de Cerisy-la-Salle). Что Вам известно о поездке отца в Париж?**

Помню, что была такая поездка, но она состоялась не в самые лучшие для отца времена. Он встречался там с кем-то — у него там были друзья, знакомые, — подробностей я не помню.

**Анатолий Якобсон жил в Париже у Андрея Снявского, которому посвятил такие строки:**

*Снявскому-Терцу*

**Снявский был особенно любим...  
Молясь его многострадальной тени,  
Абраша, перед именем твоим  
Позволь смиренно преклонить колени!**

**Говорил ли Ваш отец о друге своего друга Даниэля?**

Отец рассказывал о достойном поведении Снявского на суде в 1966 г. Он его очень ценил, но личным другом отца был Юлий Даниэль.

**В 1975 г. в парижской газете «Русская мысль» было опубликовано интервью с Игорем Шафаревичем, где тот говорил, что люди, уехавшие из России «добровольно» — «просто не выдержали давления», и, следовательно, «у них не оказалось достаточных духовных ценностей, которые могли бы перевесить угрозу испытаний». На это ему ответил Юлий Даниэль в своем «Заявлении». А как Якобсон отнёсся к сборнику «Из под глыб», в котором содержались статьи Солженицына и Шафаревича?**

Не помню полемики вокруг этого сборника. Отец в последние годы весьма критически относился к Солженицыну и отрицательно — к его идеологически антизападной направленности. То же самое, я думаю, относится и к Шафаревичу. Я помню выражение Шафаревича «малый народ» — это говорилось в явно антисемитском контексте. Я не помню, чтобы отец конкретно высказывался об этом сборнике, но вообще Солженицына он подозревал в антисемитизме даже в большей степени,



чем Шафаревича. К антисемитизму отец относился не просто отрицательно, но с большим гневом. Это для него был всегда важный вопрос. Всякое анитисемитское, реакционное — тем более черносотенное — направление, включая идеализацию российской монархии, было ему глубоко чуждо. В этом смысле он, действительно, был либералом, западным демократом, хотя и не радикальным, по нынешним понятиям, либералом. Отец не был воинствующим атеистом, антирелигиозным или антихристианским. Поэтому у него не мог вызвать возражений тот факт, что для Солженицына христианство является центральным аспектом русской культуры. Но он достаточно хорошо знал русскую историю, чтобы относиться отрицательно ко всему, в чём он видел проявление антилиберальных настроений, монархизма или антисемитизма.

### **Насколько продвинулся Яacobсон в изучении иврита за годы, прожитые в Израиле?**

Он говорил на какие-то элементарные темы.

### **Смог бы он сдать экзамен по ивриту, необходимый для защиты диссертации в Иерусалимском университете?**

Не знаю. Вообще, это уже была ситуация, когда он не мог нормально учиться... Я думаю, что таланта к другим языкам у него не было. Он был очень русскоязычным человеком. Хотя, как я Вам уже говорил, испанский он изучил в достаточной мере, чтобы понимать оригинал, переводя Лорку и Эрнандеса. Английский он знал слабо, а иврит — очень ограниченно, только на разговорном уровне.

### **Упоминал ли Анатолий Яacobсон о литературе на идише и иврите Зеева Жаботинского, Хаима Нахмана Бялика, Шолома Алейхема?**

О Жаботинском, я помню, он высказывался. Думаю, что Жаботинского он знал и ценил как замечательного русского публициста, чьи статьи и фельетоны являются, с одной стороны, сионистской классикой, а с другой — замечательным образцом русской публицистики. Жаботинского он ценил и как личность. Что касается Бялика и Шолома-Алейхема, я не помню, чтобы мы о них говорили.

### **Яacobсон о своих друзьях в Израиле.**

Он тосковал по старым друзьям. Его ностальгия была явно патологическим явлением — он был болен, но она существовала и сама по себе, то есть она бы, несомненно, существовала даже, если бы он не был болен. Непонятно, что за счёт чего её относить, но ясно, что он тосковал по своим друзьям в России. В Израиле у него появились новые друзья, которые были тоже русскоязычные.

Он был болен, нам трудно примириться с этим... Ведь болезнь — это не просто тоска по Родине в усиленном, ужесточённом варианте. Тоска бы у него была в любом случае, я в этом не сомневаюсь.

Понятно, что для него Россия и его российские друзья были напоминанием того, какая произошла катастрофа. Я совсем не хочу сказать, что всё было бы не так, если бы он был здоров, но так как он был болен и болен на этой почве, то я не знаю, что сказать по этому поводу. Понятно, что для него его самые близкие друзья остались в России, это можно сказать без оглядки на болезнь.

### **Как друзья помогали Якобсону в новой жизни?**

Ему не могли помочь люди в Израиле, потому что он не нуждался в утешении, он нуждался в лечении. В этой ситуации, по большому счёту, никто не может помочь. Друзья могли принести какую-то минутную радость. Болезнь не была непрерывной, у него были минуты радости, но помочь ему могли только врачи. А может быть, и не могли. Я не знаю.

### **Известно, что Якобсон общался со Шломо Пинесом<sup>12</sup>.**

Я помню, однажды отец и я приходили к Пинесу. Отец встречался с людьми. У него были друзья и знакомые, с которыми он встречался без меня. У него была активная жизнь.

Я помню, однажды отец и я приходили к Пинесу. Отец встречался с людьми. У него были друзья и знакомые, с которыми он встречался без меня. У него была активная жизнь.

### **Какие были взаимоотношения у Якобсона с сотрудниками кафедры славистики Дмитрием Сегалом, Омри Роненом, Лазарем Флейшманом?**

Я помню, что в начале они встречались — были встречи и контакты профессионально-приятельского характера. Потом возникли конфликты, но я не помню деталей. Проблема была в том, что когда у него в то время возникали конфликты, его реакция из-за болезни порой была неадекватной. Мне очень трудно говорить о подробностях его отношений с людьми. Я вообще в этом не очень силён, а в этой ситуации тем более.

### **Отношение Якобсона к структуралистическому направлению в литературоведении?**

Это не близко было его сердцу. Он воспринимал структурализм как некую технику, которая, может быть, и имеет какой-то смысл, но не является главным. Ему казалось, что люди этого направления, в отличие от него, как-то слишком ставят структурализм во главу угла. Я не думаю, что он структурализм отрицал или считал, что тот лишен всякого смысла. Просто это было ему не по вкусу.

---

<sup>12</sup> Шломо Пинес (1908–1990) — крупнейший израильский философ и религиовед, историк средневековой еврейской и арабской философии.

Он не был совместим с методологией, которая себя считает единственно верной. Он не очень структуралистов признавал, и они, насколько я понимаю, отвечали ему взаимностью.

**В Израиле Яacobсон читал лекции, проводил семинары. Что Вам известно об этом?**

У него были выступления и лекции. Он пытался заниматься литературой. Всё, что он написал здесь, в Израиле, не было лишено ценности, но он сам уже был не он. Он был достаточно сильной личностью, был привлекателен, но люди, которые его знали только здесь, на самом деле его не знали. И у меня такое ощущение, что о нём трудно судить по тем вещам, которые он говорил и писал здесь. Я не говорю, что это только болезнь. Это некая смесь Яacobсона с его болезнью.

**Ваше мнение о последней литературоведческой работе Яacobсона «Ваханалия» в контексте позднего Пастернака», бывшей частью его диссертации «Соотнесённость реально-исторического и карнавалльно-мистерийного начал в русской поэме XX века (Блок, Пастернак)? Кто были рецензенты?**

Я знаю, что он над этим работал, но не помню, кто были его рецензенты.

**Яacobсон собирался написать книгу о М. Цветаевой. Сохранились ли черновики к этой работе?**

Цветаева была одним из его самых любимых поэтов. По поводу черновиков мне ничего неизвестно.

**За два года до своей гибели Анатолий Яacobсон женился на Лене Каган.**

Я помню её, я с ней общался. Для меня было неожиданностью, когда он мне объявил, что женится. У них ведь был большой разрыв в возрасте, Лена — почти моя ровесница. Теперь я понимаю, что в этом не было ничего неординарного. Конечно, я сегодня понимаю, что она принесла ему в конце жизни большую радость.

**Когда Вы в последний раз видели отца? О чём говорили?**

В его последние дни было очевидно, что туча надвигается. Я помню, это было уже в последние дни, как он мне сказал, что «то состояние» опять возвращается. Теоретически мы знали, что есть опасность, что он «это» сделает. Он раньше пытался «это» сделать, и мы знали, что болезнь может опять к этому привести. До этого у него было более-менее нормальное состояние, а в последнее время это началось, надвигалось на него, и он это чувствовал. Скорее всего, именно так он мне и сказал, когда мы говорили в последний раз. Мы знаем, что он так чувствовал, так ощущал, и так говорил об этом другим людям. К несчастью, он выбрал момент, когда у него ещё было достаточно физических сил, чтобы «это» сделать.

Я даже не знаю, была ли тут совершена ошибка в лечении, то есть можно ли было дать ему какое-то лекарство, возможно литий... Но, к сожалению, это не было неожиданностью. То есть это было неожиданностью, когда случилось, было шоком, но, задним числом, при этой болезни такой исход, к сожалению, достаточно обычное явление.

Мне кажется, что я помню его такое мрачное лицо и слова, вроде: «Опять, ещё раз». И это «ещё раз» имело такое специфическое значение — мы оба знали, что имеется в виду. Хотя мы знали, что он находится в рамках этой болезни, но была надежда, что эти амплитуды колебаний не будут такими резкими, что каким-то образом он из этого выберется. Ведь был у него период какой-то более нормальный, и потом Лена, и всё, что с ней связано... Мама в письме Юне Вертман писала: «...что уж говорить, если ни молодая жена, ни сын не смогли его привязать к жизни!», то кто его мог спасти?

### **Самое сильное впечатление о жизни отца в Израиле?**

Я не могу сказать, что в Израиле всё было только горестным и мрачным, но всё это было под знаком горечи почти с самого начала, то есть после первых дней. Самые первые дни мы не понимали, думали, что это был какой-то ажиотаж, возбуждённость, — то, о чем Тимофеевский пишет — такая радость, свобода... В первые дни мы как бы ничего особенно не заметили, но потом достаточно быстро это всё возникло — было понятно, что это болезнь. И совсем в себя прежнего он не приходил никогда.

То, что люди, которые узнали моего отца здесь, помнят и любят его, говорят о том, что запас его обаяния был такой, что даже когда он работал с очень ограниченной эффективностью, люди его всё-таки воспринимали, это говорит о том, каким он был там. Настоящий Якобсон был, конечно, там, а не здесь.

### **Смерть Анатолия Якобсона: поминальные речи близких и друзей.**

Ничего не помню. Но это не значит, что там не произносились существенные вещи. Это моя память так работает.

### **Что самое ценное в работах, дневниках, письмах Анатолия Якобсона и в отношениях с людьми в Израиле?**

Психическая болезнь — это подлая, вероломная вещь. Нельзя сказать, что он был совсем не он, но он был не совсем он. Личность была сильно повреждена. Но, конечно, у него осталось обаяние, остались любовь и слух к русской литературе, и поэтому я думаю, что вещи, которые он здесь писал, имеют свою ценность. И если с точки зрения структурализма это не так, то с точки зрения самой литературы — это так! Поэтому нельзя сказать, что тут ничего ценного не было. И отношения с людьми тоже имели свою ценность, и, само собой разумеется, что для Лены это имело свою ценность. Но для меня он уже здесь не был таким, каким я его знал там.

### **Каковы особенности личности Вашего отца?**

Яркость! Он был очень ярким и талантливым человеком. Он был человеком очень честным, очень чистым. И он был человеком мужественным, который, безусловно, боролся. Не только на словах верил во всякие светлые вещи, а был готов за них бороться. И вещи, в которые он верил, мне действительно кажутся положительными. Ну, это уже вопрос мировоззрения.

### **Актуально ли творческое наследие Анатолия Якобсона в XXI веке?**

Я не знаю, что такое актуальность в этом контексте, но думаю, что наследие его имеет ценность. Я думаю, что он русскую литературу, и прежде всего русскую поэзию, знал и любил, и ему было что сказать. Он называл это «литературой о литературе». Мне кажется неудивительным, что профессиональные структуралисты это выражение не воспринимают, ибо для них принятие его — это признание правоты противника. Но поскольку русская литература имеет ценность, то и всё написанное о ней с любовью и талантом имеют свою ценность.

### **А его мысли об отчуждении идей, теорий и религии, его редактирование неподцензурной «Хроники текущих событий», его нравственное сопротивление и борьба ненасильственными методами с тоталитарным режимом?**

Это тоже имеет безусловную ценность! Во-первых, это имело морально- нравственную ценность в своё время. Трудно это оценить сегодня, и на ум приходит известное выражение Дэн Сяопина. Его спросили, какова его оценка французской революции, а он ответил: «Слишком рано судить. Нет перспективы». Может быть, это легенда, но так говорят.

О 60-х и начале 70-х годов в России сегодня, мне кажется, трудно судить. В 90-е годы казалось, что это было частью революции и в каком-то смысле подготовило почву для более радикальных политических изменений, чем те, о которых мой отец мог мечтать. Я думаю, что он бы очень удивился и обрадовался, если бы ему сказали, что советская власть обречена, и что Андрей Амальрик был почти прав. Я думаю, что отец не относился серьёзно к этому предсказанию — доживёт ли советская власть до 1984 года. Она начала умирать в 85-м.

В диссидентской деятельности он, безусловно, сыграл свою роль, я не могу точно судить, какую, но думаю, что она была значительной. Он стоял у истоков этой деятельности: его открытые письма после суда над Даниэлем, Гинзбургом, Галансковым и другие вещи фундаментально важны в этом движении. И Инициативная группа и «Хроника» — очень важные вещи внутри диссидентского движения.

Вопрос в том, как сегодня оценивать всё это явление. Правильнее называть это явлением, а не движением, потому что отец всегда принадле-

жал к тем людям, которые свою деятельность считали не движением, а явлением. Сейчас трудно судить, какое историческое значение имеет это явление, просто потому, что трудно судить, какой процент свободы всё-таки останется в России. Ясно, что за последние годы произошёл резкий поворот, я не знаю, можно ли его назвать поворотом назад, но явно в сторону, противоположную идеалам свободы и демократии. Это уже мое личное мнение, но мне кажется, что этот путинский термидор в какой-то степени был неизбежен после хаоса 90-х. В какой-то момент, мне кажется, усиление власти, реставрация государства и государственной власти были неизбежны. Понятно, что это вышло за пределы совместимости с некими базисными понятиями демократии. Российское государство, когда оно начинает двигаться в направлении усиления власти, очевидно, не может остановиться на каком-то разумном этапе. И поэтому сейчас, когда я изредка смотрю новости российского телевидения, это выглядит как дворцовая хроника. Печально на это смотреть.

Поэтому я не знаю, как на сегодняшний день оценивать диссидентство и его историческую роль. Тем не менее, при всём плохом, что есть, надо признать, что уже нет советской власти, нет тоталитаризма, а есть режим со сравнительно большей степенью свободы, чем тогда. В любом случае, нравственно диссидентство, безусловно, было существенным историческим явлением.

**То есть нравственное сопротивление — это завет шестидесятников России нынешней?**

Да, я думаю, что власть, даже очень могущественная и угрожающая, не должна иметь иммунитет, не должна пользоваться неприкосновенностью. И не должна быть защищена от критики и от морального сопротивления, потому что если это было возможно в 60-е годы, то тем более это должно быть возможно и сегодня. Но как именно управлять государством, какую именно политику вести — это вопрос гораздо более сложный, и я совершенно не знаю, какое у отца было бы мнение по этим вопросам. У меня, понятно, нет твёрдых мнений, потому что я очень далеко и никак не могу претендовать на роль знатока. Если бы я жил в России, наверное, у меня бы были конкретные политические взгляды.

В общем и целом, наследие это просто противоположность апатии и равнодушию и, в каком-то смысле, отказ примириться с несправедливостью, так что это было важное явление. Внутри самого диссидентства отец был более близок именно к этому аспекту явления и не претендовал на политическую альтернативу. Тут есть некое наследие российской истории. Это наследие не указывает какое-то конкретное политическое направление, но указывает направление нравственное, а эта нравственность имеет и политический аспект. Этот политический аспект

в том, что власть не должна попира́ть элементарные принципы либеральной демократии. Я бы определил политическое наследие диссидентства другим путём: не какой должна быть власть, а какой она быть не должна. Она не должна быть властью, которая попирает основные права человека.

**Снится ли Вам отец теперь?**

Нет, давно не снился. В первые годы после его смерти, я уже не помню когда, он мне приснился. Я его увидел очень конкретно и проснулся. Это было очень сильное впечатление. Не помню, чтобы у нас там был какой-то разговор. Он просто появился во сне. Может быть, так я устроен, что у меня не часто бывают такие сны.

*Иерусалим  
24 января 2010 г.*

*Посвящается 25-й годовщине со дня гибели  
Анатолия Яковсона в Иерусалиме 28 сентября 1978  
и 20-й годовщине со дня смерти Юны Вертман  
в Москве 12 августа 1983 года*

**Юна Вертман**

## **Странички о Толе<sup>1</sup>**

\* \* \*

**Юна (Юнона Давидовна) Вертман** (6/VI-1931—12/VIII-1983) — театральный режиссер и педагог, театровед, кандидат искусствоведения. В 1953 г. закончила Московский Педагогический институт им. Ленина. Преподавала русскую литературу в средней школе. В 1964 г. закончила режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина. В аспирантуре Щукинского Училища изучала творческое наследие и педагогическую систему выдающегося русского актера и театрального педагога Михаила Чехова, преподавала мастерство актера на кафедре актерского мастерства. В 1976 г. защитила кандидатскую диссертацию «Театрально-педагогическая деятельность Михаила Чехова» в Институте истории искусств, г. Москва. Преподавала мастерство актера в Государственном училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Инсценировала произведения Н.В. Гоголя, Н.Е. Салтыкова-Щедрина, А.И. Герцена. Печаталась в журнале «Театр» и других изданиях. Ставила спектакли в театрах Кишинева, Томска, Свердловска, Казани, Саратова, Новгорода, Чебоксар, Калинин, Астрахани, Иркутска. Спектакль «Записки сумасшедшего» по Н.В. Гоголю с Александром Калягиным в роли Поприщина, поставленный Юной Вертман в 1968 г. в Московском театре им. Ермоловой, стал заметным событием в театральном мире.

\* \* \*

**Анатолий Александрович Яковсон** (30/IV-1935 — 28/IX-1978) — преподаватель русской литературы в школе, эссеист, критик, поэт, переводчик, теоретик перевода, лектор. Сам он определял свои эссе как опыт создания «литературы о литературе». Результатом явился сборник статей: «Конец трагедии» (о Блоке), «О романтической идеологии» (поэзия 20-х годов) и «Царственное слово» (Анна Ахматова) — Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1973 г. За книгу «Конец трагедии» Анатолий Яковсон был принят в Европейскую секцию международного ПЕН-клуба.



А. А. Якобсон не только писатель, но и общественный деятель, один из зачинателей движения за права человека в СССР. С апреля 1968 г. по октябрь 1970 г. он был одним из составителей и редакторов подпольной самиздатской «Хроники текущих событий»,<sup>2</sup> с мая 1969 г. по октябрь 1972 г. — членом «Инициативной группы». Его именем подписаны многие правозащитные документы, в том числе и протест против суда над Синявским и Даниэлем. Осенью 1973 г. Якобсон вынужден был эмигрировать в Израиль. Осенью 1978 г. покончил с собой... Похоронен в Иерусалиме, на Масличной Горе, неподалеку от своей матери.

(Использована биографическая справка об Анатолии Якобсоне, составленная Л. К. Чуковской.<sup>3</sup>)

\* \* \*

*...Нужно написать о Толе, а не о себе и своих потрясениях. Но как разделить?*

Познакомились мы 28-29 августа 1960 г.<sup>4</sup> Я тогда полна была радостью прикосновения к желанной профессии — училась на режиссерском факультете.<sup>5</sup> Все остальное представлялось вторичным, временным, каких бы душевных вкладов ни требовало. Но живая работа с детьми все-таки невольно затягивала, а работала я тогда учительницей, преподавала литературу в старших классах. В школу 689, где уже год работал Толя, я перешла из другой — вместе с директором. От 1-й Беговой улицы сравнительно удобно было добираться до Щукинского училища — это меня и прельстило. (Нет теперь той школы — расформировали; нет и тогдашнего директора — Зои Сергеевны Дмитриевой. Она покончила с собой в 1971 г. Тоже, говорили, депрессия).

Шел педсовет. Зоя Сергеевна меня, «новенькую», представила, я встала и, что называется, остолбенела, обожженная горячим, буйным и в то же время обнаженно-добрым взглядом какого-то, как мне показалось, мальчишки.

Ему было тогда 25, а выглядел на 19; преподавал историю в тех же классах, в каких мне предстояло вести литературу, и в одном из них, 9 «Г», значился классным руководителем.

После педсовета мы стремительно и бурно разговорились; его обжигающая контактность затягивала, завораживала. (Скольких он так согрел, и до какой же степени никто из многочисленных любящих не в силах был достойно ответить, согреть и успокоить его, так обостренно нуждавшегося в понимании и успокоении.)

А через несколько дней он пришел ко мне на урок. Я лопотала какие-то банальности про декабристов, самоуверенно игнорируя поместившегося на задней парте беспокойного мальчишку — классного руководителя Анатолия Александровича Якобсона. Стыд от этого воспоминания не прошел до сих пор. Хотя, с другой стороны, если бы

я знала, при ком я дилетанствую вокруг одной из самых пронзительных тем русской истории, у меня бы, очевидно, язык прилип к гортани. После урока «беспокойный мальчишка» отвалил мне темпераментный комплимент, которого я не заслуживала, — урок был вполне заурядным; незаурядной была Толина щедрая доброжелательность — и пошел провожать. Так, «на производственной почве», началась наша дружба.

В самом начале 60-х годов по Москве ходила наивная анкета, наподобие той, какую дочери Маркса придумали для своего отца. Некоторые Толины ответы я помню. «*Ваше представление о несчастье?*» — Ответ: «*Распоряжаться людьми*». «*Ваша любимая песня?*» — Ответ: «*Это было на бану, под Ростовом-на-Дону*». Шутовской ответ объясняется тем, что у него было поразительное, комическое отсутствие музыкального слуха, тем более непостижимое при его абсолютном слухе на стихотворный ритм. «*Ваше любимое занятие?*» — Ответ: «*Трепаться с друзьями*». Как он это делал! Никто из легиона его партнеров по этому святому занятию, я уверена, никогда не забудет Тошкиных вдохновенных монологов: доверчивых, умных, горячих.

На вопрос: «*Ваш любимый режиссер?*» он ответил: «*Вертман*». Меня тогда это очень веселило: театра он никогда не знал и, в общем, не любил, мои спектакли стал смотреть много позднее, а ответ этот означал, что я принадлежу к числу тех многочисленных счастливых, с которыми он любит «трепаться».

С чего бы ни начинался так памятный многим, презревший всякое представление о быстротекущем времени треп, неизбежно выгрбали на стихи. В одном из Толиных писем ко мне есть такое признание: «*Я, знаешь ли, очень все-таки люблю стихи. Иногда кажусь себе каким-то противоестественным существом, у которого атрофированы все органы чувств, кроме одного, за счет прочих непрерывно развиваемого*».<sup>6</sup>

Когда речь шла о поэзии, он не допускал легкого безответственного тона собеседника, небрежности и тем более невежества. Дело доходило до курьезов. Когда мы в школе проводили вечера поэзии, он неистовствовал, если исполнителям аплодировали.

Отчетливо помню и такой комический эпизод: летом 1962 г. мы вместе поехали в Ленинград. Как-то так случилось, что Толе удалось выбраться туда впервые, я же бывала там не раз, город знала пристойно, к тому же еще свежа была в памяти разнообразная академическая премудрость — у нас на режиссерском историю искусств преподавали серьезно — следовательно, роль гида не доставляла мне никаких отрицательных эмоций, тем более, что слушатель попался удивительно доверчивый. Живопись он не очень-то знал, все было ему впрок и в радость. Бродили мы по городу, по Эрмитажу, по пригородам и везде, где

полагается, до одурения, все было прекрасно, как вдруг он услышал про автобусную экскурсию. И так ему захотелось! «Поедем», — говорит, — «пожалуйста, наверное, ты мне чего-нибудь не показала». Купили билеты, сели в автобус, и Тошка мгновенно уснул, потому что накануне ночью ходил смотреть, как разводят мосты. Спал себе мирно и сладко, как вдруг дамочка-экскурсовод произнесла: «Невы державное теченье и береговой ее гранит». Услышав это «и береговой», Тошка подскочил, как ужаленный, а потом приказал сквозь зубы: «Притворись, что тебе плохо». Мне было совсем не плохо, а даже очень смешно, но я притворилась, автобус остановился, мы выскочили и пустились наутек.

Его взаимоотношения со стихией поэзии были насыщены буйной силой: истовой, коленопреклоненной признательностью, когда речь шла о дорогом ему, и беспощадной, подчас даже грубой категоричностью, когда поэзией именовалось то, что было ему чуждо. Эти противоположные качества — благоговейная признательность и категоричный максимализм — весьма ощутимы во всех его последующих работах, но задолго до того, как он начал писать о стихах, он наговорил, «натрепался» с друзьями на десятки так и не написанных книг. Увы, экскерманов при нем не состоялось: мы были молоды и самоуверенны, то есть глупы. Не то, чтобы кто-нибудь из собеседников-слушателей особенно грешил невнимательностью: слушать Тошку было наслаждением, — а просто казалось все это естественным, обязательным, вечным.

Но в нем самом исподволь зрела потребность систематизации, и мы придумали факультативный курс русской поэзии XX века, как бы в дополнение к основному курсу русской литературы, который я вела на обычных школьных уроках.

Как водится, кружок русской поэзии, который ведет почему-то историк, да еще на самых что ни на есть общественных началах, не мог не вызвать подозрений; тем более, что и так, без всякого кружка, учитель Якобсон всем своим обликом провоцировал начальство бдиль в ожидании какого-нибудь беспокойства. В молодости ему всегда было жарко, зимой он ходил в расстегнутом грошовом пальтишке. Жар этот как бы накапливался в нем и около него, создавая зону повышенной опасности. Всегда казалось, что вот сейчас что-то с ним или около него стряется. «Молодой человек, почему вы здесь стоите?» — не раз при мне обращались к нему встревоженные служители городского транспорта, когда он застывал в проходе в неудобной позе, как бы изготовившись к какому-то старту, а на самом деле — вдруг погрузившись в себя. Состояние такое он сам издевательски называл «*созерцательностью идиота*», пытаясь уверить меня, что никакой внутренней работы в это время в нем не происходит. Я всегда боялась, что он попадет под машину, потому что так же он застывал при переходе какой-нибудь самой оживленной улицы. Разумеется, все эти повадки, как бы сигнала-

лизирующие, что вот-вот случится нечто недозволенное, весьма беспокоили разнообразное начальство, в том числе и школьное. А тут еще — не бреется, не заполняет журнал, ведет урок так, что слышно во всем коридоре, да и водку пьет, говорят! К тому же никогда не посещает политзанятий. Однажды, накануне какой-то готовящейся разгромной акции, я уговорила его посидеть тихонечко на каком-то докладе про нашу родную экономику, который делал некий партприкрепленный родитель-полковник. Дала ему книжку — это был «Биллиард в половине десятого» Белля — и велела сидеть смирно и читать. Он послушался, сидел, читал, как вдруг полковник изрек: *«При коммунизме будет столько-то миллионов яиц»*, *«Нет, это я не могу!»* — громко сказал Толя и, запинаясь за парты, выскочил из класса. В стадо загнать его не было никакой возможности, так что, естественно, он провоцировал разнообразных пастырей наставлять себя на путь истинный. Идет, например, педсовет; унылая, кислая завуч занудно долдонит про какие-то скворечники, про невыполненные планы, и вдруг Тошка орет с последней парты: *«Все вы олухи и грешники! Планы есть, но где скворечники?!»*

Конечно, все хохочут, а потом начинается «проработка». Его то и дело обсуждали на каких-то комиссиях, педсоветах и т. д. Но обсуждали не зло, а, так сказать, отечески: мол, пожурим мальчика, он и исправится. Один коллега-математик все говорил: *«Не поймите меня отвратно!»* Это он так извинялся, что приходится резать правду-матку; не уважает, мол, завуча, не причесывается, орет, какой-то дебош, говорят, устроил...

Но так выходило, что все его любили: и умные, и глупые. При всем своем неистовстве, он не умел создавать себе врагов.

И с кружком — поприставали, поприставали, и в конце концов отстали: пусть, мол, тешится, если времени девать некуда.

А ребята — те быстро научались любить его, хотя он и в классе не лез ни в какие ворота: бегал, очень громко кричал, смешно крутил веревочку<sup>7</sup> (веревочку изготовлял специально: добывал в магазинах, где что-нибудь упаковывали-распаковывали, а потом туго обматывал нитками). Да и небрит был часто, и нечесан. Побрить-причесать его никогда никому не удавалось. Но, посмеявшись неделю-другую над этим шумным чудачком, ребята привыкали и к беготне по классу, и к веревочке, в конце концов, вслушивались, всматривались и — попадали в поле его притяжения, как попадали туда все, кто имел с ним дело.

Естественно, что стали ходить на литературный кружок «Анатольича». Школа была обычная, заурядная, не то, что Вторая математическая, где он работал впоследствии<sup>8</sup> и где отборные московские подростки-интеллектуалы считали преступлением пропустить его урок, а тем более лекцию о поэзии.<sup>9</sup> Нет, здесь было проще. Ходили не все,

не всегда, а иногда даже убегали, как с «мероприятия». Но систематический курс истории русской поэзии XX века он, тем не менее, прочитал и даже начерно записал.

Каждое занятие кружка становилось для Толи событием, праздничным и мучительным одновременно. Мучительным, потому что степень его профессиональной добросовестности трудно себе представить тому, кто не наблюдал за процессом его труда. Светлый умница и, как казалось, моцартианец, а в иной ипостаси бражник и безобразник, Тошка готовился к двухчасовому занятию с малообразованными подростками так, как пристало готовиться к какому-нибудь ответственнейшему научному докладу. Часами, кстати, готовился и к обычным урокам истории. Однажды, то ли в аспирантуре, то ли даже еще студенткой, я попросила его написать за меня контрольную по философии. Неохота и некогда было возиться. Со стыдом вспоминаю, что он две недели школьных каникул просидел в библиотеке. А я-то заказывала безответственную болтовню, которую он мог бы настрочить за час.

Вопреки распространенному о нем представлению, вопреки манере поведения — живой, импровизационной, эксцентричной — Толя был беспощадно требователен к своему «профессиональному аппарату». Периоды интеллектуального спада, когда не думалось и не писалось, он и в молодости воспринимал как катастрофу. Последней такой катастрофы он не вынес.

\* \* \*

К сожалению, я забыла, какую из своих книг подарил ему Корней Иванович Чуковский.<sup>10</sup> Но дословно помню дарственную надпись на книге: «С восхищением и завистью». Корней Иванович читал Толины работы, однако восхищение и зависть вызваны были не только глубиной и темпераментом стиховедческого анализа. Видимо, Чуковский позавидовал тому, как отважно и естественно автор пренебрегает эзопом, как неотвратно он договаривает до конца, до исчерпанности все то, что необходимо договорить.

И так было всегда: не только в статьях, но и на уроках, и в лекциях, и в частных беседах. Никакие предлагаемые обстоятельства, никакие соображения разумной осторожности не могли притормозить этой мощной тяги к исчерпанности. Даже в начале 60-х, в лихое, крикливое время, он отнюдь не фрондировал; он просто не мог иначе.<sup>11</sup>

«О романтической идеологии»<sup>12</sup> — это лекция, прочитанная во Второй математической школе в 1967 г.<sup>13</sup> на занятиях так называемого кружка русской поэзии XX века; так называемого, потому что на еженедельные занятия собирались все старшекласники; ничего себе кружок: в актовом зале и приткнуться, бывало, негде. Блок, Есенин, Маяковский, Пастернак, Цветаева уже были отчитаны, Ахматова

и Мандельштам предстояли. (На лекции о «Двенадцати» Блока помню, кажется, девятилетнего Санечку, который, сидя на стуле, болтал ножками, не доставая до пола. «Ну, как тебе, детка, папина лекция?» — обратился к нему кто-то из взрослых тетей; «Я не во всем согласен с папой», — ответил крошка, — «Блок о многом говорил иронически, а папа обо всем одинаково серьезно». Цитирую, естественно, по памяти, но за смысл более чем ручаюсь.) Так вот, пришел черед и общему обзору романтической поэзии 20-х годов. Перед лекцией Толя заметно нервничал. Когда я этому удивилась, он ответил: «Боюсь, вдруг что-нибудь сорвется; мне обязательно надо проговорить то, что я задумал; это сейчас для меня важнее всего». Не зная содержания предстоящего занятия и, наоборот, зная Тошкино пристрастие к гиперболе, я, по обычной небрежности, не придавала этому значения. Подумаешь, проблема: ликбез для школьников...

Вместе с этой лекцией прекратилась и Толина работа в школе. «Ну, все», — обреченно сказал Герман Фейн,<sup>14</sup> тогдашний завуч. Толя подал заявление об уходе; такое было у них с Германом джентльменское соглашение — барахтаться до этого самого «Ну, все».<sup>15</sup>

«Царственное слово» написано было стремительно, чуть ли не в одну ночь. Это наиболее гармоничная из Толиных работ. А книжка о Блоке — «Конец трагедии»<sup>16</sup> — шла неровно, порой мучительно, порой слишком стремительно и взхлеб.<sup>17</sup> Ей предшествовала уже упомянутая лекция, вариант которой, по счастью, сохранился у меня в магнитофонной записи, а затем статья — «О поэзии гармонической и трагической».<sup>18</sup> (Статья представляет самостоятельный интерес также и потому, что речь в ней идет не только о Блоке, а обо всех великих поэтах первой трети века, в том числе и о Мандельштаме, к которому Толя подбирался. Удивительно чисто и внятно сказаны там самые сложные вещи.)

Подаренный мне экземпляр книги «Конец трагедии» надписан щедро: «Редактору — от автора». Увы, это преувеличение. Редактура моя сводилась к тому, что я тщетно ругалась по поводу полемической части книги. Она казалась мне шумной, мальчишеской; я все бубнила о необходимости спокойного достоинства.<sup>19</sup> Тошка иногда покорно заменял какое-нибудь второстепенное слово, но за общий тон держался крепко. Послушайся он меня, не дай Бог, — и пропал бы его неповторимо горячий, беспокойный облик, так похоже запечатленный именно в этой полемической части.<sup>20</sup>

Ему очень хотелось показать книгу Бахтину и вообще — поговорить с Бахтиным.<sup>21</sup> Я взялась съездить к Михаилу Михайловичу, который вместе с женой, такой же, как и он, практически безногой, жил тогда в богадельне на станции Гривно; смелость моя объяснялась тем, что до этого я уже была у Бахтина в Саранске: все-таки отчасти знако-

мая.<sup>22</sup> Отвезла книгу, а через неделю-две мы поехали вместе — за ответом. (Помню странный майский<sup>23</sup> день: то жарко было, то снег шел.)

Михаила Михайловича книга восхитила.<sup>24</sup> Он воспринял ее как произведение цельное и органичное. Ему нравилось все, в том числе и полемика. Он все отлично запомнил и многое цитировал. Увы, я не могу воспроизвести сказанных им конкретностей, для меня гораздо важнее было, что «дяденька Толеньку похвалил». Но зато отлично помню последующий разговор.

Тошка vez два вопроса и изловчился их задать. Вопрос номер 1: «Пили ли Вы когда-нибудь?» — «Да», — удивленно ответил Михаил Михайлович. — «Иногда с друзьями бокал хорошего вина». Толя поскущел, но все-таки задал второй вопрос: «Верите ли Вы в Бога?» — «Разумеется», — еще более удивленно ответил Михаил Михайлович. — «А я — нет», — выпалил Тошка. — «А Вы этого знать не можете», — возразил Бахтин. — «Царствие Божие — не от мира сего. Кроме того, я читал Вашу книгу и на основании этого полагаю, что Вы на свой счет заблуждаетесь». — «Все мое существо возмущается против христианской формулы “раб божий”», — не унимался Толя. — «Почему это раб? С какой стати раб?» «Это исторически конкретное определение», — ответил Михаил Михайлович. — «Ведь поначалу христианство — религия римских рабов. Раб Божий — это значит свободный человек. Не Нестора, не Пимена какого-нибудь раб, а самого Господа Бога».

Толя буквально онемел. Он был ошеломлен как простотой объяснения, так и своим, как он говорил, идиотизмом. Все повторял: «До сих пор не догадаться! Всего лишь переставить ударение! Не р а б божий, а раб Б о ж и й!» Уехал тихий, молчал всю обратную дорогу.

Работу «Вахханалия» в контексте позднего Пастернака<sup>25</sup> он написал в Иерусалиме, но предшествовало ей многое. Тошка не раз говорил, что его мечта — сделаться гениальным читателем; хорошо было бы, шутил он, если бы существовала такая профессия. Он опробовал эту профессию на стихах Пастернака. Все здесь было ему открыто, все ослепительно ясно; он говорил о целительных свойствах самого воздуха пастернаковской поэзии задолго до того, как прочитал об этом у Мандельштама. В начале 60-х годов он постоянно, по поводу и без всякого повода, читал «Стихи из романа» и «Когда разгуляется», а затем и все остальное, читал наизусть часами, не уставая, а, наоборот, успокаиваясь. Прекрасно читал: просто, внятно, светло.

\* \* \*

В 1965 г. он сделал коротенькую статью, опубликованную затем в «Мастерстве перевода» — «Еще раз о 66-м сонете».<sup>26</sup>

Отчетливо помню, как в моей квартире ночью (мне казалось, что ночью; почему-то я рано уснула) раздался телефонный звонок



и голосом, так хорошо знакомым по многократно прослушанной записи «Больницы» и «Ночи», было произнесено: *«Здравствуйте, говорит Пастернак»*. Я решила, что рехнулась. А это был Евгений Борисович,<sup>27</sup> так похожий на Бориса Леонидовича лицом и голосом Женя, которому кто-то из знакомых дал мой телефон, сказав, что через меня можно попытаться найти Якобсона. Женя, естественно, не мог не заметить статьи в «Мастерстве перевода», и захотел познакомиться с автором. Тогда уже набирали силу структуралисты, и Толина статья выделялась на их неимоверно научном фоне ясностью смысла и человечностью.

На Дорогомиловку, где жил тогда Евгений Борисович с семьей, Толя прихватил и меня, и очень хорошо сделал, но это уже совсем другая тема.

Затем была подготовлена, прочитана и, к счастью, записана учениками на магнитофонную ленту более чем четырехчасовая лекция,<sup>28</sup> не претендовавшая на концептуальную оригинальность; он строил ее широко, естественно, ссылаясь на Цветаеву, Мандельштама, Синявского.<sup>29</sup> Но тем не менее это совершенно самобытное и прекрасное произведение, потому что, адресуясь к школьникам, Толя был заведомо, особо четок и внятен. Лекция эта — школа плавания в глубоких и трудных для опасливых новичков волнах пастернаковской поэзии; при этом Толя не играл в поддавки; уважая интеллект и восприимчивость слушателей-неофитов, он открывал им глаза и уши, учил — и, главное, научал — видеть, слышать, думать и додумывать, и поскольку у доверявших ему слушателей и читателей это в конце концов получалось, они избавлялись, быть может, навсегда, от читательского комплекса неполноценности. Трудно проверить, для всех ли его учеников чтение стихов Пастернака сделалось органической потребностью, но о многих я это знаю доподлинно.

\* \* \*

Обстоятельная общедоступная лекция для школьников — это один полюс Толиных размышлений и штудий на неисчерпаемую тему «Пастернак»; другой полюс — его работа, которую он должен был защищать как докторскую диссертацию.<sup>30</sup> В Иерусалиме была написана (видимо, не вполне завершена) статья о «Рослом стрелке», но она опубликована позже,<sup>31</sup> спустя почти два года после Толиной гибели.

Мы активно переписывались все то время, что он работал над «Вакханалией...». В начале апреля 1975 г. он писал: *«С декабря до последних буквально дней балансировал я на грани дурдома, но грани этой, слава богу, не перешел. Напротив, несколько дней, как мне получше. Болезнь такова, что прошедшая (жуткая) фаза вернется неизбежно, вопрос — когда. Два бы только — три мне месяца относительного здоровья. Роздыха. Не сплошной, не беспрерывно-кромешной боли. И я сделал бы*



задуманную работу о Пастернаке (замысел, кажется, не тривиальный и не мелкокалиберный)». И дальше он просит: «...помоги-ка мне. Мне нужно в «Вакханалии...» уточнить все, что касается реалий, связанных со спектаклем...

И еще:

Как игралось подростку  
На народе простом  
В белом платье в полоску  
И с косою жгутом.

Что это? Что за подросток такой? Абсолютно непонятная строфа, а ведь она отсылает к кому-то, чему-то определенному в истории театра. Не пособишь ли?»<sup>32</sup> Просил уточнить по мере сил все связанное с театром, все «текстовые или внетекстовые моменты».

С помощью Жени я старалась помогать; прояснили о подростке, затем я стала посылать насущнейшее — переписанные фрагменты черновики Б. Л. Пастернака под видом моих стихотворных упражнений. Он, обрадованный и развеселившийся, прислал мне лаконичную телеграмму: «Браво!», а затем, в июле 75 года, продолжал шутить в письме: «О твоих виршах. В целом нехудо для начинающего автора. Несколько строчек (это премного!) мне о-очень понадобились... Одно выражение твое заимствую без зазрения совести: автор прекрасно знал, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». Это совершенно моя мысль, но выраженная с несравненным изяществом». И дальше — уже очень серьезное, о сути замысла: «...за реальным и реалистическим (в традиционном смысле слова) планом поэмы скрывается м и с т е р я. Глубоко скрывается глубокая мистерия. А в заглавии поэмы она спрятана открыто. И театр здесь (как и церковь и, пардон, блудуар) играет особую роль — сюжетно-тематическую <...> словом, нас интересует п р о и с х о ж д е н и е т е а т р а (см. заглавие), а на то, как Аллочка Т.<sup>33</sup> изображала Машеньку С. в премьеры 56 года — хорошо или плохо — мне наплевать. (Последнее — ответ на мою прохладную оценку спектакля. — Ю. В.) А увидеть эту мистерию можно, только прочтя поэму в широком контексте — в полном контексте позднего Вертмана<sup>34</sup> (он же начинающий). А для этого надо разобраться, что есть сей контекст... Пишу так медленно и трудно, как ходит на протезах человек — сразу по ампутации ног. Однако качество работы — это пройденное расстояние, на чем его ни пройти: на ногах или на протезах».<sup>35</sup>

Мне кажется, что эту самую значительную по глубине догадки Толину работу несколько холодит неорганичная для него чересчур научная упаковка. Так, что ли, нужно было для диссертации?<sup>36</sup> Впрочем, я плохой судья: может быть, он в чем-то изменился, может, я чего-то не поняла; скорее всего, он просто ближе мне прежний, доотъездный.

Толина страстность, так памятная всем, такая теплая, такая бесконечная, до самоистребления, до готовности и способности расплестись, особенно наглядно проявлялась во взаимоотношениях с сыном. Он переносил на Саньку свою собственную внутреннюю неприютность и незащищенность; любовь и жалость к сыну, малышу, несчастному Эмбриону (имя собственное; он всегда так называл Саньку) затопляла его. То обстоятельство, что Санька и в детстве был человеком цельным и, видимо, внутренне защищенным, роли не играло.

Особенно усилились безумства, когда выяснилось, что у Саньки (как, впрочем, и у большинства людей) есть хроническое заболевание. Безграничная отцовская страсть была неоднородной по жанру, в сфере бытовой трагедия то и дело оборачивалась водевилем. Толя готовил сыну какую-то особую еду, подавал, прибирал, дико нервничал, когда уже взрослый мальчик на 15 минут против обычного задерживался в школе, норовил перевести его через дорогу, не пускал в магазин, то есть вел себя, как оголтелая еврейская бабушка.

Так было в сфере бытовой. В сфере интеллектуально-духовной Санька во всех возрастах являл собой достойного партнера, и наблюдать за отцом и сыном было очень интересно, хотя иногда и смешно. Они вечно спорили, притом чрезвычайно громко, независимо от места и времени.

Году примерно в 1971-м я поставила детский спектакль в Калининском ТЮЗе; поскольку за 10 лет до того я там же делала свой диплом, и Толя приезжал, он захотел приехать на премьеру и на этот раз, тем более что теперь художником спектакля был его школьный друг Миша Тихомиров. (Миши уже тоже нет в живых; в 39 лет умер он от инфаркта.) И вот приехали Толя и Саня, стали смотреть спектакль, и вдруг Сане захотелось сказать, что актриса Икс *«хорошо играет свою роль»* (или плохо, я уже не помню). Толя что-то ответил, они заспорили — с обычной страстностью, в полный голос, с «обзываниями» — при полнехоньком зале, набитом детьми...

В августе 1970 г. мы жили вместе в Тарусе. Я снимала комнату неподалеку от дома, где у друзей гостили Толя с сыном. Как-то раз друзья эти — Саша, Марьяна<sup>37</sup> и их сын Максим — пригласили Саньку прокатиться по Оке на лодке под парусом. Толя долго взволнованно убеждал всех: *«Он не хочет! Он же не хочет!»* Но Санька отчаянно запросился — пришлось отпустить. Вверх по течению шли, кажется, на моторе, а вниз — под парусом. А мы с Толей и собакой Томом прогуливались рядом по дивной пешеходной тропе к Велигожу и обратно, по противоположному по отношению к Тарусе берегу Оки. Возвращались вечером, в сумерках; парус различить было уже трудно. Разговаривали. И вдруг с другого берега до нас донесся Санькин голос; Санька звал: *«Папа! Папа!»* «Я здесь, сынок!» — дико закричал Толя и бросился сверху к воде,

и заметался вдоль берега: плавал он очень плохо, да и вообще переплыть трудно, да и Том залаял и лаял, не переставая, так что невозможно было расслышать, что дальше кричал Саня. На счастье, неподалеку кто-то рыбачил, Толя с собакой влезли в лодку, обо мне он забыл напроць. И смех, и грех. Темно уже, одиноко. Никуда бы я, конечно, не делась, понимала, что за мной приплывут и переправят, но все-таки...

А Санька хотел сообщить нам, что лодку ставят на стояночку и дальше идут пешком, потому что темно; чтобы мы больше не старались разглядеть парус. Толе же померещилось, что тонущий сын зовет его на помощь.

Эмбрион был хотя и умным, но, с точки зрения папы, всеми обижаемым, и защищать его надо было словом и делом, то есть в случае необходимости даже кулаками. Незадолго до отъезда в Израиль, когда уже, по властному настоянию того же слабенького тринадцатилетнего Эмбриона<sup>38</sup>, были сданы документы (точная дата — конец июня 1973 г.), Толя, желая развлечь ребенка, пошел с ним на выпускное представление в цирковое училище,<sup>39</sup> где я тогда работала. Посадить всех вместе мне не удалось, растыкали приглашенных по разным местам, а Саню мои студенты посадили около форганга — как раз напротив того места, где сидел Толя. Началось представление, и оказалось, что Саня сидит неудачно, мешая выходам артистов. Стали его спокойно пересаживать. Увидев это, Толя с воплем *«Они прогоняют моего ребенка!»* — ринулся на манеж с тяжелой сумкой в руках; а в сумке было много бутылок пива, потому что собирался он в Красновидово к Виталику Рекубратскому.<sup>40</sup> Выход Яacobсона на манеж по нелепости и комизму не уступал выходу коверных. Его удалось оттащить.

А здоровенный, добрый, веселый Виталий, отец пятерых сыновей, покончил с собой 19 сентября 1977 года.

Вспоминала я смешное, очень смешное, про цирк и бутылки с пивом, а вот куда неотвратно вынесло. Виталий повесился в чужом подъезде на собачьем поводке. Толю, естественно, это потрясло, он писал, что так делать нельзя, что он так не сделает. Прошел год — по всей видимости, счастливый для него год жизни с прелестной, любимой молодой женой Леночкой.<sup>41</sup> Он съездил на Кипр,<sup>42</sup> начал вновь писать стихи, веселые и благодарные. Но занимался в последнее время Маяковским и Цветаевой, самоубийцами.

Через год после гибели Виталия, тоже в сентябре, Толи не стало.<sup>43</sup> Собачий поводок был не случаен: его подсказал Виталий.

\* \* \*

Бывали периоды, когда Толя крепко пил; это тревожное для близких и друзей обстоятельство часто становилось темой, очень его занимавшей. Не то чтобы он стеснялся потребности в алкоголе, но не мог же

считать это пристрастие благородным и потому сам над собой публично потешался, иногда достаточно беспощадно. Алкоголь помогал ему на время избавиться от постоянной тревоги, непокоя, а главное — здесь действовал такой механизм, что, выпив, он переставал стыдиться крайней обостренности чувств; иногда он светлел, веселел, освобождался, иногда, наоборот, грустнел, но так или иначе, — его мучительная по своей интенсивности искренность как бы обретала право и защиту. В одиночку он не пил, ему нужен был друг — собеседник.

В июле 1962 г. в Ленинграде как-то вечером мы выпили понемножку, а потом меня позвали к телефону. Вернувшись, я застала его неподвижно сидящим перед фотографией с портрета Пушкина; в глазах его стояли слезы — состояние для него достаточно необычное. На мой встревоженный вопрос, что случилось, он тихо ответил: «*Пушкина убили...*»

Но и дурачился на алкогольную тему немало. Пил он водку, очень любил красное сухое грузинское вино, особенно «Мукузани»; сладких вин не выносил.

В июне 73-го он пришел к нам в ночь после моего дня рождения.<sup>44</sup> Прошел с Васей<sup>45</sup> на кухню, поинтересовался, дадут ли выпить. Понюхав остатки глинтвейна в кофейнике, решительно заявил: «*Ну, я этого пить не стану*». Потом был какой-то незначущий разговор, который я сквозь дрему едва различала; Толя, по обыкновению, метался по кухне. Проходя мимо плиты, как бы между прочим, но очень удивленно поинтересовался: «*Неужели я буду пить эту гадость?*» Прошло еще какое-то время, и вдруг я слышу: «*Ну, ладно, старик, давай наливай скорей, только Юнке не говори*». То есть я не должна была знать о его падении: о том, что пьет он не благородную водку, а какое-то сладкое пойло. Это было последнее его дурачество, в котором мне довелось участвовать. Больше я его веселым не видела.

\* \* \*

Он в наивысшей степени обладал даром дружества: влюблялся в друзей, привязывался к ним, хотел и умел служить.<sup>46</sup> Это мало вязалось с его взъерошенным, якобы суматошным обликом; казалось, он не фиксирует частностей внешнего мира. Но потом обнаруживалось, что именно Тошка принес в какой-нибудь бестолковый, прокуренный дом котлеты, сам изжарил их и всех накормил. В его немислимых вытертых засаленных папках, сумках, авоськах, кроме школьных тетрадей, рукописей, книг и т. д. почти всегда было что-нибудь специальное, какое-нибудь мясо для чьего-нибудь ребенка, какие-нибудь диетические то ли яйца, то ли уже яичница, не говоря уже об особой пище для больного Эмбриона и для вегетерианки-жены. А мы, неблагодарные и погруженные в свои проблемы, порой даже потешались над этим, да и он вместе с нами.

Когда сдавали мой спектакль «Записки сумасшедшего»,<sup>47</sup> кабинетная говорильня продолжалась часа два. После всего я вышла в коридор Ермоловского театра — естественно, пошатываясь от комплексной усталости, — и из темноты навстречу метнулся Тошка; он, вечно замотанный и занятый, — на дворе был уже 1968-й год, — ждал все это время в темном, пустом театре, чтобы отвести меня обедать. Он и меня всегда норовил накормить, ласково и настойчиво уговаривал поесть чего-нибудь; моя отнюдь не дистрофическая фактура и нормальный аппетит нисколько не умеряли его рвения. Потом, в Иерусалиме, когда пришла главная беда — болезнь, постоянная тревога, что близкие не накормлены, оставалась, по словам Майи, единственной земной заботой.

Однажды он подарил мне только что вышедшую отдельным изданием книгу Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» и надписал ее так: «Полагаю, Юна Давыдовна, что название этой книги созвучно факту нашего пятилетнего знакомства. 30 августа 1965 г. А. Якобсон».

По моей неизбывной вине праздник наш редко бывал безоблачным, но эмоционально-духовный контакт между нами, действительно, отличался редкой интенсивностью и постоянством. Толя сказал об этом гораздо точнее, чем могу сказать я.

В январе 1964 г. он написал такие стихи:

*Юне Вертман посвящается*

1.

Тяжелее всех нош,  
Не давая житья,  
Как проглоченный нож,  
В нас торчит наше Я.

Не замкнули дверей,  
Не прижгли сургучом,  
А из кожи своей —  
Никогда, нипочем!

Не зовите гостей,  
Не бренчите ключом, —  
Каждый в склепе костей  
Навсегда заключен.

2.

Потому от рожденья  
В суете бытия  
Ищем мы отчужденье  
Заточенному Я —

И в просторных домах,  
И в тлетворных дымах,  
И в бессменном труде,  
И в семейном гнезде,  
И в стихе, и в грехе,  
И в любой чепухе.

Так — дробя и деля,  
Так — деля и дробя, —  
Как балласт с корабля, —  
Из себя — для себя!

3.  
О, дробление это  
Вызывает восторг!  
О, как пышно воспет он —  
Мелкий, розничный торг!

Если мы бескорыстны,  
(От души! От души!)  
Это значит — поистине  
Хороши, хороши!

И при этом неважно  
(Не видать пустяка!),  
Что нужна только скважина  
Для сквозняка:

Раздавая облатки,  
Мы всегда в барыше —  
(Как бы в собственной кадке  
Не прокиснуть душе!)

4.  
Но внезапно низложена,  
Как пустые слова,  
Как понятия ложные,  
Власть естества.

И закон непреложный —  
Что растертый плевок:  
Вдруг невозможный  
Свершился рывок.

Вся как есть — без отдельности,  
Скорлупу сокруша,  
В первосозданной цельности —  
Прочь из тела душа.

5.  
Не просторы любя,  
Не для них изменя,  
А в меня — из тебя,  
А в тебя — из меня.

6/1-64 г. А. Якобсон

\* \* \*

По самооценке «афеист», он всегда верил в мистическую основу нашей дружбы, говорил об этом, писал в письмах. Считал, что время и место над этим не властны. Не раз повторял: «Если бы ты уехала хоть в Австралию, я бы не переставал ощущать так же». Напророчил...

Однажды он сказал: «*Давай одновременно читать «Снега Килиманджаро»*. И мы читали — каждый у себя дома, в одно и то же время, и так общались.<sup>48</sup>

Бывали случаи, которые при желании можно, конечно, рассматривать и как простое совпадение. Например, такой. Мы с Ирой<sup>49</sup> делали в Кишиневе,<sup>50</sup> в «Лучафэруле», сказку «Белоснежка и семь гномов»; сказка хорошая, а пьеса плохая, да и у меня никак не клеилось, не находился ключ, потому что в сказке не прояснено, почему гномы враждуют с людьми. И вдруг малознакомая женщина приносит мне книгу, которую Толя передал с оказией — просто так, привет с надписью «*Юночке от дяди Толи*». Это была книга Олеши «Ни дня без строчки»; не то чтобы она ему очень нравилась, а просто — передать что-то хотелось. И я открыла ее сразу на той странице, где Олеша вспоминает рассказ Гейне о гномах, которых называли краснолюдками. Как они пришли смотреть на деревенский праздник и сели все рядком на веточке. А какой-то тупой мужик стукнул топором по ветке, и гномы попадали на землю. Мгновенно я все это увидела, и у меня сразу стало получаться — и смыслово, и пластически.

\* \* \*

И еще одно внезапно высветлилось: якобы рассеянный, он делал прекрасные подарки: осмысленные, теплые, индивидуальные.

*Энгуре (Латвия), август 1980 — август 1981*

Из письма Л. К. Чуковской Майе Улановской от 15/VI-92, Москва:  
*«Прочла воспоминания Юны Вертман. Не для позолоты пилюли — да и пилюли-то нет! — говорю: отличные, превосходные воспоминания, богатые сменой тональностей, и скорбные и блестящие юмором, не однолинейные, а многослойные, написанные легкой и талантливой рукой. Образ живой, без хрестоматийного глянца — и обаятельный».*

### **От составителя**

Сохранился черновой план «Страничек...», позволяющий думать, что работа над текстом не была завершена полностью:

*«Первое знакомство. Секрет его воздействия на людей. Сгорание в контактах. Любимое занятие: «Трепаться с друзьями» (с этого начать?). В школе. Начальство, ученики, смешное. Как начинались его лекции. Вечера поэзии в школе. Взаимоотношения со стихами вообще («И береговой ее гранит»). Как готовился к урокам, как шпаргалки мне писал. Как с Санькой смотрели в Калининне спектакль. Как Ахматовой стихи испортил. Оценки Бахтина, Чуковского. Таруса, лодка, ребенок и т. д. Как на забор лазал. Коктебель. «Мольер», ел пепел. «Записки сумасшедшего», как из коридора кинулся. Подарок мне. Санька, последний выход в цирковое училище. Самойлов, Гелескул. «Пушкина убили...». Хотел быть гениальным читателем. Приход в ночь с 6-го на 7-ое, как пил. Личное: Как думали синхронно. «Праздник, который...». Килиманджаро. Фет — Тютчев. Олеша, гномы. Пастернак, Цветаева, Ахматова. Знакомство с Пастернаками».*

Василий Емельянов

- <sup>1</sup> «Странички о Толе» впервые напечатаны в сборнике: Анатолий Якобсон. «Почва и Судьба». Вильнюс-Москва, Издательство «Весть», 1992. Далее в примечаниях используется сокращенная ссылка на это издание: сб. «Почва и Судьба». Второе, не вполне удачное напечатание: Журнал «22», № 129 за 2003 г. Предлагаемый вариант «Страничек...» свободен от замеченных ошибок, дополнен фотографиями и подробными примечаниями. Подготовка текста, подбор фотографий и составление примечаний: Василий Емельянов, Иерусалим, 2003.
- <sup>2</sup> По свидетельству А. Якобсона: «...с весны или с лета 1969 года по осень 1972 года, с 11-го по 27-й, кроме одного, 15-го, когда меня не было в Москве, — то есть 16 номеров «Хроники», это была моя работа» см. Автобиографические заметки, сб. «Почва и Судьба», с. 253.
- <sup>3</sup> Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996) — писатель, редактор, друг Толи Якобсона. См. подробную биографическую справку об Анатоллии Якобсоне в книге: Л. К. Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой». Том II. Москва. Согласие, 1997, с. 779-781. Там же впервые опубликовано



стихотворение А. Якобсона «Рука всевластная судьбы...», посвященное и подаренное им Анне Андреевне Ахматовой в 1962 г. Л. К. Чуковская посвятила Толе свое стихотворение «Памяти Анатолия Якобсона», напечатанное в сборнике «Стихотворения». Москва, Горизонт, 1992, с. 105. См. также сб. «Почва и Судьба», с. 295.

<sup>4</sup> Запись в режиссерском дневнике Юны Вертман от 13/XI-60: «...8/XI у меня дома были <...> Толя Якобсон с Майей». Майя: Майя Александровна Улановская, — первая жена А. Якобсона, мать его сына Саши.

<sup>5</sup> В 1959-1964 годах Юна Вертман училась на режиссерском факультете Театрального училища им. Б. В. Щукина при Государственном театре им. Евг. Вахтангова.

<sup>6</sup> Из письма Юне Вертман от 24/I-65; из другого письма того же года: «... Ничего сейчас не дает мне такой радости, ничто не наполняет смыслом существования моего в такой мере, как стихи Давида [Самойлова]». Давид Самойлов (1920–1990) — известный русский поэт. В 1959–1964 годах вместе с М. С. Петровых и В. К. Звягинцевой руководил семинаром переводчиков при Союзе писателей СССР, который посещал Анатолий Якобсон; впоследствии — друг Толи Якобсона. Надпись на книге стихов, подаренной Самойловым Якобсону: «Дорогому Толе с любовью. Мою науку помни, но пиши по разумению. Д. Самойлов, 4.12.70».

<sup>7</sup> Не зря веревочка вилась  
В его руках, не зря плелась!  
Ведь знала, что придет ей час  
В петлю завиться...

*Из стихотворения Давида Самойлова «Прощание».*

<sup>8</sup> А. Якобсон преподавал во Второй школе с конца 1965 г. до весны 1968 г., см. прим. 15).

<sup>9</sup> См. Сборник воспоминаний и материалов о Второй школе: Записки о Второй школе (Групповой портрет во второшкольном интерьере), выпуск I. Составители Георгий Ефремов и Александр Крауз. Москва, «Грантъ», 2003, с. 5: «Мы ясно сознавали, что наша школа была уникальна... Многие без лишней скромности декларировали, что в истории второй половины XX века Вторая школа занимала место, в известной мере сопоставимое лишь с Царскосельским Лицеем века XIX...», с. 139: «...в школе, безусловно, существовал своеобразный “культ Якобсона”», с. 167: «Якобсон был самым необычным и самым талантливым из учителей».

<sup>10</sup> Речь идет о книге: К. И. Чуковский, Высокое искусство. Москва, «Искусство», 1964.

<sup>11</sup> С. Ганелина, ученица Якобсона во Второй школе, вспоминает: «Иногда во время общих лекций в актовом зале он стучал спичечным коробком по столу, что означало: «выключите магнитофон!» Потом стук повторялся, и магнитофон можно было включить снова. Таков был уговор с теми, кто хотел записать его лекции. «Выключались» наиболее крамольные места. А то, что на эти лекции можно было приводить кого угодно — под нашу ответственность — воспринималось как норма. «Как он не боится!» — поражались мои родители, когда я передавала дома его уроки», см. Записки о Второй школе. Москва, «Грантъ», 2003, с. 167.

<sup>12</sup> Первые напечатано в книге: Анатолий Якобсон. «Конец трагедии». Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1973. См. также: Анатолий Якобсон. О романтической идеологии. Журнал «Новый мир», 1989, № 4. (Предисловие Анатолия Гелескула) и сб. «Почва и Судьба», с. 159.

- Анатолий Михайлович Гелескул (1934) — испанист, поэт-переводчик, эссеист, один из ближайших друзей Якобсона. Из писавших о Якобсоне Анатолий Гелескул сказал о Толе наиболее глубокие и проникновенные слова, — см.: Русская поэзия была его пристанищем на земле. «Русская мысль» за 12 августа 1988 г.; Предисловие к публикации: Анатолий Якобсон. О романтической идеологии. Журнал «Новый мир», 1989, № 4; На полях книги. Предисловие к сборнику «Почва и Судьба», с. 5.
- <sup>13</sup> Анатолий Сивцов сообщает точную дату: 9 марта 1968 г. См. Записки о Второй школе. Москва, «Грантъ», 2003. с. 138.
- <sup>14</sup> Герман Наумович Фейн, — исследователь творчества Л. Толстого, публиковался на Западе под именем Герман Андреев. — См. Герман Фейн, Памяти Толи Якобсона. — Журнал «Континент», 1979, № 20, с. 358.
- <sup>15</sup> Из Второй школы Якобсон был вынужден уйти, главным образом, из-за открытого выступления в январе 1968 г. в защиту Ю. Галанскова и А. Гинзбурга, см. сб. «Почва и Судьба», с. 216.
- <sup>16</sup> Анатолий Якобсон. Конец трагедии. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1973. В книгу вошли статьи «Царственное слово» и «О романтической идеологии». См. переиздание в России: Анатолий Якобсон. Конец трагедии. Вильнюс-Москва (ВИМО), Изд-во «Весть», 1992.
- <sup>17</sup> Из письма Юне Вертман от 29/X-69, по окончании книги «Конец трагедии»: «...После того длительного, возбужденно-деятельного состояния, в котором я, несмотря на все телесные болячки, работал свою писанину, — после этого состояния я рассыпался на куски. То есть физически я вполне здоров, но в сентябре наступил паралич мысли, воли, полный упадок всех духовных сил. Не знаю, как это назвать: ипохондрия, спячка, депрессия — как угодно; словом, полное оцепенение, доходящее до идиотизма, до неспособности не только что написать, но выговорить законченную фразу, и мучительное сознание этого идиотизма, этого позора. У меня подобное уже бывало, но с такой силой и так долго, кажется, никогда (да, книги читать не могу — такого и впрямь не бывало!). Я, видимо, человек циклический, и сейчас — вот эдакий цикл. Это пройдет, ведь правда же? Видишь, я ничего не сваливаю на внешние обстоятельства, хотя обстоятельства эти, прямо сказать, не мед». «Обстоятельства», которые «не мед», — аресты и вызовы на допрос правозащитников и друзей, обыски в домах знакомых
- <sup>18</sup> Напечатано в сб. «Почва и Судьба», с. 26.
- <sup>19</sup> Из редакторских замечаний Юны Вертман: «...Самиздат против цензурной литературы, правила игры?! ... есть «суета под клиентом», упоение количеством мыслей, недержания разного рода, нет аскетизма, жестокости по отношению к себе, благородства самоотречения; ... стиль полемики большевистский, хамский; ... кусок о Кербеле очень плох. Кербеля нужно уконтрапулировать его же текстом, а не своим «ядом». Нельзя так унижаться, этот дешевый яд совсем не в стиле работы. А конец главки, ... «труп Блока» и т. д. — это очень хорошо, потому что не яд, а боль. Совсем иное стилистически».
- <sup>20</sup> Из письма Л.К. Чуковской от 15/VI-92, адресованного Майе Улановской: «...разрешите поздравить Вас с выходом Толиной книги «Конец трагедии» [переиздание в России]. Я ее перечитываю. Какая сила, какой ум, и, главное, какое редкостное понимание стихов. Такого почти не бывает (абсолютный слух в музыке — редкость, а в поэзии — еще реже. Толя был наделен им) ...».
- <sup>21</sup> Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) — филолог, литературовед, исследователь творчества Франсуа Рабле и Ф.М. Достоевского, выдающийся мыслитель XX века. Из дневника Якобсона (август-сентябрь

- 1974): «М. Бахтин — не литератор, не критик, не литературовед, даже не историк и не философ литературы (хотя всего этого предостаточно у него); он — великий мыслитель».
- 22 Юна Вертман ездила к М. М. Бахтину в Саранск в июле 1969 г. вместе с Николаем Емельяновым, старшим братом В. Емельянова
- 23 Вероятно, ошибка памяти: либо это не был «...майский день», либо не «...через неделю-две», см. примечание 24)
- 24 Известие о прочтении М. М. Бахтиным «Конца трагедии» и о его оценке книги Толя Якобсон получил в день суда над Владимиром Буковским, в Люблино, возле здания суда, 5 января 1972 г. По свидетельству Владимира Гершовича, непосредственного очевидца события, — одного из ближайших и наиболее преданных Толе друзей как в Москве, так и, позже, в Иерусалиме, — Якобсон был в высшей степени взволнован полученным сообщением и произнес примерно следующее: «Володька Буковский получит сегодня на полную катушку 7 плюс 5, а у меня — самый счастливый день в жизни: мне удалось кое-что сделать за прожитые мной 37 лет...» Вероятнее всего, именно Юна по телефону известила Толю о реакции Бахтина
- 25 Анатолий Якобсон. «Вахханалия» в контексте позднего Пастернака». SLAVICA HYEROSOLYMITANA, The Magnes Press. The Hebrew University, Jerusalem, 1978, vol. 3, p. 302-379. См. также сб. «Почва и Судьба», с. 101
- 26 Анатолий Якобсон. Два решения (Еще раз о 66 сонете). Мастерство перевода, 1966. Москва, «Советский писатель», 1968. См. также сб. «Почва и Судьба», с. 206
- 27 Евгений Борисович Пастернак, — исследователь творчества и биографии Б. Пастернака; сын Бориса Леонидовича и Евгении Владимировны Лурье (1898-1965), первой жены Б. Пастернака
- 28 В Израиле (в 75 или 76 году) А. Якобсон, — наедине с магнитофоном, — заново записал лекцию о Пастернаке на магнитную ленту, посвятив запись Лидии Корнеевне Чуковской, см. прим. 52). По сути, тематически это были две лекции: «О раннем Пастернаке» и «О позднем Пастернаке». Между «московской» и «иерусалимской» записями есть небольшие расхождения. Московская магнитозапись сохранилась. Иерусалимский вариант опубликован в сб. «Почва и Судьба», с. 59
- 29 А. Д. Синявский в это время отбывал срок в лагере
- 30 В действительности, докторской диссертацией А. Якобсона была работа «Соотнесенность реально-исторического и карнавалльно-мистериального начал в русской поэме XX века» (Блок, Пастернак). Иерусалим, 1978, 222 с. Машинопись хранится в фонде Национальной библиотеки Израиля в Иерусалиме. Как идея самой диссертации, так и инициатива ее срочного написания принадлежали Шломо Пинесу (1908–1990) — выдающемуся израильскому философу, профессору средневековой еврейской и арабской философии Иерусалимского университета. Шломо Пинес надеялся, что докторская степень укрепит статус Толи Якобсона в Иерусалимском университете, становившегося непрочным в связи с его болезнью, и поможет продлить контракт Толи с Еврейским университетом. Одним из рецензентов диссертации стал Роман Якобсон, — крупный американский славист и филолог. В письме Л. К. Чуковской от 15/VI-78 Толя пишет: «Кстати, об университете. Докторская защищена, наконец!»
- 31 Анатолий Якобсон. О стихотворении Бориса Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник». Журнал «Континент», 1980, № 25, с. 323.
- 32 Из письма Юне Вертман от 8/IV-75.

- <sup>33</sup> Алла Константиновна Тарасова (1898–1973) — актриса, народная артистка СССР, исполнительница главной роли в спектакле «Мария Стюарт» по Шиллеру в переводе Б. Пастернака
- <sup>34</sup> Шутливый эзоп, — читай: «Поздний Пастернак»
- <sup>35</sup> Из письма Юне Вертман от 10/VII-75
- <sup>36</sup> Юна ошибочно полагала, что работа «Вакханалия...» является диссертацией А. Якобсона, см. прим. 28). Создается впечатление, что в Москве никто не знал о существовании диссертационной работы Якобсона, отдельной от «Вакханалии...». Во всяком случае, это верно по отношению к двум ближайшим московским друзьям Толи: Анатолию Гелескулу (выяснилось 15.08.2003 в личном разговоре публикатора «Страничек...» с А. Гелескулом), передавшим «Вакханалию...» Л. К. Чуковской, — и самой Лидии Корнеевне: см. «Мы живем в эпоху результатов...» Давид Самойлов, Лидия Чуковская. Переписка. Журнал «Знамя», 2003, № 6. Письмо 51: «Бедняга автор вынужден был работать не на своей площадке, и все же победителем, ибо чувствует Пастернака «кончиками пальцев», как с точностью определил тезка (Анатолий Гелескул). Читаю — и мучаюсь тем, что уже никогда не отвечу ему на то, на сё. Слышу под текстом многие наши разговоры. Плохо написаны первые три страницы, а дальше мысли разгораются, слышны живые интонации, иногда слышен даже его голос»; Письмо 53: «...перехожу <...> к Т [олиной] диссертации. Я писала, что работа его — талантлива. Изучив ее досконально, остаюсь при том же мнении — да, талантлива, а иногда и пронзительна и точна, то есть талант его — талант восприятия — являет себя в полном блеске. Но когда Вы пишете: «Вот его настоящее дело» — я не согласна. Он писатель, а не «ученый», и диссертация вовсе не его дело. Конечно, талантливый скрипач может талантливо исполнить мелодию и на трубе, но Т [оля] все-таки сыграл мелодию не на своем инструменте — он не доктор наук! он писатель! — и жаль, что ему пришлось «защищать докторскую»».
- <sup>37</sup> Марьяна Александровна Осипова и Александр Михайлович Фихман — писатель Александр Марьянин (1930–1991), — знакомые А. Якобсона.
- <sup>38</sup> Известный правозащитник Сергей Адамович Ковалев вспоминает: «...Тошка обожал сына, трясся над ним и с ужасом думал о его будущем. И когда Санька внезапно увлекся сионистскими идеями и начал бредить Израилем, судьба семейства была решена. Якобсон мог противостоять КГБ, угрозе ареста, чему угодно — но не сыну». Трудно не процитировать другое место из воспоминаний Ковалева: «Мне никогда в жизни не приходилось наблюдать извержение вулкана, но если когда-нибудь придется, то, подозреваю, не увижу ничего нового — я уже видел Тошку Якобсона. Это был какой-то непрерывный процесс взрывного саморасточения — таланта, обаяния, блестящего (хотя не всегда пригодного для салонов) остроумия, любви к друзьям, женщинам, стихам...» Сергей Ковалёв, «Полёт белой вороны. Sergej Kowaljaw: Der Flug des weißen Raben: Von Sibirien nach Tschetschenien: Eine Lebensreise. Rowohlt Berlin, Berlin 1997.
- <sup>39</sup> Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве.
- <sup>40</sup> Виталий Александрович Рекубратский (1937–1977) — биолог, ихтиолог; был женат на двоюродной сестре А. Д. Сахарова, близкий друг А. Якобсона.
- <sup>41</sup> Елена Каган (ныне Elena Sadovsky) вышла замуж за А. Якобсона в 1977 г. в возрасте 18 лет. С первой женой, Майей Улановской, Якобсон разошелся в 1974 г. Лена — дочь физика Виктора Кагана, упоминаемого А. Солженициным в «Архипелаге ГУЛаг». См. рассказ о научно-техническом

обществе 75-й камеры Бутырской тюрьмы 1946 г.: «Архипелаг ГУЛаг», Советский писатель, «Новый мир», 1993. Часть II, Гл. 4, с. 567. См. также: Н. В. Тимофеев-Ресовский, Воспоминания. «Согласие», Москва, 2000, с. 355, 359, 436.

<sup>42</sup> В письме Л. К. Чуковской от 15/VI-78 Толя объясняет необходимость поездки на Кипр: «Смысл формального брака — ряд житейских удобств... Здесь, как в России до революции или в современной Италии, нет гражданского (светского) брака, а только церковный. Она — русская, я — еврей. Браки, зарегистрированные за границей, разумеется, признаются. Кипр — ближайший кусок Европы».

<sup>43</sup> Из письма Юны Вертман Майе Улановской от 10/XI-78, в ответ на подробный рассказ Майи о последних днях и гибели Толи Якобсона (письмо М. Улановской от 10/X-78 см. в сб. «Почва и Судьба», с. 287): «Расскажи Лене [Каган], а ты и так знаешь, что вряд ли был на свете человек, которого все так любили. След он оставлял вечный, даже на самое короткое время возникнув в чьей-то жизни; пол и характер отношений здесь роли почти не играет. Когда он уехал, об осиротелости говорили самые разные по возрасту и характеру люди, вплоть до сравнительно далеких знакомых. Он был подарком судьбы — для всех, всегда. Мне это ясно стало уже достаточно давно. Непредставимым было другое: что его, оказывается, не мог согреть никто. Ужас этот зрел исподволь и дорос до того, что уже ни молодая жена, ни сын... Жена Пастернак верно сказал, что он всегда доходил до края, но здесь его спасали реальные беды, реальные трудности. А в последнее время их вроде бы не стало...»

<sup>44</sup> 6 июня

<sup>45</sup> Василий Евгеньевич Емельянов, — муж Юны Вертман, публикатор «Страничек...» и составитель примечаний.

<sup>46</sup> Из письма Юне Вертман от 6/VII-74 из Иерусалима: «...Подобно чудьям, мне что арабы, что американцы, что немцы (называю тех, кого встречал здесь) — все едино: разновидности инопланетных. Исключение — несколько московских приятелей. Но им ли хоть на йоту восполнить потерю всех друзей, О Т Б О Р О М которых исключительно и была моя жизнь. И — утрата не только людской — моей — среды, но и среды в самом широком — биологическом — смысле слова...»

<sup>47</sup> В феврале 1968 г.

<sup>48</sup> Из письма Юне Вертман от 24/I-65: «...Когда читаю хорошие стихи, всегда общаюсь с тобой — как бы тебе читаю, это уже стало привычкой непреложной».

<sup>49</sup> Ирина Павловна Уварова, — театральный художник, искусствовед и театровед; близкая подруга Юны Вертман, вторая жена Юлия Даниэля.

<sup>50</sup> В конце 1965 г.

*Лидия Чуковская*

## **Памяти Анатолия Якобсона<sup>1</sup>**

### **1**

Стихи. Лубянка. Передзимье.  
Передразлучье. Спички. Сор.  
О родине и о чужбине  
И вслух и молча разговор.

### **2**

Вы с нами ехали или один?  
Домой Вы ехали или из дома?  
А впереди задравные огни,  
Загробные огни аэродрома.  
По очереди все мололи вздор.  
«Бензину, что ли, выпить или водки?»  
Вы вслушивались в глупый разговор,  
Переводили с губ на губы взор,  
Как будто бы из-за перегородки.  
И вот оно: шоссе, деревья, мост.  
Молчание теснило всех в машине.  
Разлука поднималась в полный рост.  
Вы озирались, словно на чужбине.  
А я ждала. Бог весть чего. Свистка  
Орудовцев. Сама не знаю. Чуда.  
У Вас в руке дрожит моя рука  
(Рукопожатья через и оттуда).  
У Вас в руке моя рука, кольцо...  
И синий камень дарит Вам сиянье.  
Но вглядывались Вы в мое лицо  
Уже как бы с большого расстоянья.

1973

## ДВА ЧЕТВЕРОСТИШИЯ<sup>2</sup>

### 1

Аэродром похож на крематорий.  
В обоих по два «эр» и горе, горе, горе...  
Но есть отличие от похорон:  
Покойник жив и в судорогах он.

### 2

Россия уезжает из России...  
Счастливый путь! И даже навсегда —  
Счастливого пути!  
А нам — беда.  
Но и беда не чья-нибудь, России.

1973–1975

## ВОЗВРАЩЕНИЕ<sup>3</sup>

А.Я.

Дай, я сотру эти синие пятна!  
Краше без них.  
Вот и пришёл ты домой, обратно –  
В прозу, в стих,  
В страстномечтательную прохладу  
Леса. Реки.  
Преодолев наконец надсаду  
Писем. Тоски.  
Жёлтых песков пустой пустыни  
Камень. Зной.  
Только зачем же ты в домовине?  
Дай мне проститься с тобой в домовине!  
На полпути из твоей пустыни –  
Домой.

X 78 – IV 1979

<sup>1</sup> Напечатано: Стихотворения. Москва, Горизонт. 1992, с.105. Стихи Лидии Чуковской «Памяти Анатолия Якобсона».

<sup>2</sup> Четверостишия предположительно посвящены Якобсону. Опубликовано на интернет-сайте Семьи Чуковских  
<http://www.chukfamily.ru/Lidia/Poems/stihi.htm>

<sup>3</sup> Опубликовано на сайте Семьи Чуковских «Памяти Анатолия Якобсона»  
<http://www.chukfamily.ru/Lidia/Poems/stihi.htm#71>

*Давид Самойлов*

## **Стихи памяти Анатолия Якобсона.**

А.Я.<sup>1</sup>

...И тогда узнаешь вдруг,  
Как звучит родное слово.  
Ведь оно не смысл и звук,  
А уток пережитого,  
Колыбельная основа  
Наших радостей и мук.

30 августа 1973

### **ПЕСНЯ О ПОХОДЕ<sup>2</sup>**

*Из цикла «Балканские песни»*

А. Я.

Как в поход собирался Вук,  
говорил ему старый друг,  
старый друг воевода Милош:  
— Чем могу помочь тебе, Вук,  
если руки не держат лук  
и копьё мое преломилось?

Я гляжу как сквозь тусклый лёд  
и не бью уже птицу влет,  
не ваю на скаку зверя.  
Зажирел мой конь от овса.  
И ни в сына, и ни в отца,  
и ни в чох, ни в сон я не верю.

---

<sup>1</sup> Напечатано: Д. Самойлов. Избранные произведения. Москва, «Художественная Литература», том 1, с. 178.

<sup>2</sup> Напечатано: Д. Самойлов. Избранные произведения. Москва, «Художественная литература», том 1, с. 194.



И ответственвал Вук: — Ну что ж!  
Если ты для битвы негож  
и не веришь в святого духа,  
я и сам воевать могу.  
— Чем же я тебе помогу? —  
Снова Милош спросил у Вука.

— А помочь мне? Можешь помочь.  
У меня остается дочь  
и младенец о третьем годе.  
Если долго я не приду,  
посылай моим чадам еду, —  
отвечает Вук воеводе.

— Да и матушку не забудь.  
Навести ее как-нибудь,  
соболезнуй ее заботе.  
А когда истекут ее дни,  
по обряду похорони. —  
отвечает Вук воеводе.

— И еще мне в чем помоги:  
если злую молву враги  
обо мне распустят в народе,  
ты не верь той молве ни в чем,  
как не веришь ни в чох, ни в сон, —  
отвечает Вук воеводе.  
И садится Вук на коня  
и в поход отъезжает шагом.

ПРОЩАНИЕ<sup>3</sup>

*Памяти  
Анатолия Яковсона*

Убившему себя рукой  
Своею собственной, тоской  
Своею собственной — покой  
И мир навеки!

Однажды он ушел от нас,  
Тогда и свет его погас.  
Но навсегда на этот раз  
Сомкнулись веки.

Не веря в праведность судьи,  
Он предпочел без похвальбы  
Жестокость собственной судьбы,  
Свою усталость.  
Он думал, что свое унес,  
Ведь не остался даже пес,  
Но здесь не дым от папирос —  
Душа осталась.

Не зря веревочка вилась  
В его руках, не зря плелась.  
Ведь знала, что придет ей час  
В петлю завиться.  
Незнамо где — в жаре, в песке,  
В святой земле, в глухой тоске,  
Она повисла на крюке  
Самоубийцы.

А память вьет иной шнурок,  
Шнурок, который как зарок —  
Вернуться в мир или в мирок  
Тот бесшабашный, —  
К опалихинским галдежам,  
Чтобы он снова в дом вбежал,  
Внеся собой мороз и жар,  
И дым табачный.

Своей нечесаной башкой  
В шапчонке чисто бунтовской  
Он вламывался со строкой  
    Заместо клича —  
В застолье и с налета — в спор,  
И доводам наперекор  
Напропалую пер, в прибор  
    Окурки тыча.

Он мчался, голову сломя,  
Врезаясь в рифмы и слова,  
И словно молния со лба  
    Его слетала.  
Он был порывом к мятежу,  
Но все-таки, как я сужу,  
Наверно не про ту дежу  
    Была опара.

Он создан был не восставать,  
Он был назначен воздавать,  
Он был назначен целовать  
    Плечо пророка.  
Меньшой при снятии с креста,  
Он должен был разжать уста,  
Чтобы предстала простота  
    Сего урока.

Сам знал он, перед чем в долгу!  
Но в толчее и на торгу  
Бессмертием назвал молву  
    (Однако, в скобках!)  
И тут уж надо вспомнить, как  
В его мозгу клубился мрак  
И как он взял судьбу в кулак  
    И бросил, скомкав.

Убившему себя рукой  
Своею собственной, тоской  
Своею собственной — покой  
    И мир навеки.

За все, чем был он — исполать.  
А остальному отпылать  
Помог застенчивый палач —  
Очкарь в аптеке.

За подвиг чести нет преград.  
А уж небесный вертоград  
Сужден лишь тем, чья плоть, сквозь ад,  
Пройдя, окрепла.  
Но кто б ему наколдовал  
Баланду и лесоповал,  
Чтобы он голову совал  
В родное пекло.

И все-таки страшней теперь  
Жалеть невольника потерь!  
Ведь за его плечами тень  
Страшной неволи  
Стояла. И лечить недуг  
Брались окно, и нож, и крюк,  
И, оцетинившись вокруг,  
Глаза кололи.

Он в шахматы сыграл. С людьми  
В последний раз сыграл в ладьи.  
Партнера выпроводил. И  
Без колебанья,  
Без индульгенций — канул вниз,  
Где все веревочки сплелись  
И затянулись в узел близ  
Его дыханья...

В стране, где каждый на счету,  
Познав судьбы своей тщету,  
Он из столпов ушел в щепу,  
Но без обмана.  
*Оттуда* не тянул руки,  
Чтобы спасти нас, вопреки  
Евангелию от Луки  
И Иоанна.

Когда преодолен рубеж,  
Без преувеличенья, без  
Превозношенья до небес  
Хочу проститься.  
Ведь я не о своей туге,  
Не о талантах и т. п. —  
Я плачу просто о тебе,  
Самоубийца.

Осень 1978 — февраль-март 1979

<sup>3</sup> Первая публикация: День поэзии, Москва. 1989, с. 90. Стихотворение приводится по изданию: Давид Самойлов. *Стихотворения*. Новая библиотека поэта. Санкт-Петербург, 2006, с. 258. В разделе «Примечания» указанного тома на с. 701 помещены авторские пояснения к «Прощанию». Авторы примечаний указывают, что это «...единственный случай, когда Самойлов счел нужным сделать к стихотворению развернутые примечания».

В архиве Г. И. Медведевой имеется машинопись текста, озаглавленного «Примечания автора к стихотворению «Прощание»:

1. Ритм и размер этого стихотворения всем показался оригинальным. Покойная М. С. Петровых вспомнила, что подобная строфа есть в одном из переводов Маршака из Бернса...

2. «Однажды он ушёл от нас...» — имеется в виду отъезд А. Якобсона в Израиль (1973). По этому поводу были большие споры среди его друзей.

3. «Не веря в праведность судьи...» — бесспорно, одной из главных причин отъезда Якобсона было нежелание предстать перед судом.

4. «Ведь не остался даже пёс...» — уезжая, А. Я. увёз с собой приبلудную хромую собачонку по кличке Том, названную так в честь погибшего под поездом нашего пса Тома.

5. «Не зря верёвочка вилась...» — у А. Я. была привычка крутить в руках верёвочку или шнурок. Верёвочка была всегда при нём.

6. «К опалихинским галдежам...» — последние годы перед отъездом А. Я. наша семья жила в поселке Опалиха (29 км от Москвы по Рижской ж. д.). А. Я. часто бывал там, обычно вваливаясь неожиданно в любое время дня и ночи. В Опалиху ездило много народу. Застолье там было постоянным.

7. «Он был назначен целовать плечо пророка...» — А. Я. сам рассказывал, как здороваясь с Тарковским, целовал ему «плечико».

8. «Бессмертием назвал молву...» — намёк на признание А. Я. в работе о «Вакханалии» Пастернака.

9. «В его мозгу клубился мрак...» — строчка эта вызвала недовольство Л. К. Чуковской. «Здоровых литераторов я не видела», — сказала она.

10. «Застенчивый палач...» — А. Я. лечили большим количеством лекарств, что ему, видимо, не помогало, а лишь усугубляло депрессию.

11. «Но кто б ему наколдовал...» — продолжение спора об отъезде. «Я бы наколдовала», — сказала Л. К. Чуковская.

12. «Он в шахматы сыграл...» — так рассказывали о последнем часе жизни А. Я.

13. «Без индальгенций...» — первая жена А. Я. Майя Улановская писала в одном из писем, что «он поступил жестоко, никого не простив перед смертью».

Из 1-го примечания следует, что текст написан не ранее июня 1979 г. (М. С. Петровых умерла 1-го июня). (Примечание Г. Ефремова)

ИЗ ПОДЁННЫХ ЗАПИСЕЙ<sup>3</sup>

1971

27.02

Приехала Аня Наль.<sup>4</sup> Потом Толя. Его книга о Блоке.

Мои возражения:

1. Недопустимый, задиристый, петушащийся тон полемики.
2. Только автор знает истину.
3. Банальные идеи: образ многозначен, Блок двойствен.
4. По-моему, Блок целен. «12» и последующее — тому доказательство. Причина гибели Блока — цельность, а не раздвоение.
5. Слабо о Христе. Христос «12» — высшая художественная идея, а не философский или политический замысел. В Христе — художественная идея — причастность всего этого мира к высшему.

Это Христос Блока, но и 12-ти. В нем есть интимное, от иконки в скромном храме — белый венчик (не венец) из роз.

6. Неправомерное разделение поэзии и публицистики Блока. Произвольный термин — романтическая идеология — идеологии насилия.

Блоковское неприятие цивилизации — идея русская, а не ницшеанская, она сродни Толстому.

7. Политика слепит глаза. Злость мешает эстетическому анализу. Шингарев в последнем дневнике ближе к Блоку (рассуждение о революции), чем Якобсон.

8. Нельзя ставить знак равенства между народом и чернью, революцией и большевизмом.

Вывод: попытка создать кредо не удалась.

Да и не могла удалась.

Як [обсон] спорил слабо. Видимо, он устал, разочарован в своей работе, которую мыслил как взрыв и славу...

Христос в «12» — иррациональное, возникшее помимо замысла, на взлете вдохновения, как завершающая нота. Он вытекает из интонации, возвышает ее. Он — композиционная точка. Он — подсознание художника.

<sup>3</sup> Давид Самойлов. *Перебирая наши даты*. Москва, Вагриус. 2000, с. 393-394, 397.

<sup>4</sup> Поэтесса Анна Наль (Городницкая).

## **5.12**

Много пустых дней...

Приезжал Толя. Трудный, но полезный разговор с ним и о нем. Масштаб его не огромен, звездные часы прошли. Он растерян. С Галкой<sup>5</sup> пытались поддержать его. Для дела...

---

<sup>5</sup> Галина Ивановна Медведева, жена Д. Самойлова.

*Галина Медведева (Самойлова)*

## **Памяти Толи Яacobсона**

### **Из воспоминаний...<sup>1</sup>**

Есть люди, без которых просто непредставима прожитая жизнь. Толя Яacobсон — один из них. Один из немногих, кто своим присутствием в мире способствует выделке его неповторимого облика. 60-е годы — разгар его полетного, целостного существования. Если бы тогда, когда он был рядом, мне сказали, что доведется вспоминать о нем, я бы сильно удивилась. Казалось, что яркости натуры, сердечно-му жару, органической одухотворенности и неукротимости Толи нет и не будет конца. Не человек, а бушующий сгусток напора и блеска, да еще, свыше всяких щедрот, одаренный бесстрашной, беззащитной и обезоруживающей искренностью (ее одну стоило бы лелеять как божью искру самораскрытия, столь редкого на житейском театре).

«Земли чудесный посетитель», он погиб, пройдя свое поприще едва до половины. Что мы можем знать о будущем? Только то, что сумеем разглядеть в прошлом.

Мятежная тревога, что «все не так, все не так, ребята», была главным фактом его судьбы, по определению трагической. Во всем, что Толя делал, он черпал силы из основного запаса, оттуда, где помещается витальность и залог продления дней. Нерасчетливость, страстность воплощения «здесь и сейчас». По Блоку: «Страшно, сладко, неизбежно надо мне бросаться в многопенный вал».

Он был как звездная вспышка — короткая, бурная, стремительная — и пропадающая, от невозможности длить ослепительный свет, нестерпимый для будничного взора.

<sup>1</sup> Отрывок из воспоминаний Галины Ивановны Медведевой (Самойловой), прочитанный Юлием Кимом на вечере памяти А. Яacobсона 2 октября 2003 г. в Иерусалиме.



## Черновик письма<sup>1</sup>

...Вы — человек призвания, человек predetermined, обреченный на то, к чему Вас природа предназначила. Очень жалею, что Вы перестали писать свои стихи. Очень возможно, что предстоящее Вам всколыхнет глубины глубин и **заставит** зазвучать стихи. (Потом, конечно, уже на месте; ибо для стихов **необходим** покой, необходима тишина в душе). Ну стихи — это от Бога. Это прежде всего — не в Вашей власти, а говорить надо о том, что в Вашей власти. Вы покидаете родину, едете на чужбину безвозвратно. Ну что ж... Больше всего любя Россию, Бунин, писатель, за границей работал еще горячее, еще сильнее, чем на родине, — и все, что писал, — о родине. Внутреннего разрыва не было. Так будет и у Вас.... Бред и безумие, но что делать, что делать! **Никак,нисколько,ни минуты** не осуждала и не осуждаю Вас, только осознать очень трудно, дитя мое. Куда бы Вы ни поехали — **Вы — носитель русской культуры**. Это — прежде всего. Вы понимаете, что русский язык, русскую историю Вы знаете как очень немногие в России, на родине Вашей. Ну — ничего, ничего. Вспомним опять-таки о Бунине и даже о Горьком тех лет, когда ему был запрещен въезд на родину (при царизме). Вспомним и о Герцене. Он стал крупнейшим писателем русским, находясь там, за рубежом. Думал только о России и о чем ни писал бы — получалось о России. Так будет и с Вами. Мы — неразлучны, неразлучимы. Нельзя разлучить нас. Вы не должны допустить это душевное разлучение....Продолжайте переводы Петрарки. Преподавайте (в Англии или во Франции или в Германии) русский язык, который Ваша стихия, **Ваша любовь**, как и моя. Вы бесподобно знаете историю России. И хорошо, если будете ее преподавать. Ну и литературу знаете, конечно, хотя я не во всем с Вами согласна. Я много думала — неверно оценили и осудили Вы поэтов 20-х годов — это были люди верующие и бескорыстные. Они лишены были проницательности, дальновидности. Это их беда, несчастье, но не вина. Подумайте об этом.

Еще одно необходимое слово — о Достоевском. Вы назвали «Дневник писателя» мракобесием, имея в виду, очевидно, «еврейский вопрос». Вы не поняли главного. Достоевский **не хотел** еврейской интел-

<sup>1</sup> Черновик письма Якобсону, написанного перед его отъездом в Израиль. Мария Петровых. Избранное. «Художественная Литература» Москва, 1991, с. 354.

лигенции. В этом было его жалкое, недостойное заблуждение, но Бог сжалился над ним. И не допустил его умереть в этом заблуждении. Появилась на пути еврейская девушка, его корреспондентка, и наступил окончательный, безвозвратный перелом в мировоззрении писателя — вспомните его ответ на ее письмо о похоронах врача-немца. Господь Бог — только он послал Достоевскому эту девушку и не дал ему умереть в заблуждении. Это крайне важно, и как же Вы, такой умный, этого не поняли?!

**Останьтесь верны Родине**, где бы Вы ни находились. Вы такой же русский, как Левитан, как Пастернак и Ахматова. Нет родины у Вас, кроме России. Но и на чужбине можно жить достойно и плодотворно и служить родине своей. Живите **в полную** силу.

## **Русская поэзия была его пристанищем на Земле<sup>1</sup>**

Анатолий Якобсон себя как переводчика недооценивал и, боюсь, не слишком ценил. Сколько помню, чужие работы занимали его больше своих — там он находил искру Божью, у себя же не находил, либо сомневался. Было в этом душевное бескорыстие, которое ощущалось и покоряло в нём с первой встречи. Была, конечно, и присущая лишь одарённости неуверенность. И была необыденность, особенная, знак личности. В пору, когда мы встретились (начало 60-х), у литераторов, тем паче молодых, в моде было гениальничать. Якобсона же от самоуверенности и то передергивало.

Одна поэтесса как-то спросила у него:

— Почему Вы не член Союза? — Вопрос слишком несуразный, чтобы отвечать; однако он ответил — и почти торжественно:

— В Союзе писателей состоят писатели, а я даже не графоман.

Кажется литературной шуткой. Но шутка невесёлая, до сих пор ее вспоминаю с непонятной горечью и угадываю знакомый отзвук. Якобсону нравились стихи Василия Пушкина — не «парнасского дяди» Василия Львовича, а своего приятеля, стихотворца безвестного, зато знаменитого боксёра

Я не поэт и не писатель  
И даже не руководитель,  
Но говорю вам:  
Всё бросайте  
И уходите.

К месту или нет, но вспомнилось, как поют на глухом хуторе бунинские охотники — «прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью». Тоска, как песня, не исчерпывается смыслом.

Много позже, когда Якобсона приняли в Пен-клуб, он комментировал это событие, словно оправдываясь:

— По уставу членом может быть любой способный и честный литератор. Я не бездарен и уж тем более не бесчестен.

Я не берусь, да и не вправе, гадать, каким было его литературное самосознание и какое место в нем занимала переводческая работа, — просто расскажу о ней, что помню. Благодаря ей мы встретились и не раз потом работали рука об руку, в одних книгах.<sup>2</sup>

Почему вообще он переводил? Речь не о первоначальном побуждении — оно бывает разным и часто случайным. Но само переводческое дело требует терпеливости и известного смирения. Явно не эти невзрачные добродетели отличали Якобсона. И все же он переводил. Даже накануне отъезда переводил Петрарку, без малейшей надежды напечатать, и продолжал переводить, тоже без малейшей надежды, вне России. Его отношения со словом были любовью, а любовь «долго терпит и никогда не перестаёт».<sup>3</sup> Но думаю, что и эта беззаветность ещё не все объясняет.

Как-то он заговорил о переводческом семинаре, куда ходил не один год, и сказал о своих учителях:

— Они внушили главное: «Пиши как можешь — переводы лучше, чем можешь».

Учителя у него и вправду были на зависть: Мария Петровых и Давид Самойлов — любимые поэты, близкие люди, почти родные, и в прямом смысле учителя (вели упомянутый семинар). Со своим символическим учителем — Пастернаком — он, по-моему, ни разу в жизни не встретился.

Убежден, однако, что сказанное было не цитатой, а его собственной формулой. Это не литературная декларация — «лучше, чем можешь» применимо ко всему — и не декларация вообще. Стоит задуматься, кого он переводил. Бесприютный Мицкевич, нищий Верлен, казнённый Лорка, угасший в тюрьме Эрнандес. Стихи, оплаченные жизнью — он и принимал их в себя как чужую, вверенную ему жизнь. Обходиться с ней «хуже, чем можешь», полагал бесчестным.

Среди его лоркианских переводов выделяется один — «Нежданно»; для меня он стоит рядом с переводами Цветаевой. Это маленькое стихотворение — его безуспешно переводили и до, и после Якобсона — трудно своей полифонией, сплавом песни и разговорной речи, тревожных ночных голосов, но главное — своей подлинностью. Мог бы Якобсон перевести, если бы смотрел на убийство иначе, чем Лорка, — отвергая его, но сознанием, а не всем своим существом? Помню, как подробности гибели Лорки, в то время скудные, вызвали у него слезы.

Перевод — дело любовное, иначе он безрадостен. Надо сказать, мы тогда не числили себя переводчиками, тем более — профессионалами. Говорю «мы», потому что ощущение было обоюдным — не берусь его прояснять, но в общем не чувствовали мы себя «почтовыми лошадьми просвещения». Скорее любопытными стригунками, отбившимися от табуна. Переводы были странствием, походом в неведомый край — и не за добычей, а за обострённым чувством жизни. Все кропотливое и тягостное, наверно, забылось, а вот азарт и привкус приключения памятны. У нашего поколения, в сущности, не было детства, зато юность — долгая, затяжная; должно быть, и мы были моложе,

чем казались. Понятие «рабочий стол» и даже «работа» отсутствовали в сознании; всё делалось на ходу, когда угодно и где угодно. Помню, как на полночной подмосковной платформе, заляпанной мокрым снегом, окончательно сложилось верленовское «Наваждение». Мы долго ждали поезда, и Якобсон, спиной к дождю, хмуро бормотал последнюю строфу — перебирал варианты арестантской побудки. И все как-то не звучало: слишком резко, или слишком натурально, или слишком по-русски. Вдруг он произнес, уже в голос: «Подымайтесь, свиньи!» — нам стало хорошо, а запоздалая, вроде нас, фигура на перроне вздрогнула. Происходило это, по-моему, в Опалихе. Надвигалась весна, потёмки хлестал сырой ветер, и было бодро и неудобно, как перед дальней дорогой. Тогда она казалась долгой.

Это стихотворение двойной яви, и мнимая простота его коварна. До Якобсона его переводил Иннокентий Анненский и, кажется, даже не догадался, что оно тюремное.

Не знаю, когда и где переводилась «Осенняя песня», но, судя по напору ветра — не в четырёх стенах. Этот перевод, с его блоковской гибельностью, И. А. Лихачев, великолепный знаток европейской поэзии, назвал «густо-талантливым». Однако в книгу его не включили как слишком вольный (т. е. смелый, говоря по-человечески).

И Верлена, и других он переводил с подстрочников (знал английский, но, по-моему, английских стихов никогда не касался). Перевод с подстрочника для меня по сей день загадка; видимо, здесь у каждого свой секрет — и у него был тоже. Секрета не знаю, а сами подстрочники помню хорошо, Якобсон обходил с ними добрый десяток друзей и знакомых, из числа знавших язык. Чисто географически я оказывался обычно в конце этой очереди и видел уже не подстрочник, а какой-то ветхий манускрипт с обозначением пиратского клада. Всё было исчеркано то мелким, то крупным, то гигантским почерком, испещрено кружками, стрелками, какими-то средневековыми нотными знаками — не то партитура, не то криптограмма. Как он в этом разбирался — Бог весть. Подозреваю, что никак; к тому времени, когда подстрочник становился окончательно невнятным, всё уже было в голове, а из невнятицы стройно вырастал сонет.

Не помню, чья строка: «...бумажный цветок, как сонет в переводе». Действительно, какая-то заклятая форма — ровным счётом ничего головоломного, а переводы спотыкаются на второй строфе и не чают дохромать до конца. А ведь сонет возник, наперекор куртуазным вычурам, как торжество простоты, и чем только не оборачивался — письмом, прокламацией, даже теоремой (и такое бывало). В пьесах Лопе сонетами ведут диалог влюблённые.

Видимо, в Россию сонет пришел слишком поздно, в не лучшую для себя предромантическую пору, да так и остался иностранцем. Всё,

что вросло в почву, преобразуется; английский или французский сонет самобытны. Наш скопирован, и в этом, наверно, дело. Быть может, собственно русская сонетная форма, созвучная природе языка, — это онегинская строфа. Но она неотчуждаема (хотя двумя-тремя веками раньше могла стать каноном).

Отступление невольное, но необходимое, потому что переводческая вершина Якобсона — сонеты, и здесь у него мало соперников. Это знаменательно. Стиховая культура и техника бесспорны, но в самом обращении к сонету сказалась, скрытая, во всяком случае не самая явная, черта его природы — внутренняя собранность. Она не бросалась в глаза — размашистые краски как бы скрадывали твёрдый рисунок личности. Он вообще любил ясность, логику и даже в обыденной речи был афористичен. Но это подробности внешние, и не хотелось бы упрощать. О себе он рассказал сам — книгой о Блоке. Мне кажется, многое там понято через себя, и особенно это: «Трагическая раздвоенность, боль разрыва, есть тоска по гармонии».

Кстати, сказанное о русском поэте справедливо и для испанского, которому Якобсон-переводчик отдал, наверно, больше души, чем кому-либо. Для сонета Испания стала второй родиной, за шесть веков — море сонетов, и лишь пять-шесть недоступных утёсов над волнами. Один из них — Мигель Эрнандес, прямой — через века — наследник Гарсиласо и Кеведо. Свои сонеты он создал молодым, а случилось так, что они ненадолго, но продлили ему жизнь. Силась отменить смертный приговор поэту, друзья прибегли к ватиканским связям, и чтобы внушить, о ком, о какой жизни просят, предъявили книгу сонетов. Приговор был смягчён.

Абстрактное представление о сонете художнично, это ему переводы обязаны одышкой, пресным языком и пятистопным ямбом для всех времен и народов. В ходячем представлении сонет — сама благовоспитанность; оттого-то переводы аккуратны, как консервы, а у поэтов — какое-то племенное сходство. А с какой, собственно, стати? Ни у латинян, ни у галлов нет такого единообразия, равно как и пятистопного ямба.

Эрнандес в переводах Якобсона — это десять сонетов и пять стихотворных размеров (ритмов, естественно, вдвое больше). Отсюда и полнозвучие. Музыка — в природе сонета, от нее он получил свое имя, и недаром в испанских песенниках Золотого века сонеты шли вперемежку с народными песнями.

У Якобсона почти неощутима техническая заданность. Суровые, горькие или жаркие, это прежде всего стихи, только строго организованные. Слово «чекан» как будто растворено в гулком звучании:

Как бык, порождён я для боли, и жгучим,  
клеймящим железом, как бык, я отмечен.

Мой бок несводимым тавром изувечен,  
мой пах наделён плодородьем могучим.  
Как бык, не владею я сердцем гремучим, —  
огромное сердце измерить мне нечем...

Не ритм, а калёное эхо деревенской кузни. И разве не чеканны сонеты «В каком-нибудь селении» или «Проходят по тропинке сокровенной»? Или «Смерть в бычьей шкуре»? Но какое при этом долгое и вольное дыхание! Стих не топчется, не раскачивается, чтобы в конце разразиться афоризмом, но движется четко и упруго, как боксёр на ринге.

Сам Якобсон лучшим считал сонет «Когда этот луч перестанет струиться», но, по-моему, втайне любил другой, и даже иногда декламировал его — без малейшей распевности, скорее отрывисто, но как-то поднимая до мелодии. Тогда я не знал ещё, что в старину сонеты пелись.

Мягче и чуть архаичней остальных, этот сонет — самый воздушный из них и самый возрожденческий.

Вот лилия, проснувшись на холме,  
свершила сокровенное усилие —  
и распахнулись ангельские крылья,  
слепающие, как молния во тьме.

Стоит точка, но фраза не глохнет, а парит в воздухе, и вот уже подхвачена новой строфой:

А это значит, что конец зиме.

Легкая дань Пастернаку, но для Эрнандеса, пастуха и книгочех, звучит естественно. И так же естественно великолепное завершение: «Лишь я стою один, замороженный». Стих щелкает, цокает, журчит и влажно дышит молодой весенней тоской.

Таков средиземноморский сонет — он не строится, а льётся, и строфы распахнуты навстречу друг другу. Как удавалось Якобсону, не зная языка, слышать подлинник — для меня загадка.

И другая загадка. Из отобранных (собственноручно) сонетов он перевел две трети (может быть, чуть больше). Насколько помню, никакие внешние обстоятельства тогда не мешали. Так было не раз (и с Верленом тоже) — ощутив победу, бросал работу. Устал, соскучился? Или разочаровался? Но бывали работы заказные, по обязанности, и при том объёмистые; помню, как он переводил старинные испанские децимы, дидактические и отчётливо скучные, переводил с ненавистью, ворчал на усопшего классика: «Попадись он мне в руки на полчаса, я бы отучил его от стихов», — и всё же довел до конца<sup>4</sup>.

А с любимой работой происходило иначе. Действительно ли чувство удачи и облегчения расхолаживало его, а сделанное переставало радовать, или причина глубже? То, что зовётся вдохновением, для переводчика означает достижение свободы. Может быть, он избегал пользоваться уже достигнутым, — и заподозрив, что движется по инерции, останавливался? Грань между поэзией и не-поэзией была для него гранью между правдой и притворством.

Так оно или иначе, одинаково грустно.

Есть область перевода, где достижение свободы фатально, а переводчик, по сути дела, автор. Речь о стихах для детей. Хочется упомянуть и эти работы Яacobсона — к сожалению, лишь упомянуть. Они затерялись в необъятной продукции «Детгиза», и отыскать их уже немислимо, разве что выручит случай. Из того немногoго, что он читал мне, помню лишь несколько строк (перевод, кажется, с чешского или словацкого, не ручаюсь). Начальная строфа торжественно возвещала, что пришла осень и, стало быть, пора играть свадьбы. Тут-то и начиналось:

Кашель женится на каше,  
Просто квак на протокваше,  
Шпиль на шпильке,  
Киль на кильке,  
Клоп на клёпке,  
Поп... (и т. д.)

Брачная вакханалия набирала силу, куролесила, ритм озорничал, и только к финалу движение, наконец, важно замедлялось:

Мякиш на макушке,  
Кукиш на кукушке...

Но кукиш, увы, уперся в дошкольную цензуру, и печаталось без финала.

Мне страшно нравилось, а Яacobсон тут же принимался объяснять, насколько всё это просто: берёшь корневые созвучия и так далее. Кому просто, кому наоборот.

Даже не знаю, где остались его детские стихи, — в журналах или книжках (дарить переводы нам казалось тогда смешным). Но эта грань его переводческого дарования, как и само оно, — лишь одна из граней его дара литературного. Ещё раз — не берусь гадать, в какой мере он отдавал себя переводу; понятно, что не целиком. Но в том, что отдавал себя не скупясь, загадки нет. Переводы — изначальная частица русской поэзии, молодой и неизменно чуткой к мировой культуре. А для Анатолия Яacobсона русская поэзия была его пристанищем на земле.



- <sup>1</sup> «Русская мысль» № 3737 от 12 августа 1988 г. Напечатано вместе с подборкой переводов под общим названием «Памяти Анатолия Якобсона», к десятилетию со дня гибели. Название статьи дано редакцией «Русской мысли» (прим. В. Емельянова).
- <sup>2</sup> Из письма в Москву Иветте Фалеевой, любимой учительнице, 2 июля 1974 г.: «...я не поэт, а поэт-переводчик... Это тоже прирождённое, а не одна техника. И это отличное поприще. Я горько сожалею, что посвятил этому в 100 раз меньше времени и сил, чем надо было посвятить. Так — за всяческой суетою, по глупости и по лени — я пренебрёг в конечном счёте своим призванием» (прим. В. Емельянова).
- <sup>3</sup> 1 Послание к Коринфянам, 13.
- <sup>4</sup> Тирсо де Молина, Толедские виллы, М.: Художественная литература, 1972. Перевод с испанского Е. Лысенко. Перевод стихов А. Якобсона (прим. А.Зарецкого).

## **Предисловие<sup>1</sup>**

Анатолий Александрович Якобсон (1935–1978) был публицистом, поэтом, переводчиком и просто человеком щедро одаренным. Но прежде всего он был живой, жаркой совестью. Быть может, это и делало его замечательным учителем. Давно уж расформированы и сами школы, где преподавал Якобсон, а бывшие выпускники по-прежнему из года в год собираются, чтобы помянуть учителя.

Анатолий Якобсон преподавал историю и внеклассно — поэзию: вводил в мир Блока и Маяковского, в неведомый ученикам мир Ахматовой и Пастернака, в неведомый и самим учителям мир Цветаевой и Мандельштама. Его лекции, на которые шли всей школой стар и млад, не были ни ликбезом, ни театральным действием. Он не поучал и никого не гипнотизировал, но будил души.

Все литературные труды Якобсона родились из его лекций. Вероятно, это и обусловило ясность изложения и подчеркнутый нравственный смысл. Написанная в 1968 году статья о романтической поэзии — в сущности, сжатый вариант прочитанной годом раньше школьной лекции. Режиссер Юна Вертман в ту пору тоже учительница, рассказывала, что накануне Якобсон волновался «Боюсь, вдруг что-нибудь сорвется. Мне обязательно надо проговорить то, что я задумал, — это сейчас для меня важнее всего».<sup>2</sup> Причины тревоги можно угадать. Впервые Якобсон говорил о стихах ему чуждых и касался темы глубоко личной и болезненной. Человек душевно да и физически сильный, он был как-то по-детски раним и отзывчив — особенно на чужую боль, даже далекую и неведомую. Короче, он ненавидел насилие и отвергал его каждой клеткой, а замороженность насилием, его поэтизацию считал, самое мягкое, преступным заблуждением. Что стояло за словами «для меня важнее всего»? — в это «все» входило прощание со школой. Темы его давней лекции сейчас обсуждаются широко и открыто (хоть и с разным, порой зловещим подтекстом). Тогда это прозвучало впервые и разом положило конец учительству Якобсона.

С уходом из школы его деятельность как бы раздвоилась — на чисто литературную (он много и мастерски переводил) и правозащитную (смысл ее он видел в утверждении гласности — понятие в те годы преступное и уголовно наказуемое). Оба русла слились в его работах о русской поэзии, особенно в самой крупной и глубокой из них — книге о Блоке («Конец трагедии»). Книга ходила в рукописи в узком кругу

читателей. Среди них, правда, были К. И. Чуковский, Л. К. Чуковская, М. С. Петровых, М. М. Бахтин, А. Д. Сахаров, Д. С. Самойлов.

Способностью преодолевать и опережать время Якобсон, помимо мужества, обязан, конечно, своему нравственному инстинкту и своему доверию к людям. И еще тому, в чем он искал и неизменно находил опору. Русскую литературу он любил, как любят родину — то кровное и таинственное, что пожизненно требует разгадки. И вряд ли он шутил, говоря, что мечтает стать «гениальным читателем», или сетуя, что Пушкина читают «на два сантиметра вглубь». Провидческий смысл искусства для него не подлежал сомнению, а в русской литературе он видел больше, чем искусство, — лик самой жизни, призванной «мыслить и страдать».

Живая и свободная мысль всегда выстрадана. Но иногда, к несчастью, выстрадана буквально.

Якобсон был вынужден (тоже буквально, то есть принужден) покинуть родину. Последние пять лет его жизни были трудными. Вот несколько строк из дневниковой записи: «Проживу, сколько суждено, понимая, что смерть не самое страшное... Умру скорее всего в Иерусалиме... Составлю духовное завещание по всем правилам европейского искусства. Урну с моим прахом переправят в Россию, и Юрий Всеволодович Белоусов<sup>3</sup> зароет мой прах в русской земле».<sup>4</sup> Осенью 1978 года Анатолий Якобсон покончил с собой. Единственным завещанием остались его книги.

<sup>1</sup> Предисловие Анатолия Гелескула добавлено при публикации эссе «О романтической идеологии» в журнале «Новый Мир». Москва, 1989, № 4. (Прим. В. Емельянова).

<sup>2</sup> Юна Вертман. «Странички о Толе». Анатолий Якобсон. ПОЧВА И СУДЬБА. Вильнюс-Москва, Издательство «Весть»; 1992. Журнал 22, № 129 за 2003 г. (Прим. В. Емельянова).

<sup>3</sup> Сын близкого друга Всеволода Белоусова. (Прим. А. Гелескула).

<sup>4</sup> Анатолий Якобсон похоронен в Иерусалиме, на Масличной Горе, — в нескольких шагах от могилы своей матери. (Прим. В. Емельянова).

*Павел Литвинов*

## **Некролог<sup>1</sup>**

28 сентября [1978] в Иерусалиме покончил с собой поэт-переводчик и преподаватель русского языка и литературы Анатолий Александрович Якобсон, один из основателей и наиболее активных участников движения за права человека в Советском Союзе.

Анатолий Якобсон родился в 1935 году. По образованию — историк, но больше занимался литературой. Его переводы вошли в многочисленные сборники стихов европейских поэтов, издаваемых в СССР. Его книга об Александре Блоке «Конец трагедии», вместе с записями лекций о поэзии, прочитанных Якобсоном в 60-х годах московским школьникам, и статьей «Царственное слово», посвященной творчеству Анны Ахматовой, была опубликована на Западе Издательством имени Чехова и широко распространялась самиздатом в Советском Союзе.

После ареста в 1965 году писателей Синявского и Даниэля Якобсон хотел выступить на их суде в качестве общественного защитника. После того, как стало ясно, что его к выступлению в суде не допустят, Юлий Даниэль и его адвокат обратились к суду с ходатайством вызвать Анатолия в суд как свидетеля защиты, но суд отказал и в этом. 9 февраля 1966 года, за день до начала судебного процесса, Анатолий обратился к суду с письмом, в котором призывал суд оправдать Синявского и Даниэля. Это письмо, содержащее его непроизнесенное выступление на процессе, распространялось в самиздате и впоследствии было опубликовано Александром Гинзбургом в «Белой книге» по делу Синявского и Даниэля. С этого момента начинается активная правозащитная деятельность Анатолия Якобсона. Он пишет письма и статьи, посвященные защите гонимых в Советском Союзе, составляет тексты коллективных обращений, собирает под ними подписи.

После его письма в Союз журналистов СССР, в котором Якобсон проанализировал освещение советской официальной прессой процесса Галанскова, Гинзбурга и других (опубликовано в «Процессе Четырех», Амстердам, 1971 год), Анатолию приходится оставить любимую им преподавательскую работу в московской школе.

В 1969 году Анатолий Якобсон становится одним из основателей Инициативной группы по защите прав человека в СССР, вместе с Группой выступает в защиту преследуемых в СССР национальных и религиозных меньшинств, в поддержку требований советских политзаключенных и по многим другим вопросам. В декабре месяце того же года Анатолий принимает участие в демонстрации на Красной площади в Москве против реставрации сталинизма.

Органы госбезопасности неоднократно задерживали Якобсона и подвергали его допросам с угрозами ареста, если он не прекратит своей правозащитной деятельности. В 1973 году, когда КГБ узнает, что Анатолий составлял и редактировал «Хронику текущих событий», эти угрозы становятся особенно реальными. Кампания на Западе в его защиту предотвратила арест, но Анатолию с семьей пришлось в том же 1973 году покинуть Советский Союз. Он поселяется в Израиле, преподает русскую литературу в Иерусалимском университете, работает над книгами о творчестве Маяковского и Пастернака, публикует статьи в русскоязычной прессе в Израиле, выступает с лекциями.

Профессиональная деятельность Анатолия Якобсона как литератора и учителя русской словесности и гражданская как защитника прав человека неотделимы друг от друга и от традиции русской литературы, от «милости к павшим» Пушкина, от «Не могу молчать» Льва Толстого.

<sup>1</sup> Опубликовано: «Хроника защиты прав в СССР» 1978, № 31, с. 66-67. — правозащитный бюллетень, издававшийся с ноября 1972 по 1980 гг. издательством Хроника-Пресс в Нью-Йорке: Khronika Press, 505 8th Ave., New York, N. Y. 10018.  
Editor-in-Chief, Khronika Press: Valery Chalidze.  
Editorial Board: Edward Kline, New York, Pavel Litvinov, New York.  
London Correspondent: Peter Reddaway  
Copyright ©1978 by: Khronika Press.

## Интервью Мемориальной странице<sup>2</sup>

**Павел Михайлович, когда, где и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Анатолием Александровичем Яковсоном? Каковы, на Ваш взгляд, особенные черты личности Яковсона? Ваше впечатление о его литературном творчестве?**

Я называл его всегда Толя, а за глаза Тошка. Я, конечно, очень многих дат не помню и что-то можно восстановить, что-то нет, но я думаю, что я познакомился с Толей где-то в 66-м или в 67-м году, вскоре после процесса Синявского и Даниэля. Я уже подружился в это время с Ларисой Иосифовной Богораз, мы стали большими друзьями, и я хорошо помню, как я в первый раз увидел Толью в её доме. Толя был такой человек, которого сразу видишь и не можешь оторвать от него глаз... С одной стороны, он был вполне лёгким в общении, но с другой — всегда очень серьёзен, когда разговаривал с людьми, слушал каждое слово и не болтал. Он мог пошутить, мог какой-нибудь анекдот рассказать, но в принципе говорил всегда серьёзно. Вот это его главное свойство, мне кажется. И обычно он естественно, сразу, — оказывался в центре внимания, причём ничего специального не делал — просто его присутствие среди других людей, в силу обаяния его личности, сразу пленяло. Лариса Иосифовна Богораз была не менее, а, может быть, более сильной личностью, но её присутствие было совершенно другим. Она могла как бы *быть* и могла *стусеваться* в углу, её бы никто не заметил, если бы она захотела. Толью не заметить было нельзя — он всегда становился центром. Вот это — личность и присутствие характера — наиболее важное первое впечатление, которое сохранилось в моей памяти на всю историю моего с ним знакомства.

Когда мы познакомились, я уже читал его письмо, которое он написал в защиту Даниэля. Это был замечательный документ, как и всё, что Толя написал в своей жизни. Это было настолько чисто, ясно и как бы всегда становилось последним словом, которое можно было сказать. То есть — Толя всегда формулировал до конца, страшно был чётко и оформлял литературно — и когда говорил, и когда писал. Он не так много, может быть, написал за свою жизнь, трудно сказать — много или мало. Я думаю, что читал большую часть того, что он написал, и это всегда было последнее слово, то есть у него всё было продумано и всё было высказано, халтуры не было никогда. Он не халтурил ни в мелочах, ни в большом. Когда он писал книгу, всё было проверено, вычислено, цитаты все были точные.

И таким же он был в правозащитной деятельности. Надо сказать, что с моими воспоминаниями о его правозащитной деятельности будет некоторая проблема, потому что эта деятельность, как и его активное участие в Инициативной группе, приходится на период, когда я был уже в читинской ссылке.

Когда я с ним познакомился, он ещё преподавал во Второй школе и, по-моему, примерно в это время или вскоре потерял работу. И я уже читал тогда несколько его лекций. И, конечно, самая замечательная — то, что я сейчас помню, остальное уже забыл — это лекция, ставшая впоследствии статьёй о романтической поэзии. Это было практически моё первое знакомство с его литературно-публицистической деятельностью. Я уже тысячу лет не перечитывал этой статьи, но я помню хорошо, что в детстве обожал романтическую поэзию Багрицкого... Для меня она была чрезвычайно важной духовно. И когда я начал читать Толю, будучи уже намного взрослее, поначалу у меня было некоторое сопротивление: как так, всё-таки это была чистота и благородство! Поэзия Багрицкого создала меня таким, какой я есть, и вдруг Якобсон всё это у меня отнимает. Но я стал вчитываться и вдруг понял, как он прав, и как я был наивен, и как я был психологически обработан советской жизнью, что для меня культура этой романтической поэзии имела такое значение. Я всё равно с Толей не полностью согласен, потому что какие-то положительные духовные уроки я всё равно из этой поэзии извлёк и что-то важное и чистое в ней было и остаётся. Толя всё же был прав в главном — эта романтическая поэзия была, в конечном счёте, неким бесовским наваждением, и, конечно, сыграла кошмарную роль в русской культуре и жизни. В общем, Толина блестящая работа на меня произвела очень сильное впечатление, разрушила часть иллюзий, которые пора было разрушить. Я их уже начал разрушать сам, но Толя умел формулировать — как никто. И это было, конечно, чрезвычайно важно.

Ну а потом я, конечно, прочитал «Конец Трагедии», — когда вернулся из ссылки, — и Толя подарил мне самиздатскую копию книги. Это было большое культурное событие! «Конец Трагедии» я и сейчас считаю шедевром литературоведения, блоковедения, истории, истории культуры, я уж не знаю, как и описать. Многие люди, может быть справедливо, в чём-то не согласились с ним и, конечно, это не последнее слово в изучении «Двенадцати» и Блока, но это чрезвычайно важное явление, безусловно, сыгравшее большую роль в разрушении иллюзий массы людей, которые читали книгу. Это было новое восприятие культуры того времени и культуры советского времени, особенно потому, что Блок был, наверное, одним из важнейших поэтов для многих из нас в моём поколении, может быть, и позже — в Вашем поколении. Толя нашёл ему более точное место и в то же время показал, что «Двена-

дцать» было не каким-то наваждением, а чистым и высоким поэтическое явлением. И то, как он критиковал там Бунина и всех, кто не понимал до конца значения Блока и что Блок пытался сказать. Я думаю, что это колоссальная вещь. Я, к сожалению, много лет не перечитывал эту книгу, но по памяти и впечатлениям просто хорошо ее ощущаю. И уверен, что если бы я сейчас стал перечитывать, я бы всё равно увидел, насколько это важно, чётко. И, конечно, носит печать времени, когда это было написано.

**Как Якобсон проявил себя в правозащитной деятельности? Как Вы могли бы охарактеризовать взаимоотношения Якобсона с другими правозащитниками?**

Толя был близок практически со всеми правозащитниками. Он дружил с замечательным Илюшей Габаем, дружил с Юлиусом Телесным и, конечно, с Ларисой Богораз, которая меня с ним познакомила, с Сергеем Ковалёвым и Таней Великановой. В общем, он знал всех, насколько я помню. Дело в том, что в начале я его видел в кругу только нескольких людей, когда он ещё не стал известным активистом. Это случилось уже после моего ареста, но он уже тогда был активен. Но, конечно, его знали все, его все любили. И его характер, и полное, чистое, благородное восприятие всего, абсолютная принципиальность, — всё это всегда как бы выносилось за скобки. Люди за него волновались, потому что он был чистый и страстный человек. При этом все его обожали, хотя он совсем не был святым человеком, но для всех моих и его друзей была очевидна тонкая высокая струна чистоты, ума, благородства.

**Когда и где Вы последний раз встречались с Якобсоном?**

Я помню, что последняя встреча, перед моим арестом, произошла 21 августа 1968 г., когда был суд над Анатолием Марченко. Мы все пришли — наша группа, может быть человек 20-30, — на этот суд, и на этот суд нас нарочно всех впустили. Мы даже сразу не поняли, почему, а потом стало ясно: они хотели привлечь наше внимание к суду над Толей Марченко, чтобы отвлечь наше внимание от Чехословакии, — это было то самое утро, когда все узнали о вторжении в Чехословакию. Я помню, что пришёл Александр Сергеевич Есенин-Вольпин на суд — он не знал о вторжении. И во время суда кто-то ему сказал, и он сразу отреагировал. Но все мы узнали утром, что вторжение в Чехословакию произошло. Итак, мы были на этом суде. Дина Исааковна Каминская — адвокат — сказала замечательную речь в защиту, но это не помогло, и Толя Марченко получил год за нарушение паспортного режима, что было, конечно, совершенно пустым поводом к его аресту. В конечном счёте этот год перешёл во много лет лагерей, с небольшими перерывами, и привел Толю Марченко к смерти. Но в тот день мы



все были вместе в этом суде. И когда мы выходили из суда, нас окружили работники КГБ. Они не подходили прямо, а фотографировали нас, как-то держась на расстоянии, пытаясь слушать наши разговоры, но, видимо, был сигнал не провоцировать нас. И мы шли вместе от суда к метро, я думаю, «Белорусская», по улице Правды — в этом районе был тогда суд. Постепенно все пошли в разных направлениях, и я хорошо помню, как Толя подошёл ко мне и сказал: «Павлик, я знаю, что ты, наверное, организуешь демонстрацию. Позвони мне, я хочу прийти на эту демонстрацию», — и ушёл.

А вот что произошло дальше. Он уехал на дачу, он там должен был быть, так как Майя ходила на работу. Дальше, по рассказу Майи Улановской, Лара пришла к ФБОНу и рассказала о назначенной на завтра демонстрации. И вид у неё — после ареста Толи Марченко — был совсем отчаянный. Майя ей сказала, что Толю брать не надо: посадят в психушку. На прощанье Лара попросила передать, чтобы Толя ей позвонил. И хотя Майя это восприняла скорее как желание Лары с Толей поговорить на прощанье, но на всякий случай не передала ему её просьбы. Таким образом, он о демонстрации вовремя не узнал. Он был очень потом разочарован — конечно, он хотел быть на демонстрации. Вскоре он написал своё «Открытое письмо» о нашей демонстрации.

Это была наша последняя встреча перед моим арестом. А потом, когда я вернулся, уже через четыре года, из ссылки, мы виделись, ну, не могу сказать, что очень часто, но, безусловно, раз десять за всё это время, а это было очень тяжёлое время, время большого разброда и раскола в движении, когда сидевшие в тюрьме Якир и Красин и некоторые другие давали показания. Дело было даже не в том, осуждать ли их, лагерников сталинских времён, за это, ясно, что они многое пережили, но поскольку они были нашими близкими друзьями, это всех нас очень угнетало. И, естественно, мы об этом говорили непрерывно, и, в общем, все были подавлены этой историей. Многие наши друзья были арестованы, кто-то «кололся», кто-то получил большие сроки, кто-то уже уехал, других подталкивали к отъезду. А Толя, конечно, волновался о своём сыне Саше, который был, как тогда думали, неизлечимо болен. И ему, и Майе, и Саше надо было уезжать в Израиль, и, конечно, КГБ хотело Толю вытолкнуть. В общем, страх за сына был главной причиной того, что Толя согласился уехать, несмотря на то, что он считал, что должен остаться и продолжать правозащитную деятельность, возможно, пойти в тюрьму или в сумасшедший дом — куда пошлют. У него было колоссальное чувство вины, что он уезжает, это было нелепо, конечно, но это чувство было частью его личности.

А в последний раз я его видел на его проводах. Было, как обычно, огромное количество людей, масса выпивки. Толя был в страшном нервном напряжении, но одновременно он был обычный Толя. Я помню

очень хорошо, что Юра Гастев увидел меня, подошёл обнять, а я хотел поговорить с Толей, а не с ним. И я говорю: «А где Толя?» А Гастев уже был немножко выпивши и продолжал меня обнимать. Тут и подошёл сам Толя, отстранил Гастева и сказал: «Не будь на похоронах главнее покойника». Вот такая была типичная яacobсоновская шутка. И надо сказать, в этой шутке была правда, потому что все эти отъезды, эти прощальные встречи, проводы выглядели, как похороны, хотя это ощущение не всегда было правильным. Люди уезжали, но потом мы стали возвращаться и встречаться, а тогда казалось, что прощаемся навсегда. Поэтому действительно проводы ощущались, как похороны. Толя как бы и шутил, но на самом деле ощущение похорон от этих отъездов было очень чётким. В нашем с Толей случае это оказалось правдой — мы больше не виделись...

Когда я уже сам эмигрировал, приехал в Америку, мы немножко переписывались, в основном передавали друг другу приветы. Потом Саша, его сын, приезжал, и у меня здесь останавливался, Майя приезжала, а Толя не приезжал. Все мы знали, что он был в глубокой депрессии, не мог писать, несмотря на то, что у него был как будто счастливый новый брак, хотя я не знаю деталей. Ясно было, что он был в плохом состоянии, и, конечно, ему не хватало русской, российской жизни: Израиль не Россия, несмотря на то, что там масса русских евреев. И он это очень чувствовал, и, наверное, это было одним из факторов, приведших, в конечном счёте, к его смерти. Я всё время хотел приехать в Израиль, но не было времени, денег, и моя семейная жизнь была очень напряжённая и трудная. Я всё время думал: «Я должен поехать в Израиль повидаться с Тошкой». Но этого не произошло.

### **Известны ли Вам высказывания А. Д. Сахарова и А. И. Солженицына о А. А. Яacobсоне?**

Я знаю, что Андрей Дмитриевич Сахаров очень хорошо относился к Толе, читал его книги и очень высоко их ставил, но я, конечно, никаких цитат не помню. Про Солженицына ничего не знаю, не знаю, были ли они даже знакомы, знал ли Солженицын что-нибудь о Толе.<sup>3</sup> Просто совсем ничего не знаю и не хочу комментировать. Но Лидия Корнеевна Чуковская Толю обожала абсолютно и считала его переводчиком и литературоведом высокого таланта. Она всегда о нём говорила исключительно хорошо, хотя Лидия Корнеевна была против отъездов. Она считала, что мы все должны оставаться, и — там — продолжать бороться, но, тем не менее, она понимала, что Толя должен был уехать.

**На интернет-сайте Музея и общественного центра им. Андрея Сахарова помещена хронологическая биография А. Яacobсона<sup>4</sup>, где среди создателей Инициативной группы упомянуты, в частности,**

**П. Григоренко, А. Якобсон, П. Литвинов, В. Чалидзе, П. Якир и др.  
Не могли бы Вы прокомментировать это?**

В. Чалидзе вообще в этом не участвовал, он потом организовал Комитет прав человека вместе с А. Твердохлебовым и А.Д. Сахаровым. Он к Инициативной группе отношения никакого не имел. А я уже был арестован. Но правда есть вот в чём: несколько раз до моего ареста в мае и летом 1968 г. несколько человек — я могу перечислить, кто — несколько раз встречались и обсуждали какую-то будущую организацию. Мы её не сформулировали, но, в общем, это была идея Инициативной группы, однако само наименование еще не возникло. То есть мы на самом деле несколько раз встречались и говорили о том, что надо как-то сформулировать, сформировать организацию. И потом из этих разговоров возникла Инициативная группа, уже после моего ареста. Я могу перечислить людей, которые участвовали в этих встречах: Петр Григорьевич Григоренко, Алексей Евграфович Костерин, я, Лариса Богораз, Наташа Горбаневская, Андрей Амальрик, Петр Якир, Виктор Красин, Илюша Габай и Юлий Ким. Мы встречались раза четыре в разных местах: где-то на водохранилище, потом у кого-то на даче, у меня это записано. И один раз — нет, пожалуй, Толя ни разу на этих встречах не был. Нет-нет, конечно, Илюша Габай был, и был момент, когда ожидалось, что Толя придет, но его не было всё-таки на этих встречах. Толя более или менее был в стороне ещё в это время.

А уже потом — после моего ареста — примерно та же группа людей, но без Ларисы Богораз и без меня, потому что мы были уже в тюрьме, и Толя вместе с ними, в конечном счёте организовали Инициативную группу, но название появилось уже после моего ареста.

Что ещё... Знаете ли Вы детали этой грустной истории, изложенной в книге Петра Григорьевича Григоренко «*В подполье можно встретить только крыс*»<sup>5</sup>, связанной с началом Инициативной группы? Майя Улановская чётко и прямо выступила против, и, конечно, сильно расстроила Петра Григорьевича, который человек был страстный и был очень настроен в пользу создания организации. В конце концов, организация создавалась, когда Пётр Григорьевич был арестован. Но дело в том, что Пётр Григорьевич был настолько расстроен выступлением Майи, что был несправедлив к ней, и я даже написал ему об этом письмо, даже хотел опубликовать его в газетах (письмо не опубликовали, но оно где-нибудь существует). Майя действительно просто пришла и сказала: «Я ставлю своей целью не допустить создания этой организации». Это, конечно, неудачно было сказано, что её кто-то послал из КГБ. Это, конечно, чепуха, — это было личное убеждение Майи.<sup>6</sup> Но Пётр Григорьевич очень огорчился по этому поводу. Произошло это уже после моего ареста, где-то месяца через два или три. Я даты не помню, но её можно восстановить. Моя бывшая жена, Майя (Копелева) Литвинова,

присутствовала, так что я все детали знаю хорошо и от многих людей, которые там были. Это случилось, я думаю, где-нибудь в конце 68-го, может в начале 69-го, но после моего ареста.

### **Как появилось название «правозащитное движение»?**

Я всегда подчёркивал, и многие со мной соглашались, хотя и не все, что именно правозащитный характер придаёт очень важный *внеполитический* аспект нашему движению. Конечно, в Советском Союзе всё политическое, они всё политизировали, но наша идея была такова, что мы защищаем права всех людей, чьи права нарушаются: будь то религиозные люди, писатели, которые хотят писать книжки, или крымские татары в их движении вернуться. Мы защищаем их права согласно правозащитным принципам, но не обязательно поддерживаем их деятельность. И идея была ясно сформулирована, я не помню, первый ли я был, но я говорил, что наша задача — создать возможность политического движения в будущем. Это не значит, что мы все соглашались с этим. Но я твёрдо не любил слово «демократическое движение», потому что термин был всегда очень неточный, и люди могли его использовать в самых разных направлениях. «Правозащитное движение» было гораздо более чистое и чёткое название, имеющее легальный характер. Но в принципе, термин «правозащитники» — был наш термин.

### **Проходили ли встречи, предшествовавшие созданию Инициативной группы, всегда конспиративно? Проводились ли эти встречи на Автозаводской улице в квартире у П. Якира?**

Мы встречались в разных местах, и мы, конечно, были плохие конспираторы. И говорили об очень разных вещах, но была такая идея — не то, что она была хорошо реализована, — что если мы пытаемся что-то значительное создать, то пусть мы сначала договоримся об этом, а уже потом... Всё, что мы делали, — мы делали открыто, но иногда хотели, чтобы они узнали потом, а не заранее. Нельзя сказать, что мы были последовательны в этом, но если мы хотели договориться о чём-то, например, о создании группы или о демонстрации, то мы старались встретиться без подслушки. И это можно назвать конспирацией, но, по сути дела, это конспирацией не было, потому что мы всё равно собирались об этом объявить. Просто хотели все наши переговоры и обсуждения закончить до того, как КГБ знало бы точно, что мы планируем. Мы не так хорошо это делали, но это была идея. На Автозаводской никакая конспирация не была возможна, поэтому, по крайней мере до моего ареста, там о чём-то таком всерьёз не говорили. Но, конечно, это правило скоро перестало выполняться.

**Я заострил на этом внимание, так как и Л. М. Алексеева, и С. А. Ковалёв в своих воспоминаниях отмечают, что А. Якобсон был недостаточно конспиративен.**

Никто не был «достаточно» конспиративен. Были люди, которые действительно не подписывали писем, которые как бы не высовывались, которые работали над той же «Хроникой», но не были «засвечены», в отличие от Якобсона или меня. Эти люди могли говорить о том, что кто-то был недостаточно конспиративен. А так мы все были одинаковы. Все мы хотели быть более организованной и конспиративной, но это было смешно. Но после ареста Горбаневской, меня и других людей, первоначально делавших «Хронику», постепенно стал создаваться некоторый круг, который был в какой-то степени более конспиративный, что ли. То есть КГБ всегда, в конечном счёте, узнавало — кто и арестовывало, но всегда находились другие люди, которые были более удалены, которые продолжали выпускать «Хронику», и процесс практически не прекращался очень долгие годы. Но, конечно, был период, когда Толя принимал в этом участие, Надя Емелькина. Я называю только отдельные имена, хотя гораздо больше людей было вовлечено. Ну, естественно, Инициативная группа — Таня Великанова, Таня Ходорович, Серёжа Ковалёв. Короче говоря, КГБ рано или поздно узнавало, кто был в центре, но они не всегда знали, кто делает техническую работу, и благодаря этому «Хроника» продолжалась.

**Функционировала ли Инициативная группа после того, как Вы вернулись из читинской ссылки и до того момента, когда А. А. Якобсон эмигрировал в сентябре 1973 г.?**

Практически она уже не функционировала — после ареста П. Якира и В. Красина. Якир и Красин сделали ряд не очень красивых вещей, я не хочу слишком их критиковать, но, в частности, когда организовывалась Инициативная группа, они все обсуждали, но не закончили её организацию, было не установлено, кто будет её членом и в каком качестве. А Якир и Красин, несмотря на это, пошли к западным журналистам и заявили о её создании. И многие люди были очень сердиты на них, потому что фактически её организация не была закончена, им никто не давал права выступать. В конечном счёте решили их поддержать, но, в общем, то, что она как бы была рождена в грехе, на многих произвело неприятное впечатление. Поэтому я думаю, что в этом одна из причин, что после ареста Якира и Красина Инициативной группы как бы не стало. Фактически, когда появилось уже Хельсинкское движение, оно полностью выключило Инициативную группу. Были ещё заявления Т. Ходорович, Т. Великановой, Елены Боннэр от имени Инициативной группы — я думаю, что они продолжались ещё года два после отъезда Толи, и после моего даже отъезда.

Продолжались некоторые заявления, но деятельность Инициативной группы как таковая, в конечном счёте, уже прекратилась. Трудно сказать, люди были того же круга, кто-то не был арестован, кто-то не

уехал, они что-то делали, но называли ли они себя Инициативной группой, — кроме этих заявлений, — я просто не могу сказать. И когда появилась Хельсинкская группа, она, фактически, забрала всех людей, которые ещё оставались в Инициативной группе, и, в конечном счёте, как бы покончила с Инициативной группой. Но лучше попросить кого-нибудь, кто был в обеих группах, как Л. Алексеева, Е. Боннэр. Выходила «Хроника» и все понимали, что Инициативная группа связана и, может быть, даже ответственна за «Хронику», но, кроме этих заявлений, фактически, я не знаю, что ещё оставалось. Я ведь никогда в этом непосредственно не участвовал, принимайте мои заявления больше как импрессионистские, чем фактические.

**Печатал ли Якобсон «Хронику» в доме Вашей матери Флоры Павловны Ясиновской-Литвиновой?**

Знаете, было много моментов, когда что-то перепечатывалось, что вошло в «Хронику», и, конечно, моя мама многим занималась. Я тогда этого не знал, но потом выяснилось, что был период, когда «Хроника» делалась в нашей квартире на Фрунзенской — за конкретными деталями надо обратиться к моей маме или сестре Нине. Могли что-то дать перепечатывать, но я сомневаюсь, чтобы целая «Хроника» делалась там. Много там делалось... Бывало так, что люди брали [пишущую] машинку, убегали — или думали, что убегали, — от КГБ, ехали к кому-нибудь на дачу, и сидели там, на даче, и заканчивали «Хронику». Толя такие вещи делал с Надей Емелькиной. Подробностей всех я не знаю. Если Вы хотите знать фактические детали, то свяжитесь с Саней Даниэлем в «Мемориале». Я не думаю, что есть кто-то, кто знает о «Хронике» и Инициативной группе больше, чем он.

**Павел Михайлович, участвовали ли Вы в демонстрации 5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади, участником которой, в частности, был А. Якобсон?**

Нет, я не участвовал. Я даже, по-моему, о ней не знал тогда, или узнал на следующий день. Но, в общем, я не участвовал и не планировал. Я собирался пойти в 1966 г., когда не состоялась антисталинская демонстрация. Но в принципе, хотя я занимался самиздатом и было очень много общих друзей, но ещё я не созрел до этого. Так что я не был на этой демонстрации.

В заключение я хотел бы сказать, что моя память о Толе настолько тёплая, настолько большое значение он имел в моей жизни, что я считаю своим долгом рассказать о нём для Мемориальной страницы — в память о Толе.

*Штат Нью-Йорк, США  
15 февраля 2006*

- <sup>1</sup> Павел Михайлович Литвинов (р. 1940), физик, общ. деятель (Москва); автор и ред. Самиздата: соавтор «Обращения к мировой общественности» (1968, совм. с Л.И. БОГОРАЗ), сост. сб. «Правосудие или расправа?» о демонстрации на Пушкинской пл. (1967) и «Процесс четырех» (1968), уч. в сборе информации для «Хроники» (вып. 2), правозащитник, участник демонстрации на Красной площади (25.08.1968); подвергался преследованиям: «беседа» в КГБ (1967, распространил запись беседы в Самиздате), «беседа» в прокуратуре, увол. из МИТХТ (1968); политзаключенный (ссылка — 1968–1972, Читинская обл.). Подп. письмо «Об общественной деятельности В. Чалидзе», соавтор писем в защиту А.Д. САХАРОВА (1973), подп. «Московское обращение», заявление в защиту Г.Г. СУПЕРФИНА (1974). Подвергался допросам (1972, 1973). Эмигр. (1974) в США, был зарубежным представителем «Хроники», уч. в переиздании ее выпусков (вып. 28–64). Живет в шт. Нью-Йорк, многие годы преподавал физику в колледже.

Источник: Г. Кузовкин, А. Макаров, Д. Зубарев и др. «Список граждан, выразивших протест или несогласие с вторжением в Чехословакию», <http://www.polit.ru/institutes/2008/09/02/people68.html>. См. о П. М. Литвинове фильм Владимира Кара-Мурзы (младшего) «Они выбрали свободу»: <http://www.newsru.com/russia/01dec2005/film.html> (прим. А. Зарецкого).

- <sup>2</sup> Интервью проведено по телефону Александром Зарецким. Отредактировано Василием Емельяновым.

- <sup>3</sup> По свидетельству Юны Вертман известно, что А. Солженицын знал Толины работы от Л.К. Чуковской и, по-крайней мере, один раз они пересеклись за общим столом у Корнея Ивановича, когда Якобсон был представлен Солженицыну. Тогда Солженицын произнес: «Так вот он каков — Якобсон!» Кроме того, из неотосланного письма А. Якобсона от августа 1974 года А. Солженицыну: «Уважаемый А.И., Пишу Вам по праву знакомства. Нас познакомила (как, возможно, помните) Л.К. Ч. <...> Когда-нибудь займусь писателем А. Солженицыным. Вот пока беглая и общая — оценка Вашего творчества. «Один день» — гениально от первого до последнего слова. Это не Вы сочинили: это Вам продиктовал тот, которому Вы молитесь (и в которого я не поверю, если даже будет доказано, что он есть). «Случай на станции» — изумительно. «Матрёнин двор» — прекрасно. «Круг» и «Корпус» — хорошие, в общем-то, книги. «Архипелаг» обессмертил Вас...» По свидетельству Владимира Гершовича А. Солженицын знал и о разборе А. Якобсоном «Теленка...» и сборника «Из под глыб» в своем выступлении в Русском клубе в Тель Авиве в 1975 году. (Прим. В. Емельянова).

- <sup>4</sup> См. <http://www.sakharov-museum.ru/asfcd/auth/authorbc58.html?id=78>

- <sup>5</sup> П. Г. Григоренко. «В подполье можно встретить только крыс». Дитинец, Нью-Йорк, 1981. С. 845. (Прим. А. Зарецкого).

- <sup>6</sup> См. Н. и М. Улановские. «История одной семьи». (Первое издание: New York, 1980. Chalice Publications), последнее издание: Санкт Петербург, 2003. Примечание на с. 302: «В первом же письме ко мне из Черняховской спецпсихбольницы от 4.8.70 Григоренко выразил полное понимание моей «вспышки» («... переживать за близких никому не заборонено») и просил прощения «за резкость и неактичность». Однако, в написанной в эмиграции книге «В подполье можно встретить только крыс» (Нью-Йорк, «Дитинец», 1981. с. 674–675; в 1997 г. переиздана изд-вом «Звенья» в Москве), вспоминая о собрании в своём доме, он придал этому пустяшному эпизоду крайне зловеющий характер, намекая на мои связи с КГБ. Все по-

## IN MEMORIAM

---

*пытки объясниться с Григоренко лично или через прессу ни к чему не привели. Уже после смерти П. Г. в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1990. кн. 180, с. 254-286) были напечатаны его письма нашей семье из Черняховской психушки, но с исключением моих претензий, касающихся злополучного эпизода, как он был изложен в книге Григоренко.» (Прим. В. Емельянова).*



*Сергей Ковалев*<sup>1</sup>

## **Извержение вулкана<sup>2</sup>** **(из книги «Полёт белой вороны»)**

...Следующим на очереди, с математической очевидностью, оказывался Толя Якобсон. Емелькиной это прямо сказали на каком-то допросе. Материалов против него была гора: во-первых, член Инициативной группы; во-вторых, ни для кого не было секретом, что в 1970-1971 гг. он играл активнейшую роль в издании «Хроники» — «конспирация» была глубоко чужда его экспансивной и бурной натуре. Ну, а при Тошкином бешеном темпераменте и могучем лексиконе набрать показаний о его высказываниях в адрес «Софьи Власьевны» (т. е. советской власти) и вменить ему еще и «агитацию в устной форме» вообще ничего не стоило. Правда, боюсь, что в этом случае заседания суда пришлось бы делать закрытыми и формально — во всяком случае, женщин и детей туда пускать не стоило бы.

Якобсон был удобным кандидатом в заложники еще и потому, что к концу 1972 г. отошел от диссидентской работы в прямом смысле этого слова. Он заканчивал свою блистательную книгу об Александре Блоке — «Конец трагедии», которая позднее вышла за рубежом (и перепечатанный экземпляр которой, Майя, его жена, умудрилась забыть на прилавке в «Военторге»). Когда она, спохватившись, кинулась к директору магазина, тот с удовольствием сообщил ей, что успел прочитать несколько страниц этого литературоведческого исследования — так что рукопись уже передана в КГБ. К счастью, это была не единственная копия). Между прочим, первый самиздатский «тираж» этой работы (15 экземпляров) делали мы с Виталием Рекубратским<sup>3</sup>, моим коллегой по работе на рыбоводческой станции и близким другом моим и Тошкиным. Неучастие в нашей текущей работе делало его удобным кандидатом в заложники. Чекисты к тому времени поняли, что людей действующих трудно устроить акциями, направленными против них самих. Иное дело — направить угрозу против друзей и близких — тут задумаешься. А Якобсона любили и ценили многие. Во всяком случае, для меня в моей диссидентской жизни не было никого ближе, чем Саша Лавут, Таня Великанова и он.

В последнее время в печати появляются, наконец, статьи и публикации об Анатолии Якобсоне. Вышел в свет двухтомник его работ (среди них и «Конец трагедии») и воспоминаний о нем. Хочу и я сказать несколько слов об этом человеке, который был одним из самых горячо мною любимых друзей.

Мне никогда в жизни не приходилось наблюдать *извержение вулкана*, но если когда-нибудь придется, то, подозреваю, не увижу ничего нового. Тошка все время жил в состоянии какого-то непрерывного процесса взрывного саморасточения — таланта, обаяния, блестящего (хотя не всегда пригодного для салонов) остроумия, любви к друзьям, женщинам, стихам. Я не знаю другого человека, который настолько широко знал и глубоко чувствовал поэзию, как Якобсон; это же относилось и к истории, в особенности — к русской поэзии и русской истории. В них он просто жил, столь же осязаемо, как иные живут в своем материальном окружении. Когда Тошка читал вслух Пушкина или Ахматову, читал не по-актерски, а так, как читают поэты, «без выражения», акцентируя лишь ритм и мелодию стиха. Было совершенно понятно, что он весь — там, внутри произносимого; каждый нюанс стихотворения проживался им полностью и без остатка, до «полной гибели всерьез». Когда из него вдруг, по случайному поводу, выливалась импровизированная лекция о, например, декабристах, или о Февральской революции, или о чем угодно, — можно было не сомневаться: он рассказывает о том, что только что сильно и трагически пережил.

Сказанное не означает, что Якобсон был исключительно человеком эмоций. Не мне судить, была ли его мысль литературоведа и историка, выраженная в его эссеистике или в молниеносных устных импровизациях, глубокой и оригинальной; но она всегда была ясной, сильной и неотразимой, как удар. Якобсон, кстати, подобно мне, был в молодости боксером и даже чемпионом. В профессиональном плане он существовал в нескольких ипостасях. Литератор, занимавшийся в основном переводом на русский язык испанской, латиноамериканской, французской поэзии. Литературовед, автор великолепных исследований-эссе о русской поэзии XX века. Школьный педагог, преподаватель истории и литературы, об уроках которого и теперь, тридцать и более лет спустя, с восторгом вспоминают его бывшие ученики. Кстати, его «взрослые» литературоведческие работы выросли из цикла лекций для школьников, прочитанных им в 1965-1968 гг; на эти лекции сбегалось пол-Москвы.

И, наконец, Якобсон был одним из лучших публицистов Самиздата; даже не знаю, кого с ним рядом можно поставить, — может быть, Л.К. Чуковскую или А.И. Солженицына. Текстов, подписанных его именем, немного, но любой из них делает честь его перу. Гораздо больше текстов написано при его решающем участии для Инициативной группы или для «Хроники», но мне кажется, что его таланту и темпераменту было тесновато в строгих рамках информационных сообщений и правового анализа. В публицистике и литературоведении он отводил душу.

Когда говорят о диссидентстве как способе самореализации для неудачников и бездарностей, я вспоминаю Тошку Якобсона, его великолепный талант, человеческий и профессиональный. Когда говорят о диссидентах как людях, равнодушных или враждебных России, я опять же вспоминаю Тошкину почти физиологическую связь с русской культурой. Разрыв или ослабление этой связи, невозможность слышать вокруг себя русскую речь и привели его — я в этом уверен — к гибели.

\* \* \*

Отвлеченно-этическая оценка проблемы была очевидной: ведь мы принципиально отказываемся от навязываемой нам системы круговой поруки. Следовательно, ультиматум КГБ не может быть принят, и ответственность за последующие репрессии лежит не на нас, а на власти. Однако существовал еще и эмоциональный аспект: нужно было реально представить себе Тошку в лагере. Представить, как он, в ответ на первую же мерзость, профессионально нокаутирует какого-нибудь офицера из охраны, со всеми вытекающими последствиями. Легко сказать, что отказываешься решать судьбу другого человека за него, но если этот другой — твой близкий друг, и если отказ от решения — это уже решение? Мы не раз слышали нарекания некоторых Тошкиных друзей в свой адрес: говорили, что использовать Анатолия Якобсона в общественном (употреблялось чаще всего слово «политическом») противостоянии — все равно, что заколачивать гвозди микроскопом. Строго говоря, никто из нас и себя не считал кувалдой, пригодной только для заколачивания гвоздей; но дело было не в этом, а в том, что и членство в ИГ, и работа в «Хронике» были для Якобсона его собственным свободным выбором. Теперь же нам предстояло решить за него его судьбу.

И, наконец, еще одно: к этому моменту Якобсоны решились эмигрировать в Израиль. Помимо всего прочего, Якобсон сумасшедшей еврейской любовью любил своего сына Саньку, в то время 12-летнего нервного и умненького подростка, унаследовавшего от отца страстную любовь к литературе и заразившегося от нас, его друзей, интересом к общественным вопросам. У него этот интерес превратился в полную заикленность на проблемах текущей политики. Идеологически он был куда более яростным «антисоветчиком», чем любой из нас, включая даже отца. Тошка обожал сына, трясся над ним и с ужасом думал о его будущем. И когда Санька внезапно увлекся сионистскими идеями и начал бредить Израилем, судьба семейства была решена. Якобсон мог противостоять КГБ, угрозе ареста, чему угодно — но не сыну. Майя тоже склонялась к эмиграции: она считала, что это единственный способ сохранить Саньке отца. Препятствовать Якобсонам в их решении никто из нас морального права не имел.

Мы встретились, чтобы что-то решить. Мы — это, если не ошибаюсь, я, Таня Великанова, Саша Лавут, Татьяна Сергеевна Ходорович, Гриша Подъяпольский, возможно — Надя Емелькина и Юра Гастев (Шиханович с сентября 1972 г. сидел в тюрьме в ожидании суда). Якобсон тоже присутствовал, но все согласились, что принятие решения — не за ним, так как он, с одной стороны, лицо заинтересованное, а с другой — отошел в последнее время от работы над «Хроникой». Я не помню тогдашних наших аргументов и соображений, и быть может, в том, о чем я сейчас пишу, есть определенная доля моих сегодняшних сомнений и раздумий. Но, так или иначе, решение было принято такое: с очередным выпуском повременить.

\* \* \*

Якобсоны уезжали в конце августа 1973 г. Уже был арестован Гарик Суперфин, уже было известно, что не лучшим образом держится на следствии Шиханович, уже шел судебный процесс над Якиром и Красиным. «Хроника» не выходила в течение 10 месяцев. Тошка бодрился, грозил, что выведет в Израиле новую породу «пьющего еврея», строил литературные планы. Потом приходил в мрачное расположение духа, заявлял, что никому он, человек русской культуры, там не нужен; Израиль, говорил он, ближе для него, чем любая иная заграница, ибо он все-таки еврей и ощущает свою общность с еврейством, — но сгодится он там лишь на то, чтобы «чистить курятники». Накануне отъезда он отозвал меня в сторону и начал сбивчиво говорить, что у него ко мне есть специальная просьба и что он может обратиться с этой просьбой только ко мне. Он просит передать Петру Григорьевичу, когда тот выйдет на свободу (Григоренко все еще сидел в психбольнице): пусть П. Г. не думает, что он, Якобсон, бежит от тюрьмы; за границу его гонит только ответственность за сына. Мнение П. Г. было для него чрезвычайно важно. Я не знаю, успели ли они с Григоренко встретиться и поговорить позднее, когда сам Петр Григорьевич оказался за рубежом; я Тошкину просьбу выполнил в те два-три месяца, которые прошли между освобождением П. Г. и моим собственным арестом. Потом были проводы, сразу в двух квартирах — в якобсоновской и в квартире живущего парой этажей ниже Юрия Карякина; помню, как явился туда Вадим Делоне, только что уговоривший свою жену Ирину Белгородскую «дать следствию откровенные показания». Юлик Даниэль демонстративно не подал ему руки, Якобсон громко заявлял, обращаясь к нему, что хотел бы остаться наедине с близкими друзьями, но Вадим упорно не понимал намеков и, кажется, собирался заночевать. Каким-то образом его все же удалось выпроводить.

Таков был 1973 год.

\* \* \*

Намерение «чистить курятники» отражало, конечно, внутреннее Тошкино состояние, а не реальное положение вещей. Якобсона, члена Международного Пен-клуба, автора книги о Блоке, ожидала кафедра на факультете славистики Иерусалимского университета. Он работал на этой кафедре, писал статьи о русской поэзии; потом впадал в черную депрессию, бросал все и уходил из университета — правда, не чистить курятники, а грузчиком на мукомольню (физически он был здоров как бык). Потом опять возвращался в университет, снова бросал его и снова возвращался. Писал друзьям в Россию письма, то бодрые, то отчаянные. Где-то в 1976 или 1977 году он женился на молодой девушке (брак с Майей фактически распался задолго до отъезда, формальные отношения сохранялись ради сына), писал, что счастлив безумно, воспрял духом, строил планы. А в сентябре 1978 покончил с собой, повесившись в подвале. Действительно ли мы были правы, постаравшись избавить Якобсона от лагерного срока? Никто, конечно, не может теперь в точности ответить на этот вопрос. Но мне кажется, что в лагере Тошка выжил бы: на накале противостояния, на спортивной злости, на чувстве солидарности. Он был боец, и в экстремальной ситуации не допустил бы себя до депрессии, развившейся в болезнь. Разумеется, он, с его темпераментом, не вылезал бы из карцеров; очень вероятно, что он схлопотал бы новый срок и, может быть, не один. И все же, сейчас он, может быть, был бы жив.

Мы, в определенном смысле, поддались тогда на шантаж: ни к чему хорошему это не привело.

<sup>1</sup> Сергей Адамович Ковалев (р. 1930), биофизик, общ. деятель (Москва); к.биол.н., с.н.с., зав. отделом лаборатории мат. методов в биологии при МГУ (1965–1969), ст.н.с. Московской рыбоводной опытной станции (1969–1974); автор письма и уч. кампании в защиту А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля (1966), уч. петиционной кампании вокруг «процесса четьрех», подп. письмо в защиту уч. «демонстрации семерых» (1968), подп. заявление в 1-ю годовщину вторжения в ЧССР (1969), член ИГ; ред. Самиздата: один из ред. бюллетеня «Хроника текущих событий» (вып. 24–33), совм. с Т.М. ВЕЛИКАНОВОЙ и Т.С. Ходорович сделал заявление о принятии на себя ответственности за выпуск «Хроники» (1974), уч. в передаче на Запад «Хроники ЛКЦ»; подвергся преследованиям: принуждение к увол. с работы, допросы, обыск (1969, 1972, 1973); политзаключенный (1974–1981, ВС-389/36, 37, Чистопольская тюрьма, ссылка — 1982–1984, Магаданская обл.). Активист неформальных движений периода «перестройки», один из осн. и чл. Правления об-ва «Мемориал» (с 1989), депутат и чл. Президиума Верховного Совета РСФСР (РФ, 1990–1993), депутат Государственной Думы (1993–2003), 1-й уполномоченный по правам человека РФ (1994–1996), пред. комиссии по правам человека при Президенте РФ (1993–1996), подал в отставку в знак протеста против войны в Чечне. Живет в Москве, пенсионер. Источник: Г. Кузовкин, А. Макаров, Д. Зубарев и др. «Список граждан, выразивших протест или несогласие с вторжением в Чехословакию». См.

- <http://www.polit.ru/institutes/2008/09/02/people68.html> (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Сергей Ковалёв, «Полёт белой вороны. Sergej Kowaljow: *Der Flug des weißen Raben: Von Sibirien nach Tschetschenien: Eine Lebensreise*. Rowohlt Berlin, Berlin 1997, ISBN 3-87134-256-4. Название публикуемого фрагмента книги дано В. Емельяновым (прим. А. Зарецкого).
- <sup>3</sup> Виталий Александрович Рекубратский (1937–1977) - биолог, ихтиолог; был женат на двоюродной сестре А.Д. Сахарова Маше. Близкий друг А. Якобсона (прим. В. Емельянова).

*Людмила Алексеева*<sup>1</sup>

## **Анатолий Якобсон был среди первых**<sup>2</sup>

Излагая основные вехи своей биографии, Анатолий Якобсон писал: «...Из написанного до сих пор основное — работа о Блоке. Не случайно посвящение: Юлию Даниэлю; в немалой мере благодаря ему я смолоду ориентировался на те представления о человеческом достоинстве и о профессиональной чести, без которых всякое литературное дело есть ложь. Кроме того, после ареста Даниэля я заговорил вслух...»<sup>3</sup>

Я знала как раз эту сторону жизни Анатолия Якобсона — его говорение вслух в весьма не приспособленных для этого советских условиях.

Вскоре после войны мой бывший одноклассник, попавший на фронт восемнадцатилетним мальчишкой, прочел мне свои стихи (тогда все писали стихи). Поэтом ему не дано было стать. Но одно его стихотворение запомнилось мне на всю жизнь — вернее, мысль, его породившая. Мальчик читал его страстно, с дрожью в голосе. Оно было о его сержанте, командире его взвода. Мальчик им восхищался, преклонялся перед ним. Потому что, когда давали приказ подняться в атаку, сержант вставал первым, а его взвод — за ним. Разница была в несколько секунд. Но мальчик всем сердцем понимал, как трудно встать навстречу смертоносному огню раньше других. Я пишу здесь об этом признании бывшего фронтовика, потому что Толя Якобсон не раз бывал первым — не на фронте (там ему побывать не довелось), но в гражданском сопротивлении, в котором, как известно, пасовали и многие фронтовые герои.

Анатолий Якобсон добивался выступления на суде над Синявским и Даниэлем в качестве общественного защитника Даниэля, и заявил о своей солидарности с ними в письме в суд, одновременно отдав его в самиздат. Потом в самиздате ходила масса таких писем, но письма в защиту Синявского и Даниэля были первым публичным выражением несогласия с точкой зрения властей на творчество и на право писателя представлять мир таким, каким он его видит. С этого публичного выражения несогласия началось правозащитное движение в СССР, а с писем в защиту Синявского и Даниэля — наш правозащитный самиздат.

В 1968 г., когда советские войска вторглись в Чехословакию, семеро советских граждан вышли на Красную площадь с протестом против этого вторжения и были арестованы. Что их ждало официальное осуждение — это было очевидно для всех заранее. Но позже позабылось, что сразу после демонстрации их осуждали и близкие друзья, и так

называемое общество — за идеализм, за нерасчетливость: мол, у нас своих проблем хватает, стоило ли садиться из-за Чехословакии! Или: это уже политическое выступление, а мы не хотим вмешиваться в политику. И, конечно же, дежурное обвинение в экстремизме, бесовщине и «самосаждении». В день демонстрации, 25 августа, Анатолия Якобсона не было в Москве, и он потом очень страдал, что не попал на эту демонстрацию. Но свое отношение к демонстрантам он — первым — противопоставил отношению их критиков. В своем замечательном письме о демонстрации он предельно ясно выразил нравственную суть уже зарождавшегося, действовавшего, но не осознавшего еще себя общественного движения.

В мае 1969 г. 15 советских граждан отправили письмо в ООН — жалобу на преследования в СССР за убеждения. Это было первое коллективное обращение за поддержкой за рубежом. Среди подписавших это письмо был А. Якобсон. Эти 15 человек назвали себя Инициативной группой по защите прав человека в СССР. Это было первое объединение правозащитников. Якобсон оказался его членом вовсе не случайно.

К первой годовщине существования Инициативной группы стало ясно, что она не добилась своей непосредственной цели — привлечь внимание ООН к нарушениям прав человека в СССР — из ООН на неоднократные обращения ИГ вообще не ответили. Однако группа не прекратила своего существования, так как обнаружился побочный эффект ее деятельности: сограждане восприняли группу как рупор правозащитного движения и обращались к ней как к представительному органу. В годовщину создания Инициативной группы ее участники направили в Агентство печати «Новости» и в Агентство «Рейтер» открытое письмо, в котором объясняли уже определившуюся к этому времени свою позицию:

«Всех нас... объединяет чувство ответственности за все происходящее в стране, убеждение в том, что в основе нормальной жизни общества лежит признание безусловной ценности человеческой личности. Отсюда вытекает наше стремление защищать права человека. Социальный прогресс мы понимаем прежде всего как прогресс свободы...»

Твердость этой позиции была проверена жестоким способом: за год лишились свободы семеро из пятнадцати членов Инициативной группы. Обращение, написанное в ее годовщину, подписали все восемь оставшихся на свободе ее членов, среди них — Анатолий Якобсон. Судя по стилю обращения, именно он был автором.

Чтобы быть первым, нужно уметь не бояться. Поэтому бесстрашие — обязательное, но, что греха таить, иногда единственное качество тех, кто решается на это в советских условиях. Не всегда, к сожалению, оно дополняется способностью генерировать идеи и еще реже — профессионализмом в независимой общественной деятельности. Ана-



толий Якобсон обладал и талантом, и профессионализмом. Это проявилось и в его выступлениях как автора самиздата. Первой его самиздатовской работой была статья «О романтической идеологии». Думаю, я была не единственной читательницей этой статьи, изменившей свою оценку поэтов-романтиков 20-х годов, осознавшей античеловеческую суть этой поэзии.

Так же профессионально, как он выступал в самиздате под своим именем, Якобсон работал в нем и анонимно — как редактор-составитель информационного бюллетеня правозащитников «Хроники текущих событий». Но оказалось, что редкое сочетание бесстрашия, таланта и профессионализма не дополнялось у Толи еще одним необходимым для работы над «Хроникой» качеством — способностью к конспирации. Я помню совершенно анекдотический его ко мне звонок (вероятно, оба телефона прослушивались) и вымученный разговор о «столике», который он вот сейчас мастерит, и поэтому ему нужна как можно скорее «полочка», которую, «как он надеется», я уже сделала. Все мы были хороши на этот счет. Никто из нас, в недалеком своем прошлом благополучных московских интеллигентов, не был профессионалом в умении конспирировать. Кагебисты очень скоро выявили, что именно Толя взял на себя работу по составлению «Хроники текущих событий» после ареста Натальи Горбаневской.

Толе пришлось эмигрировать. Это оказалось непосильным для него. Он погиб. Мы его никогда не забудем. Я восхищаюсь им так же, как мой одноклассник-фронтвик восхищался своим сержантом — и по той же причине. Анатолий Якобсон был среди первых.

- <sup>1</sup> Людмила Михайловна Алексеева (р. 1927), историк, редактор. Участница петиционных компаний. Одна из организаторов помощи политзаключённым. Участвовала в издании «Хроники текущих событий». Одна из основательниц Московской Хельсинкской Группы (с 1976). Эмигрировала в США (1977). Представитель МХГ за рубежом. Автор первого фундаментального исследования по истории инакомыслия в СССР. Вернулась в Россию (1993). Председатель МХГ (с 1996), председатель Международной Хельсинкской федерации по правам человека (1998–2004). *Источники*: Власть и диссиденты: из документов КГБ и ЦК КПСС. Публикация и комментарии А. Макарова, Н. Костенко, Г. Кузовкина. — М.: Моск. Хельсинкская Группа, 2006. — 282 с. <http://www.mhg.ru/files/knigi/vendd.pdf>; Википедия (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Статья известной правозащитницы написана в 1988 г. для сборника «Почва и судьба». В качестве заглавия использована заключительная строчка статьи. (Прим. В. Емельянова).
- <sup>3</sup> А. Якобсон. «Автор о себе» в его книге «Конец трагедии». Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1973. См. также русское переиздание: Вильнюс-Москва, 1992. (Прим. В. Емельянова).

**Юлий Даниэль**

## **Заявление (Письмо Шафаревичу)**

*Русская мысль, № 3038*

*13 февраля 1975 года*

9 января с.г. газета «Русская мысль» опубликовала интервью с И.Р. Шафаревичем. В интервью имеется специальный пассаж, глубоко меня возмущивший, — об эмиграции. Оказывается, дело обстоит крайне просто: «лучшие представители нашей литературы, критики, музыки» (за одним исключением) уехали из своей страны «добровольно» — «просто не выдержали давления». Следовательно, выводит Шафаревич, «у них не оказалось достаточных духовных ценностей, которые могли бы перевесить угрозу испытаний». После такого убийственного доказательства окончательный приговор ясен: «Люди, лишённые этих ценностей, не могут внести никакого вклада в культуру, независимо от того, по какую сторону границы они находятся». Все это говорится от имени оставшихся в России. От имени оставшихся говорю и я: Шафаревич единым росчерком пера берется перечеркнуть судьбы и творчество художников, литераторов, философов и музыкантов. Это чудовищно. Может быть, он не знает, что не всегда культура живет по тем временным законам, по которым живут политические режимы? Что в отдельные периоды национальная культура продолжается за пределами государства? Что отнюдь не каждый художник может творить в условиях, когда он, по определению Шафаревича, должен «переносить угрозу испытания»? Что разлученный со своей страной художник может работать на будущее, в будущем его творчество вернется на родину? На нашей памяти так случилось с Буниным, сейчас у нас издают его произведения, созданные в эмиграции. Вернулись на родину философские труды Бердяева — его еще не издают, но читают.

Вернулась музыка Рахманинова, оставшегося — кто будет с этим спорить? — русским композитором. Полагать, как это делает Шафаревич, что человек культуры, творящий вне пределов родины, не представляет ценности для культуры родной страны (да и для мировой культуры), — невежество. Это значит забыть громадный исторический опыт культурной эмиграции хотя бы только XX века. Это значит грабить человечество, вычеркивая из культуры творчество Томаса Манна, Ярослава Мрожека, Марка Шагала. Специфику сложного процесса форми-

рования культуры И. Р. Шафаревич, как математик, может и не знать. Но я не могу допустить мысли, что он ничего не знает о судьбе и творчестве Герцена, Цветаевой, Мицкевича. Умышленно, а не случайно забывает Шафаревич их имена, сокращающие его концепцию.

Кто же они сегодня, «лучшие представители» нашей культуры, лишенные «достаточных духовных ценностей»? В высокомерных намеках легко угадываются люди, в которых он целит. Да и другие, с тою же судьбой.

Это Александр Галич, поэт, литератор, создатель современного городского фольклора.

Это Ефим Эткинд, исследователь литературы, хорошо известный в России и в других странах.

Это Виктор Некрасов, рыцарь чести, написавший лучшую книгу о войне, о мужестве русского народа.

Это Владимир Максимов, вечный и всегда искренний искатель правды.

Это Анатолий Якобсон, литературовед и переводчик, для него стихия русского языка и русской поэзии — воздух, которым он дышит.

Сами они, да и десятки других талантливых и честных людей, не могут защитить себя от Шафаревича: слишком популярен предрассудок, что слово, сказанное ТАМ, ценится меньше, чем слово, сказанное ЗДЕСЬ, в России.

Он считает, что писатель, покидающий свою страну, демонстрирует малодушие. А я так скажу: отрыв от родины для художника — это всегда риск, всегда трагедия и всегда подвиг. Это самая серьезная проверка его духовного потенциала, и далеко не всякий выдержит испытание отъездом. Разве не надежнее считаться талантливым как раз здесь, где все творческие неудачи можно списать на счет «неудобств»?

Об Андрее Синявском Шафаревич пишет, что он уехал из России, не пожелав терпеть «неудобств». Экий бесстыдный эвфемизм! Будто речь идет об обмене квартиры без клозета на жилье со всеми удобствами.

Самому Шафаревичу эти «неудобства» хорошо известны; они подробно изложены в том же самом его интервью. В полном объеме о них можно прочесть в произведениях А. И. Солженицына, который оказался человеком железной воли, — выжил и стал писателем в тех условиях, от которых сошел с ума Мандельштам. Повернется ли у кого-нибудь язык сказать, что то, что Мандельштам не уехал вовремя, — к лучшему?

Считает ли Шафаревич, что все люди одинаковы, что они — винтики, рассчитанные на определенный срок службы и «давление»? Художникам он ставит в пример верующих, которые это «давление» выдер-

живали. Но будет ли он презирать духовоборов, молокан, старообрядцев, бежавших или пытавшихся бежать от гонений в чужие края, чтобы там спокойно исповедовать свою веру? И тех, кто бежал во время религиозных гонений и войн в Европе?

И сегодняшних пятидесятников, пытающихся покинуть Россию? А главное, почему он забывает, что вера художника безусловно требует самоотдачи и отнюдь не безусловно — самопожертвования? Судить о художнике дано времени, которое, в отличие от Шафаревича, оценит его по его творчеству, а не способности переносить испытания.

Давно и хорошо известно, что тупая тенденциозность несовместима с добросовестностью, — и Шафаревич оказался жертвой своей тенденциозности. В самом деле, как представить Андрея Синявского человеком, лишенным права именоваться русским писателем? Да очень просто: выхватить из текста цитату, обкорнать ее с двух сторон — нехитрая, но надежная операция, хорошо знакомая тем, чьи произведения попадали под перо наемного критика и под тяжелую руку Уголовного кодекса. В объемной, сложной и многозначной статье

Синявский, говоря о тех, кто вынужден был уехать из России, восклицает с горечью: «Россия-Мать, Россия-сука, ты ответишь и за это, очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором, — дитя!..» Как близко это Н. А. Некрасову и Лескову, поносившим любимую свою Россию; как перекликается с Александром Блоком: «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка, своего поросенка».

И почти дословно совпадает это с проклятием Ричарда Олдингтона: «Англия, нелепая старуха. Чума на тебя, старая сука. Ты отдала нас на съедение червям. И все же я бы снова поглядел на тебя».

Во все времена, во всех странах именно любовь подвигала художников быть беспощадными к своей стране, именно любовь давала право судить о родине, отбросив ханжество, этикет, табу.

Шафаревич же из всей статьи Синявского вот что извлек: «Россия-сука, ты ответишь и за это», подменив жестокий и горестный троп<sup>1</sup> заурядным блатным ругательством. Зачем? Да все затем же: доказать, что человек, уехавший из своей страны, на большее не способен. Подлог? Конечно, подлог, тем более выгодный, что не всякий читатель может сам прочесть статью, проверить цитату. Все это уже было около десяти лет назад, когда мой друг Андрей Синявский за свое творчество был приговорен к 7 годам «неудобств» строгого режима. Тогда официальная пресса цитировала его именно так...

\* \* \*

Мы, остающиеся, не можем отделить уехавших от себя. Мы их благословляли на крестный путь, мы связаны с ними дружбой, сочувстви-

ем, единомыслием. Равнодушно вычеркивать их из списка живых — самоубийство. Мы вскормлены одной культурой, люди, покидающие страну, будут жить за нас ТАМ, мы будем жить за них ЗДЕСЬ.

Проблема эмиграции культуры действительно существует; я-то думаю, что настоящий художник, даже физически разлученный со своей землей, всегда связан с нею неразрывной духовной пуповиной. Разумеется, могут быть и другие точки зрения. Но обсуждать эту проблему следует спокойно, с уважением к людям и фактам, без полицейских окриков.

*Москва,  
20 января 1975*

<sup>1</sup> Троп (от др.-греч. **τρόπος** — оборот) — слова и выражения, используемые в переносном смысле, когда признак одного предмета переносится на другой, с целью достижения художественной выразительности в речи. В основе любого тропа лежит сопоставление предметов и явлений. Источник: Википедия (прим. А. Зарецкого).

*Эдвард Клайн<sup>1</sup>*

## **Интервью Мемориальной странице<sup>2</sup>**

*Памяти Василия Евгеньевича Емельянова*

### **Какова история передачи в США и публикации в издательстве им. Чехова книги А. Якобсона «Конец трагедии»?**

Насколько я помню, текст книги Анатолия Якобсона «Конец Трагедии» был передан Юлиусом Телесиным<sup>3</sup> Макс Хэйворду (Max Hayward)<sup>4</sup>. Макс Хэйворд — главный редактор Издательства имени Чехова Корпорэйшн (Chekhov Publishing Corporation) — принял решение напечатать книгу об Александре Блоке.

**Якобсон указал в конце своей книги следующие сроки создания «Конца трагедии»: «...июнь-июль 1969 г. и август-сентябрь 1970 г.»<sup>5</sup>. Юлиус Телесин эмигрировал 6 мая 1970 г., т. е. Якобсон ещё не закончил свою работу, когда Телесин уехал. Как рукопись попала к Ю. Телесину?**

В тот период многие эмигранты прибывали в Израиль. Вероятно, он получил её от кого-то из них. Тогда Телесин называл себя «король самиздата», и он действительно знал очень много о самиздате. И вы знаете, даже в наше время люди ищут «оказию», чтобы передать другим что-либо через уезжающих за границу. Когда Валерий Чалидзе приехал в Америку, я работал с ним, издавая «Хронику-пресс», и он получал огромное количество самиздата из России, порой от не знакомых ему людей, с просьбой просто опубликовать его. Вы знаете, было много каналов...

В общем, когда я получил рукопись Якобсона от Макса Хэйворда, именно он просил его опубликовать. Это была необычная публикация, потому что большинство наших публикаций, можно сказать, носили политическую окраску: поэзия И. Бродского, книги Н. Мандельштам и Л. Чуковской. Я не понимал, почему Макс так хотел опубликовать «Конец Трагедии» — он действительно великолепно разобрался в русской поэзии, восхищался ею, и, что было особенно важно, знал толк в советской и русской литературе. Я же в то время понятия не имел, что Якобсон был редактором «Хроники текущих событий», но подозреваю, что Макс это знал, и это было дополнительной причиной, почему он решил опубликовать книгу. Он восхищался Якобсоном, но также полагал, что это была замечательная книга, которой я был не в состоянии тогда, да и сейчас, дать оценку, поскольку моё знание русского языка недостаточно для разбора литературоведческого произведения

о поэзии Блока. После того, как мы опубликовали книгу Иосифа Бродского, я познакомился с ним, и он старался передать мне знания о поэзии вообще и русской в частности, но поэзия не мой конёк.

В архиве издательства есть письмо Ю. Телесина, присланное мне из Иерусалима 10 августа 1972 г., в котором приводятся биографические данные А. Якобсона для предисловия, переданные ему автором книги. В письме сообщается о работе Ю. Телесина над корректурой «Конца трагедии» в Израиле и Англии.

Насколько я помню, Питер Реддауэй<sup>6</sup> в Англии также был вовлечен в это дело и был хорошо знаком с Телесиним.

Как вы видите, Макс Хэйуорд был редактором, а я был бизнесменом — моей обязанностью было добывать деньги из разных фондов, и я был президентом компании, деловой её части. Фактически я получал уже готовые рукописи, которые направлял в типографию в Нью-Йорке — в случае с книгой Якобсона эта была Waldon Press. А Макс Хэйуорд был одним из тех, кто почти всегда находил нужный материал. Один или два раза материалы приходили ко мне, но это случилось очень редко. В действительности они приходили к Максусу, потому что он был широко известен как выдающийся литературовед.

**Кто писал рецензии на «Конец трагедии» для издательства им. Чехова? Можно ли разыскать их для опубликования на Мемориальной интернет-странице Якобсона?**

Рецензия Виктора Терраса (Victor Terras), профессора Браунского университета (Brown University)<sup>7</sup>, на книгу «Конец трагедии» была опубликована в «Славянском и восточно-европейском журнале». Другая рецензия автора-эмигранта Михаила Корякова появилась в газете «Новое Русское Слово» 6 мая 1973 года. Я вышлю вам копии обеих рецензий.

Я уверен, что Питер Реддауэй также был активно вовлечен в поддержку Анатолия Якобсона: в защиту от преследований КГБ и публикацию его книги.

**Знали ли Вы автора рецензии в «Новом русском слове» Михаила Корякова?**

Я встречался с ним. Он был эмигрантом второй волны, работал критиком, насколько я помню, на Радио Свобода, а также в газете «Новое русское слово», где он и опубликовал свою рецензию на «Конец Трагедии».

**У Вас есть какая-нибудь дополнительная информация о Викторе Террасе?**

Я знаю, что он преподавал в Брауновском университете, с ним лично не знаком. Он написал рецензию, будучи членом American Association for the Advancement of Slavic Studies.

### **Были ли опубликованы рецензии на «Конец трагедии» в Европе?**

Я полагаю, что, возможно, были и другие рецензии. Никита Струве<sup>8</sup> (Париж), наверное, знает о них. Кроме того, есть смысл обратиться к Мартину Дюхёрсту (Martin Dewhurst) в Англии, который знает всё о диссидентах.

Вы знаете, у меня есть ещё одна очень краткая рецензия на английском языке, но я не знаю, кто ее автор и где она была опубликована. Начинается она словами: «Якобсон жил в Москве до своей недавней эмиграции; эта книга содержит три его литературных эссе...». Я Вам ее вышлю вместе с копиями других материалов из моего архива.

### **Не могли бы Вы рассказать немного об истории издательства имени Чехова, главным редактором которого был Макс Хэйуорд?**

Да, он был главным редактором, но тогда некоторые книги редактировались также и другими. Первоначально издательство им. Чехова (Chekhov Publishing House)<sup>9</sup> было основано в Нью-Йорке в 1953 г. и в период 1953–1956 гг. оно опубликовало около 200 книг на русском языке. Ни я, ни Макс Хэйуорд не имели ничего общего с этим издательством, которое было создано русскими эмигрантами и спонсировалось Восточно-Европейским Фондом, связанным с Колумбийским университетом. Оно опубликовало действительно выдающиеся книги: поэтические произведения Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, литературоведческие — Бориса Зайцева и многих других, а также переводы Уинстона Черчилля. 200 книг — в основном на русском языке — это было очень много для того времени. Но затем в 1956 г. издательство им. Чехова закрылось из-за отсутствия финансирования.

В 1968 г. я встретил Макса Хэйуорда, который прибыл в Америку, чтобы увидеться с Аркадием Белинковым<sup>10</sup>. Я был также вовлечен в это дело. В то время Макс переводил воспоминания Надежды Мандельштам, первоначально названные ею «Первая книга», опубликованную на английском под названием «Hope Against Hope». Мы с Максом стали друзьями и оба решили, что стыдно, когда замечательные книги, написанные на русском, публикуются в переводе на английский, не будучи изданы на родном языке. Следовало бы придумать что-либо, чтобы публиковать на Западе очень важные книги, написанные авторами, живущими в Советском Союзе, которые не могли публиковаться там из-за цензуры. Так мы пришли к общему мнению — необходимо создать издательство. Стали выбирать для него название, и по многим причинам издательство имени Чехова (Chekhov Publishing Corporation) было лучшим названием, потому что А. П. Чехов был в основном вне политики или, по крайней мере, его имя не связывалось с политикой. Кроме того, даже на Западе люди хорошо понимали, что он был русским автором. Выбранное имя определяло наше издательство как



Русский издательский дом, при том что Макс был англичанином, а я — американцем. Мы получили разрешение у Фонда Форда (Ford Foundation) использовать это название.

При жизни Макса Хэйурда мы опубликовали около 10 книг на русском языке. После его смерти, хотя издательство имени Чехова всё ещё существует, мной были выбраны всего две опубликованные книги — мемуары А. Сахарова и книга Е. Боннэр «Дочки-матери» — оба издания на русском языке. В настоящее время издательство имени Чехова корпорэйшн продолжает помогать публиковать книги в России, осуществляя финансовую поддержку или изредка собирая пожертвования для осуществления тех или иных издательских проектов.

Макс Хэйурд родился в Англии в 1924 г. Он изучал русский язык в Оксфорде, затем недолго был на британской дипломатической службе, работал в посольстве Великобритании в Москве. Потом он посещал Москву в 50-е. Он был выдающимся лингвистом и говорил на двадцати одном языке, в том числе на восьми — бегло и хорошо, но русский язык был главным интересом в его жизни. Он участвовал в переводе — был одним из переводчиков — «Доктора Живаго», одной из версий «Одного дня из жизни Ивана Денисовича» и «В круге первом» Солженицына, «Голоса из Хора» Синявского. По моему мнению и мнению большинства специалистов, Макс Хэйурд был лучшим переводчиком русской литературы в XX веке. Он переживал за Россию.

Итак, мы опубликовали 10 книг. Из них одна была переводом книги Артура Кёстлера «Слепящая тьма», выполненным Андреем Кистяковским<sup>11</sup>. Мы сделали исключение, так как исходно это была не русская книга. Это решение принял Макс Хэйурда.

Позднее, когда Валерий Чалидзе эмигрировал, я стал его другом. Он хотел публиковать в Америке более политические вещи, такие, например, как переиздание «Хроники текущих событий», несколько книг Сахарова, Твердохлебова и самого Чалидзе. Всего здесь было выпущено более 100 книг с выходными данными «Хроники Пресс», в первую очередь авторов, которые были в России. Но это были небольшие по объёму книги и статьи. Кроме того, издавали Лидию Чуковскую. Организационно «Хроника Пресс» была подразделением издательства им. Чехова корпорэйшн. Всего подразделений было два: беллетристика — его возглавлял Макс Хэйурд — и правозащитная литература под руководством Чалидзе. Как бы то ни было, смерть Макса Хэйурда в 1979 г. и особенно приход гласности, когда в России стало возможно публиковать ранее запрещённую литературу на русском языке, при наличии там хороших и недорогих издательств, — всё это привело к исчезновению причин издания русских книг в Америке.

Когда мы издавали книги, их первоначально печатал Израиль Григорьевич Раузен (Rausen), российский еврей из Одессы, который любил

русскую литературу. Он был эсером во время революции, а затем эмигрировал сначала в Париж, а потом в Нью-Йорк, где получил профессию наборщика-печатника. После его смерти мы стали печатать книги в типографии «Уолдэн Пресс» (Alexander Donat's Waldon Press). Это было очень важно, потому что они помогали самым разным людям с вычиткой корректуры.

Я думаю, что книги, которые мы издали, были стоящие, и почти все они переизданы сейчас в России, как и книга Якобсона «Конец трагедии», часто без упоминания издательства им. Чехова, напечатавшего их впервые на русском языке. Таковы краткие сведения о нашем издательстве и о Максе Хэйуорде.

До 1985 г. я занимался бизнесом, связанным с универсальными магазинами, и это позволило создать некоммерческое книжное издательство. Это был семейный бизнес с офисом в Нью-Йорке. У нас был небольшой склад и отдел отгрузки продукции, и мы могли складировать и отгружать книги, а также заниматься другой необходимой для издательства деятельностью.

**В феврале 1973 г. известный американский писатель и публицист Питер Вирек (Peter Viereck) направил в «Нью-Йорк Таймс» письмо в защиту Анатолия Якобсона от преследований КГБ. Известна ли Вам предыстория этого письма?**

Мне известно очень немного из биографии Питера Вирека: он преподавал историю в колледже Маунт Холиоук (Массачусетс), где училась моя жена, и дружил с Иосифом Бродским. Я никогда с ним не встречался, но у меня есть его книга, очень хорошая. Я думаю, что Макс Хэйуорд знал его. В те времена многие профессора активно защищали российских интеллектуалов.

**Не могли бы Вы вспомнить какие-либо факты о выступлениях других интеллектуалов в защиту Якобсона?**

Возможно, это знает Майк Скаммел (Michael Scammell)<sup>12</sup>, живущий ныне в Нью-Йорке, поскольку он был вовлечен в деятельность ПЕН-клуба, а также Давид Карвер<sup>13</sup> (David Carver). Вы знаете, защита Якобсона велась из Англии, где он был более известен, чем в Америке.

**Где жил Майкл Скаммел в 1973 г.?**

Тогда он жил в Англии и был редактором журнала Index on Censorship. Я знаком с ним, и, насколько мне известно, он работает в Колумбийском университете (Нью-Йорк). Он возглавлял там Институт перевода. После приезда в Америку он какое-то время был главой Американского ПЕН-клуба. Майк был переводчиком 2-го и 3-го томов «Архипелага ГУЛАГ» и написал подробную и одну из первых биографий Солженицына. Питер Рэддауэй поможет Вам найти его.

**Знали ли Вы лично Мориса Крэнстона (Maurice Cranston)<sup>14</sup>?**

Нет, но у меня есть книга, написанная им о правах человека. Она была одной из первых книг, посвящённых правам человека, попавшей в Россию. Это отличная книга. Вот, пожалуй, и всё, что я знаю о Морисе Крэнстоне.

**Не могли бы Вы сообщить что-либо дополнительно об А. Якобсоне и его творчестве?**

К сожалению, я никогда не встречался с ним и не имел прямых контактов. Всё, что я знаю о Якобсоне, мне известно от Павла Литвинова и, я думаю, от Валерия Чалидзе, а также из чтения «Хроники». Но Павел знал Якобсона лучше и был его почитателем. На основании того, что мне рассказывали, я полагаю, Якобсон очень переживал и был несчастлив в Израиле, будучи разлучён с Россией.

Люди, которых я уважаю, такие как Макс Хэйуорд, считали литературу Якобсона очень хорошей. В то время ведь было огромное количество книг о Блоке, и тем не менее Макс показал, что исследование Якобсона внесло существенный вклад в понимание, признание Блока и в блоковедение. Кроме того, все, кого я знаю, высоко оценивали работу, которую Якобсон делал, редактируя «Хронику текущих событий». Я считаю эту его деятельность чрезвычайно важной.

**Мистер Клайн, спасибо Вам за интересное, насыщенное интервью!**

Последний комментарий. В те времена мы обычно не могли посылать гонорары нашим авторам. Мы так никогда и не заплатили авторский гонорар Анатолию Якобсону. И, на самом деле, мы всегда заявляли, что мы публикуем наши книги без разрешения их авторов. Это делалось в те годы в интересах их безопасности, с их точки зрения. И поэтому я всегда чувствовал себя в долгу перед авторами, которых мы публиковали. Когда Якобсон уехал из России, я думаю, Макс Хэйуорд поблагодарил его так же, как мы благодарили и других авторов, и выслал ему авторские экземпляры его книги.

**У Василия Емельянова, редактора Мемориальной сетевой страницы, и у меня есть мечта полностью опубликовать творческое наследие Анатолия Якобсона. Для этого, видимо, потребуется создать Фонд Якобсона. Поддержите ли Вы это начинание?**

Я готов пожертвовать некоторую сумму от имени издательства имени Чехова Корпорэйшн в Фонд Анатолия Якобсона. Кроме того, наше издательство могло бы собирать пожертвования и от других для Фонда Якобсона, чтобы затем сразу направлять господину Емельянову или другим лицам или организации, чтобы использовать их для сохранения наследия Якобсона.

**Укажите, пожалуйста, в какой форме следует в будущей книге о Якобсоне упомянуть как о Вашем личном участии в судьбе автора «Конца трагедии», так и о роли Chekhov Publishing Corporation?**

Некоммерческое издательство имени Чехова может быть упомянуто как первый издатель работы А. Якобсона на Западе. Я был президентом издательства имени Чехова, но основная заслуга в публикации «Конца трагедии» принадлежит Максу Хэйуорду — переводчику и исследователю русской литературы Оксфордского университета.

**Спасибо Вам за поддержку тех, кто борется за права человека в России, где вновь закончилась «оттепель» и грянули «заморожки».**

Ну, я бы назвал это «осенью», и давайте надеяться, что «зима» не наступит.

### Послесловие

В марте-апреле 2008 г. исполнилось 35 лет со дня публикации «Конца трагедии» издательством имени Чехова корпорэйшн. Это событие стало возможным только благодаря поддержке и энтузиазму Макса Хэйуорда и Эдварда Клайна, внесших решающий вклад в издание монографии А. Якобсона.

Из письма Э. Клайну 30 марта 2006 г.:

*«Уважаемый господин Клайн:*

*От имени Мемориальной сетевой страницы А. Якобсона позвольте выразить Вам нашу глубокую благодарность за интервью и существенную поддержку. Полученная от Вас информация была чрезвычайно интересной и полезной для нашего интернет-проекта. Мы благодарим Вас также за уникальные архивные документы, переданные нам. В результате стала очевидна та огромная роль, которую Вы сыграли в поддержке Якобсона, в частности, и правозащитного движения в Советском Союзе в целом. Мы отдаем дань Вашей скромности, которая только подчеркнула Ваш истинный вклад.*

*С искренней признательностью,*

*Василий Емельянов  
Александр Зарецкий»*

<sup>1</sup> «Эдвард Клайн (1932, Нью-Йорк) с 1957 по 1985 год занимал пост президента компании «Клайн Бразерс» (сеть магазинов). В 60-е годы Э. Клайн начал интересоваться жизнью в Советском Союзе. В 1968 г. совместно с Максом Хэйуордом... основал некоммерческое издательство имени Чехова, публиковавшее на русском языке книги, запрещенные цензурой в СССР. В 1972 г. Э. Клайн совместно с Валерием Чалидзе основал некоммерческое издательство «Хроника-пресс», которое выпустило на русском языке книги Андрея Сахарова, Владимира Буковского, Анатолия

- Марченко и других советских инакомыслящих. Кроме того, «Хроника-пресс» выпускала самиздатский бюллетень «Хроника текущих событий» (номера с 28-го по 64-й). Э. Клайн был сопредседателем русско-американского проекта «Права человека», предложенного в 1988 г. Андреем Сахаровым. В настоящее время Э. Клайн занимает пост президента Фонда Сахарова (США) и в течение многих лет помогает многим российским правозащитникам». Клайн Эдвард. Московский комитет прав человека. Пер. с англ. — М.: «Права человека», 2004. — 232 с. (Серия «Публикации Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова»).
- <sup>2</sup> Интервью проведено по телефону 26 марта 2006 г. А. Зарецкий, перевод и примечания к тексту его же. Мемориальная страница А. Якобсона выражает признательность Анне Ракитянской (Гарвардский университет) за конструктивную помощь в подготовке интервью к публикации.
  - <sup>3</sup> Юлиус Зиновьевич Телесин (1933) — математик, правозащитник, с середины 1960-х активнейший изготовитель и распространитель самиздата, получил в диссидентской среде прозвище «Принц самиздатский».
  - <sup>4</sup> Max (Harry Maxwell) Nauward (28 июля 1924 г., Лондон — 18 марта 1979, Оксфорд) — переводчик и преподаватель русской литературы Оксфордского и Колумбийского университетов.
  - <sup>5</sup> Работа А. Якобсона над книгой в августе-сентябре 1970 г., возможно, подтверждается тем, что датированный 31 августа 1970 г. 15-й выпуск «Хроники текущих событий» редактировал Юлий Ким, а не А. Якобсон.
  - <sup>6</sup> Peter B. Reddaway — советолог, преподаватель Лондонской школы экономики и политологии, почётный профессор университета Джорджа Вашингтона. Переводчик «Хроники текущих событий», издававшейся на английском языке, соавтор книг о советской карательной психиатрии и др.
  - <sup>7</sup> Университет в городе Провиденс, штат Род-Айленд, США.
  - <sup>8</sup> Никита Алексеевич Струве (Nikita Struve) (р. в 1931 г.) — почётный профессор русской литературы университета Париж X-Нантер и директор издательства «Имка-пресс», опубликовавшего «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына.
  - <sup>9</sup> Издательство имени Чехова существовало в Нью-Йорке в 1952–1956 гг. Директором издательства был Николай Романович Вреден, главным редактором — Вера Александрова (псевдоним Веры Александровны Шварц, урождённой Мордвиновой, 1895–1966). Программу деятельности издательства составил писатель М. А. Алданов. Финансирование осуществлял Восточно-европейский фонд, Филиал фонда Форда. Общественный совет возглавляла Александра Толстая (дочь Льва Толстого). Издательством было опубликовано 178 книг 129 авторов. Как правило, это были литературные, мемуарные и научные произведения, которые не могли быть опубликованы в СССР. Из-за нехватки средств издательство было вынуждено закрыться в 1956 г. Несмотря на недолгое время существования, оно стало одним из наиболее известных русских зарубежных издательств». По материалам Исторической энциклопедии «Хронос»: <http://www.hrono.info/organ/ukazatel/i.html>
  - <sup>10</sup> Белинков Аркадий Викторович (1921–1970) — узник ГУЛАГа, писатель, литературовед. С 1968 г. в эмиграции, в 1969 г. принят в члены американского ПЕН-центра.
  - <sup>11</sup> Андрей Андреевич Кистяковский (1936–1987) — переводчик, правозащитник, один из распорядителей Русского общественного фонда помощи узникам совести и их семьям — «Фонда Солженицына». А. Кистяковский «...в 1974–1976 перевел на русский язык роман Артура Кёстлера «Спящая тьма» — одно из центральных произведений западной ли-

тературы на тему перерождения пролетарской революции в тоталитарную диктатуру. Переводы этой книги ходили в самиздате и ранее, но это был первый профессиональный перевод, заслуживший впоследствии одобрение самого Кёстлера. Издать книгу предполагалось за границей (но с тем расчетом, чтобы она попала в СССР — Кистяковский считал, что «эта книга нужна в стране, в каком-то смысле ее породившей»), текст был передан на Запад С. Ходоровичем. В 1978 г. книга вышла в издательстве имени Чехова...» А. Г. Паповян. Писатели-диссиденты: библиографические статьи. «НЛО» 2004, № 66.

- <sup>12</sup> Michael Scammell (р. 1935) — профессор Колумбийского университета, переводчик книг: А. Марченко «Мои показания», В. Буковского «Построить замок», а также Л. Толстого, Достоевского, Набокова и др. Автор биографии А. Кёстлера. Возглавлял американский ПЕН-центр.
- <sup>13</sup> David Carver — Генеральный секретарь ПЕН-клуба в 1951–1974 гг.
- <sup>14</sup> Maurice Cranston (1920–1993) — профессор политических наук Лондонской школы экономики — был одним из тех, кто рекомендовал принять Анатолия Яковсона в ПЕН-клуб. основополагающие работы М. Крэнстона легли в основу Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года.

*Питер Вирек<sup>1</sup>*

## **Угроза русскому учёному<sup>2</sup> Письмо в «Нью-Йорк Таймс»<sup>3</sup>**

**Главному Редактору:**

10 февраля «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что, согласно данным, полученным из Москвы, — Анатолию Якобсону, известному московскому переводчику и литературному критику, чьё замечательное исследование творчества Александра Блока будет в скором времени опубликовано в Нью-Йорке, — угрожает арестом советская секретная полиция (КГБ). 11 февраля «Новое русское слово» (газета, издающаяся в Нью-Йорке на русском языке) сообщила, также на основе информации из Москвы, что Якобсон уже арестован.

Так случалось и прежде, когда КГБ умышленно допускал «утечку» информации об аресте широко известных интеллектуалов, которых в действительности не арестовывали, — для того, чтобы прозондировать мировое общественное мнение. Даже если выяснится, что указанное сообщение об аресте Якобсона — простая ошибка, он в опасности.

Сегодня — переломный момент для интеллектуалов Америки, — необходимо на широкой внепартийной основе заявить протест против угрозы ареста Анатолия Якобсона. Иногда КГБ перед тем, как действовать, учитывает мировое общественное мнение. Возможно, если бы западные интеллектуалы протестовали вовремя, Синявский не провёл бы пять лет в советском исправительно-трудовом лагере.

Независимо от всё ещё непредсказуемой политической реакции нашей страны на азиатскую травму,<sup>4</sup> давайте не впадать в новый нравственный изоляционизм. Ставшая реальностью — благодаря антифашистской нравственной солидарности времён Второй мировой войны (мы вели справедливые сражения и выиграли их) — всемирная республика Томаса Манна и Джорджа Орвелла, мировая республика литературы по-прежнему неделима.

*Южный Хэдли, Массачусетс  
12 февраля 1973*

<sup>1</sup> Питер Роберт Эдвин Вирек (1916–2006) — поэт, лауреат Пулицеровской премии, влиятельный политический мыслитель и профессор истории Колледжа Маунт-Холиоук (штат Массачусетс) в течение пяти десятилетий. Источник: [http://www.mtholyoke.edu/offices/comm/news/obit\\_viereck.shtml](http://www.mtholyoke.edu/offices/comm/news/obit_viereck.shtml). The letter reproduced with the permission of Peter Viereck's literary proprietor, Stephanie Viereck Gibbs Kamath (прим. А. Зарецкого).

<sup>2</sup> Опубликовано: «The New York Times», Friday, February 23, 1973, p. 32 L.

<sup>3</sup> Перевод А. Зарецкого.

<sup>4</sup> Вероятно, имеется в виду война во Вьетнаме.

**Владимир Фромер<sup>1</sup>**

## **Он между нами жил...**

*Мемуарная новелла<sup>2</sup>*

Исайя Берлин<sup>3</sup> взял эпитафией к своему эссе «Встречи с русскими писателями» слова Ахматовой: «Всякая попытка связных мемуаров — это фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками».

К этому я бы добавил, что мемуары вообще ущербный жанр, ибо человеку свойственно преувеличивать свою роль не только в жизни других людей, но и в мироздании.

Мои же воспоминания об Анатолии Якобсоне — не связные. Это субъективные заметки, писавшиеся в разные годы с единственной целью — продолжить общение с ним, прервавшееся так внезапно из-за его преждевременной смерти...

Жалею, что не записывал его импровизаций. Лишь обрывки чего-то наплывут вдруг со дна памяти — и исчезнут, — как те огненные буквы, начертанные на стене невидимой рукой.

Толины дневники, опубликованные через десять лет после его смерти,<sup>4</sup> оживили то, что укрыто в потаенных нишах памяти. Лишь тогда смутные обрывки стали более четкими и обрели хоть и расплывчатые, но все же устойчивые контуры.

Он был воспитан на русской литературе. Любил ее до полного самозабвения. Весь строй его души был сформирован ею. Но литература была для него не абстрактным понятием, а тем, чем является для растений чернозем, пропитанный влагой и питательными солями. Она включала весь окружающий мир, и вырванный из него, утративший точку опоры, он шел уже не прежней твердой походкой, а прерывистой и неровной, как Агасфер, гонимый непреодолимой силой. В том повинен презираемый им режим, лишивший его единственно возможной для него среды...

Он принадлежал к поколению, сформировавшемуся уже после сталинского «ледникового» периода и сумевшему избавиться и от гнета страха, и от равнодушия к творящимся вокруг мерзостям. Далось это нелегко и не сразу, и не все избавились. Но точка отсчета идет от лучших, а не от худших.

Общаться с ним было легко, ибо он никогда не злоупотреблял своим интеллектуальным превосходством. Даже люди, страдающие от душевной скудости или непоправимо обойденные жизнью, соприкасаясь



с ним, забывали о своих комплексах. И хоть жил он на запредельных скоростях, ему до конца хватило взятого в России разгона. До конца сохранил он и способность интуитивно — безошибочного постижения сути вещей, часто встречающуюся там, — в покинутой им среде особого духовного накала, — и столь редкую здесь. Но нигде не обрел он покоя, — состояния, одинаково далекого и от радости и от горя.

Его книге «Конец Трагедии» суждена долгая жизнь. Это книга о судьбе русской интеллигенции, о трагедии, постигшей русскую культуру. И одновременно — это одна из лучших литературоведческих работ о Блоке. Прочнейший сплав филологии и писательства, который не столь уж многим удавался до него. Шаг за шагом проследил Якобсон последствия обрушившейся на Россию катастрофы, и показал, что человеческая трагедия Блока как матрица накладывается на духовную трагедию русской интеллигенции.

И все же книга Якобсона не оставляет впечатления безысходности. Надежда для него и для нас, замороженных словесной магией и логическими построениями автора, кроется в предсмертных словах Блока: «Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны, и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно».

«Конец трагедии» я прочел в 1973 г., вскоре после выхода книги в издательстве имени Чехова. Слушал я тогда курс университетских лекций по теории литературы у Омри Ронена.<sup>5</sup> С годами Ронен стал профессором Мичиганского университета, одним из лучших исследователей русского модернизма.

Маленький, рыжий, похожий на Азazelло, Омри как-то сказал:

— Якобсон приезжает в Израиль и будет преподавать на нашем факультете. Мы с Сегалом<sup>6</sup> все уже устроили. — Я удивился и обрадовался. И тут же спросил:

— А как тебе его книга?

— Литературоведческая часть безупречна, — ответил Омри.

А потом грянула война Судного дня. Две с половиной недели длились военные действия, но полгода еще Израиль и Египет, как два ковбоя, уже вложившие в кобуру пистолеты, зорко следили друг за другом, опасаясь пропустить зловещий блеск в глазах противника.

Первый отпуск мне удалось получить лишь весной 1974 г. Приехав в Иерусалим, уже не помню, где, кажется, у Сегала, встретился с Омри Роненом. От него узнал, что Якобсон приехал, живет в центре абсорбции.

И вот мы поднимаемся по крутой лестнице. Я волнуюсь. Для меня Якобсон был не только автором замечательной книги, но и одним из творцов легендарной «Хроники».

Открыла Майя. Познакомились. Сидевший в кресле человек даже не повернул головы. Темные, аккуратно зачесанные назад волосы.

Тяжелые, усталые губы. Неправильные, броские черты лица. Но нет блеска в глазах, и веет от него холодной угрюмостью. Пили чай. Майя расспрашивала о войне. Толя не произнес ни одного слова, и я подумал, что он просто замкнутый человек, который не терпит контактов с людьми случайными.

Прошло три месяца. Был вечер. Я брел куда-то по одной из центральных иерусалимских улиц. Закатное небо зажигало крохотные малиновые искорки на матовой скорлупе фонарей. Вдруг ко мне, как сорвавшийся с привязи медведь, бросился какой-то человек и схватил за руку. Уходящее солнце било в глаза, и я не сразу разглядел его лицо.

— Ты тот самый солдат, который приходил ко мне и рассказывал о войне, — сказал он, и я узнал его.

— Я был болен тогда. Не мог говорить. Но я все помню. А теперь я совсем здоров. Смотри!

И, чтобы продемонстрировать свое здоровье, он тут же попытался поднять за рессоры одну из стоящих у обочины машин.

Через пять минут я чувствовал себя так, словно мы были знакомы всю жизнь. Почти до рассвета пробродили мы по узким иерусалимским улицам, размахивая руками, перебывая друг друга. И почему-то значительной и важной кажется мне та наша встреча, хоть я и не помню уже, о чем мы тогда говорили. Может быть, потому, что в тот вечер почувствовал я в нем человека огромного дарования, любящего и страдающего.

Потом он приходил к нам чуть ли не каждый день. Дверь у нас обычно не запиралась, и он сразу врвался в комнату, заполнял ее собой, огромный, грузный и одновременно изящный и быстрый, как кавалер Глюк. К радости моего сына Амира, пушистым белым шаром вкатывался вслед за ним пес «Том с хвостом», всюду сопровождавший тогда хозяина. Осваиваясь, Толя ни минуты не сидел спокойно. Подходил к полке, снимал какую-то книгу. Читал вслух, тут же комментируя прочитанное. О чем-то рассказывал рокошущим громким голосом, одновременно разыгрывал со мной партию в шахматы. Наконец, надолго устраивался в своем любимом кресле, как путник, дождавшийся желанного отдыха.

Чувство юмора, без которого не существует полноценного человека, было у него отменное. Хвастался, что ему однажды удалось перешутить знаменитого московского остролова Зяму Паперного, одарившего присутствующих свежее испеченным афоризмом: «Ум хорошо, а х... лучше». Толя мгновенно откликнулся: «Кто с умом да с х..., — два угодя в нем».

Любил острое словцо, хорошую шутку, соленый, но не скабресный анекдот. Его шутки часто носили характер стихотворных экспромтов. Он даже изобрел новый жанр: двустишие, в котором первая строка

русская, а вторая ивритская. Как-то выдал, печально глядя на пустой фиал за накрытым столом: «Глаза косит, нигмера косит» — т. е., опустела рюмка.

Был добрым, тонко чувствовал чужую боль, чужое страдание. Но мог и вспылить, и нагубить. Сам же страдал от этого, и мирился потом бурно, радостно.

Любил делать друзьям подарки. Ему нравился сам процесс дарения, приятно было доставлять людям радость. У меня висит подаренный им портретный силуэт Ахматовой. Ее медальный горбоносый профиль четко вырисовывается на фоне Невы и Петропавловской крепости.

К детям и женщинам относился бережно, по-рыцарски. Они это чувствовали и одаривали его привязанностью и любовью.

Когда я пересказал пятилетнему Амиру басню «Стрекоза и муравей», он спросил: «Папа, а правда, муравей был плохой?»

Якобсон сказал по этому поводу: «Как сильно развито в детях чувство справедливости и как жаль, что у большинства из них оно проходит, когда они вырастают».

Пил он много. Но в его пристрастии к алкоголю не было патологии. И в последние годы в России, когда он ходил по лезвию, и здесь, в Израиле, выпивка взбадривала его, помогала держаться. На самом же деле застолье ценил он больше опьянения. Однажды обронил, задумчиво вертя в руке только что опорожненную рюмку:

— Сколько я встречал людей угрюмых, неразговорчивых, которые, опрокинув стопку-другую, превращались вдруг из собутыльников в интересных собеседников.

\* \* \*

— Толя, — сказал я как-то, — хочешь свежий литературный анекдот?

— Валяй, — оживился он.

— Два интеллигента входят в московский книжный магазин. Первый спрашивает: «Может ли один человек нажать себе брюшко на дисководы другого?»

— Ты о чем? — удивляется второй.

— А вот, — и первый указал на толстенную книгу на прилавке: «Лева Задов. Жизнь и творчество Александра Блока».

Толя усмехнулся, раскуривая трубку:

— Ну, какой же это анекдот? Знал бы ты, сколько этих трупоедов я перелопатил, работая над книгой о Блоке. — И тогда я задал вопрос, давно вертевшийся на языке:

— Толя, а почему ты в «Конце трагедии» полемизируешь с этими трупоедами? По-моему, это единственный недостаток твоей книги. Он ответил сразу, не задумываясь:

— Я не мог этого избежать. И не с ними я полемизировал, а с силой, стоявшей за их спиной.

Его монументальной чеканки статья «О романтической идеологии» в первоначальном виде была лекцией, прочитанной в Москве, в школе для одаренных детей. Это о том, как поэты-романтики 20-х годов взахлеб славили карающий меч революции, ибо верили, что возвышенные ее цели оправдывают любые средства. Якобсон доказал, что психологическая атмосфера, без которой великий террор был бы невозможен, создавалась при активном участии «поэтов хороших и разных», «ваятелей красных человеческих статуй». Его работа, блистательная по глубине анализа, выигрывает еще и благодаря мастерски подобранным цитатам из Багрицкого и Голодного, Антокольского, Тихонова и прочих.

— Толя, — сказал я, — жаль только, что ты не упомянул вот эти строфы веселого, добродушного поэта, не имеющие, на мой взгляд, аналога в мировой литературе:

В такие дни таков закон:  
Со мной, товарищ, рядом  
Родную мать встречай штыком,  
Глуши ее прикладом.

Нам баловаться сотни лет  
Любовью надоело.  
Пусть штык проложит новый след  
Сквозь маленькое тело.

Он взъерошил волосы и сказал с видимым сожалением:

— Забыл! Ну и черт с ним! Светлов, — и как человек, и как поэт, — был славным малым. К тому же стихотворение, которое ты цитируешь, называется «Песня». Он там признается в конце — написал, мол, все это для того, чтоб песня получилась. И помолчав, добавил:

— Впрочем, другие тоже с самыми благими намерениями писали. А что вышло?

\* \* \*

Анну Андреевну Ахматову он боготворил. Охотно говорил о ее поэзии, но не любил рассказывать о своих встречах с ней, считая это почему-то чуть ли не кощунством.

— Толя, — прошу, — расскажи про Анну Андреевну.

— Ну, что там рассказывать, — отвечает неохотно.

— Разве можно описать, какой она была? Ну, любила хорошее вино. Я приходил к ней с бутылочкой, которую мы потихоньку распивали.

Но так, чтобы нашего «загула» не видела Лидия Корнеевна Чуковская. Анна Андреевна побаивалась своего «капитана». Часто я просил:

— Анна Андреевна, давайте почитаем стихи. Вы мне — Ахматову, а я Вам — Мандельштама.

Впрочем, бывали у нас и «ахматовские вечера», когда мы говорили только о ней. Вернее, говорил Толя, а я благодарно слушал. Это он за год до своей смерти подарил мне ее книгу «О Пушкине». Пушкинистские работы Ахматовой Якобсон расценивал по гамбургскому счету. Считал, что, полностью сохранив научность мышления, обязательную для исследователя, она с великолепной непринужденностью перешла грань, отделяющую литературоведение от литературы. Так возникла ахматовская проза, уникальная, как ее стихи, со скользящей ахматовской иронией, с победительным ритмом, величественным лаконизмом, обжигающей пристрастностью.

— Пушкин для нее никогда не умирал, — говорил Толя, — она знала его биографию со всеми ее причудливыми изгибами так же хорошо, как и его творчество. Она переживала пушкинские горести и печали, как свои собственные. Она остро, по-бабьи, жалела его за то, что он совершил роковую ошибку, женившись на предавшей его Наталье Николаевне. Анна Андреевна сама выбрала Пушкину жену. По ее мнению, идеально подходила ему Екатерина Ушакова, которая его любила, понимала и не предала бы никогда.

Как-то я спросил, как он относится к бытовавшей одно время версии о том, что в день дуэли у Дантеса под сюртуком была кольчуга, спасающая ему жизнь.

— Чепуха, — сказал Толя резко. — Анна Андреевна версию эту решительно отвергала, хоть и ненавидела Дантеса всей душой. Дантес подлец, конечно, но не трус. Дворянин, шуан, кавалергард и помыслить не мог ни о чем подобном. И дело не только в кодексе дворянской чести. Риск был слишком велик. А если бы об этом узнали? Дантес был бы тогда конченным человеком. Не только в России — везде.

**Запись в дневнике 15.8.1974:** *Ее последняя — и самая страстная в жизни — любовь: Исайя Берлин. Роман начался (и тут же кончился, он вернулся в Британию), когда ей было примерно 56 лет. Она считала, что он причина распятый 46 года.*

За тебя я заплатила чистоганом.

Ровно десять лет ходила под наганом.

Ни налево, ни направо не глядела,

А за мной худая слава шелестела.

Вся поздняя лирика Ахматовой посвящена И.Б. Она увиделась с ним в Лондоне за год до смерти. Что было за свидание? Что за разго-

вор? Тайна. И останется тайной. Она любила его до последней секунды... Писала о своем тайном браке с ним, о браке, скрытом и от людей, и от Бога. Тут не избежать маленького отступления.

Судьба к человеку равнодушна. Она для него не делает абсолютно ничего. Человек же готов на все, чтобы его судьба выглядела величественнее, роскошнее, благороднее, чем это есть на самом деле. Сэр Исая Берлин в этом смысле редчайшее исключение, ибо судьба сама добровольно пошла к нему в служанки. Он ради этого и пальцем не пошевелил. Она же до конца его долгой жизни продолжала осыпать его своими дарами. Берлин и кавалер самых почетных орденов, и лауреат всех мыслимых наград и премий. В коллекции его только Нобеля не хватает.

Принимая премию Иерусалима из рук мэра Тедди Колека, Берлин сказал: «По крови я еврей. По воспитанию англичанин. А по неистово-пристрастному отношению к культуре — русский».

Встреча Берлина с Ахматовой в ноябре 1945 г. в Ленинграде стала самым пронзительным событием его жизни, и, как он сам отметил, навсегда изменила его внутренний кругозор. Именно эту встречу считал он ценнейшим даром судьбы. Посвящением же ему шедевров ахматовской лирики дорожил чрезвычайно, ибо сознавал, что из всех пропусков в бессмертие — этот самый надежный.

\* \* \*

— Толя, — говорю после очередной партии в шахматы, — роман Анны Андреевны с «гостем из будущего» носил, разумеется, платонический характер. Он ведь запоздал с рождением. Был на целых двадцать лет моложе. И это досадное несовпадение...

— Ровным счетом ничего не значит, — перебивает Толя и надолго замолкает. Раскуривает трубку. Колеблется, продолжать ли разговор на столь щекотливую тему. Но продолжает.

— Анна Андреевна из тех женщин, что не имеют возраста. Те, кто знали ее в те годы, говорят, что она все еще была очень хороша. Но мы не имеем права рассуждать об этом. Скажу только, что возникновение Берлина среди «мрака и ужаса» тех дней она восприняла как настоящее чудо. Он же сразу понял, насколько она неповторима и замечательна, и этого ничто не могло изменить. Стерлись грани между мыслимым и немислимым. Оба всю жизнь ждали чего-то невыразимого, какого-то невероятного потрясения. В царстве, которым правил всемогущий упырь, Берлин встретил гонимую, преследуемую королеву. Прекрасную Даму, олицетворявшую скорбь и гордость. Ту самую, которую всю жизнь искал Владимир Соловьев и воспел Блок. Это не они нашли друг друга, а их души, вступившие в небесный брак... Анна Андреевна не пожелала встретиться с ним, когда он вновь при-

ехал в Россию в 1956 году, потому что Берлин к тому времени успел жениться. Для нее это было равнозначно осквернению таинства их отношений. А, может, потому с ним не встретилась, что стала уже грузной, располневшей, и не хотела, чтобы он такой ее запомнил. Факт, что женитьба Берлина не помешала их встрече в Лондоне за год до ее смерти...

**В той же дневниковой записи 15.8.1974:** *Мария Петровых не оценила Мандельштама как поэта только потому, что он за ней так энергично ухаживал, а она его — как мужчину — не воспринимала. Был у нее роман с Пастернаком в Чистополе. А потом насмерть полюбила Фадеева.*

Марию Сергеевну Петровых Якобсон высоко ценил и как человека, и как поэта. От него я узнал, что стихотворение Мандельштама «Мастерица виноватых взоров» — шедевр русской лирики всех времен — посвящено ей. На мой недоуменный вопрос: как же она могла не отдать должное такому поэту, Толя, усмехнувшись, ответил именно так, как записано в его дневнике:

— Могла, потому что не воспринимала его как мужчину. И до лампочки ей была вся его гениальность. Женщины ведь любят не за что-то, а почему-то.

**Запись в дневнике 12.8.1974:** *Эпизод с чемоданом (пусть немец несет) — А. Солженицын. «Архипелаг Гулаг». Нечего валить на офицерскую школу, нечего валить на советскую власть. Вы по природе своей — танк, но очеловечиваетесь постепенно. Желаю дальнейших успехов на этом поприще.*

А. А. рассказывала мне: Исаич пришел и прочел свои стихи (она мне: «вирши»). Она: «Не кажется ли Вам, что в поэзии должна быть какая-то тайна?» Он: «А не кажется ли Вам, что в вашей поэзии чересчур много тайны?»

— Лишь советский жлоб мог сказать А. А. такое, — негодовал Толя, вспоминая этот эпизод. — Солженицын не понимал, что поэзия и проза абсолютно разные вещи. Толстой в юности тоже писал стихи, но ведь Фету их не показывал.

Прозаическая «продукция» Солженицына тоже оставляла Толю равнодушным. Безоговорочно принимал он только «Архипелаг Гулаг».

— Тебе не кажется, — спросил я как-то, — что получи Солженицын Ленинскую премию за «Ивана Денисовича», — и стал бы он преуспевающим, слегка фрондирующим советским писателем? И не было бы ни «Архипелага», ни Нобеля, ни высылки.

— Нет, — с ходу отмел Якобсон. — Солженицын еще с лагерных времен ощущал в себе пророческий зуд. Он все равно попытался бы влиять

на режим. А поскольку любая эволюция с этим режимом несовместима, то и конфронтация его с Солженицыным была неизбежной. Он обрел где-то в «Теленке»: «Я — меч в руках божьих». Кредо — жутковатое, освобождающее человека от нравственного самоконтроля...

С Лидией Корнеевной Толя дружил, переписывался, часто звонил ей в Москву. Иногда из моего дома. На моих глазах пробежала между ними «черная кошка»:

— Прощайте, Лидия Корнеевна, — сказал он сдавленным голосом, бросил трубку и, даже не взглянув на меня, выскочил из дома с такой быстротой, словно за ним гнались фурии.

Толя, как оказалось, пытался убедить Лидию Корнеевну в том, что человек, пользующийся ее безусловным уважением и доверием, этого не стоит. Но разве можно добиться такого на разделяющем расстоянии в тысячи километров?

Из современных поэтов Якобсон выше всех ставил Давида Самойлова, близкого своего друга, и сердился на меня из-за прохладного отношения к его музе. Пытаясь меня переубедить, Толя часами читал вслух его стихи. Слушал я охотно, но оставался при своем.

Как, впрочем, и Якобсон в оценке Бродского. Его стихов после 1968 г. не любил. Не принимал. Я спорил до хрипоты, убеждал, доказывал.

— Ну, прочти вслух стихи, которые тебя особенно впечатляют, — предлагал он. Я читал. Он морщился:

— Вместо поэтики движения — риторика, ораторство. У него форма управляет воображением, а дело ведь не в технике, пусть даже восхитительной. Нет у него прозрений, без которых не может быть великой поэзии. Ну-ка прочти еще раз это вот, любимое твое: «На смерть друга».

Стихи он всегда слушал внимательно, даже если они ему не нравились. С чуть насмешливой улыбкой сказал:

— Ритмическое облачение великолепно. Стих течет, переливается, искрится, держится на одном дыхании. Но, скажи на милость, как понимать вот эти строчки: «Где на ощупь и слух наколол ты свои полюса/в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок»? Что такое королек, знаешь? А сиповка? Нет? Я так и думал. Женские гениталии на блатном жаргоне. Так к чему вся эта риторика?

**Дневниковая запись 21.12.1977:** Пастернак и Мандельштам — вершины метафорического письма и его преодоление. Ахматова — сплошное преодоление. Бродский — его декаданс. Поначалу в ярко талантливом проявлении; чем дальше, тем больше в виде собственного упадка. По слабеющим следам Бродского, зверя сильного, идут шакалы, пожирающие его отбросы, отходы, затем извергающие



*их в виде собственного творчества (не такова ли вся ленинградская молодая плеяда? И молодая Москва небось не чище. Стервятники.)*

Незадолго до смерти он, продолжая наш незавершенный спор, прочитал мне отрывок из последнего письма Лидии Корнеевны. Цитирую по памяти, но за смысл — ручаюсь: «Не понимаю, что сделало Бродского первым поэтом своего поколения. Почему во многих интеллигентных домах Москвы и Ленинграда висят его портреты. Передо мной лежат четыре его сборника. Мне его стихи кажутся на грани гениальности и графомании. Разъясните, пожалуйста, в чем тут дело».

— Ну, — спрашиваю, — и что же ты ей напишешь?

— А то и напишу, что грань перейдена, только не в ту сторону, — сердито ответил Толя.

\* \* \*

Поэтом-переводчиком он был превосходным. Стихи Лорки, Эрандеса, Готье, Верлена в его переводах равнозначны подлиннику. Яacobсон изумительно чувствовал взаимосвязи между звуковым обликом и тематикой, между пульсирующим движением стиха и смыслом, и воспроизводил их с блистательной виртуозностью. Он находил точные языковые эквиваленты для передачи тончайших особенностей оригинала: тональности, регистра речи, образности, ритма, колорита и т. д.

Как-то рассказал я ему, как искал Апта<sup>7</sup>, — великолепного переводчика европейской прозы. Дело в том, что роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» поразил меня не только сам по себе, но еще и мастерством перевода.

Апт добился настоящего чуда. Воссоздал до мельчайших деталей величественный собор Манна, используя совсем иной строительный материал. Вот я и решил, что тот, кто так владеет языковыми ресурсами, обязательно должен сам творить. Занялся поисками — и нашел аптовское оригинальное «творение». В библиотеке Иерусалимского университета оказалась его книжка «Жизнь и творчество Томаса Манна». Уже одно название не сулило ничего хорошего. Так и оказалось. Я открыл ее — и похолодел. Мертвые слова не давали ни малейшего понятия об истинных возможностях этого человека.

— Да, — сказал Толя, — есть люди, которые могут творить, лишь когда ими руководит чужая воля, помноженная на талант и воображение. А я в поэзии — чем не Апт? Ты, например, в восторге от моих переводов. И не только ты. А вот собственного поэтического голоса у меня нет. Хорошо хоть, что это не главное занятие в моей жизни...

В Израиле Яacobсон только один раз вернулся к любимой когда-то работе. По моему подстрочнику перевел он стихотворение Мицкевича «К русским друзьям». И как перевел!

С риском быть обвиненным в тщеславии, отмечу, что эта Толина работа посвящена мне. На переводах посвящение не ставится. Это — невидимый орден. Носить нельзя, а гордиться можно.

### К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ

Вы — помните ль меня? Когда о братьях кровных,  
Тех, чей удел — погост, изгнание и темница,  
Скорблю — тогда в моих видениях укромных,  
В родимой чередѣ встают и ваши лица.

Где вы? Рылеев, ты? Тебя по приговоре  
За шею не обнять, как до кромешных сроков, —  
Она взята позорною пенькою. Горе  
Народам, убивающим своих пророков!

Бестужев! Руку мне ты протянул когда-то.  
Царь к тачке приковал кисть, что была открыта  
Для шпаги и пера. И к ней, к ладони брата,  
Пленѣнная рука поляка вплоть прибита.

А кто поруган злей? Кого из вас горчайший  
Из жребиев постиг, карая неуклонно  
И срамом орденов, и лаской высочайшей,  
И сладью у крыльца царѣва бить поклоны?

А может, кто триумф жестокости монаршей  
В холопском рвении восславить ныне тщится?  
Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,  
И, будто похвалой, проклятьями кичится?

Из дальней стороны в полночный мир суровый  
Пусть голос мой предвестьем воскресенья  
Домчится и звучит. Да рухнут льда покровы!  
Так трубы журавлей вещают пир весенний.

Мой голос вам знаком! Как все,дохнуть не смея,  
Когда-то ползал я под царскою дубиной,  
Обманывал его я наподобье змея —  
Но вам распахнут был душою голубиной.

Когда же горечь слѣз прожгла мою отчизну  
И в речь мою влилась — что может быть нелепей  
Молчанья моего? Я кубок весь разбрызну:  
Пусть разъедает желчь — не вас, но ваши цепи.

А если кто-нибудь из вас ответит бранью —  
Что ж, вспомню лишний раз холопства образ жуткий:  
Несчастный пес цепной клыками руку ранит,  
Решившую извлечь его из подлой будки.

Якобсон не был пушкинистом. Сфера его литературоведческих интересов ограничивалась двадцатым веком. Но любовь к Пушкину — та самая лакмусовая бумажка, по которой безошибочно узнаешь русского интеллигента, — была у него в крови.

Все пушкинское знал превосходно. Читал его всю жизнь, говорил, что никогда не надоедает. Однажды я пожаловался, что не могу разгадать цензурную загадку в стихотворении «П. Б. Мансурову».

Павел Мансуров, приятель Пушкина еще с лицейских времен, офицер конно — егерского полка, был влюблен в воспитанницу школы благородных девиц Крылову. Строгие нравы этого заведения препятствовали интимной близости, и Пушкин утешает приятеля:

Но скоро счастливой рукой  
Набойку школы скинет,  
На бархат ляжет пред тобой  
И..... раздвинет.

— Толя, — говорю, — не могу найти выброшенного цензурой слова. Что раздвинет? Тут какое-то ритмическое прокрустово ложе. Мое скудное воображение бессильно.

— Ты не там ищешь, — засмеялся Якобсон. — Не что, а чем. Цензура выбросила невиннейшее слово «пальчиком», потому что оно придавало концовке стихотворного послания совсем уж неприличный смысл.

Наши литературные разговоры часто шли по пушкинской орбите. Меня же тогда интересовали сложные отношения Пушкина с Мицкевичем. Я даже написал довольно обширную работу на эту тему, затерявшуюся в кутерьме и неустроенности последующей моей жизни. А жаль, потому что запечатлелся в ней отголосок тогдашних наших бесед. После стольких лет я могу лишь весьма отдаленно восстановить их содержание и тональность: дружба двух великих славянских поэтов — сказочка, придуманная советскими литературоведами.

Пушкин ставил Мицкевича как поэта выше себя, восхищался его импровизаторским даром. Импровизатор не творит, а растворяется в неземной силе, говорящей его устами, что воспринималось Пушкиным как высшая и чистейшая форма поэзии.

Но к 1828 году, на который выпадает их основное общение, Пушкин еще не распрощался с безумствами своей юности, цеплялся за нее — уходящую. Его тяготила нравственная безупречность Мицкевича, его

мрачная духовная мощь. В польском поэте было что-то от пророка, а пророки мрачны, ибо души их улавливают из будущего тревожные импульсы.

Импровизатору в «Египетских ночах» Пушкин придал черты Мицкевича — и какой же он там неприятный. К тому же Мицкевич, всецело поглощенный национальной идеей, отличался особой цельностью, основанной на единой внутренней системе виденья. Пушкину подобная цельность была чужда. В его светлом даровании, настезь распахнутом перед многоголосием мира, нет ничего пророческого. И если Мицкевич — воплощение эпичности, то Пушкин — гармонии. Сфера первого — мысль. Сфера второго — чувство.

Чувство и сблизило поэтов. Оба увлеклись польской красавицей Каролиной Собаньской, — женщиной с «огненными глазами». Друг зыя называли ее «демоном». Друг Пушкина Соболевский говорил, что была в ней какая-то странная томительная истома, превращавшая мысль о возможности обладания этой женщиной почти в наваждение. Собаньская не упустила случая увенчать список своих побед именами двух великих поэтов. Оба обессмертили ее своими стихами. Оба чувствовали в ней какую-то тайну, которую им не суждено было разгадать.

Тайна раскрылась после революции, когда стали доступными для исследователей архивы царской охранки. Выяснилось, что Собаньская была штатным агентом Бенкендорфа и снабжала третье отделение доносами на своих ближайших друзей, в том числе и на Пушкина с Мицкевичем.

Общение славянских поэтов шло в двух плоскостях: поэтической — Пушкин даже перевел несколько стихотворений Мицкевича — и чувственной — страсть обоих к «демону».

В 1829 г. Мицкевича выпустили из позолоченной петербургской клетки, и он уехал за границу. Потом грянуло польское восстание, жестоко подавленное. Пушкин, вообразивший на какое-то время, что поэт обязан быть «рупором народным», лягнул падшую Польшу в двух стихотворениях: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Для Мицкевича не прошло незамеченным это глумление над его отчизной, что и отразилось в стихотворном послании «К русским друзьям».

Мицкевич прямо имени Пушкина не упоминает, но тот имел все основания отнести на свой счет хотя бы вот эти две строчки: *«А может, кто триумф жестокости монаршей/В холопском рвении восславить ныне тщится?»*

Никто и не тщился, кроме Пушкина...

Общение Пушкина с Мицкевичем перешло в дальнейшем в сферу политическую, хоть и выражалось поэтическими средствами.

Концовка стихотворения Мицкевича исключала возможность прямого ответа, и Пушкин отвечает ему косвенно, в «Медном всаднике», где полемизирует с оценкой исторических перспектив России, содержащейся в «Дзяддах».

Нравственная позиция Мицкевича была неуязвима. Пушкин это понимал. Но упрек Мицкевича сидел в нем, как заноза, от которой следовало избавиться. Это произошло лишь в 1834 году, когда Пушкин создал стихотворный набросок «Он между нами жил», завершающийся так: «— Но теперь/Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом/Стихи свои, в угоду черни буйной,/Он напояет. — Издали до нас/Доходит голос злобного поэта,/Знакомый голос! Боже! Освяти/В нем сердце правдою твоей и миром/И возврати ему.»

— Как жаль, что стихотворение осталось незаконченным, — сказал я. — Что «возврати»? Что имел в виду Пушкин? Тут — обрыв.

— Оно закончено, — возразил Толя. — Пушкин просто не хотел повторять то, что уже написал в «Борисе Годунове»: «*Да ниспошлет Господь любовь и мир/Его душе страдающей и бурной.*» Пушкин, конечно же, понимал правоту Мицкевича, и, упрекая его, на самом деле упрекал себя. Ведь это он, в «угоду черни буйной», «ядом напоял» свои антипольские стихи. Ты знаешь мое отношение к Пушкину, но в их споре я целиком на стороне Мицкевича. Да и Пушкин, по сути, был на его стороне, — быть может, сам того не сознавая.

«Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» — далеко не лучшие пушкинские творения. А вот «К русским друзьям» — шедевр европейской лирики. И я обязательно переведу Мицкевича, как только получу от тебя подстрочник. Не оставлять же в хрестоматиях перевод Левика.

Перевод, о котором упоминает Яacobсон, действительно считался хрестоматийным в Советском Союзе, хоть Левика и не удалось воспроизвести ритмическую поступь и интонационную динамику оригинала. Местами он даже умудрился исказить ход мысли автора. У Мицкевича сказано: «...klatwa ludom, со swoje morduja proroki...» (Дословно: «...проклятье народам, убивающим своих пророков»). А Левик переводит: «проклятье палачам твоим, пророк народный», не только упрощая, но и искажая Мицкевича. Перевод же Яacobсона — не слепок с оригинала, а живое воспроизведение, пусть и не воссоздающее в мельчайших деталях каждую подробность подлинника, зато обладающее теми же качествами.

Завершив работу над переводом Мицкевича, Яacobсон еще успел отправить его в Москву Лидии Корнеевне, мнение которой ценил чрезвычайно. Оценка Л.К. его обрадовала, хотя ее критических замечаний — не принял, и продолжал считать строфы о Рылееве и Бестужеве своей творческой находкой.

Чуковская писала: «Итак, о Мицкевиче: прочла Ваш перевод. Он замечателен богатством словаря академического и переводческого; такие словесные находки, как «погост», «череда», и «срам орденов» ( bravo!), «вешают пир». Да и кроме словесного богатства — поступь стиха передает величие, грозность. Но и недостатки представляются мне существенными. Две ударные строфы: о Рылееве и Бестужеве, не ударны, не убедительны, потому что синтаксически сбивчивы. «Рылеев, ты?» Найдено очень сердечно, интимно, а дальше — «она (шея) взята позорною пенькою» — сбивчиво, и вся строфа искусственна. То же и Бестужев. Даже до смысла я добралась не сразу, запутавшись в руке и кисти, тут синтаксис нарушен, то есть дыхание... Перевод Левика ремесленная мертвечина, механическая. Вы его кладете на обе лопатки. Рядом с Вашим он похож на подстрочник».

23 февраля 1842 года друг Пушкина Александр Тургенев, брат «хромого Тургенева» из декабристских строф «Онегина», записал в своем дневнике: «На последней лекции я положил на его (Мицкевича) кафедру стихи Пушкина к нему, назвав их “Голос с того света”».

Этот список стихотворения «Он между нами жил» с надписью Тургенева хранится сегодня в музее Мицкевича в Париже.

Так уж получилось, что надпись эту — «Голос с того света», — можно отнести и к переводу стихотворения «К русским друзьям», сделанному Анатолием Якобсоном незадолго до смерти.

\* \* \*

Знакомых у него была уйма. А вот друзей близких здесь, в Израиле, не так уж много. До конца близким человеком была его первая жена Майя. Привязан он был к Володе Гершовичу, которого знал еще по той, московской жизни.

Был у него «медовый месяц» с Эли (Ильей) Люксембургом. Помню, пришел — и с порога:

— Илья написал крепкий рассказ «Боксерская поляна». — В глазах светилась радость за товарища.

А однажды явился какой-то странный:

— Я сейчас с Ильей дрался, — говорит.

— Как — дрался?

— А так. Предложил ему подержать меня на лапах. Побоксировать. Ну, надели перчатки. Работаем в салоне. Все нормально. Вдруг Илья — бац, бац — наносит несколько молниеносных ударов поверх моих перчаток. И смотрит с любопытством. Как, мол, прореагирую? Кровь бросилась мне в голову. Ладно, думаю, минуты две продержусь. И ринулся в рубку. Картины полетели. Ханка<sup>8</sup> завизжала.

— Ну и дальше что? — спрашиваю. Мне уже интересно.

— Илья, конечно, не провел знаменитого своего апперкота, — с каким-то даже сожалением говорит Толя. — Прекратил бой.

Так рассказывал московский боксер-второразрядник Анатолий Якобсон о единственном своем бое в Израиле. И не с кем-нибудь, а с самим Ильей Люксембургом, мастером спорта, полуфиналистом Союза, встречавшемся когда-то на ринге со знаменитым Агеевым.

Потом их дружба пошла по ухабам, опрокинулась, разбилась. Но пусть лучше об этом скажет сам Эли Люксембург:

«Первый серьезный разрыв у нас вышел из-за «Прогулки в Раму». Он был первым читателем этой вещи. Я вообще отдавал на его суд — последний и первый — все, что шло у меня в ту пору.

Меня удивила его оценка. Абсолютное неприятие, я бы сказал — генетическая ко мне враждебность: «Ты этот рассказ не должен печатать, ты лучше его порви. Вся идея его антигуманная, фашистская. Я только не понимаю, как ты его написал, именно ты!»

Я что-то ему возражал. Что выразил этой вещью многую муку, многую боль, что схоронил этим многих своих чертей, мучавших совесть, — изгнал их и выдрал. Что больше там нет ничего. Больше там нечего ему искать....Уже тогда я все понимал: моя духовная биография, возвращенная на повелениях и предсказаниях наших пророков, чье исполнение состоялось на мне, на нашем с ним поколении, моя мораль столкнулась с его моралью — русского демократа, всосавшего в себя чуждые мне соки православной религии, и вот на этом стыке возникла искра, яркая вспышка. И эта вспышка доводила нас обоих впоследствии до бешеной ярости».

Толя не принял узловую идею рассказа «Прогулка в Раму».

Автор размышляет там о последствиях непослушания царя Саула воле Господней, возвещенной ему пророком Самуилом: «Иди и порази Амалека и истреби все, что у него — от мужа до жены, от отрока до младенца, от вола до овцы». Саул же и народ пощадили Агага, царя амалекитян. А тот, прежде чем убил его Саул по настоянию Самуила, успел познать женщину, и от семени его пошли заклятые враги Израиля. Злокозненный Аман, например.

По Люксембургу, все наши беды — от своеволия, оттого, что кислотой скептицизма нашего мы волю Господа проверяем, — а это грех наказуемый. Ибо ведает Он, что творит, а мы — не ведаем.

Якобсон же размышлял подобно Саулу, который, согласно Агаде, воззвал к Вседержителю: «Господи! Если погрешил человек, чем повинно животное? Если грешны взрослые люди, чем дети виновны?»

Люксембург, однако, не прав, утверждая, что Якобсон «всосал» чуждые соки православной религии. Христианство Толю интересовало лишь как компонент европейского культурного мегаполиса. Иудаизм был ему несравненно ближе.

**Запись в дневнике от 28.3.1978:** *Католическая церковь: нет спасения вне церкви. Талмуд: у праведников народов мира есть доля в загробном мире. Отмечу, что благородно-демократическая традиция в иудаизме, безусловно, фундаментальна: «люби труд и ненавидь барство» (Талмуд, Поучения отцов, гл. 1.10).*

Иное дело, что Толя был сомневающимся атеистом.

**Запись в дневнике 21.8.1974:** *Бог. Сперва: нет; потом: может быть, есть; теперь: «может быть» еще сильнее. Но верующим не стал и не стану.*

Для истинно верующего еврея каждое слово в Библии священо. Неверующий же найдет сколько угодно поводов, дабы усомниться в ее божественном происхождении. И действительно, чего там только нет: и истребление младенцев, и уничтожение под корень целых племен, и ложь, и клятвопреступления, и прелюбодеяния, и братоубийство. Но все грубое, плотское, земное растворяется в небесном свете, пронизывающем священную книгу. Для того, чтобы это почувствовать, совсем не обязательно быть верующим.

Якобсон высказывался на эту тему примерно так:

— Если Бог существует, то Он абсолютно непостижим для человеческого разума, ибо ущербное не может постичь совершенства. Люди в состоянии мыслить о Нем только в категориях персонификации. Он должен восприниматься как личность, чтобы к Нему можно было возносить молитвы. Пусть всеобъемлющая, всеблагая, совершенная, вечная, бесконечная, — но личность. Ведь если это не так, то и молиться некому. С другой стороны, и Он, вступая в общение с нами, должен снижаться до примитивных наших понятий и представлений. Иначе как Его поймут? Ну а личности, будь она даже первоосновой всего сущего, можно противопоставить другую личность.

**Запись в дневнике 20.12.1977:** *Мне бы мимо Господа Бога как-нибудь сторонкой пройти. Я его не знаю, не ведаю — и ему бы, благодетелю, про меня забыть: не казнить, не жаловать. Он сам по себе, я сам по себе. Так бы всего душевнее.*

Любил он и Гришу Люксембурга, брата Эли, барда и поэта, за по-детски чистое восприятие мира и жизни. Гриша, когда его призывали на сборы, брал Толю с собой. Никаких проблем не возникало, потому что его и там все любили. Толя возвращался посвежевший, поздоровевший. С гордостью рассказывал всем, что был в армии. Цахал считал удивительным инструментом, созданным еврейским гением.



\* \* \*

Дурное предчувствие сбывается, когда причина его — тревожный сигнал из будущего, случайно воспринятый душой.

Летом 1976 года на военных учениях в Негеве странное чувство обреченности вдруг овладело мной. Это длилось несколько дней и было похоже на смертную истому. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Мне было до жути ясно, что моя смерть — здесь, за ближайшим барханом, в том уже подступающем будущем, которое вот-вот исчезнет для меня.

Помню порывистый ход бронетранспортера, свирепое солнце, звон жары и онемевшие мои пальцы на рукоятке пулемета. Потом удар — и провал — в небытие.

Очнулся я уже в больнице. Левая рука, прикрывшая бок, и принявшая на себя всю силу удара, висела на коже. Перерубленные ее кости спасли мне жизнь. Операцию сделали сразу, хоть я все еще был в болевом шоке. А когда отошел наркоз, то первое, что увидел, было встревоженное Толино лицо. В палату никого не пускали, но он прорвался.

— Тебе сейчас нельзя, — сказал он торопливо. — Потом подлечисься. — И неловко сунул мне под подушку бутылку бренди.

\* \* \*

«К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи», — процитировал я Ахмадулину, когда мы говорили о Сергее Хмельницком<sup>9</sup> Меня интересовала эмбриология предательства. Этот бывший Толин товарищ, археолог и поэт, оказался стукачом, посадившим нескольких своих друзей.

— Да ничто ему глаза не туманило, — сказал Толя с явной неохотой. — Просто не было в нем такого стержня, на котором держится душа.

— Но все же, — не уступал я, — как пошел на такое человек умный, талантливый? Ради чего загубил он и свою жизнь?

— Да ни ради чего, — Толя уже стал раздражаться. Он не любил говорить на эту тему. — В юности, еще в школе, поймали его на крючок. Вызвали куда надо, запугали, взяли подписку. Вот он и стал стучать. А вырваться из капкана — души не хватило. Вот и все.

Для Толи Хмельницкий был похоронен и залит бетоном. Но иногда, засидевшись за бутылкой, Толя читал, по моей просьбе, одно стихотворение Хмельницкого, которое я, находясь под воздействием алкоголя, тщетно пытался запомнить:

Все мы, граждане, твердо знаем,  
Что в начале седьмого века  
Под веселым зеленым знаменем  
Шел пророк из Медины в Мекку

И неслись на рысях номады,  
По степям, дорогой короткой,  
За посланником Мохаммадом,  
Молодым, с подбритой бородкой.

И так далее. Трезвым Толя никогда Хмельницкого не читал, и просить его об этом было бесполезно.

\* \* \*

Я благодарен Диме Сегалу, выбившему Толе ставку в университете, избавившую от нужды. Но, боясь чего-то, вероятно, его болезни, Толе наглухо закрыли общение с аудиторией, не дали читать лекции. А ему, так любившему живое слово, это было жизненно необходимо.

И он «ушел в подполье», стал организовывать научные семинары у себя дома. Но получать даром университетские деньги — не хотел. Не из тех Толя был людей, что довольствуются синекурой. Он, не выносивший новые литературоведческие школы, — структурализм, прочие «измы» и вообще всяческие попытки «поверить алгеброй гармонию», в последний год жизни дал оппонентам сражение на их поле — и выиграл. Изначальной силой своей природы преодолевая болезнь, написал Толя совсем не «якобсоновскую» работу «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака».

Вот она лежит передо мной с надписью автора:

Когда я, изгнанный со службы,  
Пойду в запое по миру,  
Припомню, как во имя дружбы  
Дарил такое Фромеру.

Работа эта отличается академичностью и холодным отточенным мастерством. Смотрите, — как бы говорит Якобсон своим оппонентам, — я могу делать то же, что и вы. Только лучше. В «Вакханалии» Якобсон вскрыл один из существеннейших мотивов широкого многоголосия поэзии Пастернака, составляющего живую ткань его поэтической вселенной.

\* \* \*

В последний год жизни Толя женился на Лене Каган. Дней ему осталось уже не много, и она внесла в них радость, пусть печальную, похожую на тонкий луч, скользящий по стьлой глади пруда. Ей, а иногда и Глебу, огромному сенбернару, к неудовольствию Тома появившемуся в их маленькой квартире, писал Толя шуточные стихи, составившие целый сборник.<sup>10</sup> Впрочем, не такие уж шуточные. Помню, меня по-

разило и заставило задуматься одно из стихотворений, написанное за три месяца до смерти:

### ДИАЛОГ

Не жить хочу, чтоб мыслить и страдать,  
А поскорей хочу концы отдать.  
Горька, сладка ли — чарочка испита.  
Откинуть бы, не суетясь, копыта.  
Но кто-то востроглазенький и злой  
Подмигивает: «Значит — с плеч долой?»  
Определим сюжетец: дезертиру  
Приспичило в отдельную квартиру».

В последние свои месяцы он все чаще возвращался к мыслям о смерти. Говорил, что смерть — это естественное прекращение слепого движения жизни. А как и когда это происходит — не столь уж существенно. В какой-то момент мы исчезаем вместе со всей Вселенной. Вот и все.

Он не только не верил в загробное существование — он этого смертельно боялся. А что если человек тащит за собой туда бремя не только грехов своих, но и страданий?

**Запись в дневнике 28.6.1978:** *Койка — покой — покойник. Отдых. Отдыхался — окончательно отмаялся, отмучился. Подлинная полнота — полнота небытия. Нет ничего страшнее мысли о загробном инобытии. Ужас, если не в ничто, не в никуда, не в никогда.*

\* \* \*

Болезнь прогрессирует, причиняя ему ужасные, почти непрерывные мучения. Его болезнь — это физическая боль души.

**Запись в дневнике 10.8.1978:** *Очень жалко, что у меня нет души, а то бы я вынул ее, как зубы, и положил в воду, и у меня бы ничего не болело. Почему это ничто так болит?*

Уже не освежает короткий сон, похожий на забытье. Страдания непрерывны, пронзительны. Но безмерному страданию соответствует неизмеримая сопротивляемость. Постепенно она начинает ослабевать.

Близится роковой день 28 сентября.

Периоды депрессии становятся все тяжелее. Все реже сменяет ее иллюзорная, не дающая душе отдыха эйфория.

В тот последний день я работал с двенадцати. В 11 позвонил Толя. «Вовка» — произнес он — и замолчал. Через пять минут я был у него.

Он открыл спокойный, побритый, с ясными глазами. С обрадовавшей меня убежденностью сказал:

— Мне уже намного лучше. Зачем ты приехал. Тебе ведь — на работу. Заходи вечером.

— Да ладно, — говорю. — А Ленка где?

— На базаре.

— Я, пожалуй, ее дождусь.

— Не стоит. Ну, если хочешь, подвигаем шахматешки.

Сели к столу, и он прибил меня быстро, в блестящем стиле, с жертвой коня. И я успокоился. И ушел. Не насторожило и то, что в дверях, прощаясь, он вдруг обнял меня...

Потом мы вычислили, что повесился он в тот короткий период в 40 минут между моим уходом и возвращением Лены. Поздно вечером Майя нашла его в подвале, висящим на поводке Глеба.

По Москве долго кружила версия, что в свой последний день Толя играл в шахматы с товарищем, проиграл, потом долго искал его, чтобы взять реванш, и, не найдя нигде, — повесился.

Свидетельствую, что последнюю шахматную партию в своей жизни он выиграл.

\* \* \*

Приблизительно через месяц после его смерти поздно вечером приехал ко мне Гриша Люксембург.

— Пойдем навестим Толю. Вижу, в кармане у него бутылка.

— А не поздно? — спрашиваю. Гриша пожал плечами.

Кладбище на Масличной горе под ночным небом, похожим на опрокинутую черную чашу, расцвеченную равнодушными далекими огоньками. Угрожающие бесформенные очертания надгробий, напоминающие серых животных. Ищем могилу на ощупь. Нашли вроде. А вдруг не она? Темно, жутковато.

— Гриша, — говорю бодрым голосом, — тут же Толя. Он нас в обиду не даст.

— Да, — подхватывает Гриша, — пусть только попробуют. Он их так причешет.

Гриша разлил и выплеснул остаток на сухую, каменистую, давно остывшую землю.

\* \* \*

Он пришел ко мне через полгода. Во сне.

Квартира, в которой полно народу. Какая-то вечеринка. Вдруг входит Толя — быстро, по-бычьему нагнув голову. Он в синей курточке. Ворота рубахи расстегнут. На шее — багровый рубец. Все его радостно приветствуют, никто не удивляется. Завязывается оживленный разговор.

Он медленно, с наслаждением набивает трубку. Закуривает. Я не могу глаз оторвать от его лица. Молчу. А он меня как бы и не видит.

Вдруг все исчезают. Мы одни. Он взглядывает на меня исподлобья — и спрашивает:

— Ты ведь знаешь, что я умер?

— Знаю, — говорю, — я ведь тебя хоронил. — Делаю движение к нему, пытаясь обнять, но он знаком показал, что этого — нельзя. Тогда я тихо произношу:

— Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. И, значит, есть загробная жизнь?

— Есть, — отвечает сразу, словно ждал этого вопроса, — но совсем не такая, какой ее представляют люди.

— Хорошо ли тебе там? — Он медлит с ответом. — Фигово. Нельзя ни выпить, ни бабу поиметь.

— А их ты видишь? — Кого? — Анну Андреевну. Маму. — Он не ответил, наклонившись, раскурил трубку — и вдруг исчез. Трубочный дымок еще долго поднимался к потолку, но его уже не было.

Вскоре началась самая тяжелая полоса в моей жизни. Думаю, он приходил предупредить меня.

© Владимир Фромер  
1997

<sup>1</sup> Владимир Фромер родился в 1940 г. в Куйбышеве (ныне Самара). Репатрировался через Польшу в 1965 году. Окончил исторический факультет Еврейского университета в Иерусалиме. В 1972-73 годах — соредатор первого израильского литературного журнала на русском языке «АМИ», в третьем номере которого *впервые* была опубликована великая проза Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» (по копии, вывезенной из России Борисом Исааковичем Цукерманом (1927–2002)). Историю обретения поэмы и её публикации В. Фромер рассказал в очерке Иерусалим — «Москва-Петушки»: Владимир Фромер. Реальность мифов. «Гешарим — Мосты культуры». Иерусалим-Москва. 5764-2003. с. 370. (Прим. В. Емельянова). С тех пор занятия литературой стали основным делом Владимира Фромера. Его исторические очерки, эссе, рассказы регулярно публикуются в общественно-политической и литературной периодике Израиля, России и других стран. Живет в Иерусалиме. Редактор и политический обозреватель русскоязычной радиостанции «РЭКА». Фромер мечтал стать израильским Плутархом, и он стал им (прим. Аркана Карива).

<sup>2</sup> Мемуарная новелла «Он между нами жил...» опубликована: Иерусалимский Журнал № 8, 2001.

<sup>3</sup> Исайя Берлин (1909–1998) — английский мыслитель, философ и политолог, считается одной из центральных фигур в интеллектуальной и политической жизни западного мира в двадцатом веке (прим. В. Фромера).

<sup>4</sup> Анатолий Якобсон. «Почва и Судьба». Вильнюс-Москва, Издательство «Весть», 1992, с. 264.

- <sup>5</sup> Омри Ронен (Имре Эмерихович Сорени) (р. 1937) — американский филолог-славист, родом из СССР. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме и Гарвардский университет. Автор исследований по истории, поэтике и герменевтике русской словесности, в частности, комментариев к стихам О. Мандельштама, а также работ в области сравнительного литературоведения. В России вышли в свет его книги «Серебряный век как умысел и вымысел» и «Поэтика Осипа Мандельштама». В настоящее время доктор Омри Ронен заведует кафедрой русской литературы Мичиганского университета.
- <sup>6</sup> Дмитрий Михайлович Сегал (р. 1938) — филолог, лингвист. Окончил Первый МГПИИЯ (1959), Москва. Работал переводчиком. Младший научный сотрудник Института славяноведения. Занимался фонологией славянских языков. Кандидатская диссертация осталась незащищенной из-за подписанства. («Хроника текущих событий», выпуск 2: Дмитрий Сегал, лингвист, Институт славяноведения, письма 31-го, 170-ти, отложена на неопределенный срок защита диссертации.) В июле 1973 г. эмигрировал в Израиль. В СССР и Израиле занимался историей русской литературы XX века, структурной фольклористикой (прим. Г. *Суперфина*).
- <sup>7</sup> Соломон Константинович Апт (р. 1921), — литературовед и переводчик (прим. А. *Зарецкого*).
- <sup>8</sup> Хана, жена Эли Люксембурга.
- <sup>9</sup> О С. Хмельницком см.: Абрам Терц (Андрей Синявский). «Спокойной ночи», глава пятая «Во чреве китовом»; Сергей Хмельницкий «Из чрева китова», журнал 22, № 48, интернет-публикация: «Из чрева китова».
- <sup>10</sup> Анатолий Якобсон. Стихи на случай. Иерусалим, Ново-Якобиздат. 1978. С. 84, тираж 3 экз. (Машинопись). (Прим. А. *Зарецкого*).

*Эли Люксембург*<sup>1</sup>

## **Рядом с праведниками**<sup>2</sup>

*Памяти Анатолия Якобсона*

Он лежит на Масличной горе ногами к Храму — Святая Святых. Так евреи хоронят своих праведников на этом кладбище. Давно, с библейских еще времен. Ибо так гласит предание: те, кто упокоены на Масличной горе, встанут первыми и войдут Воротами Милосердия, когда придет Мессия.

Над могилой его простерты бездонные небеса, от изголовья его начинается Иудейская пустыня, катится до Мертвого моря, до Моавитских гор, где поднимается солнечный диск над Иерусалимом, куда каждое утро каждый в мире еврей обращает к Всевышнему свои молитвы.

Друзья его звали Толиком, либо Тошкой, еще по московской, видать, привычке.

В Израиле он выбрал себе имя Нафтали и страшно этим гордился: Нафтали бен Яков — родоначальник одного из колен израилевых.

Я же звал его ребе Нафтали. Ведь «ребе» в переводе с иврита еще и «учитель».

Для меня он всегда жив, всегда рядом. Его дух не покидает меня, он умрет вместе со мной, вместе со всем моим поколением. Нашим с ним поколением, поскольку выясняем свои старые споры и отношения. А крутятся они по-прежнему на одну и ту же тему — Израиль. Трагедия или чудо наша судьба? Жесток или милостив был к нам Господь, возвратив в эту землю, Святую, в общем-то, Землю? И что нам с русской литературой здесь делать? Как с нею быть, с этим благостным, окаян-ным грузом?

Из жизни он ушел добровольно, он как бы от нее удрал. От самого себя, от нас. За что я часто злюсь на него, гневаюсь и ругаю: «Помилуй, ребе, ну кто же сбегает из ринга в самый разгар боя?»

Бокс — это особая тема, он был нашей общей страстной любовью.

Не ради славы или особых почестей мы оба дрались еще пацанами. Он у себя в Москве — у знаменитого тренера Льва Сегаловича, а я в Ташкенте — у Джаксона, Сидки Джаксона, тоже еврея и тоже легендарной личности. Наши тренеры правильно нас воспитали. И понимали — дрались мы исключительно из-за «жида». Достоинства, чести. Не дать никому над собой глумиться.

Листаю свои альбомы, достаю фотографии, чтобы оживить в памяти образ друга, массу картин и происшествий, случившихся с нами. Хорошая, скуластая морда, приплюснутый нос, с тревожно порхающими

ноздрями. Ничего в нем не было от облика классического «жида». Расовый признак, пожалуй, один — рубака и гладиатор.

— Горше всего я плакал на ринге, будучи зеленым юнцом, — признался он мне однажды. — Стою я как-то в своем углу, жду гонга, начала первого раунда. И, как положено, отправился к противнику, пожать ему руку перед боем. В противоположный угол. Такому же пацану, как и я. Подхожу, а тренер его мне шипит: «Пошел вон, жидёнок!» О, этого не забыть! Это в гробу буду помнить, никогда не прощу им этого.

Познакомил нас Фромер Володя.

В ту пору я подрабатывал тренером в спортивном клубе «Бейт-Померанц» на Лавровой горке — Маалот-Дафна.

Было довольно поздно, в квартиру нашу они вломились, буквально, без стука и без звонка. Ребе Нафтали принялся сходу меня обнюхивать. Раза три обошел кругом, как бы взвешивая, просвечивая. Что-то свое вычитывая во мне. И, наконец, изрек:

— Вполне надежный! И пишешь еще? Читал, читал. Неплохо.

Перебираю его фотографии, а в сердце щемит досада, боль и досада.

Господи, вроде в Израиле мало прожито, совсем ничего. Самое главное осталось там, в России — самое дорогое в твоей биографии. А здесь? Ну сколько прожито здесь? А скольких успел узнать, полюбить, связать свою жизнь с ними. Но и эти ушли, будто бы в одночасье. И пусто, пусто без них, их так не хватает: Павел Гольдштейн, Давид Дар, ребе Нафтали... Этих мы выбирали себе в друзья в зрелом возрасте, по принципу духовных корней. Общих корней — высшей близости. Тех, кто вместе с тобой с гордым достоинством эту землю топтали, потом своим поливали, кровью, любили ее беззаветно. Четко осознавая всю жестокость нашей жизни в Израиле. Эту суровость — нести на плечах, как бесценную ношу, хрупкое СВОЁ государство. Неравную силу соотношений: по эту сторону мы, а по ту — весь остальной мир.

Давно пытался найти в его фотографиях тайную одну печать, некий мистический символ.

Помню, привез я однажды ребе Нафтали в Бат-Ям к своему родственнику, профессору теологии Пинхасу Х. Сам он из польских, бежал в Израиль из Самарканда с поддельными документами. Живет в стране со дня провозглашения государства.

Но русский помнит, ничуть не забыл, собеседник мудрый и пронзительный.

Проговорили мы, помню, больно цапаясь, до глубокой ночи. Ребе Нафтали вызвал жгучий его интерес.

Утром, однако, сидя на кухне, Пинхас кивнул мне на салон, где спал на диване ребе Нафтали. Тихонько шепнул: «По моему глубокому убеждению, господин Якобсон не должен был покидать Россию ни в коем случае»!



Эти слова меня потрясли, я не поверил своим ушам.

Спросил Пинхаса:

«И это ты говоришь? Ты — сионист и набожный человек? Который с пеной у рта всегда и везде вопит: евреям надо драпать оттуда, хоть на карачках, спасти свою душу любой ценой?!»

«Да, но здесь исключение! — сказал он одними губами. — Клинический случай, тяжелая патология...»

Я долго глядываюсь в его фотографии, пытаюсь увидеть эту печать — ненашестьи, отстраненности, ту самую, что Пинхас увидел. В один лишь вечер, за один присест.

А вот он сидит на диване и курит трубку. Вразброс откинувшись, улыбаясь блаженно. А рядом Сашка — его сокровище. Сын уже бородастый, только что окончил гимназию, скоро идти ему в армию: оба славно так улыбаются.

Часто он мне говорил:

— Это огромная наша удача, что Санька в Израиле, здесь как раз ему место. Я только пытаюсь представить себе, что бы с ним случилось там, в России — ужас меня берет! Гнил бы всю жизнь в Сибири безвылазно. С его-то дерзостью в политических убеждениях, да и во всем остальном?

А вот мой ребе в боксерских перчатках, голый по пояс, в блестящих капельках пота. Стоит на травяной изумрудной полянке под пальмой. Щурится, заслоняясь от солнца. И морда такая хорошая, зверская. Мы только что с ним подрались. До красных соплей, я чуть в нокаут его не послал. Мы вообще с ним дрались где придется. На всю жизнь бокс остался у него в крови — условным рефлексом, генетическим кодом. Едва я доставал перчатки, он тут же вскакивал в боевую стойку.

Еще он рыцарем был, рыцарем дружбы. Бесстрашным и беззаветным.

А между прочим, из-за его бесстрашия, порой неразумного, нас запросто могла прирезать однажды арабская шпана. В мрачных, запутанных лабиринтах Старого города.

— Старик, я много слышал, что ты замечательный гид, — сказал он тогда. — Говорят, что ночью тебя разбуди, поведешь экскурсию по Старому городу?

— Поведу! — согласился я. — Охотно и с удовольствием. Вот и ночь как раз на дворе. Да и будить не надо.

Было нас трое в ту ночь, трое друзей, не считая Томика, его верного пса, сибирской лайки.

Выходя из дома, я прихватил с собой кобуру с пистолетом. Нацепил на пояс, прикрыв рубашкой.

Заметив это, ребе Нафтали обиделся:

— Фи, пистолет! — сказал он с брезгливой гримасой. — Да мы же с тобой боксеры!

На это я промолчал, пропустил это мимо ушей, а пушечку все-таки взял.

Он всю дорогу надо мной измывался: стыдил за трусость, неверие в его кулаки. Всю дорогу до Старого города, куда мы перли пешком.

Стояла чудная ночь со звездами и огромной луной. Город был совершенно пуст, безлюден. Я привел своих спутников к Дамасским воротам. По винтовой каменной лесенке взойти на зубчатую стену. Двинулись на восток, к башне Ирода — над крышами, над дорогой. Затем со стены спустились. И Ассирийским кварталом, где переулки особенно мрачные и глухие, решил повести их на Крестный путь — улочку Дела-Росса.<sup>3</sup> Я-то прекрасно знал: евреи здесь мало гуляют. Ни днем, ни ночью — всякое здесь бывало. И с неевреями тоже.

И — оп! Как будто в воду глядел. Мгновенно вдруг оказались в кольце шпаны: поганенько лыбятся, ножами размахивают, цепями. Чем-то еще гремуче-убийственным.

Я тут же выхватил пистолет. Клацнул затвором, приставив дуло ко лбу главаря. Он вышел как раз на меня, напротив. «А ну, *хабиби*,<sup>4</sup> проваливай к черту, иначе череп тебе продырявлю!» И банда дрогнула, отступила. Кольцо их быстро размылось, через минуту исчезли.

Ребе Нафтали горестно завопил:

— О, какой позор! Боксер, чемпион, а лезет за пистолетом! Ты все нам испортил, мы мигом бы их посшибали. Сошлись бы спинами и дали бой.

Мне было смешно и грустно:

— Они с нами что, на кулачках собирались? Ты видел, что было на этих цепях — японские раздолбайки? Тебя бы тяпнули по башке рязочек, и эта башка наивная, как арбуз, раскололась. Сюда только пушка нужна, давно проверено.

А вот его фотография на плато Голан, его любимая фотография: стоит на крыше разбитого сирийского дота. И неизменный Томик на его руках. В войну Судного дня здесь воевал мой брат Гриша — они дружили. Брат умудрился привезти его в боевую часть. Немыслимо как — в самое пекло, на передовую.

Ребе Нафтали нам часто плакался:

— Меня в *милуим*<sup>5</sup> не берут. Из-за болезни, по возрасту. Неужели я никогда не увижу, что означает в действии еврейская армия?

Гриша раздобыл для него ботинки, военную форму. В этой форме, возле солдатских костров, ребе Нафтали читал танкистам, однополчанам Гриши, стихи Цветаевой, Пастернака, Ахматовой. Волшебное, неповторимо, как мог только он один. А после мне говорил, что это были

счастливейшие дни в его жизни. И фотографией хвастал — в солдатской форме, с Томиком на руках, на крыше разбитого дота.

Вот еще фотография, стоим мы на ней вчетвером: Володя Фромер, Улановская Майя, ребе Нафтали и я. Он хмур, насуплен. В лице проступает тревога, весь будто наэлектризован. Таким он часто бывал — в тряске, передернутый бесконечными судорогами. Мотая при этом на руку кожаный ремешок Томика. С руки на руку, с руки на руку.

Болен он был всегда. Когда меньше, когда больше.

Однажды изобразил мне «синусоиду своего бытия»:

— Сейчас я нахожусь здесь, на самой макушке. Спусти неделю, а может раньше, полечу вниз. Спадут экстаз, сатанинское возбуждение, буду снова брошен на дно. А после мучительно выбирать. И еще врачи мне как-то признались... Да я и сам понимаю: однажды просто не выберусь, не будет сил. Ни сил, ни охоты, и что-то непоправимое случится. Отчетливо чую.

Откладываю в сторону альбомы: нет, не вижу на нем никакой печати. Ни знака, ни печати; зато от мысли, что с этой глыбой, талантищем, я был часто небрежен, доводил до бешенства, позволяя на себя злоствовать, — стыдно. Да, стыдно, что не щадил его ни больным, ни здоровым.

А что я могу поделывать? Израиль был и остается для меня превыше всяких истин и здравого смысла.

И задаю себе неразрешимый вопрос: действительно ли Израиль убил его, губительно действовал, разогнав болезнь его до скоростей аварийных?

В памяти моей сохранилось воспоминание: мы едем из Тель-Авива в такси. Час назад ребе Нафтали прочел выходцам из Харбина блистательную лекцию о современной русской литературе. Его восторженно принимали, вручили «жирненький» чек — как будто бы все нормально. Всю дорогу я гляжу в окно на потрясающий пейзаж возле подножья Иудейских гор. Мой ребе сидит под боком, рядом. Весь погружен в себя, колючий и непрístupный.

Толкаю его локтем:

— Нет, ты глянь только, глянь, какие хлеба колосятся в Аялонской долине! А знаешь, что именно в этом месте наши предки громили филистимлян? А полководец Иегошуа Бин-Нун велел солнцу остановиться, покуда битва не завершится. Ты погляди, погляди, какая тут кругом красотища!

Мутным, рассеянным взглядом он оглядел долину, небо и горы. Буркнул мне раздраженно:

— Лунный пейзаж. Дикий и страшный...

Это я понимал, Израиль был для него иной планетой. Он много страдал, помимо своей болезни. Из всех сил пытаюсь что-то понять вокруг, вписаться в быт. Учил упорно язык, но он у него не шел, и это добавляло отчаяния. И много писал, очень много работал — книги, статьи, рефераты. Хлеба насущного ради.

Но разве только Израиль, разве и не Россия тоже убила его, если уж прямо и справедливо? Это она, Россия, выбросила его голым, больным, беспомощным. И не его одного, а тысячи, много тысяч. Вытравила из еврея всякое понятие о своих корнях — в этом ее обвиняю. Да, мне чуточку повезло, я вырос и родился в семье, отчаянно сопротивлявшейся ассимиляции, где соблюдались традиции и повеления Торы. С детства еще отец приучил меня верить в Израиль как в Бога: «земля наших предков добра и благостна». И вот я выжил, этим самым и выжил. Отделавшись шрамами и рубцами. А ребе Нафтали умер. Сбежал ли, ушел по собственной воле — неважно.

Первый серьезный разрыв у нас вышел из-за рассказа «Прогулка в Раму». В ту пору я отдавал на суд его, суровый и деловой, все, что шло у меня из машинки. Меня удивила его оценка: абсолютное неприятие, я бы сказал — враждебность.

— Старик, ты этот рассказ не должен давать в печать. Порви его, уничтожь. Вся идея его антигуманна, насквозь фашистская.<sup>6</sup>

Уже тогда я понимал, прекрасно отдавая всему отчет: вера моя и мораль столкнулись с его моралью — русского диссидента, вобравшего в душу свою чуждые мне идеи православной религии. А прежде этого, помимо воли его, — дух демократа, космополита. И здесь меж нами случилась искра, вспышка, дошедшая до пожара.

«Художественную прозу» он никогда не писал, мне не приходилось читать и его стихи.

Вот что он говорит о себе в книге «Конец трагедии», вышедшей на Западе еще в бытность его в Москве: «То, что делаю и собираюсь делать впредь, можно назвать так: литература о литературе. Это не литература и не писательство в чистом виде, но нечто, имеющее черты того и другого».

Но Бог ты мой, сколько писателей и поэтов за ним охотилось; считали за честь удостоиться его рецензии, дружбы. Да просто разговора, знакомства. И очень часто его оценки были суровы и беспощадны, а потому — так всеми желанны. С музой творческой ребе Нафтали был честен и справедлив, никогда не пытался с ней флиртовать, любовнице этой хранил священную верность.

Жил он мучительно трудно, ежедневно сражаясь с болезнью, пытаюсь устоять на ногах, не пасть, удержаться. Жил исключительно литературным трудом. А это почти что подвиг — жить литературой на русском языке в Израиле.

К деньгам же испытывал отвращение.

...Однажды я дал ему рукопись «Боксерской поляны»<sup>7</sup>, едва законченного рассказа.

Буквально на следующий день он ворвался ко мне в квартиру весь возбужденный, сияющий и счастливый.

— Старик, немедленно одевайся! За мой счет приглашаю тебя в ресторан. Этот рассказ немедленно надо обмыть!

Я был глубоко польщен, не хочу соврать. Шутка ли, сам ребе Нафтали тащит меня в ресторан. Из-за того, что рассказ мой ему понравился, вызвав бурю эмоций. Ребе Нафтали, вечно нищий, как уличный воробей! Ну и ну, ай да ребе Нафтали!

Он притащил меня в разудалый и шумный кабачок на улице Долина Духов — Эмек Рефаим. Здесь было полно забулдыг, зато стояли запахи печеного мяса — райские.

Едва мы с ребе Нафтали вошли, едва уселись за столик, как я вдруг заметил, что вся почтенная публика к нам обернулась и пристально изучает. С каким-то настороженным недоумением — бессовестно пялятся. Не столько на ребе Нафтали, как на меня одного. Я весь заерзал, почувствовав себя неуютно.

Не обратив на это внимания, мой ребе снялся и пошел заказывать стейки.

И тут же ко мне подошел один из алкашей, осведомившись сердечно: «Кипа на твоей голове — ты что, религиозный?» — «Да, отвечаю, кипа, религиозный, а в чем, собственно, дело?» — «Да нет, говорит, ничего. Я только хотел сказать, что стейки здесь белые, кушай себе на здоровье...»

И сразу мне все стало ясно, весь я налился стыдом и отчаянием.

Вернулся ребе Нафтали, беспечный, веселый. Сказал, что водочку заказал, водочки тяпнем.

— А стейки здесь подают такие, что закачаешься. Лучшие в Иерусалиме, сам сейчас убедишься!

— Куда ты, каналья, меня приволок? — взревел ему я. — Сюда же религиозному человеку ногою ступить нельзя, ты что, издеваешься!?

Он искренне огорчился, чуть не до слез. Он, бедный, даже не знал, что мне свинина запрещена — элементарные азы иудейства. А может, и знал, конечно же, знал!

Должно быть, память отшибло.

Фигура яркая, сильная, во многом противоречивая, — таким он остался в моей памяти: яркой звездой из иной галактики, прочертившей наш небосвод.

После похорон, кладбища десятки людей — в большинстве своем мне незнакомые — собрались у него на квартире в Неве-Яаков. И не одни литераторы.

Долго сидели, молчали, оцепенев от горя. Потрясенные смертью. Оглушенные, онемевшие. Глядя на этих людей, я думал: а ведь каждый из здесь сидящих его любил и любит. Каждому он дорог по-своему, к каждому сердцу сумел найти тропинку. Сколько же граней было у этой души, великой природы?

Лежит мой ребе на Масличной горе, ногами к Храму. Так евреи хонрят в Иерусалиме своих праведников. Нам ли его судить — грешно он поступил или нет, распорядившись жизнью своей, судьбой? Думаю, нет! Судить его не имеем права. Этот вопрос подлежит рассмотрению в иных инстанциях. Факт — Всевышний положил его рядом с праведниками!

Одно лишь знаю, об одном лишь прошу:

«Удостой же, Господи, и меня в положенный час лечь с ними рядом: отцом, ребе Нафтали, Павлом Гольдштейном, Авраамом Шифриным. С теми, кто встанут первыми и войдут в Ворота Милосердия, когда придет Мессия».

1979–2004

<sup>1</sup> Семья Эли Люксембурга (1940, Бухарест, Румыния) в начале войны (1941–1945) эвакуировалась в Ташкент. Закончил ирригационный техникум. Мастер спорта по боксу, дважды чемпион Центрального Совета СССР. Провел 186 боев, из которых выиграл 162. Закончил Узбекский государственный институт физической культуры. Посещал литературные объединения, писал прозу. После Шестидневной войны боролся за выезд в Израиль. Пять лет был в «отказниках», продолжая заниматься литературным трудом. Подвергался обыскам и допросам КГБ. Репатририровался в Израиль в 1972 г. Житель Иерусалима. Автор многих книг, опубликованных в Израиле и переведённых на иностранные языки. Лауреат литературных премий. Вместе с братом Григорием — тренеры Иерусалимского клуба бокса Маккаби. Готовили сборную Израиля к международным соревнованиям (прим. А. Зарецкого).

<sup>2</sup> Опубликовано: Иерусалимский Журнал № 17, 2004 г.

<sup>3</sup> Via Dolorosa.

<sup>4</sup> *хабиби* (араб.) — мой друг, приятель.

<sup>5</sup> *милуим* (ивр.) — регулярные военные сборы резервистов.

<sup>6</sup> В рассказе Э. Люксембурга «Прогулка в Раму» (напечатан в одноименном сборнике, издательство «Шамир», Иерусалим, 1983) говорится о последствиях непослушания царя Саула воле Господней, возвещенной ему пророком Самуилом: «Иди и порази Амаека и истреби все, что у него — от мужа до жены, от отрока до младенца, от вола до овцы». Саул же и народ пощадили Агага, царя амалекитян. А тот, прежде чем убил его Саул по настоянию Самуила, успел познать женщину, и от семени его пошли зачатые враги Израиля. (1-я книга Царств, гл. 15) (прим. В. Фромера).

<sup>7</sup> См. рассказ Э. Люксембурга «Боксерская поляна» на его интернет-сайте <http://www.elilu.info/in-st.htm>

*Герман Фейн<sup>1</sup>*

## **Памяти Толи Якобсона<sup>2</sup>**

Он был жителем несуществующей страны — России. Но она была для него большей реальностью, чем страна, в которой он пребывал телесно.

Толя Якобсон родился через 18 лет после события, которое он неизменно называл октябрьским переворотом: перевернулся огромный исторический пласт и погреб под собой Россию, а на поверхности его возник — СССР. Советская система породила удивительный психологический феномен — тоску по Родине, в которой не жил, но которую ощущаешь в себе как единственную духовную реальность.

Когда я эмигрировал в Европу, Толя, живший уже в это время в Израиле, написал мне: «Европа — живой организм только по сравнению с Советским Союзом (заметь: НЕ пишу — с Россией)». А ведь он не жил никогда ни в России, ни Европе — он просто мыслил категориями, выработанными русской патриотической мыслью конца XIX — начала XX века.

Ностальгией по России Толя болел еще в СССР.

Советскую Москву он видел одной из зон огромного лагеря для бывших русских людей. Как-то мы шли с ним по Ленинскому проспекту из школы, где вместе работали, к нашему общему другу. Он сказал мне: «Видишь — вдоль тротуаров колючая проволока?» Я не видел...

Вырвавшись из этой зоны, Толя уехал в Израиль. Но, как сказал глубоко им чтимый Ю. Марголин: «Израиль — не санаторий. Люди, приезжающие сюда в плохом настроении, рискуют найти много поводов для добавочных огорчений». Этим «добавочным огорчением» стали для Толи не экономические или бюрократические неурядицы в молодом государстве — он вообще был безразличен к внешним благам, — а отчаянное сознание еще большего отрыва от России, чем тот, что ощущался в Москве. «Для меня Израиль, — писал он мне, — самая лучшая из чужбин». С первого же дня жизни вне России он ощущал «ужас инопланетности, инобытия».

Он уехал из СССР, потому что знал, что в этой стране нет будущего для его сына: советская система не дает той альтернативы, на которой настаивает Артур Кестлер в «Иуде на перепутье». К тому же за правозащитную деятельность Толе грозила тюрьма.

Но отъезд из одной заграничной в другую казался ему кошмаром. Он писал мне: «Мне только 40 лет, всего лишь сорок, физически я здоров, как кабан, и моя заграничная командировка может — выговорить

чудовищно! — затянуться на десятилетия». А за сына он радовался: «Главное — он на своей почве, в своей стране, не изгой, не эмигрант».

Толя жил в стихии русского языка, русской поэзии и повторял вслед за Блоком: «Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня та же лирическая величина. На самом деле — ее нет...» В книге «Конец трагедии» он разъяснял: «Лирическая величина — величина производная от величины сущей». Сущностью для него была Россия как некая субстанция, не воспринимаемая чувственным опытом, но целиком определяющая опыт духовный. В эмиграции Толя стал терять ощущение важности этого опыта для мира и укрепляющей его силы для него самого, а потому (писал он мне) «здесь существование мое — противостоит».

Жизнь и гибель Толи Яacobсона — опровержение расистских толкований национальной сущности: в мистическом чувстве причастности к определенной нации никакой роли не играют ни кровь, ни предки по плоти. Анатолий Яacobсон — «лицо еврейской национальности» — был носителем лучших черт русской интеллигенции, и только русский — и никакой иной — дух цементировал его земную жизнь, был ее оправданием. Немецкий историк Берндт Энгельман в книге «Германия без евреев» первым, кажется, поставил вопрос не о том, как страдали лица еврейского происхождения при нацистах, но и о том, сколько потеряла сама Германия, лишившись верных своих сыновей, чьи предки были евреями. В книге Энгельмана приведены слова Курта Тухольского, «немца еврейского происхождения»: «Не только член правительства, облаченный в строгий сюртук, или почтенный ученый советник и господа и дамы из «Стального шлема» являются Германией. Мы тоже ее часть. Вы раззявите рты и орете: «Мы, только мы любим эту страну!». Но это неправда... С таким же правом мы, которые лучше пишем и говорим по-немецки, чем большинство националистических ослов, с таким же правом мы называем то, что владеет нашей душой: эти реки и леса, эти берега и эти дома, эти проселки и эти луга — это наша страна!.. Страна эта многолика. А мы — одна из ее частей. И при всех противоречиях стоит неколебимо, без знамен и фанфар, без сентиментальности и пылающего меча — наша тихая любовь к нашей Родине».

Для городского жителя Толи Яacobсона, возможно, не леса и проселки определяли Россию. Он был причастен к ней через ее мысль, ее искусство, ее поэзию.

В одной из своих лекций, намекая на наши с ним споры об отчуждаемости идей, он с гордостью говорил о толстовском учении, из которого, как ни старайся, не сделаешь бандитских выводов, весьма возможных при оперировании некоторыми западными «прогрессивными» идеями: «Среди присяжных толстовцев было немало позеров и святош. Но среди них не было ни одного палача, ни одного убийцы. И не могло



быть! Толстовское учение нельзя обратить в сторону насилия, как его ни крути. В этом направлении идея неотчуждаема: никакой хунвейбин не в состоянии превратить ее в инструмент своей политики».

Русская религиозная философия казалась ему высочайшим в истории человечества открытием смысла жизни и сущности человека. Убить русскую религиозную этику — убить Россию. Убийцами Толя видел тех, кто руководствовался «идеями» классового гуманизма. Анализируя стихотворение Марины Цветаевой «Ох, грибок ты мой, грибочек», Толя говорит: «Это было то, что сейчас принято у нас уничижительно называть «абстрактным гуманизмом», хотя это как раз самый конкретный гуманизм, направленный непосредственно на человека... Сейчас, после того, как красные убили больше красных, чем белых, и больше, чем белые убили красных, это стихотворение Цветаевой читается другими глазами».

В блестящей лекции о романтической идеологии, читанной им в Москве и позже опубликованной в книге «Конец трагедии», Толя высказал, возможно, главную свою боль — боль по убиенной русской гуманистической идее.

Это была одна из лекций, которые он читал ученикам одной московской физико-математической школы. Раз в две недели после уроков актовый зал школы наполнялся старшеклассниками: они шли не на очередное «мероприятие», куда обычно нужно загонять силком, — они стекались, как первые христиане в катакомбы, к скрываемой и преследуемой вере. Шли с родителями, соседями, знакомыми. Для Толи Яacobсона это были, по его признанию, счастливейшие минуты его жизни, минуты раскованной правды, пира искренности, праведного гнева, убийственного юмора, высокой поэзии. Создавалась иллюзия, что мы перенесены в Россию Серебряного века: те же проблемы, те же чувствования, те же поэты. Толя читал о Блоке, об Анненском, о Пастернаке, о Маяковском, о Есенине, о Цветаевой, об Ахматовой. Ему удавалось то, что удается не каждому литературоведу, — сочетать адекватность, тончайший анализ структуры поэтического текста, без привнесения в него литературоведческих домыслов, с раскрытием своей души, души исследователя, читателя, современника (это свойство присуще и опубликованным в СССР переводам Яacobсона из Эрнандеса.) Слушатели даже не понимали, чем они так захвачены: поэзией, о которой шла речь, личностью человека на сцене или счастьем прикосновения к русской правде.

В лекции о романтической идеологии Толя Яacobсон говорил о совести, об ответственности каждого человека только перед собой. Подчинение чужой воле — шаг к преступлению перед человечеством: «Это называется отчуждением личности — когда человек отрешается

от собственного «я» и действует, заражаясь, заряжаясь чьей-то волей; передоверяя свою совесть и свой разум какой-то высшей силе, какому-то верховному закону, как его ни назови. Я говорю «передоверить», потому что индивидуальная совесть, индивидуальный разум доверены каждому из нас самой природой». И это говорилось людям, которые вот сейчас, направляясь на эту лекцию, читали на огромном плакате, протянутом через весь Ленинский проспект: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи»! Это открыто говорилось в то время, когда люди шептались по углам о процессе Даниэля и Синявского, когда еще слышалось эхо от монолитного воя людей вслед травмированному Пастернаку, когда Солженицын своим письмом IV съезду советских писателей пытался напомнить об этике писателя русского. Толя Якобсон говорил о распаде личности у тех, кто не умел быть самим собой, о персонализме: «...художнику, мыслителю полезно бывает не идти в ногу со всеми, не маршировать в едином строю, а посмотреть на это шествие откуда-нибудь сверху или хотя бы со стороны... Со стороны в то же самое время — начиная с 17 года — раздавались голоса, которые плохо доходили до слуха современников, шагающих стройными колоннами по столбовой дороге прогресса».

Толя не просто излагал философии. Он взывал как трибун, убеждал как учитель.

Было в нем что-то от Маяковского «Облака в штанах», «Флейты-по-звоночника» и «Про это»: то же несоответствие между обликом бойца, «агитатора, горлана, главаря» и проповедью индивидуализма, та же склонность к ерничеству, сочетающемуся с рафинированным вкусом и полным отсутствием пошлости, тот же полемический азарт, та же внешняя самоуверенность, скрывающая бытовую неприкаянность и повышенную ранимость, ... те же мысли о «точке пули в самом конце».

Но, в отличие от Маяковского, он был борцом против борцов, агитатором против агитаторов, главарем тех, кто ненавидел всяких главарей. И в лекции своей об идеологии романтизма он показал, что у тех, у кого Маяковский призывал учиться делать жизнь, можно научиться делать только смерть. «Во весь голос» издевался Толя Якобсон над теми, кто пришел в Россию из коммунистического далека. Этот человек из будущего оказался «существом без имени. Безыменским». А на обсуждении в толстовском литературном музее в Москве моей книги о «Войне и мире» Толя, в частности, сказал: «Кое-кто полагает, что «Война и мир» была бы еще совершеннее, если бы Толстого осенила социал-демократическая благодать» (всем было ясно, кого имеет Толя в виду). Советских критиков и литературоведов, которые слишком заботились о борцовской направленности литературы, он называл «китайцами», разумея, конечно, Китай коммунистических хунвейби-

нов. В книге о Блоке он замечает, что различие между строго придерживающимися генеральной линии и уклонистами не столь уж велико. «Отличие питекантропской генеральной линии от ее синантропской разновидности — чутошное».

Он разделял недоверие многих сегодняшних интеллигентов к политике. То, что он делал на лекциях, то, о чем писал, не было политикой: «Когда государство расправляется с людьми — это политика. Когда человек хочет препятствовать этой расправе — это не политика» (из книги «Конец трагедии»).

Толя не принимал компромиссов со словом, с мыслью. Может быть, поэтому он был нелегко в общении с теми, кто на такой компромисс более или менее охотно шел. В предисловии к «Концу трагедии» он писал: «...я смолodu ориентировался на те представления о человеческом достоинстве и о профессиональной чести, без которых всякое литературное дело есть ложь». А жил он в том мире, где допускалось говорить правду в лучшем случае в обмен на некоторые уступки в пользу лжи. В школе, где он преподавал историю и русскую литературу, ему разрешалось говорить без оглядки, но ставилось условием... считаться с обстоятельствами. Он искренне соглашался, но как только доходило до дела, срывался в... полную правду. Однажды после уроков в день очередной Толиной лекции должна была состояться дискуссия об эстетической теории Чернышевского. Мы договорились с Толей, что после его разгромного анализа этого псевдофилософского примитива, лежащего в основе русской материалистической эстетики, выступит один из коллег-словесников в качестве оппонента: надо было, чтобы «там» увидели, что был «дан отпор»: мы все дорожили школой, в которой, в частности, сам Толя мог работать относительно свободно. Толя, по видимости, с полным пониманием отнесся к этой идее. Но когда его оппонент начал (весьма неубедительно) доказывать то, во что сам не очень верил (и Толя это знал!), Якобсон не выдержал: сидя среди слушателей, он сначала застонал (на весь зал), потом стал выстреливать остротами, но в конце концов...ворвался на сцену и, как это часто с ним бывало в минуты полной растерянности от чего-то крайне абсурдного, схватил себя за волосы, заметался и, заикаясь от гнева, довел разгром материалистической эстетики, а заодно и ее незадачливого защитника, до беспощадного финала.

Он был страстен и неуправляем.

Он принял участие в составлении первых «Хроник» как раз потому, что был, как говаривали в старину, «консеквентен». Он не смог бы стать подпольщиком — его натура была для этого слишком экстравертна. Он был открыт для всех, ничего не умел скрывать, если это касалось того, чего никак нельзя было скрывать. Ему глубоко противна была толпа

с ее «пошлым опытом, умом глупцов», с ее хамством и склонностью к коллективному насилию. И это вовсе не потому, что он был труслив или слаб физически. Мне рассказывал один наш общий друг, как Толя уложил коротким хуком на платформу одного из закавказских вокзалов человека, назвавшего кого-то «жидовская морда». В работе о Блоке он говорит о трагизме надежд великого поэта на то, что «в огне революции чернь преобразится в народ»: после революции «надежде и вере пришел конец... Чернь осталась чернью, хамство — хамством. Поэт погиб». Одним из самых ярких проявлений хамства Толя считал идею насилия, эту, по мнению марксистов, «повивальную бабку истории». Он выступал против той части русских интеллигентов, которые «посмели отринуть (пусть только в мышлении) завет своих предков, духовных и кровных, и прельстились мракобесием, поверив, что бывает на свете «возвышенное злодеяние» (Ницше)». Он напоминал: «Если мы не одичали вконец, то это потому, что духовная атмосфера, нравственный климат нашей эпохи созданы не только фюрерами всякого рода, но — в большей мере — Львом Николаевичем Толстым». Благодаря Толе Якобсону и поныне весьма чтимые поэты 20-х годов: Э. Багрицкий, М. Голодный, Н. Тихонов — войдут в будущую историю советской литературы не как этакие певцы народной свободы, а как барды насилия, поэтические выразители фашистской и империалистической этики (см. его работу «О романической идеологии»).

Были у него слова, особенно ему дорогие: гуманизм, либерализм, интеллигенция, цивилизация. Покушаясь на них, говорил он, «неизбежно покушаешься на человечность, свободу, духовность».

Он очень всерьез относился ко всему тому, что было связано с утверждением этих понятий.

Толя Якобсон был вполне ренессансным человеком, и полнота его плотских потребностей ничуть не ограничивала взрывов его духовных сил. Он брезгливо относился ко всякой половинчатости, требовал от людей безоглядной погруженности в мысль, в страсть. Я помню, как он чуть было не вышвырнул из класса ученика, который во время урока о французской революции был недостаточно внимателен: «Как ты смеешь смотреть в окно, когда мы говорим о Дантоне!». Он нервно морщился, вскакивал и начинал метаться по классу, когда ученик допускал небрежную формулировку, безответственное высказывание о самых значительных вещах. Возраст собеседника не мог служить оправдывающим обстоятельством: Толя возмущался невежеством ученика восьмого класса с той же нетерпимостью, как и невежеством учителя. Ученики никогда не обижались на него, и я часто видел на лице обруганного Толей школьника выражение своего рода гордости за то, что он был обруган на таком высоком уровне. Учитель Якобсон не ста-

вил никаких оценок, кроме «5» и «2». Подчас он не замечал, что «пятерку» ставил не отвечающему ученику, а себе: бывало, ученик изрекал поразившую Толю мысль и замолкал, не зная, как ее раскрыть, а Толя, метнувшись со своего учительского места, на целый урок разражался блистательной лекцией, в которой развивал тезис, вряд ли столь глубоко осмысленный самим учеником, получавшим как соавтор все же высший балл.

На его уроках истории прошлое, настоящее и будущее спрессовывались так прочно, что совершенно отчетливо переходили одно в другое. Когда Толя говорил об опричнине или коллективизации, слушатели знали, что речь идет о сегодняшнем и будущем России. Причем никогда он не занимался дешевыми аллюзиями: он был весьма строг при оперировании историческими фактами.

Рядом с огромным чудом Солженицына чудо таких людей, как Толя Якобсон, подобно подлеску у корней могучего дуба, выросшего на бесплодной земле. Толя писал в своей книге «Конец трагедии» [в работе «О романтической идеологии»]: «Когда явился Солженицын и спас честь русской литературы, его явление было как чудо. Оно было более изумительно, чем явление таких гениев, как Мандельштам и Пастернак, потому что эти двое сформировались на почве, из которой росли большие деревья, и сами вымахали до небес. Не диво! Солженицын вырос на мертвой, выжженной земле, где и трава-то, казалось, не растет».<sup>3</sup>

На этой земле вырос и Толя Якобсон.

И, знать, не так уж безнадежно мертва эта земля.

Учитель не умирает весь. То, что дал Толя всем, кто его слышал и умел слушать, останется в людях. В них будет жить его духовное завещание: «жить и беречь, как зеницу ока, последнюю человеческую свободу: свободу творческого духа, основание которой — *свободная совесть*. Эта свобода — последняя; она — высшая из всех свобод, потому что соприродна душе человека; и еще потому она последняя и высшая, что человек, даже потеряв все остальные свободы, не может расстаться с ней (расстаться с совестью), оставаясь человеком» (из работы о Блоке).

<sup>1</sup> Герман Наумович Фейн (литературный псевдоним Герман Андреев) (р. 1928), литературовед, культуролог, публицист. Преподавал русский язык и литературу в школах Ялты и Москвы. Завуч Второй школы и учитель литературы 1966–71. Несколько лет вёл по московскому телевидению учебную программу по литературе. По его сценарию был снят учебный фильм «Ясная Поляна в жизни и творчестве Толстого». После эмиграции (1975) в течение 25 лет преподавал русскую литературу и российское страноведение (история, философия, искусство) в университетах

Гейдельберга, Мангейма и Майнца (Германия), профессор, был постоянным автором парижской газетой «Русская мысль», русской службы радио «Немецкая волна», журналов «Континент» и «Страна и мир», а после 1991 года — «Новый мир», «Открытая политика», газеты «Сегодня». Написал книги «Zwei Gesichter Russlands» («Два лика России», на немецком языке), «Чему учил граф Лев Толстой» (2004), «Идеи либеральной интеллигенции в творениях русских писателей первой половины XIX века» (2004). Имеет более 200 публикаций в России и за рубежом. Один из основателей (в 1978) Летнего русского университета им. А. Сахарова в Германии. *Источник:* «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956–1983 гг. Составители Георгий Ефремов, Александр Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с. (Прим. А. Зарецкого).

<sup>2</sup> Опубликовано: «Континент», 1979, № 20, с. 358-367.

<sup>3</sup> А. Якобсон. О романтической идеологии. В книге «Конец трагедии», Нью-Йорк.: Издательство им. Чехова, 1973.–237 с.

**Владимир Гершуни<sup>1</sup>**

## **Не стало Толи Яковсона...<sup>2</sup>**

Общепринятое некрологическое многоточие изображает, должно быть, следы на цыпочках ушедших слов — наследили на мраморе — благоговейно, гуськом.

...Мне хочется, однако, нарушить эту склепную тишину.

*В. Набоков*

Десять лет назад я жил у Яковсонов в Зюзине, скрываясь от моей милиции, напуганной судебным разоблачением, поскольку была причастна к подлогам и лжесвидетельствам заводской администрации, уволившей меня с волчьим билетом в честь 50-летия Октября и по указанию КГБ. Вскрытые в судебном разбирательстве по предъявленному мной иску, эти подлоги послужили поводом для частного определения, вынесенного судом в отношении администрации завода, где я до увольнения работал начальником смены. Знала ли судья А. Никишина, что руку заводского начальства направляет охранка? Думаю, что знала. Когда я спросил М. П. Устинову — ищейку из спецчасти завода — откуда ей стало известно о моем прошлом лагерном сроке и о характере моего тогдашнего дела, о котором она просветительствовала по всему заводу, — Никишина с отчетливо-понимающей ухмылкой остановила меня: «Снимаю вопрос!» В ее мрачно-веселой мине я прочел: «Не занимайтесь ерундой, держитесь вашей главной цели».

Судья активно и демонстративно держала мою сторону, и это не было для меня так уж неожиданно. В подготовительные месяцы она сначала отнеслась неприязненно к моей бороде, к берету и портфелю, к моей небрежной речи, полагая, что имеет дело с нудным интеллигентным сутягой, коему трудно где-либо ужиться из-за повышенных претензий к жизни и к окружающим, из-за завышенной оценки собственной персоны и заниженной оценки прочих персон, — вечно правый и возмущенный Паниковский: «Жалкие, ничтожные люди!» Потом, когда она потребовала у меня трудовую книжку и просмотрела ее, я опасался нового всплеска недовольства, т. к. у меня уже кончался вкладыш отметок о многократно менявшихся местах работы, — было достаточно, чтобы подтвердилась, предполагаемая мной, ее догадка о вечной неуживчивости и недовольстве всем и вся. Это чудилось во мне и другим, даже порой хорошим знакомым, и я уже был опытен в том, как иные бывают уверены, что понимают нас лучше нас самих

и уверяют, например, что мы мнительны или наивны или занимаемся пустяками... И сами мы, конечно, не понимаем этого, не знаем, что для нас пустяки, а что важно.

Я не уйду в сторону и не пишу воспоминаний о себе — я рассказываю о Толе, хоть и начинаю издаleка. Он не был из таких, которые знают лучше нас, кто мы такие и что нам следует делать, как поступать. И, кстати, не возмущался, когда опека и самонадеянное рецензирование чужой психологии затрагивали его самого. Снисходительнее Толи и Гриши Подъяпольского я не знал никого. Я еще подумал однажды, что Пушкину такая безмятежность в межчеловеческих передрагах так была бы кстати. Многие, наверное, читали о его отношениях с друзьями — с Вяземским, например, и о предостережениях последнего относительно возможности недоброго исхода их дружбы, если не обуздать раздражительного упорства, которым Пушкин встречал любой совет или заботу о его благополучии.

...Итак, Никишина, к моему удивлению, сказала: «У вас хорошая книжка. Не убирайте далеко, на суде может пригодиться». Верно, ей было приятно избавиться от собственной ошибки в первоначальной и приблизительной своей рецензии — психологической и социальной. Все записи, кроме последней, говорили обо мне как о клейменном пролетарии — каменщике, слесаре, — как о ком угодно, только не Паниковском. Я замечал, что избавление от подобных заблуждений вызывает в честных людях стремление наверстать упущенное — выдать побольше теплоты, симпатий тому, кого по неведению до сих пор третировали. Положим, истинная честность не допускает заданных или интуитивных антипатий, но наш уродливый режим десятилетиями все ставил с ног на голову, переставляя плюсы и минусы, и не только понятия и представления, а и многие ощущения, даже инстинкты, смещались.... Да уж лучше, когда не безнадежно смещаются, когда люди еще способны спохватиться, смутиться, устыдиться. Иногда и в этом возвратном сознании и чувстве уходят в крайность, особенно те, которых принято называть «русскими натурами». Но Никишина не ударила в излишества совестливости — ни внешне, ни скрыто. Это была сдержанная женщина примерно моих лет. Ее неприязнь не выявлялась через, и столь же спокойными были ее досада при сознании ошибки и последовавшая за этим доброжелательность, которая еще не обязательно должна была означать готовность пойти наперекор КГБ. Во всяком случае, я на это не надеялся, и пришел в суд с Леной К.<sup>3</sup>, чтобы было кому (в недобром случае) рассказать о суде и отдать Майе, Толиной жене, чемодан для П. Литвинова с пятью экземплярами его «Белой книги», только что полученными с машинки.

Больше никто из наших в суд не пришел. Был рабочий день, да и свободным всегда недосуг, а иным просто не хотелось наблюдать



в течение нескольких часов мое погружение на дно — другого исхода не ожидали, и я не ожидал. Одна знакомая все упрашивала бросить эту тяжбу — каменщиком-то можно устроиться с любым волчьим билетом. Предвидя крах, я все же решил не отступить.

Дело я выиграл триумфально, один, без адвоката — только благодаря своим напряженным пятимесячным усилиям и безупречной принципиальности судьи Никишиной. Был у меня, впрочем, все эти месяцы добрый советчик и друг Илья Зильберберг. Позаботился и Григорий Померанц — помог мне поступить на работу в то самое время, когда я был не только обладателем волчьего документа, а был еще и разыскиваем милицией. Он также свел меня с одной своей знакомой, а та устроила безочередной вход в высшую юридическую консультацию профсоюзного Олимпа, где старались меня просветить и натаскать, но все преподаваемое знал я назубок, ибо времени для юридической подготовки было в избытке.

А морально я не был подготовлен к столь громовой победе, она меня ошеломила. Возмущенные заводские вельможи с их юрисконсультотом галдящим клубком вывалились из зала, забыв на столе секретаря пачку своих повесток. Было радостно не столько от победы, сколько от нового подтверждения нашей уверенности, что Россия жива, что ее и в XX веке не удалось прикончить катом с метлами и собачьими головами.

Я не забуду Никишину, как не забуду ту заплаканную старую женщину на платформе станции Торбеево у столыпинского вагона, 25 июня 1960 года, которая, хоть и без имени, стала известна в нынешнем десятилетии во всем мире — после появления «Записок Сологдина» и последнего тома «Архипелага ГУЛаг». Это были единственные виденные мной слезы, посвященные заключенным, — единственные за 40 лет тюрем, но мне их хватило, чтобы Россия наполнила меня своим трагическим великодушием, уберегла от отчаяния, пустоты, слабодушия, от компромиссов и союзов с подлецами, с сильными и снисходительными врагами или с двоедушными доброжелателями.

Я все ломаю голову: если б оказался я на Западе, как бы мне вспоминались эти две женщины — неизвестная по имени, увиденная через решетку вагонного окна, и Никишина, не расставшаяся с честью даже в судейском звании, — при таком-то режиме! Когда я проникаюсь ощущением воображаемого расстояния между ними и мной, мне кажется, что я понимаю все, происходившее с Толей все пять лет его жизни без России.

Опять вспоминается прошлогодняя передача «Голоса Америки» 7 и 8 ноября — программа под названием «Русский Париж». Наглые, но не назвавшиеся себялюбцы заявляли, что сейчас «быть патриотом — значит уехать» (цитата точная). Этих анонимных патриотов я сравни-

ваю сегодня с Анатолием Якобсоном, и мне стыдно, что с теми парижанами я был когда-то знаком, может быть, и дружен.

\* \* \*

Итак, я жил у него в 1968 году перед тем, как сбежать от милиции и охраны еще дальше — в тайгу, победа в суде вышла мне боком, испуганные проходимцы в форме и в штатском утроили свои усилия и плутни. (После тайги опять пришлось мне устроиться каменщиком и быть им до ареста 1969 года). Мы были с ним знакомы уже 12 лет, но только в месяцы совместного проживания узнал я его близко. Ссорились за 12 лет только раз. Плохо помню, как это ухитрился я с ним повздорить — другим тем более трудно такое вообразить, зная его широко распахнутую и буйную доброту. Это был общий любимец, дитя успеха. Это был физический, интеллектуальный и духовный атлет. Среди щедро одаренных натур он был одним из немногих, замеченных мной, которые словно стыдятся своего природного богатства, будто при его распределении им досталось лишнее за счет других, недодаренных. Слово преследуемый этой безвинной виной, он пребывал в постоянной готовности искупить ее, расплачиваясь со всеми — как бы отдавая долги, тем более тяжкие, что никто впрямую не просил, размеры их были неведомы, и этот вечный должник метался, не знал — для кого больше стараться. Он был непозволительно прост, не понимал, что рядом с ним были не только единомышленники, одержимые единой для нас страстью человеколюбия, свободолюбия, ненавистью к угнетателям и тартюфам от разных идеологий и религий. Он дорожил, как и все мы, ранними иллюзиями, но он — дольше всех, и в 36 лет еще не имел права сказать: «Исчезли юные забавы...» Он упорно не замечал возле себя двоедушия и темных помыслов честолюбцев, а они эксплуатировали его душевную щедрость, безотказность, привязанность. Для них наше опасное и правое дело было раздольным полигоном, где можно дать разбег кипящим амбициям, катализируемым соблазнами легко достижимой популярности. Таким популярен никогда не бывает в тягость! И такие вождельно липнут к простодушным богатырям, расточающим на всех свои интеллектуальные и душевные сокровища.

У нас накопился уже нелегкий опыт, оплаченный баснословной ценой, но сколько еще до этого опыта дозревает наивных или просто недалеких: их сбивает с толку риск, явность которого отвлекает простодушные и восторженные взгляды инакомыслящих от помыслов, скрытых за этим риском. Сколько их, рискованных и красовавшихся собой, свалилось с коней! Им подай опасности лишь в таком-то количестве и такого-то качества, и лишь на столько-то времени, и при непременно условии, чтобы на самом высоком зрелищном уровне — с афи-

шей и аншлагом, да с оплатой по высшему тарифу! Им подай тюрьму на годик-другой — только отметиться! На дольше не согласны. Только попозировать перед миром из-за решетки. А когда тюрьма отверзнет им многолетнюю зияющую перспективу, у них начинаются душевные оползни... А какое движение убереглось от них? Было бы хоть одно большое дело, в которое бы они не сумели втереться? Хвала еще небу, что нам их досталось немного, и эти глисты не успели пока высосать наш моральный организм.

Нарциссы, не успевшие еще расцвести, ни даже раскрыться в телепокаянном ворковании или в застенчивой публицистике «Лит. газеты», бегут заранее, ибо знают, что после телевизионных и газетных упражнений невыносимо будет одиночество, вернее — отсутствие аудитории, страшно будет ожидание внезапных встреч с недавними товарищами где-нибудь в метро, на улице, у общих знакомых, чья застенчивая и растерянная снисходительность кого-то из павших нарциссов устраивает, хоть и не в той мере, в какой устраивала восторженная аудитория, а кого-то из них такая застенчивость казнит свирепее карцеров и сульфазина.

Толя и к таким бывал снисходителен — словно совестно было ему, что он так силен, а они так слабы, и словно была в этом и его вина.

Самого-то его и тянуло в тюрьму, и не тянуло. Жена сидела, тесть сидел (Александра Петровича Улановского я свел с Исаичем, и вроде был от их знакомства толк), друзей и знакомых сидело несчетно, и Толя среди них чувствовал себя порой каким-то салажонком. Помню, сокрушался, что один сноб все напоминал ему об этом, использовал даже свою былую отсидку как аргумент в спорах. «А мне и сказать нечего», — сетовал Толя, плохо скрывая неуверенное возмущение.

Не спешил он, однако. Не берегся, а и не спешил с самым этим желанием, и кулаки удерживал иногда чуть не зубами. Садисься, и сколько из-за тебя хлопот, суеты, мытарств. А его застенчивость, боязнь излишка внимания к себе были какой-то патологией — и так уж должник всех на свете, а там и вовсе изойти благодарностью, преданностью, любовью к человеческому роду. Эта любовь оказалась властной вымогать у него слезы — я наблюдал их несколько раз: например, когда читал он вслух последнее слово Кости Бабицкого, комментируя, как человек, гуманист, попав в яму к зверям, пытается еще хоть в чем-то их вразумить. Затем — в Орловском центре, после 20-минутного свидания, когда расставались. «Ну и нервы у тебя!» — прикидывался я, как мог, невозмутимым, чтобы ему было легче. Он успел объяснить, уходя, что это не «нервы», это из-за бессилия — из-за того, что он уезжает, а я остаюсь. Потом в письме все это растолковал мне подробнее и добавил, что я могу за него быть спокоен, если и он окажется взаперти. Будто б я сомневался!

Да, в эмоциональной организованности ему далеко было до Никишиной. Здоровяк, оптимист, непоседа, обладатель крепкого и стройного тела, стальных бицепсов, густой непослушной шевелюры, совершенно открытого лица — доброго, застенчивого и мужественного, временами он повергал себя в бешеную пучину чувствований, пафоса и едва справлялся со своей неистовой холерической озаренностью, и при этом — неизменно ясная голова, удивительное ораторское искусство, не нарушаемое даже взрывами эмоциональной хаотичности. У него был редчайший для нашего времени дар координации усилий души и интеллекта — свойство великих людей. Борющаяся Россия, ее Соппротивление никогда не были бедны замечательными людьми. Не жалуемся и сегодня. Такие люди, как Г. Подъяпольский, А. Костерин, Ю. Галансков, В. Никольский, А. Якобсон (всех не называю, даже ушедших) — необходимый и естественный противовес тем разрушителям, коих я сравнил с глистами, а их тоже хватало в прежние времена, так что ныне они нам не больший укор, чем Майборода — декабристам, Азеф — эсерам или Иуда — всему двухтысячелетнему христианству.

Первопроходец свободы, отмеченный на титульном листе истории демократического движения в России, ушел из жизни собственной волей. В годы созидания «Путешествия...» он уже предвидел для себя вероятность такой участи (знал же, на какое идет он «чудище» и самым эпиграфом словно объявлял ему: «Иду на вы»). Он писал: «Если добродетели твоей убежища на земле не останется, если доведенну до крайности не будет тебе покрова от угнетения, тогда вспомни, что ты человек, вспомни величество твое... — Умри». Радищев погиб воином в неравном бою.

Анатолий Якобсон погиб в неравном мире. Вернее, в неравном, скрытом сражении, ведущемся не по правилам — одиноким честным воином.

До выезда из России он не знал ни больших бед, ни тюрьмы (кажется, и я его этим попрекнул, как тот «сноб»), и поэтому не понимал многого, что необходимо понимать, живя во времена воинственного ханжества, когда каждый Яго становится явным лишь тогда, когда уже поздно, когда его нож уже в твоей спине. Обмороченный неизменным успехом, он не получил необходимой закалки. Могучий боец, он не выработал в себе реакции на двоедушие мнимых друзей, не замечал его подолгу, так как знал о нем лишь теоретически. Когда же, начиная с 1973 года, ему довелось уже встречаться с двоедушием лицом к лицу, тогда было уж недосуг во всем этом разобраться — он уезжал. И уехал смятенный, незащищенный, уже познав душевный озноб...

«Моцартовский характер», — сказал он как-то об одном своем друге. Я так воспринимал и самого Толю. Что делать моцартовским на-

турам в наше немоцартовское время, обильное Собакевичами и Яго, не ведающими комплексов и нравственных передряг?

\* \* \*

Ночь на 30-е апреля 1969 года я провел у Толи в Зюзине (опять пришлось скрываться), сидя над спидолой. Именно в эти сутки впервые дошла весть о появлении на книжных прилавках Европы и Штатов книги А. Марченко, и в этой же передаче — об угрозе нового срока для него. Толи дома не было. Утром он ворвался в квартиру, взбудоражив ее яacobсоновским темпераментом. В руках книга. Раскрыл ее, прочел надпись, показал мне: «Анатолию Александровичу Якобсону с восхищением и завистью. Корней Чуковский. 30 апреля 1969 г.» Был день его рождения. Значит, старик, с которым он тогда еще не был знаком, узнал заранее и дату, и отчество, и снарядил в это утро посыльного, молодого человека, встретившего Толю у подъезда, для вручения подарка (он отказался от приглашения зайти).

Надпись Корнея Ивановича была откликом на появившуюся тогда в самиздате Толину работу «О романтической идеологии». Она давно уж известна, как и «Конец трагедии», а о стихах Якобсона знают немногие. Его стихи высоко ценила Ахматова, и на книге своей надписала ему: «Анатолию Якобсону за его стихи». Сам же он, в отличие от демократических, православных и прочих нарциссов, влюбленных в каждую свою строчку, не признавал свои стихи достойными обнародования, и я не уверен даже, что он многое записывал — продиктует, когда попросишь, пошлет раз в год в письме. Я помню много его стихов, поэму, от которой — мурашки по коже. Записано ли все это хоть вчерне?

На память я знаю только два его стихотворения. По ним и судите о нашем Толе — кто не знал его до 1973 года.

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Жаль мне тех, кто умирает дома.

Счастье тем, кто умирает в поле.

*Д. Самойлов*

Страх в бою извечен и понятен.  
Он, как смерть, гнездится где-то рядом.  
На душе он не оставит пятен,  
И в крови он растворится ядом.  
Головешкой в голове не тлея,  
Он по жилам пробежит, как искра;  
Человек дрожит, но не подлеет,  
Страх немого крика, но не визга.

С ним беседовали молча. Точку  
Ставили. Вставали с автоматом.  
Но не сетовали шепоточком  
На судьбу, и не в подушку — матом.

Смерть в бою сработает мгновенно —  
Молнией, несущей ослепленье.  
Или — медленные муки тлена,  
Запах тлена, но не смрад растленья.

Не пугает смертная истома,  
Если горшие увидел боли.  
Жаль мне тех, кто умирает дома,  
Счастье тем, кто погибает в поле.

### АННЕ АХМАТОВОЙ

Рука всевластная  
Судьбы Россию взвесила, как глыбу,  
И подняла — не на дыбы,  
Как Петр когда-то, а на дыбу.

И на весу гремят составы,  
Несутся годы-поезда...  
Отменная была езда!  
Мгла — впереди, и бездна — под,  
И от заставы до заставы  
Все вывернутые суставы,  
Да смертный хрип, да смертный пот.

Но извиваясь от удушья,  
Вручая крестной муке плоть,  
Россия, как велел Господь,  
В ту пору возлюбила душу.

Самой себе могилу рыть,  
Любые вынести глумленья,  
Но душу — спрятать, душу — скрыть,  
Спасти — живую — от растленья,  
Надежный отыскать сосуд,  
Чтоб в нем душа — как хлеб в котомке,  
А там какой угодно суд  
Пускай произнесут потомки.

В одной крови себя избыть,  
В одном дыханье претвориться,  
В наперснице своей судьбы,  
В сестре, избраннице, царице.

Найти такую и обречь  
На муки, и, святынь святей,  
Собою заслонив, сберечь  
От тысячи смертей.

<sup>1</sup> Гершуни Владимир Львович (18.03.1930, Москва — 19.09.1994, Москва). Племянник руководителя боевой организации эсеров Г. А. Гершуни. Во время учебы в институте был арестован за участие в молодежной антисталинской группе. Осужден на 10 лет лагерей. Срок отбывал в Степлаге, где познакомился с А. Солженицыным (в дальнейшем помогал ему в работе над «Архипелагом ГУЛАГ»). Освобожден в 1955. Вращался в литературных кругах, где познакомился с авторами самиздата и будущими диссидентами (Г. Померанцем, А. Якобсоном). В декабре 1965 принял участие в «митинге гласности» в защиту арестованных писателей А. Синявского и Ю. Даниэля. В 1969 подписал ряд правозащитных документов, в том числе поддержал первое письмо Инициативной группы по защите прав человека в СССР (20.05.1969). 18.10.1969 Г. был арестован. Обвинялся по ст. 190-1 УК РСФСР. В Бутырской тюрьме 55 дней держал голодовку, приуроченную к Дню защиты прав человека (с 08.12.1970 по 31.01.1971). Психиатрической экспертизой в Институте им. Сербского был признан невменяемым. Определением Московского городского суда от 13.03.1970 направлен на принудительное лечение в спецпсихбольницу. Содержался в Орловской СПБ (Орел) (декабрь 1970 — апрель 1974). Подвергался искусственному кормлению и медикаментозному воздействию. Феноменальная память позволила Г. зафиксировать множество сведений о врачах и других политических узниках Орловской спецпсихбольнице, эту информацию ему удалось сообщить П. Григоренко во время случайной встрече в Институте им. Сербского (опубликована в «Хронике текущих событий» (Вып. 19)). В 1974 освобождён. В 1976-1982 опубликовал под псевдонимом В. Львов более 200 материалов в московских газетах и журналах (статьи и заметки по фольклористике, лингвистике, книговедению, остроты и каламбуры). С начала 1978 Г. участвовал в сборе материалов для самиздатского литературно-публицистического журнала «Поиски», с № 3 (октябрь 1978) вошел в его редколлегию. Вел в журнале литературный раздел, помещал свои авангардистские стихи и публицистику. С 1978 — член Свободного междофессионального объединения трудящихся (СМОТ), в 1980-1982 — член редколлегии информационного бюллетеня СМОТ. В июле 1981 вошел в советскую секцию организации «Международная амнистия». Постоянно подвергался внесудебным преследованиям (домашние аресты, допросы, профилактические беседы). На время Московской Олимпиады (июль — август 1980) был помещен в психиатрическую больницу. В третий раз арестован 17.06.1982. Ему было предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР, инкриминировалось участие в издании информационного бюллетеня СМОТ. Мосгорсуд определением от 12.04.1983

направил Г. в спецпсихбольницу. Содержался в спецпсихбольнице в Благоевщенске, затем в г. Талгар Алма-Атинской области (до декабря 1987). После освобождения занимался восстановлением памяти о забытых и репрессированных писателях и поэтах. Был постоянным сотрудником газеты «Экспресс-Хроника», участвовал в литературной жизни Москвы, занимался лингвистикой (подготовил антологию «Русский мат»). Классик палиндромии. Похоронен на Востряковском кладбище. Источник: Паповян Е. М. Писатели-диссиденты: библиографические статьи. НЛО 2004, № 66 (прим. А. Зарецкого).

- <sup>2</sup> Опубликовано в свободном московском журнале «Поиски» 1980, № 2, с. 140-148. Журнал издавался в Нью-Йорке в 1979–1983 гг. издательством «Детинец».
- <sup>3</sup> Идентифицировать «Лену К.» пока не удалось.



*Юрий Гастев*<sup>1</sup>

## **Красив да умен...**<sup>2</sup>

Кто не знает пословицы «Красив да умен — два угодя в нем!». В погибшем шесть лет назад в Иерусалиме всеобщем московском любимце Анатолии Якобсоне было, можно сказать, «двадцать два угодя» — и, прежде всего, он действительно был красив, в самом простом, изначальном, всем понятном смысле этого слова. А ведь уже из этого, если разобраться, очень многое вытекает: не может по-настоящему красивый человек быть ни жадным, ни трусливым, ни злым, ни лживым, ни двоедушным. Не может, не имеет права, да просто не получится, если б и захотел — такова уж природа красоты (в отличие от заурядной смазливости).

А кроме того — я абсолютно убежден в этом — красивый человек не может быть бездарным: он, если хотите, просто вынужден быть талантливым. Одним словом, пословица наша — почти что тавтология, трюизм, и не подыскать к этому лучшей иллюстрации, чем наш покойный друг Толя Якобсон. Сила его блеска и обаяния (не берусь точно определить смысл этих слов, но когда качества эти налицо, двух мнений не бывает) была такова, что все прочее даже не бросалось в глаза, как бы подразумевалось: в него нельзя было не влюбиться с первого знакомства, с первого взгляда, с первого звука его прекрасного голоса — мужественного, нежного, доверительного... Такой был красивый, хороший человек, что влюблялись в него и продолжали любить совсем уже издали, заочно — право, даже рассказы и слухи о нем какие-то славные всегда были.

Ум у Толи Якобсона был простой и ясный: не склонный к изощренной казуистике, но в то же время устремленный к точному и недвусмысленному пониманию и употреблению любых, в том числе самых привычных и затертых, слов и выражений. Как-то на давнишних многолюдных проводах в Шереметьево (в те незапамятные времена, когда пускали еще на галерею, откуда видно было, как несчастный счастливец садится в аэрофлотовский автобус) на чей-то риторический вздох: «Ну и стукачей здесь, небось!...» — мгновенно отреагировал вполголоса его рокочущий, за сто метров слышный баритон: «Да что ты, откуда?! Скорее всего, ни одного — вот если бы ты, или, скажем, я пошел сейчас куда надо, ну, тогда, действительно, ничего не скажешь, «стукач»; но эти — брезгливо повел он локтем в сторону шагающих взад-вперед «топтунов» — на своей работе, они же зарплату получают, сачковать нельзя...». Говоря о «широко распахнутой и буйной доброте» Толи, его очень точно охарактеризовал Володя Гершуни, вспоми-

навший, как тот навещал его в орловской тюремной психушке (сейчас Володя снова в этом аду — кто же из уцелевших хоть как-то заменил бы ему друга): «Это был физический, интеллектуальный и духовный атлет. Среди щедро одаренных натур он был одним из немногих, словно бы стыдящихся своего духовного богатства, будто при его распределении им досталось лишнее за счет других, неодаренных. Словно преследуемый этой безвинной виной, он пребывал в постоянной готовности искупить ее, расплачиваясь со всеми — как бы отдавая долги, тем более тяжкие, что никто их впрямую не просил, размеры их были неведомы, и этот вечный должник метался, не зная, для кого больше стараться...» Вот уж верно найдено слово: «атлет», и кто же нам сегодня объяснит, почему только для себя самого у него в конце концов не хватило сил!... Толя «не успел» сесть в советскую тюрьму. В день знаменитой демонстрации на Красной площади 25 августа 68-го года его, как и многих разъехавшихся на лето друзей, не было еще в Москве, а следующей зимой он получил, как бы в насмешку, минимальное «наказание» за всю историю правозащитного движения — десять рублей штрафа «за мелкое хулиганство»: наступил на перечеркнутый портрет Сталина на антисталинской демонстрации на той же Красной площади 21 декабря, причем наступил нечаянно, — портрет предполагалось поднять навстречу ожидавшейся демонстрации оживающих сталинистов, но кто-то его уронил. Толя рассказывал об этом курьезе со смешной детской гордостью, почти нараспев... Да и вообще, когда разговор заходил о нем, он с удовольствием переводил его на шуточные рельсы, вместо своих стихов, например, все норовил прочесть губермановскую эпиграмму на самого себя, не совсем, быть может, приличную, зато остроумную:

Он мыслит вслух  
и любит тетей —  
бескрайний дух  
без крайней плоти...

Читая 11 лет назад этот мини-шедевр, Толя искренне и заразительно хохотал, но уже буквально сквозь слезы — да и было отчего.

В тот чудный, свежий подмосковный летний день нам было еще по-настоящему весело и хорошо, столько хороших людей собралось, старых друзей (страшно подумать, скольких уже нет), да и новых, чего один Юра Орлов стоит, небольшой такой, только рыжая шевелюра громадная, серьезный очень и кажется молчаливым, сразу видно, что человек прекрасный и замечательный, только объяснить такие вещи трудно, лучше раз самому взглянуть. Но какое же это невыносимое (хотя и удивительно светлое в то же время) веселье с друзьями перед нежеланным неотвратимым отъездом. И вовсе не потому

только неотвратимым, что Толин сын уже давно не мыслил жизни здесь и мечтал уехать — при всей своей поразительной «прикладной» начитанности (русская история, история Израиля и сопредельных государств, текущая политика и история дипломатии, не говоря уже, конечно, о всяческом самиздате и тамиздате) Саня вовсе не был таким «книжным» мальчиком — страстный, в отца, он буквально бредил тогда Израилем. К этому добавлялась еще какая-то неизлечимая болезнь почек, требовавшая строжайшей диеты (о чем всегда заботился беспечный и надежный отец), лекарства от таких болезней, как мы откуда-то твердо знали в течение десятилетий, только в Израиле и в Америке есть. (Похоже, что Саньку сразу же вылечил сам воздух его Страны, никаких признаков какой бы то ни было болезни у этого здоровяка в форме Армии Обороны Израиля — да и без формы — обнаружить сейчас решительно не удается).

Но и это все не было главным. Не так бы легко решил этот вопрос Толя, человек стиха и слова, нуждавшийся в русском языке как в воздухе, не мыслящий для себя никакого другого человеческого окружения, чем то, каким он был так благодарно богат (при всей своей громкости, он был безусловно скромнен — и как же признательно расцветали его глаза на непустую похвалу Ахматовой, Самойлова, Чуковских, да любого из нас). Весь ужас был в том, что Толя Якобсон попал тогда в органически всегда для него неприемлемое положение: он оказался в центре внимания, и добро бы только врагов, но ведь друзей! Когда в разгар печально знаменитого «Дела № 24», возбужденного КГБ против «Хроники текущих событий» (отдельные группы потом «выделялись» из этого дела, как ветки на прививку, а ствол все «жил» — несколько лет), уже после первых очных ставок с не устоявшими под нажимом следствия Якиром и Красиным комитет объявил, что за каждый новый выпуск будут арестовываться новые люди, — пусть вовсе и не обязательно ответственные за выпуск ближайших номеров, — первая реакция была, естественно, не поддаваться на шантаж. Но вот посадили Иру Белгородскую («мы свое слово держим», — любят говорить «чекисты»), и следующим был назван Якобсон; кроме Красина и Якира, к тому времени появились уже и показания Нади Емелькиной, печатавшей одиннадцатый и следующие номера сразу же после Толиной правки...

Писать историю «Хроники» и породивших ее идей и людей, конечно, рано: никто еще не объявлял о ее прекращении, а главное — лучшие ее силы, за немногими нерадостными исключениями, еще там, в нашей стране, и мало кто из них не в тюрьме, лагере или ссылке.

Можно лишь, увы, сказать об ушедших навсегда. Толина скромность имела, помимо прочего, вполне деловые основания: ведь после замечательного «изобретения» Наташи Горбаневской, выпустившей практически в одиночку первые десять номеров «Хроники», не кто иной,

как Анатолий Якобсон, сделал это издание тем, к чему мы настолько привыкли, что даже не считаем нужным специально отмечать, в полном смысле слова, опытом художественного исследования. Я вовсе не пытаюсь что-либо здесь утверждать о прямом влиянии «Архипелага ГУЛАГ» на «Хронику текущих событий», или наоборот. Создаваясь, по всем признакам, параллельно и независимо, оба эти замечательные явления современной русской культуры свидетельствуют о реализации если не тождественных, то очень близких идей и принципов нравственных, правовых и, безусловно, эстетических. Подобно общности структуры жанров гораздо более традиционных, сама, как говорят в механике и кибернетике, устойчивость жанра «Хроники» к непредвиденным и непредсказуемым изменениям ситуации демонстрирует исключительную важность формальных принципов организации ее как текста — но об этом интереснейшем явлении из области структурной поэтики надо, конечно, говорить подробнее, аргументированнее и на специальном уровне. Чтобы уследить за этим увлекательным, закономерным и необратимым становлением «Хроники» как нового, не репортажного, но и не протокольного, жанра, достаточно внимательно просмотреть ее выпуски включая № 17 — последний, вышедший «под литературной редакцией» Якобсона. В появившихся к лету 1974 года №№ 18-31 есть еще его рука, но вот подряд этой «рукою мастера» («маэстро» — чуть шутя и очень любовно называли его остальные) пройти их ему уже не пришлось — надо было уезжать, о чем «Хроника» внешне бесстрастно и сообщала. И как раз эта внешняя бесстрастность в очень большой степени заслуга человека страстного, как мало кто на свете, но обладавшего при том в высшей степени чувством вкуса и, если угодно, чувством жанра. Возможности, таимые этим, на вид столь простым и непритязательным, жанром, — как в связи с исходным, «материнским» изданием «Хроники», так с последующими его модификациями «оперативной» (бюллетени типа «Вести из СССР») и «летописной» (сборники «Память»), — требуют, повторяю, специального подробного анализа.

Сейчас же нам остается лишь поневоле кратко кончить рассказ об одном из создателей этого уникального издания. Участвовать в решении судьбы «Хроники» в 73 году Толя, естественно, не мог. Тем самым ведь решалась и его собственная судьба — в том, что он избран в очередные заложники, сомнений не оставалось. Сказать, что ему «не хотелось уезжать», — не сказать ничего: ему физически было невозможно ехать. Но так же физически нельзя было и оставаться — теперь, кроме сына, на его ответственности лежало и дальнейшее существование «Хроники» — находясь в Москве, да и в любом другом месте страны, он блокировал бы дальнейший ее выпуск. Никто из друзей никогда бы и не подумал упрекнуть Толю в этом — но он сам не мог

допустить умирания этого любимого детища нескольких отцов и матерей...

Вот так и уезжал из России Толя Якобсон, желая всех ободрить, смеясь, даря книги и холодильники, смеясь все сильнее и сильнее, — так, что трудно было не заплакать от этого смеха. «Держись, родной!» — только и слышалось от него. А потом, в редких, все более редких открытках вначале: «Мы еще увидимся на этой прекрасной земле», потом: «нет, нечего, видать, уже ждать», а мне вот совсем уже навзрыд написал: «заклинаю, не уезжай, если хоть как-то сможешь остаться» — а ведь не любил покойник пустых и жалких слов.

Бывало ему и хорошо за здешние пять лет, и очень плохо и одиноко. Перебирая рассказы общих друзей о последних днях, часах, телефонных звонках Толи, примеряя их к себе, вижу: его по-прежнему любили, и был он, когда в ударе, неотразим. И работалось тогда хорошо. Но видно — и отсюда через пять лет, и издалека — как безумно одинок бывал этот всеобщий любимец, «дитя успеха»: вот уж для кого «успех» никогда не был критерием счастья. Да и что толку в запоздалых диагнозах: нету с нами Толи Якобсона, одного из немногих, кто был, как яркий цветок.

Что же осталось от него? Немного: «Конец трагедии», книга о Блоке, мне дорогая, но легко могу представить, как может она утомить и раздрадовать привыкших к более спокойной аргументации. Там же, в приложении, прекрасная статья «О романтической идеологии» (трудно не позавидовать ученикам Второй московской школы, которым он когда-то прочитал ее в качестве «факультативной» лекции) — нынешнее официальное почвенничество Москвы и Ленинграда с удовольствием ее анонимно цитирует. Еще совсем немного прекрасных переводов — из Лорки, из других, две хороших статьи и целый чемодан рукописей, куча пленок иерусалимской поры — все это надо разобрать, работа немалая. На недоуменный вопрос одного западного человека, искренне пытавшегося понять, кем же был для всех нас Толя Якобсон, где его тексты, — мне пришлось не без растерянности развести руками. «А где тексты Сократа?», или «где запах розы, перешибленной вчера пулей?»

Сократ, как известно, живет в диалогах Платона. А аромат Толи Якобсона — в каждом из нас, кто любил и любит его... Да вот хоть в стихах его старшего друга-поэта Давида Самойлова:

Жаль мне тех, кто умирает дома,  
Счастье тем, кто умирает в поле...

И вот как отзывался на эти строки сам Толя Якобсон, вечный странник, в бесконечной поначалу юности — веселый, под конец — смертельно одинокий, жизнь не доживший, поля ее так и не перешедший, погибший посреди Святой Земли.

Страх в бою извечен и понятен.  
Он, как смерть, гнездится где-то рядом.  
На душе он не оставит пятен,  
И в крови он растворится ядом.

Головешкой в голове не тлея.  
Он по жилам пробежит, как искра;  
Человек дрожит, но не подлеет.  
Страх немного крика, но не визга...  
С ним беседовали молча. Точку  
Ставили. Вставали с автоматом.  
Но не сетовали шепоточком  
На судьбу, и не в подушку — матом.

Смерть в бою сработает мгновенно —  
Молнией, несущей ослепленье.  
Или — медленные муки тлена,  
Запах тлена, но не смрад растленья.

Не пугает смертная истома,  
Если горшие увидел боли.  
Жаль мне тех, кто умирает дома.  
Счастье тем, кто погибает в поле...

<sup>1</sup> Юрий Алексеевич Гастев (1928–1993) — математик, философ, мемуарист, общественный деятель. Узник сталинских лагерей (1945–1949). Участвовал в выпуске правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Подвергался административным преследованиям. В 1981 г. эмигрировал. Печатался в газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово». (Прим. В. Емельянова)

Утром 5 марта 1953 г. в очередном бюллетене о состоянии здоровья Сталина диктор Левитан сообщил, что у того «наступило Чейн-Стоксово дыхание». Широкие массы не знали, что этот термин, названный в честь двух шотландских врачей, означает скорое наступление клинической смерти. Врач, сосед Юры по туберкулезной палате в Прибалтике, где лечился в это время Гастев, услышав бюллетень, — «аж вскочил: Чейн-Стокс — парень исключительно надежный, ни разу еще не подвел. Пора сбегать!» Завмаг-эстонец не удивился раннему посетителю и лишь спросил: «Расфе уше?, — там какой-то тыкание...», но получив ответ: «Все в порядке!», вынес Юре 4 бутылки водки и не взял денег. Таким образом, обмывание генералиссимуса произошло за несколько часов до официального объявления о его смерти. Полюбившийся термин Ю. Гастев использовал в своей диссертации по математической логике, где не упоминались классики марксизма, но во вступлении, в числе лиц, которым автор выражал благодарность, были названы профессора Дж. Чейн и У. Стокс со ссылкой на вымышленную статью «The Breath of the Death marks the Rebirth of Spirit», «датированную» мартом 1953 года. (Прим. В. Гершовича)

<sup>2</sup> Опубликовано в еженедельной газете «Новый Американец», издававшейся Сергеем Довлатовым в 1980-85 гг., № 240 от 27 сентября 1984 г.

*Леонард Терновский*<sup>1</sup>

## **Жертвенный огонь**<sup>2</sup>

До боли родная смеющаяся рожа с копной взъерошенных волос смотрит на меня из-за стекла книжной полки...

Тебя давно нет на свете, но твои друзья до сих пор горюют о тебе. Нам не хватает твоего блестящего таланта, громогласия, общительности, спорщицкого напора с разящими полемическими выпадами, беззаветной любви к русской словесности, преданности друзьям и отважной жертвенности.

Сколько раз ты проходил краем бездны, дерзко бросая вызов уверенному в своей вседозволенности и безнаказанности державному хамству! Сколько раз ты мог подорваться на гремучих минных полях КГБ! — ты сам шёл на них из чувства чести и по долгу гражданственности. Но невредимо, словно заговорённый, избегнув гибельных опасностей дома, ты нелепо погиб на безопасной чужбине.

Когда впервые пересеклись наши пути?

...Кончался август 68-го. Только что с грохотом, оглушившим мир, наши танки вломились в братскую Чехословакию. И следом — тихим, но также разнёсшимся эхом — крохотная сидячая демонстрация на Красной площади, отвергающая и осуждающая это имперское насилие. Демонстранты, конечно, тотчас схвачены и брошены в тюрьму. Я всей душой сочувствую их благородному порыву. Но не бессмысленно ли их отчаянное и обречённое выступление? Ведь понимали же они, что чехов всё равно не спасут, а свою жизнь наверняка искалечат или погубят. И погубят впустую. Или всё-таки не впустую?

...В моих руках — листок бумаги. И слова, которые я вижу впервые, обжигают и впечатываются в память. Они так совпадают с моим внутренним настроением, что кажутся мне собственными мыслями:

«...семеро демонстрантов, безусловно, спасли честь советского народа». (Да, они совершили свой подвиг и за нас, за тех, кто не догадался, не осмелился, не смог.)

«Демонстрация 25 августа — явление не политической борьбы, (...) а явление борьбы НРАВСТВЕННОЙ». (Правильно. И решившись выйти на площадь, демонстранты уже победили. Они и в тюрьме, потеряв свободу, свободней любого из нас).

Публичный протест против произвола — новая «драгоценная традиция, начало освобождения людей от унижительного страха, от причастности к злу».

И призывом в конце листка — слова Герцена: «Начнём с того, чтобы освободить себя».



И подпись — имя, дотоле неизвестное мне: Анатолий Якобсон.

Толя. Тоша, как звали тебя друзья. Наш Тоша.

Я полюбил тебя сразу и навсегда, даже до нашего знакомства. И, ещё не познакомившись, — уже прощался с тобой. Ведь ясней ясного, что человеку, написавшему — и подписавшему! — ТОГДА такое письмо (сам Тоша называл его «листочкой»), недолго гулять на свободе.

...Впервые я увидел Тошу в октябре 68-го, в последний день процесса над демонстрантами. Я ещё не бывал на судах, и обстановка вокруг: толпящиеся у запертых дверей друзья подсудимых, их громкие разговоры под приглядом внимательно слушающих стукачей и дружинников, стоящие особняком иностранные корреспонденты с фото и кинокамерами, — всё это ещё было внове для меня. Я подошёл к кому-то из знакомых.

— Кого это там просвещает Якобсон? — услышал я чьи-то слова.

Якобсон? Он здесь?

— Да вот он.

Метрах в двадцати толпились несколько человек. Им что-то горячо доказывал парень с непокрытой взъерошенной головой. Говоря, он живо жестикулировал, так что полы его расстёгнутого плаща развевались по бокам. Выждав паузу, я подошёл к нему.

— Вы — Анатолий Якобсон?

Он обернулся.

— Да, я.

— Я читал ваше письмо, — я назваля и протянул руку. — Мне хотелось поблагодарить вас за него и пожелать всего самого доброго.

Спустя год я уже хорошо знаком с Тошей, звоню, встречаюсь, мы бываем друг у друга. Я знаю, что он педагог, историк и литератор, отставленный от преподавания в школе за «неблагонадёжность». Мы почти ровесники. Тоша на каких-нибудь полтора года младше меня. Зато гораздо старше по части гражданской активности: я в диссидентах совсем новичок, а Тоша заговорил свободно, в полный голос ещё в 66-м году, выступив с заявлением в защиту Ю. Даниэля.

Моё восхищение Тошей (так же, как и тревога за его судьбу) возросло ещё больше, когда в мае 69-го, вслед за арестом одного из лидеров диссидентского движения генерала Григоренко и педагога Ильи Габая, он стал сооснователем легендарной Инициативной группы (ИГ). Отстаивать в Советском Союзе права человека от произвола властей — вот что, не таясь, стала делать отважная горстка. И обращалась со своими письмами в ООН! К общественности!

Неслыханный по тем временам вызов. Какие кары обрушит не терпящая возражений, всесильная власть на головы людей, дерзко бросивших ей перчатку? «Галина Борисовна» (госбезопасность) шутки шу-



тить не любила. Вскоре последовали допросы, обыски, аресты. К концу 69-го 6 из 15 членов ИГ уже были в неволе.

И хоть бы чуточку Тоша умел поостеречься! Вот «Хроника». За этим самиздатским машинописным бюллетенем гоняется КГБ, его хватают при обысках, за одну такую находку вполне могут посадить! А Тоша почти не скрывает, что редактирует её. Рядом с Тошиной рыцарственной открытостью я невольно чувствовал себя опасливым, осторожничающим человеком.

Но, как я этого всё время с тревогой ни ожидал, меня всё равно застал врасплох тот миг, когда Тошу схватили и увезли. И случилось это прилюдно, в двух шагах от меня.

Морозный день 21 декабря 69-го. 90-летие «вождя народов» и слухи о его готовящейся политической реабилитации. Похоже: опять печатают статьи о «заслугах» Сталина. Превыше всего и особо — о сталинском верховном руководстве в годы войны. Но поминаются и предвоенные годы — борьба с оппозицией, индустриализация, коллективизация. И время после войны — восстановление хозяйства, «борьба за мир». И лишь вскользь и глухо — об отдельных ошибках и «перегибах» на новом, неизведанном пути.

О, подручные верховного бандита! Думаете по новой провести всех на мякине, купить вашей заезженной пластинкой со славословиями обожаемому палачу? Ждёте, что мы клюнем? Умилимся? Может быть, ещё подпевать вам начнём? Нет уж, увольте!

И вот кучка диссидентов (среди них и я) идёт от метро «Площадь Свердлова» на Красную площадь.

...Это сегодня мы досыта насмотрелись на всевозможные — многолюдные и санкционированные — демонстрации. Наслушались всяческих ораторов — от «ультра-демократов» до «национал-патриотов». Это сегодня можно безопасно — устно и печатно — призывать смести «оккупационное правительство», безнаказанно оскорблять президента страны. Где были нынешние храбрецы тогда?!

Мы идём молча, без плакатов и транспарантов. Главное — не дали себя запугать, не поддались, пошли, выходим на площадь. Блюстители порядка встревожены и несколько растеряны. Похоже, им дана команда — не хватать без повода. Помню толстого полковника милиции. Поспевая обок идущего с каменным лицом Петра Якира, он снова и снова повторяет:

— Только без транспарантов! Только без выступлений!

И вот наша кучка на площади, возле дальнего угла ГУМа, в нескольких шагах от Лобного места. Дальше ограждение, не пускают. Зябко. И не только от мороза. Вокруг нас толпятся сосредоточенные и внимательные спортивного вида «мальчики в штатском». Где-то неподале-

ку от меня — Тоша. Только бы он не завёлся, не сорвался, не поддался на провокацию.

Сколько прошло? Десять? Пятнадцать? Двадцать минут? Начинает смеркаться. Неспешно, короткими шажками наши «охранники» начинают мешаться с нами. Мы стоим. Похватают нас всё-таки или нет? Кто-то, наконец, говорит, что пора возвращаться. Двинулись к углу ГУМа. Обошлось?

Я слышу сзади какой-то шум, чей-то возглас, движение. Оборачиваюсь. Вся наша кучка бросилась назад. Схватили Тошу! Он бросил на брусчатку и припечатал ногой перечёркнутый крест-накрест портрет Сталина, принесённый нами на площадь. А дежурная «Волга» уже стояла наготове.

(Только впоследствии я узнал, что Тоша тогда просто заслонил собой Тату — Таню Баеву. Это она вызвалась швырнуть на мостовую злополучный сталинский портретик. Молоденькая девчонка готовилась щёлкнуть по носу свирепое чудовище на глазах и вперед взрослых мужиков... Тоша не был бы собой, если бы мог допустить такое).

Всего минуту назад он был вместе с нами. А теперь, когда мы увидим его опять? И увидим ли? Гэбэшники ненавидят Тошу; схватив, они вряд ли выпустят его.

Но то ли чекисты решили дожидаться более благовидного повода, то ли им захотелось вдосталь насладиться увлекательной игрой сытого хищника со своей жертвой, только цепкие когти ГБ неожиданно разжались. Продержав ночь в милиции, а затем оштрафовав, Толю отпустили. Надолго ли?

В нашем кругу были известны слова, оброненные невзначай кем-то из гэбэшников: «По Якобсону тюрьма плачет. Но недолго уже будет плакать».

Арест, неправый суд и неволя всё явственней нависали над Тошной головой. Знаю не понаслышке, как тяжело постоянное ожидание неминуемой беды; в сравнении с этой пыткой сама катастрофа воспринимается почти с облегчением... А Тоша ходил под занесённым топором по меньшей мере пять лет. Удивительно! Этот страшный груз он нёс — по видимости — легко, не сгибаясь под его тяжестью, не превращаясь в анемичного ипохондрика. Напротив, выглядел здоровяком и жизнелюбом, знающим вкус всех радостей жизни. Любил застолье, неизбежно становясь душой компании. Обладал завидным аппетитом. Был не дурак выпить, сохраняя ясность и отточенность мысли, нокаутирующий полемический удар.

Где он черпал силы? Каких усилий это стоило ему? И как долго ещё могла длиться эта неравная дуэль со всемогущей госбезопасностью?

С началом 1972 года усилились и ужесточились преследования правозащитников. Прошла серия обысков и допросов по так называемо-

му «делу № 24». Постепенно из характера задаваемых вопросов стало ясно, что «дело № 24» связано прежде всего с составлением и распространением «Хроники». В июне 72-го был арестован один из видных диссидентов, член Инициативной группы Пётр Якир.

Не стану пересказывать всех перипетий этой трагической и печальной истории. Скажу только, что «раскаяние» П. Якира и его подельника В. Красина, их откровенные показания на недавних сотоварищей, их переданные через следователей КГБ призывы к диссидентам сдаться и сотрудничать со следствием поставили в трудное положение оставшихся на свободе оппозиционеров. И хотя советам П. Якира и В. Красина последовали единицы, позорная капитуляция вчерашних «вождей» способствовала созданию в среде диссидентов настроений поражения и обречённости.

В очень тяжёлом положении оказался и Якобсон. То, что он редактирует «Хронику», подтвердила (после очной ставки с В. Красиным) его жена, машинистка, непосредственно помогавшая Тоше в выпуске бюллетеня. Через неё же КГБ объявил диссидентам: в случае выхода следующего, 28-го, номера «Хроники» Якобсон будет немедленно арестован. Редакция, собравшись, решила: нельзя, при подобных обстоятельствах, продолжать выпуск бюллетеня. «Хроника» надолго замолчала...

Подтолкнуло ли всё это Тошу к роковой мысли об эмиграции? Сам он, судя по его воспоминаниям, считал главным побудительным мотивом своего отъезда тревогу за судьбу и будущее Сани, своего сына — подростка. И говорил, впрочем, не настаивая категорически, что иначе вряд ли бы уехал из России. Только всегда ли сам человек ясно сознаёт и верно оценивает подспудные и подсознательные мотивы своих поступков?

Ну, а что же мы, его друзья и сотоварищи? Легко быть умным задним числом. Впоследствии от нескольких Тошиных друзей я слышал: они считали, что Тоша совершает ошибку, что для него было лучше — не уезжать. Было, пожалуй, такое ощущение и у меня. Слишком тутошним, я бы даже сказал, московским, — размашистым, хлебосольным — был его душевный склад и характер. Слишком сроднился он с болями и чаяниями нашего движения, с его невольниками и мучениками совести. Слишком неразделимо сросся он всеми духовными корнями с Россией и русской словесностью.

Но над Тошей уже занесена когтистая лапа ГБ. Его неизбежно схватят — если не завтра, так через месяц. А тогда он обречён либо на многолетнюю каторгу в ГУЛАГе, либо на бессрочный ад «психушек». И когда я узнал, что Тошка получил разрешение на выезд в Израиль, я подумал: — Да, в этом его единственное спасение.

А оказалось — гибель.

Я нажимаю клавишу и снова слышу густой, с напряжённым придыханием голос: — Я прочитаю три стихотворения своих и несколько переводов из Петрарки.

...Когда это было? Где-то в конце лета 73-го, в канун твоего отъезда. Несколько друзей собрались у меня повидаться с Тошей и послушать его перед предстоящей разлукой.

«Ахматовой посвящается».

Все мы знали трепетное преклонение Тоши перед Анной Ахматовой, с которой ему посчастливилось быть знакомым. В Тошкиной квартире на Перекопской мне запомнились снежно — белая маска Ахматовой и слепок ее пухлой женственной руки. Как драгоценность Тоша показывал мне однажды один из сборников Анны Андреевны с её дарственной надписью: «Толе Якобсону за его стихи». В этих стихах, звучащих сейчас из динамика, Ахматова сравнивается с сосудом, в котором вздёрнутая на дыбу Россия спрятала и спасла от растления свою живую душу.<sup>3</sup>

«Давиду Самойлову посвящается».

О чём это Тошино стихотворение? Оно не столько о смерти (хотя эпиграф — рефрен из Самойлова — противопоставление вольной смерти «в поле» жалкому умиранию «дома»). Оно — о страхе смерти и о страхе жизни. Страх смерти в бою естествен, понятен, он «не оставляет пятен на душе»; люди побеждают его, вставая в атаку. Подлый житейский страх страшнее: он растлевает и гибнет людей, и только «шепоточком», только «в подушку матом» жалко сетуют они на сложившую их судьбу. Житейскому страху подвержены, быть может, все люди, только одни никнут перед ним и сдаются, а другие преодолевают его — и распрямляются. Тоша был из тех, кто распрямляется.

С Давидом, несмотря на пятнадцатилетнюю разницу в возрасте, его связывала настоящая дружба. И поэт — фронтовик тоже любил своего младшего товарища. Он посвятил ему несколько прекрасных стихов. Гибель Тоши Д. Самойлов оплакал в пронзительном стихотворении — реквиеме «Прощание». И ещё одно самоейловское шестистишие было посвящено Тоше, но о нём я расскажу позднее...

Можно было бы назвать ещё немало известных писателей и поэтов, ценивших Толин талант, даривших его своим искренним расположением. Среди них М. С. Петровых, М. М. Бахтин, Корней Чуковский, Лидия Корнеевна Чуковская. И множество молодых без громкого имени.

Почему тебя так любили?

Сказать, что ты был поразительно и всесторонне талантлив, — не сказать ничего. Кошунственно писать о тебе — «замечательный учитель», «талантливый поэт-переводчик», «блестящий критик и публицист», «один из первых правозащитников». Кошунственно не потому, что — неправда (правда!), а потому, что с тобой не сопрягаются

затёртые штампы. А главное — ты не вмещался в эти ипостаси. Они способны только заслонить твою живую человеческую сущность. Твой талант самоотдачи. Талант дружеского общения.

Держась, как за путеводную нить, за тонкую полоску магнитной ленты, я слышу давно замолкшие голоса. На мгновение проступают сквозь метельную пелену знакомые лица. И летит густыми хлопьями «память — снег».

«Юлию Даниэлю посвящается».

Эти стихи Тоши — шутиливо — радостная ода по поводу освобождения друга, отбухавшего от звонка до звонка 5 лет «строгача». Впрочем, высокий стиль не в моём стиле. Гораздо больше мне нравится озорной Тошин экспромт, также посвящённый освобождению Юлия:

*Проходят грозы над родным борделем,  
Но Даниэль остался Даниэлем.*

Отношения Тоши с Даниэлем — фронтовиком, инвалидом войны, педагогом, поэтом — переводчиком, политзеком, писателем и поэтом — тема особая. Знакомство и общение с ним помогло формированию мировоззрения и гражданской позиции Тоши. Этой дружбе — вопреки всем насильным разлукам — он остался верен до самой своей гибели. Он провожал родных на свидание с Юлием в лагерь; много раз навещал в Калуге, куда Даниэль был направлен на жительство после освобождения. «Юлий мне как брат. Как старший брат», — сказал он мне однажды. И, высказываясь о положенных на музыку К. Бабицким песнях Даниэля: «Он не сделался большим поэтом, но этот цикл ему удался замечательно».

Процесс Синявского — Даниэля стал для Тоши рубежом, подтолкнувшим его к открытому противостоянию. Его первым общественным выступлением стало письмо в Мосгорсуд в защиту своего друга.

...Спустя десятилетие довелось и Ю. Даниэлю вступить за честь своего товарища. В интервью, опубликованном в январе 1975 года в издающейся в Париже «Русской мысли», И. Шафаревич оскорбительно высказался об эмигрировавших из страны писателях, по существу, обвиняя их в дезертирстве. Оказывается, согласно И. Шафаревичу, они уехали «добровольно», у них просто «не оказалось достаточных духовных ценностей, которые могли бы перевесить угрозу испытаний». А значит, они «не могут внести никакого вклада в культуру, независимо от того, по какую сторону границы они находятся». Фамилий, правда, И. Шафаревич не называл, но те, в кого он метил, легко вычислялись по прозрачным намёкам.

Так, не ощущая ни неловкости, ни комизма подобных поучений из уст человека, никогда не нюхавшего неволи, академик презрительно писал про оттянувшего шесть лет «строгача» Синявского, что он «доб-

ровольно» эмигрировал, не пожелав терпеть «неудобства» на родине. Другими адресатами нападок И. Шафаревича можно было считать А. Галича, А. Якобсона, как, впрочем, и многих литераторов «третьей волны» эмиграции.

В ответном письме Ю. Даниэль напомнил, что бывают периоды, когда национальная культура продолжается за пределами государства; что в эмиграции созданы многие духовные и культурные шедевры, вернувшиеся со временем на родину; что самоотдача, а не самопожертвование прежде всего требуется от художника; указал на натяжки и прямые подлоги в статье почтенного академика.

Говоря о самом Тоше, Даниэль писал: «Для него стихия русского языка и русской поэзии — воздух, которым он дышит».

Эта статья Ю. Даниэля (также опубликованная в «Русской мысли») стала достойной защитой его вынужденных к эмиграции друзей от нападков высокомерной ограниченности.

«Из Петрарки переводы».

...Впоследствии, когда ничего нельзя было поправить, наверное, не я один с горечью повторял читанные Тошей в тот вечер строки Петрарки:

Как близящейся гибели печать  
В твоём лице я мог не замечать?

Но вправду ли мы были настолько слепы? Нет! Мы видели, знали, что эмиграция страшит Тошу, как страшит человека разверзшаяся перед ним бездна. Как страшит тюрьма. Видели, но надеялись, но обманывали себя — мол, обойдётся, перемелется. Да и что можно было сделать?!

Заблуждался ли сам Тоша насчёт трагических последствий своего отъезда? Думаю, и да, и нет. Отчаяние и надежда попеременно вспыхивали в нём. В те годы эмиграция считалась столь же безвозвратной, как смерть. Все — уехавшие и решившие остаться — ясно понимали, что расстаются навек. И проводы походили на поминки.

На подаренной в канун отъезда книжке Льва Толстого есть Тошина надпись, пронзительная, как вопль гибнущего человека:

*«Людмила, Леонард, родные мои, не забывайте меня!»*

Мы не сумели спасти тебя, Тоша, но ты навсегда с нами.

«... два перевода из Верлена».

Переводы тоже способны выражать личность своего создателя — в выборе переводимых авторов, в отборе и обработке стихов. Не случайно в числе переводимых Тошей поэтов оказался и хлебнувший тюремного лиха П. Верлен, и расстрелянный франкистами Ф.Г. Лорка, и умерший в тюремном лазарете М. Эрнандес, и изгнанник А. Мицкевич. Как и всё, что делал, переводил Тоша с полной отдачей. Так, к пе-

реводу короткого стихотворения «Наваждение» (из тюремного цикла П. Верлена) он, по собственному признанию, возвращался снова и снова на протяжении нескольких лет.

Колокол гудит.  
На покой пора тюремной братье!

Чьи невольничьи судьбы вспоминал и предчувствовал Тоша, читая мерные верленовские строфы? Юлия Даниэля? Ильи Габая? Толи Марченко? Или — увы, легко предвидимые и не столь уж далёкие — покидаемых и любимых Серёжи Ковалёва и Тани Великановой? А может, и примерял опыт неволи к себе? Ведь вплоть до Шереметьева, до трапа, до взлёта самолёта вполне можно было ожидать любых «сюрпризов».

...И был момент, когда мне действительно показалось, что власти решили не выпускать Тошу и планируют для него совсем другой маршрут.

...Воскресенье, 2 сентября 1973 года. Сегодня должен улететь Тоша. Уже получены все разрешения и визы, куплены билеты, сданы советские паспорта. С Тошей летят Майя, его жена, тринадцатилетний Саша, их сын, и Тошина мать, Татьяна Сергеевна. Аэропорт — не нынешняя сияющая металлом и стеклом громадина, а ещё старый, маленький и невзрачный — Шереметьево-1. В вестибюле толпимся мы, провожающие. Много знакомых лиц. Вот Юлий Даниэль. Вот у окна высокая, стройная и седая Лидия Корнеевна Чуковская, — уж не с Тошиных ли проводов началось наше знакомство?

Уже прошла регистрация. Скоро посадка в самолёт. Остаётся последний барьер — таможенный досмотр вещей и багажа. В багаже у Тоши, конечно, множество книг. А вот необычная картина: сколоченная из планок клетка, и в ней маленький белый пёсик Том. Когда-то Тоша нашёл его на улице со сломанной лапой и вот сейчас везёт его с собой. Тому суждено было пережить своего хозяина...

Уже позади прощальные объятия и поцелуи. Тоша уже отделён от нас таможенным барьером, но возня с его багажом всё никак не кончится. Уже по радио объявлена посадка. Скорее бы!

Наступило и прошло время вылета. И вот Тоша и все, кто должен был лететь вместе с ним, возвращаются. В чём дело? Тоша — он похоже, совсем не расстроен — говорит, что таможня не успела с досмотром. Что, значит, он улетит спустя несколько дней, следующим рейсом. Ой, так ли? А не ловушка ли это? Уже не советский гражданин и ещё не иностранец, без паспорта, без прописки, он — так тогда думалось мне — может стать лёгкой добычей обозлённой и мстительной госбезопасности. Из аэропорта, правда, его увезли на машине друзья.



Был ли этот эпизод нечаянной накладкой? Хотел ли КГБ напоследок ещё раз поиграть на Тошиных нервах? Было ли это предостережением свыше — ведь возвращение с дороги считается дурным предзнаменованием?

Так или иначе — судьба подарила Тоше ещё три дня в Москве перед отлётом на так и не ставшей ему родной «историческую родину». Толя улетел в будний день, утром 5 сентября. Я не сумел в тот день освободиться на работе и ещё раз приехать в Шереметьево проводить его.

«И вот — последнее». Последний прочитанный Тошей перевод был о смерти. Об ужасе смерти и одиночества.

«На улице мёртвый лежал,  
Зажав между рёбер нож...»

Дрожит от страха ночной фонарь, а покойник — «чужой, нездешний» — всё лежит один, и до самой зари некому прикрыть ему глаза, распахнутые в кромешный мир.

...Погас зелёный глаз «Яузы». Опустили бокалы и бутылки. За окном давно ночь. И как ни хочется продлить застолье, оттянуть расставание, ещё о чём-то спросить, что-то сказать напоследок, ясно, что пора разъезжаться. Всем, кроме Тоши. Сегодня — в первый и последний раз — он заночует у нас.

Мы проговорили полночи. А утром, затолкав в сумку наш подарок — девяти томник Чехова в синем матерчатом переплёте — Тоша отправился домой. В оставшиеся до отъезда немногие дни мы виделись ещё не раз, но дома у нас он больше не был. В джемпере и ковбойке, с набитой, незастёгнутой сумкой под мышкой он энергичной походкой зашагал по Балаклавскому проспекту. Я проводил своего друга до остановки.

Тогда, в 73-м году, нам обоим было под сорок. Сегодня — шестьдесят, но только мне. А тебя уже полтора десятилетия нет на свете. Сколько вместилось в это время! И долгие годы беспросветной неволи для многих и многих наших соотечественников, и внезапные стремительные перемены, и крах тоталитаризма, и муки пришедшего ему на смену смутного времени, распада и одичания.

Расставаясь два десятилетия назад, могли ли мы помыслить, что «Хроника», твоя «Хроника» будет сегодня безвозбранно обращаться в России? Что в Москве состоится вечер в день её 25-летия? Что у нас издадут всё, за что в памятное нам время свирепо преследовали и сажали? Что в честь жертв и узников коммунистической тирании перед Лубянкой установят Соловецкий камень и низвергнут «железного Феликса»?

Что и твоё наследие не будет забыто? Первой ласточкой станет публикация «Новым миром» в 1989 году твоей статьи «О романтической



идеологии». А ещё через три года выйдет твой двухтомник и состоится вечер в память о тебе. Почему тебе не дано порадоваться вместе с нами?

И вместе с нами огорчаться, и тревожиться, и сожалеть, что чаемые перемены, осуществляясь, выглядят в жизни не так, как думалось, и приносят не только те плоды, которых мы желали. Увы, привыкшие к рабству и унижению люди порой тоскуют по вчерашней неволе и ищут себе нового господина, и жаждут они не покаяния, а отмщения. Мы видим сегодня, что даже свобода слова приносит свои издержки, и порнография ещё не самая страшная из них. Невежества и развязности хватает и у тех, кто именуется «демократами»; что же говорить об озлобленных до умопомрачения горе-патриотах и «державниках»? Надо ли тебе объяснять это? Лучше процитирую: «Сейчас много разновидностей национально мыслящих. (...) Никто из них не происходит от русской культуры. (...) Они жертвы и потому вызывают жалость; но их шутовство, их безвкусие, их бездарность граничат с хамством». Значит, ты понимал это ещё тогда. Ведь это твои слова, написанные ещё в 70-м году<sup>4</sup>.

А знаешь, Тоша, теперь ты мог бы запросто приезжать в гости. По долгу жить в Москве. Да чего там — если бы ты захотел, ты смог бы вернуться в свою Россию.

То-то было бы радости! Сколько было бы разговоров, споров, шуток, воспоминаний! Сколько объятий и встреч! Сколько стихов! И уж, конечно, не позабыли бы о водочке.

Сколько народу бы сбежалось! Но и скольких бы не достало — Ильи Габая, Толи Марченко, Юлия, Давида, нашего генерала, Софьи Васильевны Каллистратовой, Андрея Дмитриевича Сахарова... И всех-всех мы бы непременно помянули.

Почему, почему в этом поминальном списке — и ты сам?!

В Израиле Тоше много раз снился сон, что в последний момент он извернулся, переиграл, не уехал из России. И немислимая радость во сне сменялась кошмаром пробуждения.

Из его редких писем, из писем Татьяны Сергеевны и Майи, от общих друзей мы знали: с Тошей неладно. Тяжёлая депрессия на почве ностальгии. Глубокая угнетённость — вплоть до мыслей о самоубийстве. Эмигрантский шок.

Ему — неслыханное везенье! — предлагают читать спецкурс по русской поэзии в Иерусалимском университете (и даже — на русском языке), а он не в состоянии работать, писать, читать, не может думать ни о чём, кроме смерти. «...Если бы мне предложили чудо — на один вечер перенестись к вам туда, я бы отказался: не хочу, чтобы вы увидели меня ТАКОГО, хочу, чтобы вспоминали прежнего. А вот если бы

не на один вечер, а навсегда мог бы я перенестись обратно, тогда бы воскрес» (из письма).

В самом конце 1973 года Тоша на три месяца попадает в больницу. Выписывается весной: «больница, считаю, ничего не дала». К лету 74-го состояние его всё-таки улучшилось: сам Тоша связывал это с напряжённой физической работой — грузчиком на мельнице. Но периоды относительного здоровья сменялись новыми приступами болезни.

Умерла Татьяна Сергеевна. «После смерти мамы как-то мне слабо жилось и сильно пилося. Запрёшься, бывало, и жрёшь в одиночку по-чёрному, (...) благо некому корить, лишь Томик поскуливает». (К этому времени уже не первый год Тоша и Майя, сохранив дружеские отношения, жили хотя неподалеку, но врозь. Свой развод они официально оформили в 74-м).

Используя просветы, когда отступала болезнь, Тоша много работал. Три монографии; одна из них, об общих проблемах поэтики, стала его докторской<sup>5</sup>.

В последнем полученном нами письме (сентябрь 77-го) Тоша писал о недавней женитьбе. Лена К., недавняя эмигрантка из Ленинграда, была намного моложе, и Тоша долго гнал от себя «этакие-такие» мысли, внушая ей, что он — старый, больной. Но Тошей трудно не увлечься. И кончилось тем, что Лена всё-таки переехала к нему.

Нас радовало и внушало оптимизм, что помимо рассказа о семейных обстоятельствах, Тоша в том письме делился и творческими планами: «...Я ещё, представьте, работаю. (...) Собрал огромный материал для книги о Цветаевой; этот материал и замысел таковы, что работы хватит на несколько лет. Со временем всё прочтёте».

Не прочли. Год спустя пришла страшная весть: 28 сентября 78-го, во время очередной депрессии, Тоша повесился в «миклате» — убежище-подвале дома на собачьем поводке.

Тебе было дано всё: мощь таланта, широта души, ум, творческое горение. Множество людей (и каких людей!) одаривали тебя горячей любовью и неподдельным восхищением. В тебе было всё, чтобы стать балвнем судьбы...

И в то же время было мучительно ясно: именно своим высоким духовным складом, обострённым чувством чести, отважным противостоянием несправедливости ты обречён в Советском Союзе каторге лагерей и «психушек».

Ты вступался за гонимых, ясно сознавая, что рискуешь собственной свободой. И поступал так, преодолевая инстинкт самосохранения, боясь тюрьмы и ещё больше — сумасшедшего дома. Ибо был из той породы людей, которые «ни единого удара не отклонили от себя» (А. Ахматова). Но без таких, как ты, не состоялось бы освобождения России

от ига тоталитаризма; оно — долей — оплачено и твоими муками и гибелью.

Кто знает, быть может, ты и вынес бы все каторжные сроки. Но ЗДЕСЬ, дома. Потому что тут ты был напряжённо собран, настроен на предстоящие тяготы и лишения, настроен на борьбу. В тебе была могучая сопротивляемость на давление и на излом; но твёрдый внутренний стержень выпал, когда не стало внешнего давления.

Россия вытолкнула — и Россия же ревниво не отпускала от себя. Тоскуя по оставленным друзьям, ты терзался сознанием своего «дезертирства». И каждое горькое известие отсюда, каждая потеря, каждый новый удар по редующим рядам правозащитников отзывались судорогой в твоей душе.

Бросился с балкона твой ровесник и товарищ Илья Габай — педагог, поэт и политзек. Всего год назад мы радовались его возвращению из лагеря. «Боже мой, Илья. И я не с вами (...) Как во сне».

Твои друзья, две Тани и Серёжа<sup>6</sup>, открыто заявляют о возобновлении выпуска «Хроники», остановленной угрозой твоего ареста. Каково было тебе — в безопасном «далеко» — услышать об их самоотверженном, их «самосажательном» поступке? И узнать спустя несколько месяцев, что Серёжа Ковалёв арестован?

Каково было тебе слышать и читать о тюремных и лагерных судьбах многих и многих твоих друзей и знакомых? И ощущать невозможность помочь им? Тебе казалось, что ты ушёл с поста, и ты судил себя собственным беспощадным судом.

Ты не был создан светить тускло-тлеющим огоньком лампы. Ты был назначен для буйного искупительного пламени жертвенника. Чудом спасённый от кругов ГУЛАГовского ада, недоступный в Израиле для когтей КГБ, ты и там был настигнут судьбой, не избежал своего жертвенного предназначения. Ты всё равно вспыхнул и сгорел в страшном самосжигающем пламени. И какая разница, чем обернулся этот огонь — плахой ли, костром, пулей в затылок, тюрьмой, изгнанием или — собачьим поводком?!

Кто устоял в сей жизни трудной,  
Тому трубы не страшен судной  
Звук безнадежный и нагой.  
Вся наша жизнь — самосожженье.  
Но сладко медленное тленье  
И страшен жертвенный огонь...

*Давид Самойлов*

*Москва  
Август 1993*

8 февраля 2006 года, за 7 дней до смерти, Леонард продиктовал своей жене Людмиле

**Письмо Тоше Якобсону\*:**

«Мы были мало (недолго) знакомы, но если тот мир действительно существует, я буду всегда с благодарностью помнить о наших встречах. Меня всегда восхищал твой талант, доброта к людям и беспощадность к палачам.

Твори! Твой Леонард»

\* Письмо публикуется с разрешения Людмилы Терновской, вдовы Леонарда.

- <sup>1</sup> Леонард Борисович Терновский (1933–2006) — врач-рентгенолог, общ. деятель (Москва); автор и распространитель Самиздата; правозащитник, член Рабочей Комиссии по злоупотреблениям в психиатрии (1978–1980), член Московской Хельсинкской Группы (1980), был одним из немногих врачей, не боявшихся лечить бывших политзаключенных; подвергался преследованиям КГБ, политзаключенный (1980–1983). В 1991 г. реабилитирован. Написал историю самиздатского информационного бюллетеня «Хроника текущих событий». В 2005 г. награжден медалью Уполномоченного по правам человека РФ «Спешите делать добро». *Источники:* Википедия; «Список граждан, выразивших протест или несогласие с вторжением в Чехословакию», сост. Г. Кузовкин, А. Макаров (прим. А. Зарецкого)
- <sup>2</sup> Из книги: «Мне без вас одиноко». М., Возвращение, 1997. (Биб-ка журнала «Воля», вып. №3), с. 46-69.
- <sup>3</sup> Современный читатель может прочесть эти стихи в якобсоновском сборнике «Почва и судьба», выпущенном в 1992 г. издательством «Весть».
- <sup>4</sup> См. Анатолий Якобсон. «Конец трагедии». Издательство «Весть», 1992, с. 187.
- <sup>5</sup> Название диссертации: «Соотнесённость реально-исторического и карнавально-мистерийного начал в русской поэме XX века (Блок, Пастернак)». Хранится в фонде Национальной библиотеки Еврейского Университета в Иерусалиме. (Прим. М. Улановской)
- <sup>6</sup> Т. М. Великанова, Т. С. Ходорович, С. А. Ковалёв.

**Вера Прохорова<sup>1</sup>**

## **Интервью Мемориальной странице<sup>2</sup>**

**Вера Ивановна, я хотел бы поговорить с Вами об Анатолии Яковсоне.**

Это был удивительный человек, я его ужасно любила. Настолько, что Майя мне написала после его смерти: «Если бы я могла от Вас Толину смерть скрыть, я бы это сделала», — потому что Толя для меня был воплощением жизни, деятельности, доброты, соединённой с очень большой энергией, — активно помогать, активно бороться. Он был талантлив и в литературном смысле, и, я бы сказала, как актёр, — он прекрасно читал стихи. Мы с Толей и Майей были всегда очень, очень дружны. Майя была как бы моя лагерная дочка. Когда она вернулась из лагеря и встретила Толю, она мне про него рассказывала, и, конечно, познакомила нас.

Очень много людей провожало его в отъезд за границу. Помню, кто-то сказал: «Вы увидите Париж, вы будете, наконец, свободны». Толя ответил: «Я всё время свободен сам. Что вы мне говорите? Зачем мне Париж? Это моя страна, которая сейчас нуждается в том, чтобы её любили, чтобы ей помогали. Как я могу уехать? Для меня это ужасно, это смерть». Для него жизнь была в активной помощи людям, в открытости, в доброте, а не в обречённом бездействии.

Перед отъездом Сахаров хотел с ним увидеться, а Майя была очень занята. И Тошка, бедный, настолько не мог просто один быть, сказал мне: «Ну, поедemте со мной». Я была с ним у Сахарова. Андрей Дмитриевич удивительно приятное впечатление произвёл на меня.

Это было перед самым отъездом. Сахаров сам ему позвонил: «Толя, я слышал, что Вы уезжаете?». — А Толя сказал: «Я бы хотел с Вами про-

---

<sup>1</sup> Вера Ивановна Прохорова (р. 1918) – дочь последнего владельца Трехгорной мануфактуры, по материнской линии состоит в родстве с Гучковыми, Боткиными. Всю жизнь Вера Ивановна проработала в Московском государственном лингвистическом Университете им. М. Тореза, где преподает до сих пор (филолог, преподаватель кафедры стилистики). Близкая подруга Майи Улановской и Анатолия Яковсона. В 50-м году по доносу была арестована за неосторожные слова и пять лет провела в лагерях. Живёт в Москве. А. Яковсон посвятил Вере Прохоровой свою работу «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака». *Slavica Hversolymitana*, The Magnes Press. The Hebrew University, Jerusalem, 1978, vol. 3 (прим. В. Емельянова).

<sup>2</sup> Интервью подготовлено и проведено по телефону А. Зарецким. Отредактировано Ю. Китаевичем и М. Улановской.

ститься». И, поскольку он обязательно кого-нибудь захватывал из друзей или близких, то получилось так, что я увидела Сахарова.

И первое, что Толя сказал Сахарову: «Спасибо Вам огромное, что Вы меня позвали. Я считаю, что Вы пришли на мои похороны». Андрей Дмитриевич сказал ему: «Толя, не принимайте это так всерьёз, не будьте в таком отчаянии. Почему Вы говорите о похоронах? Я понимаю, насколько Вам тяжело уезжать отсюда, когда Вы в центре всех событий, но Вам всё равно не дадут продолжать участвовать в них. Поэтому Вам надо уехать и сохранить силы. Вы будете всегда нужны людям, где бы Вы ни были». — А Толя сказал: «Я хочу быть нужен здесь, это — моя страна, нет никакой другой страны». «Что Вы, Толя. Надо пережить тяжёлый кризис и потом всё наладится. Ваша полезная деятельность будет ещё очень нужна. Вы настолько талантливы, что Вы сможете использовать свои литературные возможности и писать».

«Я чувствую, что я не смогу. Я не могу дышать другим воздухом, когда здесь всё это продолжается», — ответил ему Толя. Сахаров очень мягко, очень доброжелательно, я бы сказала, ласково сказал ему: «Толя, ну, успокойтесь, подумайте — Вы впечатлительный человек, столько будет новых впечатлений, ну Вы переживите этот тяжёлый период, как мы все переживаем». Всё это он говорил очень добро и просто.

Очень тяжело это вспоминать.

### **Это было на квартире Андрея Дмитриевича?**

Это было на квартире кого-то ещё. Там, кроме Сахарова и его жены, была одна пожилая дама — кажется, какая-то родственница Сахаровых. Скорее всего, это была её квартира. Мы приехали городским транспортом. Сахаров был совершенно свободен в том плане, что за ним в тот момент не наблюдали. А может, и наблюдали, но нам, естественно, это было как-то безразлично. Самая обычная квартира, в самом обычном доме, не приметная ни богатством, ни бедностью, такая квартира интеллигентного человека: полка с книгами, стол...

И я Вам скажу, что большего патриота, чем Толя Яковсон, я не знала среди самых наирусских людей. Потом, уже из Израиля, он писал Даниэлю: «Знаешь, бывает у людей скарлатина: некоторые от неё умирают, у некоторых остаются последствия, а я умираю, как от скарлатины». И там ужасную такую фразу горькую он говорит: «Если бы знать, что это временно, но ведь это же навсегда».

Бедный Толя, мне кажется, что ему не хватило каких-то нескольких лет, чтобы он смог вернуться. Он был бы невероятно необходим.

Я не знаю ни одного человека, который, встретясь с Толей, смог бы к нему относиться равнодушно, — так он завоёвывал сердца. Видимо, даже следователь испытывал своего рода симпатию по отношению к Толе. Он сказал ему: «Анатолий Александрович, уезжайте Вы. Знае-

те, ведь мы кого арестуем, кого купим, а кого вышлем. Вас не купишь. Арестовывать... А зачем? Поезжайте Вы в Израиль». А Толя говорит: «У меня никаких вызовов нет». Тогда следователь говорит: «Так он будет, хоть завтра».

После визита к Сахарову мы приехали к Якобсонам, посидели с Майкой и с их собакой. Толя обожал свою собаку. Он говорил Томику: «Сын мой, разве тебя отец оставит здесь?».

### **Есть фотография, где Якобсон снят с беленькой собачкой.**

Да-да. Вы знаете, как-то раз Толя поздно вернулся домой. Майя говорит: «Я уже легла спать», а Толя подходит к ней и говорит: «Слушай, от тебя сейчас очень много зависит. Он ждёт». Майя спрашивает: «Кто это он?». «Когда я вышел из метро, за мной увязался пёс. Я ему сказал, что я бы его взял, но сначала должен спросить у своей жены. Если она не захочет, то я не смогу тебя взять. Подожди у дверей, я у неё узнаю». И собака его ждала. Майя мне говорила: «Вера, ну что я могла сделать? Как я могла отказать тогда Тошке?». И Тошка побежал, собака ждала его, и оба радостные вернулись. Толя сам готовил еду, Майка работала. Толя говорил: «Я готовлю три разных стола: вегетарианский для Майки, диетический для сына и общий для нас с Томиком». Толя и в быту был как-то удивительно прост, приветлив и всегда хотел принести пользу, что-то сделать, чем-то помочь. Стоит ему узнать, что кто-то заболел из друзей, — Толя первый: «Что принести? Может быть пойти куда-то?». Кому-то нужно было отвезти посылку. Толя, конечно, поехал и отвёз. Чисто случайно он не оказался на Красной площади, когда там, в августе 1968, устроили сидячую демонстрацию. Майка, чувствуя, что что-то в этот день будет, послала его за сыном в пионерлагерь в Звенигороде. Толя поехал за Санькой, не догадываясь, что Майю просили предупредить его о готовящейся демонстрации, но она не предупредила, понимая участь тех, кто там будет. Тошка вернулся с ребёнком, когда уже всё произошло. И Тошка потом очень долго огорчался.

Толя был замечательный человек, полный открытости и доброты, и вместе с тем пылкий, готовый от возмущения бежать помогать, ввязаться в драку. Какой-то бесстрашный очень. А там, в Израиле, он затосковал. Тому же Даниэлю писал: «Вот течёт река Иордань, а мне бы быть хоть под каким-то забором, но в Москве, но быть в России, я не могу здесь, совершенно».

А перед отъездом повторял всё время: «Это мои похороны». Пришла Лидия Чуковская на проводы в Шереметьево. Толя с ней много времени провёл. Пришли его бывшие ученики, многие друзья. Много народу было. И, конечно, мы были рядом с Майкой, с Толей всё это время, когда подходили люди. Приехали даже из Сибири его бывшие ученики.

О Толе говорить — значит повторять слова о его абсолютной самоотверженности, открытости, желании всегда помочь и о его какой-то чуткости удивительной к человеку. Реагировал он моментально, активно и всегда с успехом. Съездить надо в какой-то лагерь, откуда нужно срочно привезти документ одному из бывших Майкиных поделщиков. Кто поехал? Толя! Как кому-то надо что-то отнести, принести, помочь — Толя!

Мои близкие все, друзья и я сама — мы просто восхищались его способностью к литературе. Тоша был очень самостоятельный и интересный критик творчества Блока. Можно с ним не соглашаться, но он был очень искренний. И он очень любил Ахматову. Кстати, она его знала и очень его любила тоже, Тошку. А он восхищался ею, он считал, что Ахматова — это символ России. У него хорошие стихи были, посвящённые Ахматовой. Он часто общался с ней, у них были какие-то собрания, встречи. Майя это более подробно знает. У Майи в дневниках очень многое сохранилось. Я говорила ей: «Ты отбери не такие, когда Толя с горя, или, там, выпив что-то говорил, а его разумные речи и высказывания о прекрасном — и очень меткие, и очень умные. Но, конечно, выпить он любил и мог как-то так высказаться, иногда крепким словом, но всегда осторожно. При мне, и при женщинах вообще, он не выражался, но Майка всё-таки иногда слышала такое от него и очень не одобряла.

Когда собирались уезжать, собаке выстроили деревянную клетку. Потом в аэропорту таможенники сказали, что в такой клетке собака разобьётся, клетку надо поправить, и надо за это заплатить. Деньги тут же собрали, и клетку сделали удобообитаемой, так что собака уехала вместе с Толей. И он перед этим говорил псу: «Сын мой, да неужели отец тебя оставит? Никогда». Вот такой был Толя. Мне очень всегда трудно говорить *был* про Толю. Для меня он был символом будущей молодёжи, которая потом сможет взять страну в свои руки, вдохновлять всех в тяжёлые минуты. Поэтому всем, кто Тошку знал, было действительно тяжело поверить в такой страшный конец. Майка говорила мне: «У него депрессия была». Раньше, при всех тяжелейших обстоятельствах, никаких депрессий не было. Он, конечно, психически не был уравновешен, и ему нужна была очень бурная, настоящая жизнь, в любви и деятельности. Когда он этого совершенно лишился, его все как-то ублажали — он так это воспринимал — и это, по-моему, ему было особенно тяжело. Так он писал своему другу Даниэлю.

**Вера Ивановна, я учился у Анатолия Якобсона во Второй школе, он преподавал у нас литературу, историю и русский язык. 30 апреля 2010 года исполнится 75 лет со дня его рождения.**

В это невозможно поверить, думая о Толе.



**На уроках истории Якобсон говорил, что не всё так однозначно, как в официальной советской версии о взаимоотношениях рабочих и фабрикантов до 1917 г. В частности, он упомянул владельцев Трёхгорной мануфактуры Прохоровых — Вашего деда и отца, — которых за заботу о рабочих произвели во дворянство, наградили Большой золотой медалью международной выставки и Орденом Почётного легиона Франции.**

Да-да, это верно всё. Отец мой умер в 1927 г., рабочие ему помогали всё время, они его спасли от расстрела. После революции отец мой рабочими был оставлен директором — они не хотели, чтобы он уходил. Два года он был директором, а потом, поскольку правительство денег не выдавало рабочим, он расплатился с ними своими товарами, которые были на складах. Раздал в виде зарплаты сначала товары готовые, а потом — хлопок. Его обвинили в хищении государственной собственности, потому что фабрика была уже национализирована, и приговорили к расстрелу: прямо с директорского места — в тюрьму.

Но рабочие — этот документ я сама читала — созвали собрание Трёхгорки, послали делегацию в ЧК, в которую входили коммунисты из рабочих, и просто отбили моего отца, говоря, что он был примерным директором. В начале НЭПа нашлась ему в подмосковном Царицыне (там такие маленькие чудесные коттеджи были по берегам прудов) работа, уже начиналось мелкое частное производство. Отец был специалист по хлопку. В отличие от нынешних олигархов, дед водил отца с десяти лет по всем цехам. Папа это любил: прядильный и красильный цеха, станки — всё для него живой жизнью жило. И с рабочими у него были братские отношения: он детей их крестил. В течение трёх лет после смерти отца рабочие помогали моей маме, мне и брату — приносили деньги.

Вот почему у меня с детства неприятие, отвращение к классовой, расовой и любой другой ненависти, которую вбивают людям в головы негодяи ради своей карьеры. Вот и всё, потому что ни у какого человека врождённой ни расовой, ни классовой ненависти быть не может — все дети рождаются равными. Но, Гитлер, наверное, не был приятным существом в детстве, и я думаю, что Иосиф Виссарионович — тоже.

Мы сначала жили в Царицыне, а после переехали в семью тёти — Любови Николаевны, урождённой Гучковой, у которой тоже двое детей было. Потом арестовали её мужа, её саму и сына. Был ещё один эпизод: в 1937 году НКВДшники пришли на квартиру тёти и затребовали моего отца — Ивана Николаевича Прохорова. Мать говорит: «Иван Николаевич здесь не живёт». — «Как не живёт?! Вот у вас семья... А где же он?» Мама сказала: «Он живёт на Ваганьковском кладбище».

То, что тетя моя, Любовь Николаевна, была урождённая Гучкова, было в то время большим преступлением. Правда, она была не дочь,

а только племянница министра Временного правительства. А дедушка был московским городским Головой, два срока.

**Вернёмся к Якобсону. Интересовался ли он Вашим пребыванием в Гулаге, тем, как Вы выжили в том аду?**

Конечно, у нас разговоры о Гулаге были. Иногда даже юмористические. Когда подох Сталин, нас в лагере стали, вроде, к культуре приобщать. Ставили «Снегурочку», и Майка играла Леля. Она была такая хорошенькая, всё начальство в восторге от неё было.

Надо отдать должное тому, что Гулаг 50-го года — это не 37-го и не военных лет. Те были просто лагеря смерти: люди голодали, умирали. У нас ничего похожего уже не было. Было недоедание, было 500 граммов хлеба. Если не выполняли норму, то 400; три раза в день давали какую-то баланду: утром — мисочку жидкого супа из ячневой крупы, чашечку такого же супа в обед, а вечером мисочку так называемого *рыбкина* супа, совершенно несъедобного, замешенного на какой-то мелкой рыбке.

Баракы были тёплые, лес был свой. Каждую субботу *прожарка* и баня, никаких вшей. Это был особый закрытый лагерь, куда я попала по ошибке, у меня самая лёгкая статья — *разговоры 58-10*. Сунули меня туда: может, там не хватало народу. И мы носили номер на спине, у меня был АГ-294. В этом номере была зашифрована зона Тайшет-Братск в Иркутской области, так называемый Озерлаг, где мы встретились с Майей.

Зимой номер был на телогрейке, а летом — на одежде. На какой-то там тряпочке, которую выдавали нам, и мы должны были с этим ходить. Меня это очень не устраивало, потому что всегда хотелось, чтобы называли по имени и по фамилии, а не «АГ-294». У Майи и у меня были некоторые общие знакомые по Гулагу.

Ну, мы говорили с Толей о Гулаге, как мы говорим о нашем каком-то прошлом, о наших родственниках. Это всегда была общая тема. Толя переживал, что он не пострадал, что он пропустил Гулаг.

**После возвращения из Гулага, через какое-то время, Вы стали преподавать иностранный язык?**

После моего освобождения был приказ Хрущева вернуть всех на места прежней работы; даже если мест нет — как угодно вывернуться, хоть как дворника провести, и выдать двухмесячную зарплату и жильё. Если ты жил в общей квартире, значит — комнату в общей квартире, а некоторым людям выдавали отдельные квартиры. Я освободилась 18 августа, а 1-го сентября я была уже на работе, по расписанию. Никаких мест не было, но они обязаны были меня взять, так во всех учреждениях было.

Там были мои друзья, все были знакомые, молодёжь там за шесть лет подросла.

**А кто ещё из общих знакомых присутствовал, когда Толя и Майя приходили?**

В основном бывали: мой племянник Сергей Травкин, племянница, тётя, друг племянника, кто-то ещё. Разные люди, но все — сочувствующие. Абсолютно все. Вот и *Майки* пришли: Майя и Толя. Толиных отдельных друзей, честно говоря, я не знала. Помню кого-то большого роста, забыла имя. Даниэля я видела, он был большой друг Толин, был какой-то — потом оказался предателем — этого я, слава Богу, не знала. Потом я встречалась с Музой Ефремовой, его хорошей знакомой, её сын Георгий помогал с изданием Толиных книг. Очень дружили мы. Вопрос поколений как-то не вставал. А Майкиного отца я просто обожала! Он был удивительной личностью. Майя может это всё лучше рассказать.

**А как Вы познакомились с Толиной мамой Татьяной Сергеевной?**

Ну, как — у Тошки. У Тошки была своя мужская какая-то компания, потом лагерная наша, молодёжная. Толя, естественно, познакомил нас со своей матерью, представил меня другом Майи. Майка, собственно, мне вроде дочки была. Разговаривали обо всём, верили в свою конечную победу, в победу демократии. Надо сказать, что у Тошки никогда не было желания мести или ненависти. Он воевал, но за справедливость, а не с кем-то лично. У нас была настоящая дружба, хотя разница в возрасте была — целое поколение. Когда ребята ходили куда-то танцевать или *тяпнуть*, я не была с ними, но когда разговаривали, мы были совершенно наравне.

**Разговаривали ли об изучении иностранных языков?**

Я знаю, что он английским особенно интересовался. Он же сравнивал переводы 66-го сонета Шекспира и как-то очень хорошо лингвистически разбирался. Его, вообще, интересовали языки, поскольку в переводе огромное значение имеет то, насколько точно передано то, что хотел сказать автор. И, кстати, из всех переводов 66-го сонета он выше других ценил перевод Пастернака, в котором передано именно состояние Шекспира, отнюдь не агрессивное, не проклятье, что он чувствует боль от того, что «честь девичья катится ко дну» и общество полностью развращено, — а не так, как у Маршака:

*...Всё мерзостно, что вижу я вокруг...  
Но как тебя покинуть, милый друг!*

У Пастернака в переводах много личного, и Толя говорил, что у другого поэта, это могло бы быть недостатком. У Пастернака это совмещается с глубоким пониманием души самого автора и того, что тот хотел сказать.

Толя обожал Лорку. Я говорила ему: «Он отвратителен, этот Лорка, мне он ужасно не нравится. Злобный, бешеный, вечно кровь у него». А Толя не соглашался, и у нас были споры. Он читал мне перевод какой-то «Кровавой свадьбы». Там некая дама шьёт себе покрывало на смерть. Мне это показалось смесью пафоса, сентиментальности и неоправданных страстей, а Тоша читал это с большим увлечением, и дал комментарий, правда, устный.

Петрарку он тоже любил, как-то разбирался в подстрочнике. Сонеты к Лауре он комментировал с большим чувством, они ему очень нравились. Он мне показывал начало своих переводов Петрарки и говорил:

«Смотри, как у него и любовь, высокая любовь, и страсть выражаются одновременно».

О Данте он много говорил и при чтении делал интересные замечания. Так, он говорил: «Понятно, что самый страшный грех — предательство, и Данте поместил предателей в 9-й круг. Для итальянца самой страшной карой был холод, поэтому он их не в пламя даже загнал, а в ледяное озеро. Они там во льду».

А Иуда был в пасти Сатаны, который его всё время терзал. Рядом с ним был Брут и ещё кто-то. Брут был тоже, конечно, предателем, потому что предал Цезаря. Данте считал, полагал Толя, что самое страшное — это человек, который предал доверившихся ему.

### **Комментировал ли Якобсон ту часть «Божественной комедии», где говорится о самоубийцах?**

Помню очень сильные картины описания самоубийц. В Аду все души имеют человеческий образ, а самоубийцы — нет. Они превратились в какие-то деревья, и птицы хищные их клюют. И есть сцена, где они идут на Страшный суд:

*Пойдём и мы за нашими телами,  
Но мы их не наденем в судный день:  
Не наше то, что сбросили мы сами.*

*Мы их притащим в сумрачную сень,  
И плоть повиснет на кусте колючем,  
Где спит её безжалостная тень.*

Вот какова у верующего католика Данте судьба самоубийц — они не могут после смерти быть в своём образе, и это, конечно, самое большое несчастье для человека. Вот почему, когда Майка мне сообщила про Толину смерть, я сказала, что только страшная вспышка ностальгии и психической болезни в тот момент привели его к самоубийству.

Толя был воплощением жизни, но, конечно, с перепадами. Ему, очевидно, нужна была активная жизнь, абсолютная нужность и занятость. У него была физическая любовь к России. Он же писал Даниэлю и гово-

рил мне не раз: «Вы знаете, я бы лучше под любым забором где-нибудь в Москве был, а не здесь. Вот смотрите: течёт река Иордан, рядом Гефсиманский сад, но что мне это? Не могу, не могу я, вот, здесь. Ну, не могу».

**Не просил ли Якобсон Вас подготовить подстрочники для своих переводов, например из Честертона?**

Нет. Обычно беседы были, когда он приходил работать. Общий разговор начинался с Пастернака, а потом Тоша говорил о Петрарке или о Данте: «Вот, это, правда ведь, там замечательно?». О подстрочнике с английского только один раз говорили, когда мы 66-й сонет читали. Помню, что песенки Офелии ему тоже очень нравились:

*He is dead and gone, lady,  
He is dead and gone;  
At his head a grass-green turf,  
At his heels a stone.*

*Помер, леди, помер он,  
Помер, только слег.  
В головах зеленый дрок,  
Камушек у ног.*

Толя очень одобрял перевод Пастернака. При этом он говорил: «Конечно, у Пастернака много мест, где он внёс своё, но, всё-таки, это очень здорово. Хотя есть расхождения, которые можно критиковать».

Он, вообще, считал, что Пастернак настолько поэт от Бога, и что он так чувствует, что может от себя что-то внести. Суть всегда остаётся. Вот почему я обращаю такое внимание на 66-й сонет, в котором Пастернак угадал суть. Толя правильно отмечал, что там скорбь ужасная по поводу падения нравов и безнадёжность: «И я б ушёл из этого мира, если бы не моя любовь, которую я не могу бросить»:

*Tired with all these, from these would I be gone,  
Save that, to die, I leave my love alone.*

Это место Толя как-то детально обдумывал. Он считал, что Пастернак, как никто, умеет передать суть вещи, часто используя совершенно простые и малоизвестные слова, как например:

*Твое творение не орден:  
Награды назначает власть.  
А ты — тоски пеньковый гордень,  
Паренья парусная снасть.*

Что такое *гордень*? Понятия не имела. Оказывается — это узел морской, но это специфическое слово, которое в тексте невероятно выразительно.

### **А читали вы с Толей поэму Пастернака «Вакханалия»?**

Да, ну как же:

*«...У Бориса и Глеба  
Свет, и служба идет».*

Очень сильная поэма.

**Вторую половину диссертации, которую он перед самой смертью защитил, составляет работа «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака». Эта работа была опубликовано при его жизни и она посвящена Вам.**

Мне Майка об этом говорила, но я сама её не видела.

### **Почему «Вакханалия» посвящена Вам?**

Потому, что он доверял мне. Очевидно, знал, что я очень его люблю, люблю как сына, настолько он близок. Смерть его для меня до сих пор — невероятная вещь...

Майина фраза о его гибели, по-моему, очень глубокая: «Если бы я могла от вас скрыть смерть Толи, я бы это сделала». Она понимала, кем для меня был Толя. Не только милый, хороший мальчик. Нет, я видела в нём будущее нашей страны. Видела при его некоторых недостатках: к примеру, он выпить очень любил.

### **Вера Ивановна, а о других поэтах — Ахматовой, Цветаевой, Мандельштаме, шёл разговор?**

Всегда разговаривали об их творчестве. И спорили и разговаривали. Он очень высоко ценил их всех. Толя был человеком широкого охвата, его сердце вмещало многих: Мандельштама, Цветаеву, Маяковского.

Каких-то специальных разговоров не было. Толя очень был предан Ахматовой, и тут — пусть дамы злятся — безусловно играла роль её особая, удивительная, женственная, величественная порода. Я её видела раз только, когда Пастернак читал первую главу «Доктора Живаго» у подружки Ахматовой Ардовой. Ардова была близкой подружкой Ахматовой, и та у неё всегда останавливалась в Замоскворечье. Пастернак читал, по-моему, для «Нового Мира» или ещё какого-то журнала. Там было ещё несколько человек, в том числе Генрих Густавович Нейгауз. Было человек десять, и была Ахматова. Она очень одобрила описание природы в первой части, которую зачитал Пастернак. И все члены редколлегии «Нового Мира» одобрили первую главу: там и природа, там и «Свеча горела на столе, свеча горела».

Ещё там была молоденькая, хорошенькая, белокурая девушка. Как оказалось, это была Ивинская, у которой тогда ещё не было никакого

романа с Борисом Леонидовичем. Когда после чтения Генрих Густавович пригласил всех к себе, она как-то так замялась, а Борис Леонидович засмутился. Тогда Генрих Густавович сказал: «Ну, я вижу, здесь есть магнит и по сильнее». Очевидно, это было как раз тогда, когда Пастернак в неё влюблялся.

Ахматова — седая, статная; может, слегка полная, но это совершенно не бросалось в глаза. И были в ней и величественность, и доброжелательность, и какая-то простота, и, я бы сказала, демократичность в обращении, если здесь уместно это слово. Она со всеми лично поздоровалась, как будто она очень довольна была увидеть этих редакторов. Вот и с этой молодой Ивинской, и со мной тоже. И всё с восхищением. Была она в каком-то тёмном, по-моему, коричневом, платье, и замечательная белая шаль у неё была, какая-то очень красивая, шёлковая. И она была королевой при всей простоте поведения и полной демократичности.

Толя её ужасно любил, восхищался ею и считал её символом России и страдальцей. «Реквием» её он очень высоко ставил. Ахматова его тоже очень любила. Он ей посвятил стихи <«Рука всевластная судьбы...»>. Женщиной она оставалась до конца, и восхищённое к ней отношение молодёжи, конечно, её очень поддерживало. «Мои мальчики», — она говорила. И Толя был одним из любимых.

### **О Цветаевой он говорил?**

Да. Говорил, что в ней есть мощь действительно неженской силы. И ещё он говорил: «Безусловно, в ней есть какое-то — не то что дьявольское, — но сочувствие чёрту, каким-то всем обречённым, откинутым от общества, отброшенным, и это проходит у неё всюду». Он говорил: «Это особенность её творчества, но частично это объясняется каким-то, всё-таки, психическим нарушением. То есть тоже какой-то тягой к чему-то таинственному и злему, к чему-то отверженному».

Не могу сказать, чтобы идеология Цветаевой Толю захватывала, но он высоко её ценил.

Блока он очень любил. Очень. С его увлечённостью поэзией, чувством поэзии Толя не мог не любить очень многих, но всех по-разному.

Но особенно близок ему был, всё-таки, Пастернак. Это моё впечатление.

### **Читал ли вам Якобсон свои стихи?**

Свои стихи он читал, а я с большим удовольствием слушала.

### **Разговаривали ли Вы о религии, о христианстве, в частности?**

Вот Майка Вам скажет, что он в Бога не верил, что он был атеистом. Я этого сказать не могу. Толя настолько ввысь всегда смотрел и был искателем идеалов, что, очевидно, были у него какие-то мысли и сомнения. Он, конечно, критиковал, что говорить, устройство церкви,

католичество и все преувеличения, то есть то, что по сути отдаляет от христианства. Христос, как личность, для него был символом любви и добра. Как о личности, он говорил о Христе восхищённо, особенно о самопожертвовании ради других. В нём был какой-то элемент богоборчества<sup>3</sup>, но, по сути, он во что-то высшее верил. Я ему говорила: «Толя, неужели ты не представляешь, что над нами всеми есть то, что люди называют Богом, Аллахом. Как бы они его не называли — он есть». «Ну, я как-то, что-то...» — мямлил он. Пастернак ведь был глубоко верующий человек. Глубоко верующий, это я знаю. Более того, он был православным и держался за это. Ему нравилась в православии идея покаяния. А Тошка — не то что избегал, но его вера не захватывала. Эйнштейн прекрасно сказал: «Я скорее поверю во все легенды о 6-7 днях сотворения мира, чем представлю себе, что весь наш мир, вся Вселенная не устроена идейным великим Разумом». Неточная цитата. Эйнштейн — великий учёный, и он говорит о едином разуме. Многие другие учёные, такие, как Менделеев, Павлов, — были глубоко верующими людьми.

#### **Было ли что-то в характере Яковсона, что Вам не нравилось?**

Вот, иногда какая-то нервозность была. Может быть, слишком порывистым был. Выпить Тошка мог как следует. Нельзя сказать, что это — достоинство, но это для меня и пороком не было. Майка это страшно осуждала, я с ней в этом отношении боролась.

#### **Запомнились ли Вам проявления характера Яковсона: от чего он гневался, что ненавидел и презирал?**

Тошка был готов бежать куда-то и тут же что-то выяснять. Он был человеком немедленного действия: сказано — сделано. Какой-то из его знакомых оказался сексотом. Тошка сразу бросился это выяснять. Тот, кажется, признался, и Тошка сильно бушевал. Когда был суд над Синявским и Даниэлем, он там был, его там чуть было не арестовали.

#### **Не рассказывал ли Яковсон о своей встрече с Молотовым?**

Да-да, это было замечательно. Помню хорошо. Тоша шёл и встретил Молотова, и говорит ему: «Где твой друг Риббентроп, с которым ты так дружил?» Это замечательно, по-моему!

#### **Были ли у Яковсона враги?**

Наверное, были, я думаю, были завистники. Я его врагов не знала и не хотела бы знать.

---

<sup>3</sup> Запись из Дневника Анатолия Яковсона: «Я уж останусь задрипанным Яковсоном; но сын мой будет Александр Бар-Яков. Как звучит! (сын Богоборца)». Тетрадь 2, 1-12 августа 1974 г. (прим. А. Зарецкого).



### **Что Вы помните о проводах Якобсона в аэропорту?**

Его провожал весь аэропорт — так там заполнено всё было. В последнюю минуту, когда они уходили через стеклянный мост, вдруг дверь не сразу закрылась, потом открылась, и у Тошки было ощущение, что можно ещё вернуться. Но стеклянная дверь захлопнулась, они пошли по стеклянному мосту, и было видно, как они проходят дальше, к самолёту — Толя, Майя и ребёнок. Было невероятно грустно и тоскливо — последний раз я Тошеньку видела.

«Ликование» Тошеньки в Израиле — это изобретение Сашеньки Тимофеевского, на которого что-то нашло, будто Тошка радовался, когда уехал. Он мог бы навестить Израиль и порадоваться успехам людей, но жить там он не мог. Он сказал, в письме Даниэлю: «...если бы знать, что это не на всю жизнь».

### **Говорил ли с Вами Якобсон о Лидии Чуковской?**

Толя Лидию Чуковскую очень любил и уважал, очень почтительно к ней относился. И она его очень любила: ну подумайте — приехать ночью и провести ночь на аэродроме, где мы все были.

### **А о Солженицыне?**

Он очень ценил Солженицына.

### **В декабре 2009 года исполнилось 40 лет антисталинской демонстрации. Знали ли Вы, что Якобсон был среди участников той демонстрации и был задержан сотрудниками ГБ?**

Тоша участвовал во всём. В тот раз Майка, которая не хотела, чтобы его моментально арестовали, не сказала ему о демонстрации, а четверо других пошли на Красную площадь, чтобы сидеть там.

### **То была другая демонстрация — в августе 1968 г.**

Толя хотел быть на любой демонстрации, где можно выразить открыто свои чувства в отношении абсолютно всего. Я их демонстраций не помню, не участвовала в них. Знаю только, что его хватали, выпускали, и опять хватали. В ГБ, естественно, всё о нём знали. Долго-долго его всё-таки не арестовывали. Об этом Вам может подробно рассказать Майя, я могу напутать. С Тошкой мы виделись редко, он был страшно занят. Но вот узнаёт, что я больна, приходит и что-то приносит — мёд или ещё что-то. Я говорю: «Толя, милый, ты что, с ума сошёл? Тебе же некогда мной заниматься». — «Да, я сейчас тороплюсь, но что Вам нужно ещё купить?» — «Ничего. Племянник придёт сейчас, всё купит». И он бежит дальше, тоже кому-то чем-то помочь, что-то сделать. В нём было движение, жизнь — вот почему я говорю, что Толя — это невосполнимая утрата. Если есть такие, как Толя, то, уж извините, «товарищи», — у нас что-то наладится. Он мог увлечь за собой массы.

**Рассказывал ли Вам Якобсон о своей учительской работе?**

Он её очень любил. Его обожали ученики. Он пользовался популярностью. Конечно, кроме истории и литературы, он и стихи читал всякие. А поскольку начальству было известно, что Толя собой представляет, его уволили.

**Поговорим о прекрасном: присутствовала ли в Ваших разговорах с Якобсоном тема красоты и женственности?**

Тошка, хоть его за грубость и ругала тёща, был романтик. Он восхищался красотой, но всегда говорил: «Единственная, кого я люблю и по ком я тоскую, — это Майя».

Картины он очень любил. Иногда проскальзывало: «Ты посмотри, какой портрет!» Ему нравились реалисты — Серов. Но у него времени не хватало на это. Да-да, и понимал и чувствовал, очень тонкий был человек.

Но я больше всего, когда с Тошей, старалась говорить о литературе, о поэзии, о том, что только от него хотелось получить. От него самого.

**Обсуждал ли Анатолий Якобсон с Вами вопрос: что ждёт Россию в будущем?**

Он высказал это в стихотворении, посвящённом Анне Ахматовой. Потому так и страшен ужасный его пессимизм и его смерть, что он абсолютно верил, что со злом надо бороться словом, делом, своим примером. Верил, что нельзя людей сажать или убивать, что, возможно, и у нас будет улучшение.

Я в Толе видела будущее России. Господи, ну бывают же такие, какое это счастье. И вот тебе — что получилось. Ужас. Я не могу думать об этом, а когда вспоминаю, не могу это себе представить и, честно говоря, не хочу.

Я Тошу считаю праведником. Господь это поймёт. И, естественно, Тошенька, если кому суждено Царствие Небесное...

*Москва  
Ноябрь 2009 г.*

*Евгений Пастернак*

## **Интервью Мемориальной странице**

*Памяти Юны Вертман и Василия Емельянова*

**Евгений Борисович, 30 апреля 2010 г. исполнится 75 лет со дня рождения Анатолия Александровича Яковсона. Расскажите пожалуйста нашим читателям о нём, ответив на предлагаемые вопросы.**

Василий Евгеньевич меня много раз просил написать воспоминания о Яковсоне, но мне это просто не по силам, я отказывал ему в его просьбе, и теперь очень жалею об этом. Вы выбрали более удобную форму вопросов, грустно, что те, кто были близки Яковсону, уже ушли и мои отрывочные воспоминания уже не прочтут.

**Юна Вертман в своих «Страничках» упоминает как Вы позвонили ей, разыскивая автора статьи о переводах 66 Сонета Шекспира. Каково Ваше мнение о той статье Анатолия Яковсона?**

В 1968 году в сборнике «Мастерство перевода 1966» появилась статья А. Яковсона о сопоставлении переводов Маршака и Пастернака 66-го сонета Шекспира «Два решения: Еще раз о 66-м сонете». Мы были очень обрадованы ею, не только потому, что никаких работ о Пастернаке в это время не публиковалось. Статья нас поразила красотой и глубиной проникновения.

Сопоставляя переводы, Яковсон четко уловил внесенную Маршаком позицию трибуна, обличающего общественные пороки, тогда, как у Шекспира выражена личная боль человека, что как раз и передал Пастернак в своем переводе. Нам было радостно, что в статье Яковсона не было никаких общих мест и оговорок, обязательных по отношению к Пастернаку в то время. Мы тогда недавно пережили борьбу А. Д. Синявского с редакцией, которая заставляла его в статье к изданию «Библиотеки поэта» сказать об «ошибках» Пастернака, для чего добавили специальную редакционную заметку. Аналогичные споры велись с Корнеем Чуковским, который решительно отказался написать о «сложном и противоречивом пути поэта» в предисловии к сборнику избранных стихотворений 1966 года. Его работу должна была заменить статья Н. В. Банникова, содержащая все положенные слова.

Мы стали искать автора статьи о переводах через знакомых. Нам дали телефон Юны Давыдовны Вертман, которая с ним дружила. Они пришли вместе. Они оба нас очаровали, хотя Яковсон в тот раз больше молчал и был как будто подавлен. Мы подарили Юне Давыдовне маленькую книжку стихов Пастернака с предисловием К. Чуковского

и послесловием Банникова, и по ее просьбе надписали ее племяннице Марине (Мартышке, как она называлась в то время), которую они с Якобсоном собирались воспитывать на Пастернаке. Это так и получилось, потому что свою дипломную работу Марина Вертман писала о цикле «Когда разгуляется» и мы как-то ей помогали.

**Майя Улановская вспоминает, что однажды Якобсон приехал к Вам в Переделкино с сыном Саней. В то время у вас гостили родственники Рильке и они вместе играли в волейбол. Не припомните ли Вы подробности того визита?**

В те годы мы все летние месяцы проводили в Переделкине, туда приезжало много народу посмотреть дом, мы часто разговаривали с ними, показывали кабинет, где работал отец, отвечали на вопросы посетителей. Приезжали гости и просто к нам, мы жили в сторожке, возились на огороде, ухаживали за могилой отца на кладбище. Иногда наши гости помогали нам в этом.

Приезжали и Юна Вертман с Якобсоном, наши мальчики познакомились с Саней, когда отец брал его с собой. Я не помню, когда их приезд совпал с приездом Бауэров. Клаус Бауэр — великолепный фотограф, составитель множества художественных альбомов, посвященных архитектуре немецких городов и русских церквей. Он сделал прекрасный альбом репродукций с работ Р.Р. Фалька, дружил с его вдовой Ангелиной Васильевной. Узнав, что он женат на внучке Рильке Юзефе, она познакомила его с нами. Он приехал в Переделкино со своими сыновьями Константином и Фабианом, по возрасту близким к нашим мальчикам. Вероятно, именно тогда они затеяли футбол, потому что языковой барьер делал недоступным непосредственное общение. Очень интересно, что в это время были у нас Якобсоны, и Саня играл с правнуками Рильке. Мы этого сами не запомнили, но, видимо, это было таким событием для Анатолия Александровича, что он рассказывал об этом.

**Читал ли Вам Якобсон стихи Бориса Леонидовича?**

**Высказывался ли Якобсон о «Докторе Живаго», присуждении Нобелевской премии Борису Леонидовичу и о его травле в последние годы жизни?**

Чтение стихов моего отца я слышал на лекции, которую Якобсон проводил во Второй школе и пригласил нас. Причем, как будто она была одной из нескольких, но мы были приглашены именно на нее одну. Он попросил также и меня почитать ранние стихи, которые были не очень понятны аудитории. Якобсон по-видимому стеснялся своего увлечения Пастернаком и как-то скрывал его от нас.

Поэтому специальных разговоров об отце, романе «Доктор Живаго» и тем более о страшных событиях Нобелевской премии, убивших его, с нами не вел.

Это при том, что мы одно время достаточно часто встречались с ним. Узнав, что наш Петя плохо справляется со школьным обучением, он вызвался позаниматься с ним, но решительно объяснил, что литературе он обучать его не может, а уроки русской истории он некоторое время вел, и раскаты его голоса гремели на всю квартиру. Может быть, Петя и сам по себе интересовал его, потому что еще до этого писанием сочинений занималась с ним Юна, которая была очень расстроена его реакцией на читанное. Она пыталась определить его отношение к разбираемым текстам, но на ее вопросы он отвечал всегда тем, как ему было жалко всех, о ком он читал. Жалко было Каштанку, жалко было Гринева, Швабрина, Пугачева, — всех поголовно, и ничего больше он не мог сказать по этому поводу. Анализа не было, была — жалость, почти на грани слез. Якобсон очень полюбил нашу дочку Лизочку, тогда еще совсем маленькую, и она отвечала ему горячей привязанностью. Дарила ему свои многочисленные рисунки, писала любовные письма печатными буквами без гласных: «Милый Якбсон...». Она продолжала их писать и тогда, когда он уехал, очень скучала, но мы боялись посылать их.

**Обращался ли Якобсон к Вам с вопросами текстологического или детально-биографического характера в связи с Борисом Леонидовичем?**

**Свою работу «О стихотворении Бориса Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник» Анатолий Якобсон посвятил Вам. Ваше мнение об этой работе и её значении для исследования творчества Бориса Леонидовича?»**

Я точно не помню, но, вероятно, погруженный в уточнения деталей отцовской биографии, я много рассказывал тогда о том, что мне стало известно, благодаря найденным письмам, но впервые поводом для расспросов Якобсона стало стихотворение «Рослый стрелок, осторожный охотник...», о котором он хотел писать. В его работе об этом стихотворении, которую я прочел очень поздно, я нахожу свои мысли, высказанные ему тогда: по поводу смущавшего его слова «чувство». Я предположил, что это «нравственное чувство», которое потом встречается в стихотворении «О, знал бы я, что так бывает...». Я объяснил ему, что это написано в 1928 году, а не 1923-м, как обозначал это автор в изданиях 1930-х годов. Но в разборе Якобсона нет ничего о символе насильственной смерти, встающей в образе «рослого стрелка», хотя теперь я думаю, что именно эта тема более всего волновала его в те годы. Наверное, воспоминаниями об этих разговорах было вызвано посвящение статьи мне.

Что сказать теперь об этой работе. Я не слежу за многочисленными статьями о творчестве Пастернака, — это невозможно, Пастернака

называют наиболее анализируемым автором XX века. Наверное, об этом стихотворении много написано. Оно вызвано стихотворением Цветаевой «Знаю, умру на заре...», о чем Пастернак ей писал в письме, только недавно ставшем известным. В нем отразилось чувство надвинувшегося террора в связи с уничтожением политической оппозиции. Но все это стало понятно только в последнее время, об этом у нас с Якобсоном разговора быть не могло. Увлечение цитированием, отразившееся в статье Якобсона, — неисправимый грех моих собственных разборов, потому что всегда кажется, что автор сам лучше сказал об этом, чем мои пересказы его мыслей. Это всегда препятствует логическому ходу анализа, я это знаю по себе, это мешает и Якобсону в этой статье, к тому же, как говорят, неоконченной.

**Ваше мнение о работе Якобсона «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака»? Юна Вертман, вспоминает, что Вы передавали Якобсону через неё неопубликованные стихи Пастернака для этой работы, ставшей частью диссертации Якобсона.**

**Как Вы оцениваете вклад Анатолия Якобсона в изучение поэтического творчества Вашего отца?**

По поводу «Вакханалии». Мы с женой разобрали к тому времени оставшиеся черновые наброски к стихам из книги «Когда разгуляется», и замысел «Вакханалии» стал более отчетливым. Мы рады были поделиться этим открытием и все довольно подробно излагали Юне Вертман, которая потом пересылала материалы и наши предположения Якобсону. Это было трудно, потому что мы не знали, как он все это понимает и что из этого получается. Мы знали только, что это ему надо, чтобы написать «ученую» работу, необходимую для университета и отношения к нему там. Мы слышали о его болезни, о работе на мельнице, очень тревожились за него. Потом узнали о его конце.

К сожалению, потом мы поняли, что реального «научного» результата ему добиться не удалось, и при всем его жизненном таланте, его талант исследователя не осуществился. Он только-только начал этим заниматься, писать об этом. Это очень больно сознавать и горько об этом говорить, но я тоже по своему опыту знаю, что думать, рассказывать — это одно, а писать — совсем другая вещь. Я очень восхищался его работой о Блоке, о романтической поэзии, — это было открытием в свое время, дающим новый взгляд на вопрос. Для этих работ было им много прочитано и обдуманно то, что писали предшественники. О Пастернаке в то время почти ничего не было написано, поэтому то, что рассказывал Якобсон своим ученикам, заставляя их читать и думать, было очень значительно. Но как много было еще неизвестно, а правильное понимание его стихов очень зависит от знания времени и обстоятельств написания. Он очень хорошо знал «какое, милые, у нас

тысячелетье на дворе». Эти слова, которые я как-то сказал Якобсону, ему понравились. Пастернак-то знал, но мы-то еще очень мало знали об этом тысячелетии. Так что новые знания и понимания перевесили все наши старые попытки.

**Сорок лет назад, 21 декабря 1969 Анатолий Якобсон принял участие в демонстрации на Красной площади против реабилитации Сталина. Якобсона там арестовали, а затем оштрафовали. Владимир Гершович вспоминает, что Якобсон категорически не хотел платить тот штраф, а Вы уговорили его заплатить. Что Вы помните о той демонстрации и аресте Якобсона.**

Об участии в демонстрации Якобсона мы узнали непосредственно от него, он прибежал к нам в то утро за десяткой, которую ему было нужно заплатить, чтобы его отпустили. Он рассказал, что бросил на землю портрет Сталина и растоптал его ногами, за что и был арестован. Я не помню, чтобы я его уговаривал заплатить штраф, но у него просто не было десятки в кармане, он весело смеялся по этому поводу.

**Якобсон — активный участник правозащитного движения, редактор «Хроники текущих событий». Что Вы знали о его правозащитной деятельности? Читали ли вы «Хронику»?**

«Хронику» мы не читали, Якобсон не посвящал нас в свои политические дела, но что-то такое мы подозревали, он рассказывал, что его вызывали и предлагали на выбор или самому уехать на Запад, или его отправят на Восток. Из-за сына он выбрал первый вариант.

**Когда Вы последний раз видели Якобсона? Ваши мысли о его вынужденной эмиграции и трагической смерти.**

Последний раз мы виделись с Якобсоном в Хлыновском тупике перед домом, где жила его мать. Уговаривать людей в таком случае не имело смысла, но мы понимали, что это для него катастрофа. Понимали, что эта жертва во имя Сани, он нам много рассказывал о его болезни почек и надеялся, что в Израиле его вылечат. От друзей мы знали, в каком душевном кошмаре он там оказался, надеялись, что его занятия Пастернаком помогут и поддержат его. Но, конечно, если здесь, в России он жил в постоянной борьбе с реальной опасностью, то там он оказался без этой необходимости, поддерживавшей его.

**Юна Вертман проводила у себя дома встречи памяти Якобсона после его смерти. Вы, Елена Владимировна и Вячеслав Всеволодович Иванов присутствовали на них. Расскажите об этих встречах.**

Я помню, что Юна отмечала годовщины смерти Якобсона 28 сентября, мы несколько раз там бывали. Не помню там в это время Вяч. Вс. Иванова. Мы слушали записи голоса Анатолия Александровича, его лекции и что-то еще. Мне не запомнилось ничего значительного,

что там говорилось. Кто-то что-то вспоминал, но этот жанр требует особого вдохновения и убийственно труден. Для меня это были очень грустные сборища, я чувствовал себя там неловко, и милые и значительные люди, которые там собирались, были близкими друзьями Яacobсона, его обществом, в котором мы были чужими.

**Прошло более 30 лет со дня смерти Анатолия Яacobсона. Выросло поколение россиян, которое очень мало знает об истории правозащитного движения. Одна из ведущих радиостанции «Эхо Москвы» в беседе с Александром Даниэлем<sup>1</sup> назвала Анатолия Яacobсона «внутренним эмигрантом». Как бы Вы прокомментировали это высказывание?**

Понятие «внутренний эмигрант» появилось среди эмигрантов 30-х годов в Париже, сейчас не помню, кто его первым придумал. Так называли Ахматову, Пастернака, когда хотели обозначить их отрыв от советского общества, и в положительном смысле у них, и в отрицательном — у нас (во время Нобелевской травли, например). Яacobсон был активным героем и борцом с этим обществом, его участие в правозащитном движении было подвигом. Этих людей было немного, но они не были одиноки, очень многие, даже не участвуя, сочувствовали и поддерживали их. Думаю, что этот ярлык к нему не подходит. Но каждый волен понимать это по-своему.

*Москва  
15 декабря 2009*

<sup>1</sup> Источник: Эхо Москвы, Передача «Книжное казино». Тема: Книги серии «Свободный человек». Новая книга Н. Горбаневской «Полдень», 21 октября 2007. <http://echo.msk.ru/programs/kazino/55697.phtml>



*Сусанна Печуро*<sup>1</sup>

## **Мой друг Толя Яковсон**<sup>2</sup>

...одно время, — несколько лет, — мы были очень дружны с Толей. Потом как-то жизнь немножко развела, хотя отношения тепла, близости и нежности оставались всегда. Ну, вот, у нас с Толей была такая дружба, — у Майи в книжке написано, — что я была для него Прекрасной Дамой<sup>3</sup>. Я не знаю, мы никогда на эти темы не говорили. Мы очень четко держали свою дружбу без каких бы то ни было осложнений для себя и для окружающих. Так нам было проще, легче, и так мы чувствовали себя свободно и честно по отношению к тем, с кем мы были близки и дружны.

Так вот, вечером 25 апреля 1956 года нас<sup>4</sup> выпустили из тюрьмы. После чего дома у нас — у меня во всяком случае — началось полное столпотворение: с утра до ночи там толпились мои московские друзья — и те, что были друзьями, и новые люди, которых они приводили, которые — пока мы сидели — стали их друзьями, и прочее, прочее. Читали стихи целыми днями, то есть было стихийное бедствие, как кто-то сказал, потому что стихи были просто круглые сутки. И в один из дней пришел мой друг Саша Тимофеевский<sup>5</sup>, с которым мы были дружны еще с литературного кружка<sup>6</sup>, а с ним такой плотный парень, круглолицый, с крупными чертами лица, губастый такой, с большими синими глазами, кудрявый, взлохмаченный... И Саша сказал:

— Знакомься, это мой друг Толя Яковсон, это настоящий человек.<sup>7</sup>

— Ну, Господи, слава Богу, еще один! Здравствуй, Толя, я Сусанна.

— Ой, сколько я про тебя слышал, Сашка мне все уши прожужжал, пока вы там сидели!

Потом чаепитие, застолье, Толя говорит не переставая, и все, что он говорит, каждый раз остроумно и очень кстати, и все смеются и радуются... Потом он поднимает рюмку с вином и говорит:

— Ну, за вас за всех, конечно! Знаете, когда я на вас смотрю, — я вам так завидую! Я иду по улице и мне очень хочется подойти к первому милиционеру и сказать: «Слушай, посади меня, ну хоть на год, а то ведь потом мне никто не поверит, что я был порядочным человеком, если я не сидел».

Вот это Толя, с этого началось.

Дальше Толя у меня дневал и ночевал, но вернулись Улановские, у которых не было своего угла, — прошло несколько месяцев прежде чем им дали комнату, а жить было негде, — и поэтому все друзья устраивали у себя хотя бы кого-нибудь из Улановских. А Толя жил тогда в Хлыновском тупике, это такой маленький переулочек, как ап-

пендикс, напротив Консерватории, упирающийся в редакцию газеты «Гудок». Одноэтажный дом, и там, в коммунальной квартире, была большая комната, где жил Толя с матерью. Там вечно был ералаш, всегда открытое окно. И Толя, с согласия матери, позвал Майю жить у них. Поставили какую-то драную ширму, и Майя поселилась у них. Я бывала у Толи очень часто, потому что начала готовиться к экзаменам в университет. Сначала я сдавала все экзамены за курс средней школы, а потом стала готовиться к экзаменам в университет. Времени было мало, а сил просто никаких, я почти не видела, и поэтому мои друзья помогали мне готовиться: они читали вслух или наговаривали, начитывали лекции по разным темам, а Толя готовил меня по истории. Это каждый раз был блеск, каждая его лекция была чудом. Толя ходил со мной на экзамены и ждал меня в коридоре каждый раз, не только по истории, на все экзамены, которые я сдавала в университет, переживал за меня ужасно. А в какие-то короткие перерывы между лекциями Толя читал стихи, — свои стихи, чужие стихи. Стихов он знал такое количество, что казалось, просто он весь ими пропитан, и читал очень здорово. Кстати, от него первого я потом услышала стихи Самойлова<sup>8</sup>, от него первого я услышала о Коржавине<sup>9</sup>.

Я тогда была уже замужем, у меня была Маша, старшая моя дочка. Мы жили в крохотной комнатенке на Бауманской. И вот, я помню, в этой комнатенке — Толя, так очень театрально и энергично жестикулируя, читает мне только что им услышанные от Самойлова — он от Самойлова пришел ко мне, весь переполненный, — стихи «Анна, Пестель и поэт»<sup>10</sup>. И то, что меня потрясло и до сих пор для меня очень важно, — «Иван Грозный»: «Умирает царь, православный царь, / Колокол стозвонный раскачал звонарь...»<sup>11</sup>. Как Толя читал! Вот для меня эти стихи слышны его голосом всю жизнь, я слышу, когда я их читаю, слышу Толин голос и вижу Толины жесты при этом.

Я бывала часто у Толи тоже, потому что напротив Консерватории — там университет, во дворе был истфак, и когда я туда ходила на консультации какие-нибудь, очередные фокусы с документами улаживать и прочее, я оттуда заходила к Толе. И вот помню такой эпизод. Подхожу к Толиной квартире и кричу в окно:

— Тошка! — молчание.

— Тошка! — А Татьяна Сергеевна, его мать, тогда в больнице была.

— Тошка! — окно настезь, никого нет. Я полезла в окно, сзади меня кто-то подталкивает и говорит:

— Ну-ка, давай я тебе помогу! — Я прыгаю с подоконника в комнату, за мной следом прыгает молодой человек, ярко рыжего цвета, и говорит:

— Привет, привет! Ты к Толе?

— К Толе.

— Я тоже к Толе. Ты Сусанна?

— Да, — говорю.

— Ага, а я Феликс Раскольников, Толин друг.

Вот нравы были такие. Толин друг, Феликс Раскольников, учитель. Мы с ним потом дружили. Он возил своих школьников, например, куда-нибудь в парк на прогулку, и я ездила с ними вместе, и он мне показывал на своих учеников и говорил: «Ты посмотри на них, они же прозрачные как стеклышки, они же святые все». Он работал во Второй школе, потом его выгнали, в конце концов он эмигрировал, и сейчас, насколько я знаю, он жив, в Америке. И вот это Толина среда, все было связано с Толей. Мы его Тошкой звали всегда.

Толя ходил со мной всегда на мои экзамены в университет и очень за меня переживал. Меня все-таки не взяли: у меня была четверка по географии, причем четверка, потому что я не помнила, что к нам приезжал в СССР У Ну из Бирмы, я не могла этого помнить, потому что просто не знала, в это время сидела. Ну вот, мне поставили четверку. С одной четверкой меня не взяли, потому что была судима. Председатель приемной комиссии и секретарь парторганизации факультета, Николай Григорьевич Обушенков<sup>12</sup>, теперь очень известный человек, очень за меня болел. (Он через полгода сел по делу Льва Краснопевцева<sup>13</sup>). Так вот, он сказал Толе: «О, черт бы драл их, если бы была справка, например, о том, что она работала эти годы. Все, как работающая, она бы пошла без всяких разговоров». Толя сказал: «Хорошо, я все понял», и в тот же день уехал в Потьму<sup>14</sup>. Дальше подробностей я не знаю, знаю только, что он добрался до моего лагеря, каким-то фантастическим способом, поезда там не ходили, только узкоколейка, в общем что-то было... Там было километров 20 до этого лагпункта. Он добрался туда, сумел пробиться к начальнику лагеря, пил с ним целую ночь и объяснял, что вот такая девчонка была, а теперь ей надо помочь. И начальник лагеря написал справку о том, что я работала на швейной фабрике № 14 лекальщицей<sup>15</sup>. С этой справкой Толя поехал обратно. Дело было рано утром, около 6, я еще спала. Раздался звонок в дверь, отец открыл. А была дождливая ночь. Толя, весь мокрый — с него лило, ворвался в квартиру, подбежал к дивану, на котором я спала, встал на колени, протянул мне эту справку:

— На, учись, ты будешь учиться, я сделал все, что мог!

В это время он перешел на последний курс истфака МОПИ, женился на Майе, они там так и жили у него в комнате. Мы с ним очень часто встречались в Исторической библиотеке. Я приходила туда заниматься, он тоже, если кто-нибудь из нас приходил раньше, то мы занимали место, сидели рядом. Он мне очень во многом помогал, он всегда помогал, он всегда объяснял, если я чего-нибудь не знала, не понимала. Он всегда рассказывал еще, плюс к тому, что я могла прочесть и послу-

шать на лекции, то есть вообще Толина школа для меня была почти так же значительна, как школа Сигурда Оттовича Шмидта<sup>16</sup>, несмотря, конечно, на очень большую разницу в знаниях, опыте и так далее.

Но Толя, Тошка был еще такой смешной и остроумный человек, он вообще, по-моему, ничего не пропускал мимо. Толя на все смотрел широко открытыми глазами, и все были ему интересны. Ну, вот такой смешной разговор был. Мы сидим с Толей, занимаемся, а напротив сидит какая-то девушка, беленькая такая, и явно пытается его задеть. И Толя мне говорит на ухо: «Глупая, она меня ножкой толкает, она не понимает, что она блондинка, а я только брюнеток люблю».

После окончания института — а Толя кончил на год раньше: сдал экстерном все экзамены на пятерки и защитил диплом, — его куда на работу не брали, и он устроился грузчиком в типографию газеты «Гудок». И вот однажды пришли мы с Майей домой. Сидит Толя с бригадой грузчиков, водку пьют, а один старик грузчик оглядывается на Майю, хлопает ее по плечу и говорит: «Не журись, баба, твой мужик наипервейший грузчик будет».

Во второй половине 60-х мы виделись с Толей нечасто, Санька<sup>17</sup> приходил каждую неделю, с Майей я разговаривала по телефону, но виделись редко. Они в это время получили квартиру, переехали и были целиком поглощены диссидентской работой, вообще диссидентскими связями. Я была знакома со многими диссидентами, но в среде этой, чтобы часто среди них бывать — этого не было. Я занималась детьми, и своими и их детьми, потому что дети диссидентов ко мне ходили, и работала. Ну, естественно, занималась чтением, переписыванием, перепечатыванием самиздата, это само собой, но это не диссидентская, это околодиссидентская среда. До перехода во Вторую школу Толя работал в другой школе, и очень много интересного рассказывал о своих учениках, и хотя говорил, что среди них много совсем глупеньких и неразвитых, но все равно говорил о них всегда с большой теплотой. Вот, а когда перешел во Вторую школу, рассказывал, как он с ними на переменах и после занятий играл в футбол, как он им читал лекции по Серебряному веку, стихи — вообще эти ребята его очень увлекли тем, что каждый был личностью. Действительно, удивительные ребята были во Второй школе, было много выпусков, буквально один лучше другого, совершенно замечательные люди. Ну, это известная история, что Толя обещал, что если его начнут преследовать, он уйдет из школы, чтобы не подставлять школу, — и ушел.

Что получилось из этого всего? Мне рассказывали выпускники Второй школы, что они собираются проводить какой-то всемирный съезд второшкольников на тему: «Влияние Второй школы на формирование мировой интеллектуальной элиты». Вот Толиной души там было много в этом.

Когда я прощалась, это было очень горько — они уезжали... Я не заметила такого отчаяния у Майи, Майя была вся напряженная, ну, в общем, на самом деле все лежало на ней, а Толя был совершенно убит. Он говорил: «Прощаемся на всю жизнь, и что ж я уезжаю? Что ж я вас всех предаю? Это же предательство — мой отъезд! Чего я тюрьмы испугался? Да я не испугался тюрьмы, я за Саньку испугался. В конце концов, для того, чтобы Санька остался жив и на свободе, приходится жертвовать всем, чем только есть». И он ведь недолго выдержал. Когда я узнала о его гибели, это было, конечно, просто и страшно, и не то что необъяснимо, — как раз все объяснимо, — хотя объяснения никому не нужны, никому от этого не легче...

Москва  
октябрь 2005

- <sup>1</sup> Сусанна Соломоновна Печуро (р. 1933, Москва), член подпольной молодёжной организации «Союз борьбы за дело революции» (1950), арест 16 членов Союза в возрасте от 16 до 20 лет (1951), содержание в нескольких московских тюрьмах, длительное следствие с применением недозволённых методов, обвинение в планировании убийства Сталина, взрыва метрополитена и т. д., приговор к 25 годам ИТЛ и 5 годам поражения в правах с конфискацией имущества (1952), отбывание наказания в Минлаге (Инта). Многочисленные пересылки, этапы, смена 11 тюрем и 7 лагерей, в том числе Минлаг (Инта, Абезь), Дубравлаг (Мордовия), Владимирская тюрьма. Пересмотр дела и освобождение по амнистии (1956). Поступление в Историко-архивный институт, распространение вместе с мужем материалов самиздата (60-е годы), реабилитация (1989). Член рабочей коллегии, а затем — правления общества Мемориал (1989–2002). Остается действующим членом Мемориала.
- <sup>2</sup> Магнитофонная запись и расшифровка устного рассказа С. Печуро выполнена её внуком Алексеем Макаровым специально для Мемориальной сетевой страницы А. Якобсона. Примечания Сусанны Печуро и Алексея Макарова.
- <sup>3</sup> Беседа с А. А. Якобсоном (Иерусалим, апрель 1978). Н. и М. Улановские. «История одной семьи» С-Петербург, ИНАПРЕСС, 2003, с. 290.
- <sup>4</sup> Участников московской молодёжной антисталинской организации «Союз борьбы за дело революции», существовавшей в 1950-1951 гг.
- <sup>5</sup> Александр Павлович Тимофеевский (р. 1933), московский поэт и сценарист, муж Ирины Александровны Улановской (1937–1961).
- <sup>6</sup> Городского Дома пионеров, что в переулке Стопани (Ныне: «Переулок Огородная слобода») рядом с метро «Кировская» и зданием Швейцарского посольства.
- <sup>7</sup> «...я ввел в эту семью своего приятеля Толю Якобсона, с которым был знаком еще в школьные годы. Я с ним не учился. Он просто был моим соседом. Мы с ним подружились на почве того, что очень любили поэзию. Я помню, однажды на Герцена Якобсон говорит: «Хочешь, я тебе прочту стихи?». Я говорю: «Прочти». Он говорит: «Вот угадай, кто это? — Один

идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. А я иду — за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса». Я спрашиваю: «Кто это?» А это был 52-й год. Оказалось — Ахматова. Толя был богатырь. Он входил в десятку московской юношеской сборной по боксу. Блестящий шахматист. Эрудит, впоследствии друг Ахматовой, друг Тарковских, друг Самойлова, который посвятил Якобсону четыре стихотворения. Переводчик латиноамериканских поэтов. Диссидент, который начал вместе с Горбаневской и Якиром «Хронику текущих событий». И удивительный златоуст, любимец женщин. Его трудно было переспорить в какой-либо компании. Но меня он слушал с упоением. Я декламировал ему все новые свои вещи. Я помню, как он читал лекцию у себя в школе. Зал был набит, примерно так же, как на выступлениях Евтушенко, Вознесенского в то время.» См. Александр Тимофеевский. «Стихи навстречу дому» <http://nashaulitsa.narod.ru/Timofeevski.htm> (прим. В. Емельянова).

<sup>8</sup> Поэт Давид Самойлович Самойлов (1920–1990).

<sup>9</sup> Поэт Наум Моисеевич Коржавин (р. 1925).

<sup>10</sup> Стихотворение Д. Самойлова «Пестель, поэт и Анна».

<sup>11</sup> Стихотворение Д. Самойлова «Смерть Ивана» из цикла «Стихи о царе Иване».

<sup>12</sup> Обушенков Николай Григорьевич (р. 1929), историк. Арестован в Москве в августе 1957 г. по делу группы Краснопевцева. Осужден по ст. 58-10, 58-11 на 6 лет лагеря. (прим. А. Зарецкого).

<sup>13</sup> Лев Николаевич Краснопевцев (р. 1930), руководитель «Союза патриотов России» — кружка студентов и выпускников истфака МГУ, существовавшего в 1956-1957 годах. (прим. В. Емельянова).

<sup>14</sup> Железнодорожная станция, поселок городского типа в Мордовской АССР, в котором располагается управление Дубравлага.

<sup>15</sup> Швейная фабрика лагпункта № 14 в пос. Явас.

<sup>16</sup> Сигурд Оттович Шмидт (р. 1922), историк, академик (прим. В. Емельянова).

<sup>17</sup> Сын Анатолия Якобсона.

**Александр Тимофеевский<sup>1</sup>**

## **«Рассказ о Якобсоне»<sup>2</sup>**

### **Интервью Мемориальной странице**

Свой рассказ об Анатолии Александровиче Якобсоне я начну с маленького введения: наша дружба ложится на школьные и студенческие годы. Потом случилось так, что некоторое время мы с ним жили в разных городах. Тогда же у меня произошли трагические события — смерть жены — и года три после этого я жил анахоретом. Так что, разведенные в пространстве и жизненными обстоятельствами, мы в последние годы Толи Якобсона в Москве встречались уже реже. Мне хочется еще сказать, что я могу ошибаться в сообщении каких-то событий, и меня может подводить память.

Знакомство с Толей, как мне кажется, приходится на 1950 год, мы были тогда школьниками. Познакомила нас Рая Полянкер, вместе с которой я занимался в литературном кружке в Доме пионеров в переулке Стопани. В этом кружке была и Сусанна Печуро<sup>3</sup>, моя мальчишеская любовь, о которой я много рассказывал Толе<sup>4</sup>. Мы с ним оказались соседями: жили буквально в двух шагах друг от друга, и хотя учились в разных школах, но проходили одни и те же классы, и нас сразу связала любовь к поэзии. Собственно говоря, мы, Толя и я, тогда жили поэзией, для нас это было главным. Мы очень тесно тогда общались. В первые дни нашего знакомства и потом довольно долгие годы, наверное, не было дня, чтобы мы не виделись. Тошка часто бывал у нас дома, он был златоустом, и бабушка про себя называла Толю — *Гентоля* — гениальный Толя. В те времена Толя был девятиклассником. А потом Гентоля уже сам преподаватель в школе<sup>5</sup>, и вот в памяти навсегда остается переполненный актовъй зал школы, на окнах как гроздь винограда висят люди, чтобы послушать Гентолю, который выступает со своими докладами о поэзии, в частности, о комсомольских поэтах — Голодном, Уткине, Светлове.

Тогда в юности наши дни протекали в бесконечных разговорах о поэзии. Случались в связи с этим и забавные происшествия. Помню такой случай: однажды мы идем с Толей, с неба летит что-то снежное, о чем-то с ним горячо спорим, читаем друг другу стихи, я курю и, по школьной привычке, на всякий случай сую горящую сигарету в карман. Потом я говорю: «Слушай, Толя, тебе не кажется, что откуда-то дым, что-то горит». Он отвечает: «Идиот, это ты горишь!». Сигарета подожгла ватную подкладку, и пальто загорелось внутри. Мы бросили его в снег и исполнили на нем танец диких индейцев.

Замечательная черта Толи — его гармоничность. Он был блистательным эрудитом, поэтом, переводчиком, другом поэтов, вольнодумцем и диссидентом. И он был необычайно сильный человек физически. В те годы, когда мы с ним познакомились, и чуть позже он входил в десятку московской юношеской сборной по боксу. Он был великолепным боксером. Как известно, какое-то время подрабатывал грузчиком, мог поднимать огромные тяжести, вдобавок ко всему этому был великолепным шахматистом. И вот его интеллект и физическая сила делали его человеком необычайно гармоничным. Женщины его обожали, иного слова даже и не подобрать. Те москвички, которые помнят Якобсона, говорят о нем исключительно с обожанием.

Надо сказать еще о двух чертах: он был рыцарем, и это слово хочется повторять и ставить после него восклицательный знак. Дело в том, что людей великодушных и порядочных, готовых на сильные и добрые поступки, не так уж мало, но это еще не значит быть рыцарем. Якобсон совершал великодушные действия, не размышляя. Если он видел, что оскорбляют слабого, женщину или ребенка, он немедленно бросался на защиту, не ища в этих ситуациях рационального решения, хоть против десятка человек. Таких людей, прожив долгую жизнь, я встречал немного. Также немного я знал людей, так чувствующих поэзию. Людей, которые понимают в поэзии, я полагаю, меньше, чем самих поэтов. Их можно сосчитать по пальцам. Якобсон чувствовал поэзию бесподобно. В детстве и юности мы дарили друг другу поэтов. Толя открыл мне Цветаеву, открыл в свое время Мандельштама. Дело в том, что я как-то умудрился совершенно равнодушно отнестись к Цветаевой, прочтя ее в десятом классе в Исторической библиотеке<sup>6</sup>, мне ее поэзия показалась неинтересной. Открыл «новую» Ахматову пятидесятых годов. Произошло это так: мы с ним переходим улицу, идем к тому месту, где он жил, к Хлыновскому тупику на углу улицы Герцена. Толя раскуривает сигарету, говорит: «Хочешь, я тебе прочту стихи?» — «Прочти». — «Ну вот послушай»:

Один идет прямым путем,  
 Другой идет по кругу  
 И ждет возврата в отчий дом,  
 Ждет прежнюю подругу.  
 А я иду — за мной беда,  
 Не прямо и не косо,  
 А в никуда и в никогда,  
 Как поезда с откоса.<sup>7</sup>

Он меня спрашивает: «Как ты думаешь, чьи это стихи, по крайней мере, кто написал, мужчина или женщина?» Я думаю: стихи напористые, жесткие, и говорю: «Конечно, мужчина». — «Нет, это написала



Анна Андреевна Ахматова». Надо Вам сказать, что Толя познакомил меня с Марией Петровых. Он меня привел к ней, и воспоминание об этом осталось у меня на всю жизнь.

А я подарил Толе комсомольских поэтов: Голодного, Уткина, Светлова и своего любимого Федерико Гарсиа Лорку. Лорку он полюбил и вошел в него, если можно так выразиться, гораздо глубже, потому что стал переводчиком испанского поэта. Работая над переводами, он приобрел дружбу и привязанность Анатолия Гелескула, замечательного человека и одного из лучших переводчиков латиноамериканских поэтов.

А вот пример Толиного рыцарства — мгновенная помощь Сусанне Печуро. Когда она вернулась из ГУЛАГа, ее не брали в университет, и ей очень помогла бы справка о трудовом стаже. Якобсон поехал в ГУЛАГ<sup>8</sup>, задобрив начальника лагеря бутылкой коньяка, и тот дал справку, что гражданка Сусанна Печуро работала в этих местах. Когда Толя с этой справкой вернулся, потрясенная директриса обняла Сусанну и сказала: «Что же вы раньше об этом не сказали?!». И Сусанну на ура приняли в институт, в который она хотела поступить<sup>9</sup>. И вот такую душевную щедрость я не встречал, точнее, встречал, но довольно редко. В школе я был страшным лоботрясом, и Якобсон тащил меня за собой, очень помогал мне по математике, физике, химии, — просто был моим куратором.

Когда я уже учился в институте, я как-то ушел из дома, и меня приютили Толя и его замечательная мама Татьяна Сергеевна, необычайно сердечный, ласковый, добрый, умный и интеллигентный человек. Я думаю, что часть своей души она вложила в Толю, и, благодаря маме, Толя и вырос таким добрым, таким рыцарем, таким отзывчивым. Они оба были такими. Я жил у Якобсонов. Утро, я просыпаюсь, Толя читает газету, говорит: «Вот такие вот новости: Хрущев послал поздравление Захер-шаху». — «Как, как, — говорю — зовут шаха?». Он повторяет: «Захер». Я говорю: «Забожись». Якобсон отвечает: «Гадом буду, век воли не видать». А у нас всегда по утрам была утренняя разминка: сочиняли утром, как делали гимнастику, по несколько стихов. Проходит минуты полторы. Я говорю: «Вот моя разминка»:

Друзьям в пример, врагам для страху  
Письмо Захер послали шаху.  
Шах восхищен сверх всяких мер  
Вновь на письмо пришлет нам хер.

Якобсон: «Хорошие стихи, но прости, я тебя обманул, его звали — Захир<sup>10</sup>».

#### **А вы записывали эти стихи?**

Да, записывали. В те времена Толя очень любил мои стихи. Мне кажется, ему нравилось одно стихотворение, посвященное Сусанне Пе-

чуро, которое я послал ей в лагерь в числе прочих. Оно прошло через цензуру, она его получила. Оно короткое, его можно процитировать.

Ты — как за тысячу веков,  
 Ты — страшно далека,  
 Ты — из приснившихся стихов  
 Последняя строка.  
 Строка, которой мне не в труд  
 Любых певцов забить,  
 Строка, которой поутру  
 Ни вспомнить, ни забыть.

В те времена Якобсон сблизился с Анной Андреевной Ахматовой и довольно часто бывал в Ленинграде, он отвез ей подборку моих стихов, там было и это стихотворение. Надо сказать, что если Толя брался за какое-либо дело, то вкладывал в него всю душу. Так было в нашей юношеской дружбе с моими стихами, он знал их на память лучше, чем я. Потом он разлюбил их, и так у него было во всем и всегда: страсть пришла, страсть ушла.

Мы с Толей были женаты на двух сестрах. Познакомились с двумя сестрами: Ириной Улановской и Майей Улановской. И вот такая мальчишеская, отроческая дружба привела к тому, что мы выбрали себе в жены двух сестер, и это как бы продолжало нас сближать, продолжало нашу дружбу. Но потом, к сожалению, возникли обстоятельства, которые ей мешали. А тогда мы весело отпраздновали две свадьбы, у нас собралось очень много друзей. Якобсон поражал всех своим радикализмом, и я, дразня его, сочинил такие стишки:

Дивятся юноши и девы,  
 Друзья завидуют, враги...  
 Ведь ты стоишь левее левой  
 Своей же собственной ноги.

Провожая друзей, мы выходили, пели: «Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог...»<sup>11</sup> или «Я не знаю, где встретиться нам придется с тобой»<sup>12</sup>. Но, однако, быт был достаточно тяжелым, в одной комнате нас жило 7 человек<sup>13</sup>. Толя стал активно заниматься переводами, а мне, чтобы зарабатывать на жизнь, пришлось уехать в Душанбе. Вот таким вот образом мы раскололись. Друг другу мы никогда не писали. Но Толя приехал в Душанбе, и, конечно, его приезд был для меня огромной радостью. Я давно не видел друга, и вот друг приехал. Толя приехал со своим приятелем, имя которого называть сейчас не хочу. Дело в том, что в моих глазах этот человек подобен Азефу. Он был необычайно красив, умен, интересен и блистательно талантлив. Однако в Душанбе жили люди, которые узнали в нем стукача. В Душанбе жил

мой знакомый, на которого, как он считал, приятель Якобсона доносил еще при Сталине. Я говорил об этом потом Толе, но он отнесся к этому с сомнением. Я вспоминаю сейчас об этом, чтобы показать Толю великодушие. Толя всегда старался увидеть в человеке прекрасное и не хотел верить чернящим слухам. Если бы это интервью состоялось 10-15 лет назад, я бы, пожалуй, назвал фамилию того человека, но сейчас мне не хочется, потому что есть сомнения. И если они невелики, один процент из ста, все равно они существуют. Кстати, как я уже говорил, человек этот в некотором роде был замечательный, снискал себе много поклонников, которые не верили в то, что он был стукачом. Короче, не хочу омрачать его память, потому что его уже нет, он умер, а Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете». Так вот, приезд Толи в Душанбе был большим для меня праздником. Не помню, сколько он пробыл, наверное, месяц. А потом мы опять с ним надолго расстались. Потом умерла Ирина, у меня были большие неприятности, связанные с КГБ, когда меня таскали за мои стихи<sup>14</sup>. Мне казалось, что у нас близкая ситуация с Якобсоном. Я написал стихотворение, оно было как бы про меня, но я думал, что оно и про Толю тоже. Как бы идем по одной дорожке, одной судьбой. Стихотворение было такое:

Я беглый каторжник, и бедный  
Конторщик, писарь, дырокол,  
И стал я притчею всеедной  
На языках у дураков.  
Уж так я тих и незаметен,  
Что лучше им не есть, не пить,  
Чем взять меня в тенета сплетен,  
Борзыми суками травить.  
Им злость мою поймать охота,  
А я таю ее, таю,  
И по старинке выдаю  
Не по любви, а по расчету.

Надо сказать, что это стихотворение Толе не понравилось: он был строг по отношению к русскому языку, и ему не понравились мои вольности. Постепенно его интерес к моей поэзии стал пропадать.

В то время, после смерти жены, я много пил, временами бывал у Якобсона. Помню страшное ощущение похмелья, когда события прошедшей ночи начисто выпадают из памяти. Утром спрашиваю: «Толя, что было со мной?» — «Да так — ничего». Я говорю: «Но все же?». — «Да ничего особенного». Я говорю: «Толя, мне ужасно хочется знать, что произошло». Якобсон, помолчав: «Ну, трахнул квартирную хозяйку, старушку». — «А сколько ей лет?». — «Да лет 90». Такие были шутки.

После смерти Иры мы жили в Москве в разных районах, встречались все реже и реже. Когда произошли события в Чехословакии, Якобсона не было в Москве, но я уверен, что если бы он был, то он пошел бы на Красную площадь и «приковал» бы себя к Лобному месту, как это сделали его друзья: Горбаневская и другие<sup>15</sup>. Я в тот день написал такое стихотворение:

Я добегу туда в тревоге  
И молча стану,  
И мать в канаве у дороги  
Увижу пьяной.  
Ее глаза увижу злые,  
Лицо чужое,  
И космы редкие, седые  
Платком прикрою.  
Услышу запах перегара  
И алкоголя.  
И помогу подняться старой —  
Пойдем-ка, что ли...  
И мать потащится за мною  
Мостком дощатым,  
Хрипя и брызгая слюною,  
Ругаясь матом.  
Мне трудно будет с нею пьяной,  
Тупой и дикой,  
И проходящие все станут  
В нас пальцем тыкать.  
А мне, мальчишке, словно камень,  
Позор сыновний,  
Как будто в этом страшном сраме  
Я сам виновен,  
Как будто по уши измаран  
В чужой блевоте.  
Измаран, что ж... Еще мне мало,  
Я плоть от плоти!  
И удержать рыданья силясь,  
Я тихо плачу.  
О, пусть скорей глаза мне выест  
Мой стыд ребячий.  
И я тяну ее упрямо,  
От слез слабея,  
Хочу ей крикнуть: — Опомнись, мама!  
Да не умею.

Я написал эти стихи мгновенно, сразу же, как услышал сообщение о введении наших войск в Чехословакию, которое было передано на следующий день после самого ввода. Ну, а Толя я их прочел через несколько дней, когда он вернулся в Москву: «Толя, ну как?». — «Никак». Я говорю: «А почему?» — «А потому, что она мне не мать», — ответил Якобсон.

Мне все же кажется, что это была сиюминутная реакция. Жалею, что потом мы не продолжили этот разговор. Но, насколько я знаю Толю, я думаю, что это было чувство страшного протеста, возмущения, которое дошло до своего предела, когда говорится: она мне не мать. В какой-то ситуации так сгоряча можно сказать и о своей родной матери.

Помню дни Толиного отъезда<sup>16</sup>. Тогда, в пустой квартире, он в страшном напряжении и волнении: он пьет, но хмель его не берет, он голый, друг обливает его холодной водой. Толя пытается выучить наизусть стих Самойлова, который Самойлов ему посвятил:

...И тогда узнаешь вдруг,  
Как звучит родное слово.  
Ведь оно не смысл и звук,  
А уток пережитого,  
Колыбельная основа  
Наших радостей и мук.

Толя страшно нервничает, записать стихотворение нельзя, на таможне обыскивают с ног до головы. И он волнуется, заучивая наизусть.

Толя любил стихи Самойлова. С какой радостью однажды он прибежал и читал замечательные стихи поэта: «Давай поедem в город, где мы с тобой бывали...» и финал стихотворения:

...О, как я поздно понял,  
Что тоже существую,  
Что я имею сердце,  
Имею кровь живую,  
Что я наполнен словом,  
Что я владею речью,  
И что нельзя беречься,  
И что нельзя беречься».

Так было написано в первом варианте, которому радовался Толя, который был лучше того, что поэт впоследствии опубликовал<sup>17</sup>.

Самойлов написал и посвятил Якобсону, мне кажется, четыре или пять стихотворений. В посвящениях он писал «А. Я.». Первое я уже процитировал: «И тогда узнаешь вдруг, как звучит родное слово...». Было еще стихотворение «Прощание». Это стихотворение мне сильно

не нравится. Самойлов, конечно, любил Анатолия Александровича, но, мне кажется, был к нему несправедлив, когда писал:

Он создан был не восставать —  
Он был назначен воздавать,  
Он был назначен целовать  
Плечо пророка».

Я совершенно не могу принять этих стихов, потому что, во-первых, для меня эти фигуры равновелики — Самойлов и Якобсон. Не знаю, кто из них крупнее и замечательнее как личность. Якобсон совсем не годился для того, чтобы целовать плечо пророка — боюсь, что Самойлов подразумевал свое собственное плечо. Кроме того, Самойлов, видимо, не понял причин отъезда Якобсона в Израиль. Я говорил, что Якобсон был рыцарь по отношению к людям, и к поэзии тоже. Он был верен тому, что любил, но он был человеком долга. Он не мог не уехать потому, что отвечал за судьбу сына, он считал: если его посадят, то Санька будет обречен, и его жизнь будет загублена. Этого не мог понять Самойлов, но это прекрасно понимала и чувствовала любившая его как сына Мария Сергеевна Петровых. Каким глубоким чувством к Толе и пониманием его предназначения проникнуто ее письмо, вызванное отъездом Якобсона в Израиль<sup>18</sup>.

Мне без конца, все время, до сегодняшнего дня, не хватает Толи и не хватает разговоров о том, о чем не успели поговорить, что было открыто потом. Скажем, Хлебников. Мой любимый. Так получилось, что я с Якобсоном никогда не говорил о Хлебникове. Вот теперь нет возможности...

### **Вопросы, присланные Александром Зарецким.**

**Как Тимофеевский познакомился с Якобсоном? История знакомства, компания друзей.**<sup>19</sup>

Мне кажется, я об этом рассказал. Могу только добавить, что в школьные годы еще какую-то роль в нашей дружбе сыграл одноклассник Толи — Вася Королев. Такая вот была дружба троих.

**Кого Якобсон считал лучшим поэтом-современником, из тех, кто творил в 1950–1960-е годы?**

Ну, я думаю, Бориса Леонидовича Пастернака, из живых, потом, естественно, Анну Андреевну Ахматову, с которой он дружил и был близок, также Самойлова. С семьей Тарковских он тоже был близок. А из ушедших — Марину Цветаеву, Мандельштама.

### **А Борис Слуцкий, военные поэты?**

Борис Слуцкий? Боюсь навязать свое отношение к нему. Я отношусь очень положительно к Борису Слуцкому, и мне кажется, что Толя тоже. Мы читали появившиеся в те времена стихи:

Покуда над стихами плачут,  
Пока в газетах их порочат,  
Пока их в дальний ящик прячут,  
Покуда в лагеря их прочат...  
До той поры не оскудело,  
Не отзвенело наше дело.  
Оно как «Польша не сгинела»,  
Хоть выдержала три раздела.<sup>20</sup>

Я считаю, что это был поэтический гимн хрущевской оттепели. Мне кажется, что и Толя думал так же. Очень интересно, что на одном дыхании со Слуцким звучат и стихи Пастернака:

Ты значил все в моей судьбе.  
Потом пришла война, разруха,  
И долго-долго о тебе  
Ни слуха не было, ни духу  
И через много-много лет  
Твой голос вновь меня встревожил.  
Всю ночь читал я твой завет  
И как от обморока ожил.  
Мне к людям хочется, в толпу,  
В их уличное оживленье.  
Я все готов разнести в щепу  
И всех поставить на колени»<sup>21</sup>.

Для меня эти два стихотворения созвучны. В обоих ощущение новизны и предчувствие перемен. Хотя Слуцкий совершил трагическую ошибку, выступив против Пастернака<sup>22</sup>, он всю жизнь испытывал чувство вины, от чего, кажется, в конце концов сошел с ума и погиб. Между тем, их обоих на одной волне подняло время. Кажется, так думал и Толя.

Известна замечательная работа Яacobсона о Блоке<sup>23</sup>, которого он очень любил. Из живущих — он не был большим поклонником Бродского. И так и остался в сомнениях насчет его поэтического таланта.

### **А Твардовский?**

Весь наш круг (Толю, Майю, меня, Ирину) восхитила поэма «Теркин в аду»<sup>24</sup>.

**Интересно, а до 1953–1956 годов вы читали и обсуждали неопубликованные стихи Ахматовой, знал ли их Яacobсон?**

Ахматовское стихотворение, которое прочел мне Толя, было не опубликовано. Мы читали неопубликованные стихи и других, в том числе комсомольских, поэтов. Например, стихотворение «Верка»<sup>25</sup>

Михаила Голодного. Вернее, оно было издано в 1920-х годах, а потом больше никогда не переиздавалось. Мы не раз об этом говорили. Позднее Якобсон увидел, как известно, в комсомольских поэтах трубадуров тоталитарного коммунистического режима и об этом подробно писал. После 1956 года мы читали неопубликованные стихи Слуцкого, Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, а также современных поэтов, того же Бродского, Уфлянда, Еремина, Холина, Сапгира, стихи, которые были опубликованы в «Синтаксисе» Алика Гинзбурга<sup>26</sup>.

**Так Вы просто наизусть помнили или все-таки стихи ходили в списках?**

Стихи ходили в списках. Вот замечательная история. После того, как Пастернак получил Нобелевскую премию и началась его травля, я поехал к нему со своими друзьями. Борис Леонидович, ничтоже сумняшеся, дал нам, незнакомым людям, которые пришли высказать ему свое сочувствие и восторг по отношению к его поэзии, свои новые стихи, напечатанные на машинке. Вот степень доверия: во времена травли он не подумал, что мы могли быть стукачами и вообще злодеями, хотя до нас к нему приезжали студенты Литературного института и били стекла на его даче. И вот, несмотря на это, он так свободно дал нам свою «Нобелевскую премию». Я передал стихи Толе, а Толя эти стихи распространял, и так вот распространялась «Я пропал, как зверь в загоне...» и еще ряд стихов, которые тогда назывались продолжением цикла «Когда разгуляется». Очень жаль, что эти набранные на машинке рукой Пастернака листочки не сохранились.

**Реакция Якобсона на травлю Бориса Пастернака?**

Мы с Толей возмущались тем, что травят такого замечательного человека, великого поэта.

**Якобсон был боксером. Бывало, что он защищал физически, применял ли он боксерские навыки при защите друзей?**

Якобсон был рыцарем, этим все сказано.

**Расскажите о беседах в курилке Ленинки<sup>27</sup>, участвовал ли в них Якобсон, как вообще это происходило, боялись ли стукачей, например?**

Беседы в курилке Ленинки, в Исторической библиотеке были совершенно замечательны, но, к сожалению, мы не бывали там вместе с Толей. Видимо, у нас был разный режим. Что касается меня, то я участвовал в таких беседах, но мы были довольно наивными людьми, и я и мои собеседники не боялись стукачей. Надо сказать, что еще в 1952 году в Исторической библиотеке я получил полные стенограммы съездов партии. Вот, кстати, это я обсуждал с Якобсоном, и это нас двигало в сторону вольнодумства, радикального мышления в вопросах о советской власти. Ну, конечно, мы думали в других категориях, но сте-



нограммы меня поразили. В то время, когда сажали, давали 10 лет, если находили у кого-то во время обыска эти самые стенограммы, я в 1952 году просто заказал их в библиотеке, а там звучали слова: «Мы не дадим крови Бухарина»<sup>28</sup> и тому подобное... Короче говоря, из стенограмм съездов вырисовывалась совершенно иная история партии. Так что отголоски этих бесед в курилке, конечно, были. В 50-е годы я написал стихи «На смерть Фадеева»<sup>29</sup>, там были такие строчки:

...Ты умер. А как же отчизна —  
Забудет, осудит, простит?  
Как приговор соцреализму  
Твой выстрел короткий звучит.  
И нету ни горя, ни боли,  
Лишь всюду твердят об одном,  
Что был ренегат-алкоголик  
России духовным вождем.  
Для нас это, впрочем, не ново,  
Не тратьте на мертвых слова.  
Пока существует основа,  
Покуда система жива!

Стихи печатались в нескольких домах на нескольких пишущих машинках, была задумана акция разбросать их как листовки с хоров Ленинской библиотеки, но я заболел, попал в Боткинскую больницу, и эта акция не осуществилась.

### **Это было в 1956 году?**

Да. В 1956 году, стихотворение было написано через несколько часов после сообщения о самоубийстве писателя. Это, конечно, все обсуждалось с Толей.

### **Якобсон, Тимофеевский и марксизм.**

В начале 50-х годов мы не раз спорили с Якобсоном о марксизме. Тогда еще он был ярким апологетом оного, я — противником. Будучи не очень силен в философии, я больше полагался на интуицию и донимал Толю шутками такого рода:

Узнав, что Карла звали Марксом,  
Мой друг был взбудоражен так сам,  
Что эту весть разнес повсюду:  
Орал, доказывал, будил,  
Охрип, промок, схватил простуду...  
Но, впрочем, многих убедил.

**Принимал ли участие Якобсон в Фестивале молодежи 1957 года, были ли какие-то попытки неофициальных контактов?**

Мне кажется, что до сих пор ничего подобного Московскому фестивалю молодежи 1957 года не было. Я вспоминаю себя вместе со своей женой Ириной во время этого фестиваля, но Толю рядом не вижу. Видимо, он был где-то в других местах. Вообще, вопрос про попытки — смешной. Вспоминая эти дни, я думаю, что молодежи никогда так легко и свободно не дышалось. Это было ощущение абсолютной свободы, нам не надо было делать никаких попыток и вступать в какой-то контакт, эти контакты происходили через каждые два шага. Вся молодежь вышла на улицы, в каждом переулке собиралась толпа, и там был какой-нибудь толмач, который переводил, и мы разговаривали с американцами, англичанами, арабами, французами, израильтянами... И самое главное — нам не мешали менты или особысты. Их просто не было.

### **Какие были отношения Якобсона и Ирины Улановской?**

Это были нежные и самые дружеские отношения. Толя называл мою жену малышкой.

### ***Якобсон. Богема и андеграунд. Подвал Тимофеевского.***

Я не очень понимаю вопрос. Дело в том, что было два подвала. Полуподвал у Даниэля незадолго до его ареста и подвал у меня. Я не подозревал, что Даниэль автор вещей, о которых все тогда говорили. У меня был замечательный разговор с Аликом Гинзбургом. Как-то раз мы гуляли по Москве, и он говорит: «А я знаю, кто автор «Дня открытых убийств»<sup>30</sup>. Хочешь, я тебе скажу?». А я говорю: «Нет, спасибо, не хочу. Маленькое знание — маленькие бедки». Смешно: как-то, придя в подвал к Даниэлю, я сел на подоконник и прочел такие стихи:

Где ж ты братство, товариство?  
С кем в родстве, в кумовстве?  
В ожидании ареста  
Я кружу по Москве...

На самом деле в ожидании ареста находился сам хозяин дома. Его арестовали через несколько дней после этой встречи<sup>31</sup>. Надо сказать, что когда Даниэль вернулся из лагеря, он мне это стихотворение припомнил.

А другой подвал, где действительно собирался андеграунд, был у меня в Хавско-Шаболовском переулке. Я жил в подвале, где не работала канализация, нас заливало дерьмом, и мы ходили по мосткам. Но затем подвал расселили, оставались только мы, и у нас были ключи от 9 комнат. Каждый день собиралось от 40 до 50 человек. Кто хотел, оставался ночевать. Вот такая была история. Туда заходили Холин, Генрих Сапгир, Кожин, Сева Некрасов, Алик Гинзбург, там бывал и Толя Якобсон.

### **А как Якобсон относился к Коржавину, был ли он с ним знаком?**

С Коржавиным был знаком я, я считал его своим учителем. Но, насколько мне известно, Анатолий Александрович с ним не был знаком. Кстати, про списки стихов. Коржавин ходил тогда в списках... У меня память тогда была получше, и я читал наизусть многие его стихи:

Меня не прельщает гром ваших побед,  
Не прельщает совсем, никак.  
Революции, мальчик мой, больше нет,  
Остальное — грызня собак...

### **Якобсон и диссидентское движение, правозащитное движение? Вы знали, что он участвовал в редактировании «Хроники текущих событий»? <sup>32</sup>**

Да. Я об этом знал, но его активное участие в правозащитной деятельности началось в то время, когда я жил в Таджикистане, поэтому я знал об этом понаслышке, я был достаточно далеко...

### **То есть он не приносил Вам читать «Хронику»?**

Когда я жил в Душанбе, разумеется, нет... Потом, опять-таки, когда я вернулся в Москву, я очень тосковал после смерти жены, пьянствовал, совершал разные безумные поступки... Когда я перестал писать стихи, то главное, что нас объединяло с Толей, этот мостик, исчез.

### **А как Якобсон относился к Лидии Чуковской и Солженицыну?**

К Лидии Корнеевне — с любовью и преклонением, так же он относился и к Солженицыну. Дело в том, что весь наш круг и люди, близкие нашему кругу, относились с восхищением к Солженицыну. После отъезда<sup>33</sup> Александра Исаевича в обществе по отношению к нему возникли полемические и критические настроения. Но все это произошло значительно позже.

### **В эмиграции Якобсон писал Вам из Израиля?**

Нет, мы с ним не переписывались, и я расцениваю это как свой огромный грех. Уезжая, он поставил условие. Глупостью, конечно, было принимать это условие. В день отъезда Толя сказал мне: «Не пиши писем, для меня это было бы слишком тяжело». Поскольку мы друг с другом не переписывались, когда я жил в Таджикистане, то и тут я не стал писать, чего себе никогда не прощу. Это было то условие, которым следовало бы пренебречь.

### **Как Вы узнали о гибели Якобсона?**

Узнал от кого-то из общих знакомых, точно не помню. Но меня поразило, что он погиб в один день со смертью моей жены. Они оба погибли 28 сентября. Нет, не могу припомнить, от кого узнал о смерти Толи, но узнал очень быстро. Мне представляется, что я узнал об этом

на юге, и эти стихи были написаны через день или два после того, как я получил это страшное известие. Это было непроходящей болью. Стихи называются «Якобсон в Вене»:

К земле прижмет колеса  
И он уже не раб,  
Он раньше стюардессы  
Становится на трап.  
Ах, Вена, Вена, Вена —  
Свободная страна  
И воздухом свободы  
Душа упоена.  
В порту аэродрома  
Он как в лесу орет,  
И пальцами огромный  
Свой раздирает рот.  
И он сбегает с трапа  
И прыгает как бес,  
И посылает на хуй  
Вождя КПСС.  
Парам-парам-парам —  
Танцуют все евреи,  
Пора, пора, пора  
По-венски ставить время.  
Потом его заполнит  
Иная маята,  
Чтоб навсегда запомнить  
Вальс аэропорта.  
Всего одно мгновенье,  
Когда исчез разлад,  
И он был счастлив в Вене  
И не хотел назад.  
Ах, Вена, Вена, Вена,  
Веселая земля —  
Разрезанная вена,  
Пеньковая петля.

Тут надо добавить, что когда Якобсон прилетел в Вену<sup>34</sup>, никакого вальса Штрауса не было, но он мог быть. Мне рассказывали историю, что, действительно, какие-то люди, которые уехали из России навсегда, приземлившись в свободной Вене, прямо в аэропорту танцевали вальс.

## Как Вы сейчас оцениваете роль и место Якобсона в тогдашнем литературном и общественном движении?

Переоценить роль Толи просто невозможно. Столь ярких людей, сравнимых с Якобсоном по уму, обаянию, блестящим ораторским способностям, лично мне в Москве 60-х годов не приходилось встречать. Якобсон был другом поэтов: Ахматовой, Петровых, Тарковского, Самойлова, — и это была дружба равноценных людей. Тонкий, деликатный советчик, обладавший редким вкусом и гигантской эрудицией, был для всех четверых находкой. Завсегдатай «московских кухонь», воспетых Кимом<sup>35</sup>, любимец всех своих друзей, Якобсон, как окуджавский Ленька Королев<sup>36</sup>, был неотъемлемой частью Москвы. Ведь лицо города состоит из архитектуры, традиций и живущих в нем замечательных людей. Москва без Гентоли утратила в своем облике нечто такое, что ни вернуть, ни восстановить невозможно.

Москва

29 декабря 2007

- <sup>1</sup> Тимофеевский Александр Павлович (р. 1933, Москва) — поэт, кино- и теледраматург, сценарист, редактор. Окончил сценарный факультет ВГИКа (1959). Работал на студии «Таджикфильм», в 1963–83 — редактор киностудии «Союзмультфильм», позднее — студии «Мульттелефильм» ТО «Экран». Участник самиздатского альманаха «Синтаксис» Александра Гинзбурга, после чего был лишен доступа к советской печати. Только в 1992 вышел первый сборник стихов «Зимующим птицам». Написал сценарии более 30-ти мультфильмов и песни к ним. Член Академии кинематографических искусств «Ника». Лауреат литературной премии «Венец» (2006). Среди книг: «Песня скорбных душой» (1998), «Опоздавший стрелок» (2003), «Сто восьмистиший и наивный Гамлет: Стихотворения» (2004), «Письма в Париж о сущности любви» (2005), альбом «Чудеса зоопарка» (2006). Выступает с творческими вечерами, выпустил авторскую аудиокассету «Как торопился я на праздник...». Источники: «Энциклопедия отечественной мультипликации», Москва, «Алгоритм-книга», 2006; интернет-ресурсы (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Интервью проведено и подготовлено к печати Алексеем Макаровым специально для Мемориальной сетевой страницы А. Якобсона. Примечания А. Макарова, кроме особо оговоренных случаев (прим. А. Зарецкого).
- <sup>3</sup> В 1951 г. 17-летняя Сусанна Печуро была арестована за участие в молодежной антисталинской организации «Союз борьбы за дело революции». В феврале 1952 г. трое членов организации были расстреляны, а еще 13 человек приговорены к разным срокам заключения. Сусанна Печуро получила 25 лет лагерей и освободилась в 1956 г. вместе с другими однодельцами, как и М. Улановская, будущая жена А. Якобсона. В годы перестройки принимала активное участие в создании Общества «Мемориал». Ее воспоминания см. <http://www.hro.org/editions/karta/nr24-25/susanna.htm>. См. также воспоминания: Улановская М.: «Дело Слуцкого, Фурмана, Гуревича и др.» // Н. и М. Улановские: История одной семьи. С.-Петербург, Инапресс, 2005, с. 194-213.

- <sup>4</sup> А. Якобсон вспоминал о влиянии, которое оказали на него эти рассказы: «Тимофеевский в своё время для меня, со своими смутными, романтическими рассказами про Сусанну, которая страдает за справедливость, был катализирующим фактором. Он её знал по литературному кружку в Кировском доме пионеров» — Якобсон А. А.: Почва и судьба. Вильнюс-Москва: Весть, 1992, с. 240. (Прим. М. Улановской).
- <sup>5</sup> В 1965–1968 гг. Анатолий Якобсон преподавал историю и литературу во Второй Математической школе, известной в 1960-е годы как один из оазисов вольнодумства.
- <sup>6</sup> Государственная публичная историческая библиотека.
- <sup>7</sup> Стихотворение из сборника «Бег времени», 1963.
- <sup>8</sup> В Дубравлаг (Мордовия) — последний лагерь С. Печуро.
- <sup>9</sup> Об этой истории см. Якобсон А. А.: Почва и судьба. Вильнюс-Москва: Весть, 1992, с. 240-242.
- <sup>10</sup> Мухаммед Захир-шах, король Афганистана.
- <sup>11</sup> Популярные с военных лет строчки из стихотворения Р. Киплинга. В частности, их использовал в своей песне Евгений Агранович.
- <sup>12</sup> Песня «Глобус» написана Михаилом Львовским в 1947 г., песня быстро стала фольклорной.
- <sup>13</sup> Большую, 27-метровую комнату родителям дали после реабилитации. Позже, с помощью обмена, им удалось получить в своё распоряжение всю эту знаменитую в диссидентских и сионистских кругах двухкомнатную квартиру у Красных Ворот (прим. М. Улановской).
- <sup>14</sup> В 1961 г. Александра Тимофеевского допрашивали в связи с публикацией его стихов в самиздатском журнале «Синтаксис».
- <sup>15</sup> 25 августа 1968 г. Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, Павел Литвинов, Владимир Дремлюга, Вадим Делоне, Константин Бабицкий, Виктор Файнберг и Татьяна Баева устроили демонстрацию на Красной площади в знак протеста против оккупации Чехословакии. Большинство демонстрантов осенью были осуждены на различные сроки.
- <sup>16</sup> Якобсон эмигрировал 5 сентября 1973 г.
- <sup>17</sup> О, как я поздно понял,  
Зачем я существую,  
Зачем гоняет сердце  
По жилам кровь живую,  
И что, порой, напрасно  
Давал страстям улечься,  
И что нельзя беречься,  
И что нельзя беречься...
- <sup>18</sup> См. Черновик письма Якобсону, написанного перед его отъездом в Израиль. Мария Петровых. Избранное. «Художественная Литература» Москва, 1991, с. 354. (Публикуется в данном сборнике).
- <sup>19</sup> В «компании друзей», обоих, Тимофеевского и Якобсона, в период «Оттепели» было, мне помнится, много освободившейся из лагерей в 1956 г. молодёжи. (Прим. М. Улановской).
- <sup>20</sup> Стихи написаны в 1961 г.
- <sup>21</sup> Стихотворение «Рассвет» из стихов Юрия Живаго.
- <sup>22</sup> Имеется в виду участие Бориса Слуцкого в заседании Союза писателей 27 октября 1958 г., которое было посвящено «действиям члена Союза писателей СССР Б. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя»; по результатам заседания было принято постановление об исключении Пастернака из Союза писателей. Слуцкий потом очень остро переживал этот эпизод своей жизни.
- <sup>23</sup> Книга А. А. Якобсона «Конец трагедии».

- <sup>24</sup> Точнее, «Теркин на том свете».
- <sup>25</sup> Точнее, «Верка Вольная».
- <sup>26</sup> Гинзбург Александр Ильич (1936–2002), журналист, правозащитник, в 1959–1961 гг. издал три номера поэтического альманаха «Синтаксис». Узник хрущевских и брежневских лагерей.
- <sup>27</sup> Библиотека им. Ленина, сейчас — Российская государственная библиотека.
- <sup>28</sup> Точная цитата: «Чего, собственно, хотят от Бухарина? Они требуют крови тов. Бухарина! Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте» // XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Стенограммы. Речь И. В. Сталина. С. 504, 505.
- <sup>29</sup> Председатель Правления Союза писателей СССР Александр Фадеев в 1956 г. покончил с собой.
- <sup>30</sup> На самом деле рассказ называется «Говорит Москва».
- <sup>31</sup> Юлий Даниэль был арестован 12 сентября 1965 г.
- <sup>32</sup> «Хроника текущих событий» — машинописный бюллетень московских правозащитников, информационный стержень диссидентского движения, издавался в 1968–1982 гг.
- <sup>33</sup> Точнее — высылки.
- <sup>34</sup> Прямых рейсов из СССР в Израиль не было, и эмигранты летели транзитом через Вену.
- <sup>35</sup> Ким Юлий Черсанович (р. 1936), бард.
- <sup>36</sup> У Булата Окуджавы в его песне: «Потому что, виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, Короля» (прим. М. Улановской).

**Владимир Гершович<sup>1</sup>**

## **Яacobсон в Израиле и в Москве**

### **Анатолий Яacobсон в Москве**

Приезду Толи в Израиль предшествовали следующие события. Власти СССР готовили большое телешоу, на котором лидеры правозащитного движения должны были каяться в содеянном и отречься от своих идеалов. Без особых усилий сломали П. Якира и В. Красина.

В. Буковского привезли из Владимира в Лефортово на уговоры. А. Амальрика привезли с Магадана. Беспощадно мучили И. Габая. Властям было весьма соблазнительно показать по телевизору кающегося Яacobсона, но Толя был неуправляем. В день, когда американцы высадились на Луне — 21 июля 1969 г., Толя на допросе врезал по морде следователю из Ташкента Борису Березовскому. Так что к началу шоу были подготовлены всё те же Петя и Витя. Буковского и Амальрика отравили досиживать, а Толю — в срочном порядке — в Израиль до начала позорной пресс-конференции. Срочность правдоподобно объяснялась болезнью сына. 7 сентября 1973 года за месяц до войны Судного дня Толя прибыл в Иерусалим.

Поселили их в центре абсорбции Катамон-тет в Иерусалиме. Вскоре Толе устроили встречу с сотрудниками кафедры славистики Иерусалимского университета. Книга «Конец трагедии» в издательстве им. Чехова корпорэйшн уже вышла, поэтому его, без особых усилий, оформили на должность ассистента.

В. Тельников<sup>2</sup> подарил Толе четырёхтомник Пастернака, что было весьма кстати, так как Толя денно и нощно писал работу о пастернаковской «Вакханалии» и цикл лекций о его творчестве («Ранний и

---

<sup>1</sup> Владимир Гершович (1935, Владикавказ). В 1953 г. вышел из комсомола, был насильственно госпитализирован в психбольницу, где подвергся шокотерапии. Вторично был изолирован в 1957 г. на время Московского фестиваля молодёжи и студентов. Окончил МГПИ, преподавал математику в вузах Москвы. В 1968 г. был уволен с завода-втуза при ЗИЛе без права преподавания за поддержку демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади против оккупации Чехословакии. С 1972 г. живет в Израиле. Преподаёт математику в Иерусалимском университете. Активно поддерживал правозащитников в Советском Союзе (прим. А. Зарецкого).

<sup>2</sup> Владимир Иванович Тельников (1937–1998), переводчик, педагог. Один из основателей молодёжного подпольного кружка «Союз революционного ленинизма» (Москва-Ленинград, 1955–1957). Политзаключённый (1957–63). Участник петиционных кампаний (1968). Распространитель самиздата: помогал в издании «Хроники текущих событий», передавал правозащитную информацию западным журналистам. Арестован, освобождён в связи с прекращением дела (1970). Эмигриро-



поздний Пастернак»). Эти лекции он читал на квартирах и в залах. 20 октября прошёл слух о самоубийстве Ильи Габая в Москве. Тельников тогда работал корреспондентом Би-Би-Си и был в это время в Иерусалиме. Шла война Судного дня, и наметился перелом в пользу израильтян. Мы попросили Тельникова уточнить слухи о Габае. Он обещал, но забыл! Это поразительно: ведь когда он — Тельников — освободился из лагеря и ему негде было жить, именно Габаи его приютили. По поводу этого свинства Якобсон сказал: «Обсуждать здесь нечего, всё ясно. Однако четырёхтомник Пастернака, который он мне подарил, его частично реабилитирует».

Из центра абсорбции Толя с матерью переехали в двухкомнатную квартиру на севере Иерусалима в Неве-Якове. Маленькая спальня для мамы и салон с большим окном с видом на Иорданию для Толи.

Когда слухи о гибели Габая подтвердились, мы решили провести вечер его памяти. Из Москвы с оказией Толя получил пакет, где рукой А. Д. Сахарова был написан адрес Толи. Внутри была прекрасная статья «Вы жили рядом с праведником» о поэтическом творчестве Ильи. Подписано: «Группа друзей Габая». А. Галич в 1974 г. был в Мюнхене и записал к вечеру памяти своё выступление с новой тогда «Песней об отчем доме».

Однако Толя в 1974 г. заболел. Мощнейший перенапряг сделал своё дело. Он слёг в больницу. К сожалению, люди 1935 года рождения кончали школу в 1953 г., когда — в рамках борьбы с космополитизмом — отменили экзамены по иностранным языкам в школах. Так или иначе, Толя нуждался в русскоязычном психиатре. Наши планы о вечере Габая передвинулись.

Ира Герстенмайер<sup>3</sup> приезжала в 1974 г. в Иерусалим и посетила Толю в больнице. Она привезла только что вышедшую брошюру Солженицына «Письмо вождям Советского Союза». Толя был плох, но отреагировал: «Вот и переписка завязалась». Вскоре мы получили сборник «Из под глыб», где была напечатана статья И. Шафаревича «Социализм». Реакция Толи на статью была резкой, однако писать отзыв на неё не стал, ожидая полного текста. Писания Солженицына в ту пору Толю очень раздражали. В том же сборнике была статья Солже-

---

вал (1971). Работал на радиостанции Би-Би-Си. *Источник*: Власть и диссиденты: из документов КГБ и ЦК КПСС. Публикация и комментарии А. Макарова, Н. Костенко, Г. Кузовкина. — М.: Моск. Хельсинкская Группа, 2006. — 282с. <http://www.mhg.ru/files/knigi/vendd.pdf> (прим. А. Зарецкого).

<sup>3</sup> Корнелия Ирина Герстенмайер (1943, Берлин) — автор книг о правозащитном движении в СССР, председатель Германского общества прав человека (1973–1978), издатель и главный редактор немецкой версии журнала «Континент» (1978–1992). С 1995 г. — гражданка России. Отец — Эйген Герстенмайер (1906–1986) — соучастник покушения на Гитлера (1944), председатель Бундестага ФРГ (1954–1969) (прим. В. Гершовича).

ницына «Образованщина». По поводу Солженицынских *слововыдумок* Толя написал несколько заметок.

На «Образованщине» стоит остановиться подробнее и вернуться для этого в Москву. Солженицын набросился на самиздатского автора Семёна Телегина, в частности, на его статью «Торговля ценным товаром» о введении налога на образование для выезжающих в Израиль евреев. Слух о выкупе разнёсся быстро, и уже у синагоги на улице Архипова в Москве богатые евреи предлагали бедным евреям в долг: «Бери, брат, а на исторической родине вернёшь». В день введения налога, 18 августа 1972 г., «Вечерняя Москва» опубликовала заметку «Работорговля 1972». Там говорилось о работорговле в капиталистических странах.

Утром 19 августа пришёл ко мне взволнованный Семён Телегин с этой «Вечёркой», а я ему показываю костяк своей статьи. Юра Гастев прошелся рукой мастера — и получился текст на пяти машинописных страницах. В. Максимов прочитал этот текст и сказал, что исправлять его не будет, а когда захочет *сесть*, — подпишет своим именем. Судьба этого текста мне неизвестна. В архивах Ю. Гастева, В. Максимова, КГБ и, уж точно, израильского МИДа она есть.

Судьба же текста Семёна Телегина была не столь печальной. Он срочно пустил текст в самиздат и передал его Толе, который дал информацию в 27-ю «Хронику» в раздел «Новости самиздата». Название текста в «Хронике» Толя намеренно изменил — таковы правила конспирации. Вот цитата из «Хроники»: «...мерзко продавать свободу за деньги... он (налог. — В. Г.) оскорбителен для человеческого достоинства».

Солженицын был особенно недоволен началом статьи: «Дымом лесных пожаров дышит в этот август Россия. В дыму Ока, в дыму Волга,... И вот уже идёт молва, что это еврейский Бог мстит за жестокое обращение с избранным народом...».

Теперь пришло время сказать, что Семён Телегин — псевдоним Геры (Герцена) Копылова. Солженицын в одном не ошибся, придумав слово «образованщина»: доктор физико-математических наук из Дубны Гера Копылов был действительно образованным человеком и одной из самых светлых личностей в правозащитном движении. Есть его фото с Якобсоном, Гастевым, Ирой Якир и Юликом Кимом, который сегодня — единственный живой из них. Снимок сделан летом 1972 г. на берегу Москвы-реки в Полушкине. Леса вокруг Москвы горели.

В 1975 г. по приглашению А. Синявского Толя поехал в Париж. Это был его первый выезд за границу из Израиля. По возвращении Толя весьма живописно описывал парижскую эмигрантскую жизнь. Синявский покинул Максимова на 4-м «Континенте» и стал издавать «Синтаксис». Установился неписанный закон: тот, кто сотрудничает с «Континентом», не может появляться в зоне «Синтаксиса». Якобсон всё время нарушал это суровое правило. Руководила антимаксимовским ста-

ном Кругликова — так Якобсон называл жену Синявского Марью. Она тогда разгневанно звонила в Иерусалим и требовала забрать Якобсона из Парижа. Сам же Якобсон рассказывал, что в этой суматохе было и другое: вдруг появилась проездом Люся Боннэр, и какой-то парень предложил прокатиться над Парижем в самолёте.

Вернулся Толя в Израиль в клетчатых брюках, очень возбуждённый. Не без влияния Синявского он решил прочитать в Тель-Авиве лекцию о новом сочинении Солженицына «Бодался телёнок с дубом», с точки зрения учителя русского языка. В это время мы с Якобсоном были несколько дней в споре, и вот почему: во время его отсутствия я был единственный, кто посещал его маму в больнице. За день до его приезда она упала и сломала бедро. Узнав об этом, Толя возмутился. Почему, мол, я не следил за ней ежедневно. Я тоже не полез за словом в карман. Но через пару дней он пришёл ко мне как ни в чём не бывало. На восстановление дружбы ушла доля секунды. На его тель-авивское выступление мы поехали вместе. В конце выступления Толя рассказал о встрече Синявского с И. Огурцовым в Мордовской зоне и о фашистских идеях ВСХСОНа<sup>4</sup>. А в конце сказал, что угроза русской культуре идёт не от всхсоновцев, а от их покровителя в Вермонте. Кассета с той лекцией затерялась. Очень жаль.

По дороге обратно в Иерусалим шёл проливной дождь; везла нас жена Фромера<sup>5</sup> Илана. В машине я сказал Толе, что ему как редактору «Хроники» должно быть известно, что Огурцов отсиживал первую часть 20-летнего срока во Владимире, а Синявский отсиживал в Мордовии, где за отличное поведение и прошлые заслуги был выпущен раньше срока. Якобсон хотел всё это проверить.

В начале 75-го мы провели, наконец, вечер памяти Габая в Иерусалимском университете. Толя читал стихи Габая, хотя, как к поэту, не относился к нему серьёзно. Там же звучала магнитофонная запись выступления Галича, подготовленная для этого вечера. Толя был очень доволен таким начинанием. Он считал очень полезным проводить вечера памяти правозащитников. Вскоре Галич приехал в Израиль, и Толя приветствовал его на концерте в Иерусалиме.

---

<sup>4</sup> Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа (ВСХСОН) — подпольная антикоммунистическая организация, созданная в Ленинграде в 1964 г. (из Википедии — прим. А. Зарецкого).

<sup>5</sup> Владимир Фромер родился в 1940 г. в Куйбышеве (ныне Самара). Репатрировался через Польшу в 1965 году. Окончил исторический факультет Еврейского университета в Иерусалиме. В 1972-73 годах — соредатор первого израильского литературного журнала на русском языке «АМИ». Его исторические очерки, эссе, рассказы регулярно публикуются в общественно-политической и литературной периодике Израиля, России и других стран. Живет в Иерусалиме. Редактор и политический обозреватель русскоязычной радиостанции «РЭКА» (прим. Аркана Карива).

В декабре 1975 г. Сахаров получил Нобелевскую премию мира, и в Тель-Авиве состоялся вечер, посвященный этому событию. На вечере выступал наш знаменитый физик Ювал Неэман, а Галич рассказывал народные анекдоты про Сахарова.

Рассказанные выше истории о Солженицыне и Шафаревиче показывают, что Толя был провидцем. Когда он писал о Шафаревиче, тот был членом Сахаровского Комитета по правам человека. И, хотя у Толи с Сахаровым были взаимная симпатия и уважение, Толя открыто высказывал ему все, что думает.

Примерно в это время Толя знакомится с Шломо Пинесом<sup>6</sup>, который покорила Толю своей интеллектуальной разносторонностью. Они гуляли по старому городу, пили бренди в арабских кофейнях (тогда ислам ещё не вошёл в моду). Пинес заставил Толю собрать все его литературоведческие работы и сделать на их основе докторат. Среди четырех засекреченных отзывов на этот проект один был написан Романом Якобсоном. Докторат был утверждён. Но об этом напишу ниже.

Вторым великим евреем, которым Толя был поглощён, был Юлий Марголин<sup>7</sup>. Все началось с работы Марголина «Диамат», опубликованной в израильском самиздате. Любопытно, что «Путешествие в страну Зэ-ка», изданное в издательстве им. Чехова в 1952 г., подтвердило Толину правоту по поводу неких лжепророков. Например, в начале книги Марголин обсуждает её название, в частности, один из вариантов — «Страна Гулаг». Остановился на названии «Страна Зэ-ка». Книга писалась в Тель-Авиве в 1946 г. после пятилетнего (1939–1945) пре-

<sup>6</sup> Шломо Пинес (1908, Париж — 1990, Иерусалим). Выдающийся израильский философ, историк раннего христианства, еврейской и арабской философии, член Израильской академии, профессор Иерусалимского университета (с 1950) (прим. В. Гершовича).

<sup>7</sup> Марголин Юлий Борисович (Иехуда) (1900–1971) — русско-еврейский писатель, публицист, историк и философ. В 1925 г. окончил философский факультет Берлинского университета. С 1926 г. жил в Лодзи, занимался журналистской и сионистской деятельностью. В 1936 г. поселился в Тель-Авиве. Летом 1939 г. приехал по личным делам в Польшу. В сентябре этого же года, спасаясь от нацистов, бежал из Лодзи в Пинск, занятый советскими войсками. В 1940 г. был арестован и приговорен к пяти годам лагерей как «социально опасный элемент». В конце 1946 г. вернулся в Тель-Авив. В 1952 г. в Нью-Йорке вышла его книга «Путешествие в страну Зэ-ка». С тех пор Марголин посвятил свою писательскую и общественную деятельность борьбе с коммунистической «империей лжи и насилия». В Израиле Марголина печатали (большей частью на русском языке, в обществе «Маоз») в израильском самиздате, который подготавливала в основном Голда Елин. В 1968 г. Марголин передал ей статью «О правде сионизма». После смерти Марголина в «Маозе» были опубликованы «Повесть тысячелетий» и сборник статей «Несобранное», трижды переиздавалась книга «Путешествие в страну Зэ-ка», по репринту 1952 г. К сожалению, полный текст «Страны Зэ-ка» до сих пор не издан (прим. В. Гершовича).

бывания Марголина в советских лагерях. В Израиле книга Марголина переиздавалась только на русском языке 3 раза. В последнем издании «Страны Зэ-ка», на последней странице обложки, Голда Елин привела высказывания о Марголине Романа Гуля (друга Марголина), Толи Радыгина и Толи Якобсона. Это издание 1997 г. я послал Солженищину через его секретаршу, но никакой реакции не последовало, как и раньше, когда Голда Елин высылала ему два предыдущих издания.

В 1960 г. Алик Гинзбург был осуждён за составление сборника «Синтаксис». Таких поэтов, как Бродский, Окуджава и других, впервые узнали в Советском Союзе и за границей благодаря «Синтаксису». В конце 1977 г. Гинзбургу грозил новый срок — 10 лет. Мы решили написать письмо президенту Картеру, провозгласившему права человека своим приоритетом. Толя сказал, что, хотя у него нет сил, он письмо напишет, но ему нужен «послужной» список Алика, так как он плохо всё помнит. Когда я составил список, Толя написал письмо довольно быстро. Это был шедевр Толиного правозащитного творчества, уровня времен 1968 г. Кроме того, он договорился о публикации нашего обращения в газете «Наша Страна». Её согласие явилось для нас неожиданностью, так как в 1974 г. «Наша Страна», как, впрочем, и все остальные газеты, не опубликовала наши письма в защиту Буковского.

В 1978 г. Толя прожил всего неполных 9 месяцев, но они были самыми интенсивными и сконцентрированными во всей его жизни.

Хочу вернуться в 1976 г. Тогда я видел в Толе счастливого человека. Было утро, я зашёл к Якобсону, у него был Володя Фромер. Я сказал им, что видел сон, как израильские коммандос освобождают Володю Буковского из Владимирской тюрьмы. Якобсон переглянулся с Фромером и спросил: «А ты, Гершович, не темнишь? Ты что, ничего не знаешь?» Фромер говорит: «Толя, это же только что по радио передали. Пока он шёл, он ничего не мог узнать». И тут Якобсон обращается ко мне: «Володя, наши ребята освободили заложников в Энтебе. Ты можешь себе это представить?!» И вот наш великий Якобсон, который 3 года назад так великолепно держался на допросе у полковника Александровского, сотрудника Андропова, вдруг прослезился. И мы с Фромером тоже.

Все домыслы о ностальгии Якобсона — следствие полного незнания и непонимания его жизни в Израиле нашими близкими в России, а среди них были вполне разумные люди. Якобсон любил Израиль, потому что был евреем и гордился этим.

В начале 1978 г. Лена Каган, жена Толи, отстучала на машинке одним пальцем его докторат.

А познакомился Толя с Леной так: он пошёл к Виктору Кагану поиграть в шахматы. Дверь открыла девушка и произнесла: «Папа спит». Толя вошёл, сказав: «А мы ему мешать не будем». Для оформления бра-

ка они выехали на Кипр. Мать Лены была русской, и зарегистрировать брак в Израиле не было возможности. Результатом этого путешествия явился сборник «Стихи на случай».

В это время Толя перевёл инвективу А. Мицкевича «Русским друзьям», на которое Пушкин ответил стихотворением «Он между нами жил». Увы, раскрутить всю дуэль Мицкевича и Пушкина Толя не успел. А «Русским друзьям», переводческий шедевр Толи, опубликовал Максимов в 41-м «Континенте».

В том же году Толя выступил на вечере памяти Марголина (7-я годовщина со дня смерти). Его доклад был, как всегда, блестящим, но в какой-то момент Толя отвлёкся от главной темы и обрушился с резкой критикой на публицистку Майю Каганскую за её эссе «Мандельштам — поэт иудейский». Толя не терпел подобных натяжек. Для него Мандельштам был в первую очередь великим русским поэтом, как и Борис Пастернак.

Виталий Рубин, московский приятель Якобсона, выкрикнул с места: «Неприлично говорить о человеке в его отсутствие». Толя взорвался, Рубин ушел, хлопнув дверью. Спасла положение Роза Николаевна Эттингер<sup>8</sup>. Она сказала несколько умиротворяющих слов, и Толя успокоился.

Толино выступление заинтересовало редакцию журнала «Время и мы», и в 29-м номере появились его «Фрагменты из Марголина. (Попытка реквиема)». Там же было опубликовано письмо-памфлет В. Гусарова в защиту Фаддея Булгарина.

С самого приезда Толю бесконечно одолевали всевозможные поэты и писатели. Якобсон был добрый, и, даже если стихи были *так себе*, не отказывал в предисловии. Однажды к нему пришёл поэт М. Толя благожелательно с ним беседовал, но потом грустно отметил: «Всевышний дал ему дар слова, но ему нечего сказать».

Однажды девушка из Хайфы привезла «Чёрное и белое» — рукопись своего внезапно умершего отца Бориса Норильского. Якобсон был плох и попросил меня прочесть ему рукопись, что я и сделал. Потом я сообщил ему, что автор был штрафником. Дважды прошел через минные поля. И дважды вернулся. Командир сказал ему с кривой усмешкой: «Вас, евреев, ничто не берёт». Борис врезал ему так, что сломал челюсть. И отправился обратно в лагерь.

Якобсон встал и сказал: «Депрессия подождёт». И написал предисловие.

Проблемы в университете у Якобсона начались ещё в 1974 г. Появилась тогда в Иерусалиме одна немка (не путать с Ириной Герстенмайер). Вела она себя открыто провокационно. Говорила незнакомым людям:

<sup>8</sup> Роза Николаевна Эттингер (1894, С.-Петербург — 1979, Иерусалим), доктор психологии (1916), общественный деятель, филантроп. Ю. Б. Марголин был её другом (прим. В. Гершовича).

«Я еду в Россию, пишите письма кому хотите, я передам». Как на это клюнул Якобсон — непонятно. Он не только передал письма, но и последний экземпляр «Конца трагедии». Книга не дошла, хотя немка обещала передать её в руки адресату. На вопрос: «Где же книга?», — отвечала нагло: «Ждите». Параноидальное объяснение её поведения оказалось наиболее правдоподобным. В 1974 г., после полугодового перерыва, вновь возникла «Хроника». Вышли сразу 28-й, 29-й и 30-й номера. Ответственность за выпуск взяли на себя С. Ковалёв, Т. Великанова и Т. Ходорович, но КГБ усомнился в этом и решил проверить, на всякий случай, не продолжает ли Якобсон редактировать хронику из Неве-Якова, и не записал ли он в своей книге каких-либо инструкций молоком между строк. Как бы то ни было, книга исчезла. Толя был взбешён.

Однажды эта «мадам штази» оказалась на заседании кафедры славистики. Якобсон встал и сказал: «А что здесь делает эта подозрительная дамочка?»

Якобсона единогласно осудили. Сегодня известно, что Якобсон был прав. Однако люди, осудившие его тогда, делают вид, что этого не помнят.

Ему не давали читать лекции студентам университета. Он ограничивался тем, что писал статьи. «Рослый стрелок...» в «Slavica hierosolymitana» не опубликовали, но в «Континенте» напечатал В. Максимов. Уже после Толиной смерти. Его вдова Лена получила небольшой гонорар.

В августе 1978 г. отмечалось 10-летие вторжения советских войск в Чехословакию. Русская редакция «Голоса Израиля» предложила сделать по этому случаю программу. Якобсон был в плохой форме, но согласился прочесть своё письмо о демонстрации на Лобном месте 25 августа 1968 г. Вначале ему дали 15 минут, потом урезали до пяти, а в результате вообще не взяли интервью. Если учесть, что главным цензором был бывший польский коммунист, кичившийся тем, что являлся двойным шпионом (об этом даже сделали фильм), то ничего другого и быть не могло.

Чуть раньше произошёл разлад с журналом «22», в третьем номере которого появился роман Юрия Милославского «Собирайтесь и идите». В этом произведении правозащитники и сионисты описывались в духе лимоновской школы «обратной сублимации». А открывался этот номер письмом В. Гусарова к В. Гершуни, где обсуждались сексуальные пристрастия Милославского. Текст письма Гусарова вызывал подозрение. Было неясно, как попало частное письмо в редакцию и на каком основании его публикуют. На это редакция отказалась дать ответ.

Якобсон, редактировавший книгу В. Гусарова «Мой папа убил Михоэlsa», сказал после её прочтения: «Вот как пишет человек — придраться не к чему».



В письме же к нашему общему близкому другу Гершуни Якобсон почувствовал фальшивку. Ну не похоже было на стиль Гусарова. Мы с Толей написали письмо-протест, но потом решили, что слишком много чести.

Вдова Гусарова прислала мне его архив, где был *подлинник* этого письма. В нём отсутствовали фальшивые вставки, которые вычислил Якобсон.

И последний аккорд.

Толя позвонил мне в середине сентября и попросил прийти *быстро*. Мы жили рядом. Я пришёл. Толя сказал, чтобы я не волновался, так как он помнит, как было горько всем друзьям Габая после его самоубийства. Потом спросил, как у меня в университете дела. Я сказал, что получил постоянную работу. Неожиданно Толя меня погладил и поцеловал в голову, а потом сказал, что его фактически уволили с работы. Точнее — его нет в списках на будущий год. (В Израиле учебный год начинается после осенних праздников, т.е. через месяц после Нового года по еврейскому календарю). Толя сказал, что завкафедрой Д. Сегал сообщил, что по университетским правилам человек, получивший докторат, не может быть на должности ассистента. А поскольку более высоких должностей нет, надо ехать за границу на пост-докторат. Толя добавил ещё, что у него нет сил работать даже грузчиком.

28 сентября утром он позвонил в ряд мест, но дозвонился только В. Фромеру. Они сыграли в шахматы. Фромер был последним, кто видел его живым.

Нашли Толю в подвале его дома. Уже начиналась пятница — короткий день, а в воскресенье начинался Новый год. Учитывая обстоятельства смерти, похороны могли затянуться, однако приехавший полицейский был моим студентом, и всё уладилось. Отвезли тело в морг на улицу Пророков. Обзванивали ночью всех знакомых. Проблем с похоронами не было. Еврейская религия неожиданно оказалась весьма компромиссной: Толю признали просто погибшим евреем, а *не самоубийцей*, и разрешили прочесть по нему кадиш.

Однажды вечером, во время заката, мы с Толей были на могиле его матери. Слева была видна *Русская свеча* — колокольня Вознесения. А на юге — усечённый конус Иродиона<sup>9</sup>. Толик сказал: «Лучшие места здесь уже заняты». Самое большое чудо, что Толю похоронили в пяти метрах от могилы его матери на Масличной горе, где казалось невозможным найти свободное место.

На памятник сбросились в тот же день. Вспоминаю, как в «Русской мысли» было объявление о сборе средств на памятник Саше Чёрному через 40 лет после его смерти. Многие незнакомые тоже давали

---

<sup>9</sup> Иродион (Herodion) — древняя крепость в 6 км на юго-восток от Вифлеема (Бейт Лехем) (прим. В. Гершовича).



деньги. Через 30 дней плита была установлена, об этом есть 12-минутный фильм. Когда лет через 10-12 хлынул поток алии и стали приезжать ученики Толи, мы добавили на плите надпись на русском языке: «Анатолий Якобсон».

### Анатолий Якобсон в Москве

После моих воспоминаний о жизни Толика в Израиле я расскажу о нашей дружбе в Москве.

Знакомство наше произошло заочно в 1956 г. Инициатором знакомства был Саша Принц. Он учился в МГПИ на истфаке в одной группе с Толей. Я же учился на физмате, в другом корпусе, недалеко от Новодевичьего кладбища и жил в общежитии на Усачёвке, где жил и Саша Принц.

Саша Принц был провокатором по рождению и по должности<sup>10</sup>. Мы с Якобсоном ему благодарны, так как без его инициативы мы бы никогда не встретились. Саша не уставал жужжать мне в уши о каком-то Якобсоне, особом человеке. Что-то он жужжал Якобсону и про меня. Встреча произошла летом 1957 г. на Зубовской площади. Вдруг я слышу: «А вот и он!» Передо мной — Саша с незнакомцем. Счастливый Принц нас знакомит: «Это — Толя, это — Володя». Первым вопросом Толя меня озадачил: «А верно ли, что в Москву ввели танки?». Я сказал: «А что, я похож на человека, распределяющего танки?». Толя смутился и глазами дал понять, что при Саше разговаривать не стоит. Потом стало ясно, что все старания Принца познакомить нас сводилось к тому, чтобы присутствовать при наших разговорах. В те дни Хрущёв расчищал путь к власти, арестовав антипартийную группу с «примкнувшим к ним Шепиловым». Мы шли пешком до Пироговки к институту. Толя сказал, что истфаку предложили учиться ещё год, чтобы добавить в диплом *филологический*. Однако ему надоело учиться в этом институте, и он в этом году заканчивает.

Через пару недель начали «чистить» Москву в связи с предстоящим в июле-августе фестивалем молодёжи и студентов. Я не согласился на время фестиваля покидать Москву, и меня довольно мирно отправили в психбольницу им. Кащенко, в её санаторное отделение. После выхода оттуда меня вогнал в депрессию первый искусственный спутник Земли.

В 1961 году я опять встретил Толика. Он пригласил меня к себе домой, познакомил с мамой.

---

<sup>10</sup> Саша Принц был инициатором забрасывания чернильницами — студентами пединститута — посольства Израйля в Москве в 1956 г. во время Суэцкого кризиса (прим. В. Гершовича).

Интересная встреча произошла у нас в 1966 г. у Пети Якира. Я зашёл к Юлику Киму, зятю Пети, и увидел Толю. Я не сомневался, что его привёл Юлик, ведь они учились в одно время в одном институте. Юлик удивился, узнав, что они с Толей учились вместе. Просто Тоша такой был человек: он редко посещал лекции, а учился отлично. Я спрашивал его: «А что, престижно числиться ленинским стипендиатом?» На что Толя отвечал: «А иначе как вообще учиться?». Капустники МГПИ с Ю. Визбором, Ю. Ряшенцевым, Ю. Кимом и другими ему были неведомы.

Петя Якир выступал против реабилитации Сталина. Очевидно, они на этом где-то и пересеклись. После встречи на *Автозаводе* в квартире П. Якира наши отношения с Толей стали более доверительными — мы же были по одну сторону баррикад.

В 1966–1968 гг. Толя становится наиболее ярким составителем обращений и открытых писем в связи с процессами Синявского-Даниэля, Гинзбурга-Галанскова, демонстрации на Лобном месте 25 августа 1968 г. на Красной площади. Со времён Чаадаева и Герцена его обращения являются лучшими документами движения «нравственного сопротивления» — любимого определения Анатолия Марченко, большого друга Толи. Толя участвовал также в «Хронике текущих событий», которую в то время редактировала Н. Горбаневская.

Суд над демонстрантами проходил 9–11 октября 1968 г. в Пролетарском районе Москвы. У здания суда я встретил своих студентов, которым преподавал в заводе-втузе при ЗИЛе. В первый день суда эти «рабочие» думали, что я с ними на задании, но потом, после некоей стычки, обнаружили нечто совершенно противоположное. Последовал донос, и 30 октября 1968 г. у меня уже был *жёлтый билет*: уволен, как «не соответствующий занимаемой должности». Это было весьма некстати — моя беременная жена не работала. После собрания во втузе, где меня «разбирали», я пришёл к Якиру, это было рядом. Пересказал ему свою пламенную речь на том собрании. Петя был возбуждён, даже сказал: «Как я хочу, чтобы тебя посадили, чтобы услышать на суде твоё последнее слово». Я, помнится, сказал, что не хотел бы услышать его последнее слово.

Наутро у меня уже был Якобсон. Я ему рассказал про собрание. Руководил собранием парторг ЗИЛа Аркадий Вольский (я его рожу видел во времена перестройки по телевизору). Толя записал все детали двухчасового суда Линча и сказал: «Володя, это надо запустить в Самиздат». Ограничились тем, что мою историю он сократил до двух строчек в списке внесудебных преследований 5-й «Хроники».

В конце 1969 г. была арестована и отправлена в Казанскую спецпсихбольницу Н. Горбаневская. Там она отводила душу с 19-летней

В. Новодворской. Ну а Толя начал редактировать «Хронику», совмещая эту деятельность с переводами Петрарки, обменом пишущих машинок и чередованием самих машинисток.

Ещё один эпизод. В январе 1972 г. умер король Дании Фредерик IX. О нем шёл слух, что при немецкой оккупации он надел жёлтую звезду Давида в знак протеста против геноцида евреев. Составили телеграмму соболезнования на имя его дочери — принцессы Маргрет. Толя позвонил знакомой датчанке. Та объяснила, что, пока телеграмма дойдёт, принцесса станет королевой, а писать на имя королевы можно и по-русски, ей уж как-нибудь переведут. Приходим на Центральный телеграф. Написали: «Королеве Маргрете II, Копенгаген, Дания». Девушка в окошке говорит: «А где же адрес?» Толя взял дело в свои руки и спросил: «А номер подворотни надо?» Поразительно, но телеграмма дошла! Более того, от датского посла пришла благодарность от имени Её Величества. Письмо пришло в разгар *шмона* по делу № 24 о «Хронике». 5 мая 1972 г. *шмонали* одновременно у Якобсона и ещё в двадцати московских квартирах. Письмо посла я сумел вывезти, и оно было предметом заслуженной нашей с Толей гордости.

Расскажу ещё одну важную историю о Толе. 5 января 1972 г. был суд над Владимиром Буковским. Суд проходил у черта на рогах в Люблино. Приехал Сахаров, Петя Якир пришел «под банкой» и пропустил работу. Мы все настояли, чтобы он написал заявление о пропуске по состоянию здоровья. Для надёжности отвозить письмо поехали вдвоём мы с Толей. Был дикий мороз, от здания суда до ближайшего метро шли пешком. По дороге Толя куда-то звонил, потом произнёс: «Сегодня Вовка Буковский получит на полную катушку «семь плюс пять», а у меня сегодня самый счастливый день — Бахтин прочёл мою рукопись («Конец трагедии»), и она ему понравилась. Мне скоро 37 лет, и я уже кое-что сделал».

Вокруг мёрзлы топтуны. Мы купили две четвертинки Старки, у метро согрелись и наконец добрались до Петинной работы — Института истории. Там нас приняла сотрудница Якира, довольно соблазнительная особа, которая раскраснелась от наших взглядов. Я и отдал этой приятной даме письмо. Читая его, она из ангела превратилась в ведьму. На обратном пути мы стали обсуждать «Вий» Гоголя. По пути в Черёмушки заехали к Сурену Газаряну<sup>11</sup>, который давно хотел познакомиться с Толей. Сурен радушно нас принял, сказал, что Толино письмо о демонстрации 25 августа 1968 г. — лучшее произведение самиздата.

---

<sup>11</sup> Сурен Оганесович Газарян (1899–1982). Работал в НКВД Грузии. В 1937 г. был арестован и выслан на Соловки. Из 10 лет заключения 6 лет пробыл в камерах-одиночках. Реабилитирован 1955 г. Был главным свидетелем по делу Рухадзе и других бериевцев на процессе в Тбилиси в 1958 г. С 1957 г. проживал в Москве, тогда же стали распространяться в самиздате его воспо-

Поздно ночью мы узнали, что Толя был прав. В его самый счастливый день Буковский получил «семь плюс пять».

В конце октября 1972 г. я неожиданно получил разрешение на выезд в Израиль, без выкупа за образование. Билеты были на 31 октября. На сборы было 3-4 дня. Я жил в коммуналке на Лесной улице, так что проводы устроили по соседству у Габаев, у них была двухкомнатная квартира. Собралось почти всё правозащитное движение. Звонила Люся Боннэр из Ногинска, там судили Крониды Любарского. Сказала, что по отношению к Андрею Дмитриевичу впервые применили рукоприкладство. Но старейший друг мой Толик Якобсон на мои проводы к Габаям не пришёл. Когда я вернулся к себе на Лесную, то застал там возбуждённого Толика. Пришли также Генкин с Олей Рожанской. Толик сказал, что забежал на минутку проститься. Я тут же пошёл проводить его до такси на площади Белорусского вокзала. Толя мне сказал: «Ты представляешь, мы кончили. Только сейчас всё закончили». Речь шла о последней, 27-й «Хронике». Мы прощались навсегда.

А через год встретились в Иерусалиме!

*Иерусалим  
8 Марта 2010*

---

минания «Это не должно повториться», которые впервые были частично опубликованы в журнале «Звезда», 1989, №1, — сразу же после сообщения об отмене постановления ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14.8.1946!

*Григорий Люксембург*

## **Интервью Мемориальной странице<sup>1</sup>**

**Стихи «Иерусалимский вокзал» и «Душа» Вы написали в память о Якобсоне. Когда я их прочёл, то подумал, что встреча двух людей, жизнь которых связана с поэзией и боксом, — Провидение. Как Вы с ним познакомились?**

Впервые я увидел Толю в Бат-Яме. Брат мой Эли приехал навестить меня вместе с ним. Это был, по-моему, 74-й год. Я приехал в Израиль в 72-ом, уже после войны, и привёз с собой из СССР книгу стихов Лорки с переводами Якобсона. Книга только вышла, это было очень ценным приобретением. Мне удалось вывезти из СССР всего пять книжек — самых любимых и самых необходимых мне. Эта была одна из них. И тут брат говорит мне: «Это Толик Якобсон», что было удивительным совпадением. Передо мной стояло божество. Я просто бросился в объятия к нему, и, мне кажется, до последней минуты мы так и не выходили из этих объятий.

**Как будто в клинче сошлись?**

Абсолютно! Так началась наша дружба, даже не дружба, а любовь, скорее всего. Так мы познакомились, а потом уже просто не расставались. То он — у меня, то я — у него, то опять он — у меня. Я тогда не имел своего жилья и переселялся то в Бат-Ям, то в Натанию, то ещё в какой-то город, где жил у подруг. Толя со всеми был знаком: и с моими подругами и с моей семьёй. Мы жили очень близко друг от друга и, буквально, не расставались. У меня была машина. Я его возил всюду, где только мог. Я тогда человек был в какой-то степени свободный.

**Расскажите о себе.**

Я родился в 1944 г. Киргизии, в шахтёрском городе Кызыл-Кия. Потом семья переехала в Ташкент, где я окончил десятилетку и университет. Получил филологическое образование. Там я занимался боксом — пять лет был чемпионом Узбекистана, выезжал на чемпионаты Советского Союза. Работал журналистом в детской газете «Пионер Востока».

**Ваш брат Эли родился в Румынии. Как Ваша семья оказалась в Киргизии?**

Бежали от немцев из Бухареста. Брат и сестра родились в Бухаресте.

---

<sup>1</sup> Интервью подготовлено и проведено по телефону А. Зарецким. Отредактировано Ю. Китаевичем.

**Штамп в паспорте: «место рождения — Бухарест» никак не повлиял на жизнь Вашего брата?**

Нет, никоим образом. Достаточно было еврейской фамилии нашей, от которой мы страдали всю жизнь в СССР, и были всё время в каком-то угнетении. Я не знаю, как вам, москвичам, там жилось? Вы были под крылом посольств, иностранных журналистов, всё-таки, а мы там, в Ташкенте, были брошены на произвол. Мы только потому и пошли заниматься боксом, что у нас другого выхода спастись не было. Меня били и в детском саду и в школе.

**Кто бил?**

Русские. У узбеков не было антисемитизма.

**Там лагеря были?**

Весь Ташкент был окружён лагерями, это страшное место было. И, в то же время, там во время войны жил цвет советской интеллигенции: писатели, кинематографисты...

**Вернёмся, в Израиль. Анатолий Якобсон приезжает, и у него серьёзная проблема — депрессия после страшного стресса.**

В каком-то смысле мы были на одном уровне — в алкогольном, скажем. Или в психическом. Мы до приезда в Израиль четыре года были в отказе. Меня выгнали из газеты, я два года был совершенно без работы, в трудовой книжке у меня была запись — «недоверие». Просто был выброшен на произвол судьбы. Хорошо, друзья печатали меня под чужими фамилиями. Было ежедневное ожидание отъезда, дальнейшее проживание в Советском Союзе было абсолютно бессмысленным. Жизнь превратилась в ежедневные проводы. Вы помните, что такое проводы? Мы просто спивались в то время, я был, буквально, спившийся человек. Когда я сюда приехал, мне в ноги бросились и стали упрашивать, чтобы я снова вернулся в бокс. И я здесь ещё 7 лет боксировал. А приехал я сюда совершенно спившимся алкоголиком.

**А что значит в трудовой книжке запись «недоверие»?**

Это за подачу на отъезд в Израиль. Меня тут же изгнали из газеты и формулировку нашли — «недоверие».

**Вскоре после приезда Якобсон попадает в больницу, а выйдя оттуда, с мая по июль 1974 г., работает на мельнице.**

Я не помню этого, это до меня ещё было. Только позже он рассказывал мне об этом.

**У меня есть несколько фотографий: на одной Якобсон, в военной форме, боксирует с Вами; на другой он — на фоне брошенной бронетехники.**

Это в деревне Кфар Хушния на Голанских высотах, где стоял наш полк.

**Как получилось, что Якобсон оказался в вашем полку? Он Вас сам попросил, или Вы ему предложили?**

Толе, во-первых, самому интересно было Я ему предлагал всегда, рассказывал много о войне Судного дня, рассказывал, что, на самом деле, мы воевали с Советским Союзом. Против нас была советская техника — бронетехника, самолёты. В танках и в воздухе звучала русская речь, все окопы были заполнены ящиками с гранатами и бомбами. Надписи были на русском языке. Это пугало, это страшно было. Для меня это был удар ниже пояса.

Когда я уезжал из СССР, мне говорили, что я бросил их, что я их предал. Мне говорили: «Неужели ты будешь воевать против нас?». Я отвечал: «Зачем вы туда прёте? Зачем вы воюете против моего народа?» Там на меня смотрели, как на врага, как на человека, который переходит на сторону противника.

Я был ранен. Я Толику рассказывал, показывал осколок, который извлекли из меня. «Смотри, — говорю ему, — ушёл оттуда, а где-то на Урале отлитый снаряд, этот кусок стали — здесь, в Израиле, нашёл меня». Вот, примерно, на такие темы были разговоры. Ему очень интересно было приехать к нам в часть. И ехать-то всего два часа из Иерусалима. И мы ездили туда, ездили несколько раз. Там и отдохнуть было приятно, там — озеро Тивериадское.

Страшное огорчение у нас вызывал вид разбитых советских уазиков, брошенных сирийской армией. У меня часто были моменты, когда я удалялся стихи писать. Я сидел в этих уазиках, и было какое-то ощущение, что это твоё родное, ты в этом вырос.

Я недавно слышал историю, совершенно обалденную. Был фильм по российскому телевидению о ливанской войне 82-го года, в которой я участвовал. В фильме говорилось об участии в той войне советских советников. Один персонаж фильма, бывший десантник и советник, а теперь — священник в какой-то церкви — в результате той войны остался без ноги. Так он рассказывает, что израильтяне страшно охотились за этими советниками. Израильтянам надо было доказать всему миру, что русские действительно воюют на стороне арабов. Однажды израильтяне взяли в плен группу, попавшую в засаду. А офицер израильский оказался бывшим советским гражданином и прекрасно говорил по-русски. Он отвёл советника в сторону и сказал: «Уходи, вон туда, туда, туда... Уходи, я тебя не видел, ты меня не видел», и отпустил его. Я себе сейчас задаю вопрос — может быть и я поступил бы также. Это, конечно, страшное преступление по отношению к своему народу, но я, наверное, поступил бы также.

Конечно у меня симпатии к народу, с которым я раньше жил, я ничего против него не имею. Мне власть была враждебна. В первую очередь власть, а люди русские спасли моих родных во время войны, когда

они бежали от фашистов. Конечно, я всем обязан русскому народу. Эти вещи, а также любовь к поэзии и литературе, объединяли нас с Толиком. Вот в таком мире мы жили и дружили.

### **Какая у Вас армейская специальность?**

Водитель танка.

### **Якобсон был с Вами в танке?**

Конечно, я его привозил в часть. Нас резервистов призывали на ежегодные сборы, и я его брал много раз с собой. Эта вещь совершенно запрещённая, но у меня в армии был очень большой авторитет: я был чемпионом Израиля, журналистом, поэтом. Весь мой полк это знал. Меня, вообще, вся армия знала, потому что у меня в танке всегда была пара боксёрских перчаток. Едва кончались бои, я выскакивал с перчатками, и все ребята, буквально весь Рамат Голан, сбегались. Бокс был единственным видом спорта, единственной отдушиной, которая была дозволена ребятам после боёв.

Я рассказал командиру историю Толика, что он болен, что он на самом деле — величайший человек, человек эпохи. Просто рассказал ему всё и показал книгу с его переводами. И мне позволили взять в боевую часть человека нездорового и постоянно пьющего. Вечерами собиралась группа русскоязычных, а нас было где-то человек 50, он читал стихи. Ребята, как правило, все были интеллигентные, знающие поэзию. Сидели ночи напролёт в песках в танке, и он читал нам стихи. Покорены были все, и командир мне ещё благодарен был за такого гостя. А вы спрашиваете, возил ли я его на танке?

У меня всегда была запасная форма, она у каждого содата есть. Я ему давал эту форму и сажал его в танк. Он жил с нами как солдат. Для него это было... Понимаете, ведь он же чувствовал неполноценность свою из-за болезни. Его не призывали в армию. А тут, вдруг, он в армии и ходит в форме. Он гордился этим. Я помню, где-то в предпоследний год его жизни, у меня был творческий вечер. Я привёз туда военную форму — мы на завтра должны были с Толиком уезжать. Он подходил ко всем и рассказывал, что завтра мы идём служить. Он не говорил, что едет гостем, а говорил, что его туда призывают. Он с этой формой носился, как со знаменем.

### **Расскажите о Якобсоне — боксёре. В какой он был спортивной форме?**

У боксёра техника всегда остаётся, в каком бы он возрасте не был. Он абсолютно нормально стоял. Великолепно! Он был хорошим боксёром, у него была отличная техника. Он никогда не мог забыть и рассказывал нам, как, когда он выступал на соревнованиях, тренер противника кричал ему: «Жидовская морда!». Это злило Толю больше всего, и благодаря этим окрикам он выигрывал бои. У него хорошая боксёрская



стойка была, чёткий правый удар, великолепное чувство дистанции. Не забывайте, что это человек, который пил ежедневно и еженощно. Я потрясён был тем, как он стоял три раунда, дышал и бил, и не только со мной, но и с моим братом Эли. А брат мой — дважды чемпионом Союза был. Толя и с ним стоял на ринге, и Эли давал ему самую высокую оценку, какую мог бы дать вполне здоровому человеку. Толя стоял. Одевал перчатки и преображался.

**Вы — филолог, знаток поэзии. Что у вас было общего с Якобсоном в этой области?**

Ну, где-то одинаковые вкусы у нас были, мы сходились в оценке любимых поэтов, любимых писателей. У нас было одинаковое отторжение Лермонтова. Это был может быть первый человек в моей жизни, который тоже не воспринимал Лермонтова. Одинаковая любовь к Ахматовой.

**Расскажите о литературных выступлениях Якобсона в Израиле.**

Я лично ему устраивал много вечеров в Тель-Авивском клубе Шнерсона. Был маленький такой зальчик на 120 мест, и он всегда был забит. Темами его выступлений были, в первую очередь, Ахматова, Пастернак. Много о Блоке рассказывал.

**Якобсон часто выражался афоризмами, любил шутить. Не припомните что-нибудь из них?**

Не припомню, но это всегда именно так и было. Они были у него в избытке. Память у него была великолепная, нрав у него был жизне-радостный. Он умел выступать на сцене и держать публику.

**О его поэтических переводах вы беседовали?**

Не припомню деталей, но говорили очень много. Он очень высокого мнения был, конечно, об Анатолии Гелескуле.

**О Шолохове у Вас разговор не заходил? О «Тихом Доне»?**

Конечно, были разговоры, и мы сходились во мнении, что это не его книга.

**Говорили ли Вы о Юлии Марголине?**

Очень много и долго говорили. Говорили, что ещё задолго до Александра Исаевича был еврейский Солженицын — Марголин. Якобсон очень много мне о нём рассказывал. У него и вечер был на эту тему.

**Как складывались у Якобсона отношения с Д. Сегалом на кафедре славистики Иерусалимского университета?**

Очень тяжелые отношения. Это была его самая больная тема. Сколько вреда, столько горя ему принёс этот человек.

**Но ведь Д. Сегал дал Якобсону работу на кафедре...**

Это я тоже слышал. С другой стороны были совсем другие отзывы, но я не верю им. Я Толику верю.

**В большинстве своём, люди, приехавшие в Израиль, были репатриантами. А Якобсон не хотел уезжать из России, его выпихнули. Согласны ли Вы с тем, что он жил в Израиле как эмигрант?**

Если бы, хоть однажды, я ощутил в нём неприятие Израиля как родины, как дома своего, если бы не видел ту же любовь, какую я испытывал к этой стране, у нас не было бы общей почвы, мы никогда бы не были друзьями. Для меня — это как лакмусовая бумажка. Израиль — это всё. На первом месте. Иначе никогда бы мы не дружили с ним. Это был его дом, эта была его любовь, евреи были его народом. Катастрофа была незаживающей раной в его сердце. Именно так оно и было.

**Когда Вы возили Якобсона по Израилю, какие у него были эмоции?**

Он любил страну: и Синай ему нравился и Голанские Высоты. Он очень любил страну.

**Что говорил Якобсон о советской власти?**

У нас был одинаковый подход, одинаковый мат и ругань по этому поводу, одинаково ненавистное отношение к советской власти как к власти — убийце.

**Как Якобсон относился к арабам?**

Очевидно, точно так же как и я. А я их различаю по одному принципу: враг — тот, кто с оружием против меня. Все остальные — мои друзья и братья, и так оно и происходит. Ко мне на день рождения — кстати, я тренер по боксу<sup>2</sup>, у меня тренируется полно ребят арабов из Восточного Иерусалима, — приходят ребята арабы и приносят мне подарки, обедают со мной чуть ли не каждый день у меня в доме. У меня нет проблем с арабами. Мы должны жить вместе.

Мы с Толей могли спокойно ездить в Рамаллу, в любой арабский район, покупать водку у них. Однажды, когда Толя был с моим братом Эли в Старом городе, в Восточном Иерусалиме, арабы набросились на них, хотели просто забить камнями.

**С чего вдруг?**

А там не разбираются: с чего вдруг, — там начинают — и всё.

**И чем дело кончилось?**

Они — боксёры. Отбились.

**Якобсон в компании друзей: кто входил в его ближний круг кроме Вас?**

Володя Гершович, Володя Фромер, ещё кто-то, узкий круг у нас был. Приведу один пример, из него станет ясно как к нему окружающие

<sup>2</sup>Иерусалимский Клуб бокса Маккаби (<http://www.luxboxing.org/index-r.htm>)

относились. Во-первых, когда он выпивал, он агрессивным становился в компании. И, когда его агрессивность проявлялась, он был невыносим для остальных. Он не любил других, не любил чужаков. Но, едва он начинал читать стихи, — это была совершенно другая картина.

Я помню, однажды был мой творческий вечер в каком-то киббуце. Это был киббуц советской инженерной интеллигенции. Толик тоже приехал со мной. Зал был забит, это было в коттедже каком-то семейном. Для Толика там места не нашлось, и, поскольку он был уже пьяный, он влез в какую-то детскую кроватку. Свернулся и сидел в ней, и оттуда после каждой моей песни доносились его реплики. То ли он там хвалил, то ли шутил. И кто-то ему из зала крикнул: «Ты, там заткнись в кроватке!» Я оставил гитару: «Ребята, я петь больше не буду, вы оскорбили моего лучшего друга. Если бы вы знали, кто сидит в этой кроватке, вы бы дорого-дорого заплатили за одну секунду общения с этим человеком». Вот такие обиды наносились ему. И не было для него друзей в таком состоянии.

#### **Якобсон жил в Неве-Якове, а где Вы тогда жили?**

В начале я жил в Бат-Яме, это полтора часа езды на машине от Неве-Якова.

#### **Бывал ли Якобсон в компании двух братьев Люксембург?**

Мы в троём редко общались. Брат был не пьющий, поэтому не вливался в компанию.

#### **Что представляла собой русскоязычная культурная жизнь в Израиле в то время?**

Всего полно было. Всё гудело, кишело. Была Нина Михоэлс — я участвовал в её спектаклях. У неё был маленький театр. Всё это было, к сожалению, на низком уровне. Толик часто ездил со мной на эти спектакли, но это ради меня делалось, только ради меня.

#### **А как он относился к Вашим песням?**

Он мне пятибалльную систему установил, и около десятка песен получили пять баллов. Очень любил песню «Иерусалимский вокзал», которая была посвящена ему. Очень любил её, часто просил её спеть.

#### **Есть ли у Вас его автографы?**

У меня есть его автограф на моей книге, моём первом сборнике стихов. Толя написал вступление к этой книге.

#### **Говорил ли Якобсон Вам о своих друзьях, которые остались в России?**

Часто их вспоминал, рассказывал.

#### **Упомянул ли он в беседе с вами свою правозащитную деятельность в Советском Союзе?**

Очень много рассказывал, очень часто при мне звонил туда диссидентам.

**О покаянной пресс-конференции Якира и Красина в день отлета в Израиль Яacobсон Вам не рассказывал?**

Якира и Красина называл слабыми людьми, которые не выдержали испытаний. Он не имел ввиду предательство.

**Рассказывал ли он о своей работе учителем?**

Это всегда была его самая сладкая тема, самая любимая — сама школа и как он преподавал, какие у него ученики были. Это был всегда восторг, какое-то возвышенное состояние души. Очень много деталей он вспоминал и без конца называл фамилии. Это была его неуывающая любовь.

**Известна любовь Яacobсона к русским частушкам...**

Очень часто их читал. И свою эпитафию шуточную:

*Ну вот и схоронили Яacobсона.  
Подумаешь, е... мать персона.*

У него была целая тетрадь стихов «на случай».

**Как он относился к своей собачке Томику?**

Это была любовь, он называл Томика своей душой. Погибнет Том — погибнет и он.

**Когда Яacobсон женился на Лене, в доме появился огромный сенбернар Глеб. Как собаки уживались?**

С трудом, с трудом уживались. Но, видать, Толику были важны хорошие отношения с женой, и он делал абсолютно всё, ломал себя, чтобы помирить собак и сохранить мир в семье.

**Расскажите о Лене Каган, последней любви Яacobсона.**

Они очень ладно жили. Очень любил он её, у него это был сладкий период в жизни. Я думаю, она продлила ему жизнь своей любовью.

**Толина смерть — ужасная трагедия. Почему он так поступил, ведь он только женился?**

Он мне рассказывал очень часто: «Если бы ты только знал, какие душевные боли я чувствую, ты не представляешь себе». Он мне тысячу раз рассказывал, тысячу раз: «Это жутко, это невозможно, я не могу передать, что я чувствую, как я страдаю!»

Не раз его спасали, не раз вытаскивали. И у его матери были те же попытки.

Я, когда иду к отцу на могилу, — он лежит недалеко от Толика — всегда подхожу к Толику и к его маме Татьяне Сергеевне — рядом они лежат.

### **Как Вы пережили известие о смерти Вашего друга?**

Когда Я получил сообщение о гибели Толи, я проходил службу в Газе. Только спустя несколько дней мне сообщили в армию, что Толик умер. Я патрулировал вдоль берега моря, вёл джип и рыдал. И в первую же ночь я сел и начал писать Реквием — стихи, посвящённые Толику.

### **Смерть поэта**

Поэт ходил с плебеями в обнимку,  
Хмелел под утро за одним столом.  
Снимала Муза Чёрную косынку,  
Склоняясь над незаконченным стихом.

Он, по иным сокровищам скучая,  
Гонял чертей от Храмовой стены.  
Неслась Земля, как бабочка ночная,  
На яркий свет безжалостной Луны.

Мы смерть свою обходим стороною.  
Нас греют только бабы и вино,  
Висит поэт над маленькой страной,  
Благославляя каждое окно.

Не вырваться с живыми из загона,  
А он ушёл с такими же в побег.  
А мы опять в плену у Фараона,  
И море не расступится вовек.

### **Душа<sup>3</sup>**

Нам кажется, что жизнь коротка,  
Собачьего короче поводка.

Еще не высох на полу плевок,  
А человек висит, как поплавок.

Еще тепла от шепота жена,  
Еще душа прозрачна и грешна,

---

<sup>3</sup> Стихотворения Григория Люксембурга «Иерусалимский вокзал» и «Душа» опубликованы в израильской газете «Наша Страна», 27 октября 1978 через 30 дней после смерти Анатолия Якобсона.

Но дернулся собачий поводок,  
Как будто в ребра врезался сапог.

И тихая, бездомная душа  
Глядит на труп глазами малыша.

### Поминки

Прячусь в Газе. Повесился друг.  
На спастись от тоски окаянной,  
Пусть арабы смеются вокруг,  
Как хожу я по улицам пьяный

Снова жизнь начинаю с нуля.  
Машут чёрным платком бедуинки.  
Я вчера схоронил короля,  
А теперь отмечаю поминки.

Убежал. Ни друзей, ни родни.  
Газа пахнет жасмином и склепом.  
Сколько нас на тот свет ни гони,  
Всё живём в этом мире нелепом.

### Кладбище на Масличной горе

Ангелы на крышах бьют как снайпера:  
На горе Масличной встретиться пора.  
На границе с небом съёжмися рядком,  
И гора накроет каменным платком.  
Затянуть бы туже смерти пояса,  
На горе Масличной верят в чудеса.

## Иерусалимский вокзал

Вот и закончился путь.  
Вот и закончился век.  
Может, как свечку, задуть  
Сердце свое человек.

Вот и закончился крик.  
Вот и закончился бой.  
Господи, как ты велик,  
Взяв на себя эту боль.

Эхом несется вагон,  
Выдержат ли тормоза?  
Смотрят с обеих сторон  
Гор иудейских глаза.

Гор иудейских глаза.  
Гор иудейская речь.  
Поезд мелькнет, как гроза,  
И прошумит, как картечь.

Вот и закончился бег.  
Где наш последний перрон?  
Падает замертво в снег  
Бога штрафной батальон.

Бога штрафной батальон.  
Мира штрафной батальон.  
Века штрафной батальон  
Вышел на этот перрон.

Вот и закончился путь  
Полный утраты и грез.  
Боже Ты мой, не забудь,  
Тех, кто сюда не дополз.

Вот и закончился путь.  
Поезд ушел на покой.  
Боже Ты мой, не забудь,  
Тех, кто еще не с Тобой.

## *Муза Ефремова*

### **Чуковские и Яacobсон. К истории знакомства<sup>1</sup>.**

*Воспоминания подготовлены автором на основании аудиозаписи беседы с Юлией Сычевой.*

...Для меня Корней Иванович и Лидия Корнеевна были личностями почти фантастическими, героическими... Классиками! Почти всё, вышедшее в печати к тому времени: воспоминания, литературоведческие статьи, кое-что из «Чукоккалы», переводы, — конечно же, было мною прочитано! Я восхищалась Корнеем Ивановичем всегда! Не говоря уже о детских книжках, без которых я, а теперь и мои дети, и мои внуки, и уже моя правнучка, — жизни не представляем.

#### 1

Появляться в доме Корнея Ивановича регулярно я стала с 1963 г. Бывала я в Переделкине и раньше, но больше как «гостья» — подруга Клары Израилевны.<sup>2</sup> Клара Израилевна должна была иногда отлучаться в Москву по редакционно-издательским делам. Корней Иванович всегда охотно принимал «гостей». Испросив разрешения, я приезжала с группой школьников, моих учеников. Мы старались быть полезными. Особенно нравилось нам работать в детской библиотеке: правильно расставить книги, подклеить обложки, убрать, если надо, мусор. Зимой — расчистить заснеженные дорожки, летом — участвовать в чудесном празднике «Костер». Но самая большая радость ожидала нас в Доме, в кабинете Корнея Ивановича!

Постепенно Корней Иванович перестал, кажется, считать меня чужой. Корней Иванович был одновременно как нянька и как ребенок. Как взрослый он учил, как ребенок — радовался, порой озорничал, а как нянька — заботился.

Уже несколько лет я работала в школе в старших классах учительницей литературы и русского языка. Мне казалось тогда, что я говорю правильно. И вот однажды, провожая меня до двери, Корней Иванович сказал: «Муза Васильевна (он потом стал называть меня Музой, а сначала называл Музой Васильевной, что меня смущало, хотя, работая в школе, я должна была бы привыкнуть), позвольте я вам помогу одеться». Я сказала: «Спасибо! Помогите мне, пожалуйста, одеть пальто». «Что вы такое сказали?» — удивленно и почти гневно раздалось в ответ! Я повторила: «Оденьте...». «Как? Вы сказали: «Оденьте?!» И начал мне горячо объяснять разницу между глаголами «оденьте» и «надень-



те»! Я на всю жизнь запомнила! Мне было невероятно стыдно! И уже никогда я не ошибалась и старалась, чтобы другие говорили по-русски правильно (и не только мои ученики). Случались и другие «казусы»...

Иногда Клара просила приехать утром. Если было время каникул или школьное расписание позволяло мне, я с радостью мчалась в Переделкино! Иногда прихватив с собой сына Юру и собаку, черного спаниеля. У Корнея Ивановича очень сложный был режим, обусловленный тем, что он почти не спал. Но с раннего утра он вставал к конторке и работал до 10 часов. После завтрака и очень короткого отдыха надо было его «уложить», то есть заставить лечь и хоть немного поспать. Большой, он складывался, как кузнечик, я укутывала его пледом (очень красивым, из Шотландии прислали) и начинала читать вслух, по его выбору, конечно. Сначала он занимался моим образованием, буквально. Просил меня прочесть что-либо, что мне было (по его мнению) знать необходимо. Потом я стала помогать (это было не так часто, когда Кларе Израилевне надо было куда-то ехать по делам Корнея Ивановича или в отпуск. Он шутил: «палочка-выручалочка»).

Сначала мы читали верстку перевода Николая Корнеевича (кажется, переиздание «Острова сокровищ»). На слух Корней Иванович воспринимал очень хорошо. О сне и речи не было, но лежал он так, что казалось, дремлет. Я начинала читать тихонько-тихонько. «Муза, я не сплю. Не халтурьте!» Я увеличивала громкость.

В замечательной книге Лидии Корнеевны «Памяти детства» очень точно описано, как мучительны для него были проблемы со сном. Иногда читать книгу было трудно, особенно когда это была корректура. Тогда он старался дать мне и себе отдохнуть. Иногда просил меня читать детективы, переведенные на русский язык. Мы читали Агату Кристи, Сименона, я сейчас и не помню, каких ещё авторов. Но очень хорошо помню, что я однажды сказала: «Корней Иванович, вы и такие книги читаете?» Я молодая была, смелая, да и сам он меня разбаловал. Я посмела упрекнуть его, что он читает подобную ерунду! Он сказал: «Муза Васильевна, ну что вы, надо же уму давать отдохнуть, и душе. Если я всё время буду думать, что сказал Чехов, что случилось с Некрасовым или ещё с кем-то, — можно сойти с ума. А если это сделано в хорошем стиле, в традициях жанра, то это замечательно!» Я смутилась, захотелось объяснить, оправдаться: «Понимаете, я очень мало знаю, не успеваю читать даже самое необходимое! Хотя я и должна учить других, ведь я педагог, но... очень необразованный, как я считаю. Надо многому учиться, много читать, а столько упущено времени... Война, работа, семья, ребенок! Вокруг очень много интересного, необходимого! А музыка, театр, литература — это такое чудо! Так хочется, чтобы мои ученики знали побольше!». «Я очень рад, что вы так говорите! Но вот послушайте, что я прочел недавно в такой вот книжке: пришел муж

домой, а у жены любовник (такую мне историю рассказывает). То ли муж решил любовника наказать, то ли жена с любовником задумали мужа извести... По-моему, муж. В общем, он принес ядовитую змею... А когда вместе пили кофе, выпустил её под стол... Змея впилась в ногу соперника!.. А тому хоть бы что. Муза Васильевна, оказалось, что нога у него деревянная!» Он нарочно мне рассказывал «сказки» ... Рассказывал замечательно, был он настоящий актер! А потом радостно говорил: «Ну, вот видите, мы посмеялись, и вы уже отдохнули».

У нас с Кларой Израилевной в обиходе почему-то (кажется, от моей мамы) было слово «лахудра». Она нас иногда попрекала: «Девочки, что вы ходите как лахудры?!». (Сама-то она всегда была в форме). Мы это слово запомнили. Считали, что это значит — лохматые, и временами употребляли... Тогда Корней Иванович говорит: «Клара Израилевна, а что значит лахудра?» Она говорит: «Ну, лохматая, непричесанная». «Ну-ка, открывайте словарь!» Открываем. «Лохудра — плёшка. См. плёшка». Смотрим. «Плётка. Плёшка — хуже б...» Всё понятно! «Ну и что же вы такими словами кидаетесь?» Мы на всю жизнь и это запомнили. Он всё время учил нас незаметно, шутя, какой бы он ни был усталый. Когда я приезжала с сыном Юрой, он занимался им. Маленький Юра писал стихи. К. И. всегда был очень внимателен к детям, всё его интересовало. Очень многим он казался суровым, требовательным. Это так и было, но смотря по какому поводу... А вот когда он разговаривал с Юрой или я привозила своих учеников, не было человека более внимательного, радушного, терпеливого и щедрого! Хотя иногда мне казалось, что его многие побаивались (только не дети!). Он был человек остроумный, светский и всегда очень строгий не столько к другим, сколько к себе. В письме к Лидии Корнеевне Давид Самойлов заметил, что Корнея Ивановича всегда привлекали личности, которые сделали себя сами. Я уже много к тому времени знала о Корнее Ивановиче. Знала, какой у него характер, привычки, пристрастия. Он был очень взрывной, импульсивный, мог быть резким, но все время себя воспитывал. Многие говорили, что он лицедей. Мол, это он всё играет. Но ведь он играл хорошего человека! И по ходу игры в хорошего, благородного, сдержанного, замечательного человека не только «раба из себя вытравлял», но и всё дурное, что в нем было (по его собственному мнению). Корней Иванович всё время себя муштровал. До последней минуты!

## 2

Лидия Корнеевна летом жила в «Пиво-водах», и в ту часть лесистого участка мы старались не забредать, детей и собаку туда не пускать. Мы боялись Лидию Корнеевну потревожить, помешать работать.

А познакомились мы с Лидией Корнеевной по-настоящему... я сейчас точно не помню... в 1968 г., кажется. И как же это случилось? Мой

друг, Анатолий Александрович Якобсон,<sup>3</sup> был учителем знаменитой 2-ой математической школы, где учился мой сын. Якобсон был человеком совершенно замечательным (до сих пор о нём помнят, думают, пишут, читают с интересом и восторгом его книги, статьи, переводы, собираются в день его памяти). К тому времени он уже не только прочел школьникам лекции о поэзии 20 гг., об Александре Блоке, Пастернаке, Ахматовой, но и написал статьи (или эссе) «О романтической идеологии», «О поэзии гармонической и трагической». Часто он повторял, что хотелось бы узнать мнение Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны. А Лидия Корнеевна к тому времени уже была известна как автор замечательных писем-протестов и писем в защиту. Это была не просто смелость, а проявление отчаянного, гордого, непримиримого протеста, храбрость на грани подвига! Якобсон восхищался ею. Когда-то, когда я начала преподавать в театральном училище и была немного связана с театром «Современник», готовящим постановку трилогии «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики», мне очень хотелось получить исчерпывающий ответ на вопрос: кто же такой интеллигент? Корней Иванович предложил мне посмотреть статью об интеллигентах в английском энциклопедическом словаре. Там было написано: интеллигент — человек, занимающийся умственным трудом. А дальше сноски: русский интеллигент — не просто человек, который занимается умственным трудом, но который думает, беспокоится о судьбе народа. Его деятельность почти всегда связана с риском для жизни. Почти всегда — подвиг. Вот что значит русская интеллигенция. Такой была Лидия Корнеевна!

И к Толе Якобсону всё это имело прямое отношение. К тому времени Толя был известен не только как интересный литератор и педагог, но и как отважный правозащитник. Но письма, выступления в печати Лидии Корнеевны — такая высота казалась недосягаемой! Они не были знакомы, но он преклонялся перед ней. Для него мнения Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны были очень важны.

И вот я приехала с рукописью Якобсона на очередное дежурство. Когда наступило время дневного перерыва-отдыха, когда Корней Иванович, уже плотно упакованный в плед, приготовился к нашему очередному чтению, я говорю робко-дерзко:

— Корней Иванович, можно я вам прочту работу одного молодого литератора?

— А кто это?

— Анатолий Александрович Якобсон.

— Подождите, подождите, подождите... Я где-то слышал эту фамилию.

— Давайте я почитаю?.. («Заснуть он, конечно же, не заснет, но будет сидеть спокойно», — подумала я).

Он сидел, замотанный в этот плед, на балкончике, на втором этаже. Я начала читать. Он сначала раскрыл широко глаза, потом выпростал руки и стал похожим на паука из «Мухи-Цокотухи» (только доброго, так почему-то подумалось), потом начал весь высвобождаться из-под пледа.

— Муза, помогите же мне!

Я помогла.

— Муза! Что вы такое мне читаете?

Я объяснила.

— Он ваш хахель?

Корней Иванович, уловив моё беспокойство, хотел пошутить и как-то разрядить обстановку. Вопрос был такой смешной! Не помню, что я ответила, но не обиделась, это точно. И дочитала до конца!.. Уф! Уже во второй половине чтения он встал и начал по этому крохотному балкончику ходить.

— Муза, вы знаете, это поразительно! Мне надо показать это Лидуше!

Это была первая реакция: Надо непременно показать Лидуше!

— Можете мне оставить?

— Ну конечно, Корней Иванович, могу.

Я оставила. Когда я пришла на другой день, он сказал:

— Я Лидуше передал, но ещё мнения не знаю. Да, Муза, я вспомнил, кто такой Якобсон. В «Мастерстве перевода» — его статья о переводах Маршака и Пастернака «Ещё раз о 66-ом сонете Шекспира».

Пошли в кабинет (отдых на этом, конечно, закончился). Взял с письменного стола какую-то книжку и написал на ней: «Анатолию Александровичу Якобсону с восхищением и завистью!» Это была только что вышедшая в новой редакции книга «Живой как жизнь». У меня даже мурашки по телу... Я представила себе, что это будет для Толи!

Ну, в общем, я эту книжку принесла. И какое было удивление, восхищение, — не могу передать! Корней Иванович нашел такие слова, он написал «с восхищением и завистью!»

Сейчас об этом ходят мифы. Я недавно прочитала воспоминания кого-то из второшкольников, как он привез Анатолию Александровичу книгу и где-то в подъезде потихоньку ему передал. Но это знаете что? Это не вранье. Это мифы, рожденные желанием прикоснуться, приобщиться к истинному, настоящему...

В общем, я выполнила то, что казалось почти невозможным. А потом... телефонный звонок. Лидия Корнеевна позвонила. До того мы с ней только здоровались, встречаясь на вечерах, на кострах, знали друг друга в лицо (по-моему, она меня иногда даже с Кларой путала: мы немного похожи: обе черненькие, смешливые). Л. К. позвонила и низким голосом сказала: «Муза Васильевна, это Лидия Корнеевна,

я бы хотела поговорить с Анатолием Александровичем». Я ответила, что его сейчас нет дома. А что ему передать? «Муза Васильевна, вы не могли бы с Анатолием Александровичем приехать, только позвоните заранее, я скажу, когда...». Мы приехали.

Лидия Корнеевна пишет в письме к Д. Самойлову: «Я познакомилась с Музой Васильевной и Анатолием Александровичем на ступеньках дома Корнея Ивановича».<sup>4</sup> Мы пошли по двору, Толя шел рядом с Лидией Корнеевной по узкой тропинке, ведущей в ее имение под названием «Пиво-воды» (очень маленький летний домик был похож на привокзальный деревянный киоск). Толя так волновался... Я ему перед этим сшила вельветовый черный пиджак, правда, спортивный, а не выходной, но ему это одеяние очень шло, особенно со светлой рубашкой. Надо было их видеть. Я во многом, как, оказалось, была ещё несмышлениш (хотя было мне уже далеко за тридцать). Кто такой Якобсон, я знала, кто такая Лидия Корнеевна... Она была существом невозможным, безмерным, непостижимым! До этого мы с ней никогда близко не общались, я и смотреть-то почти не смела (потому и не знала почти ничего).

А тут передо мной — необыкновенная женщина. Во-первых, она была очень точно одета. Нет, не роскошно, не богато — совсем другое! Всё было к лицу! Ничего лишнего, вычурного. Все как-то особенно органично соответствовало всему её облику, характеру, месту, обстоятельствам. Она мне показалась красавицей! Ходила не очень быстро, чудилось даже порой, что неуверенно, потому что плохо видела. Толя был очень взволнован. Казалось, он оберегает каждый шаг, каждое движение Лидии Корнеевны. Я посидела с ними немножко, на скамейке около домика. Я знала, что Кларе надо уехать в редакцию, и пошла к Корнею Ивановичу.

После этого я там часто бывала с Толей. Сначала он один без меня не ездил. Но я очень быстро поняла, что мне необязательно присутствовать, потому что у Лидии Корнеевны было так мало рабочего времени, а для себя — и того меньше... Между ними с первого дня возникло такое взаимопонимание, такая необходимость делиться самым насущным и сокровенным во всем, что составляло жизнь: мыслями, чувствами, планами, оценками происходящего, взглядами на людей. Толя весь начинал светиться! Вернее, высвечивалось всё лучшее, что в нём было! А когда мы приехали во второй раз, Лидия Корнеевна сидела на крыльце. Она этого не помнит. Мы с ней как-то говорили об этом.

Она была в очень красивой длинной юбке, и кофточка была серебристо-серая, неброская. На плечах шерстяной платок-паутинка (тогда это было модно). И седые густые волосы, искусно уложенные Люшей<sup>5</sup> (и всё было безупречно, уместно, прекрасно!). Это была истинная Женщина! Красавица. Я нисколько не преувеличиваю.

И Толю надо было видеть — глаза сияют! А пока мы шли, он успел собрать букетик земляники и преподнести Лидии Корнеевне с грацией истинного рыцаря. Вот такой это человек, который все время ходил по краю. Смелый борец-правозащитник, талантливейший литературовед и беспощадный критик, он обладал нежнейшим и чутким сердцем. Лидия Корнеевна это почувствовала сразу. Кроме всего прочего, он был поистине великодушен, очень любил людей.

Я так радовалась, что они расцвели оба. Они обрели друг друга! Он был удивительный, сильный и ранимый человек. Она это поняла, оценила. Они были просто необходимы друг другу. Она разглядела в нем что-то, не лежащее на поверхности. Она это различила, как ясновидица. И он был такой же. Он о ней иначе, чем Лидочка, Лидуша не говорил, но это лишь дома, не на людях. А при ком-то, конечно, «Лидия Корнеевна»!

Лидия Корнеевна, человек удивительной доброты, нежности, безграничной любви к тем, кто этого заслуживал, большинству сталкивающихся с ней казалась совершенно другой.

Однажды, когда мы навещали Лидию Корнеевну в Москве, она дала нам читать три тоненькие тетрадки, по-моему, школьные, мне показалось, чуть не в косую линейку. Три тетрадки! Это была часть первой книги об Анне Андреевне Ахматовой. «Софью Петровну» мы тоже получили «для ознакомления», тоже в рукописи. А до этого мы читали, в основном, открытые письма (уже давно была прочитана книга «Былое и думы Герцена»), но Лидия Корнеевна не разделяла наших восторгов).

«Записки об Анне Ахматовой» показались мне очень значительными. А вот «Софья Петровна»... Мы долго не были у Лидии Корнеевны, наверное, дней восемь. Мы не могли сказать, что «Софья Петровна», написанная году в 38 или в 39, не произвела на нас впечатления. Но после открытых писем и «Записок...» Как будто её другой человек написал, не Лидия Корнеевна. Потому мы с Толей и не решались пойти к Лидии Корнеевне: боялись её огорчить своей ограниченностью. Потом поговорили между собой, пошли и напрямик всё ей сказали. Тогда она нам дала «Спуск под воду». Также в рукописи. Но у нас не пошло и это... Мы читали внимательно, анализировали. Толя еще кому-то показывал. Может быть, Давиду Самойловичу возил.

Лидия Корнеевна не была нашим отзывом ни обижена, ни поражена: она просто постаралась нас понять. Кажется, была немного огорчена. И дала нам роман Житкова «Виктор Вавич».<sup>6</sup> Эта толстенная книга, изданная в тридцатые годы, нас очень заинтересовала. И дала нам ее Лидия Корнеевна, конечно же, не случайно! Она тоже, как и Корней Иванович, занималась просветительством. И хотя Анатолия Александровича необычайно ценила, всё-таки полагала, что чего-то и ему не хватало (по молодости, очевидно), чему-то еще стоило поучиться, чем-то его можно было еще «угостить». Ну а меня — тем более.

Дружба эта крепла... Лидия Корнеевна так не хотела, чтобы он уезжал! Провожать его ехала, как на Голгофу! Сначала они регулярно переписывались. Это был серьезный, хотя и нервный, разговор двух любящих распахнутых душ. Потом общение становилось все более трудным. Не все можно было вместить в несколько строк, минут... И телефон оказался не слишком подходящим посредником. Появились некоторые расхождения в оценке важных событий, поведения общих знакомых, людей для обоих значимых. Были и другие причины, достаточно веские и объективные. Лидия Корнеевна поначалу довольно часто звонила мне, пытаясь с моей помощью разобраться в происходящем. Я оказалась в роли адвоката Якобсона. Я подолгу терпеливо выслушивала её сомнения и претензии. Пыталась разъяснить, приводила, как мне казалось тогда, неоспоримые доводы (ведь знала я Толю давно, знала и то, что было Лидии Корнеевне неизвестно), но не всегда мне удавалось «достучаться». Писем становились всё меньше, а звонков — всё реже.

А потом Толя погиб...

### 3

Когда готовилась к печати книга «Почва и судьба», Лидия Корнеевна принимала во многих наших издательских делах самое живое участие. В книге помещено стихотворение Лидии Корнеевны «Памяти Анатолия Якобсона».

- <sup>1</sup> Впервые опубликовано на интернет-сайте семьи Чуковских, созданном Юлией Сычевой и Дарьей Авдеевой: <http://www.chukfamily.ru/Lidia/Memories/efremova.htm> (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Клара Израилевна Лозовская (р. 1924) — секретарь К.И. Чуковского с 1953 г.
- <sup>3</sup> Анатолий Александрович Якобсон (1935–1978) — критик, переводчик, педагог.
- <sup>4</sup> «Я познакомилась с ним и с Музой Васильевной на крыльце дачи Корнея Ивановича, и мы пошли этой тропочкой ко мне в «Пиво-воды» втроем, гуськом. Иногда Толя шел рядом. Меня поразила тогда его улыбка, ко мне обращенная — удивительно добрая, широкая и какая-то бережная, словно мне 3 года, а он взрослый и боится маленькую случайно толкнуть» — Давид Самойлов — Лидия Чуковская. Переписка. 1971-1990, Москва, НЛО, 2004, стр. 203.
- <sup>5</sup> Люша — Елена Цезаревна Чуковская (р. 1931) — дочь Л.К. Чуковской и внучка К.И. Чуковского.
- <sup>6</sup> «Виктор Вавич» — роман Б. Житкова о периоде революции 1905 г. Эту книгу Б. Житков считал делом своей жизни; работа над ней продолжалась более пяти лет. Тираж полного издания «Виктора Вавича» был пущен под нож осенью 1941 года, после разгромной внутренней рецензии А. Фадеева. Экземпляр, по которому спустя 60 лет после смерти автора (1999) издан роман, был сохранен Лидией Корнеевой Чуковской.



*Ирина Глинка*

## **Тошенька Якобсон<sup>1</sup>**

**(Глава из книги «Дальше — молчание»)**

...Настоятельно просится на страницы эти Тошенька Якобсон. Больше двадцати пяти лет с гибели его миновало, а писать о нём всё ещё трудно...

Кончилось тёплое, золотое бабье лето, три недели баловавшее нас после редкостно скверного лета настоящего. Вчера вечером поднялся ветер, будто со всех сторон подуло, и полил дождь. Наутро листья покрыли землю тускло-рыжим ковром, а верхушки деревьев сразу оголились. Небо серое, безнадежное. И никуда из дома не тянет. Может, к старости больше начинаешь зависеть от природы? Но начну, помолясь...

Его привёл к нам Юлька<sup>2</sup> зимой 62-63 гг. Вошел этакий мальчишка, лохматый, расхристанный, с мощными плечами боксёра, чуть сутулый и с хрипловатым голосом. Даже только что надетая отглаженная рубашка почему-то сразу мялась на нём и теряла свежесть. Нервность его создавала вокруг некое тревожащее поле. Сам он пытался справиться с напряжением, «разряжаясь» с помощью верёвочки, которую нещадно теребил и рвал руками. Однажды я подарила ему толстую паяную стальную цепочку, надеясь, что она займёт его руки надолго, и не нужно будет каждое утро новую верёвочку искать. Но хватило цепочки дня на три всего — порвал вдрызг, силищи на троих хватило бы... Он был ровесником Юры Л.<sup>3</sup>, но выглядел моложе, и за двадцать лет нашей дружбы не постарел, казалось, ни на день. Но всё это внешнее.

Сутью же его было восприятие чужой беды, чужой боли, как своей, обнаженными нервами, будто кожи их скрывающей, просто не было у него... Второго такого человека я не встретила в жизни. Может, и не бывает таких?.. «Не делают больше», — как говорит по такому поводу одна знакомая старушка.

Дружить он умел, как мало кто в наше время (это человеческое свойство ценю я превыше всех прочих). А женщины, которых он любил, не могут забыть его и теперь, четверть века спустя после его гибели... В каких только ситуациях ни приходилось мне видеть его! Сосредоточенно-увлечённым — на публичной лекции, которую он читал во Второй школе. Там, кроме учеников всех старших классов, собиралось множество приглашенных и просто услышавших о его лекциях людей. Думаю, что на уроках своих он бывал таким же. Жаль, что не пришлось ни разу послушать его в классе. Он был трепетно-заботливым, когда рядом был сын Санька (мы называли его любя Якобсонышем. Вырос он умным и очень красивым — в маму, но вовсе не похожим на отца



ни складом характера, ни темпераментом). Видела я Тошку и рассеянно-хмельным, шумным, а то и в полном «раздрызге»: давно пьяным, но крепко держащимся на ногах и твёрдо знавшим, куда именно он стремится. Всегда ухитрялся он вырваться из заботливых рук друзей, — тем казалось, что они лучше знают, когда его нельзя отпускать. Не могу забыть один из эпизодов. Он (пьяный) сбежал от друзей из такси, приостановившегося у светофора на Мясницкой, возле главного лубянского дома. Ухватился, открыв дверцу машины, за столб, и убежал. Но типично для него иное. Вот маленькая история.

Однажды днём без звонка появились у нас Тошка с Якобсонышем в состоянии некоторой взволнованности. Вопрос, с которого он начал, был странным: «Как называется круглое закрытое пирожное с кремом внутри?», — «Буше», — ответила я. За поданным чаем услышали мы Тошкин рассказ о происшествии.

Зашли они в буфет ресторана «Националь» купить пирожных, чтобы к нам принести. Стали в очередь. Перед ними, следом за некоей девушкой, стояли два сильно подвыпивших офицера и настойчиво приставали к соседке. Тошка спокойно сказал одному: «Полегче, капитан!» Те, оглянувшись и обнаружив мальчишку, как им показалось, даже не ответили и продолжили «ухаживание». Когда же девушка закричала: «Да помогите же хоть кто-нибудь!», — Тошка вмешался всерьёз. Задвинув левой рукой за спину Саньку, он правой врезал ближнему офицеру, уложив его мощным своим хуком. Второй попытался растегнуть кобуру (!). Тут Тошка протянул руку к блюду с пирожными на прилавке и, взяв верхнее, вмазал его в глаза и нос пьяного офицера. И пока тот пытался оттереть крем с глаз, Тошка, подхватив девушку и Саньку, ушел, крикнув буфетчице, что зайдёт расплатиться потом (потому и спрашивал название пирожного). В тот раз всё обошлось благополучно, но бывало, думаю, и иначе...

В этом поступке — весь Тошка. Сначала помочь, а потом подумать о возможных последствиях. Точно так же, мгновенно приняв решение, привёл он домой к маме Майю Улановскую, вернувшуюся из заключения и ночевавшую на вокзале, потому что, поссорившись с родителями, не знала она, куда идти<sup>4</sup>. Майю, которую полюбил навсегда и которая родила ему сына (их расставание в Израиле не в счёт — тогда он был уже тяжело болен). Будучи на десять лет моложе Даниэля — на полпоколения — поразительно схож он был с ним рыцарственностью и точностью нравственных оценок.

В работе был он безогляден. Так составлял и редактировал он самиздатскую «Хронику текущих событий». («Кто, если не я? ...») Так же писал он и книги свои. Его книгу о Блоке я люблю потому, наверное, что именно с Блока началась в раннем детстве моя любовь к поэзии. К русской поэзии, потому что поэзия в переводах, даже гениальных,

это нечто иное. Когда, под конец их здешней жизни, Якобсону пришлось выбирать между перспективой долгой отсидки в лагере и эмиграцией с семьей в Израиль, которую ему «милостиво предлагало» ГБ, он выбрал второе. Выбрал эмиграцию, и этим спас семью: мать, жену и сына (если бы он сел, им предстояла ссылка, где без него им бы не выжить). Выбрал, хотя отчётливо понимал, что вне России, без России не выживет сам...

Этот еврейский мальчишка, чья огромная материнская семья (больше семидесяти человек) в латвийском Резекне была загнана в гетто и уничтожена фашистами (только мать, уехавшая перед войной в Москву, уцелела), оказался «всем русским — русский». Ведь именно в России, во многих местных говорах, слова «любить» и «жалеть», которые были для него неразделимы, — синонимы.

Не знаю, насколько убедителен мой рассказ. Наверное, многое нужно было бы добавить, ведь говорить о нём можно бесконечно. Очень ярок он был и перенасыщен эмоциями, если позволительно так выразиться... И письма такими же были, особенно из Израиля. Но там пришла настоящая беда. Навалилась болезнь, висевшая призраком над ним, та же самая, что погубила вторую половину жизни его мамы, начавшись после известия о гибели всей родни. Я не люблю медицинских терминов, но иначе не объяснишь. Называют это МДП, маниакально-депрессивный психоз. Жизнь человека он делит на два противоположных чередующихся этапа: депрессию и состояние возбуждения. Будучи в депрессии, Тошка вынужден был принимать сильнодействующие лекарства (не уверена, что это лечение было единственным и необходимым, как говорят теперь врачи). Под их воздействием он не мог и двух слов связать, говорил, что всё одна и та же буква выписывается. А в другой фазе — становился активным, был возбуждён и даже счастлив — тем, что опять мог думать и писать. Но с каждым новым приступом болезни, активный период всё укорачивался, а депрессия удлинялась... И в таком именно состоянии, считая, что грядет полное отключения от творчества и мира, последние силы собрав, он покончил с собой, повесившись на поводке любимого пса.

Четверть века прошла с тех пор, а примириться с гибелью Тошки ни я, ни все друзья его не можем.

День

на окраине сентября —  
веха, что всё уже без тебя.

Соберётся честная компания  
для ежегодного самокопания:

как мы прохлопали!  
как мы смогли! ...

Водку хлещи,  
сигарету смоли.

Не понимаешь — не понимай.  
К стуже готовься и поминай

как звали.

Это написал любимый Тошкин ученик по 2-й школе, поэт и переводчик Юрочка Ефремов, назвав эти стихи просто «28-е» — датой его смерти...

А Дзэик Самойлов, очень его любивший (что нынче стало очевидным для всех, кто прочел томик переписки Давида с Лидией Корнеевнй Чуковской) и откликнувшийся шестью строками на трагическую сущность Тошкиного отъезда:

...И тогда узнаешь вдруг,  
Как звучит родное слово.  
Ведь оно не смысл и звук,  
А уток пережитого,  
Колыбельная основа  
Наших радостей и мук.

Потом, после самоубийства (в 1979 г.), Давид создал большую поэму «Прощание». В четырнадцати восьмистрочных строфах он не просто воссоздал живого Тошку, но, со свойственной ему мудростью, как бы развёл по местам всё произошедшее. И простыми словами сказал о боли потери... Хочу, должна воспроизвести этот Самойловский текст<sup>5</sup> целиком:

Убившему себя рукой  
Своею собственной, тоской  
Своею собственной — покой  
И мир навеки!  
Однажды он ушел от нас,  
Тогда и свет его погас,  
Но навсегда на этот раз  
Сомкнулись веки.

Не веря в праведность судьи,  
Он предпочел без похвальбы  
Жестокость собственной судьбы,  
Свою усталость.

Он думал, что свое унес,  
Ведь не оставлен даже пес,  
Но здесь не дым от папирос —  
    Душа осталась.

Не зря веревочка вилась  
В его руках, не зря плелась,  
Ведь знала, что придет ей час  
    В петлю завиться.  
Не знамо где — в жаре, в песке,  
В Святой Земле, в глухой тоске  
Она повисла на крюке  
    Самоубийцы.

А память вьет иной шнурок,  
Шнурок, который как зарок, —  
Вернуться в мир или в мирок  
    Тот бесшабашный.  
К опалихинским галдежам,  
Чтобы он снова в дом вбежал,  
Внеся с собой мороз, и жар,  
    И дым табачный.

Своей нечесаной башкой,  
В шапчонке чисто бунтовской,  
Он вламывался со строкой  
    Заместо клича —  
В застолье. И с налета в спор,  
И доводам наперекор,  
Напрополюю пер, — в прибор  
    Окурки тыча.

Он мчался, голову сломя,  
Врезаясь в рифмы и слова,  
И словно молния со лба  
    Его слетала.  
Он был порывом к мятежу.  
Но все-таки, я так сужу,  
Наверно, не про ту дежу  
    Была опара.

Он создан был не восставать —  
Он был назначен воздавать,  
Он был назначен целовать  
    Плечо пророка.

Меньшой при снятии с креста,  
Он должен был разжать уста,  
Чтобы предстала простота  
Сего урока.

Сам знал он — перед чем в долгу!  
Но в толчее и на торгу  
Бессмертием назвал молву  
(Однако, в скобках!)  
И тут уж надо вспомнить, как  
В его мозгу клубился мрак  
И как он взял судьбу в кулак  
И бросил, скомкав.

Убившему себя рукой  
Своею собственной, тоской  
Своею собственной — покой  
И мир навеки!  
За все, чем был он — исполать,  
А остальному отпылать  
Помог застенчивый палач —  
Очкарь в аптеке.

За подвиг чести нет преград,  
Сужден небесный вертоград  
Лишь тем, чья плоть, пройдя сквозь ад,  
Как дух окрепла.  
Но кто б ему наколдовал  
Баланду и лесоповал,  
Чтобы он голову совал  
В родное пекло?

И все-таки страшней теперь  
Жалеть невольника потерь!  
Ведь за его плечами тень  
Страшней неволи  
Стояла. И лечить недуг  
Брались окно, и нож, и крюк,  
И оцетинившись вокруг  
Глаза кололи.

Он в шахматы сыграл. С людьми  
В последний раз сыграл в ладьи.  
Партнера выпроводил. И  
Без колебанья,

Без индульгенций — канул вниз,  
Где все веревочки сплелись  
И затянулись в узел близ  
Его дыханья...

В стране, где каждый на счету,  
Познав судьбы своей тщету,  
Он из столпов ушел в щепу,  
Но без обмана.

*Оттуда* не тянул руки,  
Чтобы спасти нас, вопреки  
Евангелию от Луки  
И Иоанна.

Когда преодолен рубеж  
Без преувеличенья, без  
Превозношенья до небес  
Хочу проститься.  
Ведь я не о твоей туге,  
Не о талантах и т. п. —  
Я плачу просто о тебе,  
Самоубийца.

Сказать так же исчерпывающе точно мне не суметь, сколько бы ни старалась.

Прости меня, Тошенька, братик мой названный! ...

- <sup>1</sup> Глава из книги: Ирина Глинка. «Дальше — Молчание. Автобиографическая проза о жизни долгой и счастливой, 1933–2003». Москва. Модест Колеров, 2006. Публикуется с разрешения автора книги (*прим. В. Емельянова*).
- <sup>2</sup> Юлий Маркович Даниэль (1925–1988) (*прим. В. Емельянова*).
- <sup>3</sup> Юрий Иосифович Левин (р. 1935), бывший муж И. Глинка (*прим. В. Емельянова*).
- <sup>4</sup> Описанный эпизод — романтическая легенда, как видно, созданная самим Якобсоном. Нашей семье, освободившейся в 1956 г. из лагерей, пришлось, в ожидании своего жилья, жить несколько месяцев у знакомых, чаще — не всем вместе. (*прим. М. Улановской*).
- <sup>5</sup> Опубликовано в сборнике «День поэзии». Москва. 1989, с. 90 (*прим. В. Емельянова*).

*Юлий Китаевич*<sup>1</sup>

## **Из книги «Почти жизнь»<sup>2</sup>**

Наша семья покинула СССР в 1974, через полгода после отъезда семьи Якобсонов в Израиль. А за пару лет до этого мы с женой сумели поменять наши «жилплощади» на двухкомнатную квартиру. Большим удобством её была маленькая кухонная кладовка с окном во двор. Зимой в кладовке было так холодно, что там мы хранили съедобные припасы. Холодильник у нас был, но туда мало что влезало. В этой квартире мы с Галей начали собирать картины художников — наших друзей и родных, даривших нам свои работы.

При входе в квартиру в коридоре стоял неимоверного размера шкаф. Он достался нам от Толи Якобсона перед его отъездом в Израиль. Когда перед нашим отъездом никто из друзей не захотел забрать у нас этот шкаф, я вынул из шкафа две маленькие дверцы цветного стекла. В Америке под эти дверцы я смастерил маленький шкафчик. Теперь он в моём доме напоминает мне о моём друге.

Толя Якобсон учился вместе с моей женой Галей в Педагогическом институте. Он был близким ее другом и вскоре стал и моим. Особенно часто мы виделись в последний год перед его отъездом в Израиль, куда он уехал чтобы избежать ареста и не расстаться с обожаемым им сыном, который не хотел жить в СССР.

Толя был сотрудником самиздатского периодического издания «Хроника текущих событий». Его книга о Блоке «Конец трагедии» была издана в США. Тучи над его головой сгущались, и кагебешники следовали за ним по пятам. Его отъезду предшествовали многочисленные проводы — каждый раз в другом доме. Приглашая на очередные проводы, Толя приговаривал, что допуск к телу продолжается. Многие из его друзей следовали за ним из дома в дом.

Однажды он повел нас на очередное прощанье к Люде Алексеевой и Коле Вильямсу. Коля, отбывая срок в лагере, изучил хиромантию. Он предложил нам с Галей узнать, что нас ждет в будущем. Он не знал, что мы подали документы на выезд, но его первое предсказание было о том, что нас очень скоро ждет важное событие, которое полностью переменит нашу жизнь. Гале он сказал, что у нас будет трое детей. Мы к этому отнеслись скептически; год назад родилась Аня, и мы не намерены были иметь еще детей. Через год по приезде в Америку у нас рождается сын Иосиф. А еще он сказал Гале, что жить она будет до 62 лет. Нам тогда было по 37, и так далеко заглядывать не хотелось. Седьмого февраля 1995 года Гали не стало. Она чуть чуть не дотянула до шести-

десяти. Мне же Коля предсказал, что доживу до 85. Пока он не ошибся. Не знаю, что было предсказано Толе, но жить ему довелось всего лишь 43 года.

Все друзья Толи соглашались, что к смерти его привела болезнь. В разговорах вспоминались симптомы, назывались диагнозы. Я всегда относился с сомнением к этим разговорам, хотя и допускал их частичную правоту. Мне всегда казалось, что он лучше врачей знает, что с ним происходит. С его слов я хорошо понимал его состояние, которое я назвал бы изнеможением души. Недавно попавшее ко мне его письмо из Израиля, которое Толя адресовал группе друзей в Москве, подтверждает эту мысль.<sup>3</sup>

Приехав в Израиль, семья Якобсонов поселилась в Неве-Якове. Несколько писем от Толи я успел получить до нашего отъезда из России. По его просьбе я зашел навестить его старшего друга и учителя Юлика Даниеля.

А Толика я видел в Израиле во время двух моих приездов из Америки в 76-м и 77-м. Его тоску по оставшимся в России друзьям не могли заглушить ни многочисленные выпивки, ни новые знакомые, ни возможность свободно писать. Я ездил с ним и его новыми друзьями по местам, знакомым мне только своими библейскими названиями. Однажды Толя настоял на поездке в какой-то магазин, где эмигрант из Югославии торговал свиными сосисками. По дороге были куплены хлеб, арабская водка с анисом «арак» и пиво «Маккаби», которое Толе напоминало любимое им «Жигулевское». Мы доехали до арабского города, окруженного каменной стеной, за которой ничего не было видно, кроме цветущих кустов и деревьев. Но запах был неслыханный, смесь цветущих апельсинов и роз. Мне сказали, что за стеной находится библейский Иерихон.

Под этой стеной мы присели на травку. Был разведен костер, и на нем жарили сосиски. В еде я ограничился хлебом, а пил больше пиво, но не потому, что оно напоминало жигулевское, а потому, что вкус анисовой водки был мало приятен.

Толя подарил мне и надписал свою книгу «Конец трагедии», я ее бережно храню и время от времени к ней возвращаюсь.

Я думаю, что у Толи была одна черта, которую никто не упоминает. Это — его бесхитрость, «выкладывание как есть», отсутствие ухмылок, подмигивания, какой-либо «дипломатии». Один из примеров — случай в моей квартире, где кроме Толи было несколько гостей. Одна из гостей, которую Толя видел в первый раз, решила, почему-то, что Толя её игнорирует, и спросила его, почему он к ней плохо относится. На что Толя сказал: «Я не отношусь к вам плохо. Я и хорошо к вам не отношусь. Я просто никак к вам не отношусь».

В 1993 г. Мы с Галей в очередной раз приехали в Израиль. В Иерусалиме, недалеко от нас на автобусной остановке стоял солдат, привлек-



ший мое внимание. Он был очень похож на Толю. Я знал Толину жену Майю, но никогда не видел их сына Саньку.

— Галя! — вскрикнул я, — посмотри! Кто это?

Мы подошли к солдату и спросили его, говорит ли он по-русски. Солдат ответил, что говорит. Тогда я спросил, не сын ли он Толи Якобсона, и он подтвердил догадку. Вечером того же дня мы встретились с ним и Майей на кладбище на Масличной горе. Сторож-араб отпер ворота, и мы пошли по кладбищу к могиле Толи, где перед уходом положили на плиту по камешку, как того требует древняя традиция.

Память не удержала подробностей и деталей многих наших встреч. Но осталось навсегда ощущение, что моя жизнь стала другой благодаря встрече с Толей.

<sup>1</sup> Юлий Иосифович Китаевич (р. 1936), окончил Институт механизации и электрификации сельского хозяйства, работал главным специалистом лифтовой службы Останкинской телебашни, эмигрировал в США в 1974, работал в госпитале, разрабатывал медицинскую аппаратуру, автор 5 патентов в области гемофилтрации, был организатором всеамериканской кампании в защиту Игоря Губермана после его ареста и заключения. В настоящее время на пенсии (прим. А. Зарецкого).

<sup>2</sup> Юлий Китаевич. «Почти жизнь». New York, Long Island Press, 2003.

<sup>3</sup> См. Интервью с Галиной Трухачёвой, публикуемое в данном сборнике.

## **Интервью Мемориальной странице<sup>1</sup>**

**Игорь Миронович, недавно вышла Ваша книга «Гарики из Атлантиды». Я хотел бы поговорить с Вами об одном из жителей той Атлантиды — Анатолии Якобсоне. В книге «Пожилые записки» Вы говорите о том, как в «подлинно литературном мемуаре» преодолеть «сусальный фальшак» с помощью «анекдота, забавной истории и шутки», как разрушить шаблоны, стереотипы, мифы, прописные истины и табу. Расскажите о Якобсоне, каким Вы его знали. Как Вы познакомились?**

Познакомился я с ним, наверное, через Дом детской книги, и мне о нём очень трудно говорить, потому что он — один из немногих людей в моей жизни, на которых я глядел снизу вверх. Я его очень почитал, несмотря на то, что у нас были хорошие отношения. Порой, с похмелья, Толя мне звонил и читал какие-нибудь стихи, не свои. Вот, собственно, и всё. Познакомились через Дом детской книги, виделись очень мало — на совместных пьянках у Юлика Китаевича и на каких-то общих пьянках.

### **Дом детской книги — это Галя Патынская и кто ещё?**

Я не помню всех: Вера Гревская, Галя Трухачёва и Галя Антипова. Юлик Китаевич знает, кто там работал. Они были очень хорошие, очень симпатичные и очень российские люди. Я как-то туда принёс флаг — я тогда снимал флаги в табельные дни, вернее крал их просто. Вот, скажем, шёл я мимо — тогда это был дом для приезжих учёных на улице Горького, — был канун 7-го ноября. И чтобы вывесить знамя, двое работяг залезли на одну лестницу, а второй флаг — огромное такое знамя — стоял внизу, и я его просто прихватил. Принёс в Дом детской книги, поставил в углу, развернул и как-то прикнутил. Сначала все смеялись — минут пять, а потом вдруг, почти не переглядываясь, запели песню «По долинам и по взгорьям».

### **Назовите отличительные черты характера Якобсона.**

Дико неустойчивый характер, вспльчивый, горячий очень, с неярным темпераментом, дико ранимый. И Толя, на самом деле, по своему характеру чуть-чуть напоминал покойного Юрия Галанского, который потом погиб в лагере... Толя тоже был абсолютно обреченный — это счастье, что он уехал, он бы сел. Я очень его уважал как любителя поэзии, знатока даже. Я тогда ещё не знал, что не такой уж он знаток, это потом уже выяснил из его дневников про его образование, про всё прочее,

но тогда он мне казался человеком, который имеет право вынесения приговоров. И ещё он был всегда как бы весёлый, и я всегда говорил, что он похож на *пьяный солнечный зайчик*. Но при этом говорил разные безапелляционные вещи. Я помню, как меня очень обидело, когда он мне сказал, что я не поэт, а стихотворец.

Если бы кто-нибудь кроме Толи сказал такое, я бы через 10 минут сочинил бы на него чего-нибудь уничтожающее.

**Юрий Гастев в своих воспоминаниях приводит Вашу эпиграмму, посвящённую Якобсону, которую Анатолий Александрович очень любил:**

**Он мыслит вслух  
и любит тетей —  
бескрайний дух  
без крайней плоти.**

Я говорил про *пьяный солнечный зайчик* и пытался вспомнить этот стих, посвящённый Толе.

**Я хотел бы спросить Вас о человеке, у которого Вы жили после лагеря — Давиде Самойлове.**

Я не жил у него, а только приезжал к нему. Я был у него прописан.

**Я хочу затронуть тему «Самойлов и Якобсон». Говорил ли когда-нибудь Давид Самойлов о Якобсоне при Вас?**

Да, говорил с немислимой совершенно любовью, с сожалением, что Толя уехал, и пониманием, что здесь бы ему не жить.

**По словам Александра Городницкого, когда Самойлов женился на Галине Медведевой, в зале бракосочетания была их дочь...**

Варя была. Её держали где-то среди взрослых.

**И когда регистраторша её увидела, то поинтересовалась: «Кто это?» На что Якобсон мгновенно отреагировал: «А это их будущий ребёнок!»**

Это стало очень расхожей байкой, но это я слышал и от самого Давида Самойловича в разговоре о Толе. О Тошке, как он его называл.

**Недавно опубликованы «Подённые записи» Д. Самойлова, где даётся суровая оценка работе Якобсона о Блоке<sup>2</sup>. Вот что сказал по поводу этих записей 1971 г. Юлий Китаевич: «Зная, как Толя боготворил Дезика, я ожидал, как минимум, теплого человеческого слова в адрес Толи и восторженной оценки главной Толиной работы. Ни того, ни другого я не обнаружил. Очень обидно, что Самойлов не понял работы Толи... и не понял самого Толю.»**

Давид Самойлович, как очень многие умные талантливые евреи, был государственнымником. Он был русским государственнымником, державником. Я Вам могу привести простой пример. Когда меня посадили, то есть арестовали ещё только, и встал вопрос: шуметь или, наоборот,

хранить тишину, молчание такое покорное, то с моей тещей<sup>3</sup> тут же встретился чекист... и сказал: «Ваш зять, Лидия Борисовна, получит небольшое наказание и всё будет хорошо, если Вы будете себя вести благопристойно. Если будет шум, то всё это плохо очень отразится на Игоре». И Лидия Борисовна стала советоваться с людьми, которых почитала за цадииков, за мудрецов. Она спросила у Самойлова и у Апта<sup>4</sup>, как ей быть. На самом деле Тата — жена моя — уже решила, как ей быть, с помощью совета друзей, и готова была поднять страшный шум, что и сделала. Сильнейший...

А теща спросила у Самойлова, и Давид Самойлович сурово очень сказал: «Когда ты живёшь в государстве, то следует соблюдать его законы. Если эти законы нарушены, то не следует протестовать, если за это карают человека». Вот такого приблизительно типа был совет. Вероятно, почувствовав впоследствии, что он не прав или что оценка его была слишком жёсткой, он потом книжку прислал нам в подарок в Сибирь: мол, у вас снег, вы на лыжах можете кататься. Это нас всех дико рассмешило.

А Апт — тишайший человек, он «Доктора Фаустуса» и «Иосифа и его братьев» переводил — с несвойственной ему горячностью сказал: «Наоборот, надо только шуметь, потому что всякие подлые дела — они совершаются в темноте, надо шуметь». Тата давно уже выбрала линию поведения, так что теща просто согласилась.

Вот это Самойлов. Вы не должны забывать, разговаривая об этом человеке, во всяком случае, что у него за спиной чудовищный опыт не только войны, но и послевоенных расправ. Он был очень осторожным человеком, а многолетняя осторожность ведёт к тому, что начинаешь думать точно так же. Как он поносил меня, когда я сказал ему, что мы уедем, лишь только с меня снимут судимость. И отсюда все эти слова, и отсюда дикая неудача «Дневника», на мой взгляд. Это ужасно. Я бы не издавал дневник Давида Самойловича, потому что этот дневник порочит его как поэта. В поэзии он был бес невероятный, а дневник — советского человека. Или его изданная переписка с Лидией Корнеевной Чуковской. Совсем не все переписки следует издавать, на мой взгляд. Он был другим. Он был не из нашего, а из сильно испуганного поколения, несмотря на все его шуточки и так далее.

### **Игорь Миронович, Вас называли Абрам Хайям?**

Алексей Файко<sup>5</sup> так меня однажды обозвал, и иногда я это с гордостью повторяю.

### **А как Якобсон оценивал творчество Абрама Хайяма и Игоря Гарика?**

Тогда об Абраме Хайяме не могло быть и речи. Я тогда завывал вслух свои длинные еврейские стишки, только начинал читать четверостишия, писать и завывать. И Толя всё это оценивал очень низко, что, как я вам уже говорил, меня очень огорчило.

**Живя уже в Израиле, Вы занимались «извозом» — были туристическим гидом, и неоднократно бывали на родине Петрарки. У Вас даже стишок есть:**

**А Байрон прав, заметив хмуро,  
что мир обязан, как подарку,  
тому, что некогда Лаура  
не вышла замуж за Петрарку**

Я про Петрарку как-то даже лекцию читал, и вся история этой лекции изложена в моей книжке, которая называется «Вечерний звон».

**Сонеты Петрарки переводил Якобсон. В своих воспоминаниях Вы рассказали, что после разговора то ли со Светловым, то ли с Пинским — далее я Вас цитирую: «...я снова поперся (за благословением, разумеется) на семинар переводчиков, который вел поэт Давид Самойлов. Меня туда приятель пригласил, сам он уже давно и здорово переводил с подстрочников кого придется...»**

Это Толя Якобсон.

**Расскажите об этом семинаре.**

Я там был всего один раз и всех фамилий не помню. Семинар вела — вместе с Давидом Самойловичем — Вера Звягинцева<sup>6</sup>, и она смотрела на меня сквозь какое-то пенсне, или сильно увеличивающие очки, с таким чудовищным омерзением (не презрением, а именно омерзением), что я до сих пор помню это замечательное ощущение, потому что оно мне как-то помогло прийти в себя после уничтожающих слов Самойлова.

Я ещё про Толю знаете, что хочу сказать? Вот вы меня спрашиваете про его переводы, стихи, книжку о Блоке. Мне кажется, что есть люди, которые ценны не только своими литературными талантами. Есть люди, которые — дрожжи эпохи, дрожжи духа, без них совершенно немислимы всякие настроения, писания, люди, отношение к миру. Толя был из стимуляторов, а не из растений. Вы интересуетесь растениями всякими, когда о Самойлове говорите, а Толя был из стимуляторов, из катализаторов, без чего все эти растения не росли бы. Я уверен, что Давиду Самойловичу было нужно одобрение Толи, когда он читал ему новые стихи, и он читал ему новые стихи всегда.

**Игорь Миронович, следующий вопрос ближе к форме Вашего творчества. Известно, что Якобсон собирал частушки — он собрал их более трёхсот.**

Он одну сам написал — гениальную.

**Расскажите об этой гениальной рифме.**

Я помню все стихи, при прослушивании которых я зеленел от зависти. Так вот — это был тот случай:

*Нашу область наградили,  
Дали орден Ленина.  
До чего же моя милка  
Мне остоебенела!*

Я полагаю это гениальным образцом народного творчества, гениальным. Я вообще считаю, что народ ничего не пишет. Пишут интеллигенты всякие. Вот это — подтверждение.

**Верно, частушка про орден Ленина в интернете упоминается как народная. А другие частушки Вы не запомнили?**

Толины? Нет, я их не знал.

**Во Второй школе он на уроках читал такую частушку — как раз была эпоха «культурной революции» в Китае:**

*На столе стоит графин,  
Рядом четвертиночка.  
Мой миленок — хунвейбин,  
А я — хунвейбиночка.*

Это его? Я не знал.

**Предположительно авторство Яacobсона, поскольку эту частушку он читал на уроках в параллельных классах, это не было экспромтом.**

Я просто её много раз слышал от разных людей.

**Владимир Фромер из Израиля...**

Обожал он Толю, обожал, воспоминания хорошие написал.

**...в своих воспоминаниях отмечает, что Яacobсон создал новый жанр — двустушия, где первая строка русская, а вторая на иврите: «Глаза косит, нигмера косит», т. е. опустела рюмка.**

Я этого не знаю — ведь я приехал в Израиль поздно, и мне достались только мифы и легенды о Толе.

**Павел Литвинов вспоминает, как на проводах Яacobсона перед его вынужденным отъездом он произнёс такую шутку: «Есть люди, которые даже на похоронах норовят быть главнее покойника». Не вызывает сомнения, что эту шутку пересказали ему Вы. Был такой человек в Союзе писателей — Арье Давидович, который провожал всех писателей в последний путь.**

Тем не менее, это не он шутил так, Арье Давидович, это шутка очень давняя. Её воспроизводил — это я совершенно точно помню — Давид Самойлович, говоря о Евтушенко. Но она существовала намного раньше — с начала века.

**В «Пожилых записках» эта шутка вложена в уста Арье Давидовича. Если я это писал, то я врал. Я от него этого не слышал.**

**Понятно, это же художественное произведение... А вот как Якобсон написал об Алике Гинзбурге — создателе «Синтаксиса» (к которому Вы имели некоторое отношение) и Арине Гинзбург:**

*Ты, Арина, святей  
Всех мордовских рвятей.  
А мужик твой лютей  
Всех московских людей.*<sup>7</sup>

**Следующая тема: Якобсон и женщины. Попутно вопрос — обсуждали ли Вы с ним учение Фрейда?**

Точно не обсуждали, а женщин обсуждали. Он был не просто гуляка, он был в смысле выпивки больше, а баб он любил необыкновенно.

**На неофициальном интернет-сайте Игоря Губермана приводится Ваш стишок и Ваши слова, что он — о Якобсоне:**

*Я на карьере, быт и вещи  
не тратил мыслей и трудов,  
я очень баб любил и женщин,  
а также девушек и вдов.*

Очень может быть.

**Буквально после Вашего ареста была подписана в печать — под псевдонимом «Лидия Либединская» — Ваша книга о «пламенном революционере» Огарёве «С того Берега». Беседовали Вы когда-либо с Якобсоном о вкладе «писателей-призраков» в мировую литературу?**

Нет, никогда не беседовали. Я держал это в глубокой тайне, и даже про книжку Поповского,<sup>8</sup> которую тоже я написал — о Николае Морозове, — по просьбе Марка не слишком распространялся. Она вышла, по-моему, в 76 году.

**Говорил ли Вам Якобсон о своём отношении к членам Союза писателей, и к членству в этой организации?**

По-моему, презирал. Это очень странное такое презрение тех лет, его трудно сформулировать, особенно у людей, настолько близких к литературе и литературных, как Толя. Я думаю, что там была изрядная доля уважения к таким людям, как Искандер, Окуджава, тот же Самойлов, при общем таком пренебрежительном отношении к Союзу писателей.

**«В пожилых записках» больше всего меня тронуло то, что Вы сказали о Сократе — Оводе, его понимании назначения и свойств человека, идеала человеческого поведения: «рассудительность, независимость, справедливость («счастлив справедливый человек»), полное пренебрежение к хвале и ругани, полное отсутствие боязни у того, кто «посреди эпохи решает быть самим собой». У Вас есть такой гарик:**

*Свобода — это право выбирать,  
с душою лишь советуясь о плате,  
что нам любить, за что нам умирать,  
на что свою свечу нещадно тратить.*

**Возможно, что Якобсон был одним из последователей великого философа?**

Я согласен с этим.

**Ваш взгляд на Якобсона — правозащитника, члена Инициативной группы, редактора «Хроники текущих событий»?**

Вы знаете, нам сегодня очень трудно восстановить эпоху, когда были еврейские пророки, которые ужасно стимулировали тогдашнее мышление, поведение и всё, что там происходило, хотя их оплёвывали, забрасывали камнями, не слушали, а Толя Якобсон был, безусловно, вот такой харизматической личностью в поведенческом плане и во всём остальном. Я уже сказал, что он был как бы катализатором. Есть эпохи, вот как сейчас, например, спокойные такие, когда очень трудно воспроизвести и объяснить точно это понятие — катализатор. Есть люди, от общения с которыми очень трудно становиться подонком, например. Это не только дрожжи, это ещё какие-то совестные странные понятия. Когда знаешь таких, как Толя, ужасно трудно после этого идти на какие-то подонческие или даже компромиссные мероприятия. Он некий эталон. Таким эталоном в высокой степени был Юлик Даниэль. О нём многие даже с раздражением говорили, что он *генерал совести*.<sup>9</sup> Но Юлик, освободившись, сиднем сидел дома, а Тошка носился, как ртутный шарик, и общался с диким количеством людей. Есть в иудаизме такое понятие — праведник, но вот Толя праведником не был нисколько, абсолютно, и, тем не менее, он из тех, благодаря которым Бог этот мир не разрушает. Был из тех...

**Якобсон — редактор «Хроники», Лубянка и конспирация...**

Единственно помню, что я как-то пришёл к Юре Гастеву, а он был с дикого похмелья, и я вместо него собирал номер «Хроники текущих событий» — двадцать первый или двадцать второй. Это были клочки бумаги, которые привозила Ира Якир. И я что-то там составлял, и про это Толе сказал. А он меня очень резко оборвал и сказал, чтоб я ни ему, ни кому другому не говорил, и, вообще, чтобы я об этом забыл. Было это покрывание Юры — покойного — Гастева, или соблюдение тайны — я не знаю. Но интересно, что ведь Толя был чудовищным болтуном, но про это не болтал ни с кем.

**То есть он Вас просил не говорить никому, что Вы влезли в это дело?**

Да, что я присутствовал, был рядом и видел эти все клочки у Юры. Сказал: «Забыть всё к е... матери».



**Не могу в этой связи не процитировать Юлия Китаевича:**

*Лубянка по ночам не спит,  
хотя за много лет устала,  
меч перековывая в щит  
и затыкая нам орала.*

Предмет моей большой гордости — это стихотворение.

Якобсон во Второй школе преподавал в основном историю. То был период начала «заморозков» после «хрущёвской оттепели»: эпоха забвения недавней истории, зажима свободы слова, неправых судов. Прошло сорок лет, и мы видим, как всё повторяется: «басманное» правосудие, политзэки, убийства журналистов, «хунвейбины», психушки, манипуляции с выборами, попытки преследований за анекдоты. Обсуждали ли Вы с Якобсоном пути российской истории, способы вывести «наколку времён культа личности»?

У Вас есть такие гарики:

*Смакуя азиатский наш кулич,  
мы густо над европами хохочем;  
в России прогрессивней паралич,  
светлей Варфоломеевские ночи.*

*Сильна Россия чудесами  
и не устала их плести:  
здесь выбирают овцы сами  
себе волков себя пасти.*

*Чувствуя нутром, не глядя в лица,  
пряча отношение своё,  
власть боится тех, кто не боится,  
и не любит любящих её.*

Я не помню, чтобы мы это обсуждали, но я совершенно уверен: Толя был типичным шестидесятником. И мы бы с ним согласились, несмотря на споры, что когда будет в России свобода, так всё станет автоматически хорошо, сразу станет про всех гавнов известно, что — гавны. Мы ужасно ошибались — из-за этого все так смеются сегодня над шестидесятниками.

Толя меня в день отъезда, на проводах, познакомил с Серёжей Ковалёвым. Подарил мне какую-то книжку, по-моему, «Принц и нищий» Марка Твена, и сказал — насчёт общей химии (тогда, кажется, не было этого словосочетания — общая химия), что мы будем интересны и ещё очень пригодимся друг другу. И мы с Серёжей пару раз виделись до его «посадки» — вспоминали Толю. А я почему-то «Тошкой» его никогда не называл, только «Толя», я даже не знаю почему, близок не был.

Потом с Сергеем Ковалёвым я увиделся, когда он был уже в Государственной думе. Я просил его приехать к тётке хотя бы на двадцать минут, поскольку понимал, что он очень занят. Он приехал, мы просидели часа три, чудовищное количество времени, и я до сих пор помню растерянность этого опытного человека. Вспоминали Толю, а он мне сказал, что раньше, во времена, когда государство душило свободу и всё прочее, он мог ориентироваться, а сейчас запутался в российских делах.<sup>10</sup>

### **Якобсон и его отношение к еврейству. Присутствовали ли в его лексике идишизмы?**

Я не слышал ни разу, и вообще думаю, что у него к еврейству было очень... сдержанное отношение. Он был абсолютным евреем: по темпераменту, по замашкам, по поступкам, по характеру, по тому, как он спорил, по безумному количеству признаков. Их можно перечислить с лёгкостью, но, по-моему, он себя евреем не ощущал.

### **Отношение Якобсона к ксенофобии и квасным патриотам?**

Не помню, но поскольку Толя обожал Салтыкова-Щедрина и крепко и хорошо его цитировал, особенно с похмелья, когда мне звонил (это было раз пять, я помню, он цитировал Салтыкова-Щедрина... на память), так что, очевидно, было такое вот отношение — салтыковско-щедринское.

### **Получали ли Вы письма от Якобсона из эмиграции?**

Один раз — в письме открытку: «Не приезжай — русскому мужику здесь делать нечего». Это дословно.

### **Какая информация доходила о его жизни там? Обсуждали ли Вы с друзьями его тамошнюю жизнь?**

Нет, было полно своих цуресов. Когда приехал в Израиль, очень много обсуждал. По рассказам тех, кто были в это время там, Толю не допускали преподавать, не допускали ни к семинарам, ни к лекциям — к общению с учениками. Его взяли на работу, и он как-то там числился. Он как-то и работал, и был изолирован в то же время, а общение с аудиторией было ему *жизненно необходимо*.

### **А вот если бы Якобсон был сейчас жив, каким бы он был? Он же почти Ваш ровесник, он 35-го года рождения.**

Вы знаете, это бессмысленный вопрос, потому что он бы совершенно точно не выжил. Скажем, он был бы наверняка на баррикадах 91-го года. Он наверняка бы чудовищно осуждал расстрел парламента в 93-ем. Это то, что я могу предположить.

Ну, куда-нибудь его убрали бы в 80-х, в конце 70-х: либо в психушку, либо в лагерь. При этом строе и в этой стране Толя был бы обречён, бессмысленно гадать об этом. И это счастье, что он уехал, но, к несчастью,

встретилась такая судьба. Я сегодняшней его жизни себе не представляю. Он бы был, наверное, растерян, как Серёжа Ковалёв, только он бы во властные структуры не пошёл. Нет-нет, он бы не дожил, я думаю. Почти уверен.

**Отношение Якобсона к религии. Вы на эту тему с ним беседовали?**

Об этом столько в его дневниках, что глупо повторяться. Мы никогда это не обсуждали, но в них есть замечательная штука: он просит Бога о том, чтобы Бог сторонкой прошёл и Толя сторонкой прошёл, и чтобы никак не общаться. Потому что, я думаю, что не в Толином характере его встреча с иудаизмом в виде наших жирных и авторитарных евреев, она его давно бесила. Меня это первые год-два тоже ужасно бесило, но потом я успокоился, присмотрелся...

**А вот такая тема: Якобсон и Страшный Суд — его грехи и праведные дела.**

Я думаю, это хороший очень вопрос. Даже приятно об этом подумать. Если исходить из того, что Бог всеблаг, всезнающ, или там члены коллегии Страшного суда (я даже не знаю, сколько там присяжных) — если они все взвесят его грехи (что, в общем, мелочёвка полная: всякие плотские, пьянства и всякое другое) и взвесят то осветляющее, озаряющее, потрясающее влияние, которое он оказал на разум, дух современников, то его постигнет чудовищная, кошмарная, страшная участь: он окажется в раю, и — к сожалению для Толиного характера, — он будет дико мучиться, но будет уже поздно.

**И какую бы эпитафию Вы ему написали?**

Не знаю. Я бы написал: «Буду счастлив с тобой встретиться». Нечто личное и шкурное. Потому что, если там общаются, то встреча с Толей была бы удивительным счастьем.

**Спасибо, Игорь Миронович, за интервью.**

Я только хотел Вам сказать — это очень серьёзно — о бессмысленности попыток восстановить этого динозавра. Он был из эпохи, которую восстановить невозможно, не потому, что она была героическая, но она была безусловно особой, и такие, как Толя, появляются в такую эпоху, потому что в совершенно спокойное время он был бы городским чудачком, не более того, описанным, кстати, в куче всякой литературы. *Учитель словесности*, долго разговаривает, — у Чехова описан с пренебрежением. Жил бы и жил себе.

А есть эпохи, в которые такие люди очень воспаляются и изумительно действуют на окружающих. Я думаю ещё, что для Давида Самойловича он был живым напоминанием о днях молодости, когда Давид Самойлович воспалялся, горел пламенными идеями... а потом так спокойно стал, в общем, филистером советским.

**То есть, что-то общее у них было? Когда Самойлов глядел на Якобсона, он вспоминал свою молодость?**

Я думаю, было нечто общее у молодых *ифлийцев* с характером Толи Якобсона.

Только ввиду того, что у них было иное мировоззрение, Павел Коган писал:

Есть в наших днях такая точность,  
Что мальчики иных веков,  
Наверно, будут плакать ночью  
О времени большевиков.

Давид Самойлов верил в это, но воспалён был точно так же. А Толя Якобсон всё это ненавидел и был воспалён к эпохе ненавистью.

И ещё для меня — сегодняшнего жителя Израиля — вот что очень важно: чрезвычайная гордость за то, что такие, как Якобсон, в основном были евреями. Чрезвычайно горжусь. Я очень большой националист стал в последнее время, раньше меня это только удивляло, а сейчас ужасно горжусь тем, что такие люди, как Анатолий Якобсон, Леонид Пинский и Александр Галич, — евреи. Точно так же, как чудовищное количество евреев участвовало в революции, так и в этом квазиисободительном движении участвовало сумашедшее количество евреев.

**Вы имеете в виду 60-80-е годы?**

Да. В этом не освободительном, конечно, а возмущающем, сеющем волны какие-то общественном движении.

**Но ведь наступает такое время, когда человек говорит: «Ну сколько же можно?!»**

А дело не в плевании в лицо. Вся же трагедия, вернее весь интерес и весь *цимес* в том, что не этим людям плевали в лицо, а власть плевала в лицо образу страны, и за честь всей страны России выходили на Красную площадь трое из восьмерых — евреи, это ведь тоже не случайность, это предмет настоящей гордости.

<sup>1</sup> Интервью проведено А. Зарецким в Нью-Йорке, на квартире Юлиа Китаевича 1 ноября 2007 г. По календарю Игоря Губермана — это День смены поколений. (См.: Игорь Губерман. Каждый день праздник: книга-календарь. Санкт-Петербург: Ретро, 2001.) Мемориальная Страница А. Якобсона выразит признательность: Юлию Китаевичу за организацию интервью; Анне Ракитянской (Гарвардский университет) за конструктивную помощь в его подготовке к публикации (прим. В. Емельянова).

<sup>2</sup> Д. Самойлов. Поденные записи. Москва: Время, 2002. Т. 2. С. 52-53.

<sup>3</sup> Лидия Борисовна Либединская (ур. Толстая) (1921–2006) — писатель.

<sup>4</sup> Соломон Константинович Апт (р. 1921), — литературовед и переводчик.

<sup>5</sup> Алексей Михайлович Файко (1893–1978) — драматург, сценарист.

- <sup>6</sup> Вера Клавдиевна Звягинцева (1894–1972) — актриса, поэтесса и переводчица.
- <sup>7</sup> Рвать — мордовск. женщина. Как известно, А. Гинзбург добился своей женитьбы, объявив голодовку в мордовском лагере. Свидетельство о браке Гинзбургов было оформлено на бланке, содержащем русский и мордовский текст (прим. А. Ракитянской).
- <sup>8</sup> Марк Александрович Поповский (1922–2004) — писатель, публицист и правозащитник.
- <sup>9</sup> Давид Самойлов: [У Даниэля] «было нечто вроде абсолютного слуха на нравственный поступок... Стихи его... всегда были нравственно точны, как и его поступки...» (Д. Самойлов. Поденные записи. Москва: Время, 2002. Т. 2, с. 258.)
- <sup>10</sup> Воспоминания относятся к середине 90-х годов. В настоящее время Сергей Адамович Ковалёв вполне определённо высказался о ситуации в стране в открытом письме к президенту Путину *24 февраля 2008 г.*, см. <http://hro1.org/node/1293.html> (Прим. А. Зарецкого).

## Интервью Мемориальной странице<sup>1</sup>

**Как и когда Вы познакомились с Анатолием Якобсоном, что Вас связывало?**

Мы с Толей Якобсоном не были в дружбе, но у нас была взаимная симпатия. Приятельство такое. Серьёзных разговоров мы не вели. Его отношение к моим песням, думаю, не было серьёзным. Он был человеком в высшей степени жизнелюбивым, романтического склада, при всём при этом с чувством юмора и готовностью к сарказму. Был он, безусловно, женолюб, вооружённый неотразимым обаянием, темпераментом и напором.

А впервые я с Тошей встретился после института. Я не помню его в институте, он же у нас учился, в нашем МГПИ, по-моему, на историческом на курс старше меня. Познакомились же мы с ним уже на фоне правозащитного движения.

Припоминаю его квартиру. Он жил в одном доме с Юрой Карякиным<sup>2</sup>, Толя — несколькими этажами выше, и дело было недалеко от магазина, что для обоих было существенно.

Приключение наше общее с Толей Якобсоном я помню только одно — он взял меня в «Берёзку». Толя получил наследство, по-моему, из Соединённых Штатов, и чрезвычайно был этим обстоятельством изумлён и обрадован: он стал обладателем бесполосных сертификатов, что приравнивалось к валюте. Валюту советский человек иметь на руках не мог, а только заменители, так называемые сертификаты. Бесполосный сертификат — это был эквивалент доллара. И Толя с полным бумажником этих драгоценных бумажек отправился в «Берёзку», то есть специализированный магазин, торгующий только на валюту. И захватил с собой меня. Таким образом, я впервые оказался в продовольственном раю, впервые в жизни, и был этим обстоятельством в высшей степени потрясён. Мы с ним подошли к дверям: там стоял страж-хранитель, вроде швейцара, который непременно спрашивал: «Что у Вас? Какая валюта или какие сертификаты?» А мы были одеты не сказать, чтоб затрапезно, но уж никак не походили на обладателей валюты. Якобсон надменно произнес: «У нас бесполосные», и прошёл, не удостоивая взглядом, в этот, повторяю, продовольственный рай. Тут мои глаза действительно разбегались, а Тоша смотрел на меня снисходительно, потому что для него это уже была не первая экспедиция с бесполосными сертификатами. И пока я ходил и разевал глаза на всякие балыки и икру, массу всякой гастрономической снеди, о которой

даже и понятия не имел, Тоша устремлялся в главное место, а именно, где хранилось спиртное. И когда уж я его догонял, то я изумлялся ещё больше, потому что там лежала заветная, давно исчезнувшая с прилавков водка «Московская». Та самая — с бело-зелёными наклейками, причём явно высшего качества, потому что на наклейках название было напечатано латинскими буквами. Это была водка высшего качества, сделанная на экспорт, и на ней были бумажки, как сейчас помню, вообще меня поразившие. Там было написано «0.61». То есть пол-литра водки стоил 61 цент — совершенные копейки. Я округлял глаза, а Тоша со снисходительным и довольным видом набивал сумку этими бутылками на свои сертификаты. И девицы, которые были там за прилавком, смотрели на него уже весело и узнаваяще, потому что он был там не первый раз. А поскольку он был очарователен, то они смотрели на него ещё и влюблённо. Вот такой у нас ним был поход в «Берёзку».

### **Как Якобсон вёл себя в компании друзей? Как относился к друзьям?**

Ну, он был человек неотразимого обаяния, и при этом он никогда не стремился тащить одеяло на себя, он со всеми всегда был на равных. Когда в компании было ему интересно, он бурно участвовал в разговоре. Если нет — не участвовал.

Очень любил Давида Самойлова, Л. К. Чуковскую. Не любил Петра Якира. В Израиле дружил с В. Гершовичем.

Вообще же был компанейский вполне человек. Как-то он с компанией наших знакомых навестил меня на даче. Уже народилась моя дочка, и мы снимали дачу под станцией Пионерская, по Белорусской, кажись, дороге. И это, стало быть, было лето 1973 года, того самого убийственного габаевского года. Я и помню, что Илья был тогда не то чтобы в подавленном, но в грустном состоянии. И туда они все нагрянули: Илья Габай<sup>3</sup>, Гера Копылов<sup>4</sup>, Юра Гастев<sup>5</sup>, Тата Баева и Тоша Якобсон. И мы гоняли там в футбол на полянке. Тоша в компании был весел, обаятелен, он шутил, каламбурил, импровизировал в рифму. Что он, что Габай, — они были мастера на эти шуточки. Выпивал Тоша хорошо, и любил это дело, — для разговора и веселья в первую очередь.

### **Габай и Якобсон: кто из них, на Ваш взгляд, был более обаятелен?**

И Габай и Якобсон были — каждый в своём стиле — обаятельны. Оба были темпераментны, оба любили посмеяться, у обоих было могучее чувство юмора, оба были прекрасно эрудированны. Но думаю, что предпочтения литературные у них были разные. Я так полагаю. Но тут я вступаю в область, мне не очень известную. Ну, предпочтения Якобсона были понятны. Что касается того, кого больше любил Габай, то мне сказать трудно. Во всяком случае, его поэзия, его стиль поэти-

ческий и его мир поэтический резко отличались от яacobсоновского мироощущения. Габай в этом смысле был гораздо более суров и требователен к человеческой душе, и к своей особенно.

**Яacobсон — учитель словесности «вундеров и киндеров»<sup>6</sup>**

Я чувствовал в нём педагога куда сильнее меня, безусловно более знающего, по крайней мере в области истории и литературы. Хотя не знаю, как он давал грамматику. Тут, возможно, я был не слабее.

Это был классный совершенно преподаватель. Все его ученики вспоминают о нём — ну, восторг не то слово — с чувством глубокой благодарности, потому что он открывал им литературу мимо, вне и вопреки хрестоматиям и учебникам, а так, как она есть на самом деле.

**Участие Яacobсона в правозащитном движении.**

В разговоре с Вами память моя напрягается и передо мной встают несколько эпизодов с Тошей во главе. Первый и значительный — по яркости, не в хронологическом порядке, — это как Толя высоким срывающимся голосом читал надгробную речь на похоронах А. Е. Костерина<sup>7</sup> в морге Боткинской больницы. Очень хорошо помню, как Тоша это делал: вдохновенно, громко и отчётливо. Кругом стояла толпа: там были и татары, и москвичи, и, конечно, полно стукачей. У меня просто сердце замирало: чем всё это кончится? Не накинется ли эта сволочь вся гебешная на Тошу и на всех остальных? Нет, слава богу, не накинулась, и он всё прочёл до конца.

Ещё один эпизод из времён диссидентских. Было дело на квартире, не помню совершенно, чьей, но помню предмет спора. Тоша яростно спорил с Юрой Штейном. Обсуждался вопрос: принимать ли помощь от деятелей НТС. Тоша категорически отстаивал точку зрения — не принимать! Потому что энтэсовцы сотрудничали с Гитлером во время войны. А Штейн доказывал, что против советской власти все средства хороши и можно пользоваться и услугами НТС. И вот дело дошло чуть не до драки, и тогда, я думаю, Штейну сильно бы не поздоровилось, потому что Тоша занимался, как известно, боксом. Но тут вмешался в дело герой правозащитного движения номер один, как я про себя его называю, Владимир Буковский, и он каким-то образом развёл всю эту дискуссию, и всё улеглось. Это было в 70 или в 71 году<sup>8</sup>.

**Юлий Черсанович, Ваши «крамольные песни» — музыкально-поэтический аналог «Хроники текущих событий», а «Адвокатский вальс» — бессмертная песня России. Случалось ли Вам совместно с Яacobсоном выпускать «Хронику текущих событий»?**

«Хронику» вместе не делали никогда, но мы принимали участие в одной и той же «Хронике» — это безусловно. По-моему, в первую очередь, в 15-й, потому что я был занят в 11-й, 15-й и 18-й «Хрониках». И даже, более того, я думаю, что я был окончательный редактор в 11-й



и 18-й, а 15-я мне запомнилась тем, что часть делал я, часть — Тоша. Но окончательным редактором был Тоша.

Ира Якир была в центре процесса и виделась с Яacobсоном куда чаще. Помню я Тошу у себя, когда мы с женой жили на Рязанском проспекте в однокомнатной квартире. Как-то они с Надеждой Емелькиной пришли и что-то обсуждали или правили у нас — речь шла о каком-то очередном номере «Хроники», в перерыве на кухне за чаем (или кофе) Тоша шутил и импровизировал, и какую-то даже надпись оставил на холодильнике шутивную.

Он вроде бы пытался приударить за Надеждой, безрезультатно — что его ничуть не обескуражило. Ибо легко находил утешение.

### **Охарактеризуйте, пожалуйста, отношение Яacobсона к Анатолию Марченко**

Я запомнил хорошо, что Тоша был потрясён книжкой «Мои показания» Толи Марченко, не меньше, чем воспоминаниями Надежды Яковлевны Мандельштам. Он говорил о книжке Толи Марченко, что он там только правил запятые, настолько это было сильно, причем литературно сильно — вот что интересно. Тоша — с его абсолютным литературным слухом и вкусом — и с таким восторгом отозвался о книге Толи Марченко, который, я так понимаю, впервые вообще взялся за перо. Он говорил: «Я только расставил запятые, это великая книга». Он давал в «Хронике» краткий обзор литературы самиздата, и о книге «Мои показания» написал одну фразу — «документ эпохи». Тут ни убавить, ни прибавить, как говорится.

### **Ваши мысли о его вынужденной эмиграции. Расскажите о Вашей последней встрече с Яacobсоном.**

Тоша очень не хотел уезжать. Он тосковал, и угнетался, и рвался, но он не мог поступить иначе, потому что боялся за сына Сашку. Сашке предстояла операция, и Тоша поэтому, конечно, волновался, что на этом сыграют чекисты, и что, если он останется, то Сашке придётся туго. Ведь они отлично знали, кто редактирует «Хронику» после Горбаневской. И над Тошей расправа нависла неотразимо близко.

Так я, во всяком случае, помню главный мотив его отъезда. И он совершенно по-мальчишески саботировал свой отъезд — настолько, что нарочно опоздал на самолёт<sup>9</sup>, стремясь отыграть хоть ещё несколько дней, но ему хладнокровно перенесли рейс на день, дело было в сентябре 73 года, и в образовавшийся просвет он, подхватив меня, кинулся в Опалиху, к Давиду Самойлову.

Об этом у меня где-то написано в одном из очерков. И как мы приехали — так сразу «загудели», и, конечно, в памяти мало что осталось. Это был последний московский визит перед его отлётом.

### **Не могли бы Вы кратко обрисовать отношения А. Якобсона и Д. Самойлова?**

Тут Вам стоит почитать переписку Давида Самойлова и Лидии Корнеевны Чуковской. Там много чего на эту тему есть. Что они чрезвычайно друг друга любили, — для меня нет никаких сомнений. Конечно, Самойлов ревниво отнёсся к отъезду Якобсона, хотя понимал, что это был отъезд вынужденный, но тем не менее у Самойлова был «бзик» на эту тему. Ему были очень неприятны отъезды за рубеж, даже если они были вынужденны. Самойлов очень болезненно это воспринимал. Я так полагаю, что, конечно, он очень сожалел, что Тоша ввязался в правозащитное движение, ставя под удар своё дарование, талант, свою будущность. Д. С. долго сочинял горькие стихи о нём — «Прощание». В них, кроме слёз и горечи, ясно звучит досада на то, что Тоша не по себе выбрал стезю.

### **Расскажите, пожалуйста, о юморе Якобсона.**

Чувство юмора, как и литературный вкус его, было безукоризненным. Вспоминается, как они — Володя Гершович и Тоша Якобсон — мне звонили из Израиля, и оттуда раздавались их развесёлые тексты, вроде «над арабской бедной хатой гордо реет жид пархатый», или «а из нашего окна Иордания видна, а из вашего окошка только Сирия немножко»<sup>10</sup>, — это, по-моему, всё Тошины перлы, которые он сочинил в те времена, уже там.

### **Юлий Черсанович, фраза про «хату» — это цитата из поэмы «Представление» Иосифа Бродского?**

Это значит, что Бродский цитировал Тошу. Фраза была крылатой, и её вся Москва, веселясь, декламировала.<sup>11</sup>

### **Каково было отношение А. Якобсона к ксенофобии и «ревнителям России»?**

Не помню, не знаю его каких-либо слов или выступлений по теме, но совершенно однозначно понимаю, что всего этого терпеть не мог. То, что он сознавал себя совершенно русским писателем, у меня нет никаких сомнений. Я не помню, чтобы Тоша думал о своей национальной идентификации. Он числил себя среди русских интеллигентов, по-моему, и это была его национальность, российский потомственный интеллигент. Не помню, чтобы он занимался проблемами собственно еврейства.

### **Каково Ваше отношение к литературному творчеству А. Якобсона?**

С подробным анализом я выступить не могу, но это был писатель писателей. Поэт литературоведения, я бы его так назвал. И вот он себя в этом качестве ощущал наиболее сильно и мощно. Вот если литературоведение может быть предметом поэзии, то он поэт номер один в этой области — Тоша Якобсон.

Он до такой степени мощно внедрялся в самые глубины исследуемых им поэтов, будь то Ахматова, Пастернак или Блок. Книги Якобсона о них сами по себе есть поэма в прозе — на такой высокой ноте и с таким проникновением они написаны.

Причём тут ему помогала собственная поэтическая натура, ведь Тоша был мастер перевода, да и свои собственные стихи писал, то есть он ощущал поэзию изнутри очень сильно, и замечательнейшим образом передавал свой художественный анализ художественных произведений.

Пожалуй, к тому, что сказал, уже ничего добавить не могу, да и эти мысли не мои только, потому что совсем недавно мы вспоминали Тошу со вдовой Давида Самойлова, Галиной Ивановной Медведевой. Мы с ней, когда встречаемся, так непременно сворачиваем на тему «Анатолий Якобсон», и она очень интересно о нём рассказывает. Вот уж кто о Якобсоне думал-передумал и помнит чрезвычайно много.

**Век XX, «век-волкодав» не выпустил А. А. Якобсона из своих объятий. В «Московских кухнях» звучит поминальная песнь погибшим правозащитникам. Каковы Ваши мысли о его преждевременной смерти?**

Известие о смерти Тоши пало на наши головы, как гром среди ясного неба. На мою, по крайней мере, голову, так как лишь позже я узнал, что он был подвержен приступам депрессии и в Москве, и в Израиле.

Вот на какой вопрос я, пожалуй, не смог бы ответить: можно ли считать, что Тошу убила ностальгия? Не знаю. Не знаю, но не исключая значительной роли этого чувства в его гибели, потому что вся его среда, все его помыслы — всё было там, в России, безусловно. Юлий Китаевич в своих воспоминаниях приводит письмо Тоши<sup>12</sup>, из которого очевидно его настроение: острейшая ностальгия, сознание неправимой ошибки выбором отъезда и чувство безысходности и тупика в связи с этим. Причина же — депрессия — имеет своё клиническое название, но суть самочувствия, самосознания его — именно в этой безысходности.

**Ваше сегодняшнее отношение к Якобсону — ретроспективно, с учетом всех известных фактов?**

Он был ярчайшей кометой в наших потёмках. Он и половины своего потенциала не реализовал. Сколько бы написал, наговорил, нашутил. Вот что заставляет особенно горевать, когда о нём вспоминаешь. Бог знает какие книги погибли вместе с ним, потому что очень уж мощная была заявка — все его, к сожалению немногочисленные, литературоведческие работы.

Но он не мог примириться с потёмками, и они убили его. Так же, как Толю Марченко, Илюшу Габая, Вадика Делоне, Петю Якира.

Можно ли реализовать свой талант в условиях несвободы? Можно. Шостакович, Прокофьев, Паустовский, Казаков, Любимов, Эфрос, Кала-

тозов, Окуджава. Но — при условии компромисса: против власти не выступать.

Анатолий Якобсон — как и остальные наши диссиденты — соглашаться с этим не хотел.

**В 2010 г. исполнится 75 лет со дня рождения Анатолия Якобсона. Если предположить, что Управляющий Вечностью<sup>13</sup> разрешил бы ему навестить своих московских друзей, как бы Вы себе это представили?**

О-о-о, ещё как! Это было бы потрясающее свидание. Дело в том, что он многих любил очень, как может любить Тоша — радостно, с наслаждением. Он многих бы там обнял из тех, кто жив: и Серёжу Ковалёва, и Лавута, и Веру Лашкову, и ещё многих, кого я не знаю. Вдову Давида Самойлова — Галину — навестил бы, безусловно.

И чрезвычайно активно отнёсся бы к тому, что происходит в Москве, и, может быть, мудрее многих это оценил бы, потому что у Тоши был глаз очень сильный, незамыленный. И весьма бы сопереживал многим всяким нашим событиям и нашим теперешним переживаниям. Я убеждён — он с яростью накинулся бы на огромное чтиво, которое сейчас разливанным морем плещется повсюду, и быстро бы вцепился в какие-то новые имена, может, повёл бы семинары, и, конечно, он бы с жаром принял участие в работе Мемориала.

*Торонто-Рочестер-Москва  
2006–2009*

- <sup>1</sup> Интервью подготовлено и проведено по телефону Александром Зарецким, Бостон. Мемориальная страница А. Якобсона выразит признательность Эдуарду и Надежде Думанис (Рочестер, Нью-Йорк) за помощь в организации интервью с Ю. Кимом (Прим. В. Емельянова).
- <sup>2</sup> Карякин Юрий Фёдорович (р. 1930, г. Пермь), окончил философ. ф-т и аспирантуру МГУ. Работал в Ин-те философии АН СССР, в ж-ле «Проблемы мира и социализма» в Праге, спецкором газеты «Правда». В 1968 исключался из КПСС за доклад о жизни и творчестве А. Платонова на юбилейном вечере в ЦДЛ. Автор кн. о проблемах российского освободительного движения и творчестве Ф. М. Достоевского. Стал широко известен благодаря политическим памфлетам. Сопредседатель правления общества «Мемориал» (с 1989). Нар. депутат СССР (1989-92). Источник: С. Чупринин. Энцикл. Словарь Новая Россия. Мир Литературы. М.: Вагриус, 2002. (Прим. А. Зарецкого).
- <sup>3</sup> Габай Илья Янкелевич (9.10.1935, Баку — 20.10.1973, Москва). В 1962 окончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина. Преподавал литературу. Писал стихи и, совместно со своим другом М. Харитоновым, пробовал себя в прозе. Дважды принял участие в публичных акциях протеста: в «митинге гласности» 5.12.1965 и в демонстрации 22.01.1967. Г., был автором обращения «К деятелям науки, культуры, искусства» в январе 1968, которое также подписали Ю. Ким и П. Якир. Это обращение стало одним из наиболее известных текстов протестной кампании, начавшейся после «процесса четырех». Авторы обра-

щения указывали на прямую связь между политическими преследованиями в стране и попытками «ресталинизации». Г., по-видимому, присутствовал на встречах февраля — марта 1968, где обсуждалась идея информационного периодического правозащитного издания, а позже помогал Н. Горбаневской в ее работе над выпусками «Хроники текущих событий». 3-й номер «Хроники текущих событий», готовившийся сразу после «демонстрации семерых» на Красной площади 25.08.1968, составлен, в основном, силами Г. и его жены Галины. После судебного процесса над демонстрантами (октябрь 1968) написал очерк «У закрытых дверей открытого суда», вошедший в книгу Н. Горбаневской «Полдень», посвященную делу о «демонстрации семерых». Принимал активное участие в делах крымских татар, а также редактировал документы движения. Вскоре (19.05.1969) он был арестован по обвинению в «клевете на советский строй» и этапирован на следствие в Ташкент. В январе 1970 вместе с лидером крымских татар М. Джемилевым судим в Ташкенте, приговорен к трем годам лишения свободы. Срок отбывал в колонии в Кемеровской области. Перед концом срока Г. был этапирован в Москву и допрошен по так называемому «делу № 24» (по этому делу, известному как дело «Хроники текущих событий», в 1971–1972 был арестован и привлечен к суду ряд близких Г. участников правозащитного движения). После освобождения допросы по «делу № 24» продолжились. Через месяц после возвращения Г. в Москву, в июне 1972, был арестован его близкий друг П. Якир; вскоре стало известно, что П. Якир активно сотрудничает со следствием. Г. отказался подтверждать его показания.... Поведение П. Якира на следствии, общая атмосфера времени (события 1972–1973 воспринимались многими как разгром правозащитного движения) — все это привело Г. к сильнейшей депрессии. 20.10.1973 он выбросился с балкона своей квартиры. В некрологе, помещенном в 30-м выпуске «Хроники текущих событий», в частности, говорилось: «По убеждению всех, знавших его, Илья Габай, с его высокой чувствительностью к чужой боли и беспощадным сознанием собственной ответственности, был олицетворением идеи морального присутствия. И даже его последний, отчаянный поступок несет в себе, вероятно, сообщение, которое его друзья обязаны понять...» Источник: Кузовкин Г. В., Зубарев Д. И. Писатели-диссиденты: биобиблиографические статьи. НЛО 2004, № 66. (Прим. А. Зарецкого).

<sup>4</sup> Герцен (Гера) Исаевич Копылов (1925–1976), — друг Ильи Габая и Юлия Кима, доктор физико-математических наук, работал в Дубне. Известен как переводчик «Фейнмановских лекций по физике». В Самиздате печатался под псевдонимом С. Телегин. В пятидесятые годы среди студентов МГУ была известна его поэма «Евгений Стромькин», распространявшаяся анонимно. Позднее в узком кругу пользовалась популярностью — «Четырёхмерная поэма». Источник: Илья Габай. Стихи. Публицистика. Письма. Воспоминания. Составитель Галина Габай. Редактор Владимир Гершович. «Призма Пресс», Иерусалим, 1990 г. (Прим. А. Зарецкого).

<sup>5</sup> Юрий Алексеевич Гастев (1928–1993) — математик, философ, мемуарист, общественный деятель. Узник сталинских лагерей (1945–1949). Участвовал в выпуске правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Подвергался административным преследованиям. В 1981 г. эмигрировал. Печатался в газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово». (Прим. В. Емельянова).

<sup>6</sup> Цитата из «Отчаянной песенки учителя обществоведения» Ю. Кима: «Вундеры и киндеры просто замучили,...». (Прим. А. Зарецкого).

- <sup>7</sup> Костерин Алексей Евграфович (1896, Саратовская губерния — 10.11.1968, Москва). С января 1918 — член партии большевиков, активный участник Гражданской войны. В начале 1920 — военный комиссар Чечни, затем секретарь Кабардинского обкома РКП (б). В 1922–1936 жил в Москве, занимался художественной литературой и журналистикой. 6.05.1938 был арестован, Особым совещанием при НКВД СССР приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей, отбывал срок на Колыме. В марте 1955 реабилитирован Верховным судом СССР, в 1959 восстановлен в Союзе писателей. Много лет занимался восстановлением справедливости по отношению к чеченскому и ингушскому народам, репрессированным при Сталине, неоднократно обращался по этому поводу в высшие партийные инстанции, подвергался за это обыскам и допросам в КГБ. В середине 1960-х в Москве вокруг К. и его друга, старого большевика С. Писарева, сформировался кружок инакомыслящей молодежи (В. Павлинчук, Г. Алтунян, И. Яхимович), противооставлявших современную советскую действительность «ленинским заветам». В 1966 к кружку присоединился П. Григоренко, называвший К. своим учителем. В 1966–1967 К. неоднократно выступал на партийных собраниях московских писателей с резкой критикой ресталинизации. В мае 1967 написал и распространил в самиздате статью «О малых и забытых» (о народах, репрессированных при Сталине). К. становится одной из заметных фигур в движении за реабилитацию и возвращение крымских татар на родину. Менее чем за месяц до ввода войск в Чехословакию (28.07.1968) совместно с Григоренко написал открытое письмо «К членам коммунистической партии Чехословакии» в поддержку Пражской весны, которое было передано в Посольство ЧССР в Москве. 29.09.1968 написал в соавторстве с Григоренко обращение в защиту участников «демонстрации семерых». В октябре 1968 подписал «Обращение восьми» в Московский городской суд по поводу процесса над демонстрантами. 17.10.1968 исключен из партии, 30 октября исключен из Союза писателей СССР. Через несколько дней К. скончался. Церемония кремации в крематории Донского монастыря превратилась в правозащитный митинг, на котором с яркими речами выступили П. Григоренко, А. Якобсон и др. Источник: Кузовкин Г. В., Зубарев Д. И. Писатели-диссиденты: биобиблиографические статьи. НЛО 2004, № 66. (Прим. А. Зарецкого).
- <sup>8</sup> «...Да, такой эпизод был, хотя помню я его так же смутно, как и Юлик. Кажется, это было у меня дома. Я только что вышел из лагеря в 1970. Тошка, как мне рассказали, уже много раз буйствовал по поводу НТС и их попыткам представить нас как свою креатуру. К НТС у нас уже сложилось вполне определенное отношение, а их связи с КГБ сомнений не вызывали после процесса Гинзбурга-Галанского (см. Владимир Буковский, «Московский процесс». Изд-во «Русская мысль — МИК», Париж — Москва, 1996. Прим. В. Емельянова). Однако их журнал «Посев» регулярно печатал «Хронику» и прочие материалы самиздата. В то время мало кто жаждал это печатать на Западе, особенно капризничать не приходилось, и большинство из нас склонны были смотреть на это сквозь пальцы. Самиздат копирайта не имел, каждый был вправе его перепечатывать. Ответственными за такие публикации мы себя не чувствовали, да и сделать что-то по этому поводу мы не могли. Тошка, будучи человеком яростным, с этим примириться никак не мог и требовал от нас с НТС «размежеваться» (хотя прямо мы с ними никогда связаны и не были). Как раз в тот момент в очередном номере «Посева» вышла статья какого-то НТС-овца из Америки (фамилии не помню), где он опять повторял их выдумки о том, что они нас «придумали», и Тошка

взорвался. Однако утихомиривал его не столько я, сколько Гриша Подъяпольский и Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин. Было найдено компромиссное решение: мы трое (Гриша, Анатолий Эммануилович и я) пишем открытое письмо, в коем жестко «размежевываемся» с НТС и опровергаем их выдумки, а Тоша обещает успокоиться и на людей не бросаться. Что и было сделано. Письмо наше пошло в Самиздат и у многих вызвало недоумение: дескать, зачем было огород городить, и так понятно. Ну, не объяснять же всем, что есть у нас такой Тоша, неустовый, как Виссариян Белинский. Добавлю, чтобы избежать недоразумений: отношения у нас с Тошкой были прекрасные, таковыми и остались. Это был удивительно чистый и честный до щепетильности человек. Конечно, его щепетильность порой создавала проблемы, но, скажу я, дай Бог всем общественным движениям иметь такие проблемы, а не противоположные» (из письма В. Буковского В. Емельянову, 6 мая 2006).

- <sup>9</sup> Якобсон не был посажен в самолет в связи с бесконечно затянувшимся чрезвычайно подробным шмоном и длительной возней с клеткой Томика. И для провожавших, и для нас перенос вылета на другой день явился полной неожиданностью. Высказывались опасения, что задержка инспирирована ГБ (Прим. М. Улановской).
- <sup>10</sup> И. Губерман: «...был замечательный стишок: «А из нашего окна Иордания видна. А из вашего окошка только Сирия немножко». Я когда приехал <в Израиль>, я от зависти его даже продолжил: «Если встанешь на диван, то заметишь Ливан». Из программы «Дифирамб» радио «Эхо Москвы», источник <http://www.echo.msk.ru/programs/dithyramb/583939-echo.phtml> (Прим. А. Зарецкого).
- <sup>11</sup> «Я слышал её от Бродского в Ленинграде вскоре после Шестидневной Арабо-Израильской войны 1967 и никогда не сомневался, что она была его собственным экспромтом». Из письма Льва Лосева — биографа Иосифа Бродского — А. Зарецкому 15 мая 2006 г. (Прим. А. Зарецкого).
- <sup>12</sup> Письмо Анатолия Якобсона Галине Трухачёвой. См. Интервью Галины Трухачёвой Мемориальной сетевой странице, публикуемое в настоящем сборнике воспоминаний. (Прим. А. Зарецкого).
- <sup>13</sup> Из песни Юлия Кима, созданной в 2008 г. и посвящённой 90-летию А. Галича «Баллада о том, как Александр Галич посетил Москву этой осенью». (Прим. А. Зарецкого).



*Алина Ким*<sup>1</sup>

## **Отрывок из воспоминаний «Детство за 101 километром»<sup>2</sup>**

...Прежде чем закончить своё путешествие во времени, хочется вспомнить всех, кто бывал в д. 5, кв. 75<sup>3</sup>. Но одно только перечисление имён займёт немало страниц. Поэтому вот некоторые из них — навскидку — по алфавиту (кроме упомянутых ранее): Айхенвальды Юра и Вава, Бухарина Анна Михайловна (Нюся), Белгородская Ира, Буковский Володя, Гершуни Володя, Делоне Вадик, Диковы Юра и Нина, Дремлюга Володя, Емелькина Надя, Каплун Ира, Карякин Юрий, Красин Витя, Лашкова Вера, Литвинов Павел, Сапронов Юра, Суперфин Гарик, Терновские Леонард и Люся, Хаустов Виктор и далее — несть им числа. Заглядывал пару раз Александр Галич...

### **Отдельно о двух дорогих именах.**

...Как-то прихожу на Автозавод и вижу — на тахте Сары Лазаревны возлежит... Александр Сергеевич Пушкин. Это был знаменитый Тоша Якобсон! Наши взгляды пересеклись, и на месте их пересечения явно заискрило. Тоша вскочил и быстро сказал: «Поехали ко мне, я тебе всю ночь буду читать стихи». Но возникший тут же Петр <Якир> не пустил меня «слушать стихи». Когда кстати мы как-то играли в игру «Прочти любимое стихотворение», Тоша прочитал именно Пушкина. А Тошкины импровизации:

Перстами лёгкими, как сон,  
Ест помидорчик Якобсон...

Как он не хотел уезжать в Израиль! Но альтернативой был арест. На проводах Тоша говорил всем и каждому: «Вы видите перед собой покойника!». Подарил мне свою фотографию с такими словами: «Алька, милая, родная, не забывай меня. Давай вместе не верить в расставание навсегда. Нежно целую тебя. 30/VIII-73 г. Т.» Но не смог он там жить — без русской культуры, без несчастной страны, о которой сам же мне говорил: «Мы никому здесь не нужны, даже самим себе». Сам ушёл из жизни.

В феврале 1999 г. мы с Юликом<sup>4</sup> и Володей Гершовичем по еврейскому обычаю положили камешки на могильную плиту из белого иерусалимского камня. На этой плите было написано и на иврите и по-русски:



**Анатолий**  
**Якобсон**  
**1935–1978**

\* \* \*

Там же, на Автозаводе, я впервые увидела назабвенного Илюшу Габая.

- <sup>1</sup> Алина Черсановна Ким (1933–2008) родилась в Наро-Фоминске. В 1957 г. окончила 2-й Московский Медицинский институт. Работала врачом в Восточном Казахстане, с 1962 г. — фтизиатром в туберкулёзных учреждениях Московской области, с 1966 г. — научным сотрудником Московского НИИ Туберкулёза Минздрава РСФСР. Кандидат медицинских наук. В 2008 г. опубликовала в «Иерусалимском журнале» статью, посвящённую Владимиру Гершуни. (Примечания А. Зарецкого)
- <sup>2</sup> Воспоминания вошли в книгу «Юлий КИМ, Алина КИМ. О нашей маме Нине Всесвятской, учительнице: Очерки, воспоминания, материалы из домашнего архива». — М.: Общество «Мемориал» — Издательство «Звенья», 2007. — 256 с. Тираж 1020 экз.
- <sup>3</sup> Квартира Сары Лазаревны, Петра и Валентины Якир в Москве, Автозаводская улица, д. 5, кв. 75 — «Автозавод»
- <sup>4</sup> Юлий Черсанович Ким (р. 1936)

*Елена Боннэр*

## **Интервью Мемориальной странице<sup>1</sup>**

**Расскажи, когда ты познакомилась с Якобсоном или узнала о нём?**

Узнала, не помню когда, а в дом его к нам привела Лидия Корнеевна Чуковская.

**Когда это было?**

Году в 72-м, наверное.

**А до этого ты о нём знала?**

Я думаю, что да.

**Ты же вроде бы была знакома со всеми другими членами «Хроники текущих событий»?**

Нет, абсолютно нет. Я знала Володю Тельникова, Володю Буковского, но Буковский вроде к «Хронике» отношения не имел. Ну, знала Кузнецова, который тоже к этому отношения не имел. Толю Якобсона, может быть, я и видела как-то... Я помню хорошо очень вечер, когда Толю привела Лидия Корнеевна.

**А что это было?**

Ничего, просто... Ну, это был первый год, когда Андрюша жил у нас в доме. Где-то вскоре после нашего бракосочетания и после московских обысков, которые были в середине января в Москве. Много обысков было. Деталей разговоров или ещё чего-нибудь я не помню, но в основном вокруг этого первый разговор вертелся.

**А ты знала, что он имеет отношение к «Хронике текущих событий», когда его Лидия Корнеевна привела?**

Нет, наоборот, Лидия Корнеевна представляла его как автора книги о Блоке. Я всё время думаю, когда Лидия Корнеевна привела Толю, он уже в вашей школе не работал? Ты когда поступил в эту школу?

**В 70-м году.**

До того как Андрюша пришёл к нам в дом?

**Да.**

Толи уже не было, у вас была Ошанина Таня.

**Несколько вопросов от Александра Зарецкого, члена группы создателей Мемориальной страницы Анатолия Якобсона:**

*«Известно, что Андрей Дмитриевич был среди первых читателей монографии Якобсона об Александре Блоке «Конец трагедии». Как рукопись попала к Андрею Дмитриевичу и как он её оценил?»*

Ты сам принёс рукопись к Андрею Дмитриевичу! Толя тебе дал, даже надпись, по-моему, на ней дарственная есть.

**Да, действительно, так и было. И как он её оценил?**

Мне трудно говорить, как Андрей Дмитриевич её оценил. Хорошо оценил, интересно.

**«Встречались ли Андрей Дмитриевич и Анатолий Якобсон лично? Если да, — то что было причиной встречи, о чём они говорили, что обсуждали?». Частично ты уже про это сама сказала, что Лидия Корнеевна привела.**

После того, как привела Лидия Корнеевна. Она очень любила Толю Якобсона и часто с ним приезжала. Ещё когда Юра Тувин не был у неё в шофёрах, она с Толей приезжала на такси, потому что одна она не ездила обычно. О чём говорили? Обо всём на свете, не могли всё говорить о великом. Говорили об обычном, как все люди. Я помню какие-то вечера на даче, на веранде, когда варить варенье из вишни собирались. Все, кто сидели за столом, в том числе Толя Якобсон, выковыривали косточки из ягод.

**«9 февраля 1978 года Андрей Дмитриевич передал в Норвежское посольство для Нобелевского комитета письмо о выдвижении Хельсинкской группы на Нобелевскую премию мира. Согласно дневниковой записи, к этому письму существовало дополнение, содержавшее поддержку выдвижения редакторов «Хроники текущих событий» (6 человек: Ковалёв, Великанова, Горбаневская, Лавут, Ходорович, Якобсон). Была ли ХТС выдвинута Андреем Дмитриевичем? Прокомментируйте, пожалуйста, эту дневниковую запись Андрея Дмитриевича. Каковы были реакция и решение Нобелевского комитета? Где может находиться копия указанного письма? В Москве или в Гарварде?»**

Не копия, а подлинник. Не знаю где, надо посмотреть по документам, так не помню. А реакции Нобелевского комитета никогда не были известными. Андрюшино письмо я перепечатывала десяток раз, доводила до, так сказать, «чистого» состояния. Он действительно считал, что «Хроника» имела большое значение в формировании правозащитного движения, может быть, самое большое из всех явлений, которые были. И действительно выдвигал её на Нобелевскую премию. Но то, что я не знаю реакции Нобелевского комитета, — это вовсе не есть исключительно моя неосведомлённость. Нобелевский комитет никогда не говорит о своих реакциях.

**Даже я помню, как писалось это письмо, и как Андрей Дмитриевич говорил о том, что Хельсинкская группа ещё ничего не успела сделать, а только имя взяла, а «Хроника» действительно является определяющим явлением.**

Нет, Хельсинкская группа потом делала, в общем, много.

**Потом — да, но к 9 февраля 1978 года она ещё мало чего успела.**

Да.

**Ещё вопрос:**

**«Оценка Андреем Дмитриевичем Анатолия Яacobсона как человека, правозащитника и литератора? Что Андрей Дмитриевич говорил по поводу преждевременной смерти Яacobсона 28 сентября 1978 г.?»**

Якобы цитировать, придумывая за Андрея, я не могу. Я не помню... Мы были ошарашены Толиной смертью, но с другой стороны, весь отъезд Толи ощущался нами, всеми друзьями, как шаг трагический. Особенно я помню реакцию Серёжи Ковалёва. Ну, вот чувствовали мы, что ему там будет худо. И особенно это я почувствовала, как ему плохо, — а до этого я никогда не воспринимала Толю, как, ну если не больного, то неустойчивого человека, — в Париже, когда он меня провожал. И я это написала. Ужасное впечатление было — потерянного человека, потерянной личности. Это был 75 год. Я ехала через Париж в 75 году.<sup>2</sup>

**После Нобелевской премии?**

До Нобелевской премии. Потом Толя не то, чтобы переписывался с нами. Мы получали от него один раз письмо, более или менее серьёзное какое-то, потом открытки, фотографию Толи с собакой. И в открытках какие-то полушуточные слова. По-моему, пара открыток у меня сохранились.

**Они в архиве?**

Я не уверена, может быть, у меня.

**Вопрос: «Елена Георгиевна, в «Дневниках» Вы упоминаете, что Яacobсон обучил Алексея Семёнова, ученика Второй школы, русской грамоте. Ваша оценка Яacobсона как учителя?»**

Очень высокая!

**Ну, да — я получил «пятёрку», что было чудом.<sup>3</sup>**

У меня было в отношении детей два опасения, что Алексей не кончит школу из-за русского языка, и что Татьяна не кончит школу из-за математики.

**«Можете ли Вы сказать что-нибудь о взаимоотношениях Яacobсона с другими правозащитниками? С Лидией Корнеевной Чуковской?»**

О Лидии Корнеевне Чуковской я уже сказала. Она очень любила Толю и считала его очень талантливым, и одновременно это был период, когда Лидия Корнеевна резко не одобряла отъезды. А Толя мотивировал свой отъезд болезнью сына и возможностью его лечения в Израиле, но это ощущалось, как вторичное. И, в общем, Лидия Корнеевна, как во всех случаях, а здесь был случай с близким ей человеком, была против отъезда. Мне трудно говорить о взаимоотношениях Толи со многими диссидентами. Я знаю, что он очень близок был с Серёжей Ковалёвым.

### **А на проводах Якобсона Вы были?**

Не помню. Проводов было много. Очень часто я не ходила. Ходили Таня и Ефрем, а мы с Андреем не ходили на провода. Я в отличие от того, что сказал про меня Солженицын, будто я чего-то там переносу-разношу по диссидентским салонам, даже на дни рождения друзей почти никогда не ходила. Я как раз это не люблю: я не пьющая, особо не ем много, и мне вроде делать нечего.

### **А за границей ты с Якобсоном виделась только один раз в Париже?**

Да.

### **А как это было? Ты приехала в Париж и что? Как ты с ним связалась?**

По-моему, он был у Володи Максимова. Когда я приехала в 1975 г., в Париже на вокзале меня встречал Саша Галич.<sup>4</sup> Один. Почему-то они решили, что, если кто-нибудь ещё пойдёт встречать, или если за мной следят, и если есть вероятность диссидентской демонстрации, то не надо её устраивать. Но вот Галича я увидела ещё из окна вагона с красными розами. Поезд подходил к перрону, и Галич идёт — такой вальяжный, красивый. А уезжала я из Парижа — провожал меня один Толя. Почему он оказался в это время в Париже, а не в Израиле, я не знаю.<sup>5</sup> Или забыла. Наверное, знала. Сочинять причин не хочу. Несмотря на то, что в Париже был Максимов и другие, вид у Толи был ужасно заброшенный, одинокий, в общем, больной. Ехала я на поезде, а не летела в Италию, потому что у меня было очень высокое глазное давление, и врач не разрешил лететь. Я купила билет во Флоренцию через Париж просто, чтобы увидеть друзей. В Париже я была на пути туда, во Флоренцию, два дня всего. И потом это было довольно напряжённое время для нас. Ты, наверное, помнишь — когда я должна была уезжать, заболел Мотя — так страшно. Мы продали, сдали тот билет. Валя Турчин сдавал билет. А потом я уезжала через две недели. Должна была уезжать 6 августа, а уехала, кажется, 16.

### **В заключение, что-нибудь ещё можешь сказать про Якобсона?**

А что сказать...

*«Уходят, уходят, уходят друзья,  
Одни — в никуда, а другие — в князья...»*

Толя очень рано ушёл. Я не знаю, мне трудно оценить, как могла бы сложиться толина жизнь дальше, если бы не случилось этой трагедии, но внутреннее ощущение у меня такое, что трагедия произошла раньше. Что для него отъезд был толчком к трагедии.

*Бруклайн, Массачусеттс, США  
5 августа 2007*

- <sup>1</sup> Интервью проведено Алексеем Семеновым, сыном Елены Георгиевны, по просьбе Мемориальной сетевой страницы Анатолия Яacobсона. Записано в доме Е. Г. Боннэр.
- <sup>2</sup> «...А провожал меня из Парижа во Флоренцию Тоша Яacobсон. Это была моя последняя встреча с ним. Был он в очень плохой форме. Неужоженный. Даже неопрятный. В каких-то шлёпанцах на босу ногу. Весь какой-то дёргающийся. Со сбивчивой, торопливой речью. До этой встречи я никогда не думала, что он болен, а тут это выплыло с неопровержимой определённой и сразу пришедшим страхом за него. Потом мы ещё получали какие-то открытки от него из Израэля. Но мне кажется, что я уже тогда на парижском вокзале почувствовала, предчувствовала его трагический конец. Может, надо было сказать об этом кому-то из друзей. Но кому? И что это могло изменить?» См. Андрей Сахаров, Елена Боннэр. Дневники. Роман-Документ, Том 1. Москва. Время. 2006, с. 262-263
- <sup>3</sup> См. заметку А. Семенова «С большой буквы...», публикуемую в данном сборнике.
- <sup>4</sup> «... я (кажется, 16 августа) уехала из Москвы. В Париже на перроне Лионского вокзала меня с букетом коралловых роз встретил Саша Галич,... И ещё в Париже у Тани Матон ждала меня книжная бандероль от Валерия Чалидзе — сигнальные экземпляры книги “О стране и мире”.» См. Андрей Сахаров, Елена Боннэр. Дневники. Роман-Документ. Том 1. Москва. Время. 2006, с. 262-263
- <sup>5</sup> А. Яacobсон, пребывая в болезненном состоянии, гостил в доме Синявских по их приглашению (прим. В. Емельянова).

*Леонид Лозовский*<sup>1</sup>

## **Якутское лето 1972**

В 72 г. мы с друзьями задумали сколотить строительную бригаду, чтобы дать возможность немного подзаработать хорошим людям. Решили организовать работы в Якутии, где я тогда жил и где заработок повыше. Абрама Ильича Фета,<sup>2</sup> Игоря Николаевича Хохлушкина, Алексея Всеволодовича Гладкого<sup>3</sup> и Бориса Найдорфа я знал со времён моей работы в Новосибирском Академгородке, где в 68 г. мы подписали так называемое «письмо 46-ти» в защиту А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, В. Лашковой, А. Добровольского с протестом против закрытых процессов.<sup>4</sup> Написал письмо Игорь Хохлушкин.<sup>5</sup> Ну, и нас после всяких закрытых партсобраний и собраний общественности постепенно «выдавили» из Академгородка (хотя у каждого, конечно, была своя история).<sup>6</sup> Меня на работу в Якутск пригласили друзья.

Весной 72 г. я полетел в Москву со своим фокстерьером Джимом на состязания норных собак.<sup>7</sup> Мой пёс выиграл их, став Чемпионом Союза. Перед моим отъездом из Москвы мы обговорили с Игорем Хохлушкиным организацию «вольных» работ, и я решил заехать в Новосибирск.

Зашёл к Абраму Ильичу Фету, который жил в Новосибирске, вынужденно покинув Академгородок (его, доктора физико-математических наук, после подписания «письма 46-ти» уволили из Института математики), зарабатывал на жизнь переводами. Переводы оформлялись на имя добрых людей, поскольку ему запрещалась любая работа.<sup>8</sup> К «письму 46-ти» Фет относился скептически. Он считал подобные обращения к власти бессмысленными, поскольку в них содержалась вера в советские законы, но счёл нужным подписать это письмо из солидарности с порядочными людьми, чтобы его поведение не могло быть расценено как трусость: надо подавать пример даже в таких нелепых делах. Ему не предлагали никакой работы в течение четырех лет, а только намекали, что он должен уехать из Новосибирска. Лишь однажды директор Института ядерной физики Г. И. Будкер вдруг предложил ему стать заведующим вычислительным отделом своего института с неприемлемым условием. Естественно, Фет отказался.

Ехать в Якутск Фет не мог: он совместно с Ю. Б. Румером заканчивал книгу по физике элементарных частиц «Теория унитарной симметрии», некоторое время спустя вышедшую в Москве благодаря усилиям Румера.

Затем я заехал к Боре Найдорфу,<sup>9</sup> и вопрос с работой в Якутии был решён.

Найдорф со своими ребятами приехал первым, за ним — Игорь Холушкин, а потом — Алексей Гладкий из Новосибирска. Остановились у меня. Я взял отпуск и началась разведка мест работы. Первой была найдена столовая в самом Якутске: внутренняя и внешняя отделка, укладка плитки на пол и стены, штукатурка, потолки, стены, крыша и пр.

Тоша приехал вместе с Костей Бабицким.<sup>10</sup> Они разыскали меня по домашнему адресу. Кстати, первым Тошей стал называть Толю Игорь, и так приклеилось. Наверное потому, что из нашей толпы разновозрастных людей он, хоть и не был самым молодым, но по непосредственности, по естественности реакций, по всегдашней готовности помочь, взвалить на себя самую тяжёлую или грязную работу, по совершенной предсказуемости реакций на добро и зло, он выглядел типичным мальчишкой. И ласковое Тоша как нельзя лучше соответствовало ему.

Я предложил перекусить, да куда там! Тошка увидел у меня на стеллаже две пары боксёрских перчаток и с азартом фокстерьера вцепился в них. Пришлось согласиться на спарринг. У него было прекрасное чувство дистанции, хорошая реакция и резкий удар. Может, не хватало техники — он терялся, когда я неожиданным сайд-степом вправо оказывался у него почти за спиной, и его левая сторона челюсти оказывалась беззащитной. Но! Что характерно для настоящего бойца — глаза он не закрывал ни при каких обстоятельствах. И голову в плечи не втягивал.

Наконец, Костя взмолился: «Братцы! Есть хочу!» И мы пошли в магазин за водкой (и коньяком — к вящему неудовольствию Тошки: «Лучше бы ещё пару водки»).

За разговорами коньяк и пара водки закончились к часу ночи. Костя пошёл спать, а я — к соседу за водкой. Принёс, и мы с Тошей продолжили. Рассказал ему о жизни в Якутии, вспомнил свою первую здесь экспедицию три года назад. Тогда со своим отрядом я прибыл на Нежданнику — крупнейшее в Союзе месторождение рудного золота. Здесь велась тяжёлая разведка — шурфы, штольни — для подсчёта запасов. Посёлок — три-четыре десятка деревянных бараков и столько же землянок. Мастерские по ремонту тяжёлой техники, столовая, магазин, почта и дом бытового обслуживания. Имелось уже довольно солидное кладбище. Ближайший город — Хандыга. Лёту — пару часов на «аннушке» (АН-2) и двое-трое суток на КРАЗе только осенью по руслу обмелевшей речки. Над этим безобразием возвышалась красавица-вершина Сказка — 3200 м.

Население — в основном, бичи, работавшие, чтобы пить. Два раза в месяц «аннушка», под завязку загруженная ящиками водки, привозила кассира с авансом и зарплатой. Работа прекращалась, и через пару дней пустая «аннушка» увозила назад кассира с деньгами. Там



я встретил молодую женщину, работавшую в комбинате бытослуживания, в доме которой в Елабуге окончила свои дни Марина Цветаева. Женщина мало что помнила — ей было тогда всего шесть лет, но чувство потрясения от гибели «жилички из России» сохранилось.

Тошка помолчал, потом начал тихонько читать стихи Марины:

Вздогнешь — и горы с плеч,  
И душа — горе.

Потом громче и громче. И на весь ночной солнечный тихий двор четырёх домов геологов зарёванно-лохмато разносилось:

Дочь, ребенка расти внебрачного!  
Сын, цыганкам себя страви!  
Да не будет вам места злачного,  
Телеса, на моей крови!

Проснулся Костя, сел на топчане: «Что стряслось?!»

Тоша, остыв: «Си титцах ойс, что прямо дым идёт!» (Творится что? Что прямо дым идёт!)

На следующий день уже работали в столовке. Тоша занимался составлением смеси для штукатурки (сначала сито, потом смесь), подносом вёдер этой смеси для штукатуров, обдиранием старой штукатурки. Работа пыльная и грязная.

Тоша требовал самой тяжёлой работы: «Ничего путного руками делать не умею, а вот таскать тяжести — это с удовольствием». «Рученятки-то вот они», — уже из анекдота. И действительно, он как-то незаметно перетаскал *в одиночку* на крышу двухэтажной столовой весь шифер (около двух тонн!) по приставной лестнице. Надо было видеть, как он, водрузив на голову 60-килограммовую пачку и поддерживая её руками, балансировал по приставной 15-тиметровой лестнице без перил, угрожающе раскачивающейся и сильно прогибающейся под его весом. Случись оступиться или потерять равновесие и — костей не собрать. Жаль, что я поздно это увидел, но последние две-три пачки наверх затаскивали уже несколько человек.

На фото (слева) мы сидим на кипе шифера, которую через пять минут Тоша начнёт затаскивать на крышу.

Я и сейчас без содрогания не могу вспомнить эту картину. Закончив, Тоша подошёл к нам и, устало оттирая потное лицо картузом, сказал:

— Да, прав был Владимир Ильич, говоря: «Учитесь торговать, ... явреи».

И уж как счастлив был, измотавшись физически! Для него, вообще, была характерна полная самоотдача, полное погружение в дело. Но если при неквалифицированной работе его мозги непрерывно действовали, и он то и дело сыпал шутками и афоризмами, то от более

квалифицированного дела, например, стекления рам, — отвлечь его не могло ничто. Вначале досконально всё расспросив и какое-то время прилаживаясь и примеряясь и, наконец, приспособившись, он весь погружался в работу и даже на перекурах его нельзя было вернуть к беседе, так как он продолжал мысленно прокручивать отдельные детали дела. Бросив окурок, бегом возвращался к работе. А уж от похвалы расцветал, как ребёнок. Легко приспосабливался к новому, будь то топор или бензопила. Позже, на строительстве теплицы, мы ставили с ним контрфорсы, — никогда у меня не было лучшего партнёра, так чувствующего ритм работы, без слов понимающего напарника.

Зато, когда прерывались на обед, интереснее, образней, солёней рассказчика не было.

И диапазон — от русской непотребной частушки (а он собрал их более трехсот!), — «положили на весы — на все стороны усы...» до мгновенных микро-эссе о Маяковском, Цветаевой, Ахматовой (он говорил, что Цветаева — крик души для залов, стадионов, Ахматова — более камерна).

Последним приехал Саша Лавут.<sup>11</sup> Я его увидел уже на стройке в Октёмцах. (Закончив ремонт столовой, нашли объект в Октёмцах, в 30-40 км от Якутска, — строительство осенне-весенней теплицы).

Под мелким, тёплым дождичком стоял в одиночестве человек (остальные попрятались в балок — домик из бруса, приспособленный для перевозки трактором) и тюкал топориком — ошкуривал бревно. Проходя мимо, я его позвал в балок, мол, нечего тут под дождём. Он ответил, что сейчас закончит. Через несколько минут Саша, прихрамывая, появился в балке — тюкнул топориком по ноге...

Надо было настоять, конечно, и увести его в балок. Отлично ведь знал: под дождём нельзя работать топором: дождь расслабляет и рассеивает внимание. Пригоршня воды, брошенная боксёру в лицо, когда он отдыхает в перерыве между раундами, вызывает мгновенный спазм и последующее расслабление, обеспечивающее полноценный отдых. Брызги в лицо находящемуся в обмороке человеку воздействуют точно так же — спазм, затем расслабление, расширение сосудов мозга и выход из обморока.

Саша меня поразил: несмотря на свежее пораненную ногу, немедленно приступил к упорядочению быта, — стал перестилать покореженные нары, мастерить полки, убираться. Позднее, ближе познакомившись с ним, став частым гостем в его доме, я понял, что это у него в натуре — облагораживать среду вокруг себя.

Как-то выяснилось, что Тоша является членом Литфонда («Это, как член кассы взаимопомощи», — образно объяснял когда-то Галич положение Пастернака, исключённого из Союза писателей), а зарабатывает преподаванием русского языка недорослям. На вопрос, почему

не литературы, ответил в том духе, мол, «стану я тратить душу на этих оболтусов». Внучка Саши Лавута Женечка как-то рассказала, что Тоша, читая им в классе лекцию (об Есенине, кажется), неожиданно разрыдался, уронив голову на стол.

Пару раз обсуждалась правозащитная тематика, — сошлись на мнении, что правозащитное движение на такую мощную империю никакого влияния оказать не может. Но Тошка заметил: «Если только мистика не вмешается», на что опытный зек Игорь Хохлушкин саркастически хмыкнул. Спустя 10 лет, в 1982 г., в Калинин (Твери) А. И. Фет говорил с возмущением: «Лёня, дорогой, неужели вы не видите, что этот строй завтра рухнет! Ну, выйдите на улицу, оглядитесь по сторонам. Завтра же, ведь, рухнет!». На что я ответил в том смысле, что и нам с Вами, и нашим детям, и внукам ещё хватит нахлебаться. И как же тяжело ворочалась в мозгу эта Тошкина фраза о вмешательстве мистики и Фетовское «Завтра, ведь, рухнет», когда всего три года спустя, в 1985-м, я, обалдело уставившись в приёмник где-то в центре мерседесной звёздочки, образованной хребтами Удоканом, Каларским и Становым, слушал выступление Горбачёва. Удивительно, как эти двое, в сущности, антиподы, предчувствовали тогда, в середине застоя, близкий конец людоедского строя. Это сейчас экономисты благостно рассуждают, что «обвалившаяся экономика...» В 1985-м я уже по уши влез в Закон развития систем Валентина Турчина и даже разработал несколько следствий, но тогда мне ещё не приходило в голову, что можно рассчитать и найти эти точки бифуркации во времени.

На Тошу временами накатывал кафар<sup>12</sup> и тогда он среди ночи вылезал из балка, где мы спали, взбадривал костерок и садился, обняв голени руками и уткнув подбородок в колени. Джим немедленно выползал из-под полатей, где я спал, и тоже подсаживался к Тоше. И Тоша клал ему руку на голову (что Джим терпел только от меня), перебирал пальцами шёрстку меж ушей и ласково тянул: «Стари-и-ик!».

Когда мне тоже не спалось, я выходил вслед за ним, и мы молча сидели, глядя на пламя.

Как-то раз к нам выбрался Костя. Посидел немного, прислушался к тишине и сходил за гитарой. Вначале трогал струны, наигрывая какие-то мелодии, потом стал тихо петь своим неподражаемым баритонном старинные русские романсы. Один за другим. Потом — свои песни. Через некоторое время Тошка запрокинулся на спину и закинул руки за голову:

- Сила жаждет, и лишь печаль утоляет сердца.
- Из Экклезиаста?, — проявил безграмотность я.
- Вспомнил Бабеля.

Накануне до нас дошли сведения о позорном поведении Якира на следствии. Я не мог поверить, как опытный зек (с 14-ти лет по коло-

ниям и лагерям) мог повести себя, как последний фраер — «Это моё, это я написал, а вот это не моё, это такого-то, и это написал не я, а такой-то...»

— Передал же он своей дочери Ирине записку, что «каждому говна наесться дано», — ответил Костя.

— Бесовщина какая-то, не иначе, — Тошка растроенно, — Время глядеть, и время оглядываться.

Тогда я и подумал об ОНЧ-облучении.<sup>13</sup> Это такая штука, которой возможно воздействовать на тэта-ритмы головного мозга и погружать человека хоть в эйфорию, хоть в депрессию.

Из Тошки как-то органично сыпались прибаутки, анекдоты, переделки.

Мы с ним выправляли стометровую линию опор-столбов, на которые навешивалась собственно осенне-весенняя теплица — сооружение из пяти венцов по всей стометровой длине и двадцатиметровой ширине с контрфорсами через каждые десять метров. Семиметровые столбы эти были вкопаны в мерзлоту на глубину в два метра. Их нужно было выправить под линейку и забутить камнями. Я — наверху с буссолью на мостках, Тошка внизу с канатом, конец которого я закреплял на верхушке очередного столба. Мы в такт раскачивали столб, встраивая его в ряд по буссоли, потом закрепляли бутровкой. Работа тяжёлая: якутский зной, духота, пыль от забучивания. Тошка снял картуз, вытер им серое от пыли лицо и сказал:

— А идише бурлаекс: мит<sup>14</sup> канатес, мит лопатес, мит <...> твою мать.

В буссоль отчётливо была видна чёрная «Волга» с нулевыми номерами, с некоторого времени ежедневно прибывающая с утра в Октёмцы и целыми днями ошивающаяся от нас в полукилометре. Иногда она на часик-другой перемещалась к сельсовету. Что уж они там в машине делали, наблюдали в бинокль или как-то прослушивали, неизвестно.<sup>15</sup> Тошка отметил: «И на планету найдётся комета».

— У них своя работа, — скучным голосом ответил Игорь, — у нас — своя. Полезная.

Теплица в торце должна была иметь котельное помещение для обогрева. Его делал Игорь. Вернее, замки вязал, а брус «в шконт» пристраивали мы с Тошей и Костей. Замки в торце под топором Игоря блестящие, отполированные, как зеркало. И были один в один.

Тошка откровенно любовался работой Игоря:

— Как называется этот замок?

— Шкатулочный.

— Пряма Эрмитаж какой-то! — восхищённо крутил головой Тошка.

— И чем же ты работаешь? — печально спросил он, глядя на мускулатуру полуобнажённого Игоря.

Наша теплица была П-образной формы. На одной половине работали мы, на другой местные. Они неспешно тюкали топорами, всё время переговариваясь между собой.

Поскольку они работали неукоснительно по 8 часов в день, а мы от света до темна, то вскоре мы нагнали их, и начали продвигаться дальше. Алёша Гладкий послушал-послушал их разговоры меж собой и вдруг сказал что-то по-якутски (может, на тюркском я: не знаю ни того, ни другого), когда отдыхали вместе у костерка. Это очень удивило и заинтересовало якутов (Алёша как-то в 1980-м должен был поехать в Венгрию на симпозиум по матлингвистике и решил прочесть свой доклад на венгерском. Он достал несколько венгерских пластинок с песнями, речами, фольклором и за полгода уже свободно говорил по-мадьярски. Лекции, правда, читал всё же по-русски).

Их бригадир стал расспрашивать у меня, откуда взялся Алексей Всеволодович, почему местный, а работает с нами (кое-что, по-видимому, они уже про нас знали). Я сказал, что он не местный, а профессор Новосибирского университета, учёный-математик, впервые приехал сюда пару недель назад.

— Не может быть! Он говорит, как наши старики, — не поверил бригадир.

С этого момента местные старались контактировать с нами, подходили к нам, когда мы прерывались на отдых, расспрашивали, сами с удовольствием отвечали на наши вопросы и как-то показали нам свою спортивную игру-состязание.

Этот вид спорта по-якутски назывался «Мас тардыгыы» (т. е. «перетягивание палки»). Сегодня он называется «Мас-рестлинг» и включен в российский календарь соревнований.

Два человека садились на землю и упирались друг в друга подошвами ног (ныне, меж подошвами ног противников вставляется доска). В руки им давали метровую палку, и каждый старался вырвать, выкрутить её у соперника. Мы тоже померялись с ними, и хотя каждый из нас был в полтора раза тяжелее своего противника, всегда побеждали якуты: там много хитростей, не так всё было просто. И только Тошка после двух поражений присмотрелся-приспособился и начал всегда выходить победителем. Местные даже привели из Октёмцев какого-то мужичка, знаменитого победителя в этой борьбе, и Тоша его раз пять положил, пока тот не поднялся и, махнув рукой, ушёл молча, не оглядываясь.

Перед отъездом ребят я решил записать Костю на магнитофон. Мы пятером (Костя, Тоша, Игорь, Алёша) сидели у меня дома. Костя пел романсы, бардов, свои песни: на свои стихи под чужую музыку и на чужие стихи под свою музыку. Часа три, не меньше.<sup>16</sup>

Потом зашёл разговор о литературе. Кто-то вспомнил Шолохова и сказал, что в Москве на БЭСМ был проведен частотный анализ «Ти-

хого Дона», который подтвердил, что этот роман написан двумя людьми.

— Да зачем этот частотный анализ. Возьмите книгу, — Тоша взял со стеллажа томик «Тихого Дона».

— Вот сравните. Как написана эта глава и эта, и эта... Два же человека, — Мастер и ремесленник-подражатель. Серый.

Потом я заговорил, что хорошо бы организовать поселение. Где-нибудь на Кольском или на Восточном Саяне (на мой взгляд, это два самых прекрасных места в стране). Только друзья. Где каждый бы занимался любимым делом. Литературой, матлингвистикой, математикой, физикой. Сообща, не надрываясь, и огородик для собственных нужд не в тягость. Я бы, например, охотился, рыбачил в своё удовольствие. Кто-то музицировал бы. Кто-то...

— Сам придумал? — усмехнулся Игорь.

— Сам. Этим летом навеяно.

— Это неправда, — заявил Костя.

— Что неправда?

— Что это ты придумал.

— Как, неправда?! Да я же сейчас вам рассказываю... «Неправда, что это ты придумал. Это я придумал!», — вот эти самые слова сказал мне Исаич, когда я рассказал ему свою идею.

И Костя поведал, что одно время он носился с этой своей идеей, пока она не дошла до Солженицына. Скорее всего через его жену, Наташу Светлову, с которой Костя бывал в лыжных походах. Исаич захотел встретиться. Встреча произошла в заранее оговорённом месте Измайловского парка. Костя вспоминал, что увидел какого-то худенького субтильного мальчишку в синем хлопчатом трико, бегущему прямо к нему. Потом увидел, что у мальчишки темная длинная борода и понял, что это Солженицын. Тот подбежал, поздоровался, сел на поваленное дерево и попросил Костю рассказать о своей идее. И по окончании произнес ту фразу.

Ещё Солженицын поделился мыслью о возрождении ремесел с использованием недорогих современных технических средств — «25-долларовой технологии», — как он говорил. Косте эта мысль, ясное дело, пришлась по душе.

Мы ещё пообсасывали красивую задумку о поселении, полюбовались, помечтали, и я поднялся из-за стола:

— Романтики! Размечтались! Хвостом тя по голове! — вспомнил Стругацких, — а ГБ будет скромно стоять в сторонке и любоваться на вас, толстовцев.

— Да-а, хороший нахес — тоже тухес, — расстроено протянул Тошка, вывернув шутливое еврейское присловье.<sup>17</sup>

Уже после отъезда Тоши в Израиль я был в Москве, и друзья рассказали, что в первом же письме Тоша пожаловался, что «эти злобные израильские агрессоры покусали моего Томика». Томик — Тошина дворняжка, которую он забрал с собой в Израиль. Внезапно я понял, что не могу вспомнить ни одной сцены без своего Джима. И у Тошки было к нему какое-то особое отношение. Уважительное, что-ли. Он, например, первым заметил, что когда мы с Джимом идём по улице, все эти здоровенные псы, способные мгновенно растерзать любого чужака, не то что мелюзгу-фокстерьера, поднимаются из пыли вдоль дороги и, поджав хвосты, убираются восвояси по дворам. А ведь Тоша не знал, что прежде Джиму пришлось потрепать не одного этого лохматого полувывера.

В сентябре моя жена взяла отпуск, сняла для нас комнату в избе в Октёмцах и я перестал ночевать в балке. Днём мы работали, Мила отдыхала, гуляя по лесу, который начинался в ста метрах от наслег. Как-то она собрала человек десять детишек и отправилась по ягоды. Джим, который всегда предугадывал течение жизни, незаметно покинул нашу стройку, расположенную в трёх километрах от наслег и догнал их уже перед лесом.

Мила рассказывала, что очень обрадовалась ему, так как лес был тёмный и страшный. Лиственница, пихта, сосны росли густо и создавали плотную тень. И ягод было море. Джиму вдруг наскучили ягоды, хоть он всегда был не прочь полакомиться черникой прямо с кустиков, и он умчался куда-то вглубь. Через десяток минут раздался грохот хлопающих крыльев, и над Милой с детьми пронеслось стая очень крупных птиц. Мила говорит, что раньше никогда таких громадин не видывала. Скорее всего, это был выводок глухарей. Через полминуты следом появился Джим. Он с укоризной уставился на Милу, постоял секунду-другую и бросился вслед улетевшим. Минут через пять с шумом над головами детей и Милы второй раз пролетело «стадо» громадин, по-видимому, то же самое, но уже в обратном направлении. И вскоре опять показался Джим. На этот раз, во взгляде его Мила прочла явное негодование. Он опять бросился в ту сторону, куда улетел выводок. И через десяток минут снова раздалось громкое хлопанье и над головами опять пронеслись птицы. Следом снова появился Джим. Постоял, уничтожающе глядя на Милу, нижняя челюсть у него дрожала от возмущения (по её словам, если б это можно было перевести на человеческий язык, был бы сплошной мат) и, уже ничего не ожидая от этих горехотников, исчез в кустах. Джим был великолепным охотником. С его помощью я добывал медведей, рысь, лосей, кабаргу. Он имел высшие дипломы по белке, лисе, утке. Как-то, за пару дней я настрелял ондатры на пять шапок, причём нескольких он добыл сам, без моей помощи, ныряя за ними в воду. Много разнообразной птицы было с ним добыто:



куропаток, тетеревов, глухарей, уток. Уток-подранков он отлавливал по камышам и приносил мне. Так же он поступал и с убитыми, независимо от того, убил ли их я или находящиеся в округе охотники. Лесную дичь он отыскивал чутьём по следам-набродам и вспугивал таким образом, что она летела на меня. Мне оставалось только вовремя вскинуть ружьё. И в этом случае, он, наверно, ожидал, что Мила подстрелит одного-другого глухаря. Отсюда и его разочарование. Мила говорила, что ещё несколько дней после этого его поведение было таким, что она испытывала сильное чувство вины.

Джим всегда был доброжелателен к моему окружению, но не терпел панибратства. И когда один из ребятков стал трепать его по голове, он поднялся и отошёл. Но паренёк потянулся и схватил Джима за загривок. Джим даже не зарычал, он приподнял губу и продемонстрировал бело-снежные длиннющие клыки. И показал ещё что-то взглядом. Что-то такое, что больше я их рядом не видел. А с Тошей он любил сидеть рядышком. И тот просто клал ему руку на голову. И когда Тоша выходил ночью из балка к костру, Джим обязательно оказывался рядом с ним. Это мало относится к рассказу, но Джим неизменно присутствует в картинках того лета. Поэтому, может, я и начал воспоминания с него.

И с Фетом тоже. Он непонятным образом был с нами. Они с Тошей в чём-то очень похожи. По верности и предсказуемости реакции, по взрывному характеру, по непосредственности. Ребятки, приехавшие с Борей, парни безалаберные, разбрасывали инструменты, где попало, могли нахамить, если не ожидали отпора. Так вот, если я ворчал на них, выговаривал за инструмент, то Тоша однажды взорвался и заорал: «Это макаки поиграются и бросят там же! Вы же люди, наверное?!». И удивительно — помогло. Однажды расслышал, как один братик негромко сказал другому: «Где бензопила, ты, макака?». Так вот, реакция Фета была бы точно такая же: этот глубоко интеллигентный человек мог взорваться и не обидно, педагогически, не оскорбляя, наорать. И, что главное, с пользой для дела. И в то же время они с Тошей — внешне противоположности. Фет — низенький, толстенький, лысенький, и, хотя весьма подвижный, любит сидеть, за едой молчит. Ну, разве из вежливости что-нибудь ответит. Никогда не видел в его руках ничего, кроме карандаша и книжки. Ну, всё наоборот. И вот надо же, они у меня в памяти совмещаются совершенно. Потому, вероятно, Фет возник в начале рассказа.

Незадолго до отъезда Тоша получил наследство из США от родного дяди Якова и отправился с чеками в «Берёзку», где, к изумлению продавщиц, набрал полный рюкзак одного спиртного. Поздно вечером пришёл прощаться к Хохлушкиным с бутылкой шотландского виски «Белая лошадь». Игорь быстро опьянел и отправился спать, а Тоша прокомментировал:



— Эту бутылку в Шотландии целая семья пила бы неделю. И прослыла бы алкоголиками.

Потом попросил Фаю:

— Посиди со мной. Может, больше не увидимся.

Как-то раз Тоша позвонил друзьям в Москву. Связь всё время прерывалась, в моменты восстановления слышно было, как Тоша ругается там, у себя, с телефонистками. Когда связь восстановилась, Тоша сказал:

— Ты думаешь, это ваши жиды партачат? Это наши жиды партачат!

Тогда же мне привезли из Москвы магнитофонную кассету — Тоша читал свои стихи и переводы. Я иногда прослушиваю эту запись. Монотонный глуховато-высокий баритон. Вначале — кажущаяся невыразительность, но вот чтение завораживает, втягивает, и как-то незаметно образы становятся зримыми.

Не пугает смертная истома,  
Если горшие изведал боли.  
Жаль мне тех, кто умирает дома.  
Счастлив тот, кто умирает в поле...

В эти минуты мне всегда вспоминается один эпизод. Якутская белая ночь. Она светла, как день, но тихо — ни шороха, ни ветерка. Мы сидим с Тошей друг против друга, меж нами потухающий костерок. Уткнувшись в него глазами, тихо беседуем, чтобы не мешать спящим в балке. Я рассказывал о нескольких известных мне тайных поселениях старообрядцев среди сургутских болот, на Алтае (сам встречал в районе Мультинских озёр), в Восточных Саянах (поведал проводник — молодой тофалар<sup>18</sup> Кеха-Иннокентий). Сказал, что если припечёт, сбегу туда. Это лучше, чем лагерь или психушка. Напряжённый Тошин голос заставил поднять глаза от костра. Его лицо стало даже серым, так, что выступили веснушки:

— Нет! Только не психушка, — и совсем тихо процитировал:

Не дай мне Бог сойти с ума,  
Уж лучше посох да сума.

Думаю, гэбэшники намекнули ему про психушку, и это было последней каплей, заставившей Тошу покинуть родину.

*Рига, Латвия  
Июнь-сентябрь 2007 г.*

## ПРИЛОЖЕНИЕ

*Анатолий Якобсон***Два письма Лидии Чуковской**

28/VII-72

Дорогая Лидия Корнеевна!

Живу я вот как... Встаем ранехонько, наскоро пьем чай (тому, кто привык подробно умываться, чистить зубы, а иногда и бриться, трудновато управиться) и марш-марш на работу. Там проводим часов 14 (из коих полтора часа уходит на еду). Возвращаемся в 12 ночи. Так каждый день. Без выходных. Ложимся и встаем одновременно, койки вплотную друг к другу, как нары.

Известно, что славный город Якутск стоит на прекрасной реке Лене (острог был заложен здесь еще в 1632 г.). Так вот, реки я не видел, хотя живу здесь уже три недели. Само собой, ни разу не открывал книгу.

От всего от этого могло бы быть куда как тошно. Но мне не тошно. Мне хорошо (вот только спать бы немного побольше). Дело в том, что в нашей ватаге отменные подобрались человеки, и это определяет обстановку работы и всю атмосферу существования. Дышится легко.

Закончили капитальный ремонт столовой в самом Якутске и завтра чуть свет перебираемся в совхоз (50 км. от города, на самом берегу Лены); там будем строить зимнюю теплицу. Это до самого сентября. Далее — в туманной перспективе — не то школа, не то коровник. Останусь ли я на осень — там видно будет; скорее всего — нет.

Работа была (и будет, наверное) всякая: плотницкая, кровельная, малярная, штукатурная и т. д. Я ничего не умею, но, слава Богу, всегда есть нужда в подсобной рабочей силе, так что я при деле, не связан своей безрукостью — тем более при доброжелательном отношении окружающих.

Напишите о себе, Лидия Корнеевна. Не забываю, что сейчас лето и думаю о Вашем здоровье. Соскучился очень...

Целую. Толя

Мой адрес: Якутская АССР, Орджоникидзенский р-н, Октёмцы, мне до востребования.

15/VIII-72

Дорогая Лидия Корнеевна!

Неделю назад получил Ваше письмо и только сегодня улучил минутку ответить. Дело в том, что мы перешли на шестнадцатичасовой рабочий день. Начинаем в 6 утра, а кончаем в 10 вечера. Без выходных. Едва успеваю утром умыться: замешкаешься — не поешь, а это, оказывается, необходимо! В 10 здесь совсем темно, электричества в нашей избушке нет (я в деревне сейчас) — как писать? Гонка в работе адская, но здесь есть свой расчет: в определенный срок сдать один объект и перекинуться на другой; за это, за скорость, собственно, и платят (так называемая аккордно-премиальная система оплаты).

Письмо Ваше — большая радость для меня. Худо только, что у Вас болит и то, и сё, и что потеряли драгоценную лупу (может, нашлась?). Жаль беднягу Степанова. А я как раз недавно читал одну его работу о Хлебникове (в Москве, разумеется). Да, счастье, что он сначала умер, а потом утонул. Я в жизни тонул раза три — это очень неприятно (по ассоциации: в Лене вода ледяная в любую жару, но стараюсь купаться каждый день, это лучшая страховка от простуды. Спим мы почти на воздухе, а ночи здесь холодные).

Вы заблуждаетесь, полагая, что описанный мною в прошлом письме образ существования есть лишь схема, пунктир моей нынешней жизни. Это вся жизнь. Вся как есть. Когда работаешь так, ни о чем не думаешь, решительно ни о чем, а только о самой работе: чтобы бревно легло как следует, топор попал куда надо, и т. д. и т. п. Лишь перед сном на миг вспоминаешь о близких — и то если не слишком истязают комары. Вспомнишь, заскулишь про себя и уснешь. Но сейчас я вовсе не скулю, не сетую ни на что: все это пустяки, если продолжается недолго и если ты свободен.

Ваши опасения, что я надорву сердце, напрасны. В Москве у меня сплошь и рядом были спазмы сердечные, а здесь — ни разу. Нет никакого сердца. Есть спина, руки, ноги — это сильно ощущается после работы и по утрам. Заметьте, что у меня странноватый, измененный почерк. Это потому, что пальцы плохо сгибаются и с трудом держат ручку; они сгибаются ровно настолько, насколько это требуется для топора и лопаты.

*Не овладевши топором,  
Он перестал владеть пером...*

Вернусь в конце августа.  
Целую. Толя.  
Писать мне уже нет смысла.

- <sup>1</sup> Леонид Абрамович Лозовский (р. 1938) — геофизик, закончил Днепропетровский горный институт. Занимался изысканиями проектируемых трасс железных дорог и автодорог Сибири, поисками и разведкой полезных ископаемых, геофизическими изысканиями для прогноза землетрясений, конструированием геофизической аппаратуры и взрывозащитных средств для двигателей ракет на жидком топливе. Работал в научных институтах СО АН СССР в должностях от старшего инженера до старшего научного сотрудника; был начальником отряда в геолого-геофизических организациях, слесарем, каменщиком, отделочником 5-го разряда на кирпичных заводах и в строительных организациях. Ведущий инженер лаборатории ядерной геофизики Института геологии и геофизики СО АН, откуда был вынужден уйти в конце 1968 г. Автор десятка патентов РФ, более двух десятков авторских свидетельств, около 30 публикаций и выступлений на Всесоюзных и международных симпозиумах. Живет в Латвии. См. Интернет-сайт Л. Лозовского: «ДРУЗЬЯ, СОБАКИ» <http://ll.pit.lv/kazyr/stories/index.htm>
- <sup>2</sup> Абрам Ильич Фет (1924–30.07.2007) — доктор физико-математических наук. Работал в Институте математики СО АН СССР в Новосибирске, преподавал в Томском и Новосибирском университетах. Специалист в области топологии, ее приложений к геометрии и анализу, физики симметрии и теории элементарных частиц. Участвовал в конференциях Хельсинкской группы и ее трудах. Переводчик ряда книг по истории, психологии, экономике и социологии. В частности, под псевдонимом А. И. Фёдоров перевёл на русский язык важнейшие работы нобелевского лауреата Конрада Лоренца. Подробно об А. И. Фете см. на интернет-сайте <http://www.modernproblems.org.ru/inellig/aifet>
- <sup>3</sup> Алексей Всеволодович Гладкий (р. 1928) — математик, лингвист. В 1958–1972 гг. работал в Институте математики СО АН СССР, в 1962–1971 гг. по совместительству преподавал в Новосибирском университете. С 1972 г. был профессором Калининского (ныне Тверского) университета, откуда в 1983 г. был уволен за неблагонадежность. В 1985–1990 гг. был профессором Шуйского педагогического института (Ивановская обл.), в 1991–2000 гг. — профессор РГУ (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва). С октября 2007 г. — ведущий научный сотрудник Московского института открытого образования.
- <sup>4</sup> Письмо составлено в 1967 г., тогда же собирались подписи. Первоначально письмо подписало около 500 человек. Только я собрал более 200 подписей, в том числе, на своей прежней работе в Сибгипротрансе — проектно-изыскательском институте железных дорог (Серёжка Андреев пошутил: «Всех баб своих собрал?»). Не станешь объяснять, что в этом институте вчетверо больше работало женщин, чем мужчин: «И половины не набрал»). Письмо, естественно, стало известно в КГБ и через стукачей, начальство, поползли слухи о готовящейся расправе с подписантами (увольнения, выселения из квартир, аресты). Организаторы письма довели до сведения подписавших, что подписи уничтожены, но желающие могут поставить свою подпись вторично. И вторые подписи, которых набралось уже только 46, были поставлены в 1968 году. Потому «письмо 46-ти» датируется 1968 г.
- <sup>5</sup> Игорь Николаевич Хохлушкин (1927–2002). Арестован 18-ти лет, будучи курсантом военного экономического училища. Ст. 58-10. Ничего не подписал. Отсюда и мягкий приговор (5+3). Следы от плоскогобцев на руках и от гашения окурков на ногах остались до конца жизни. И ещё — ямка в груди от лопаты на лагерных работах: сублитность

- и голод заставляли надавливать на черенок лопаты грудью. Окончил МГЭИ, оставили в аспирантуре, в 1962 г. уехал в Новосибирский Академгородок — нужна была квартира, жена на сносях. Младший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО АН. Организовал «письмо 46-ти». Под угрозой закрытия отдела вынужден был уволиться и уехать в Москву. Научный сотрудник ЦЭМИ в Москве. Трудился по специальности недолго, за участие в «Хронике» и связь с Солженицыным был уволен. С 1970 г. работал реставратором мебели в театральном музее им. Бахрушина.
- <sup>6</sup> С недавнего времени у меня имеются протоколы закрытых партсобраний и собраний общественности ИГиГ — института, где я тогда работал, см. <http://ll.pit.lv/kazyr/stories/ds04.htm>.
- <sup>7</sup> Норными называют такс и фокстерьеров, которых вывели для охоты в звериных норах на лисиц, барсуков, — енотовидных собак. Жестокая эта охота — в барсучьих норах они часто гибнут, когда барсук, зверь могучий, с мощными челюстями, закапывает их в отнорках, или, ложась на спину, даёт схватить себя за горло и одним ударом задних лап распарывает им брюхо.
- <sup>8</sup> Под псевдонимом А. И. Фёдоров Фет перевел, в частности, книги: Конрад Лоренц «Восемь смертных грехов цивилизованного человека», «Оборотная сторона зеркала» и «Замок» Экзюпери, — под таким, во всяком случае, названием последняя книга ушла в самиздат. См. также А. И. Фет. «Личный взгляд на русскую литературу» на интернет сайте <http://www.modernproblems.org.ru/inlellig/ruslit>
- <sup>9</sup> Борис Юрьевич Найдорф (1938–1998) — преподаватель физики в ФМШ Новосибирска. После «письма 46-ти» был уволен. В 1972–73 гг. привлекался к допросам за распространение «Хроники текущих событий». Эмигрировал в Израиль.
- <sup>10</sup> Константин Иосифович Бабицкий (1929–1993) — лингвист. Участник правозащитного движения. В 1968 г. осужден на три года ссылки за участие в демонстрации на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию. Почётный гражданин Праги, награждён высшим орденом Чехии (1992). Композитор, поэт, автор и исполнитель песен. См. интернет-сайт <http://www.sch57.msk.ru/TM/babitsky/>
- <sup>11</sup> Александр Павлович Лавут (р. 1929) — математик. Участник правозащитного движения. В 1980 г. осужден по ст. 190-1 на три года лагерей общего режима и пять лет ссылки за редактирование крымско-татарского раздела «Хроники текущих событий» (начиная с 31-го выпуска в мае 1974 г., приуроченного к 30-летию депортации крымскотатарского народа, вплоть до своего ареста). В лагере был осуждён повторно на пять лет ссылки. Отбывал ссылку под Магаданом и в Чумикане. Сопредседатель Московского Мемориала. Сын Павла Ильича Лавута — импрессиарио В. Маяковского.
- <sup>12</sup> Кафар (safari — фр.) — тоска, хандра, сплин. Жаргон французского Иностранного Легиона, — расстройство, наступающее вдаль от родины, в условиях неблагоприятного климата и тяжелой службы.
- <sup>13</sup> ОНЧ — очень низкие частоты, — герцы, доли герца.
- <sup>14</sup> Мит (идиш) — союз «с».
- <sup>15</sup> Свидетельствует Валерий Иванович Хвостенко: «В 1972 г., в самый пик брежневских репрессий, я познакомился с группой московских диссидентов. Таня Великанова, Тоша Якобсон, Саша Лавут, Костя Бабицкий, которого раньше, в 1968 г., арестовывали на Красной площади, — все они разом приехали в 1972 г. в Якутию на «шабашку» (ошибка: Т. Великанова не приезжала — прим. Л. Лозовского). Жить в столице было

сложно, на работу никого из них не брали — все были «под колпаком». Вот и приехали заработать. Московские гэбэшники тогда переполошились: с чего это вдруг группа активистов-диссидентов поехала в Якутию? Не иначе съезд у них там. Жили они у меня на квартире. (В том числе и у Хвостенко, у меня и в других домах. В моей маленькой десятиметровой однокомнатной квартирке не смогли все поместиться — прим. *Л. Лозовского*). Это было кино! За ними неусыпно следили, ходили по пятам, снимали на пленку, просверлили потолки и стены у меня в квартире. Я был просто покорен этими людьми. В Якутии добывают алмазы, так вот они оказались просто пригоршней алмазов. С некоторыми до сей поры сохранились дружеские отношения. После их отъезда за меня взялся КГБ. Они решили, что я очень подходящая кандидатура для внедрения в эту среду: с одной стороны — человек непричастный, с другой — все же вхожий. Целый год меня терзали. В столице гэбэшники покруче, там в то время было колоссальное поле нервного напряжения. Но то, что в столице — трагедия, в провинции превратилось в фарс. Ничего у них не получилось со мной, не сумели даже из института выгнать». (Даже не знал, что Валеру «кололи» в ГБ. Молодец, что выстоял — прим. *Л. Лозовского*). См. «Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте», Г. Васильев, интервью с В.И. Хвостенко, «Красноярский комсомолец», 26.08.95 г., <http://www.stolby.ru/Mat/1Virezka/1995/19950826.asp>

<sup>16</sup> Записи сохранились. Эту песню «Цыганки» Кости Бабицкого на стихи Юлия Даниэля, отчаянно перевирая, любил мурлыкать Тоша. См. интернет-сайт <http://www.sch57.msk.ru/TM/babitsky/>

<sup>17</sup> «A gute tuhés — a groise nahés» (идиш): «Хорошая задница — большая удача!»

<sup>18</sup> Тофалары — малочисленный народ (около 3000 человек в 1960-х гг.), проживающий в долине реки Гутара на Восточном Саяне. Занимаются охотой, разведением оленей и серебристо-чёрных лис.

**Александр Черкасов<sup>1</sup>**

## **Почва и судьба Анатолия Якобсона<sup>2</sup>**

*«Трагедия не только в перевесе зла  
над добром, но и в примиренности  
добра со своим бессилием»*

*Анатолий Якобсон*

Тридцатого апреля стоило бы отметить всамделишный «день печати»: исполняется сорок лет со дня выхода первого номера «Хроники текущих событий». Выходивший пятнадцать лет неподцензурный бюллетень по точности и достоверности мог бы послужить образцом для современных масс-медиа. Впрочем, об истории «Хроники»<sup>3</sup> можно было немало узнать в последние дни — «разворот»<sup>4</sup> и пресс-конференция<sup>5</sup> в «Новой газете», «круглый стол» и опять-таки пресс-конференция в «Новом времени». Слышны голоса редакторов «Хроники» — Натальи Горбаневской и Сергея Ковалёва.

Но я хочу сказать несколько слов об одном из тех, кого сегодня нет. Тридцатого апреля 1968-го года, в день выхода первого выпуска «Хроники», ему исполнилось тридцать три года. Человек, блиставший на любом поприще, — учитель литературы в столичной 2-й математической школе, литературовед, переводчик. После ареста в декабре 1969-го Натальи Горбаневской он занял её место и с начала 1970-го стал «выпускающим редактором» «Хроники». Два года спустя, в начале 1972-го, стал отходить от «хроникальных» дел. А в конце года оказался в положении заложника..

Комитет государственной безопасности дал знать, что если выпуск «Хроники» не будет прекращен, то следующим арестован будет не кто-то из «хроникёров», но человек, к изданию уже не причастный. Удар был нанесён в чувствительное место: люди чести, не склонные поддаваться угрозам в свой адрес, ещё менее склонны быть свободными за чужой счёт. Следователь КГБ назвал и имя заложника: Анатолий Александрович Якобсон.

В начале 1973-го года его судьбу и судьбу «Хроники» решали без его участия. Собрался самый тесный круг... Вот что писал об Анатолии Якобсоне сменивший его на посту редактора «Хроники» Сергей Адамович Ковалёв<sup>6</sup>:

*«Мне никогда в жизни не приходилось наблюдать извержение вулкана, но если когда-нибудь придется, то, подозреваю, не увижу ничего нового. Тошка все время жил в состоянии какого-то непрерывного процес-*

са взрывного саморасточения — таланта, обаяния, блестящего (хотя не всегда пригодного для салонов) остроумия, любви к друзьям, женщинам, стихам. Я не знаю другого человека, который настолько широко знал и глубоко чувствовал поэзию, как Якобсон. Это же относилось и к истории, — в особенности — к русской поэзии и русской истории.

В них он просто жил, столь же осязаемо, как иные живут в своем материальном окружении. Сказанное не означает, что Якобсон был исключительно человеком эмоций...его мысль литературоведа и историка всегда была ясной, сильной и неотразимой, как удар. Якобсон, кстати, подобно мне, был в молодости боксером и даже чемпионом.

Якобсон был одним из лучших публицистов Самиздата. Не знаю, кого с ним рядом можно поставить — может быть, Чуковскую или Солженицына. Текстов, подписанных его именем, немного, но любой делает честь его перу. Гораздо больше текстов написано при его решающем участии. Его таланту и темпераменту было тесновато в строгих рамках информационных сообщений и правового анализа... Его «взрослые» литературоведческие работы выросли из цикла лекций для школьников, прочитанных им в 1965–1968-м годах, — на эти лекции сбегалось пол-Москвы».

Об этих-то работах и пойдёт речь.

\* \* \*

Эссе «О романтической идеологии»<sup>7</sup> Якобсон начал просто: «Хочу проследить одну тенденцию в советской поэзии 20-х годов и показать не столько литературное, сколько историческое значение этой тенденции».

На примере написанных в 1920-е годы стихов Джека Алтаузена, Михаила Голодного, Михаила Светлова, Владимира Маяковского, Николая Тихонова, Владимира Луговского, Эдуарда Багрицкого и более поздних (Павла Антокольского) Якобсон прослеживает рождение культа силы, культа насилия, подчинения ему его и соучастия в нем («...если он скажет: «Солги!» — солги, если он скажет «Убей!» — убей»), рождение культа «сверхчеловеков»:

«В 20-е годы поэты работали не за страх, а за совесть. Точнее сказать, отчуждение совести благополучно совмещалось с искренностью убеждений. Это была искренняя, а потому настоящая литература, и тем заразительней она была.

Да не будет мне приписана абсурдная мысль о том, что причиной кровавой оргии 30-х годов и следующих десятилетий явилась романтическая поэзия 20-х годов. Причины были другие. Стихи не делают историю. Палачи не читают стихов...

Но для террора необходима была — в числе прочих — определенная психологическая предпосылка, ... общественное сознание, воспитанное



в духе отчуждения, преклонения, обожания кумиров-идей и кумиров-людей. Наука обожания одновременно была и наукой ненависти. Казенная, монополярная идеология по всем каналам устремлялась к сознанию масс, внедряя дух идолопоклонства. Одним из таких каналов была художественная литература».

И Якобсон ставит вопрос: насколько неизбежно было подобное «отчуждение совести»?

*«Существует отчуждение личности, и существует также отчуждение идей. Идеи — философские, религиозные, социальные, нравственные, художественные — носят на себе в момент рождения сильнейший отпечаток личности творца, человека, породившего данную идею. Но в процессе исторического развития, заимствования, наследования идеи утрачивают характер первоисточника, приобретая черты своих новых обладателей... Идеи, отчуждаясь, сплошь и рядом превращаются в собственную противоположность. Они работают в направлении, прямо противоположном замыслу их создателей.»*

Здесь речь уже определено не о литературе и не о прошлом. Якобсон размышляет о том, что класть в основание будущего.

*«...в любом случае это должна быть идеология, не оставляющая лазеек для кровожадной нечисти, не дающая власти нелюдям над людьми. Идеология, которой не смог бы воспользоваться ни один Джугашвили, ни один Гитлер, ни один Мао. Разумеется, никакое мировоззрение само по себе не вывезет. У людей — свободная воля, за человеком остается выбор. Здесь же речь идет о том, что должно быть исключено из выбора.»*

Прерву поток цитат: надеюсь, читатель сам обратится к первоисточнику. Якобсон свою альтернативу, своё «иное» не то что находит — он с самого начала ему следует: не зря же в эпитафии эссе вынесена цитата из «Четвёртой прозы» Мандельштама:

*«Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские синие ночи, от которого, как наваяние, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полосьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:...не расстреливал несчастных по темницам...»*

Для Якобсона этот поиск и выбор был не только, да и не столько литературоведческий. А через него этот выбор лёг в начала, в основание отечественного диссидентского движения.

Не могу не процитировать сообщение из вышедшего десять лет спустя, 14 марта 1978-го года, 48-го выпуска «Хроники текущих событий»:

*«В Центральном доме литераторов  
21 декабря 1977 г. секция критики Московского отделения Союза  
советских писателей провела в конференц-зале Центрального дома*

литераторов дискуссию на тему «Классика и мы». Дискуссия шла с 16 до 23 часов при переполненном зале и была, по отзывам присутствовавших, беспрецедентной в литературной жизни послевоенных лет — по откровенности, с которой выступавшие высказывали свои литературные и иные мнения.

Тон дискуссии был задан выступлениями критиков и литературоведов Палиевского, Куняева, Кожина [...], принадлежащих к группировкам, характерными чертами которых являются резкая враждебность к «модернизму» и упование на национальные традиции русской культуры.

Поэт Станислав Куняев заявил, что считает неправомерным включение в классическую традицию поэзии Э. Багрицкого. По мнению Куняева, Багрицкий полностью порвал с гуманизмом и народностью русской классики. Его поэма «Дума про Опанаса» — антикрестьянская и антинародная, а главный положительный герой этой поэмы, комиссар продотряда Коган, — насильник и грабитель. [...] В поэзии Багрицкого, продолжал Куняев, нет ни трагичности, ни очищения, а только злоба. Корни этого он видит во враждебности поэта к народному быту, в том числе — и к собственным истокам, т. е. к быту еврейских местечек его детства, о которых он пишет с ненавистью (стихотворение «Происхождение»).

Антигуманистическому кредо Багрицкого («Но если он (век) скажет: «Солги», — солги. Но если он скажет: «Убей», — убей.») Куняев противопоставляет иной нравственный кодекс, носителем которого был Осип Мандельштам, продолживший русскую гуманистическую позицию («Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови своей».)»

Не правда ли, узнаваемо? И здесь тоже понятно, что речь идёт не только о литературе и не столько о прошлом... Отсутствуют, правда, ссылки на источник — вышедший в нью-йоркском Издательстве имени Чехова пятью годами ранее, в 1973-м, сборник «Конец трагедии», в который вошло эссе «О романтической идеологии». Впрочем, тексты и выступления того же рода повторялись и десять, и пятнадцать лет спустя...

Понимание опасности отчуждения идеи было заложено в самом начале пути, в основание диссидентского движения. Вопрос лишь в том, чтобы проверять себя своим же собственным словом.

Не менее важен для понимания мотивов и образа действий Анатолия Якобсона другой его текст — «Два решения. Еще раз о 66-м сонете»<sup>8</sup>, где он сравнивает переводы Шекспира, выполненные Борисом Пастернаком и Самуилом Маршаком. Переводы Маршака признаны лучшими, но Якобсон спорит с очевидным:

«Когда требуется пересоздать поэзию как таковую, все установки, связанные с поэтикой оригинала, представляют собой лишь техническую и второстепенную сторону дела. А главное здесь — приобщиться тому строю чувств, которым продиктовано оригинальное произведение».

У Маршака: «Высокий стиль, торжественные слова, величаявая приподнятость речи... Все пронизано благородным негодованием, но не хватает непосредственности чувства... У Шекспира дело обстоит не совсем так».

Совершенно иначе, отмечает Яacobсон, построен перевод Пастернака: «Слова — безыскусственно-простые, разговорные до приземленности — создают естественную интонацию, лишённую литературности, но полную подлинного чувства. Это иной ключ перевода, иная человеческая позиция поэта. Не громкий пафос обличения, а тихо произносимая жалоба до смерти уставшего, измученного жизнью человека. Именно таким настроением и проникнут 66-й сонет...»

Сравним последние двустушия обоих переводов — итог, эмоционально-смысловый концентрат произведения. У Маршака: «Все мерзостно, что вижу я вокруг.../Но как тебя покинуть, милый друг!» Эти строки не сильней, а слабей прочих. [...] Шекспир предпоследней строкой почти повторяет первую. [...] Пастернак воспроизвел эту особенность 66-го сонета неукоснительно:

«Измучась всем, не стал бы жить и дня,  
Да другу трудно будет без меня».

Это — пронзительное двустушие, поэтическое могущество которого не нуждается ни в каких комментариях. Окончен сонет, и открывается безграничное свободное пространство, в которое мы вступаем по следам Шекспира».

Именно так вступал в свободное пространство Анатолий Яacobсон. Именно такой канон задал он своими «правозащитными» текстами.

Не пафос, а простые слова. Взгляд не со стороны, не с горних высей, а изнутри. Ощущение зла не как внешней, незнамо откуда привнесённой довлеющей силы — «трагедия не только в перевесе зла над добром, но и в примиренности добра со своим бессилием». И едва ли не главный побудительный мотив: «другу трудно будет без меня».

\* \* \*

Теперь, в начале 1973-го, друзья решали его судьбу. «Отвлечённый взгляд сверху», по признанию Ковалева, не получался:

«Нужно было реально представить себе Тошку в лагере. Как он, в ответ на первую же мерзость, профессионально нокаутирует

*какого-нибудь офицера из охраны, со всеми вытекающими последствиями. Легко сказать, что отказываешься решать судьбу другого человека за него; но если этот другой — твой близкий друг, и если отказ от решения — это уже решение?»*

*Я не помню тогдашних наших аргументов и соображений, и быть может, в том, о чем я сейчас пишу, есть определенная доля моих сегодняшних сомнений и раздумий. Но, так или иначе, решение было принято такое: с очередным выпуском повременить».*

\* \* \*

В августе 1973-го Анатолий Якобсон с семьёй выехал из Советского Союза в Израиль. Проводы проходили сразу в двух квартирах — в якобсоновской и у жившего двумя этажами ниже Юрия Карякина.

На первый взгляд, в эмиграции его ожидала новая жизнь:

*Якобсона, члена Международного Пен-клуба, автора книги о Блоке, ожидала кафедра на факультете славистики Иерусалимского университета. Он работал на этой кафедре, писал статьи о русской поэзии. Потом впадал в черную депрессию, бросал все и уходил из университета — грузчиком на мукомольню (физически он был здоров как бык). Опять возвращался в университет, снова бросал его и снова возвращался. Писал друзьям в Россию письма, то бодрые, то отчаянные. Женился на молоденькой девушке, писал, что счастлив безумно, воспрял духом, строил планы...*

А 28 сентября 1978 г. Анатолий Якобсон покончил с собой. Повесился в подвале. Не выдержал...

Сергей Ковалев до сего дня не уверен в правильности их решения — спасти друга, избавив от лагерного срока:

*«Никто, конечно, не может теперь в точности ответить на этот вопрос. Но мне кажется, что в лагере Тошка выжил бы: на накале противостояния, на спортивной злости, на чувстве солидарности. Он был боец и в экстремальной ситуации не допустил бы себя до депрессии... Разумеется, он, с его темпераментом, не вылезал бы из карцеров; очень вероятно, что он схлопотал бы новый срок и, может быть, не один. И все же, сейчас он, может быть, был бы жив».*

Вспоминая сегодня «Хронику», вспомним Анатолия Якобсона. Сорок лет назад ему исполнилось тридцать три. «Хроника» проросла на русской почве, разрыва с которой Якобсон пережить не смог. Об этом говорит и Сергей Ковалёв:

*«Когда говорят о диссидентстве как способе самореализации для неудачников и бездарностей, я вспоминаю Тошку Якобсона, его великолепный талант, человеческий и профессиональный. Когда говорят о диссидентах как людях, равнодушных или враждебных России, я опять же вспоминаю Тошкину почти физиологическую связь с русской культурой. Разрыв или ослабление этой связи, невозможность слышать вокруг себя русскую речь, и привели его — я в этом уверен — к гибели.»*

- <sup>1</sup> Александр Черкасов — сотрудник Правозащитного Центра «Мемориал» (Москва), член Правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», участник многочисленных «полевых миссий» «Мемориала» в зоне вооруженного конфликта на Северном Кавказе, автор и соавтор докладов и книг о соблюдении прав человека в Чечне.
- <sup>2</sup> Опубликовано: «Ежедневный журнал», 30 апреля 2008, <http://ej.ru/?a=note&id=8020>
- <sup>3</sup> «Хроника текущих событий» — машинописный информационный бюллетень правозащитников, выпускавшийся ими в течение 15 лет, с 1968 по 1983 гг. Всего за это время вышло 63 выпуска «Хроники», см. <http://www.memo.ru/history/diss/chr/>
- <sup>4</sup> «Информация антисоветского клеветнического журнала в основном соответствует действительности», Новая Газета, №29 от 24 апреля 2008, <http://www.novayagazeta.ru/data/2008/29/18.html>
- <sup>5</sup> Он-лайн конференция Натальи Горбаневской и Александра Даниэля в «Новой газете» 25 апреля 2008 г., <http://www.novayagazeta.ru/st/online/259740/>
- <sup>6</sup> Сергей Ковалёв, «Полет белой вороны» Sergei Kowaljov, Der Flug des weissen Raben/Von Sibirien nach Tschetschenien: Eine lebensreise. — Rowohlt/Berlin, 1997.
- <sup>7</sup> Эссе «О романтической идеологии» написано на основе лекции, прочитанной в 1968-м г. ученикам 2-й московской школы. Впервые опубликовано в книге «Конец трагедии». Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1973, с. 199. Перепечатано в журнале «Новый Мир», Москва, 1989, №4, с. 231. См. также сборник «Почва и судьба». Вильнюс-Москва, 1992, с. 159. <http://www.antho.net/library/yacobson/texts/rom-ideologia.html>
- <sup>8</sup> «Два решения. Еще раз о 66-м сонете», Мастерство перевода, 1966. Москва, «Советский писатель», 1968. <http://www.antho.net/library/yacobson/texts/ab66s.html>

*Владимир Тольц*<sup>1</sup>

## Памяти Анатолия Якобсона<sup>2</sup>

**Владимир Тольц:** 30 лет назад ушел из жизни Анатолий Александрович Якобсон — талантливый литературовед и педагог, один из самых ярких представителей плеяды «шестидесятников», оказавшихся ядром правозащитного инакомыслия в Советском Союзе, один из тех, кто был редактором легендарной ныне «Хроники текущих событий». Его памяти мы и посвящаем сегодняшний выпуск программы «Разница во времени».

Лет 15-20 назад наступила пора адаптации массовой культурой запретной ранее и как бы несуществовавшей истории советского инакомыслия 30-40-летней давности. Это освоение осуществляется не только за счет введения в оборот неизвестных ранее документов и свидетельств, но и посредством частичного забвения ряда персонажей и событий прошлого или их фальсификации. («Шестидесятниками», к примеру, давно уже объявляют себя все, вплоть до случайных собутыльников людей, таковыми общественно числимых; «правозащитником» 70-х именует себя даже известный мне генерал КГБ; количество демонстрантов и протестантов 68-го тоже растет — даже по Радио Свобода один из бывших коммунистов с азартом рассказывает, как в августе 68-го демонстрировал с чехословацким флагом перед одесским обкомом; вот только никто — ни обком, ни даже мент, обком стерегущий, почему-то этого не заметили...). И при этом отодвигаются в тень забвения подлинные герои того времени, одним из которых несомненно являлся Анатолий Якобсон.

Друг Якобсона, живущий ныне в Америке советский правозащитник и политзаключенный Павел Литвинов, говорит мне:

**Павел Литвинов:** Слово «шестидесятники» появилось гораздо позже. Мы так себя, конечно не называли. Но я не вижу в этом никакого противоречия. Я никогда литературоведом не был, я занимался физикой, преподавал, но самоощущение у нас было практически одинаковым. То есть это было именно ощущение нравственного сопротивления, и это нравственное сопротивление корнями уходило, главное, в Толины занятия русской литературой. Потому что Толя всей своей деятельностью, жизнью, преподаванием был связан с русской классической литературой и нравственным импульсом, который в этой литературе был заложен и всегда был ее частью. Это то, что Пушкин называл «милостью к павшим», что Есенин называл «не расстреливал несчастных по темницам», одно и то же. Это то, что советская

власть от нас не сумела отнять, — ощущение нравственного закона и защиты маленького человека и вообще отдельного человека от государства.

**Владимир Тольц:** В интервью, которое Якобсон дал РС в сентябре 1975 г., Анатолий так рассказывал о себе:

**Анатолий Якобсон:** В сентябре 1965 г. арестовали моих друзей — писателя Юлия Даниэля и Андрея Синявского. В начале следующего 1966 г. во время судебного процесса я выступил в их защиту. До этого никакой политической деятельностью я не занимался. Да и дальнейшие мои поступки, и все, что я делал, я не считаю политической деятельностью. Я бы скорее назвал ее гражданской или человеческой. На мой взгляд, арестовывать людей, убивать людей за их убеждения — это политика, а защищать тех же людей — совсем не политика. По признанию, по всему, на что я способен, я не только не политический, а даже не общественный деятель. Я литератор, литературный критик. Я всегда хотел этим, только этим заниматься. Тем не менее, я был вынужден, я был поставлен на путь, который именуется демократическим движением. Я вообще не люблю эти слова — «демократическое движение». По существу, это нравственное сопротивление. Дело не в словах, не в названиях, просто я стал другом людей, которыми горжусь, которыми должны бы гордиться все у меня на родине, — Петра Григорьевича Григоренко, Владимира Буковского, Татьяны Великановой, Сергея Ковалева, Татьяны Ходорович, других замечательных людей. После выступления в защиту Даниэля и Синявского я написал много открытых писем в защиту тех, кого бросали в тюрьмы и психушки за их убеждения, за их попытки защищать права человека. Например, я выступил с письмом о демонстрации протеста, которая состоялась 25 августа 1968 г. на Красной площади по поводу оккупации Чехословакии советскими войсками. Наконец, я был одним из авторов и редакторов «Хроники текущих событий».

**Владимир Тольц:** Наш общий с Якобсоном друг и тоже один из редакторов «Хроники» Сергей Ковалев вспоминает:

**Сергей Ковалев:** Мы с Толей почти не взаимодействовали, кроме двух-трех замечаний, которые я предложил «Хронике», не состоя еще ее активным участником. Я стал редактором уже когда он отошел от «Хроники» и не имел к ней отношения. У нас не принято было знать, кто ее редактирует, пока ты сам этого не делаешь. Принято было не интересоваться этим. Но Толину руку очень легко было узнавать, он был писатель яркий, точный и сочный, иногда довольно-таки эмоциональный, но при этом никогда не грешивший против правды. Вот уж был человек, который даже ради самого красного словца не только что отца, никого не продаст. И это была его замечательная черта характера и стиля литературного.



**Владимир Тольц:** А вот что вспоминает об Анатолии Якобсоне сегодня известный правозащитник Владимир Буковский.

**Владимир Буковский:** Я знал его очень немного, но только в 1970-1971 гг., когда был между двумя посадками, как и большинство из всех наших коллег по правозащитному движению. Когда я сел, движения еще как такового не было, а когда вышел в 1970 г., оно уже было в полной силе. А потом опять сел. Толя был такой неистовый человек, очень принципиальный, эмоциональный, всегда возникали споры какие-то с ним, что допустимо, что недопустимо. Я к нему относился очень тепло. Хотя мы с ним довольно много спорили, это не отражалось на наших отношениях.

**Владимир Тольц:** О чем спорили-то?

**Владимир Буковский:** В это время была масса каких-то споров. Была такая организация НТС, которая нам все время портила жизнь, все время пытались доказать на Западе, что они нас придумали. Это всех очень злило, но мы отмахивались от этого, мало ли чего дурак скажет. А Якобсон требовал, чтоб мы немедленно это опровергли, написали коллективное письмо с требованием прекратить безобразие и т. д. Ну, это рабочие споры. А так он был очень эмоциональный человек, у него это все было на нервах, на взводе.

**Владимир Тольц:** Вообще-то будущий редактор «Хроники» Анатолий Якобсон вовсе не помышлял об этой стезе. Он лет десять был школьным учителем, которого обожали его ученики, до сих пор хранящие память о нем. Их родители тоже. Одна из них, Елена Георгиевна Боннэр говорит мне о влиянии Якобсона на ее сына Алешу.

**Елена Боннэр:** Вообще-то Лешка русский язык знает благодаря Якобсону. Лешка был абсолютно безграмотный. И Толя был его частным учителем. Оказалось, что из такого балбеса можно сделать грамотного. Но это еще не все. Я вдруг заметила, что на моей машинке печатают какие-то молодые люди. Оказывается, они там что-то Толино перепечатывали. Так что, влияние было и грамматическое, и политическое.

**Владимир Тольц:** 1968 г. положил конец учительской карьере Анатолия Якобсона. Позднее он рассказывал:

*Стал писать. То, что делал и собираюсь делать впредь, можно назвать так: литература о литературе. Это не филология и не писательство в чистом виде, но нечто, имеющее черты и того, и другого...*

*...Из написанного до сих пор основное — работа о Блоке. Не случайное посвящение: Юлию Даниэлю; в немалой мере благодаря ему я смолоду ориентировался на те представления о человеческом достоинстве и о профессиональной чести, без которых всякое литературное дело есть ложь. Кроме того, после ареста Даниэля я заговорил вслух, и пока ничто не могло отучить меня от этой привычки (однако на будущее не загадываю).*



**Владимир Тольц:** О сочинении Якобсона о Блоке из Иерусалима мне говорит Майя Улановская.

**Майя Улановская:** Книга о Блоке «Конец трагедии» — главное, что написал Якобсон. Читая работу сейчас, поражаешься, как самоочевидно было для него то, до чего только теперь дозрели на его родине. И так самоочевидно то, к чему он взывал, и в забвении чего, хотя бы временном, упрекал любимых поэтов, — к человечности! О человечности речь в этой книге. Тема работы «Конец трагедии», сочетающей тщательный литературоведческий анализ и высокую публицистику, поэт и революция. Русская революция предстала в работе как страшное заблуждение века, накликаемое совестью страны, ее интеллигенцией, которая перестала чувствовать, что во всей русской культуре сердце билось одно. Они забыли о том, что она была милосердна, была великодушна. Часть русских интеллигентов посмели отринуть, пусть только в мышлении, завет своих предков духовных и кровных и прельстились мракобесием, поверив, что бывает на свете возвышенное злодеяние. Недалеко от этого откровения ушла и мысль о том, что можно и должно творить зло во имя добра, во имя равенства, братства, свободы. Но русская революция предстала в книге о Блоке как зло неизбежное и как историческое движение, связанное с вековыми чаяниями свободы, поскольку русская интеллигенция была чувствительна к социальной несправедливости, не только к миазам жестоких идей, разлитых в атмосфере. И если так на нее смотреть, тогда откроется в революции то, что не могло возобладать, но был в ней тот подвижнический дух, которым были привлечены к революции многие из лучших людей России: от Герцена до Блока.

**Владимир Тольц:** Якобсоновская «литература о литературе» весьма впечатлила читателей самиздата и тамиздата и в СССР, и за рубежом. Качество ее прошло испытание «фильтром времени». И сегодня, три десятилетия спустя, Павел Литвинов говорит мне:

**Павел Литвинов:** Остается его потрясающий талант литературоведа и умение очень четко увидеть самое главное в литературе. И как я уже сказал, эта нравственная его часть, хотя литература, естественно, нравственностью не исчерпывается. Если взять его, скажем, лекцию «О романтической поэзии», его книгу о «Двенадцати» Блока, в этом всем можно видеть, во-первых, абсолютно точный, математический, хотя он бы не употребил этого слова, анализ, и во-вторых, связь русской литературы с правозащитой, хотя он тоже этого слова не употреблял. Ну и плюс к тому блестящая личность, которую все помнят, личность человека огромной внутренней энергии. Когда видишь Толю Якобсона, сразу понимаешь, что это человек незаурядный, который не говорит ничего случайно, даже когда он шутит и смеется и немножко хулиганит в шутку, и все равно видишь эту внутреннюю работу.

И это через все, через воспоминания его людей, его собственное творчество, то, что остается. И это чрезвычайно важно.

**Владимир Тольц:** Но его гражданские чувства и представления о человеческом достоинстве не позволили Анатолию в его тогдашней московской жизни сосредоточиться только на литературе. Он любил цитировать пастернаковское: «И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба». Судьба дыхнула на него лубянским холодом. В 1973 г. Якобсон эмигрировал. Из интервью 1975 г.:

**Анатолий Якобсон:** Не представляю себе, как бы я уехал, если бы не мой сын. Сейчас ему 16 лет. Когда ему было десять, он сказал: «Я еврей, я чувствую себя евреем, и в этой стране я жить больше не хочу». Он имел в виду и существующий государственный порядок, и просто бытовые антисемитские проявления. Как он пришел к решению уехать навсегда, сказать трудно. Мы с его матерью другие, вероятно, новое время, иное поколение. Сам я тоже помнил всю жизнь, что я еврей и на антисемитизм реагировал весьма жестко, однако не помышлял о том, чтобы покинуть Россию. Я был еврей, что называется, не по крови в жилах, а по крови из жил. Эти слова любил повторять Эренбург, но принадлежат они не Эренбургу, а Юлиану Тувиму. Что они означают? Еврей по крови из жил — это тот, который чувствует себя постольку евреем, поскольку проливается еврейская кровь, поскольку притесняют евреев. Вот я и был всегда таким евреем по крови из жил. Мой сын оказался евреем по крови в жилах. С 66-го года мне постоянно грозил арест. С 1972 г. ждали ареста уже со дня на день. На меня были даны прямые показания по знаменитому, শেষчас не оконченному делу № 24. Якир и Красин прямых показаний дать не могли, поскольку их не допускали к писанию «Хроники», но они много про это знали и они дали показания на уровне доносов. Тогда я решился дать моему сыну единственный шанс, который, кстати сказать, был очень невелик, — шанс выехать. Я вышел из инициативной группы и подал заявление в ОВИР. Продолжались допросы в Лефортово, там, в КГБ пробовали просто со мной сторговаться: дайте показания хотя бы на себя и уезжайте, куда хотите. Вопросов было много, я молчал. Как раз в это время меня приняли в ПЕН-клуб, возможно, это как-то повлияло на решение начальства. Международная репутация, что ли, марка, так сказать. А показания я все равно не даю. И меня выпустили.

**Владимир Тольц:** Сегодня, три с половиной десятилетия спустя, «виновник» эмиграции Анатолия Якобсона его сын Саша рассказывает мне:

**Александр Якобсон:** Я действительно хотел уехать и чувствую себя израильянином уже давно. Это само собой разумеется, я же все-таки 73-го года, это большая часть моей жизни.

**Владимир Тольц:** Что Россия для Вас? Ваш отец объяснил, что для него Россия, а для Вас?

**Александр Якобсон:** Я приезжал несколько раз в Россию с тех пор, как это стало возможным. Россия — это не чужая страна, это, конечно, не то, что просто приехать в какую-то «заграницу». Я помню, когда мы в первый раз вернулись в Москву с мамой в начале 90-х, это было сильное ощущение. Это город детства. У меня есть связь с Россией, у меня есть некий сентимент к России. Идентичность — вещь сложная, поэтому некий российский, русский элемент в моей идентичности присутствует. Но я вполне израильтянин.

**Владимир Тольц:** Загородное лето накануне эмиграции Якобсонов Сергей Ковалев вспоминает так:

**Сергей Ковалев:** Приезжаешь, вылезает из автобуса и видишь детскую фигуру, которая мчится к остановке. Это Саня, который знал, что я должен приехать и когда примерно. И он там сидел в палатке или дальше и поглядывал на далекую автобусную остановку, а потом бежал навстречу. Так дело было не в том, что он прикипел ко мне всей душой, и я был для него любимый человек, а дело было в том, что я был свой человек и мне можно было начать быстро рассказывать, что он услышал по BBC или по «Голосу», как он это интерпретирует, что еще нового он придумал в вину нашей общей советской власти, и какие у него рождаются в этой связи соображения или даже смутные планы, ну и т. д. Ничего другого для него не существовало. И было совершенно ясно, что при внимании что к Толе, что к Майе, наших органов, этот ребенок был находкой просто. И в любой момент надо было ждать страшного какого-нибудь шантажа через Саньку. А если нет, то в самое ближайшее время появится самая новая, самая молодая «жертва политрепрессий». Вот общие политические проблемы, обличение советской власти — с этим трудно было что-нибудь сделать. Кроме того, ребёнок не отличался крепким здоровьем и предположить вероятность воспитательной колонии и через несколько лет, не дай Бог, лагеря, было страшно. По-моему, это был серьезный фактор.

**Владимир Тольц:** Анатолий Якобсон — один из ярких талантов, отвергнутых советской Россией и потерянных ею в 1970-е годы, уехал в 1973-м. Припоминая сегодня обстоятельства вынужденной эмиграции Якобсона, Сергей Ковалев выделяет общее с Анатолием тогдашнее ощущение:

**Сергей Ковалев:** Чувство, что он покидает родную среду, родную культуру, то, что давало ему жизнь. Я, между прочим, думаю, что он не погиб бы тогда, когда он погиб, если бы не уехал. Он, несомненно, сел бы, и это, по крайней мере, отодвинуло бы его смерть.

**Владимир Тольц:** 30 лет назад Анатолия не стало. Он покончил с собой.

- <sup>1</sup> Владимир Соломонович Тольц (р. 1944) — российский историк и журналист (истфак Башкирского университета и аспирантура Института истории СССР АН СССР). Работал в Москве в ЦГАДА (архив древних актов) и других исследовательских учреждениях. Участвовал в сборе материалов для «Хроники текущих событий». В 1979-80-х составлял (вместе с Иваном Ковалевым, Алексеем Смирновым) бюллетени «В», пришедшие на помощь выдыхающейся «Хронике». В 1982 г. обвинен КГБ в распространении антисоветских материалов и выдворен из СССР. На Радио Свобода с 1983 г. С 1995 г. — в Праге. Редактор и ведущий программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Автор мультимедийного информационно-образовательного проекта «XX съезд» (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Источник: радиопрограмма Радио Свобода из цикла «Разница во времени» — «Памяти Анатолия Якобсона», 27 сентября 2008 г., <http://www.svobodanews.ru/Transcript/2008/09/27/20080927004833763.html>

## **Интервью Мемориальной странице<sup>1</sup>**

**В. Е.:** Сегодня 29 июня 2006 г. Мы у Татьяны Иосифовны Червонской, сидим на кухне и очень хотим услышать рассказ про её знакомство и дружбу с Юночкой Вертман и Толей Якобсоном.

Я в 689-ю школу пришла работать в 1953 г. В 1952 г. я закончила филологический факультет Московского университета и, вдохновлённая благими намерениями, поехала работать на Кубань. Там я проработала один год.

**В. Е.:** Самостоятельно поехала или по распределению?

Нас было четыре девочки, и все мы взяли распределение добровольно. Я могла в университете остаться в аспирантуре, мне предлагали, но мне это было неинтересно, я рвалась в «бой»: «Сеять разумное, доброе, вечное...» Наверное, я так полюбила школу, что там всё было замечательно: и дети, и те, кто там работал.

Я вернулась с Кубани и жила в Москве, на улице Горького. Не помню, кто даже меня рекомендовал в 689-ю школу. Там был замечательный директор — Николай Филиппович Родионов, очень смелый по тем временам человек, который в 1953 г., после «дела врачей», собрал изумительный коллектив. Школа только недавно открылась, новое здание построили. И он набрал коллектив из разных институтов: у нас химик был из Менделеевского, математик из Бауманского — евреи, выгнанные из своих институтов. Из «терезы»<sup>2</sup> пришли девочки преподавать французский, немецкий и английский языки. Потом он и Якобсона взял на работу. Когда я пришла, школа была сначала мужская, а в 1955 г. мальчиков и девочек объединили, и она стала общая. Первый год я проработала в мужской школе.

**И. О.:** Где школа находилась?

Школа находилась во 2 Хорошевском проезде, недалеко от Беговой улицы и Боткинской больницы. На работу я ехала на троллейбусе — на «двадцаточке» — и потом шла по Беговому проезду. Когда там появился Толя Якобсон, он сказал, что ему очень повезло, что его сразу оформили.

---

<sup>1</sup> Интервью подготовлено и проведено Василием Емельяновым, Ириной Островской и Александром Зарецким. Отредактировано Юлием Китаевичем.

<sup>2</sup> Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза.

**В. Е.: Что значит сразу? В каком году это было?**

Это было в 1958-59 гг. Он был рад, что его оформили, потому что до этого он работал, только замещая беременных учительниц в разных школах. Учительница уходила в декретный отпуск, и тогда его брали.

**В. Е.: А это, фактически, его первая преподавательская работа?**

Он преподавал до этого, но только заменяя кого-то, а это — первая постоянная работа, даже классным руководителем он стал.

**И. О.: То есть до 1959 г. его не брали в штат?**

У нас он первый раз оказался в штате. Он закончил институт в 1957 г.

**И. О.:** Подождите, как же так? Если он закончил пединститут, то он, в обязательном порядке, должен был три года отработать по распределению.

**В. Е.:** Там была какая-то интересная штука: он закончил раньше времени, поменялся факультет, он перевёлся на другой факультет — исторический и выскочил как-то из этого распределения.

Перевелся с филологического на исторический, и у него не было распределения.

**В. Е.:** И он не мог устроиться и работал на заводе малолитражных автомобилей грузчиком.

И заменял беременных учительниц на время их декретных отпусков.

**И. О.: А он хотел работать в школе?**

Не знаю, может быть, хотел. Во всяком случае, дети его обожали, когда он был в школе. Его все очень любили и до сих пор вспоминают, когда мы встречаемся. Вместе мы работали в одном классе, в котором дети закончили школу в 1964 г. Я была там классным руководителем, а он — учителем. И то же было в классе выпуска 1968 г. Я и сейчас встречаюсь с этими детьми: они приходят, помнят Толю очень хорошо. Ну, и как-то мы с ним очень подружились. Школа наша ещё тем отличалась, что там был военный городок, дети были достаточно интеллигентные. Мамы не работали, и дети были ухоженные.

**В. Е.: Из детей военных...**

Из детей военных, да. Они были не уличные, хотя и бараки были рядом. С одной стороны, значит, дети из барачников, а с другой — дети уже вышедших в отставку генералов, полковников, которые были прикреплены к нашей школьной партийной организации. Вот уж Толя там разгуливался...

**В. Е.: В каком смысле они были прикреплены?**

Были прикреплены к нашей школьной парторганизации по месту

жительства. Они приходили к нам на партийные собрания. Толя там хорошо веселился по этому поводу.

**И. О.: Это были открытые партийные собрания?**

Некоторые были открытые, некоторые — закрытые. Мы должны были присутствовать на открытых собраниях и политинформациях. Или они приходили на педсоветы с какими-то проблемами. Словом, время от времени мы сталкивались с ними по разным вопросам.

Толя очень быстро освоился и организовал в нашей школе кружок, который он потом развил во Второй школе. Всё это начиналось в нашей школе: он свои лекции читал, отрабатывал их. Ребята с удовольствием слушали. Из учителей, наверное, только я была, потом ещё Юночка присоединилась. Некоторые историки приходили. Вёл он историю только до 17-го года, дальше отказывался вести.

**И. О.: Ну, и до 17-го года, там тоже есть где разгуляться. В трактовке декабристов, например. Отказывался по принципиальным соображениям?**

Принципиально отказывался вести историю после 17-го года.

**В. Е.: Как ему удавалось этого добиться?**

Директор был хороший, шёл ему навстречу.

**В. Е.: А известно, как он аргументировал?**

Я не знаю.

**В. Е.: Наташа Гелина-Григорьева, которая написала воспоминания, говорит об этом: «...нас это ставило в тупик, мы не знали, почему. И что он выдерживал это условие».**

Тогда, в начале 60-х годов, были организованы УПК — учебно-профессиональные комбинаты. Школьники должны были получать дополнительно одну из специальностей: токарь, слесарь или пекарь. Не в школе это было, а в другом здании. Один день в неделю школьники уходили на этот комбинат. До этих УПК, я помню, пуговицы какие-то мы с ними пришивали в школе, а потом они уже ходили в УПК. Потом нашему директору удалось организовать профессиональные музыкальные классы, которые были связаны с музыкальной школой, что находится тут недалеко, в районе метро «Сокол». И на день дети уходили туда. В основном это были девочки. И у Толи тоже был женский класс, где он был классным руководителем.

Когда он заболел болезнью Боткина и лежал в больнице, эти девочки стояли под окнами. Они ходили к нему в больницу, их не пускали, они пытались прорваться. Очень нежно они к нему относились.

Я помню очень хорошо, это был 1964 г., после последнего звонка один женский класс пригласил в гости только его и меня, хотя мы не были там классными руководителями — ни я, ни он. И до сих пор они его вспоминают.

Иногда в женский класс, как наказание, помещали мальчиков, которые себя не так вели. Однажды туда поместили Виктора Кульбака, который сейчас — известный художник, живёт во Франции, и у него своя мастерская.

**В. Е.: Он учился в 689-й школе?**

Ну, конечно, он в 1964 г. заканчивал. Сейчас он очень известный художник, его всюду приглашают, он и в Америке делал выставку. Он путешествовал с принцем Уэльским, и его попросили сделать портрет королевы Елизаветы. Он привёз мне альбом своих работ.

**И. О.: И как он в женском коллективе, диссонансом там не был?**

Он не был диссонансом, но с ним — это отдельная история. Он был другом Толи, и он знал потом всю его историю. Он с ним дружил очень долго и очень хорошо помнит Толю.

Виктор в 1975 г. эмигрировал, и, как он мне рассказывал, его сопровождал в самолёте гэбист. Когда Виктор в Вене выходил из самолёта, тот сказал: «Ушёл, гад».

**И. О.: Он может нарисовать портрет Яковсона?**

Он рисует замечательно! Ему заказывают портреты королевы и короли разных стран.

**В. Е.: Когда Юна пришла в школу?**

К этому времени, к 1964 г., директор нашей школы ушёл, и пришла другая директриса — ныне покойная Зоя Сергеевна Дмитриева. Она привела с собой Юночку из своей школы. Юна у неё там преподавала литературу и русский язык и одновременно пыталась ещё учиться на заочном отделении аспирантуры и писать диссертацию по Михаилу Чехову. Ей на время учёбы в театральном училище надо было пристроиться, и она работала в школе. Она окончила Щукинское училище, а потом поступила в аспирантуру.

Когда она пришла, мы с ней сразу сошлись. Ну, и с Толей, естественно. Она сразу на него глаз положила. Она же умная была, совершенно удивительная. До её прихода никто ему не перечил, а она, когда слушала его лекции, начала. Он с ней советовался, поправлял что-то в своих лекциях, жизнь закипела ещё больше.

Новая директриса продолжала линию прежнего директора, она была очень лояльна к Толе, и тоже была умная — Зоя Сергеевна. К сожалению, она очень грустно кончила.

У нас с Толей был односторонний роман. Он в меня влюбился. А я всегда была влюблена в своего Витю и не помышляла ни о каких романах. Но мы с Толей очень много времени проводили вместе.

**В. Е. А ты с Витей с какого года вместе?**

С 1949-1950 г. мы с Витей знакомы, он ко мне приезжал на Кубань, когда я там учительствовала.



Мы с Толей могли ходить сколько угодно, он меня всегда провожал. Когда мы шли пешком, он мне читал стихи. Он очень трогательно относился ко мне. Когда мой сын заболел корью, а мой папа был тяжело болен, это было как раз в весенние каникулы, я не приходила в школу. Толя иногда стоял на улице Горького на другой стороне и в окна мои глядел. А потом написал стихотворение:

*О, несчастное состояние — ежечасное бестатьяние.  
День-то тянется, к ночи клонится,  
А бестанница, что бессонница.  
Поезд времени — еле тащится...  
Как беременный.*

*Выбираюсь на полустаночки,  
Побираюсь: «Кусочек Танечки...!»  
И не будет мне подаяния —  
Бестатьяние, бестатьяние...*

Потом ещё он мне написал замечательное стихотворение:

*О, меня убедила ты,  
Что глаза у весны желты.  
Весной меня увидела ты,  
Но нельзя весну торопить...  
И нельзя за нее решить.  
Захлебнёшься... и кончишь пить,  
Задохнёшься и кончишь дышать...  
(отрывок)*

Такое серьёзное было стихотворение. У меня есть автограф — написанный его рукой стихи.

Мы с ним очень дружили, и он всё хотел познакомиться с моим Витей, узнать, какой муж у такой женщины, как я. Они познакомились и очень дружили. Вечера в школе всегда вместе проводили, и Витя приходил. Мы вместе с Витей провожали его, когда он уезжал.

Потом Юночка в наши отношения вошла. Она была увлечена Толей, они в Ленинград вместе ездили. Она смешную историю описывает в своих «Страничках о Толе», как Толя выскочил из автобуса, когда экскурсовод добавила в строку стихотворения Пушкина лишний союз «и».

В общем, это было какое-то очень счастливое и замечательное время.

### **И. О.: А девочки в него влюблялись безответно и страдальчески?**

Я этого не знаю, может быть, и было... Больше они как-то восхищались им. Это было восхищение, им хотелось быть рядом с ним, слушать его. Ходили в кружок на его лекции и смотрели на него с радостью.

**И. О.: Ведь он был совсем молодой, а говорят, что был у него нервный тик — бесконечное верчение верёвочки.**

Да, у него была верёвочка, которую он сам делал — из бумажных упаковочных бечёвочек плёл косичку. Он не просто верёвочку крутил, она была им сделана, и он всегда её крутил на уроке.

Толя рассказывал, что он очень рассеянный. Как-то пришёл и говорит: «Ты знаешь, какая у меня была неудача? Я ехал сегодня в автобусе, вытащил горсть мелочи, пятак за проезд отложил в другую руку, но вместо пятачка опустил всю мелочь». Был, бедный, очень огорчён.

Вот ещё вспоминаю своих ребят 1964 г. выпуска. У нас была девочка больная, она еле-еле ходила, плохо говорила, и её потом перевели на домашнее обучение. Дети рассказывали, что с ней на уроке что-то вроде припадка произошло. Толя схватил её на руки и бежал с ней по лестнице как сумасшедший, внизу была медицинская комната. Дети все удивились, как он моментально среагировал.

Толе было легче со старшими работать, а выпуск 1968 г., когда он к ним пришёл, был в 6-м или 7-м классе. Они Толю ещё не понимали. Они плохо себя вели. А старшие уже понимали, что такое Толя. Когда кто-то из малышей спрашивал у старших: «Он ведь такой смешной, может в разных носках прийти, эту верёвочку крутит. Почему вы его любите?». — Те отвечали: «Мы его за ум любим».

**И. О.: А родители учащихся в школу не приходили к Якобсону?**

Ни разу. Не было никаких нареканий, никогда, ничего. Никто не жаловался. Дети всегда чувствуют, какие бы они ни были. Их не обманешь. И они, когда мы с ними недавно встречались, вспоминали такую историю (он ушёл уже из школы, не довёл их до выпуска, они без него кончали школу): в их 6-м или 7-м классе был один мальчик, странный какой-то, совсем неадекватный. Он начал хулиганить на уроке, и Толя стал бегать за ним по классу, прямо по партам.

**И. О.: Кто кого опередил?**

Не знаю, но мальчик выскочил из класса. Такие истории бывали с ним, ребята это хорошо помнят. Ничего в памяти не осталось, кроме счастья общения с ним.

В 1960 г. у меня умер папа. Он ещё лежал в гробу, а я должна была проводить экзамен. Я не могла не пойти. Толя знал это. Он меня в классе *такими* глазами встретил, и пока я там в классе сидела, стоял и смотрел только на меня. В какой-то момент я поняла, что больше не могу находиться среди чужих людей. Я встала, он подошёл и говорит: «Уйдём?» — Я говорю: «Да». Он взял машину и привёз меня домой, где был мой папа. Он очень чуткий был человек. Папа перед смертью тяжело болел, я ему читала Толины стихи, он был так рад, что Толя в меня влюбился. Папа говорил: «Почитай ещё», ему было приятно.

Наша дружба продолжалась. Мы все подружились. Я переехала с Белорусского, он ушёл из школы. Я даже не помню, как это произошло. И Юночка потом ушла, она ставила какой-то детский спектакль в Калинин (ныне Тверь). Это был её дипломный спектакль, и мы ехали в Калинин вместе с Толей и Юночкиными мамой и папой. Там пошли в ресторанчик, было весело. Очень у них с Юной дружба была замечательная, он был этим очень доволен. Наши жизни шли рядом до того, как он уехал.

**В. Е.: Ты не можешь вспомнить ваши поездки в Коктебель с Лёвой Шубиным, Галей Белой и другими...**

Юночка меня пригласила в Коктебель. Я поехала туда с сыном Санечкой и племянниками. Толя тоже туда приехал. Там мы как-то пошли в Старый Крым к Грину. Вообще, мы там замечательно проводили время. Мы ходили к подножию Чёртова пальца, всё время путешествовали.

**И. О.: А где тогда жить можно было в Коктебеле?**

Там сдавали жильё, очень дёшево. Стояли в очередях в столовую. Занимали места: кто-то на пляже, кто-то в столовой. Мы ходили в замечательную Тихую бухту. Помню, я шла впереди, а сзади с Санечкой шёл Толя, я слушала, как он с Санькой говорил. Потом мы ходили собирать сердолики в Лисью бухту. А больше всего мы любили искать «куриных богов»<sup>33</sup>, были все увешаны этими «богами». Если кто находил, все кричали: «Ура!» Иногда мы ходили в летний кинотеатр. У нас огромная компания была. Чтобы занять всем места, командировали малых детей и одного из взрослых. Они там рассаживались и занимали всем места, а остальные приходили потом кино смотреть. В общем, это было счастливое время.

**А. З.: Почему Яacobсон ушёл из 689-й школы? Были конфликты?**

Не было никаких конфликтов. Из нашей школы он ушёл ради интереса и свободы. Его пригласил директор Второй школы. Школа была очень интересная, ему предоставили там возможность очень свободно работать, вести кружок, читать лекции. Он говорил о поэтах, у нас тогда запрещённых или не признанных: Серебряного века, Пастернаке, очень по-новому о Маяковском. Он интересно читал лекции, прочитал целый цикл. И директор, В. Овчинников, ему сказал: «Толя, можешь всё делать, но до того момента, когда я скажу тебе, что продолжать опасно». И когда стало опасно, Толя оттуда ушёл.

**И. О.: Вот он работает в одной школе, ты в другой. Как вы виделись?**

Он и Юночка приходили ко мне на день рождения в маленькую квартиру, 23 кв. м. Я жила на Пулковской улице у Речного вокзала. Эту

---

<sup>33</sup> «Куриный бог» — амулет на счастье, камушек с дырочкой (прим. А.Зарецкого).

квартирку мне дали в 1966 г. как учительнице. В «большую» 15-метровую комнату набивалось много народа. Двери снимали и использовали вместо столов. Однажды Толя появился — все были поражены. Он натянул на лицо чёрный чулок, рожа получилась страшная, нос приплюснутый. Наверное, это было уже после Фантомаса. Он вошёл с каким-то криком, все гости всколыхнулись. Было очень весело. Он всегда что-нибудь придумывал. Всегда набиралась куча народа.

У Юночки мы всегда встречались на дне рождения, и Витя со мной ходил туда. Там тоже было очень хорошо. Ирина Глинка там бывала, Коржавин был однажды. Читали стихи. Потом я ездила к нему на лекции во Вторую школу.

Мы и с Майей познакомились. Я была у них там, где они с Майей и Сашенькой жили. Потом ещё раз были у них, когда мы их провожали.

У Юночки я была много раз, когда она ещё жила на Автозаводской в однокомнатной квартире, потом она переехала. Ну, мы с ней очень много встречались. Она была у меня на Белорусской в общей квартире.

**И. О.: А то, что он был связан с «Хроникой текущих событий», Вы знали?**

Нет. Я в какой-то другой сфере жила, когда он был связан с этим. Уже меньше встречались, и я всегда была другим озабочена.

**И. О.: А он всегда был озабочен вопросами правозащиты?**

Я думаю, что началось это после ареста Даниэля — его очень близкого друга. С процесса Синявского и Даниэля. Помню, я с ними стояла перед зданием суда на Красной Пресне. Туда никого не пускали. Я думаю, что это послужило началом. Однажды был ещё такой случай — Юночка мне звонит и говорит: «Толя в милиции на Красной площади». Они вышли на демонстрацию, когда стал возрождаться интерес к Сталину. 21 декабря 1969 г. стали собираться люди, которые хотели отпраздновать день его рождения на Красной площади. Толя и ещё 5-6 человек, я не знаю, кто они, не помню, кто там был, решили противостоять этому. Они вышли из метро, из здания, где была гостиница «Москва», к ним подошли и сказали: «Анатолий Александрович, — всех назвали по имени отчеству — лучше вам не идти туда». А они пошли. Вошли обратно в метро, вышли из него на улицу Куйбышева, откуда подошли к Лобному месту. Там много людей было, и, конечно, их там заметили. А одна девушка в его группе несла под пальто портрет Сталина, перечёркнутый пополам. Кто-то её толкнул, и портрет выпал. Толя говорит: «Ну если эта рожа лежит на земле, неужели я на неё не наступлю?» И он наступил на портрет. Тут же переодетые гебисты на них накинудись, арестовали и увезли в милицию. Юна мне звонит:

«Ты знаешь, мне позвонили, что об этом уже передали по Би-Би-Си. Сообщили, что Якобсон арестован за то, что он выступил на Красной площади. Может быть, это как-то поможет». Толью продержали до конца дня, потом был суд, и его приговорили к штрафу.

Наши отношения, очень добрые и нежные, продолжались до его отъезда. Мы провожали его, бедного, он о собачке всё переживал. Огромную клетку привезли. Не знаю, как она поместилась, её в багаж сдавали. Мне с Витей подарил книжки с трогательными надписями. Вите подарил Салтыкова-Щедрина, книжка у меня есть, а мне — Эткинда, книжечку о стихах.

Когда я приехала в Израиль, Толи уже не было в живых. И мой Витя — он уехал туда в 1991 г. — первое, что он мне показал, была газета с фотографией Саши в кнессете. Витя сказал, что какая-то Сашина статья очень интересная была опубликована. С Сашей и Майей я позже встретилась в Москве, на вечере во Второй школе, посвящённом Толе. У меня есть книжка об этом, о Второй школе. Майя узнала меня, мы поговорили с ней.

**И. О.: Можно ли было предположить, что когда-нибудь он сможет покончить с жизнью? Было ли это на него похоже?**

Нет, нельзя было предположить, даже когда я узнавала, что с ним происходит в Израиле, что Ему там плохо. Юночка говорила, что он с арабами работал вначале и что он лечился там.

Он сам рассказывал, что когда в 1968 г. Богораз, Литвинов и другие вышли на Красную площадь по поводу Чехословакии, его с собой не взяли. Он хотел бы там быть. И он написал замечательную листовку о событии на Красной площади и разбрасывал их сам в здании университета. Эта листовка попала в ГБ, и его туда вызвали. Листовка была прекрасно перепечатана самими гебэшниками, и Толя говорил, что никогда не видел так хорошо отпечатанной своей работы. «Подарите мне», — сказал он. Ему сделали внушение и сказали: «Вам лучше уехать, не быть здесь».

Мне помнится, что главной причиной своего отъезда он выдвигал здоровье и судьбу своего ребёнка. Он не хотел, чтобы он оставался здесь. Он видел в нём серьёзные задатки и боялся, что здесь ничего не получится.

В Израиле он, конечно, затосковал, потому что здесь он был как рыба в воде.

**И. О.: Вытащили из привычной среды обитания.**

Абсолютно. Где-то был вечер памяти Толи, и говорили, что, если бы он здесь остался, с ним бы этого не случилось. Даже если бы он был в лагере, ничего бы этого не случилось. Я всё время хожу на эти встречи у Музы Ефремовой. Каждый год, 28 сентября.

**И. О.:** Разве может быть такое, что он бы не погиб, если бы попал в лагерь? Ведь это же болезнь, которая в нём была заложена.

Она не проявлялась. Она обострилась там, когда он был вырван из этой среды.

**И. О.:** А если б в лагерь попал?

Никто не знает.

**В. Е.:** Он потерял среду и потерял сознание своей необходимости...  
Нужности, миссии...

**В. Е.:** Он понимал, чем он здесь занят. А в Израиле то, чем он жил здесь, было никому не нужно.

**И. О.:** А миссия и среда — это литература?

**В. Е.:** Да.

**И. О.:** Или это всё-таки ещё и правозащита? Или это слилось?

**В. Е.:** Русская литература и среда...

Да, наверное, его общение с этим кругом людей тоже было очень важно. Его поминают 28 сентября ребята уехавшие и те, кто здесь. Когда ко мне приходят, мы всегда за него выпиваем. Он остался в памяти тех, кого он учил.

Ну, а с Юночкой мы были до последней почти минуты рядом. Я ушла почти за полчаса до её смерти. Последний весь день я там была. И когда я ехала домой, ты мне позвонил, Вася. И мы должны были улетать с Саней отдыхать, но Саня сразу сдал билеты, мы были все на похоронах.

Юночка очень часто забегала ко мне на белоруку. Иногда она мне говорила: «Хочешь, Таня, я почитаю тебе «Поэму конца»?» Мы в маленькой комнате сидели, она мне читала.

**В. Е.:** Записано на плёнке это её чтение.

К нам кто только не приходил. Мы жили довольно бедно, но, тем не менее, всегда всех кормили — абсолютно всё съедали. Мама моя всегда говорила: «Вот Юночка, наверное, голодная прибежит опять и скажет: «15 минут на трёп, 5 минут на еду, а потом я побегу». И Юночка прибегала, поговорим, она быстренько что-нибудь схватит и побежит дальше.

*Москва*

*29 июня 2006 — декабрь 2009*

**Виктор Кульбак<sup>1</sup>**

## **Интервью Мемориальной странице<sup>2</sup>**

**Расскажите об Анатолии Якобсоне и своей дружбе с ним. Я знаю, что Ваш отец был лётчик-испытатель, и Вы жили в военном городке рядом с московской 689-й школой на 1 Хорошевском проезде...**

Мы переехали туда, наверное, в 1960 г., когда мне было 14 лет. Закончил я школу в 64-м году. Я одиннадцатилетку кончал, это был единственный год, когда надо было 11 лет учиться.

**Вы ходили и в художественную школу и тайком смотрели запасники Третьяковки...**

Я родился и до 14 лет жил на Кропоткинской улице — прямо напротив Академии художеств. Там я пошёл в школу в 53-м году.

**Как Вы заметили Якобсона? Я знаю, что у Вас было стойкое неприятие советской школы, и на этом фоне два учителя в 689-й определённо выделялись.**

Да. Это были Татьяна Иосифовна Червонская и Анатолий Александрович Якобсон.

**Якобсон позже появился, чем Татьяна Иосифовна?**

Да, он появился у нас на год позже. Он был моим учителем три последних года в школе.

**Вы художник, и у Вас определённый взгляд на мир с детства, это врождённое... Каким же образом литература ворвалась в Вашу жизнь через «чёрный ход»<sup>3</sup>?**

---

<sup>1</sup> Виктор Кульбак родился в 1946 г. в Москве, где он окончил художественную школу, а также среднюю школу №689 (1964). Он продолжил учебу в Московском полиграфическом институте и работал как художник-оформитель в различных московских издательствах. Пять художественных выставок Виктора Кульбака в Советском Союзе были закрыты властями через 2-3 часа после их открытия. В 1975 году он эмигрировал во Францию. Его работы выполненные в старинной технике «серебряная игла», берущей свое начало в эпоху Возрождения, многократно и с большим успехом выставлялись во множестве стран: Франции, Швеции, Норвегии, Японии, Бельгии, Италии, Великобритании, Австрии, Канаде, Германии, США... В настоящее время Виктор Кульбак живет на Мальте.  
См. <http://www.notionis.com/Koulbak/> (прим. А. Зарецкого).

<sup>2</sup> Интервью проведено по телефону А. Зарецким. Отредактировано Ю. Китаевичем.

<sup>3</sup> Николай Боков. Золотая осень и серебряная игла. Разговоры с Виктором Кульбаком. «Новый Журнал», 2008, № 250.  
<http://magazines.russ.ru/nj/2008/250/bo5-pr.html>

Я к Якобсону вначале относился с некоторым недоверием. Он мне казался уж очень откровенным в своих беседах. И это в то время, когда все боялись всего. У меня классным руководителем была Татьяна Иосифовна Червонская, а Якобсон преподавал у нас историю. Он организовал литературный кружок, который вёл сам и в который я, естественно, тут же записался. Кружок этот недолго просуществовал, я уже не помню, почему он исчез. Анатолий Александрович был влюблён в Блока, и в ту пору были, в основном, лекции о Блоке, о «Двенадцати» Блока.

Именно тогда я для себя открыл этого особенного человека. Мне не приходилось с такими встречаться до него. Он был необыкновенно умен. Он не ограничивался пустыми словами — он находил такие, которые попадали вам в голову, в сердце, в печень, и его манера говорить была совершенно необыкновенна. У него были страсть и напор, которые не предполагали диалога. Татьяна Иосифовна Червонская вызывала на разговор, а Якобсон высказывал свои собственные мысли, и его не интересовало, соглашались с ним или нет. В нем был некий всепожирающий огонь. После его ухода оставалось какое-то непонятное впечатление стихийного бедствия, свидетелем которого вы были.

Постепенно мы с ним стали, несмотря на разницу в возрасте, друзьями. Он стал ко мне относиться как-то по-особенному. Вы же знаете, что все в то время должны были писать сочинения на идиотские темы. Татьяна Иосифовна настаивала на том, чтобы я, как и все, тоже их писал. Для меня это было невероятной мукой: врать мне не хотелось, а то, за что я мог получить хорошую отметку, я писать не мог. Просто не мог себя заставить. Но Татьяне Иосифовне, по-видимому, нужно было отчитываться перед начальством, и исключений она делать не могла. И тогда я сочинение, в конце концов, написал. Вскоре, во время какого-то урока, кажется, физики, в дверь класса постучали. Вошел Якобсон и попросил, чтобы я вышел в коридор с ним поговорить. В коридоре он мне сказал, что в этом мире есть не только я, но ещё и друзья, и что я должен о них думать тоже, когда я пишу такого рода сочинения. Он попросил, чтобы я больше ничего подобного не писал, потому что Татьяну Иосифовну могут арестовать как человека, который не проследил за моим духовным развитием.

### **То есть сочинение было антисоветское?**

Это было совершенно жуткое сочинение. И я тогда сказал ему, что я с ним согласен, но меня не должны заставлять писать сочинения. И на этом всё закончилось. Больше я сочинений не писал. После этого разговора мы сблизились с Анатолием Александровичем — я увидел, что за этим пламенем есть ещё нежный и любящий человек, очень чувствительный к тому, что происходит вокруг него, особенно с его друзьями и близкими. Я стал ходить к нему домой, мы начали встречаться уже вне школы.



И вот тут моя память меня подводит. Насколько я помню, процесс Даниэля и Синявского был после того, как я окончил школу, а мне почему-то кажется, что это было еще в мои школьные годы. Так или иначе, но однажды Анатолий Александрович забыл в такси листовки, которые он написал по поводу этого процесса. Эти листовки, естественно, шофёр отнёс куда *следует*, и у Якобсона начались большие неприятности. А может быть, это были листовки на какую-то другую тему, мы с Татьяной Иосифовной так и не смогли выяснить.

**Речь, возможно, идёт о листовке Якобсона «В защиту Анатолия Марченко», пачку которых Ирина Белгородская забыла в такси. Белгородскую судили за распространение этой листовки. Якобсон, выступая в суде в защиту Белгородской, заявил, что автором является он, и суд судит невиновного. Но это было в начале августа 1968 г.**

Так вот, я решил, что на этом мои отношения с нашей школой закончены. Я задумал её разнести всю, но это мне не удалось. Мои друзья предлагали мне помочь, я отказался. В результате я только повыбивал стёкла на одном этаже.

Секретарь парткома школы позвонил в милицию и потребовал меня арестовать. Тогда я уже не жил с родителями, я нашел себе работу по уборке полуподвального помещения, в котором мне за это позволяли жить, где я за огромным сейфом прятал мольберт и в свободное время рисовал. Поэтому меня сразу не нашли, а пришли за мной, когда я ненадолго заскочил к родителям попросить денег. Кто-то позвонил в дверь, я открыл и увидел санитаров в белых халатах, которые меня отвезли в психиатрическую лечебницу имени Кащенко. Там я пробыл несколько месяцев, а когда вернулся и снова пошел в школу, было устроено родительское собрание, во время которого меня должны были исключить из школы с волчьим билетом. Анатолий Александрович произнес речь в мою защиту, чем довел меня до слез.

Он заступился за меня, объяснив, что мои намерения были самыми благородными. Нужна была большая смелость, чтобы заступаться за меня перед этой аудиторией, ведь это был военный городок.

### **Там только военные жили или гебэшники тоже?**

Нет, этих у нас не было. В городке были в основном лётчики. Но всё равно это были не те люди, перед которыми можно было произносить подобные речи.

В результате его выступления меня не выгнали из школы. У меня были очень хорошие отметки, я был одним из лучших учеников. Чтобы от меня избавиться, нужны были, по-видимому, более серьезные обвинения. Короче говоря, в школе меня оставили, но понизили на один балл все отметки и не допустили до выпускного экзамена. По этому поводу Анатолий Александрович долго смеялся.

Потом я собрался уезжать, он к этому отнёсся — никак. Промолчал, ничего не сказал.

**То есть Вы решили подать заявление на выезд?**

Да. Я хотел уехать ещё в возрасте пяти лет, я не мог там жить, и я ему об этом много рассказывал.

Он уехал первым. Мы с ним не переписывались. Я узнавал о его делах от других людей — наших общих знакомых. Узнал, что ему там совсем плохо. В Москве всех облетела его фраза о том, что он — дерево, которое без корней жить не может.

**Как это повлияло на Вас? Когда Вам удалось эмигрировать?**

Я уехал в 75-м. Я оказался в Париже, он приехал в Париж, и мы с ним опять повидались.

**Какие-то подробности встречи...**

Ну, что Вам сказать... Мы с ним здесь почти не разговаривали, он производил впечатление совершенно больного человека, все время оглядывался, как будто у него была мания преследования.

**Он оглядывался — нет ли топтунов за ним?**

Да. Общения никакого не получилось. Мне кажется, он рассказывал что-то об университете, о том, как все там настроены против него... Впрочем, я в этом не уверен, возможно, я потом об этом прочитал в письмах. То, что меня поразило, повторяю, это то, что он все время крутил головой и смотрел, нет ли за ним слежки. Выглядело это трагически.

**Не говорил ли он о своём отношении к Израилю?**

Нет, ни слова.

**А про Россию, о своих друзьях?**

Ничего. Я знаю, что одному из своих друзей он писал, что в Израиле он жить не может, что это совершенно чужая ему страна.

Что касается России, то он как-то сказал, что евреям, которые завели эту страну в тупик, уезжать нельзя. Нужно ее из этого тупика вывести и таким образом искупить свой грех. Но это было очень давно, и я даже не уверен, были ли это его собственные слова или он кого-то цитировал.

**Вы — художник. Какой-то особый взгляд на фигуру, личность Якобсона у Вас как у художника есть? Представьте, что Вам надо написать его портрет. Перед началом работы Вы должны «придумать» себе его образ?**

Да не надо было бы и придумывать! У него все было на лице. Достаточно просто нарисовать точный реалистический портрет. Эти расширенные, как ножом вырезанные ноздри, это пламя в лице, это лицо боксера, который готов броситься в атаку. Пожалуй, огонь — это самое

точное определение, именно огонь я в нем всегда и чувствовал. А чего стоил его пронизывающий взгляд! Я думаю, он жил в каком-то своем мире, его мозг был в постоянном напряжении, в бесконечном раздумье, он анализировал все, на чем останавливался его взгляд.

Самое поразительное в нем было — это искренность. Он не примерялся к человеку, его слушающему, не пытался произвести на него впечатление. Для него каждый человек был равным ему.

Эта его напряженность, интенсивность особенно ярко проявлялась во время уроков, которые он вел. Он говорил об истории с таким же запалом, с каким он говорил о Блоке. Для него не было мертвой материи, бессмысленных цифр и дат. Все в его изложении наполнялось смыслом, к тому же тесно связанным с современной жизнью. За каждым историческим событием стояли живые мыслящие и страдающие люди.

Ну, вы знаете как у нас преподавали в обычной средней школе: учителя приходили с заранее выученными уроками, которые предварительно утверждались разного рода инспекциями. Якобсон работал совершенно по-другому. И он заражал нас своим интересом, мы начали читать литературу, которая не входила в школьную программу

Уроки Татьяны Иосифовны Червонской оказывали на нас то же самое действие. Оба этих человека вселяли в учеников жажду знаний. Появлялась потребность не только выучить урок, но и узнать что-то еще, как можно больше. Так, благодаря этим двум людям многие ученики пристрастились к чтению, к поиску. Для меня это было как праздник, я организовал у себя дома кружок, и мы с друзьями читали книги, которые трудно было достать. Потом все участники кружка должны были писать своего рода диссертации и их защищать. Я помню, мы писали о Моцарте, о Бахе.

Мне хорошо было с ними, с Червонской и Якобсоном. Они направляли меня туда, куда мне самому хотелось идти, вдали от казенных литературы и истории, в совершенно другой, свободный мир. Читая больших наших писателей, я увидел, что благодаря им мы, может быть, и выжили, они нам показали, что есть ещё и другие ценности, помимо советских.

Червонская и Якобсон были той бомбой, которая разрушила весь этот казённый, серый мир. Они заряжали какой-то энергией, любопытством, любознательностью, и людям хотелось жить.

**А о том, что Якобсон был чемпионом среди юношей по боксу, Вы никогда с ним не говорили?**

Нет, он эту тему не поднимал, она для него была не важной. Силища в нём была взрывная, боксёрская, невероятная. Я помню, как он вышиб однажды из класса одного типа, который пытался над ним толи издеваться, то ли подтрунивать. Каждому хотелось, чтобы Якобсон любил именно его. И вот этот ученик так пытался привлечь к себе его внимание и показать, что любить надо его, а не других. Однако Якобсон его не понял.

Он схватил его за шиворот, как котёнка, приподнял — а это был огромный парень — и выбросил из класса. Тот своим телом распахнул дверь и вылетел в коридор.

### **Упоминал ли Якобсон о правозащитной деятельности?**

Кроме меня, по-моему, никто об этом ничего не знал. У меня к этому времени уже было несколько знакомых диссидентов и среди евреев, и среди русских. И я от них многое о нём узнал. А сам он об этом никогда не говорил. Он предпочитал оставаться исключительно в кругу своих профессиональных занятий в школе. Никогда никого ни к чему не подстрекал, зная, что мы ещё не дозрели до этого. Это было бы с его точки зрения непрофессионально и неэтично.

### **Высказывался ли Якобсон об антисемитизме?**

Никогда, ни разу не слышал.

### **В литературном кружке, который Якобсон вёл в школе, о ком, кроме Блока, он рассказывал?**

Я помню, что, когда появился «Один день Ивана Денисовича», Якобсон, с широко открытыми глазами, сказал мне, что произошло невероятное событие в литературе — «разорвалась бомба». Честно Вам скажу, я был разочарован, когда прочёл эту повесть. Она не произвела на меня сильного впечатления, и мне как-то было неловко с Якобсоном об этом говорить, потому что я видел, в каком он был восторге, и Червонская, наверное, тоже.

Анатолий Александрович необыкновенно любил Маяковского. Я думаю, что это, наверное, среди поэтов был человек, который на него произвёл самое большое впечатление. У меня было иногда такое ощущение, что он и в своей обычной жизни находился под влиянием Маяковского. Это то, что называется по-французски *façon d'être* (по-русски это можно перевести как *манера поведения*). Я думаю, он соразмерял себя с Маяковским, прикидывая, как бы тот себя повёл в той или другой ситуации. Я, может быть, ошибаюсь, но у меня такое было ощущение в ту пору.

Я помню, у него была маленькая верёвочка, с которой он не расставался и которую всегда крутил между пальцами — между указательным и большим. Это у него был такой тик. Я не думаю, что он без этой верёвочки мог бы говорить. Она у него всегда была в кармане, и он во время лекции всё время её крутил между двумя пальцами.

### **Как Ваши однокашники к нему относились?**

Все относились к нему с невероятным уважением. Понимали ли они его? Не думаю. Но это был для них человек, который пришёл из совершенно другого мира, и он их заинтриговал всех — это было совершенно ясно, они его боялись. Они боялись этого напора и этого огня. Мало кто его мог за это любить, но уважение было великое.

**А Вы не пытались в то время сочинять стихи?**

Нет-нет. Хотя то идиотское сочинение, о котором я говорил ранее, я написал в стихах, в подражание Некрасову.

*«И день идут, и ночь не спят,  
А всё в России-матушке  
Счастливого —  
Хоть вшивого —  
Не могут отыскать».*

Вот такое было сочинение, жуть.

**А Вы разговаривали с Якобсоном о живописи?**

Нет, никогда. Я помню, что я организовал когда-то выставку своих ужасных в ту пору картин. У меня там были изображены люди, которые раздирали себе грудную клетку. Такие типично тинэйджерские картины. Он пришёл на эту выставку, хмыкнул. Ни в какие подробности мы с ним не вдавались, но я понял, что ему понравилось, что я не социалистический реалист и что я тоже в этой жизни мучаюсь, и она мне не подходит. Это было у нас с ним общее.

**Вы бывали у него дома. Каков он был в домашней обстановке?**

Даже не знаю, могу ли я об этом рассказывать, потому что мы пили *вместе*. Он хорошо держал алкоголь, но мы пили много, и я его иногда приводил домой в не очень трезвом состоянии. Его жена Майя, как Вы можете себе представить, не очень наши с ним встречи одобряла.

**А где он жил тогда?**

Это был первый этаж, в центре города.

**Хлыновский тупик, рядом с улицей Герцена?**

Похоже.

**Там же жила мать Анатолия Александровича. А с ней Вы были знакомы?**

Нет, я о ней только слышал, несколько раз он её упоминал, но я её никогда не видел.

Саша, а где Вы с ним встретились?

**Я его ученик, он преподавал нам словесность во Второй школе. Он пришёл к нам из вашей школы.**

Спасибо Вам, и Бог Вам в помощь.

Париж  
10 января 2010

## **Интервью Мемориальной странице<sup>1</sup>**

### **Когда и где Вы впервые увидели Якобсона и познакомились с ним?**

В Доме детской книги (ДДК). Он был другом и однокурсником Гали Патынской — жены Юлика Китаевича. Я появилась там в 1964 г., и вскоре его увидела. Галя Патынская пришла в ДДК первой, возможно, он приходил до моего поступления на работу. Мне кажется, Галя Патынская в 1962 г. поступила в ДДК, и, возможно, уже тогда Толя появлялся и началась его переводческая деятельность.

### **Расскажите о ДДК, что это такое было: отдел издательства?**

Этого уже никто не может понять. Это действительно был отдел издательства. Я всегда скептически к нашей работе относилась, но были и энтузиасты. Издательство «Детская литература», когда-то широко жившее и имевшее возможность завести у себя отдел критический и пропагандистский — с этими двумя целями — организовало дополнительное подразделение «Дом детской книги»: роскошное помещение на улице Горького они нам сняли. Там было два кабинета: критики и пропаганды; был отдел писем, куда дети направляли отзывы, машинописное бюро, ксероксы и т. д. В общем, работало целое учреждение много лет, лет 30, если не 50. В кабинете критики мы анализировали то, что выпускалось редакциями издательства, и за их же деньги их критиковали. Эта задача всегда казалось сомнительной. А пропаганда — это само собой: выступали, организовывали встречи с писателями и читателями, выставки книжные, детей туда приводили, рассказывали о книгах и авторах. Выступали перед редакторами с анализом их книг, с обзорами детской литературы.

### **Кем работали в ДДК Галина Антипова, Галина Патынская, Вера Гревская, Надежда Павлова и Вы?**

Мы все работали в кабинете критики и все занимались анализом детской литературы, в первую очередь той, что выпускало издательство. И мы все очень дружили.

### **Я брал интервью у Игоря Губермана, он упоминает, как он принёс красное знамя в ДДК.**

Как Игорь знамя принёс — помню. Это было красочное событие.

### **Зачем Якобсон приходил в ДДК?**

Поначалу — чтобы навестить Галю. Вскоре он был хорошо знаком уже со всеми сотрудницами кабинета, и там ему было хорошо. Я знаю,

что он подходил к Наде Павловой, подсаживался к её столу и говорил: «Я возле тебя успокаиваюсь». Какое-то время там пребывал молча — Надя занималась своим делом. Она очень блестящий человек, умный и хороший друг, но разговора между ними не было никакого. Потом он говорил: «Всё — я успокоился», — и уходил. Именно Надя Павлова мне рассказала об этом. Она расценивала это как действие своих флюидов.

С другими он тоже общался: особенно охотно — с Галей Антиповой. Думается, особой практической цели в этих посещениях не было. Приходил, наверное, когда было не очень спокойно на душе, или просто забегал по дороге...

**Это никак не связано с тем, что он занимался переводами стихов для детей?**

Возможно, это было до моего поступления на работу.

**Об этой стороне его деятельности — о переводах, которые он делал для «Детгиза», Вам ничего не известно?**

Речь об этом между нами не шла, потому что наше сближение с Толем началось значительно позже, а прежде я не очень вникала, есть ли у него какие-то деловые связи с Детгизом.

**Говорил ли Якобсон о детях, его отношение к детям?**

В целом о детях — нет, но о своём сыне — не раз и много. Он о нём очень беспокоился, особенно когда узнал, что у него какая-то почечная болезнь; вообще этим был поглощён, постоянно думал о его здоровье и питании и отовсюду летел домой, чтобы ребёнок был во время обихожен и накормлен.

**Якобсон о своей учительской работе и Второй школе.**

Наверное, говорил, знаю, что его безумно уважали и любили ученики. Но это Вы знаете лучше меня.

**Известно ли Вам что-либо о создании книги о Блоке «Конец трагедии»?**

Да, об этом немного знаю. Он писал эту книгу у Музы Ефремовой. Рассказывал, что когда работал, — а перед ним лежало очень много материалов: книг и статей, — наступало такое вдохновение, что под руку сразу попадался именно тот источник, который был в ту минуту необходим. Как будто бы по воле Господа всё получалось.

Такой штрих, по-моему очень важен, хотя, может быть, он всем известен или где-то уже упомянут. Он ездил с этой работой к Бахтину, и среди прочего говорил с ним о вере в Бога. Толя будто бы сказал: «Я всё понимаю, но мне не нравится формула «раб божий». На что Бахтину ему ответил: «Но раб-то Божий». И Толя был очень сконфужен, его суждение сразу переменялось, и интонация Бахтина показалась убедительной. Это, наверное, у Юночки есть?

**Да. Бахтин был тогда в доме престарелых, и Якобсон вместе с Юной ездил к нему, чтобы получить отзыв на «Конец трагедии». О высокой оценке своей работы Бахтиным Якобсон узнал в день суда над В. Буковским.**

**Какие-нибудь детали: кто печатал, перепечатывал? Он куда-нибудь уезжал работать за город? Имя ихтиолога Виталия Рекубратского не упоминалось?**

Он его неоднократно произносил. Я помню, что он Виталика очень любил, не раз ездил к нему. С какой целью — совершенно не помню. От кого-то знаю, что Толя ужасно горевал, когда Виталик покончил с собой. Ведь у него было чуть ли не пятеро детей, очень любимая семья. Наверное, это всем очевидно, что связь между двумя трагическими событиями существует: как покончил с собой Виталик и как это сделал Толя. Думаю, что это был решающий момент при выборе способа ухода Толиного из жизни...

**Виталий ушёл 19 сентября 1977 г., а через год почти — Якобсон... Возможно ли, что он ездил к Рекубратскому работать над книгой о Блоке?**

Больше никаких подробностей не помню. Просто у него дружество было столь развито, что Толя обо всех друзьях говорил как о бесконечно любимых людях. Так я воспринимала, любое имя. Помню, как он восхищался Толей Гелескулом. Он ездил к нему в Загорянку, как на молитву. Он считал его образцом переводчика и необыкновенным знатоком испанского стиха.

**Гелескул переводил Лорку...**

Толя считал, что это непревзойдённые образцы перевода. Он ведь сам тоже пытался переводить Лорку, Эрнандеса и ещё кого-то. Не переводил ли он Борхеса? Кого-то он проклинал из тех, кого довелось переводить.

**Возможно, речь шла о стихах Тирсо де Молина? Об этих проклятьях есть в одном из писем Якобсона к Юне Вертман<sup>2</sup>.**

Но при мне проклинал он не его. Мне помнится почему-то, что он имел тогда в виду Борхеса и добавлял ещё слово, довольно крепкое. Дело в том, что к результату своей работы над Тирсо де Молина Толя потом с уважением относился. Видимо, проклятья в этот адрес прошли мимо моего внимания. А дальше — такие же муки он мог испытывать с кем-то из других авторов.

**В издательстве «Художественная литература» заведующим отдела испанистики был Валерий Столбов, а Борис Грибанов был его заместителем. Там А. Гелескул доставал для Якобсона переводческую работу испанских авторов. Я пытался найти эти переводы Де Молина, но пока безрезультатно<sup>3</sup>.**



Жаль, что их нет Вашем распоряжении.

**Не припомните ещё что-нибудь о переводах других авторов?**

Мне кажется, что он ещё перевёл 66 сонет Шекспира. Он не только исследовал переводы Б. Пастернака и С. Маршака, но и сделал свой вариант перевода. Это как раз было при мне.

**Якобсон перевёл 66 сонет?!!**

Мне кажется, что я его читала. В дальнейшем, возможно, он кому-нибудь его показал и, не получив одобрения, никуда его не выдвигал. Очень ясно помню тот текст, т. е. листок со стихами.

**А читал ли Якобсон Вам стихи?**

Д. Самойлова читал, прежде всего «Анну» — «Пестель, Поэт и Анна», кажется, читал ещё Мандельштама.

**Как Якобсон читал стихи? Его манера чтения.**

Не знаю, что сказать о его манере чтения, но помню, что его раздражало исполнение стихов чтецами-декламаторами. Например, был концерт, посвящённый Давиду Самойлову, сам он тоже принимал в нём участие. А сначала стихи читал Яков Смоленский, и Толя сидел, как с шилом в одном месте, и прямо изнемогал от отвращения. Самойлов сказал: «А мне нравится, как он читает, не знаю, почему Толя так бесится». Потом выступал Сергей Никитин, он писал песни на стихи Самойлова. Толе тоже не понравилось. Он считал, что стихи поэтов читать должны только сами поэты, что никто другой читать их должным образом не может.

**Говорил ли Якобсон о прозе Пастернака, теме «маленького человека» в литературе?**

Разговоров таких о литературе было между нами мало. А я была более чем легкомысленной особой, и не эта сторона как-то всё время меня занимала, поэтому не со мной беседовал он о литературе, и о прозе в частности.

**Ну, тогда от литературы перейдём к общественным делам. Прорывалось ли в разговорах его отношение к Советской власти?**

Он старался, конечно, особенно об этом не говорить, видимо, оберегая, чтобы я знала как можно меньше. Только один раз, случайно, он мне показал на табуретку, на которой я сидела, и поднял крышку — оказалась она с двойным дном — и там хранилась «Хроника». Этот единственный штрих указывал на его причастность к политическим делам.

**Вы к тому моменту уже знали, что такое «Хроника»?**

Видимо, я знала, что такое «Хроника».

**Юлий Китаевич упомянул с Ваших слов о случае с Гариком Суперфином, расскажите о нём подробнее.**

На улице Герцена мы случайно встретились с Гариком. Сначала мне показалось, что они с Толей просто увиделись, остановились поговорить. У Гарика был очень встревоженный вид, он нам дал понять, что за ним идёт слежка, а *топтун* буквально чуть не наскочил на нас... Гарик шёл с большой скоростью, и тот остолбенел, остановился: ему было некуда деваться, а затем прошёл дальше, и Гарик, мне кажется, сразу изменил маршрут.

В тот день мы шли с Толей к его маме в Хлыновский тупик, и как раз на этом перекрёсточке маленьком мы все и встретились. Толя тогда страшно разнервничался, успокоиться долго не мог.

**Он был недоволен тем, что Гарик ему не сразу сказал о слежке?**

Нет, боже упаси. Он недоволен был тем, что вообще это существует: слежка в натуральном виде, его это сильно возбудило. А Гарик просто, наверное, успел ему сказать: «За мной идут».

**Кого Якобсон считал своими друзьями кроме упомянутых уже В. Рекубратского и А. Гелескула?**

Ещё было несколько человек. Один из них — Всеволод Белоусов — был преподавателем физкультуры в школе.

**Якобсон и Юлий Даниэль.**

Юлика Даниэля Толя очень любил, очень старался его поддержать, когда тот вышел из тюрьмы. У Юлика не было ни работы, ни денег, и тогда я, по просьбе Толи, брала рукописи на рецензию (мне давали их в некоем Комитете по печати) и отдавала их Юлику. Его рецензии, увы — между нами — не устраивали этот Комитет по печати, и я делала это потом ещё раз.

**Почему это должно быть секретом? Это говорит о том, какие нравы царили в Комитете. В итоге рецензию завернули и деньги не заплатили?**

Деньги платили мне, а потом уже я отдавала их Юлику. Я быстро сделала обзор под их вкусы, и тогда всё это устроилось. Юлик приезжал ко мне домой, чтобы передать рукопись, и потом, с готовым обзором.

**Он один приезжал?**

Один.

**Он жил тогда под Москвой, в Калуге?**

По-моему, где-то в Москве, во всяком случае, один раз — дело было поздно вечером — я ему даже предлагала остаться переночевать, но он всё же уехал. Если поздно вечером, то вряд ли в Калугу.

**Говорил ли Якобсон о судебном процессе над Синявским и Даниэлем?**

Конечно, все мы тогда были этим событием озабочены, возбуждены, и Толя, по-моему, около здания суда был всё время.

**Перейдём тогда к Давиду Самойлову: что Якобсон говорил о нём, его творчестве и жизни?**

Много не говорил. Он при мне с ним по телефону разговаривал с большим обожанием.... То, что я помню — это общеизвестные вещи о его детях, каких-то сложностях в их домашней жизни. Передавал привет его жене Галине Ивановне — «умнице и красавице».

**Как Якобсон относился к своим друзьям?**

Мне кажется, большей преданности друзьям я не видела в жизни. Искренней такой, бесконечной преданности и любви.

**Как Якобсон вёл себя в компании друзей?**

Всегда был рад хорошей компании, был очень оживлён и остроумен. Мы в основном бывали у Юлика Китаевича, о чём вспоминает также Игорь Губерман. В любой компании Толя вёл себя очень трогательно по отношению ко всем, любовно.

**Якобсон и Губерман.**

Я помню момент их знакомства на встрече Нового (кажется, 1971) года. Оно было не слишком длительным из-за того, что Толя вскоре уехал. Не более двух раз в моём присутствии они встречались. Игорь относился к Толе в то время с великим почтением. Этим многие были удивлены, потому что к самому Губерману все относились с пиететом, а он выделял именно Толю.

**Якобсон «забывал» всех в компании, тянул на себя «одеяло» внимания?**

Нет, боже упаси, никогда, ни одной секунды. Всех слушал. Всегда счастливое выражение на лице было от того, что он с близкими людьми.

**Как Вы проводили свободное время с Якобсоном, посещали ли театры, кино, выставки?**

Да, мы совершили по его инициативе две поездки, очень интересные. Во-первых мы ездили с ним в Кириллово-Белозёрский монастырь. А потом мы побывали в Вильнюсе, где жили у подруги Юлика и Гали Китаевичей. Мы там пробыли, наверное, неделю. Чудесные были поездки.

**Якобсон был в Вильнюсе до этой поездки?**

Нет.

**Что вы посмотрели в Вильнюсе?**

Нас водила хозяйка дома, которая была и культурологом, и музейным работником — Галина Бальчунене. У неё в Вильнюсе, не в самом центре, был дом очень оригинальный, огромный такой, с высокими потолками. Она нас водила по обновлённым дворикам Вильнюса. Мы побывали в только что открывшемся музее Современного искусства, и по самому Вильнюсу гуляли вместе с Галей.

### **Почему Якобсон захотел посетить Кирилло-Белозёрский монастырь?**

Ему хотелось фрески Дионисия посмотреть: Толя был чрезвычайно любознательным. Помню, с каким восхищением он говорил о пермской деревянной скульптуре, впервые открытой тогда для обозрения. Он мне показывал репродукции и говорил, как это всё замечательно, как ему это нравится.

#### **А кино?**

Был красноречивый эпизод, который достоин упоминания. Ни в какой кинотеатр его абсолютно невозможно было затащить. А мне хотелось такого простого, обычного развлечения. Тогда шла слава о фильме «Белая птица с черной отметиной» режиссера Ильенко, и я уговорила Толю пойти на премьеру в кинотеатр «Варшава». В фильме идёт речь о противостоянии повстанцев-националистов, которые в итоге уничтожаются советской властью. Как только Толя понял, в чём концепция фильма, он вскочил: «Нет, это я смотреть не буду!», и пулей вылетел из зала, а я уже за ним. Это был единственный поход в кино.

#### **Якобсон и музыка.**

Вообще я считаю Толю человеком очень музыкальным, хотя никакого прямого отношения к музыке он не имел. Он просто чувствовал музыку, не только в прямом смысле, но и в воздухе, и в людях... И я сделала для себя вывод, что у него самого очень музыкальная натура, раз он так понимает людей.

#### **Его отношение к бардам и самодеятельной песне.**

Нет, мне кажется, он не испытывал к ним особого интереса. Юлика Кима любил, но в ряду друзей вообще, а может из-за каких-то конкретных песен, которые ему нравились.

#### **На Ваш взгляд, как Якобсон одевался?**

Он совершенно не придавал этому значения и одевался кое-как. Я пыталась его нарядить, связала ему свитер, которым он страшно гордился, потом ещё какой-то «предмет» на застёжке, но его он отверг, насколько я помню, из-за того, что «много» вещей ему было не нужно. И помню, как он страшно мучился, когда ему из Америки прислали жакет из искусственного меха. Тогда всё заграничное было в большой цене. И он сразу же решил от него избавиться, сказав, что это может стоить 150 рублей, и носить он его всё равно не будет, а лучше продаст и получит деньги. Наверное, так и сделал. Так что никакие новые вещи не приживались, кроме свитера и шарфа, которые я ему связала.

#### **Многие из знавших Якобсона отмечают его привычку крутить верёвочку.**

Любил, всё время крутил. Что-то всё время у него было в руках.

**Вас это не раздражало?**

Нет, я привыкла к этому, как к естественному жесту.

**Это не было свидетельством того, что он нервничает или внутренне возбуждён?**

Может быть, он снимал этим некоторую нервозность. Меня это никак не задевало.

**Теперь, коли Вы уж упомянули, что Вы заходили к нему в дом и видели его мать, я хотел бы спросить о Ваших впечатлениях о Татьяне Сергеевне?**

С Татьяной Сергеевной мы дружили. Она была очень душевная, очень добрая, очень доверчивая, простодушная. Нам было очень интересно вместе. Я к ней приходила до последнего дня. Наши отношения сложились отдельно даже от Толи. Это была просто женская дружба.

Рассказывала она о своей несбывшейся актёрской карьере в кино. Ей предлагали главную роль в «Бесприданнице» — роль Ларисы Огудаловой. Почему это не состоялось? По чьей-то воле, думаю, не по воле режиссёра, — Протазанов как раз её и выбрал. Она была в молодости необыкновенной красавицей. По-моему, муж не захотел, чтобы она снималась. Потом уже Алисова появилась в роли Ларисы Огудаловой. Знаю, что кинопробы с Татьяны Сергеевны начинали.

**Как Татьяна Сергеевна относилась к сыну? Что она о нём говорила?**

Нельзя сказать, что с большим почтением. Иногда, мне кажется, — критически, не очень-то воспевала. Не было такого, чтобы она с придыханием о нём говорила и безоговорочно принимала всё с ним связанное. Конечно, она нередко говорила, как беспокоится о сыне и внуке. Саньку, как называл его Толя, она просто обожала.

**А как Якобсон относился к матери?**

Не помню оттенков какого-либо свойства, это были просто отношения. Не помню оттенков ни критических, ни особенно ласковых. Хорошо, спокойно относился. Мне кажется, присутствовал какой-то критический оттенок, неполное, не абсолютное приятие.

**Помните ли Вы Якобсона в состоянии негодования, разгневанного?**

Помню только один случай, когда он с большой яростью отреагировал на одно моё дурацкое высказывание. Тогда было модно подсмеиваться над богатыми грузинами, у которых стопки денег. Был такой момент в нашей советской истории, они считались всемогущими. Однажды и я с пренебрежением сказала: «Эти грузины...» Толя сразу вспыхнул: «Вот! Это начало национализма! Как можно целую нацию каким-то образом так выделять, охаивать и унижать!» Он был в большом гневе и дал мне хороший урок.

**А в разочаровании?**

Было что-то... Кого-то он разлюбил и сказал, что сразу видно, из чего человек сделан: кто из хорошего материала, а кто из *гавна*.

**А шутки какие-нибудь, подначки?**

Он был очень добродушный, и никогда не было при мне таких высказываний, которые, кого-либо задели или обидели. Создалось общее впечатление чрезвычайно доброжелательного человека.

**Он вообще отходчивый был?**

Нет, взглядов он был твёрдых. В основном-то я помню его восторженное отношение к друзьям. Возможно, отходчивость характерна для того, кто вспыльчив: подумал одно, потом другое. Про него этого нельзя было сказать.

**Во время ваших поездок в Кириллово-Белозёрск и Вильнюс происходили какие-нибудь события? Встретили ли вы там кого-нибудь из знакомых?**

Знакомых не встречали. Приключений не помню. Всё только лице-зрели.

**А не могло быть так, что у Якобсона была также и деловая цель поездки в Вильнюс, например сбор материалов для «Хроники»?**

Нет, там не было никаких встреч, это была просто поездка для отдыха. Причём состоялась она буквально на следующий день после обыска в его квартире. Билеты были заранее куплены, и поездку он не отменил, но пребывал в большом раздрае душевном. В первые день-два не мог сосредоточиться, был ужасно перевозбуждён. Ничего о результатах или процессе обыска не знаю. Но в Вильнюсе ему было очень хорошо, и постепенно он пришёл в себя. Наверняка он мысленно возвращался к этому обыску, но вслух не высказывался.

**А о том, как его таскали на допросы в КГБ?**

Не рассказывал, я знаю только, что это было ближе к отъезду.

**Знали ли Вы, что он был членом Инициативной группы, подписывал обращения с протестом против произвола властей?**

Может быть, и знала тогда. Особенно он меня в это не посвящал. Не потому, что не доверял, а просто, наверное, я не очень-то вникала. Я жила, не очень думая о государстве. Как Галя Патынская всегда говорила: «Ты живёшь совершенно отдельно от той атмосферы, в которой здесь живут люди, сама по себе государство».

**Замечали ли Вы у Якобсона депрессию?**

Я могу сказать, что признаки нездоровья Толи иногда я замечала. Это проявлялось временами в каком-то перевозбуждении, а иногда, наоборот, в глубоком уходе в себя; он как бы «окукливался», никого вокруг не существовало. Если мы вместе ехали, например, в метро, он совершенно проваливался, забывая о том, что я рядом, и выныривал

с большим трудом. Часто погружён был в свои размышления, немного неестественно: уж очень далеко удалялся от действительности. Это говорит о том, что и в Москве не всё было в полном порядке. А уж Давид Самойлов, в «Переписке», по-моему, напрямую об этом не очень дружелюбно высказывается.

**Перед отъездом Якобсон получил наследство из Америки. Что-то об этом не запомнили?**

Припоминаю сам факт. Всё моментально он куда-то спустил, и некоторое время прожила та вышеупомянутая куртка: не более недели. Связано ли это было с наследством или нет — не помню. Тому, что всё было пропито, я верю, — могло быть именно так.

**И как он к алкоголю относился?**

Очень любил, с воодушевлением большим к этому относился, и говорил мне: «У тебя один недостаток — не любишь выпить».

**Решение об эмиграции вынужденной, под давлением КГБ — выскажитесь на эту тему.**

Могу только сказать, что никогда при мне решение об отъезде Толя впрямую не связывал с давлением КГБ, хотя о допросах упоминал. Неподобно говорил, что Саша настаивает на отъезде. Толя поначалу очень гордился тем, что в 10-11 лет Саша был чрезвычайно политизированным мальчиком. Он с гордостью цитировал его высказывания, ну а потом, видно, Сашино увлечение политикой уже перешло какие-то границы. Я так понимала, что бесповоротное решение именно Санькой было принято.

**К Самойлову вы не ездили вместе в Опалиху?**

Не ездили, но Самойлов приходил к Татьяне Сергеевне в моём присутствии. Эта встреча произошла за день-два до отъезда. У Татьяны Сергеевны собрался круг её близких друзей, и Толя там отсутствовал, а Самойлов был.

**Кого ещё из присутствовавших Вы запомнили?**

Был Александр Викторович Недоступ — умница, очень хороший врач-кардиолог, который очень опекал Татьяну Сергеевну и её друга Григория Яковлевича, тоже очень старого человека, старше, чем Татьяна Сергеевна. Александр Викторович самоотверженнейшим образом после её отъезда лечил этого друга Татьяны Сергеевны — приезжал к нему и материально помогал, до последнего дня. По-моему, я узнала об этом от самого Саши Недоступа, при встрече. Григорий Яковлевич тоже присутствовал среди гостей.

**Вы участвовали только в этой прощальной встрече или были на других проводах?**

Я была на проводах Толи, когда, по чьим-то подсчётам, было человек триста. Приходили и уходили, квартирка была маленькая, на Пере-

копской улице. Не помню ни лиц, ни фамилий, но помню разговор о том, что стояли машины гебешные во дворе. А люди всё время приходили и уходили...

**А как Якобсон пережил этот день?**

Немного взнервлённый был, но не могу сказать, что какой-то уж очень перевозбуждённый. Казалось, был ошарашен. Он как будто предчувствовал свою будущую тоску, но до конца, конечно, не мог её понять. И только в Израиле уже ахнуло по-настоящему. До конца понял, что он потерял то, без чего не может жить.

**Когда последний раз Вы его видели?**

В тот день.

**А потом, мне Василий Емельянов говорил, осталась пустая квартира, фотографии на полу...**

Нет, фотографии я подбирала у Татьяны Сергеевны, не у Толи.

**А что, тогда нельзя было вывезти фотографии за границу?**

Нет, нельзя. Всё время мнились какие-то тайные надписи молоком или ещё чем-нибудь. Особенно фотографии с любой надписью на обороте, даже просто с именами, нельзя было вывозить. Везде какая-то тайнопись чудилась гебешникам. Возможно, бросали фотографии не только потому, что не разрешалось их вывозить, а просто люди, может быть, с прошлым своим так порывали.

**Может быть, вес вывозимого багажа был ограничен?**

Фотографии немного весят. Я подбирала эти фотографии у Юлика и Гали. Они тоже не могли взять их с собой. Потом понемножку я им в письмах уже пересылала, когда настали более вегетарианские времена.

А Толины фотографии я собрала в альбомчик, он находится у меня. Из подобранных мною с пола фотографий после их отъезда получилась замечательная коллекция. Я дважды альбом посылала Васе Емельянову, дважды он ко мне возвращался, но исчезла самая забавная, самая прелестная фотография — Толи примерно трёх-четырёх лет. Она исчезла ещё при первой пересылке.

**Мне известны некоторые фотографии, среди них есть детское фото Толи, где он улыбается?**

Было несколько вариантов той фотографии, где Толя в матроске, а вот самый очаровательный вариант исчез. На той фотографии у него удивительно счастливая лучезарная улыбка.

**Какие фотографии хранятся в том альбомчике?**

В нём фотографии детства и юности Толи. Детские — он совсем ещё маленький, есть буквально с годовалового возраста, мама его, отец и дальше — его институтские снимки.



**А фотография Татьяны Сергеевны была одна?**

Одна. Там, где она седая, с лёгкой улыбкой. Более ранних фотографий я не видела, но и в старости она была красивая.

**Когда примерно была сделана эта фотография, ясно только, что до 73-го года?**

Я думаю, что незадолго — примерно года за три до отъезда — она до конца именно так и выглядела. У меня когда-то было от неё письмо из Израиля. Она описывала там своё самочувствие, по-моему горестное, чуть ли не из больницы. Письмо было несколько паническое. Она мне говорила, что ни за что не уехала бы, если бы не Толя и, главное, не Саша, что без них, конечно, она бы жить не смогла. Но если бы только она могла...

**Упомянул ли Яacobсон когда-либо о своём отце Александре Григорьевиче?**

Нет. Только фотография одна случайно сохранилась. Вообще, чудом все эти фотографии уцелели.

**Остались ли у Вас на память вещи Яacobсона?**

Есть у меня от Толи только экземпляр «Романтической идеологии» с подписью и работа об Ахматовой — машинописный экземпляр.

Осталось также несколько небольших вещиц, подаренных мне Татьяной Сергеевной, а также красивый старинный резной столик — роскошный. Перед своим отъездом Татьяна Сергеевна делала очень щедрые подарки и моим подругам, например, Гале Китаевич был подарен старинный серебряный поднос.

**Не могли бы Вы вспомнить ещё какие-то подробности?**

Ничего определённого я не помню, а если в своё время и были конкретные разговоры — всё, видно, пролетело мимо ушей. Ведь не готовились к таким разлукам и «воспоминаниям».

**А в Шереметьево провожать Яacobсона Вы не ездили?**

Нет.

**Какая была причина, по которой вылет Яacobсона был отложен на 5 сентября? Ведь в тот день в Доме журналиста состоялась пресс-конференция П. Якира и В. Красина, где они покалялись.**

Я этого не знаю.

**Получали ли Вы другие письма от Яacobсона из Израиля, кроме опубликованного МСС?**

Думаю, что нет. Я бы их хранила, во всяком случае у меня ничего другого нет.

**Какая информация доходила до Вас о Яacobсоне после его отъезда? Он не звонил Вам?**

Нет, не звонил, и вообще связь была затруднена. В письме ко мне Толя писал, что любыми путями пытался связаться. Если бы просто можно было писать, он бы так и делал, а надо было с кем-то передавать, искать okazji, значит это было трудно.

**Почему Якобсон называет Галину Антипову «возлюбленной кумой» в своём письме?**

Потому что она очень красноречивая и временами мудрая, хотя и сложная женщина, и всегда любила давать советы всем, кто хотел их слушать. Многие её слушались, и, видите, Толя как трогательно об этом пишет.

**А как Вы узнали о смерти Якобсона?**

Наверное, от Юны. С Юной я общалась всё это время. От Юны я узнала и то, что Толя женился (кстати, у Лидии Корнеевны, по-моему, ошибка, она Лену как-то иначе называет в «Переписке») — женился на очаровательной женщине.

Юночка была необыкновенно самоотверженным человеком, очень его любила. Она сохранила большую дружбу с Майей. Помню, что я по просьбе Юны сшила для Майи какой-то экзотический наряд. Для Юны я тоже делала такие вещи — всегда любила рукоделие.

Всё, что узнавала Юна, она тут же сообщала всем друзьям Толи, и мне в том числе. И потом, в день Толиного рождения 30 апреля Юна всегда собирала у себя его друзей.

**А кто там присутствовал?**

Приходили Евгений и Елена Пастернаки, ну, естественно, Вася Емельянов, и, скорее всего, Муза Ефремова. Бывали ещё Галя Белая и Вячеслав Всеволодович Иванов.

**Эти встречи происходили, когда Якобсон ещё был жив?**

Думаю, что Толи уже не было. Ведь он вскоре ушёл из жизни, а Юночка просто каждый год отмечала этот день, пока была жива.

**А когда Вы были на этом сборе у Юны в последний раз?**

Я не каждый год к ней ездила. Видимо, когда там были Пастернаки, может быть, это и был наиболее памятный мне последний раз.

Юночки уже нет, самой главной Толиной болельщицы, — вот кто мог всё рассказать. Гали Белой — нет, уже почти никого не осталось.

**О ком из неупомянутых выше друзей Якобсона Вы могли бы ещё сказать?**

Возвращаясь к опубликованному МСС письму Якобсона. Вас не интересует, кто такой Пашка? Он упоминается после замечания, что небольшой фрагмент письма утрачен. Имеется в виду Павел Литвинов. И действительно, мы с Толей уговорились, что я приеду, а они тем

временем напились и «дрыхли», как он пишет, оба, отвернувшись каждый к своей стене. Я посидела-посидела и уехала. Написала записочку, что была. И Толя позвонил: «Что ж ты нас не разбудила?». Теперь-то я жалею об этом. И с Павлом Литвиновым так и не познакомилась.

Толя ещё очень любил Юру Карякина. Обожал его самого, очень ценил его книжки. Они жили в одном доме и вместе часто выпивали..

**Галина Ивановна, спасибо за воспоминания, содержащие интересные факты, раскрывающие личность Якобсона.**

Если какие-то штрихи пригодятся — я буду рада.

**Ведь я сидел у Анатолия Александровича на уроках — он преподавал у нас в школе словесность, читал лекции о поэзии. Для того времени это было фантастическое явление.**

Да, это я представляю — такое явление яркое, такое необычное, как Толя, должно было производить сильное впечатление на молодых.

**Если бы можно было сейчас отправить Якобсону письмо — что бы Вы ему написали?**

Я бы его поблагодарила за богатство природы, за то, что ярче него, пожалуй, не было в моей жизни друга, за его умение оценить женщину. Я постаралась бы сформулировать своё восхищение им. И это не из сегодняшнего времени, а из того недолгого, что мы провели вместе.

Москва — Нью-Йорк,  
21 июня 2008-27 мая 2009 г.

\* \* \*

**А. Якобсон**

### **Письмо Галине Трухачевой<sup>4</sup>**

*Дата неизвестна*

Золотой Галчонок,

Настроение мое неизменно. Всякую боль можно терпеть. Но тут два условия. Первое и важнейшее: нужны передышки. Роздых. Этого у меня нет. Второе — силы. Нервные, физиологические. Месяцами не поднимался. Не мог! Движения были, как у паралитика. Встал (в мае). Пошёл грузчиком. Вернул себе физический (т о л ь к о физический) человеческий облик. Так сопротивляюсь непрерывной, лютой жажде подохнуть. Но ослабнет ли сама жажда... Без первого-то условия всё-таки нельзя. Поверь мне: это не болезнь, подвластная психиатрии и вообще медицине. Больница, врачи, таблетки нисколько не помогли и не помогают мне, хотя я покорно «лечусь» (теперь амбулаторно). Ведь умирали же

люди от горя. И от любви когда-то умирали. И не спасли бы их никакие эскулапы. Не всякая болезнь души — «душевное заболевание». Нет, не теперь я безумен. А безумен был тогда, когда в п е р в ы е прокралась окаянная мысль, что я могу — при каких угодно обстоятельствах, ввиду чего бы то ни было, ради кого бы то ни было — уехать из России. Это проклятие поразило меня. И не могло не поразить. Заслуженная кара.

Существую тем, что вспоминаю свою дозагробную жизнь, столько лет немыслимого, сверхъестественного счастья, которого не ценил, как не ценят воздух, пока не приключилась астма или эмфизема легких. Вспоминаю всё и всех.

[До этого места письмо перепиши («без Галчонка») и доставь А. В.<sup>5</sup> Укажи для кого: для него самого, для Люды с мужем,<sup>6</sup> для Нины с мужем,<sup>7</sup> для Али,<sup>8</sup> для Юлика К.,<sup>9</sup> для Татки,<sup>10</sup> для Тани В.,<sup>11</sup> для Нины Мих.<sup>12</sup> Несложно перепечатать эти несколько строк для названных лиц; Нине Мих. экземпляр — непременно (об этом, может, позаботишься сама). Я пишу трудно, очень трудно. А людей много. Это лишь часть моих друзей, которых знает А. В.]

Галочка, твоё место в моей памяти велико и подробно. Помню все наши минуты. Один «эпизод» [*небольшой фрагмент письма утрачен*]... меня и Пашку, дрыхнувшими с похмелья. Зачем ушла? Целую тебя, дорогая.

[Люди, названные ниже, пусть прочитают всё письмо («оригинал») — с начала до конца.]

Возлюбленная кума! <sup>13</sup>

Плохо мы с тобой знали твоего покорного слугу! Ты давала мне мудрые советы перед отъездом. Я благоговейно внимал. Советы и правда умные. Да не в коня оказался корм. Всё худое, что могло случиться со мной, — на время, на срок. А теперь Н А В С Е Г Д А.

Обнимаю, целую. (Как оправдана эта милая условность в обычной переписке, когда впереди — свидание. Но ведь Н И К О Г Д А не обниму, Н И К О Г Д А не поцелую.)

Валюха! <sup>14</sup>

Хорошо мне с тобой дружилось. Недолго только очень. И разговаривалось чудесно. Немногие говорят по-русски, как ты. А теперь я и глух, и нем. И выпить не с кем здесь. Не пьют все свирепо с утра до ночи. А хоть бы и пили — что мне в инопланетных... А что у Кольки<sup>15</sup> борода ещё не растёт? У моего уже пробивается. Будь счастлив, отец.

Давид!<sup>16</sup> Галчинский! <sup>17</sup>

Вы мои родные из родных. Знаю, что не забываете меня. Но пройдут годы и годы. Конечно, и тогда будете помнить. Но будете ли вспоминать?

Между помнить и вспомнить, други  
Расстояние — как от Луги  
До страны атласных баут.

(Ахматова)

Юрка<sup>18</sup> написал мне письмо — давным-давно — где содержались сведения про вас. Потом узнал я и про вторую операцию. И всё. Ведь может же он, Юрка, почаще меня информировать! Пишу вам всякими путями (вроде этого); доходит ли что-нибудь?

Мэтр! Я не в силах передать, что Вы значили и значите в моей жизни. Верить бы в чудеса. Нет, никогда, никогда...

Целую вас и детей.

<sup>1</sup> Интервью подготовлено и проведено по телефону Александром Зарецким. Отредактировано Галиной Трухачевой.

<sup>2</sup> *«Надо переводить стихи Молины — неслыханное, неизъяснимое г... Я не могу их переводить и не могу отказаться от работы, которую продержал у себя более полугода. Проклинаю тот день, когда, поверив фирменному знаку (Классик! Старик!) и польстившись на большой гонорар, взял это дерьмо — 800 строк! — и не прочитав подстрочника, бросил в шкаф. Эта работа висит надо мной кошмаром. Вот сажусь за работу и сижу, не испытывая к переводимому автору и его художествам ничего, кроме угрюмой злобы, временами переходящей в ярость (зачтот?!); разве при таком настрое что-нибудь сделаешь?»* Из письма к Юне Вергман 29 октября 1969 г. См. МСС раздел «Письма» <http://www.antho.net/library/yacobson/letters.html> (прим. А Зарецкого).

<sup>3</sup> Переводы опубликованы в книге Тирсо де Молина, Толедские виллы, М.: Художественная литература, 1972. Перевод с испанского Е. Лысенко. Перевод стихов А. Якобсона (прим. А. Зарецкого).

<sup>4</sup> Адресат письма, Галина Трухачева, разрешила публикацию настоящего письма.

<sup>5</sup> Александр Викторович Недоступ?

<sup>6</sup> Людмила и Леонард Терновские.

<sup>7</sup> ?

<sup>8</sup> Алина Ким.

<sup>9</sup> Юлий Ким.

<sup>10</sup> Татьяна Баева. (заметила Н. Горбаневская)

<sup>11</sup> Татьяна Великанова.

<sup>12</sup> Нина Михайловна Коптелова.

<sup>13</sup> Галина Антипова, в прошлом редактор в Доме детской книги при Детгизе (указал Ю. Китаевич).

<sup>14</sup> Валерьян Якимов, муж Галины Антиповой (указал Ю. Китаевич)

<sup>15</sup> Николай, сын Г. Антиповой и В. Якимова (указал Ю. Китаевич).

<sup>16</sup> Давид Самойлов.

<sup>17</sup> Галина Медведева, жена Самойлова.

<sup>18</sup> Георгий Ефремов.

## **Ольга Рожанская<sup>1</sup>**

### **А. ЯКОБСОНУ**

Я знаю, ты еще живой,  
Поскольку говоришь со мной,  
А мертвые не имут речи.  
Что в землю лег в чужом краю —  
Твою манеру узнаю,  
И пью за дух противоречья.  
Когда простят тебе твой грех,  
Приди спасти меня от тех  
(Тут есть кому меня обидеть),  
Ко мне Вергилия не шли —  
Я ад видала на земли,  
А рая мне вовек не видеть.

### **ПОЭТ И МУЗА<sup>2</sup>**

А. Я.

#### **Муза:**

Вставай! Горит заря свободы,  
Из-под ворот рычат народы,  
И Слово Вольное с метлой  
Сияет бляхой.

#### **Поэт:**

Двери прикрой.

#### **Муза:**

Лежит, как сноп. Опух от сплина.  
Не хочешь тоги гражданина —  
Так запахни хотя б халат,  
Ведь, срам глядеть! А был крылат!  
Взмывал и реял, круг сужая,  
И камнем падал, в жилу жая.  
Аль нет? Ну, полно дуться! Встань!

#### **Поэт:**

Аминь, рассыпья! Сгинь. Отстань.

**Муза:**

Что, совесть? Нравственное чувство?  
Причастность к боли вне стиха?  
Вот то-то вижу: в банках пусто,  
Лишь сыра корочка суха.  
Мне, думал, дела нет до боли?  
А я-то, дура, пачку соли  
Тащила, раны посыпать.  
Ну, встанешь, неслух?

**Поэт:**

Встану, мать.

А. Я. <sup>3</sup>

Как спелый виноград, могилы лопнут.  
(Кончай базар! Вали на суд гурьбой.)  
Как трубный глас похож на пятистоппный  
Ямб, из гробов влекущий за собой!

Надгробье треснет, как созревший плод,  
(Меж «куф» и «бет» — разлом с неровным краем);  
И выйдешь в мир, который станет раем,  
Как в дверь входил — одним плечом вперед.

<sup>1</sup> Рожанская Ольга Владимировна (1951, Москва — 28 апреля 2009, Сицилия) родилась в семье научных работников (отец — физик, мать — историк математики). Закончив Вторую школу, в 1968-м г. поступила на мехмат МГУ, в конце 4-ого курса была отчислена по сигналу КГБ. Закончила математический факультет Калининского университета (1976). Работала в ВИНТИ, преподавала математику в ряде московских вузов. Член Союза писателей с 1993-го г. Стихи писала с детства, в 1980-м г. вышел самиздатский сборник «Далее везде». Впервые стихи были опубликованы как тексты романсов в книгах композитора Анатолия Александрова «Романсы» (1978) и «Театральные песенки» (1980). Публиковалась в «Континенте» (впервые — № 62, 1990), «Русской мысли», в российской периодике. Автор трёх поэтических книг: «Стихи по-русски» (М., 1993), «Дорога в город» (М., 1996), *Carmen Saeculare* (М., 2006). Погибла, купаясь в море на острове Сицилия.

Источник: <http://www.poesis.ru/poeti-poezia/rozhanskaja/biograph.htm> (прим. А. Зарецкого).

<sup>2</sup> Напечатано в журнале «Континент», 1989, № 4, с. 43-50.

<sup>3</sup> Источник: интернет-сайт об Ольге Рожанской  
<http://rozhanskaya.info/?cat=15&paged=2>

## **Всего лишь один эпизод...**

Моему поколению в середине-конце шестидесятых годов было тридцать или едва за тридцать. Это были полные сил, любознательные люди, библиофаги, знавшие толк в искусстве, музыке, литературе и смеявшие, когда того требовалось, сказать пользовавшимся неограниченной властью советским богам, что те только и годились на то, чтобы горшки обжигать, но даже и горшечниками были бы никудышными. К этому поколению умелых и смелых принадлежал А. А. Яковсон.

Друзья звали его Тоша.

Круг друзей не всегда и не у всех был так уж многочислен, но общие интересы, обсуждение любимых книг, выставок, понимание гражданского долга и такие значительные события, как аресты интеллигентов, обыски в их домах, суды над писателями и инакомыслящими, неизбежно приводили многочисленные дружеские кружки в соприкосновение один с другим, и родственные души находили друг друга мгновенно. В такие дни, едва встретившись, единомышленники быстро становились старыми друзьями. Именно таким образом я познакомилась с Тошей Яковсоном. Это было на похоронах писателя Костерина. Сразу же запомнился его голос, манера говорить. И больше всего поразили меня в нем добрая эмоциональность, способность сопереживания, глубокая участливость. Говорил он торопливо, перебивая самого себя, что совсем не мешало его слушать. К взволнованности его голоса нельзя было привыкнуть. Она поражала меня при каждой встрече с ним. Он не только производил глубокое впечатление обаянием собственной личности, но, не зная этого, оказал очень серьезное влияние на мою работу, на мой подход к чтению, к преподаванию литературы.

Как-то зимой, а было это то ли в конце 68-го, то ли в начале 69-го года, тихим вечером, что было необычно для нашей квартиры на Новолесной, где постоянно толкся народ, к нам забежал Тоша. Забежал просто так, оказавшись в наших краях. С ним была его трехногая собака. О ней он сказал: «Это мой новый друг».

— Где ты нашел его? Как его зовут? — спросил Илья, который млея при появлении четвероногих.

— Это не я нашел его, а он — меня, а как звать, я еще не придумал, — ответил Тоша и рассказал, как собака следовала за ним по улицам, не отставая.

О собаке он радел так же заботливо, как и о людях.

Далее, как водится, заговорили о литературе, о «Мастере и Маргарите», о Понтии Пилате и о страхе. Тоша сказал, что страх в случае



с Понтием Пилатом овладевает им безнадежно и до конца, но что бывает и по-другому. Бывает так, что однажды испытанный страх преобразует человека, вызывает в нем другие чувства и делает его бесстрашным. Тут он схватил с полки томик Льва Толстого, быстро нашел нужное место и начал читать:

«Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намеревался уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— *Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся*» (курсив мой — Г. Г.-Ф.)

Выделенные строчки Тоша прочитал как-то особенно взволнованно, а потом добавил:

— У Понтия Пилата нет стыда, потому и смелости ему не дано.

До этого вечера самое памятное место в «Хаджи-Мурате» для меня было описание гордой головы татарника (у Толстого — «татарина»).

Тошино чтение отрывка из «Хаджи-Мурата» заставило меня увидеть строки, которых я прежде не замечала. Я поняла, что мое чтение было таким, о котором в народе говорят «смотришь в упор и — не видишь». Его прерывистый голос, запинки, акцентирование слов сделали меня зрячей сначала в прочтении этого рассказа, а потом и в подходе к чтению вообще. В этот год я должна была сделать доклад и на его основе составить руководство для учителей по преподаванию «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. Его тогда впервые в советской истории ввели в программу средней школы. Во все время работы над Достоевским у меня в ушах звучал голос Тоши, читающий «Хаджи-Мурата». Работа в результате получилась добротной: ее оценили профессор Цейтлин, Юра Диков и Илья Габай, у которых получить высокую оценку было весьма нелегко. «Руководство...» хотели забрать при обыске 7 мая 1969 г. и приобщить к делу, по которому через несколько дней арестовали Илью. Но не забрали. Илья убедил обыскивающих, что это было написано не им, а мной для института усовершенствования учителей. Успехом этой работы (ее позднее зарезала школьная цензура, но у меня хранится подлинник) я целиком обязана влиянию Тоши Якобсона.

Прошло с тех пор много лет, и я уже давно не учительствую, но взволнованный голос Тоши Якобсона до сих пор звучит у меня в ушах:

IN MEMORIAM

---

«...с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся».

«У Понтия Пилата нет стыда, потому и смелости ему не дано».

Мне в жизни неслыханно повезло: судьба свела меня со многими незаурядными людьми. Среди них весьма значительное место занимает Тоша Якобсон, человек высокой совести и настоящей большой смелости.

*Актон, Массачусеттс, США*

*5 апреля 2005 г.*

Линда Герштейн

## Об Анатолии Яacobсоне<sup>1</sup>

Осенью 71-го, молодая и неопытная, — я впервые оказалась в Москве в академическом отпуске (*on sabbatical*<sup>2</sup>). Виталий Рубин<sup>3</sup> пригласил меня телеграммой («Приходите вечером, с Вами хотя бы познакомиться!»). На первый взгляд, все было, как обычно, — Ася и Ися<sup>4</sup>, народ из Фундаментальной библиотеки<sup>5</sup> (та самая «кафедра диссидентов»), кажется, также Гюзель<sup>6</sup>, вкусная еда, приготовленная «из ничего»; моя бутылка французского коньяка из посольства; меня, как заведено, подкалывают: «Вы хотите сказать — Вам все равно — еврейка Вы или нет?», и все прочее; мы негромко разговариваем, стараясь не привлекать внимание читателей библиотеки.

Внезапно — суматоха в дверях и громкий, радушный голос: «Очаровательная странница с Запада!» В комнату стремительно входит Толя, за ним, не торопясь, Майя и Надежда Марковна. «Сейчас Вы получите!», — улыбается мне Виталий со вздохом. Так это начиналось.

Он действительно хотел познакомиться со мной, хотя — в каком-то смысле, как мне показалось, — противился этому желанию. Поначалу я увидела в Толе человека, по-своему боровшегося с Западом. (Именно тогда я закончила свою книгу о Николае Страхове). Толя любил испанскую поэзию, о которой я, конечно, знала очень мало, и это давало ему преимущество в области, которую мы называли «Департаментом Поэзии»; но он хотел знать обо всем, что происходит в европейской интеллектуальной жизни, где преимущество было на моей стороне, и беспрестанно выпытывал из меня имена и книги, мысли и факты о мире за пределами СССР. Он очень гордился западными связями Надежды Марковны и тем, что Майя родилась в Америке. И тем не менее — сопротивлялся всему, что я рассказывала, воевал со всем. Не давал мне забыть тот французский коньяк («Наш — лучше». — «Вы шутите?» — «Да нет, наш, разумеется, — лучше!»). Разговор повторился несколько месяцев спустя, когда я привезла из Праги чешское пиво.

Он внимательно слушал, к примеру, мои рассказы о Джордже Орвелле в Барселоне, а затем произносил: «Ну, хорошо. Но разве Вам не кажется, что Достоевский все это уже сказал?» Мы много говорили о «еврейской проблеме Линды», которая так беспокоила Виталия Рубина (я-то себя считала просто «американкой»), однако, спустя месяцы, Толя в конце концов сказал: «Вы знаете, а я — москвич». Он чрезвычайно дорожил своей принадлежностью к московскому «пролетариату»; и все же, с гордостью представив меня своей матери как «экзотиче-

ское» интеллектуальное существо со знаменитого Запада, дал мне понять совершенно отчетливо, что превыше всего он ценит вот эту женщину, подарившую ему бесценную суть его естества. А когда стало очевидно, что ему придется покинуть Россию, он говорил: «Не хочу, чтобы мы встречались на чужбине». «Но, Толя, куда Вы направляетесь — это не чужбина, так же, как Бетховен — это не «зарубежная музыка»! (Меня забавляло, когда московское радио вело передачи «зарубежной музыки»). «И все-таки, не приезжайте ко мне туда, это буду — не я». Я и не приезжала, но когда все же добралась «туда» (что, кстати, разрешило мою еврейскую проблему: выяснилось, что я там — дома), — Толи уже не было.

Он был прирожденным педагогом, как говорили многие, и я тоже была его ученицей. Особенно любил он поправлять мой русский. Я говорила тогда по-русски и как черепаха, и как заяц одновременно, неуклюже спотыкаясь и одновременно быстро, с интонацией человека, от природы не различающего оттенков звука. Старательно сдерживая смех, Толя осторожно поправлял и ободрял меня, приводя в порядок мои лингвистические потуги. Случалось так, что я нечаянно заимствовала словечки из сомнительного детсадовского словаря моей трехлетней дочери, — это вызывало у Толи приступы смеха, и тогда он старательно пытался выправить мою речь так, чтобы сохранить ее аромат (так он говорил), и все же — сделать ее пригодной настолько, чтобы, не тревожась, выпускать меня на улицу. Вместе с Саней они даже начали составлять возмутительный словарь «Линдиной базарной речи». (Отчетливо помню, что Надежда Марковна — в некотором смысле пурист в том, что касается языка, — не приветствовала эту затею).

Толя был также и моральным ментором. А я, в конце концов, тоже стала москвичкой, когда мне совсем не хотелось уезжать на неделю в Ленинград, чтобы поработать там в архивах. Толя наставлял меня: «Возьмите себя в руки, в конце концов — это земля Ахматовой, будете там вести дневник». В мой первый день в Ленинграде мне попытались не позволить смотреть то, что я хотела. Я вспыхнула, возмутилась, устроила скандал в Пушкинском Доме и ушла вон. Застряв в Ленинграде на неделю, я общалась с Толей духовно: вела записи в своем дневнике. Как настоящий историк («росла», сказал он), я решила посвятить себя туристическому ознакомлению с историей Санкт-Петербурга. Задумано было неплохо. Но оказавшись в Петропавловской крепости, с которой я начала свое изучение, и где мне преподали бредовую ахинею о страданиях Веры Засулич (а я только что прочла в Москве огромное количество самиздата о ГУЛаге), — я вновь взорвалась. Однако, вернувшись к дневнику, следуя Толиному духовному призыву к взрослому здравому смыслу. Итоговая неделя, чрезвычайно полезная, породила страницы, страницы и страницы полуграмотного исторического

и нравственного анализа, написанного ужасно неразборчивыми каракулями.

Вернувшись в Москву, я вручила дневник Толе. Он вернул мне его через неделю, с тщательно выписанными чуткими комментариями и замечаниями, но, что важнее, он не сделал вообще ни единого исправления языка или правописания, что стало даже более поучительным уроком. Толя не только показал мне, как реагировать на историческую сложность и амбивалентность событий, он научил меня чему-то очень особенному: тому, как быть хорошим учителем.

Его вечно раздражала моя американская привычка запасаться, покупая по 20 пачек сигарет, когда на улице продавали мое «Солнце», или когда я покупала три пачки пельменей, «потому что они там были, и просто на всякий случай». Я всегда нахально реагировала: «Знаете, у меня нет склонности к русскому мазохизму, предпочитаю чтобы мои любимые сигареты лучше были, чем чтобы их не было», но Толя просто не желал позволять себе такую простую запасливость, — это выглядело, как если бы он стыдился любого комфорта. Я предлагала: «Я принесу салями», но он отвечал: «Не нужно, есть картошка, этого достаточно». Судьба семьи Улановских, Майина в особенности, судьбы Юлия Даниэля и Толи Марченко стали для него моральной травмой. Это объяснялось не только чувством вины несидевшего, но и глубинным уважением к тем, кто отважился на поступок и был «посажен», решимостью сделать себя хоть в какой-то мере достойным их. Все это, — но, конечно, не только это, — привело его к страстной увлеченности работой для «Хроники».

*History Department  
Haverford College  
April 2005*

- <sup>1</sup> Перевод с английского В. Емельянова. Публикуется с разрешения и одобрения Линды Герштейн.
- <sup>2</sup> Годичный академический отпуск преподавателя колледжа или университета для научной работы, предоставляемый раз в 5-7 лет с частичным сохранением зарплаты.
- <sup>3</sup> Виталий Аронович Рубин (1923–1981) — востоковед (синолог), активист еврейского эмиграционного движения.
- <sup>4</sup> Исаак Моисеевич Фильштинский (р. 1918) — известный ученый-востоковед, автор многих трудов по арабской истории и литературе. Ася Фильштинская — его жена, сотрудник ФБОНа.
- <sup>5</sup> Фундаментальная библиотека общественных наук (ФБОН).
- <sup>6</sup> Гюзель Амальрик — жена Андрея Амальрика. Андрей Алексеевич Амальрик (1938–1980) — историк, публицист, драматург, общественный деятель.

*Григорий Свирский*

## **Гениальный исследователь русской литературы**

Анатолий едва ушел от неизбежного ареста и лагеря, попросту говоря, — его вытолкали из страны. Он был настолько потрясен отъездом из СССР, что тяжело заболел. Потерял сознание и «скорая помощь» доставила его в госпиталь. Мы увидели его вскоре после того, как он вернулся из больницы. Договорились встретиться в университете, где он обещал нескольким бывшим россиянам рассказать о «Хронике текущих событий». Он стоял возле входа в библиотеку университета. Припустил редкий в Иерусалиме дождь. Анатолий остался под ливнем, не отряхиваясь, видно, не чувствуя дождя, живым воплощением тоски, «безнадеги», как он сам высказался о своем состоянии. В Москве мы лишь по слухам знали, что Толя был среди тех, кто участвовал в «Хронике текущих событий», которую преследовала власть. Творцы «Хроники» были как бы в подполье, и о ней я узнал лишь в тот день, когда наш давний приятель Марк Поповский принес к нам несколько первых выпусков, где были последние новости об аресте генерала Григоренко, а также о моих злоключениях.

Мы прониклись к Толе не просто симпатией, а глубоким состраданием, когда он заговорил на своей первой лекции о «Хронике». Он произнес слово «Хроника» с такой болью, как заговорил бы отец о своем сыне, от которого его, отца, насильно оторвали. Анатолий был блестящим преподавателем, знал на память бездну стихов Блока, Пастернака. Вскоре стало ясно, что он знает наизусть и весь Серебряный век. И сейчас он рассказывал нам, изгнанникам, о поэтах и 20-х годах России с таким увлечением и столь плотно по фактам, что все сидели не шелохнувшись, раскрыв рты. После лекции, когда окружавшая его толпа, наконец, разошлась, мы повезли его к себе. Полина, которая уже трудилась на химкомбинате в Беер-Шеве, предложила ему деньги. Он отвел их рукой, сказав, что уже работает. Добавил с усмешкой: «Почти по профессии». Выяснилось, что он разгружал мешки с мукой. Побывал я на этой разгрузке. Кроме Толи, трудились одни арабы. Кряхтя, они закидывали огромные мешки на высоко расположенные полки, и когда не удавалось закинуть мешок на место одним броском (не долетал он до полки или оказывался не там, где надо), помогали себе, поддавая, подталкивая мешок своей белой от муки головой. Анатолий был моложе и сильнее немолодых арабов, он закидывал тяжелейшие мешки сразу, «поддавать» мешки головой у него необходимости

не было. Арабы тут же усекли: новичок работает не по правилам, вовсе не так, как они, профессионалы, и тут же окрестили его: «Руски бли рош!» «Русский без головы». Когда я на другой день искал Толю, арабы, узнав, кто мне нужен, сообщали без улыбки, деловито: «А! Руски бли рош?! Он там-то и там-то...».

Я записал глубокую по мысли и образную по изложению лекцию о Пастернаке на магнитофон, на несколько кассет.

В это время в Иерусалим пришел гонорар за мою опубликованную в Париже книгу «Заложники». На весь гонорар я купил белую Вольво, и теперь частенько захватывал Толю, и мы мчались за город, в иерусалимский лес, посаженный израильянами после освобождения Иерусалима от иорданских властей. Сосны к этому времени поднялись высоко, и мы как бы на несколько часов переселялись в родные места. В привычное, пахнувшее сосной, Подмосковье. Еду непременно брали с собой: разжигать огонь в иерусалимском лесу нельзя. Нельзя даже собирать цветы. Однажды я забыл об этом, нарвал для жены маленький букетик ярко-красных цветов, похожих на крошечные анютины глазки. И услышал вдруг отчаянное хоровое восклицание: Асур! — на иврите — нельзя, запрещено! Весь класс израильской школы, прикативший на прогулку, объяснял нам, глупым «русским олимам», что в Израиле в лесу ничего-ничего рвать и портить нельзя! Ни в коем случае! А эти красные цветы — память о погибших солдатах...

О чем мы только в иерусалимском лесу ни говорили с Толей. Он читал нам письма, которые писал из Иерусалима Лидии Корнеевне Чуковской (дочери Корнея Чуковского). Толя был счастлив, когда приходили от нее письма, в которых Лидия Корнеевна его подбадривала, просила писать и писать. Часто вспоминали философа Карякина, нашего знакомого. Толя дружил с ним и любил рассказывать о нем и его работах о Булгакове. За лекцию о Булгакове в Союзе писателей СССР Карякина исключали из большевистской партии. Правда, за него вступился тогда редактор «Правды», и Карякину врезали строгий выговор с последним предупреждением. Когда он вышел после партийной «проработки» из дверей высшей Парткомиссии ЦК КПСС, лицо его, все в поту, горело огнем. Лишь закушенные почти до крови губы выделялись неестественной белизной. Приблизившись ко мне, он произнес белыми губами, полупшепотом: «Григорий, тебя сейчас будут убивать!». Что и произошло!..

Толя в те дни завершал книгу о Блоке, которая позднее вышла в Штатах. Готовил лекции, которые надеялся читать студентам университета, если предоставят такую возможность. Ему обещали дать такое место в Еврейском университете Иерусалима. Обещали и ему, и тем, кто за него хлопотал. Обещали, но... не дали. Анатолий Якобсон был настолько талантливее, ярче казенных профессоров-русистов, порой с трудом говоривших по-русски, что его, попросту говоря, боялись.

В те дни я думал, что такой страх перед новичками — особенность Израиля, где местечковый люд страшится конкуренции столичных ученых и преподавателей. Ничего подобного! Я встретился с тем же самым и в Новом Свете, когда преподавал в университетах Торонто и Вашингтона. Впервые, кстати, я услышал это слово в Вашингтоне от декана славянского факультета, который «рекомендовал» меня как профессора русской литературы в далекий университет. Завершив при мне весьма положительную характеристику, вполголоса и прикрыв рот рукой, добавил: «Но имейте в виду, он оверкволифайт». Это значило, что человек знает больше чем им, профессорам-русистам, необходимо.

Анатолий Якобсон приезжал к нам и ночью и днем, Полина его кормила, строго следя за тем, чтобы я не наливал ему водки. Водка, говорили после больницы, для него смертельна. К сожалению, Толя иногда появлялся и «под мухой». Он подружился с профессором математики Володей Гершовичем, бывшим российским диссидентом, лихим парнем, не боявшимся ни бога, ни черта, который, как и Толя Якобсон, клял местную бюрократию последними словами. Володя Гершович любил Анатолия и угощал своего друга, как принято на Святой Руси...

Вскоре мы собрались уезжать в Торонто, куда меня вызвали профессорствовать в университете. Напоследок мы снова отправились в иерусалимский лес, где услышал от Толи слова, полные боли и отчаяния: «Лучше бы я там сел в тюрьму, чем приехал сюда!..».

Самых лучших, самых талантливых своих сограждан изгоняла или гноила в тюрьмах советская Россия. Уничтожала во все годы своего преступного существования. Анатолий Якобсон не стал исключением. Он был слишком талантливым и независимым и для России, и для Святой Земли. И, боюсь, для Америки тоже. Может быть, в Гарварде он не был бы *оверкволифайт*. Да и то сомневаюсь...

Мы уже не жили на Святой Земле, когда Анатолий Якобсон, любимый учениками, рассеянными теперь по всей земле, глубокий и яркий знаток и исследователь поэзии XX века, гениальный, без преувеличения, литературовед, покончил с собой. Вернувшись через год, во время каникул, в Израиль, я попросил отвести меня на могилу Анатолия. Пришли на Масличную гору. Долго стояли в тоске и молчании.

*Торонто, Канада  
13.06.2005*



**Борис Дубин<sup>1</sup>**

## **Конец трагедии<sup>2</sup>**

Жизнь крупная и деятельная, всякий час отодвигая уже созданное ради предстоящего, убеждает самой своей наличностью, напрямую; закончившаяся и даже оборванная жизнь несет мысль общую, взывая к полноте понимания. Длится и завершенные судьбы связывает искусство — образец воплощенности, сила одоления случайного. Связывает, но примирить, вероятно, не может.

Историк по дипломной специальности и читатель по содержанию жизни, литературовед и переводчик, любимый преподаватель и активный правозащитник, один из редакторов неподцензурной «Хроники текущих событий», Анатолий Александрович Якобсон не по своей воле покинул Россию двадцать лет назад, а через пять, едва переступив рубеж сорокалетия, ушел из жизни. Его ученики 60-х годов теперь намного старше своего учителя, а целое поколение читателей середины 70-х — начала 90-х выросло, практически не зная ни переводов Якобсона, ни его работ о русской словесности, ни повседневного морального сопротивления беззаконию. «Винтики» той махины сносились и рассыпались, подробности дня отодвинулись в прошлое. Литература, бывшая потаенной и подсудной, распубликована и перекомментирована, Пастернак и Платонов встали между Островским и Фадеевым. Чем могут быть сегодня слова Анатолия Якобсона, выношенные им в противостоянии и подполье?

Выпущенные издательством «Весть» на средства почитателей, друзей и родных автора два тома включают большую часть написанного в России и в изгнании — самую крупную по объему, центральную по смыслу книгу о «Двенадцати» Блока и романтической идеологии русской интеллигенции начала века, фрагменты постепенно складывавшейся, но незаконченной монографии о Пастернаке, статьи, доклады и заметки об Ахматовой и Мандельштаме, Платонове и Шаламове, переводы из Лорки и Мигеля Эрнандеса, Верлена и Готье, Мицкевича и Петрарки, правозащитные письма и документы, интервью и дневники. Важная часть книги второй — дань памяти ушедшему: стихи Лидии Чуковской, Давида Самойлова, Георгия Ефремова, очерк Анатолия Гелескула, заметки и воспоминания Марии Петровых и Людмилы Алексеевой, Юны Вертман и Владимира Фромера, Юрия Гастева и других. Целое двух томов многосоставно. Подытоживающие формулы некрологов лишь несколькими страницами отделены от разговорных интонаций авторского дневника, образцы литературоведческого анализа соседствуют с подробностями биографии в интервью, высокие имена

учителей перекликаются с мемуарными домашними прозвищами, — черта пронзительная и тоже как-то передающая и живой облик Яковсона, и строй эпохи, пору его юности.

Сам автор говорит о себе крайне редко, но всегда с обычной четкостью и непретенциозностью формулировок (я бы вообще обратил внимание на то, насколько его напряженная и страстная мысль не красуется и поглощена делом, не педалируя эффектный афоризм и не отвлекаясь на сторонние обобщения, а чаще всего — и как раз в самых «личных» местах — прибегая к цитате. Может быть, наиболее интимная и глубокая работа, эссе об Ахматовой «Царственное слово», вообще на девять десятых состоит из полновеснейших цитат). В интервью о временах молодости сказано, что двигала им тогда «бескорыстная жажда понять мир». Насколько непросто труд понимания и каков груз его итогов, Яковсон — писатель и историк — вполне представлял. Но столь же ясно видел и альтернативу познанию: в том, что иные именovali покоем, он различал распад. Не зря эссе об Ахматовой объединяет тема противостояния забвенью, а в центре наиболее развернутой работы зрелых лет о «Вакханалии» Пастернака — усилье воскресения. «Как ни терзало бывшее, оно представлялось реальностью, а сегодняшнее — бредом. Пытка памятью была единственным спасением. Бегством от безумия» — это вырвалось в связи с Ахматовой, но сказано, вероятно, и о времени и о себе самом.

Яковсон жил литературой, учиться пошел истории, а преподавал (может быть, верней было бы «исповедовал»?) и ту, и другую. В этом тоже была здешняя традиция, черта эпохи. В середине 30-х воцарившийся режим запечатывал самостоятельную мысль, вводя в школы канон русской литературы и русской истории разом; приходя в себя во второй половине 50-х, молодежь обращалась и к начавшей просачиваться в печать «вычеркнутой» литературе серебряного века, а потом — к Пастернаку и Цветаевой, Ахматовой и Мандельштаму, Платонову и Булгакову и к тогда же заново опубликованным «Сочинениям» Ключевского (иные предпочитали «Историю» Соловьева). Толчком к пробуждению нередко бывали учителя, и на тогдашних уроках, равно как и на страницах воскресшей после долгих лет журнальной публицистики, в качестве решающего довода цитировали и поэтов и историков.

Борьба памяти с безвременьем, противостояние слова обступающей глухоте — внутренняя тема Анатолия Яковсона, нерв (а не только предмет) его работ. При этом сам он по неистовому темпераменту и деятельному складу ни пассивистом, ни созерцателем не был и отрыва от жизни других, как признавался в поздних дневниках, не чувствовал. Иное дело, разрыв со своей собственной, отдельной жизнью, которую (и по строю души, и по демократическим навыкам мысли), видимо,

не слишком ценил, в которую, кажется, не очень верил и в которую, в любом случае, не считал возможным вкладывать веские слова хемингуэвского героя о том, что человек в одиночку ни черта не может. Это было не признанием в слабости, а, вероятно, одним из первых свидетельств зрелости. И в тяге Якобсона к преподаванию, и в его неутомимости правозащитника для меня не только масштаб личности, не успокаивающейся на частном и обособленном, но понимание, что слово одного без выстроенного совместным трудом пространства общей речи невозможно.

Реальность же (Якобсон не раз цитировал этот образ из пастернаковского стихотворения «Рослый стрелок...») крошилась «по частям». Залогом общего понимания и вместе с тем примером осуществленности по давней российской традиции, виделась литература. Она была не только зеркалом самопознания, но и вызовом окружающему, изоляции и немоте, расколотости жизни на безликий конформизм «службы» и высокое красноречие «кухни». Подобной дилеммы Якобсон принять не мог. В открытом письме о демонстрации друзей и соратников 25 августа 1968 г. на Красной площади выделены курсивом два слова: «нравственный» («...явление борьбы *нравственной*») и «публичный» («...ни один акт произвола и насилия властей не прошел без *публичного* протеста»). Единство нравственного и публичного, для которого «честность в душе» — такой же чудовищный кентавр, как «борьба за мир», — выводило из дурной бесконечности двоемыслия.

Это пункт важнейший. О конфликтах подобного двоеверия — посвященная Блоку книга «Конец трагедии»; о его эпигонах, революционных романтиках советской эпохи, — эссе «О романтической идеологии». Для Якобсона само романтическое противопоставление «тоскливой пошлости» и «священного безумия», что отнюдь не сразу понятно, множит и увековечивает пошлость, лишая повседневную жизнь какого бы то ни было самостоятельного смысла. В истерическом пафосе, с каким над «низким» миром возносится образ Поэта, Якобсон прощательно различает и непомерность счета, предъявляемого жизни, и заведомое оправдание, даже восславление стихийности, сколь бы разрушительна она ни была. Околдовывающий разум Блока «всеобщий миф», при свете которого поэт «становится народным», его исследователю видится оборотной стороной блоковского признания об «инстинктивной ненависти к парламентам» и его столь будоражащих иные умы еще и сегодня слов: «Я — художник, следовательно, не либерал». Сами надмирные претензии европейского (Ибсен, Стриндберг), а потом и российского нищезанятия (от символистов до Горького) выдают для Якобсона его провинциальность. Ей противостоит «бесконечное достоинство отдельной души» у Честертона и трезвость аналитической мысли Рассела (его переведенная в 1959-м году «Исто-

рия западной философии» — еще одна настольная книга тех лет, поры яacobсоновской молодости).

Есть в этой раздвоенности (двойственном отношении к «явлению», «сознанию двух правд», определяющем для Блока романтический трагизм судьбы поэта, отделенного от народной «правды») еще и отзвук, а то и поза так и не пережитого детства. «Не пережитого» значит уже осознавшего себя детством, но лишь в одном смысле, когда не можешь ни стать взрослым, ни жить без «больших». И трагизм здесь, строго говоря, противоположен трагедии, увековечивая безвыходность раздвоения и преграждая путь к развязке, которая однократна и необратима. Личность или рождается, отделяясь от родового лона, или нет, быть между этими состояниями — судьба, цитируемого Яacobсоном «Недоноска» Баратынского, который «отбыл... без бытия», обращая в бессмыслицу даже «вечность».

Не зря Анатолий Яacobсон, столь чуткий к богатству детской оптики в художественном мире поэта (об этом его наброски о «Детском в творчестве Пастернака», фрагменты разбора пастернаковского «Зимнего утра» и записи из тетради «Детство»), так внимателен к свидетельствам взрослости в литературе, не говоря уже о жизненной установке и поведении. Он выделяет цветаевские слова о пастернаковской лирике как «поэзии вечной мужественности», цитирует шаламовское: «Поэзия — вызревший плод». Конфликт детской позы и позиции взрослого — в основе яacobсоновской работы «О поэзии гармонической и трагической». Полюс детского противостояния миру («тяжелой тяжести») с ним, по цитируемому Яacobсоном выражению Чуковского о Блоке) здесь связывается с такими фигурами, как Лермонтов, Блок, Маяковский. Полюс мужественности — с Пушкиным, Тютчевым, Пастернаком. Думаю, сдвиг внимания автора с Блока к Пастернаку не случаен. В последнем он видит «высшую концентрацию жизни», в первом — затаенную любовь к гибели (признание самого Блока; ср. с «боязнью и жадной развязки» в пастернаковских стихах о нем).

Как можно понять Яacobсона, именно раздвоенность поэта делает саму романтическую литературу столь предрасположенной к «идеологии». Расколотое сознание помещено в самый центр мира, и «отчуждение идеи совпадает с отчуждением личности». «Миф о поэте» раздавливает поэта, и агрессивность авторского «я» предвещает готовность принести себя в жертву целому. Для Яacobсона, начавшего книгу о Блоке утверждением протагоровского человека как меры всех вещей («идея, которой освящены все духовные ценности, добытые европейской культурой»), необходимость поступиться индивидуальностью во имя родового не приемлема и биографически: об этом его мысли по поводу национального самоопределения в «неофициальном интервью». Но обоснована эта позиция в немалой степени, думаю,

самим строем и судьбой дорогого Якобсону искусства. Пушкинским «самостоянием человека» он не пожертвует, как его верный читатель (не для эрудиции же он его читал, в самом деле!), характерным образом замечая: «Пушкин не нуждается ни в чьем сочувствии, он никому не исповедуется».

По складу Якобсон, мне кажется, тяготел к гармонии, может быть, родился для нее. Но зоркость мемуариста — ближайшего друга — подмечает черты необъяснимого сиротства, о чем говорят дневники самого автора. Не думая даже касаться тайны личности, питающих и покидающих ее сил, скажу лишь о глубочайшем внутреннем драматизме, сполна ощутившим, конечно же, в поэзии — в якобсоновских переводах. Помню его опубликованного в семидесятом Эрнандеса, еле переносимое соединение пылкой мощи с отчаянной недостижимостью цели. Сонеты гудели словом «мука». У Якобсона и Петрарка прочитан глазами Микеланджело. Но, как знать, не было ли здесь чего-то более общего, чем сугубо личные особенности или обстоятельства? О невыносимости безвременья, тесноте его рамок для недюжинной личности уже говорилось. Может быть, и подспудная нота в строе российской поэзии, «крик рождением выброшенного в этот мир ребенка, испуганного этим миром до конца жизни», отвечали чему-то в складе характера — ведь услышал же он этот крик. Тяжесть эпохи, сужающей горизонт мысли и поступка, нельзя сводить лишь к насилию власти. Давление принудительной партикулярности существования было не меньшим. А возможности литературы не беспредельны. Распутать узел, в котором столько сошлось, одному и в краткие отпущенные годы вряд ли кому под силу. От выбора Якобсон ни на йоту не отступился, но чего этот выбор стоил, вправе был бы сказать только сам.

Среди последнего, о чем он думал на страницах дневника, — новый необходимый этап общей жизни и истории, этап негероический, повседневный, который он называл португальским путем, связывая с ним отказ от мессианизма и обретенное «чувство меры, ощущение своих границ, своего места на земле».

Что означает это для литературы, тем более литературы русской, — вот, думаю, один из вопросов, завещанных Якобсоном дню нынешнему и завтрашнему. Остаться при сугубо эпигонском повторении сызнава тех романтических клише, которые он с такой ясностью разглядел и разобрал в книге 60-х, не значит ли опять завязнуть в том же неразрешимом повторении, безысходной раздвоенности миров и правд прошлого века? И не это ли повторение составило подавляющую часть умственной жизни последних лет, наполнявшихся сначала столь знакомой по статьям Блока и страницам якобсоновской книги о нем эйфорией, а затем — все тем же унынием? Трагедия тем и отличается от абсурда, что имеет конец. В этой связи я бы предложил как нель-

зя более всерьез и во всей полноте смысла воспринять заглавие труда Якобсона — «Конец трагедии».

- <sup>1</sup> Борис Владимирович Дубин (р. 1946, Москва) — российский социолог, переводчик англоязычной, французской, испанской и латиноамериканской, польской литературы, преподаватель социологии культуры в Институте европейских культур РГГУ и Московской высшей школе социальных и экономических наук, руководитель отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия Левады («Левада-Центр»), заместитель главного редактора журнала «Вестник общественного мнения». Главное дело жизни Дубина как переводчика — поэзия и проза одного из величайших писателей XX века, аргентинца Хорхе Луиса Борхеса. Источник: Википедия. (Прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Опубликовано в журнале: «Новый Мир» 1993, № 6.

**Виктор Каган<sup>1</sup>**

**Анатолий Якобсон<sup>2</sup>**

Толя сказал:

— Это очень здорово, что вы можете запоминать прямую речь. Я не могу, и потому никогда не буду писать воспоминаний о людях.

К сожалению, Толиных высказываний я помню немного и не вполне дословно.

\* \* \*

— По сравнению со старыми переводами (сонета 66 Шекспира. — В. Каган) перевод Маршака был, конечно, большим достижением. Вообще его переводы были тогда канонизированы, и высказать несогласие с ними было большой смелостью. И вдруг я набрел на перевод Пастернака...

...Независимо от Шекспира, перевод Пастернака — гениальное русское лирическое стихотворение.

На замечание, что перевод Пастернака сделан с позиции «маленького человека», сказал:

— Маленький человек в творчестве Пастернака — это сложный вопрос. Это тема для большого исследования.

Мы разговаривали по поводу его статьи «Два решения», кажется, единственной, опубликованной в СССР, когда он там жил.

\* \* \*

— Вариант

Только слышно кремлевского горца  
Душегуба и мужикоборца

несравненно сильнее, чем

А где хватит на полразговорца,  
Там припомнят кремлевского горца.

Тут страшная концентрация мысли. Ведь в русской литературе «мужик» традиционно обозначает не только народ, но и некое святое начало. И стало быть мужикоборец — это еще и сила дьявола. Будь этот вариант известен, Мандельштама бы, наверное, сразу уничтожили. [Теперь известно, что на допросе в НКВД Мандельштам записал второй вариант].

\* \* \*

— Научиться понимать стихи Мандельштама трудно, нужно к ним пробиваться словно сквозь стену, но когда эту толстую корку пробьешь, открывается бездонная глубина. А вот Пушкин, Ахматова — те, напротив, кажутся понятными и прозрачными до самого дна, но чем больше углубляешься, тем яснее видишь, что на самом деле дна нету.

\* \* \*

— «Сероглазого короля» все стихолобы десятки лет знали наизусть. Эта вещь совершенна, как камень. Верно, ее легко развернуть в целую повесть — так же, как, скажем, стихотворение Пушкина «Ворон к ворону летит». В этом Ахматова — прямой продолжатель Пушкина.

\* \* \*

Однажды произнес целую тираду, что Мандельштам и Ахматова были поэты, а Маяковский и Цветаева — поэтессы. Интересно аргументировал, но я, к сожалению, не запомнил.

\* \* \*

— У него интеллект как камнедробилка — отозвался он о нескольких людях, не вполне заслуженно, но замечательно образно.

\* \* \*

Рассказывал, что для Сахарова характерен нетривиальный подход к любой проблеме.

— Скажем, говорят: лес рубят — щепки летят. Сахаров спросил бы: а надо ли рубить лес?

\* \* \*

Пришел ко мне после срыва при выступлении на вечере памяти Марголина. Я высказал мнение об инциденте. Он сказал:

— Спасибо, вы были настоящим прокурором.

— Быть прокурором просто.

— Нет, это палачом быть просто, а прокурором очень сложно.

\* \* \*

В моем рассказе о попытке Короленко выступить против статьи Пятакова, в которой восхвалялся красный террор, сперва была фраза: «Спустя неполных двадцать лет он сполна испытал красный террор на собственной шкуре».

— «На собственной шкуре» — это нехорошо сказано. Как-никак, человека все же замучили, замордовали.



\* \* \*

Про О. Ивинскую сказал: — Я не колеблясь вынес бы ей приговор, хотя сам и не мог бы его исполнить.

[Ивинская присваивала посылки, которые Л. Чуковская поручала ей отправлять в лагерь («Записки об Анне Ахматовой», ч. II). Пастернак, понятно, этого не знал. Толя говорил, что между Чуковской и Ахматовой была размолвка, следует ли ему сообщить. Находясь в лагере, Ивинская как староста барака свидетельствовала против ээчки, которую судили за «антисоветскую агитацию». Выходя из лагеря, взяла у Н. М. Улановской связанный тою свитер для передачи дочери — и тоже присвоила. Последние два свидетельства исходят от Н. М. Улановской].

Разговор об Ивинской возник в связи с выходом ее книги «В плену времени».

\* \* \*

— Схваченного во время демонстрации, меня в наручниках бросили в КПЗ [камеру предварительного заключения. — В. К.]. Хулиганы собрались было бить. Я прислонился к стене, поднял над головой скованные руки, чтобы ударить первого, кто подступится, — и они не полезли. А узнав, за что арестован, и вовсе прониклись уважением.

...Судья молниеносно штамповала приговоры на 15 суток. Дошла до меня.

— За что задержан?

— Топтал на площади портрет Сталина.

— Садитесь.

Проштамповала остальных. Остались наедине.

— Я пишу приговор: штраф 50 рублей. Тогда дело закрывается, а иначе ему могут дать совсем другой ход. Можете Вы принести эти деньги в течение часа, пока я еще здесь? Если нет — я одолжу Вам.

Толя привел это как пример, что люди встречаются на всяких должностях. Были и другие версии этой истории, отличающиеся в деталях.

\* \* \*

— Мужество — это не просто бесстрашие, это прежде всего зрелость. Я, например, не считаю Н. М. [Улановскую] человеком мужественным, хотя она абсолютно бесстрашна. Другого такого бесстрашно-го человека я не встречал.

\* \* \*

— Если бы возможно было в крови измерять концентрацию страха, то у людей вашего поколения она оказалась бы выше, чем у моего. В моем поколении правозащитная реакция сильнее.

У меня, в СССР изредка читавшего со страхом и оглядкой «Хронику текущих событий», неизвестный, делавший ее, сознательно рискуя не только стоять, но и сидеть за свои принципы, вызывал глубокое почтение. При знакомстве с Толей меня в нем, пожалуй, больше всего поразило сочетание деликатности (не вежливости, а именно деликатности), доброты, мягкости и ранимости с характером и темпераментом бойца. Оно проглядывает и в тех немногих штрихах, которые я смог здесь воспроизвести.

*1990, Иерусалим.*

- <sup>1</sup> Виктор Каган — отец Лены Каган (ныне: Elena Sadovsky) — второй жены А. Якобсона. Физик В. Каган упоминается А. Солженициным в «Архипелаге ГУЛаг». См. рассказ о научно-техническом обществе 75-й камеры Бутырской тюрьмы 1946 г.: «Архипелаг ГУЛаг», Советский писатель, «Новый мир», 1993. Часть II, Гл. 4, с. 567. См. также: Н.В. Тимофеев-Ресовский. Воспоминания. «Согласие», Москва, 2000, с. 355, 359, 436.
- <sup>2</sup> Опубликовано в израильской газете «Калейдоскоп», 3 апреля 1992. Выпущено по публикации в книге: Виктор Каган. Воспоминания. Статьи и Рецензии. МАХАНАИМ. Иерусалим, 2007.

**Виктор Файнберг<sup>1</sup>**

## **Интервью Мемориальной странице**

Об Анатолии Якобсоне трудно говорить и писать, его образ ускользает от привычных стереотипов:

*«Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,  
А здесь он -...»*

Во Франции Тошка точно был бы зачислен в философы. В Англии стал бы, наверное, литературоведом, в США, скорее всего, — одним из современных «просветителей» (но совсем без кавычек). Знаменитая книга Тошки «Конец Трагедии» была впервые издана в США. В Израиле я его встретил в 1974 году рабочим-грузчиком, вкалывавшим на истощение. Это, впрочем, вина не Тошки и не Израиля. Кем же был Тошка по преимуществу? Россиянином, израильтянином, литературоведом, правозащитником, москвичом, иерусалимцем? Да всем вместе, чёрт возьми! И, если уж хотите общий знаменатель, вот вам — человек шестидесятых годов.

Годов Мартина Лютера Кинга, Андрея Дмитриевича Сахарова, Владимира Буковского, шестидневной войны, пражской весны и зарождения движения за права человека в Советском Союзе.

6 декабря 1973 года я приехал в Москву из Питера. Остановился у Павла Литвинова, и, словно Рип Ван Винкль, проспавший целую эпоху, жадно слушал «хронику текущих событий» за пять с половиной лет своей изоляции. Её мне в оба уха вещали Павлик Литвинов и его жена Майя. Больше всего меня поразили не события, а люди. Любая эпоха могла бы гордиться такими, как генерал Григоренко, Мустафа Джамилев, Леонид Плющ, Илья Габай и... Тошка Якобсон. Именно *Тошка*, а не Анатолий, потому что Якобсонов немало, а Тошка — один. Молодой учитель русской литературы в элитной московской школе читал лекции на таком уровне свободы, будто он вещал с кафедры Сорбонны или Принстонского университета.

Избрал супругу жизни по себе. Майя Улановская — человек беззаветной отваги, железной выдержки, наследница тех российских женщин XIX века, перед которыми склоняли головы Некрасов и Тургенев. Пытки не сломили её, она прошла свой крестный путь, как у нас говорят, во весь рост. У родителей Майи тоже неординарная биография. Отец до революции был в Туруханской ссылке со Сталиным. Там, как рассказывают, забрал у Сталина неразрезанный словарь французского языка, которым тот всё равно не пользовался. А. Улановский — герой Гражданской войны, высвободивший с горсткой партизан груп-

пу пленных красноармейцев. Впоследствии он и его жена выполняли опасные разведывательные задания за рубежом. Как и большинство энтузиастов большевистской революции, супруги Улановские оказались в Гулаге, а за ними последовала их дочь.

Мне кажется, ни о ком другом не говорила моя московская «родня» с такой любовью и восхищением, как о Тошке и Майе. Тошина открытость, душевная чистота, безоглядная готовность помочь любому и беспощадность к себе напоминали русских интеллигентов 19 века, искавших истины и справедливости. Он был один из тех редких людей, которые оставляют за собой легенды.

Известно, что зарплата советских учителей была очень низкой. В летние каникулы Тошка отправлялся на заработки. И вот, откуда-то из Сибири, местные работяги, с которыми он занимался лесосплавом, присылают письмо в Москву диссидентской братии, рассказывая, какого чудесного парня им довелось встретить.

Между тем тучи сгущались. Зловещие слухи о готовящейся ресталинизации брежневского режима вызвали демонстрацию в день 90-летия со дня рождения Сталина. Тошка в ней участвовал.

Он подписывал письма протеста и сам был автором многих таких писем. Он был одним из редакторов «Хроники текущих событий» и был постоянно на прицеле КГБ.

К 73-му году угроза лагеря, а то и психушки, стала весьма реальной. С болью в сердце, следуя настояниям друзей, он решил покинуть страну. Вот — всё, что я узнал о Толе и Майе в Москве, когда их там уже не было.

Прошло полгода, и 22 июня 1974 года я прилетел в Израиль, где ещё не затянулись раны войны Судного Дня. Но всё было как-то нарочито банально: торжественная речь какого-то чиновника, сентиментальность делегации французских евреев, бросившихся нас целовать, и, для равновесия, сочный русский мат аэродромных служащих, которые вспоминали недавний теракт японской *Красной армии*, в здании аэропорта. Наконец, подъезжает *ширут* — многоместное такси. Усатый водитель, говоривший по-русски с сильнейшим грузинским акцентом, ловко закинул наши чемоданы. Один из пассажиров, тоже кавказец, недавно приехавший сюда бывший подполковник советской армии, был увешан наградами. Он сказал: «У меня семья — девять человек, а дают квартиру из четырёх комнат. Скажу нашим там, и никто сюда больше не придет». Стройный, небольшого роста, капитан медицинской службы, возвращающийся с северной линии фронта, где ещё продолжалась артиллерийская перестрелка с сирийцами, приехал встретить своих родителей из Риги. Он был единственным пассажиром, который сохранял хладнокровие. Внешне он напоминал поручика Михаила Лермонтова на Кавказе. Непреодолимый советский инстинкт

побудил меня произнести реплику, которой я стыдился бы всю жизнь, если бы она не была такой смешной по своей «совковой» пошлости: «Не для того мы сидели в тюрьмах, чтобы с нами так обращались», — изрёк я. Не успел я ужаснуться пошлости спонтанно высказанной фразы, как её неожиданный эффект поразил меня ещё больше. Грузинский шофёр как-то странно замер, а латышский Лермонтов небрежно произнёс: «Только так и можно с ними разговаривать». Наконец поехали. По дороге молодой капитан знакомил меня с западной цивилизацией: «Вы никогда не пили кока-колу? Сейчас жарко, отведайте». Шофёр-усач, указывая на арабские виллы на придорожных холмах, сказал: «Видал? А говорят, херово живут». Потом включил радио: «Слышал, мы им дали п...ей!». «Вот, — подумал я, — всё как у нас, чего уж тут». И вдруг — кармельские горы, холмы и ловко вписанные в них высокие здания Хайфы. «Вот, приехал ты, вылезай», — добродушно сказал мне шофёр. Я вышел. «May I ask you?» — спросил я робко прохожего. — «Говорите по-русски», — ответил добродушный молодой человек с ощутимым питерским акцентом и показал дом, где живёт Владимир Фридман. Боже, сколько наших питерцев. Володя Фридман, инженер-кораблестроитель, работал в хайфском Технионе. Он сыграл огромную роль в моей жизни, просто-напросто спас меня.

Вскоре после приезда я встретил Тошку. Я был у Володи Фридмана, где собрались мои земляки — ленинградцы и украинцы. Родился я на Украине, но с пятнадцати лет жил в Ленинграде. Мне сказали, что я должен обязательно остаться в Хайфе, а потом Володя Фридман добавил, что москвичи просили меня приехать в Иерусалим, и именно к Тошке Якобсону.

Я его до этого не видел, как я Вам уже говорил. Я помню ещё, что я искал этот дом, эту квартиру, и по дорожке вдруг навстречу мне идёт какая-то женщина и здоровается, называя меня по имени. Я говорю: «Откуда Вы меня знаете?». — А она отвечает: «Я вас вычислила». Это была Майя. Зашли в квартиру. Тошки ещё не было, он позже вернулся с работы. Он меня обнял и заплакал, я помню. Он был очень чувствительный человек. И у него было чувство вины за то, что он уехал, что не сидел в лагере. Это — глупо, конечно.

Я встретил Тошу в его переломный период, когда его, после приезда в Израиль, просто подавляла и мучила ностальгия по России, по диссидентской и околодиссидентской среде, по русской культуре. Это был человек, который буквально жил поэзией. Он читал лекции о Пастернаке, Мандельштаме, Ахматовой. Писателями, о которых он говорил постоянно, были Толстой и Достоевский. Тоша всегда что-то выискивал у них.

Его квартира была всегда полна нашими русскими *еврейцами*, все слушали его с открытыми ртами. Сам он считал себя лучшим знатоком

русского языка в Эрец Исраэль, и в этом у него был только один соперник — Юлиус Телесин. По этому поводу они часто спорили, это было довольно забавно.

Вначале Тошка обжётся Израилем, но я его встретил уже в переломный период, когда Тошка полюбил Израиль со свойственной ему пылкостью, не изменив при этом России.

### **Когда Вы уехали в Англию?**

Улетел я в Англию 5 октября того же года. А потом, когда я приехал в Израиль, я застал уже только его могилу. В Англии я слышал о нём по отрывочным разговорам с Володией Гершовичем.

В своё время Андрей Дмитриевич Сахаров просил меня до Израйля захватить в Англию, чтобы дать там показания о пытках в психиатрических больницах. Этого и я хотел, у меня был большой долг перед всеми, кто остался в психушках. Но в Австрии, перед отправкой в Израиль, мне сказали, что сначала я, как положено, должен ехать в Израиль, а уже оттуда — в Англию. В Израиле некто Леванон, который раньше был в посольстве в Москве, сказал мне: «Мы Вам очень сочувствуем, но израильским гражданином, по нашему закону, можно стать только через год. Мы Вам дадим временный паспорт». С этим документом я и поехал в Англию.

В Англии мне стало известно, что британские психиатры не верят тому, что советские психиатры используют психиатрию в политических целях. Один из британских руководителей даже пустил слух, что это еврейская клевета и месть Советскому Союзу за то, что их собратьев не пускают в Израиль. Стало ясно, что необходимо создать организацию, и мы со своими британскими друзьями создали CAPAPP — *Campaign Against Psychiatric Abuse for Political Purposes*. В CAPAPP вошла дюжина членов парламента от всех трёх партий и большая группа крупных психиатров Англии. Председателем CAPAPP стал бывший главный психиатр британской армии времён Второй мировой войны. К нам присоединились крупнейшие писатели. Тогдашний самый популярный драматург Англии сэр Tom Stoppard<sup>2</sup> даже пьесу написал об этом «*Every Good Boy Deserves Favour*».

### **А когда Вы переехали во Францию?**

Во Францию я наносил «точечные» визиты. Первый раз я приехал в 1974 г. на маленький съезд русских и чешских диссидентов. У меня был друг Володя Борисов, с которым мы в тюремной психушке, но в разных камерах, провели больше пяти лет. Он был одним из организаторов СМОТ — «Свободного межпрофессионального объединения трудящихся». Это был первый в СССР свободный профсоюз, полуподпольный или даже подпольный. Большинство его участников уже «сидело». Я представлял СМОТ на Западе и поэтому зачастил во Францию,

а постоянно жил во Франции, наверное, с 1978–79 гг. До этого пять лет я жил в Англии, и там у меня большинство друзей.

Помню, Андрей Дмитриевич Сахаров мне сказал перед отъездом: «Тебя приглашает одна группа в Англии, выступающая против злоупотреблений в психиатрии в политических целях. Ты туда сначала поезжай, а потом уже в Израиль». В Израиль я хотел ехать, потому что у меня было что-то вроде чувства вины. В пересыльных Бутырках давали газеты. Потом, в психушке, газет, конечно, не давали. А в Бутырках я прочитал речь Садата о том, что надо затянуть пояса и готовиться к беспощадной войне с Израилем. Я подумал: «Над Израилем висит дамоклов меч, он может быть уничтожен в любое время, а наше движение может просуществовать ещё десятки лет». И я решил, что при первой возможности я туда уеду. Когда меня последний раз освободили, буквально через две недели, КГБ подслало ко мне человека, который, якобы, помогает желающим уехать в Израиль. Он мне предложил написать заявление о выезде. Я получал крошечную пенсию по инвалидности и жил у родителей. Моя жена развелась со мной, когда я был в заключении, как она заявила — из-за моей бескомпромиссности. Отца сделали моим опекуном и вписали мои данные в его паспорт.

### **Когда Вы приехали в Израиль, Якобсон работал грузчиком?**

Он работал грузчиком. Майю приняли в Иерусалимский университет, меня тоже должны были принять. А Тошка, как мне говорил Володя Гершович, по его возможностям должен был занять профессорскую кафедру. В университете не много было профессорских кафедр. А просто в университете работать он, вроде бы, не хотел. Он пошел работать грузчиком на очень тяжёлые работы, особенно трудные жарким летом. Большинство работяг было арабами. Надо было носиться по лестницам с тяжёлым грузом. Почти все были моложе его, а ему тогда было под сорок. Тошка был очень здоровый: он там всех побеждал, когда они устраивали борьбу. Всех работяг, за исключением одного марокканского еврея, который был профессиональным борцом. Они все Тошку просто обожали, несмотря на то, что Тошка давал этим работягам под задницу пинка, когда те вели между собой сальные разговоры, хвастаясь, кто с каким мальчиком переспал. Тошку это просто бесило.

И что меня просто поразило — они написали о нём такое же письмо, как когда-то написали его сибирские коллеги по лесосплаву.

**А что за письмо написали работяги? И правда ли, что, когда эти грузчики стали бастовать, Якобсон их поддержал против хозяина-еврея? Или это легенда?**

Это совершенно верно. Это всё происходило как раз когда я у него жил. Он всегда их поддерживал, всегда.

Когда Тошка уже не мог выдерживать интенсивного ритма работы, хозяин решил его уволить. Как-то Тошка увидел, что арабы сидят кружком, говорят между собой и что-то пишут. Когда он подошёл, они сказали: «Мы напишем хозяину, попросим его, чтобы он тебя оставил, что ты — хороший человек». Я это письмо хотел взять и обязательно послать нашим в Москву, но не получилось, уже не помню, почему.

Хозяину было, вроде, неудобно, и он на прощанье подарил Тоше пару ботинок, сказав: «У меня тоже еврейское сердце». А Тошка ему ответил на иврите: «У тебя не еврейское сердце, у тебя вообще нету сердца». Причём Тошка очень мало учился ивриту, но у него было великолепно развито чувство языка, как у настоящего лингвиста. Он самый стержень языка усвоил и мог объясняться с кем угодно на этом минимуме лексики.

Вот так его уволили.

**Якобсон пишет в своих дневниках, что работал грузчиком в период выхода из кризиса. У него была сильная депрессия с начала 1974 года.**

У него была сильнейшая депрессия. Его мучил один бывший советский психиатр. В Израиле, как я понимаю, не было своей психиатрической школы.

Одни психиатры были под влиянием советской школы, другие — американской. Тоша попал к «советскому» психиатру, который его мучил нейролептиками. Его состояние ухудшалось но, к счастью, он встретил молодого белорусского психиатра, который пользовался методами американской психиатрии. Я в теории психиатрической не очень разбираюсь, только в практике. Я пять с половиной лет просидел с психами. Так вот, это был очень умный, порядочный молодой человек. Я ездил к нему в больницу, чтобы поговорить о Тошке, которому он очень помог. Депрессия, по его собственным словам и по словам наших общих друзей, отчасти была связана с его ностальгией.

**Затем его приняли на работу в Иерусалимский университет: Д. Сегал и О. Ронен добились для Якобсона должности ассистента.**

Ему дали, кажется, полставки, но когда это было, я не помню. Я жил потом уже не у него, а в ульпане для холостяков.

**Кто приходил на квартиру к Якобсону на его лекции и семинары?**

Вездесущий Володя Гершович. Он очень любил Тошку. Володя был, да и сейчас такой же, бонвиван, застольный человек, москвич, обожающий диссидентскую и околодиссидентскую «братву». Он сам сидел в психушке.

Ещё Тошка говорил, что приходили братья *Авербушки* — это капитаны команды спасателей Тоши. У Тоши было действительно тяжёлое психическое состояние, и он ещё пил много. Майка ругала его за это.



Братья Авербухи были с Украины. Старший Авербух работал в университете, очень хорошо знал украинскую литературу и культуру. Он был религиозным, обожал иудаизм, говорил, что знаком только с самым краем необъятного океана иудаизма.

Младший закончил институт физкультуры в каком-то украинском городе. Это был совсем другой человек, прагматик, очень весёлый. Он преподавал физкультуру в школе в Иерусалиме. Ученики были, в основном, марокканцы. С евреями из Марокко, как мне объясняли, была сделана ошибка — их лишили марокканской культуры, а израильскую они ещё не успели усвоить. Поэтому они в то время оказались между небом и землёй. Они, чаще всего, не работали. Среди них был самый высокий процент хулиганства, преступности и проституции. Во всяком случае, тогда так было. Сейчас это больше свойственно русской среде, по тем же, видимо, причинам. И младший Авербух попал в школу, где, практически, никто не учился.

#### **А ещё кто приходил?**

Ещё приходил писатель Григорий Свирский, который потом переехал в Канаду. Свирский ходил на Тошины лекции и даже как-то ему помогал. Были там в основном молодые люди из России и Украины.

**Якобсон в августе 1975 г. был во Франции. Вернувшись, выступил с критикой сборника Солженицына «Из под глыб» и статьи Шафаревича.**

Когда вышел этот сборник, была очень бурная полемика. Но и до этого, даже до его высылки, уже было некоторое «похолодание» в отношении к Солженицыну.

**Упомянул ли Якобсон в своих беседах с Вами о своей матери Татьяне Сергеевне?**

Когда я у них жил, мы вместе с Тошей и его матерью ездили в два монастыря. Один монастырь был православный, в Иерусалиме. Там настоятельницей была бывшая великая княгиня.

В другой монастырь, католический, нас возил один православный священник, сравнительно молодой человек, ему было, может быть, лет 35. Это был очень скромный и очень сердечный человек, он очень сочувствовал диссидентам.

#### **С какой целью Вы посещали эти монастыри?**

Они хотели мне просто показать эти монастыри, а, может быть, и сами не были раньше в католическом. Цель моя была «шкурная». Я в то время больше всего думал о том, как вырвать людей из Гулага, особенно тех, которые сидели в тюремных психушках. Монахинями в католическом монастыре были, в основном, француженки и итальянки.

Татьяна Сергеевна, с моих слов, перевела им на французский: «В тюремной психушке в Ленинграде сидит один молодой человек, его зовут

Анатолий Чиннов. Он — православный и последователь известного русского богослова и философа 19-го века Соловьёва. Он прочёл все его произведения. Сам Соловьёв был близок к католицизму». Они меня перебили и сказали, что им всё равно, какой религии человек, они готовы ему помочь. Я сказал, что Анатолий Чиннов и молодой белорусский священник Борис Заливако решили вместе бежать за границу, воспользовавшись вторжением в Чехословакию. На границе по дорогам шли колонны войск, но они сумели просочиться. Их сами чехи задержали и предложили на них работать. Когда они отказались, их выдали советским. Заливако попал в лагерь, а Чиннов — в тюремную психушку. Его сестра, навещая его, приходила к врачу и объясняла, что её брат — совершенно нормальный человек, его нельзя держать в больнице. А в ответ слышала: «Как он может быть нормальным, если он верит в Бога?».

Монахини спросили меня, как они могут помочь. Я им ответил, что советские всегда боятся неожиданностей, и мне кажется, что, если неожиданно придёт письмо из Иерусалима, из католического женского монастыря, — это может подействовать.

Они сразу же написали, и, вы знаете, Чиннова действительно освободили.

**В отношении к религии у Яковсона, в его дневниках, весьма осторожные комментарии. В беседах с Вами он не затрагивал эту тему, например, когда вы ездили в монастыри?**

Когда он говорил о религии, это всегда, или почти всегда, было в контекстах Л. Толстого и Ф. Достоевского. Он любил их противопоставлять. Я думаю, он тогда уже искал, религия для него была важна. Он искал такую религию, которая не была бы опасной для человека. В его статье «О романтической идеологии» он как бы нашёл ответ на этот вопрос. Он говорил, что можно принять только такую религию, которая не носит в себе зародыша насилия и нетерпимости. Видимо, он имел в виду три религии монотеизма: иудейскую, христианскую и мусульманскую. Все три в разной степени носят в себе эти зёрна и поэтому приносят не только добро, но и страшное зло.

**Что Вы можете сказать по поводу работы Яковсона «Конец трагедии» и о статье «О романтической идеологии», где он выдвигает знаменитый тезис, впоследствии названный критерием Анатолия Яковсона, о том, что любая теория, идеология проверяется на отчуждение: можно ли эту идею преобразовать, использовать как оболочку и превратить её в совершенно противоположную.**

Эта книга была уже тогда издана, и Тошка подарил мне экземпляр. Когда, ещё в горбачёвское время, я встретил в парижском метро молодого биолога Николая Формозова, он рассказал, что Яковсон пользуется большой популярностью в Москве.

### **Якобсон в молодости занимался боксом...**

В 95-м году я был в России первый раз после 21 года отсутствия. И там, у Саши Лавута, я встретил его друга, который приехал с Украины. Он был интересный человек, близкий к диссидентскому движению, сам бывший боксёр. Мы говорили о Тошке, и он сказал: «О, я с ним боксировал, боксёр он клёвый».

В Израиле, как раз когда я жил у Тошки, он мне рассказал такой эпизод. У него был пёсик Том, очень симпатичный двухцветный пёсик, по-моему, дворняжка. Очень добрый был пёс. В субботу, когда все магазины еврейские закрыты, они вместе ходили в арабский магазин, и там арабы проявляли к ним некоторую враждебность как к «оккупантам». Однажды Тошка, обожавший Тома, гулял с ним по Иерусалиму, а навстречу шёл резервист лет 30-ти в израильский форме. Том оказался рядом с ним, и тот его отбросил ногой. Тошка к нему подошёл и одним ударом сбил с ног. В это время проезжала военная машина. Солдаты выскочили из неё, подошли у Тошке, и один сказал: «Ты ударил еврея», а Тошка ответил: «Я ударил подонка!».

### **Как Вы узнали о смерти Якобсона?**

Володя Гершович мне сказал по телефону. Конечно, это был страшный удар. А потом, уже через много лет, я в Израиль приехал всего на несколько дней, и Володя меня повёз куда-то, у него уже была машина. Я спрашиваю: «Куда ты меня везёшь?» — Он говорит: «Подожди». Вокруг — типично иерусалимский, библейский ландшафт — горы, пустыня, никого совершенно нет. И везёт меня, везёт.

Наконец, он остановил машину. Я вышел вслед за ним. И увидел надпись, высеченную на камне, — это была могила Тошки Якобсона. Это было как страшный удар. Вот это — наша последняя встреча.

### **Что было в жизни Якобсона более значимо: правозащитная или литературная деятельность?**

Я думаю, что это было настолько слитно, что оторвать одно от другого абсолютно невозможно. Он всё поверял поэзией, литературным творчеством: и мораль, и общественное движение. Он искал ответы у Толстого, Достоевского, у поэтов Серебряного века. Такое у меня было впечатление от нашего короткого знакомства.

В своих дневниках он меня назвал своим близким другом, но сказал, что мне не хватает духовности. Он это правильно подметил, потому что я был настолько захвачен переживаниями о тех, кто остался в советских спецпсихбольницах, что мог только короткое время говорить о поэзии. Я мог говорить о ней, когда отлегалось от души, а это бывало очень редко.

### **Ваша оценка личности Якобсона в целом?**

Тошка был человеком 60-х годов. А внешне — его лицо, глаза, фигу-

ра — он был воплощением русского израильянина. Это было не случайно, что у него произошёл перелом от неприятия Израиля до любви к нему. Он везде был, ездил в воинские части, уже все его знали. В то время русские евреи суетились: «Вот новая партия создаётся, пойдём вступать». Конечно, это его занимало, как и всех.

И сейчас, особенно сейчас, уже определяется новый тип еврея. Это — русский израильянин. Их община, которая формируется, и их интеллигенция уже играют значительную роль в стране. Эти люди не принимают мюнхенской позиции израильского правительства, их отталкивает безразличное большинство, которое ни во что не верит.

Я был в Израиле во время депортации еврейских жителей из поселений Гушкатив в Газе и Хомэш в Самарии. Я пять раз пытался туда пройти ночью через леса, но каждый раз нас хватали израильские солдаты и отдавали полиции. Я этого никогда не забуду. Я понял, что эта община сначала была дезориентирована, а сейчас это — люди, у которых совершенно другой опыт.

Тошка принес в Израиль духовные ценности, вывезенные им из России, и тот еврейский опыт, который примирил его с Израилем. В этом опыте было всё: и Катастрофа, и страдания, и поэзия.

Я думаю, что этот русско-еврейский сплав, который создал русского израильянина, уже *был* в Тошке. Даже его лицо было лицом типичного русского еврея. Я очень люблю маленький такой плакат — это увеличенная фотография израильских десантников у Стены Плача после освобождения Иерусалима. Там три человека: один — совсем молоденький солдат, два — чуть постарше, усатые. У одного из них — типичное лицо русского еврея, как у Тошки, хотя, возможно, он на самом деле сефард или сабра. Я очень люблю эту фотографию. По-моему, Тошка соединил в себе универсализм и чувство принадлежности к судьбе своего народа, который характерен вообще для еврейства. Мне так это представляется.

<sup>1</sup> Файнберг Виктор Исаакович (р. 1931), филолог (Ленинград); за драку с милиционером-антисемитом приговорен к 1 году исправительно-трудовых работ (1957); правозащитник, подписал письмо о процессуальных нарушениях на суде по делу Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (1968), участник демонстрации 25.08.1968 на Красной площади; политзаключенный (1968–1973, Ленинградская СРБ). Психиатрические экспертизы по делу Файнберга в 1973 г. (ПБ № 5, Ленинград) были переданы В. К. Буковским на Запад. Жил в Ленинграде, объявил голодовку в защиту В. К. Буковского; подвергался преследованиям: принудительная госпитализация (1974, ПБ № 3, Ленинград), из заключения передавал информацию о карательной психиатрии. Эмигрировал (1974), жил в Израиле, Великобритании, Франции, высту-

пал в защиту преследуемых в СССР диссидентов, был зарубежным представителем СМОТ. Живет в Париже. Источник: Г. Кузовкин, А. Макаров, Д. Зубарев и др. «Список граждан, выразивших протест или несогласие с вторжением в Чехословакию». <http://www.polit.ru/institutes/2008/09/02/people68.html> (Прим.А. Зарецкого).

- <sup>2</sup> Сэр Том Стоппард (1937) — английский драматург, режиссёр, киносценарист и критик. В 1977 в Лондоне в Королевском концертном зале состоялась премьера его пьесы «Каждый хороший парень заслуживает благосклонности» («Every Good Boy Deserves Favour»). С. создал её, вдохновлённый встречей с Виктором Файнбергом и основываясь на биографии Владимира Буковского. Свою следующую пьесу «Профессиональный трюк» С. посвятил Вацлаву Гавелу. В 1999 С. получил Оскар Академии киноискусств за сценарий к фильму «Влюблённый Шекспир». (Прим.А. Зарецкого).

**Эфраим Вольф<sup>1</sup>**

## **Памяти друга<sup>2</sup>**

**А. А. Якобсону<sup>3</sup>**

Душа свернулась в сгусток боли.  
Стою столбом. Незряч и нем.  
Ушёл от нас на веки Толя.  
Не попрощался он ни с кем.

Кто нам Цветаеву раскроет,  
Прочтёт Ахматову меж строк,  
Расскажет с ясностью такую,  
Кем были Пастернак и Блок?

Романтику годов двадцатых  
Кто гневным словом обличит?  
И кто в годах шестидесятых  
О чести вновь заговорит?

То был талант необычайный,  
То был прекрасный человек,  
И «Хроника» годов печальных  
Тому свидетельство вовек.

<sup>1</sup> Эфраим (Фима) Вольф (р. 1932), математик, член сионистской молодёжной организации «Эйникайт» в Жмеринке (1947), арестован и осуждён Особым Совещанием МГБ СССР на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, овобождён в конце сентября 1954 г. Репатриировался в Израиль. Житель Иерусалима. Автор стихов и песен на идиш и украинском языке (прим. А. Зарецкого).

<sup>2</sup> Прочитано на вечере памяти А. Якобсона 2 октября 2003 г. в Иерусалиме.  
<sup>3</sup> В дневнике Анатолия Якобсона находим запись, помеченную 10 января 1978 года: «Фима Вольф: смысл жизни — познание и созидание; цель — наслаждение смыслом» (прим. В. Емельянова).

*Марк Харитонов*

## **Отрывок из очерка «Три Еврея»<sup>1</sup>**

Якобсон сам подробней других документировал свою историю в дневниках, письмах и записанных разговорах. По его собственным словам, он свое еврейство переживал очень интенсивно с ранних лет, но в его творчестве — не в пример Габаю и Карабчиевскому — эта тема не отразилась никак. Уезжать он не хотел, из страны его выпирал КГБ, но, может быть, решающую роль сыграл сын Саша, рвавшийся туда. В последние месяцы перед отъездом я не раз встречался с ним и слышал, как по-мальчишески безапелляционно разглагольствует Саша — этакий идейный израильский комсомолец. Тоша улыбался с видом извиняющимся и влюбленным: он мальчика боготворил. И он страдал, зная, как отрицательно к планам его отъезда относятся самые близкие ему люди — Давид Самойлов и Лидия Чуковская.

(Уже после его гибели в посвященных Якобсону стихах Самойлов заметил, что выбор-то был между эмиграцией и лагерем: «Но кто б ему наколдовал баланду и лесоповал?» Лидия Чуковская против этих строк приписала «Я бы наколдовала».)

Лучше любых суждений со стороны — его собственные попытки изнутри разобраться в своей драме. В письмах из Израиля он говорил об этой стране восхищенно: если уж уезжать, то только сюда. «Так или иначе, я еврей. Я всегда знал, что я еврей. С детства. Я не считал, что это хорошо или плохо. Стало быть, я всегда любил Израиль... Что меня роднит с этой страной? Казалось бы, ничего... К культуре этой я не причастен... Государство — единственное, что меня привлекает. Ибо это сила, которая защищает евреев. И другой силы в мире нет и быть не может».

А потом, после еще нескольких рассуждений: «Короче, всё меня привязывало к России. И если проделать совсем уже беспощадный психологический эксперимент и задать себе вопрос: «А если бы у тебя, Якобсон, не было сына, который нас как бы взял всех и за веревочку привел в Израиль? Уехал бы ты из России или нет?» На этот вопрос, будучи честным, я ответить не могу».

И, объяснив еще раз, почему на такие темы невозможно гадать, столько в каждом конкретном случае сходится всяких «за» и «против»,

---

<sup>1</sup> Марк Харитонов. Способ существования. Эссе. Москва, «Новое литературное обозрение». 1998.

вдруг без особой логики заключает. «Думаю, что не уехал бы, если бы не сын».

Дело-то для него было не в том, хорош или плох Израиль. Он называл его «прекрасной чужбиной» — но все же чужбиной. «Люблю Израиль, — записал он в августе 1974 г., уже после тяжелой депрессии. — Намного ли больше люблю Россию? Да, намного. Израиль люблю, как жизнь, то есть не так уж сильно. Россию несравненно сильнее жизни. Там, там кости моих людей».

И 19 августа 1974 г.: «Повторяющийся, неотразимый сон про Россию, что вот в последний момент я не уезжаю, извернулся, переиграл, невыносимая радость во сне («я самый счастливый человек в мире») — и кошмар пробуждения».

И четыре года спустя, незадолго до гибели: «Временами думается — и чем дальше, тем чаще, — что Израиль для меня имеет смысл только негативный: это антиосвенцизм, отрицание, невозможность Освенцима — все. А положительное — духовное — содержание жизни народа для меня не более важно и значительно и, весьма возможно, менее благородно, чем бытие народа португальского и бельгийского, чтобы не сказать люксембургского».

После его смерти Майя Улановская, первая жена Якобсона, писала в Москву: «Ходят слухи, что Толю сгубила его несовместимость с Израилем. Это не так... Несовместим он был не со страной, а с жизнью».

Наверное, здесь своя правда. У самоубийства не бывает одной причины, и чужбина могла называться иначе. Но вот что писал сам Якобсон в неотправленном письме Юлию Даниэлю — еще в мае 1974 г.:

«Уезжая, я чувал, что совершаю почти самоубийство. Оказалось, что без всяких почти... Известно, что люди выносят любое горе. Но не всегда, не все люди. Есть такие, которые не выдерживают смерти близких, разрыва с любимыми, крушения своих идей, оскорбления и так далее. Изгнание у разных народов и в разные времена было высшей карой, родом казни. Я убежден, что были люди, которые от этого умирали, как умирали от любви. То, что я пошел на это добровольно из-за каких-то соображений (ты знаешь их), говорит только о том, что я не знал себя...»

Израиль, собственно, здесь ни при чем, так было бы в любой загранице, попади я туда без надежды на возвращение... Ностальгия — дело естественное и болезнь многих, но каждый организм болеет по-своему, а бывают, видимо, исключительные, ненормальные, неизлечимые случаи. Что делать, если я именно такая, сверхпатологическая особь».

Что тут можно добавить, кроме того, что такая «ненормальность» бывает сродни особой одаренности, тонкости, отличающей именно художников? И повторить вслед за Давидом Самойловым, посвятившим ему горестные стихи:



Убившему себя рукой  
Своею собственной, тоской  
Своею собственной, покой  
И мир навеки.

*Александр Шаров*<sup>1</sup>

## **Письмо Анатолию Якобсону Из архива писателя**<sup>2</sup>

Якобсон вошел в жизнь нашей семьи двумя путями. С одной стороны, он был мужем Майи Улановской, то есть членом очень близкой нам семьи. С другой — преподавал во Второй физико-математической школе, без преувеличения, школе замечательной. В ней в старших классах учился наш сын, и мы нередко общались со многими учителями и директором Владимиром Федоровичем Овчинниковым.

Потом эта школа, какой все ее помнили, была фактически ликвидирована; немалую роль тут сыграли и публичные лекции Якобсона. На одну такую, необычно яркую, смелую и очень для него важную, он, позвонив, пригласил Шарова.

В кратком вступлении к книге Якобсона «Конец трагедии» поэт и переводчик Анатолий Гелескул написал: «Его лекции, на которые шли всей школой, стар и млад, не были ни ликбезом, ни театральным действием. Он не поучал и никого не гипнотизировал, но будил души.... С его уходом из школы его деятельность как бы раздвоилась — на чисто литературную (он много и мастерски переводил) и правозащитную (смысл ее он видел в утверждении гласности — понятие в те годы преступное и уголовно наказуемое). Оба русла слились в его работах о русской поэзии, особенно в самой крупной и глубокой из них — книге о Блоке («Конец трагедии»). «Книга ходила в рукописи в узком кругу читателей. Среди них, правда, были К. И. Чуковский, Л. К. Чуковская, М. С. Петровых, М. М. Бахтин, А. Д. Сахаров, Д. С. Самойлов».<sup>3</sup>

На рубеже 60-х и 70-х гг. встал вопрос о неизбежности отъезда Якобсона из страны. Его с близкими заставили уехать. А если не уедут... В этой семье хорошо знали, что такое аресты, тюрьмы и лагеря.

Книга «Конец трагедии» (она посвящена Юлию Даниэлю — «благодаря ему я смолodu ориентировался на те представления о человеческом достоинстве и чести, без которых литературное дело есть ложь», — писал Якобсон) была сначала издана в Нью-Йорке в 1973 г. Шаров получил ее в подарок от Толи и очень скоро написал ему письмо.

Конец трагедии Анатолия Якобсона наступил в 1978 г. В 43 года он покончил с собой...

Как я уже говорила, никаких копий своих писем Шаров не оставлял. В семейном архиве сохранились в основном черновики и варианты его писем. <...>

*А. М. ШАРОВА*<sup>4</sup>

ПИСЬМО А. ШАРОВА А. ЯКОБСОНУ  
О ЕГО КНИГЕ «КОНЕЦ ТРАГЕДИИ»

Вероятно, единственное мое несогласие — или неполное согласие — с Вашей прекрасной работой в том, что Вы — и Вы тоже — глядите на происходящее в «Двенадцати» глазами нашего с Вами современника, словно из тьмы лагерей. А что видел или мог видеть Блок? Стихийное непредотвратимое движение, подобное извержению вулкана? Результат его? Но разве может даже гений видеть арифметический результат, если в истории он всегда двойствен, как при извлечении корня: равняется плюс-минус. А какой результат подвига Христа? Вся современная культура, но и инквизиция тоже, папский конкордат с Гитлером. И ведь даже английская демократическая цивилизация, одно из самых позитивных достижений цивилизации, — на крови. Пусть эта кровь «старая», но кто определяет в истории давность? Так что ж, народись какая-то цивилизация, через двести-триста лет потомки будут иметь право забыть кровь, которой она стоила? И Петербург — на крови, и значит, рожденная им вся прекрасная Пушкинская культура оплачена кровью? Так и не так. Не так потому, что в истории однозначного — только «плюс» или только «минус» — результата не может быть. И те наши современные демократы, которые принимают Англию за осуществленный идеал, — почему их не поражает, что в этой Англии и ее идеологии Оруэлл, например, видел возможности «англосоца»? Кто знает, может быть, он окажется прав. И инстинкт **власти, властвования** — кровавый, бессмысленный, жестокий — легко переварит демократию, даже английскую.

Что видел Блок? Бунт, бессмысленный и кровавый. Но и неизбежный. Неотвратимый. Двенадцать эти — «На спину б надо бубновый туз!». Они предвещают вступление в мир кровавого разгула, чего-то неведомого, что пройдет по жизням, по судьбам; преступного, всежигающего. Приветствует ли это Блок? Это наша нынешняя привычка — прежде всего спрашивать, приветствует или осуждает. «С кем вы, мастера культуры?» Это привычка и установка — к культуре относиться как к политике, прежде всего — как к политике. Блок не мог изобразить то, что надвигалось. И изобразил так, как это звучало в нем, ту мелодию, которую он только и мог услышать. Именно мелодию, а не марш в определенном направлении. Впрочем, то направление — к преступлению, к бесчеловечности — в поэме есть. Оно суть ее.

Но почему же тогда «Впереди — Иисус Христос» «В белом венчике из роз»? Не только потому, что все-таки «золотник правды» во всем этом был — в неизбежной расплате хотя бы за ту же кровь, которая под Петербургом. Вспомним, что и Пушкин писал: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!», но тут же в за-

метках для царя Николая о бунтах оправдывал бунты, подсчитывал жестокости, которые неизбежно к бунту приведут. И у Пушкина нет только «плюса» и только «минуса». И среди декабристов Пушкин различал (как это изображено в прекрасном стихотворении Д. Самойлова<sup>5</sup>) Пестеля с его холодной рациональной безжалостностью — и Пущина.

Христос впереди кровавого потока. Так где же ему быть? Ведь он искупитель. Ведь в том его величие, что он принимает и искушает всю грязь и всю кровь мира. Мир рвануло в черное, страшное, но неизбежное. И поэт, как и Христос, смотрит не со стороны, а прямо во мглу, да еще глазами, застланными кровью. Другой позиции у поэта быть не могло. У публициста — другое дело. И как публицист — в «Двенадцати» нет с этим никакого противоречия — просто здесь музыка отчаяния, а там — мысль отчаяния. И произнося эту речь, Блок-публицист не отказывается от того, что изобразил Блок-художник. Христос идет впереди не потому, что он оправдывает, указывает путь — это дело политика, вожака, а не Сына человеческого, а потому, что он должен искупить и эту муку, сужденную человечеству. И Блок рисует Христа просто потому, что в сумасшедшей метели видит, слышит его тихую надвьюжную поступь. Ведь Христос шел уже раз — и один ли раз? — на Голгофу.

<sup>1</sup> Александр Израилевич Шаров (Нюрнберг) (1909–1984), писатель.

<sup>2</sup> «Вопросы Литературы», 1 января 2002.

<sup>3</sup> В действительности речь идет о предисловии А. Гелескула к публикации эссе «О романтической идеологии» в журнале «Новый Мир», № 4. Москва, 1989 (прим. В. Емельянова).

<sup>4</sup> Вдова писателя Александра Шарова.

<sup>5</sup> Имеется в виду стихотворение Д. Самойлова «Пестель, Анна и поэт».

*Наталья Григорьева (Гелина)*

## **«Анатолийч» и «Юночка», или уроки литературы и истории**

В Москве, совсем рядом со станцией метро «Беговая» расположен 1-ый Хорошевский проезд, некогда очень тихая и зеленая улочка. Если идти от метро, то с левой стороны проезда тянется вереница однотипных четырехэтажных жилых зданий с уютными двориками. Дома начали возводить почти сразу после войны, в конце 40-х, строили их пленные немцы, позже эти дома заселили, в основном, семьями военнослужащих. Почти одновременно с жилыми домами, прямо посередине 1-го Хорошевского проезда построили школу № 689, типичное школьное здание постройки конца 40-х начала 50-х годов, их и сейчас в Москве сохранилось немало. На фоне однотонных домов, школа выделялась красной кирпичной кладкой. Поскольку дома, близлежащие к школе, были заселены семьями военнослужащих, то, соответственно, и ученики школы, процентов на 90 — дети военных.

К моменту начала работы в нашей школе Анатолия Якобсона здесь сложился коллектив прекрасных преподавателей. Уроки математики у нас вел Георгий Саввич Саркисянц, физики — Ия Борисовна Розовская, географии — Петр Григорьевич Королев. Об этих учителях и об их уроках можно сказать очень много благодарных слов, а вот с учителями истории и литературы как-то нам не везло. Новый учитель истории появился в нашей школе где-то в середине учебного года, примерно в декабре 1959 г. С начала учебного года у нас уже сменилось несколько преподавателей истории, и в наших трех «восьмых» классах Анатолий был четвертым или пятым учителем истории с начала учебного года. К тому же, наш 8 «Б» был без классного руководителя, и им предстояло быть Анатолию Якобсону.

Наш новый учитель истории был очень молод — ему было всего 24. Похоже, что еще у него не было опыта работы в школе и, по-моему, мы были его первыми учениками. Он только недавно получил диплом, и на лацкане его пиджака поблескивал ромбик выпускника вуза. В его поведении было еще что-то мальчишеское. Он совсем не соблюдал дистанцию учитель — ученик. Он запросто мог кому-то из старшеклассников представиться при знакомстве как Толик, на перемене, в школьном дворе, побороться и поиграть в шумные игры с мальчишками нашего класса. Мы же, его ученики, всегда старались держать эту дистанцию: ведь мы еще были дети в пионерских галстуках, а он — наш преподаватель и классный руководитель, как вскоре мы узнали, уже семейный человек — отец крохотного сына Саши. Может быть, поэтому мы вско-

ре стали за глаза называть его Анатолич. По-моему, на первых уроках мы лишь наблюдали за ним, он был необычен. Ни по каким признакам он не походил на обычного школьного учителя.

Он заявил нам, еще где-то на первых уроках, что учебник истории можем выбросить, что учить историю мы по нему не будем, что будут читаться лекции, и что нам надлежало записывать их и впредь готовиться к урокам по этим конспектам. В отличие от других учителей он никогда не носил галстук. Верхние пуговицы его цветных или клетчатых рубашек были расстегнуты. Он очень стремительно передвигался по классу и за каких-то пару секунд мог оказаться у последней парты, застав враспloh кого-то из учеников, занимающихся чем-то посторонним. Ну, и совсем необычным он был тем, что уже вскоре на его уроках зазвучали стихи. Обычно это было спонтанно и зависело от его настроения. Помню, как-то придя на урок, он сел за учительский стол, немного помолчал, а потом сказал: «Не листайте лихорадочно конспекты, я сегодня не буду спрашивать. Я буду читать стихи». И зазвучало:

Что не пройдет —  
Останется,  
А что пройдет —  
Забудется...  
Сидит Алена-Старица  
В Москве, на Вшивой улице...

Обладая прекрасной памятью, Анатолий знал все стихи наизусть. Я не помню случая, чтобы он читал какие-то стихи с листа. Он много читал нам стихов Маяковского. Я помню, как он читал нам поэмы «Хорошо», «Во весь голос», «Юбилейное» и др. Очень любил читать стихи Эдуарда Багрицкого. Именно от него мы впервые услышали такие стихи, как: «Птицелов», «Арбуз», «Суворов», «О Пушкине», «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» и др. Иногда он читал нам что-то из своих стихов. Он говорил, что вряд ли когда-нибудь их напечатает. При чтении стихов он волновался, доставал и мял пальцами сигарету, иногда, не выдержав, открывал окно в классе и жадно закурился, делая несколько глубоких затяжек.

В то время у Анатолича еще не было литературных кружков, лекций и семинаров, и мы, наверное, были его единственными слушателями. Но мы были очень благодарной аудиторией, так как уроки литературы в восьмом классе у нас проходили довольно скучно и однообразно. Нас учили писать сочинение по заранее составленному плану, по произведениям, входящим в школьную программу. Естественно, при этом никаких своих чувств и мыслей при написании сочинений не возникало, все сдувалось из школьного учебника. Поэтому все домашние и классные сочинения были похожи, как две капли воды. Стихи, тем более,

стихи поэтов, не входящих в школьную программу, на уроках литературы не звучали.

Было понятно, что историей он занимается только для работы, а поэзия — часть его души, его жизни. Что подкупало в нем, так это его непосредственность и откровенность. Он мог запросто посмеяться над своими недостатками, рассказывая нам смешные эпизоды из своей жизни. Помню, как-то рассказывал нам, что в школе ему плохо давались уроки черчения. Даже начертить обычную рамку ему удавалось с трудом. По черчению он получил переэкзаменовку. Его школьный товарищ вызвался ему помочь. После нескольких неудачных попыток друг сказал: «Знаешь, Толя, в цирке и медведя учат ездить на велосипеде, но тебя научить чертить невозможно». Он сделал за него наиболее сложные чертежи. Анатолий пришел на переэкзаменовку, достал чертежи, и учитель тут же сказал: «Вот эти чертежи делал Якобсон, ты, а остальные — кто-то другой». И поставил ему тройку.

Или о своей забывчивости рассказывал такой эпизод. «Был я в гостях у родственников, собрался уходить и вышел в переднюю, чтоб одеться. В коридоре стояло зеркало. Я собираюсь надеть кашне, вдруг вижу в зеркале, что оно уже у меня на шее. Я подумал, что схожу с ума. Оказалось, что мне и моему родственнику привезли в подарок одинаковые кашне, и я, надев свое и увидев точно такое же, решил надеть и его».

К началу следующего учебного года учеников, окончивших восьмой класс, заметно поубавилось. В стране была принята новая школьная реформа, по которой школы переводились на всеобщее одиннадцатилетнее образование, с обязательной трудовой практикой. Многие ученики переходили в оставшиеся кое-где школы-десятилетки, другие переводились в вечернюю школу и шли работать, чтобы заработать два года рабочего стажа и иметь преимущество при поступлении в институт. Из трех бывших восьмых классов сформировали два девятых, ученики которых были первыми выпускниками школы-одиннадцатилетки. По новой школьной программе мы учились в школе лишь четыре дня в неделю, и два дня проводили на производственной практике. Большинство учеников нашей школы ее проходили на московском заводе радиодеталей.

Анатолий продолжал преподавать у нас историю, а по литературе появился новый учитель — Юна Давыдовна Вертман. Они обязательно когда-нибудь должны были встретиться в этой жизни. Так уж было уготовлено судьбой, что встретились и познакомились в нашей школе.

У них было очень много общего: примерно одного возраста, оба прекрасно знали литературу и старались напичкать этими знаниями нас. У обоих была одинаковая методика преподавания. Первое заданное Юной Давыдовной домашнее сочинение, после проверки, принесло много троек и двоек. Аргумент: «Списано со страниц учебника».

Юна Давыдовна также заявила, что школьным учебником пользоваться не будем: наша школьная программа будет намного расширена, и она познакомит нас с творчеством таких писателей и поэтов, имен которых мы, наверное, и не слышали. Они оба не терпели штампов и не хотели, чтобы их ученики имели представление об их предметах, пользуясь лишь стандартными учебниками. По характеру они были совсем разными. Анатолий — «взрывной». Мог накричать на ученика, особо нерадивого, вклеить подзатыльник и вышвырнуть из класса. Юна Давыдовна, напротив, была очень спокойная и невозмутимая. За все годы, что она преподавала у нас литературу, я помню лишь два случая, которые вывели ее из себя.

Как-то незаметно мы стали называть ее между собой Юночка.

Очень скоро для нас эти два имени: Анатолич и Юночка — как бы слились воедино. Мы не удивлялись, когда на уроках литературы, в свободное от своих уроков время, появлялся Анатолий. Наш Анатолич уже не был одинок среди солидных по возрасту преподавателей. В школе у него появился друг и единомышленник. Они вместе организовывали для нас лекции, литературные вечера. Я помню, как у нас выступали известные тещы Яков Смоленский и Эммануил Каминка. Выступала с лекцией о современной поэзии литературный критик Галина Белая. Читал свои переводы поэт-переводчик Грушко. Юна Давыдовна организовала в школе драмкружок, и поставила такие спектакли, как «Ноль по поведению» и «Обыкновенное чудо».

Время тогда было очень благодатное. Эти годы потом назовут «годы оттепели». В стране издаются книги писателей, которые не издавались десятилетиями, журналы тоже не отстают, и печатают очень много хорошей литературы. Народ, как бы чувствуя, что это ненадолго, набрасывается на это чтиво. Книги становятся большим дефицитом. Поэтому я и сейчас ума не приложу, как Юночке удавалось принести на урок томик Цветаевой, «Одесские рассказы» Бабеля, пьесы Олеси, а то и свежий номер «Нового мира», с впервые опубликованными рассказами Солженицына. Сколько же всего за годы ее преподавания было нам прочитано.

Я помню, как однажды, раскрыв какую-то книгу, она стала читать: «Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, быстрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дырки выглядывает кожа, темная от солнца и грязи. Он похож на сухую былинку — дует ветер с моря и носит ее, играя ею, — Пепе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишко: — Италия прекрасная, Италия моя...». Так она нас познакомила со «Сказками об Италии» Максима Горького.

А чуть позже уже читается «Один из королей республики» из его очерков «В Америке». «...Стальные, керосиновые и все другие короли



Соединенных Штатов всегда смущали мое воображение. Людей, у которых так много денег, я не мог себе представить обыкновенными людьми. Мне казалось, что у каждого из них, по крайней мере, три желудка и полтора штук зубов во рту. Я был уверен, что миллионер каждый день с шести утра и до двенадцати ночи все время без отдыха ест...».

Как же мы были удивлены, что это написано Горьким, так хорошо знакомым нам по школьной программе как автор романа «Мать», пьесы «На дне» и вызубренной наизусть «Песне о Буревестнике».

На другом уроке литературы читается нам любимые ею главы из романа Толстого «Петр Первый». Были прочитаны пьесы Олеси «Зависть» и Шварца «Голый король» и много других замечательных произведений. Всегда наш преподаватель литературы припасала на урок какую-нибудь интересную книгу, благо уроки по литературе были сдвоенные, и на чтение всегда хватало времени. Иногда Юночка приносила нам не только художественную литературу. Как-то раз она достала из сумки замечательную книгу Чуковского «Живой как жизнь». Как же мы смеялись над примерами, как уродуется и засоряется ничемными словами наш «живой и могучий».

Однажды на уроке была зачитана статья из свежего номера литературной газеты. Автор статьи, ленинградский учитель литературы Наталья Долинина делилась с читателями своими мыслями о преподавании литературы в школе. Долинина сокрушалась, что учитель, придерживаясь школьной программы, вынужден преподавать произведение автора, которого он сам не любит. Видно было, что Юна Давыдовна целиком была согласна с автором статьи и сочла необходимым прочитать эту статью нам. На уроках литературы мы, в свои неполные восемнадцать лет, «получили на блюдечке» почти все сокровища русской и советской литературы.

Придя в сентябре 1962 г. в одиннадцатый класс, мы вдруг узнаем, что Анатолий не будет больше преподавать у нас историю, а вместо нас он взял восьмые классы. Мы не понимаем этого «предательства». На наши вопросы Анатолич отшучивается. Уже позже до нас дошло, что он не хотел преподавать историю с периода октябрьской революции, ни, тем более, вести такой предмет, как обществоведение. Он очень хорошо был осведомлен, что творилось в стране во все последующие после революции годы, а рассказать нам, школьникам, всю правду об этом периоде он не мог. Я помню, как на одном из своих уроках в десятом классе он рассказывал, какими методами заставляли давать показания вожака и кумира комсомольцев 30-х годов Александра Косырева. Я уж не знаю, как он объяснил свой отказ вести в одиннадцатых классах историю руководству школы, но он своего добился. Уроки истории стала вести у нас новая учительница, которая всю информацию об этом периоде черпала из школьного учебника истории.

В 1963 г. мы закончили школу. В школе № 689 была традиция — каждый год, в первую субботу февраля выпускники всех лет собирались в школе. На вечере встречи в 1967 г. провожали на пенсию двух наших учителей, много лет проработавших в школе. Это завуч младших классов Ревекка Борисовна и наш классный руководитель, преподаватель физики Ия Борисовна Розовская. В школе собралось очень много учеников, а также пришли все преподаватели школы. Каждый из выпусков стоял отдельной группой в актовом зале школы. Вдруг в дверях появился Анатолий и, завидя нас, направился к нам, широко улыбаясь. Он такой же молодой и красивый, в светлом вязаном свитере. Протянул нам свою широкую ладонь, а мы, поочередно, накрыли ее своими ладошками. Своей второй ладонью он накрыл эту гору ладошек и вот так мы поздоровались. Мы спустились в свой класс и о чем-то поговорили.

Больше мне не пришлось встречать Анатолия. Вскоре нашу школу расформировали (говорили, что из-за недобора учеников). Номер школы присвоили какой-то другой московской школе. Здание передали профессионально-техническому училищу, которое до сих пор располагается в нем. Думаю, что уже никто из выпускников не входил в здание школы. Прошло уже более сорока лет, но я уверенностью могу сказать, что на протяжении жизни, я и мои одноклассники не забывали уроков Анатолича и Юночки, испытывая к ним огромную благодарность. Они совсем не были учителями «от бога», просто в их жизни был такой период, когда им пришлось преподавать в школе. Думаю, что и обязанности, которые налагаются на школьного учителя помимо преподавания (педсоветы, родительские собрания, классное руководство и др.) были им в тягость. Через несколько лет они уйдут из школы (Юна Давыдовна в театральную режиссуру, Анатолий Александрович — в литературу и правозащитную деятельность).

Но именно таких учителей по литературе и истории всегда не хватало школе.

В 1962 г. издательство «Художественная литература» выпустила сборник стихов поэтов Латинской Америки «Заря над Кубой». Среди поэтов-переводчиков — Анатолий Якобсон. Мы всем классом купили этот маленький сборник, он и сейчас стоит в моем книжном шкафу. Я очень хорошо помню, как Анатолич читал нам свои переводы из этого сборника. Среди них было и стихотворение «Свобода» Чео Альвареса:

Если бы все люди знали,  
ощущали это счастье —  
не дрожать под игом власти,  
то свободу б не теряли.

Только многие едва ли  
Различают вкус свободы, —  
Вот, лишась ее на годы,  
Воспылают к ней любовью  
И тогда готовы кровью  
Оплатить ее расходы.

Мог ли кто-нибудь из нас тогда предположить, что эти стихи окажутся пророческими? Пройдет совсем немного лет, и Анатолий Якобсон станет одним из тех, кто будет бороться с тоталитарным режимом за свободу слова. Приходилось читать статьи в прессе, где писались всякие пасквили на него. Но верить в это мог тот, кто не знал Анатолия. Мы, его бывшие ученики, знали, что он всегда был честен, и никогда не был меркантилен. Как сейчас, спустя более 40 лет, вижу идущим Анатолия зимним днем по Хорошевскому проезду. На нем коричневое нараспашку пальто, на голове меховая шапка-пирожок, папка под мышкой, пальцы рук крутят короткую бечевку. Идет он, ни на кого не обращая внимания, губы что-то шепчут. Когда я вспоминаю Анатолия Якобсона, то сразу в памяти возникают строки Марины Цветаевой:

В его лице я рыцарству верна  
— Всем вам, кто жил и умирал без страха, —  
Такие — в роковые времена —  
Слагают стансы — и идут на плаху.

*Маале Адумим, Израиль  
Январь 2006*

*Лев Меламид<sup>1</sup>*

## Случай в Бельцах

История такая. Толя, когда мы жили вместе у него в Неве-Яков, в какой-то день пришёл домой и говорит: «Вот, представляешь, какая история замечательная. Еду я в автобусе — иерусалимский автобус — и вдруг меня человек трогает за плечо и говорит: «Здрасьте, вы меня не помните?», а я ему: «Нет, а что? Напомните». И тот напоминает Толе историю 51-го года.

Толя был молодой тогда, ему было лет 16-17, и он был серебряный призёр юношеской сборной Москвы по боксу. Вместе с другими боксерами Толя поехал на сборы в Молдавию. Вот его рассказ об этой поездке: «Я поехал на сборы в Молдавию, задержался в Кишинёве, там запил. Девушки, пятое-десятое, и только на следующий день я сел в поезд, чтобы успеть на сборы в Бельцах. Еду и боюсь ужасно, что тренер сделает мне втык страшный — на следующий день соревнования.

Схожу на вокзале в Бельцах. Там в 51-м было ещё полно сгоревших и разрушенных в войну зданий. Какой-то парень идёт навстречу, я его спрашиваю: «А где тут спортивный комплекс? Там тренировки должны быть». Парень так посмотрел внимательно — а Толя на еврея не был похож — и говорит ему: «Какой тебе спортивный комплекс, тебе нужно вот это здание», — и показывает на сгоревший дом. Толя не знает, что ему делать, но идёт дальше. Навстречу идёт пожилой человек, судя по внешности — еврей. И Толя его спрашивает: «Скажите, а что это за здание?». Старик сказал, что здесь раньше была синагога. В ней немцы сожгли евреев.

На следующий день — соревнования. И против него на ринг выходит тот самый парень, что направил его в сгоревшую синагогу. Толя сказал, что первый раз в жизни он так избивал человека на ринге. Толя считал, что бокс — интеллектуальная игра, а не избивание, но тут он ничего с собой поделывать не мог и избил парня страшным образом. Ну, уровень его спортивный понятен, сборная Москвы была посильнее сборной Молдавии.

Прошло 25 лет, был 76-й год. Толя едет в автобусе, и человек, которого он не узнаёт, напоминает ему случай в Бельцах. Оказалось, что бывший противник, который в 51-м был с Толей на ринге, женился на еврейке и приехал в Израиль. Вот такая потрясающая история.

<sup>1</sup> Лев (Лёва) Меламид — журналист и писатель. В 1974 году репатриировался в Израиль из Москвы. Работал редактором первых русскоязычных газет в Израиле. Публиковался в журналах «Время и мы», «Континент» и других. В 1997 г. вышла в свет его книга «Русское подворье».

*Дина Каминская*<sup>1</sup>

## **Из книги «Записки адвоката»<sup>2</sup>**

**Глава третья. Уголовное дело № 41074.56-68С «О нарушении общественного порядка и клевете на советский государственный и общественный строй»<sup>3</sup>**

*Не ругайте нас, как все нас сейчас ругают. Каждый из нас сам по себе так решил, потому что невозможно стало жить и дышать... Не могу даже подумать о чехах, слышать их обращения по радио, — и ничего не сделать, не крикнуть.*

*Лариса, 25 августа 1968 г.*

... А сейчас мне кажется необходимым сделать небольшое отступление и вновь вернуться к словам записки Ларисы Богораз: «Не ругайте нас, как все нас ругают».

В один из первых дней после демонстрации к нам домой пришёл друг Ларисы и Юлия Даниэля Анатолий Якобсон. Только однажды потом за долгие годы нашей дружбы я видела Анатолия в состоянии такого бузудержного отчаяния. Тот второй раз был в день прощания, когда Анатолия изгнали из Советского Союза.

Навсегда в моей памяти осталось его залитое слезами лицо и то, как он сквозь рыдания пытался читать болезненно им любимые строки прощания с Ленинградом из стихов Анны Ахматовой:

Разлучение наше мнимо:  
Я с тобою неразлучима,  
Тень моя на стенах твоих...

Я никогда после этого прощания Анатолия не видела. Он действительно был неразлучим со своей страной и в изгнании покончил жизнь самоубийством.

А в тот августовский день 1968 г. Анатолий сидел в моей комнате, закрыв лицо своими сильными руками, и сквозь рыдания повторял раз за разом:

— Я должен был быть с ними. Я должен был быть с ними. Я должен был быть с ними.

25 августа Анатолия не было в Москве. Только на следующий день он узнал о демонстрации и об аресте самых близких своих друзей.

Анатолий написал замечательное по силе и точности открытое письмо, посвящённое демонстрации на Красной площади. Рукописный подлинник этого письма, ставший теперь для меня печальной реликвией, лежит в моём досье по делу о демонстрации с тех самых дней.

*Многие люди, гуманно и прогрессивно мыслящие, признавая демонстрацию отважным и благородным делом, полагают одновременно, что выступление, которое ведёт к неминуемому аресту участников и к расправе над ними, неразумно, нецелесообразно...*

От Анатолия я узнала то, о чём мне потом рассказывали другие друзья демонстрантов: намерение провести демонстрацию протеста не встретило поддержки у многих из их единомышленников. Делались отчаянные попытки отговорить их, предотвратить демонстрацию именно потому, что считали её «неразумной», «нецелесообразной».

Вот чем объяснялись эти, поначалу непонятные для меня, повторяющиеся слова в записке Ларисы — «не ругайте», «простите».

Как-то совсем недавно я разговаривала уже здесь, в Америке, с моим добрым другом, тоже эмигрантом, изгнанным из Москвы. Он был в числе тех, кто 24 августа объезжал квартиру за квартирой. К Бабицкому, к Ларисе, к Павлу Литвинову — с единственным намерением: удержать их, предотвратить демонстрацию. Им руководила абсолютно гуманная цель — уберечь их. Ведь он, как и другие, предвидел единственно возможный в советских условиях исход такого открытого протеста.

— Сейчас я понимаю, что был не прав. Я не должен был их отговаривать. Я должен был быть с ними.

Письмо Анатолия Якобсона было ответом всем тем сочувствующим, кто осуждал демонстрацию:

*К выступлениям такого рода нельзя подходить с мерками обычной политики, где каждое действие должно приносить непосредственный, материально измеримый результат, вещественную пользу.*

*Демонстрация 25 августа — явление не политической борьбы, а явление борьбы нравственной...*

*Исходите из того, что правда нужна ради самой правды, а не для чего-нибудь ещё; что достоинство человека не позволяет ему мириться со злом, даже если он бессилен это зло предотвратить...*

И ещё:

*Семеро демонстрантов, безусловно, спасли честь советского народа. Значение демонстрации 25 августа невозможно переоценить.*

Анатолий с полным правом назвал всех участников демонстрации героями 25 августа.

- <sup>1</sup> Каминская Дина Исааковна (1919–2006 гг.) — адвокат. Родилась в Днепрпетровске. Закончила Московский юридический институт. В течение многих лет работала адвокатом в Московской городской коллегии адвокатов, имела блестящую профессиональную репутацию. В декабре 1965 г. Каминская согласилась выступить на процессе Синявского – Даниэля в качестве защитника последнего. Однако ей не разрешили вступить в дело, так как стало известно, что она намерена требовать оправдательного приговора. Впоследствии не раз защищала обвинённых по «политической» статье (Владимира Буковского, Юрия Галанкова, Анатолия Марченко, Павла Литвинова). В январе 1970 г. Каминская защищала Илью Габая на процессе в Ташкенте; после этого процесса судья написал на Каминскую донос, в котором обвинил её в «антисоветской» линии защиты, после чего она не допускалась к участию в политических делах. Будучи отстранённой от ведения подобных дел, Дина Исааковна постоянно консультировала людей, преследуемых по политическим мотивам. В ноябре 1976 г. в её квартире и на даче был проведён обыск, в ходе которого была, кроме прочего, изъята рукописная социологическая работа её мужа, известного правоведа К.М. Симиса о коррупции в СССР. После письма из прокуратуры, в котором изъятые материалы характеризовались как «антисоветские и клеветнические», Каминская была отчислена из коллегии адвокатов «в связи с переходом на пенсию» (июнь 1977 г.). Дина Исааковна и её муж подверглись допросам в КГБ, и под угрозой ареста были вынуждены эмигрировать (1977 г.). Каминская жила в США, активно занималась общественной деятельностью, была членом Московской Хельсинкской группы, вела передачи на радиостанциях «Радио Свобода» и «Голос Америки». Источник: [http://www.cidct.org.ua/uk/studii/5-6\(06\)/7.html](http://www.cidct.org.ua/uk/studii/5-6(06)/7.html). Д. С. Самойлов посвятил Д.И. Каминской свое стихотворение «Жертвенный огонь». (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Каминская Д.И. Записки адвоката. М.: Новое издательство, 2009 г. — 412 с.
- <sup>3</sup> Уголовное дело пяти участников демонстрации на Красной площади Москвы 25 августа 1968 г. против оккупации Чехословакии войсками стран-участниц Варшавского договора: Л. Богораз, П. Литвинова, К. Бабицкого, В. Делоне, В. Дремлюги.

## Вторая Школа о Якобсоне





*Феликс Раскольников<sup>1</sup>*

## **Я привел его во Вторую школу<sup>2</sup>...**

«...Я действительно привел во Вторую школу Анатолия Александровича, с которым познакомился еще в конце 50-х годов, когда он учился на первом курсе МГПИ им. Ленина. Собственно говоря, я привёл его во Вторую школу дважды: первый раз он у нас прочитал скандальную лекцию о Маяковском, а второй раз он уже стал нашим учителем. Так что я был с ним знаком довольно долго, вплоть до его отъезда в Израиль».

*East Lansing, Michigan, USA  
17 февраля 2005*

### **ИНТЕРВЬЮ МЕМОРИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ<sup>3</sup>**

**Феликс Александрович, когда Вы стали преподавать во Второй школе и кто Вас туда привёл? Как и когда Вы познакомились с А. Якобсоном, почему Вы стали друзьями, что Вас связывало?**

Я начал работать во Второй школе, если мне не изменяет память, в 1959 или 1960 году. «Привел» меня туда ее директор В. Ф. Овчинников.

Я познакомился с Толей летом 1956 или 1957 года в Гаграх<sup>4</sup>, куда я со своим товарищем и он со своим школьным другом Игорем Рацким<sup>5</sup> приехали отдыхать. Мы жили в соседних комнатах, вместе ходили на пляж и много общались. Через пару недель мой товарищ и Игорь Рацкий уехали, а мы с Толей, уже подружившись, переехали в Лазаревское, где и провели остаток отпуска.

Хотя Толя был на пять лет моложе меня, он сразу же привлек меня своей разносторонней талантливостью и обаянием. Хотя он в это время всего лишь закончил первый курс института, в то время как я уже несколько лет работал учителем литературы, я очень быстро понял, что уровень его знания, а главное, понимания литературы намного выше моего. В особенности это касалось поэзии. Он помнил наизусть огромное количество стихов русских и иностранных поэтов (в том числе тех, о ком я, к своему стыду, вообще тогда ничего не знал, вроде Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака) и замечательно их читал. Позже я был поражен тем, что он мог запомнить довольно длинное стихотворение после одного-двух прочтений. Меня также поражали глубина и независимость его суждений и оце-

нок, и не только литературных, но и политических (уже тогда его политические взгляды были гораздо более радикальными, чем мои).

Далее, оказалось, что этот знаток и ценитель поэзии был хорошим боксером, в чем я имел возможность убедиться, когда Толя на моих глазах отправил в нокаут одного хулигана, предварительно (что тоже важно) попытавшись утихомирить его мирными средствами.

И, наконец, я скоро увидел, что, хотя Толя не отличался внешней красотой и был довольно неряшлив, он пользовался огромным успехом у девушек, которых он буквально завораживал своей речью, своей обаятельной улыбкой и мощным сексуальным драйвом. (Вообще Толя был очень женолюбив и, как говорится, не пропускал ни одной юбки.)

Он был беден (не только тогда, но всегда), но это, как и бытовые неудобства, его совершенно не беспокоило: он вообще был склонен к богемной жизни. После возвращения в Москву я первое время довольно часто бывал у Толи дома, познакомился с его матерью и кое с кем из его друзей, в частности с Юлием Даниэлем, который во многих отношениях был похож на Толю, хотя был значительно старше его.

Потом я познакомился с его будущей женой Майей Улановской и Сусанной Печуро, которые только что вернулись из лагеря. Как-то получилось так, что мои встречи с Толей постепенно стали более редкими, а потом и вовсе прекратились вплоть до начала 1960-х годов. С этого времени наши приятельские отношения продолжались до его эмиграции в Израиль.

**Расскажите, пожалуйста, о Якобсоне середины 1950-х — начале 60-х годов. Когда и почему Вы пригласили Якобсона читать лекцию о Маяковском во Вторую школу? Почему тема Маяковского была актуальна именно тогда? В чём, собственно, была «скандальность» той лекции? Реакция на неё В.Ф. Овчинникова и педагогического коллектива.**

Если я не ошибаюсь, эпизод с лекцией о Маяковском произошел зимой 1961 года<sup>6</sup>. Я не помню, как случилось, что я пригласил Толю прочитать эту лекцию. Тему выбрал он сам, и я, зная Толю, был уверен, что она будет очень интересной. Ее скандальность состояла в том, что Толина интерпретация творческого пути Маяковского и его самубийства шла вразрез с официальной. Правда, он не говорил, насколько я помню, о разочаровании Маяковского в «реальном социализме», но он утверждал и убедительно доказывал, что, «наступив на горло собственной песне», Маяковский совершил трагическую ошибку, за которую заплатил своей жизнью. В общем, Толина концепция исходила из пастернаковской «Охранной грамоты», о которой мы тогда ничего не знали, и не случайно он закончил свою лекцию последней фразой из эссе Пастернака, которая прозвучала очень эффектно.

Лекция имела огромный успех, но присутствовавший на ней завуч Рувим Ханаанович Кантор, умный и образованный человек и прекрасный учитель истории, ужасно испугался, что об этой идеологически вредной лекции узнает начальство, которое прореагирует соответствующим образом, и попытался, как тогда говорили, «дать отпор», но проиграл этот «матч» вчистую. Исаак Збарский, замечательный учитель литературы и секретарь школьной парторганизации, не пытался полемизировать с Толей, понимая, что тот был прав, и в своем выступлении лишь постарался смягчить резкие Толины оценки и суждения.

После этой злосчастной лекции у меня были неприятности: Рувим, Исаак и В. Ф. Овчинников (который, кстати, не присутствовал на лекции) сделали мне выговор за то, что я неосторожно пригласил такого идеологически сомнительного лектора. К счастью, дальше дело не пошло, а могло бы и пойти: ситуация в стране была весьма неопределенной.

**Когда и почему Вы привели Якобсона во Вторую школу на постоянную работу? Как В. Ф. Овчинников и педагогический коллектив школы отнёсся к Вашему «протезе»? Когда и по какому предмету Якобсон провёл первый урок? Не могли бы Вы также прокомментировать методику преподавания литературы и истории Якобсоном во Второй школе? Почему Якобсон перестал преподавать литературу с осени 1966?**

Я привел Толю во Вторую школу в 1963 или 1964 году (Вы, как бывший Толин ученик, вероятно, помните об этом лучше; Ваш класс, если я не ошибаюсь, был первым, который Толя учил). В. Ф., конечно, не забыл о лекции, но в это время либеральное движение в СССР достигло успехов, да и школа во многом изменилась: если раньше она была обычной районной школой, то теперь она «специализировалась» на электронно-вычислительной технике, и соответственно в ней стал меняться состав и учеников, и учителей (физико-математической она стала позже). Толя стал преподавать историю, но договорился с В. Ф. о том, что он составит экспериментальную программу по литературе для 8 класса, где преподавалось так называемое «литературное чтение» (для старших классов этого делать было нельзя), так что он предстал перед своими учениками в двух ипостасях. Кроме «регулярных» уроков Толя решил читать факультативные лекции о русских поэтах XX века, не включенных в программу средней школы.

О Толиных уроках истории и литературы, как и о его лекциях, написано довольно много, да у Вас, по-видимому, сохранились о них и личные воспоминания. Я побывал на нескольких его уроках (о «Кошке под дождем» Хемингуэя, «Учителе словесности» Чехова). Я также читал некоторые сочинения Толиных учеников. Мне, в частности, запомнилось

прекрасное сочинение Коли Климонтовича о стихотворении «Лодейников» Заболоцкого. Это сочинение мне необыкновенно понравилось, и я был очень удивлён тем, что ученик 8 класса мог так тонко и умно проанализировать это довольно трудное стихотворение. Толины уроки и темы сочинений были далеко не тривиальными и произвели на меня большое впечатление (впрочем, как и на Толиных учеников).

**Характеристика и отношения внутри творческого коллектива Второй школы, созданного В. Ф. Овчинниковым. Отношение А. Якобсона к коллегам.**

Отношения в коллективе словесников Второй школы были очень дружескими. Все мы признавали Толин авторитет и видели в нем очень талантливого человека, однако приятельские отношения у него были только со мной и с Г. Н. Фейном. Хочу упомянуть в этой связи, что, как написано в воспоминаниях одного из Толиных учеников (я об этом не знал), довольно близкие отношения у Толи были с учителем географии А. Ф. Макеевым — бывшим зэком и весьма колоритной личностью.

С коллегами во Второй школе Толя был очень доброжелателен, но вообще к советским учителям литературы и методистам относился более чем критически и говаривал, что лучше совсем не преподавать литературу, чем делать это так, как делают они.

**Феликс Александрович, каково Ваше мнение о факультативных лекциях и творчестве А. Якобсона? Отношение Якобсона к существовавшему строю и правозащитная деятельность.**

Из моих воспоминаний Вы не могли не понять, что я восхищался Толиными уроками, лекциями, книгами, переводами и оригинальными стихами (сам он был о них не очень высокого мнения, так как предъявлял к себе очень высокие требования). Толя был в очень хороших отношениях с Давидом Самойловым. Я читал переписку Д. Самойлова с Л. Чуковской, и был несколько удивлён тем, как Самойлов пишет там о Толе. Мне кажется, что стихи Толины были в общем не хуже очень многих стихов Самойлова, хотя тот считал, что Толе не следует писать стихи, а надо заниматься переводами. Думаю, что не ошибусь, сказав, что Толя был самой яркой личностью из тех, с кем я в своей жизни общался, хотя среди моих знакомых было немало талантливых людей.

Я, конечно, знал о Толиной правозащитной деятельности и сочувствовал ей, но я не был диссидентом, и Толя не разговаривал со мной об этой стороне своей жизни.

**Феликс Александрович, лекция «О романтической идеологии», последняя, прочитанная Анатолием Александровичем во Второй школе, завершила этап его жизни. Это был перелом. Если Вы были на той лекции, то не могли бы Вы вкратце охарактеризовать Ваше впечатление о ней и об атмосфере, царившей в зале? Присутствовали ли**

**в той лекции некие признаки, отличавшие её от всех предыдущих? Не показалось ли Вам тогда, во время лекции, что это выступление — прощание со Второй школой?**

Я знаю, что она легла в основу его статьи, которая была опубликована в «Конце Трагедии». Это была очень хорошая лекция и очень хорошая статья. Сейчас Толина интерпретация романтической идеологии и романтической литературы, в частности блоковской поэзии, стала общепринятой, но в середине 1960-х годов она (по крайней мере для многих) была открытием.

**Феликс Александрович, Ваша совместная с А. Якобсоном профессиональная деятельность во Второй школе укладывается как бы между двумя лекциями: о Маяковском и этой последней лекцией, после которой он подал заявление об уходе в связи с возможными репрессиями против школы. Так ли это, на Ваш взгляд?**

Совершенно верно, так оно и было. Я помню достаточно хорошо, что его пригласил к себе Владимир Фёдорович Овчинников, у них была долгая беседа, и Анатолий Александрович сказал Владимиру Фёдоровичу, что он понимает ситуацию, в которой находится школа, и сам, добровольно, так сказать, уйдёт. Конечно, и Владимир Фёдорович, и мы все расставались с ним очень неохотно, потому что мы знали ему цену. Вообще я не исключаю того, что уход Анатолия Александровича из школы был связан с каким-нибудь звонком из КГБ или каких-то партийных органов Владимиру Фёдоровичу Овчинникову, когда ему просто предложили уволить Якобсона. Но это моё предположение, не более того, потому что Владимир Фёдорович мне ничего об этом не рассказывал.

**Расскажите о Ваших последних встречах с Анатолием Александровичем. Ваши мысли о его эмиграции и преждевременной смерти.**

Я не помню, когда я с ним встретился в последний раз. По-видимому, это было перед его вынужденной эмиграцией. Я помню, что он не хотел уезжать из России, с которой он был связан многими нитями, и если он это сделал, то потому, что у его сына Саши были серьезные проблемы со здоровьем. Я слышал, что Толю вызывали в КГБ и сказали, что он должен будет поехать либо на Восток, либо на Запад, имея в виду или эмиграцию, или ссылку, а может быть, и лагерь. Толя был очень смелым человеком, и я не думаю, что он испугался. Он психологически был вполне готов к тому, чтобы отправиться в ссылку. Занимаясь правозащитной деятельностью, он отлично знал, на что идёт. И если он всё-таки решил поехать в Израиль, то это было связано прежде всего с болезнью сына.

Толя не был сионистом, и еврейские проблемы его мало интересовали. Мне кажется, что в Израиле, к которому он в принципе относился

очень положительно, ему «не хватало воздуха» (ему его не хватило бы в любом месте, кроме России). Толя обладал чрезвычайно возбудимой психикой. Периоды подъема, в том числе и творческого, у него часто чередовались с периодами упадка, как это нередко бывает у творческих, талантливых людей. Отсюда депрессия, которая привела его к самоубийству.

К тому же, как я слышал, у него не сложились отношения с коллегами и начальством в Иерусалимском университете. В отличие от, скажем, Флейшмана или Омри Ронена, Толя не был ученым в традиционном смысле слова. Хотя в Израиле он начал работать над докторской диссертацией о творчестве Пастернака (и я уверен, что она была очень интересной), он по своей сути был не «академиком», а чрезвычайно темпераментным и ярким эссеистом и публицистом. В Израиле он утратил ощущение миссии, которая определяла всю его жизнь и деятельность. Эту миссию он осуществлял, читая лекции во Второй школе, в своих книгах и статьях и в своей правозащитной деятельности. В Израиле все это было не нужно, и он не находил отклика (если не считать кучки друзей), не мог найти свое место. Может быть, я неправ, но так я понимаю Толину трагедию. Думаю также, что в современной России ему, с его идеализмом и отвращением ко всякой буржуазности, тоже не было бы места.

East Lansing, Michigan, USA  
Март 2006

- <sup>1</sup> Феликс Александрович Раскольников (1930–2008), исключён из комсомола и отчислен из МГПИ им. Ленина за «космополитизм» (1948), работал электромонтёром, закончил с отличием заочное отделение МОПИ (1951), учитель литературы (1951–78), преподавал во Второй школе (1959–1972), эмигрировал в Канаду под угрозой лишения права преподавания (1979), учился в докторантуре Торонтского университета, где получил учёные степени магистра и доктора философии, профессор русской литературы и языка в ряде университетов США (1986–2006), автор статей в российских и иностранных журналах и книги «Статьи о русской литературе». С 2006 на пенсии. *Источник:* «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956–1983 гг. Составители Георгий Ефремов, Александр Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с. (Прим. А. Зарецкого)
- <sup>2</sup> Из письма А. Зарецкому.
- <sup>3</sup> Интервью подготовил и провел Александр Зарецкий, Бостон. (Прим. В. Емельянова).
- <sup>4</sup> Когда Толя закончил первый курс Ленинского пединститута (МГПИ им. Ленина). (Прим. Ф. Раскольников)
- <sup>5</sup> Игорь Александрович Рацкий (1937–1980), шекспировед, кандидат искусствоведения. Автор статьи о Шекспире в БСЭ и в журнале «Театр», 1971. Участник ежегодного издания «Шекспировские чтения» (1977–1978). (Прим. Г. Суперфина).

- <sup>6</sup> Что касается того, когда Якобсон прочитал лекцию о Маяковском, то я помню только то, что это было зимой. Может быть, кто-нибудь другой сможет ответить на Ваш вопрос более точно. Вообще, поскольку все это происходило очень давно, было бы хорошо в случае, если будет издаваться книга воспоминаний, сделать cross-references, чтобы не было ошибок. (Прим. Ф. Раскольникова)



*Владимир Овчинников<sup>1</sup>*

## **Интервью для Мемориальной страницы Анатолия Якобсона<sup>2</sup>**

**Как возникла идея углубленного преподавания гуманитарных предметов в математической школе?**

Идея любого разумного директора состоит в том, чтобы все предметы в школе преподавались на высоком уровне. Поэтому просто подбирались хорошие, квалифицированные, яркие преподаватели. И чем меньше учебных часов на предмет, тем ярче и самобытнее должен быть учитель, чтобы даже в этих рамках суметь заинтересовать ребят.

**Расскажите, как Якобсон появился во Второй школе. О чём Вы беседовали с ним перед приёмом на работу? Кто его рекомендовал?**

Его рекомендовал Феликс Александрович Раскольников как очень способного, яркого, образованного, интеллигентного человека. С самим Толей я беседовал по чисто профессиональным вопросам, о правозащитной деятельности речи не было.

Вспоминаю, что Кантор<sup>3</sup> опасался его прихода, но Анатолий Александрович сразу заявил, что если возникнет какая-то угроза школе из-за его деятельности, то он немедленно покинет нас.

**Как строились отношения педагогического коллектива с новым коллегой?**

Педагогический коллектив отнесся к нему вполне доброжелательно и с большим интересом, как и ко всякому новому коллеге, поскольку люди подобрались интеллигентные. Якобсон тоже общался со всеми доброжелательно, открыто, стремился установить нормальные деловые отношения, но всегда держался на некоторой дистанции.

**Якобсон преподавал историю в 8-10-х и литературу в 8-х классах. В чем заключались особенности его преподавания? Ваше мнение о его факультативных лекциях?**

Сначала Якобсон вёл только историю, причем предлагал ввести систему преподавания не концентрическую (когда в определенных классах изучают историю начиная с древнего мира и по теперешнее время, а потом снова начинают изучать ее более обстоятельно), а линейную<sup>4</sup>, но, к сожалению, в те времена это было сложно ввести в любой школе, в том числе и нашей.

Я сознательно не ходил на его уроки и лекции, предполагая, что он будет говорить вещи, которые не одобряют наши Партия и Правительство.

Я не хотел ставить его и школу в сложное положение. Гораздо важнее моих посещений было то, что Якобсона слушают дети.

**Ваша оценка Якобсона как классного руководителя?**

Он был классным руководителем очень короткое время и только по той причине, что некого было назначить. Видимо, болел реальный классный руководитель. Толя относился к классному руководству как к делу временному и исполнял его спустя рукава. Чего и следовало ожидать. Это было не его дело, он не хотел этим заниматься, но в силу сложившихся обстоятельств был вынужден: просто не мог позволить себе отказаться. И администрация считала, что Якобсона нельзя всерьез и надолго загрузить такой работой.

**Высказывал ли Вам Якобсон свои взгляды на существовавший строй? Каковы были Ваши личные взаимоотношения с Якобсоном?**

Якобсон был достаточно умным и интеллигентным человеком для того, чтобы не обсуждать со мной подобные вопросы. Он не хотел ставить меня в дополнительно сложное положение. Хотя, наверное, догадывался о моих настроениях.

Я относился к Якобсону с большим уважением и теплотой, но тесно общения у нас не было.

**Оказывали ли на Вас давление вышестоящие организации народного образования, КПСС или КГБ с тем, чтобы запретить Якобсону чтение лекций или принудить Вас уволить его?**

По непонятным мне причинам давления на меня не оказывали (может быть, помнили о моем принципиальном уходе из ЦК ВЛКСМ, или кто-то «наверху» симпатизировал школе). И конкретно из-за Якобсона никогда никаких неприятностей не было. Но информация где-то накапливалась, и финал моей деятельности во второй школе в 1971 году известен.

Не было и у Толи никаких неприятностей по поводу лекций. Ни одного выговора ни мной, ни завучами официально сделано не было. Может быть, Збарский<sup>5</sup> лягнул его в дружеской беседе или Кантор сказал: «На кой черт ты рискуешь школой?» — это вполне возможно, но не более того.

С сентября 1966 года Якобсон перестал преподавать литературу в 8-х классах. Но никаких политических или внешних причин здесь не было. Были какие-то педагогические мотивы у нашего завуча Германа Наумовича Фейна.

**Была ли среди преподавателей «пятая колонна», которая сигнализировала «в инстанции» о деятельности Якобсона?**

Информаторы в школе были, но они сигнализировали не о Якобсоне конкретно, а вообще о положении дел и настроениях. Вектор внимания

был направлен не в сторону Якобсона, а в сторону директора и ему подобных. Надо отдать должное Круковской, Макееву и Ушакову (последний только подписывал донесения), что они ставили собственные фамилии. Мне заврону Наталья Георгиевна Франгулян по секрету показывала эти письма.

### **Почему Якобсон покинул Вторую школу?**

Якобсон покинул школу не только потому, что говорил ученикам не то, что полагалось по мнению Властей. В определенный момент он решил отдаться правозащитной деятельности и сам понимал, что эта деятельность несовместима с работой в школе.

Все вопросы со словесниками решал Герман Наумович, согласовывая со мной только принципиальные вещи. Я ему доверял и считаю, что правильно делал. Тучи над нами сгущались. Фейн, понимая, что надо как-то смягчить возможный удар по школе, взял на себя разговор с Анатолием Александровичем о его уходе<sup>6</sup>.

### **Известно ли было Вам перед лекцией А. Якобсона «О романтической идеологии», что это его последнее выступление?**

Я не считаю, что прекращение его деятельности во Второй школе как-то связано с его лекцией «О романтической идеологии». Это простое совпадение. По большому счету вопрос о скором уходе Якобсона уже назрел, поэтому искать причину ухода в каком-то конкретном обстоятельстве было бы неверно.

Вскоре после ухода из школы Якобсону пришлось покинуть и страну. Он уезжать не хотел. Но ему было сказано: «Вы поедете или на Запад, или на Восток» («Восток» означал ссылку или лагерь). Эта формула применялась не только к нему. Поэтому подчеркиваю, что Якобсон не по своей воле уехал, а фактически был выслан из страны.

### **Расскажите о Ваших встречах с Якобсоном после его ухода из школы, в частности на фотографировании выпускных классов весной 1969 года? Когда Вы последний раз виделись с ним?**

Несмотря на взаимную симпатию, мы с Якобсоном никогда специальных встреч не искали, поскольку за пределами школы мы не дружили. К сожалению, я не помню эпизода с фотографированием и не помню самой последней встречи, вероятно, потому, что не воспринимал её как последнюю.

### **Каково Ваше сегодняшнее отношение к Якобсону? Какова роль Якобсона в истории Второй школы?**

О роли Якобсона прекрасно сказано в первом выпуске «Записок о Второй школе». Повторю, что я отношусь к нему как к яркой личности, зарядившей многих интересом к поэзии, истории и культуре в целом.

Попутно хочу возразить некоторым авторам воспоминаний (хотя это и не главное). Я запомнил Толю как человека чистоплотного, который был скромно, но всегда прилично одет, хотя внешнему виду он не придавал большого значения. Как-то раз он сказал, что у него всего две рубашки, ковбойки, но они всегда идеально чистые.

Ну, а о чистоте его мыслей и говорить не приходится.

Москва  
13 июня 2006

- <sup>1</sup> Владимир Федорович Овчинников (р. 4 октября 1928, Москва), закончил исторический факультет МГПИ имени Ленина (1951), получил направление в Калугу, где преподавал историю в средней школе №3, затем работал в Калужском обкоме ВЛКСМ, позднее в аппарате ЦК ВЛКСМ, директор школы работающей молодежи №48 (1954–56), директор школы-новостройки №2 (1956–1971), где в начале 60-х годов появились два физико-математических класса, а затем школа стала полностью физико-математической. В 1970–71 учебном году школа №2 привлекла повышенное внимание партийных органов и подверглась проверке с точки зрения соответствия идеологическим установкам КПСС, в результате — В. Ф. Овчинников был уволен из школы №2. Преподавал историю в школах №45, 57, 31, директор Всесоюзной заочной многопредметной школы (1964 — поныне), директор Государственного лицея «Вторая школа» (с марта 2001 — поныне). Международный биографический центр, Кембридж, Великобритания (The International Biographical Centre, Cambridge, UK) внес имя Владимира Фёдоровича Овчинникова в список людей, чьи заслуги в области образования в двадцатом столетии признаны мировым сообществом. *Источники:* «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956-1983 гг. Составители Георгий Ефремов, Александр Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с.; интернет-сайт Фонда друзей Второй школы <http://sch2.mosuzedu.ru/fond/index.html>; интернет-ресурсы (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Вопросы предложили В. Емельянов и А. Зарецкий, интервью взял А. Ковальджи, в редактировании приняла участие М. Сторожакова (ныне Скубицкая).
- <sup>3</sup> Рувим Иехананович Кантор, учитель истории и завуч школы.
- <sup>4</sup> Если по концентрической системе весь курс истории завершается к 9 классу 11-летки, а затем повторяется в сжатом виде, то по линейной системе курс последовательно завершается к 11 классу.
- <sup>5</sup> Исаак Семенович Збарский, учитель литературы и руководитель ЛТК.
- <sup>6</sup> Якобсон понимал, что скоро уйдет из школы, а когда именно это произойдет, было уже не так важно. Поскольку Якобсон был человеком увлекающимся, то решение о своем уходе он сразу переложил на плечи администрации, попросив, чтобы она подала сигнал, которого он ждал постоянно.

*Герман Фейн*

## **Яacobсон и есть Вторая школа...<sup>1</sup>**

Дорогой Александр, примите мою глубокую, искреннюю благодарность за материалы о Толе Яacobсоне. Особенно приятно было мне услышать Толин голос. Что касается Ваших вопросов, должен Вас огорчить: я уже немолодой человек, и память у меня сильно хромает. Всё, что было во Второй школе, в частности, связанное с Толей Яacobсоном (около сорока лет тому назад), мне видится несколько в тумане и как-то эскизно. Не помню, как Толя появился в школе, но помню, что начинал он не как учитель истории или литературы, а как учитель русского языка. Я посетил в качестве завуча его первый урок и в присутствии директора школы его разнёс. При этом я сказал Толе, что он призван преподавать не русский язык, а литературу или историю. Но так как у нас было достаточно учителей литературы, мы попросили Толю преподавать историю, и он сделался самым любимым учителем истории в нашей школе. Самые сильные стороны Толиных уроков были страстность изложения, а также связь повествования о любой, даже самой отдалённой во времени, эпохе с современностью. Помню, что он так рассказывал об опричнине, что я испугался, как бы его не арестовали за антисоветскую пропаганду. Причём это не были примитивные аллюзии: изложена тема была строго научно. На этом уроке присутствовали две дамы из контролирующих органов (из горкома партии и из городского отдела народного образования), и они прямо заявили мне как завучу, что я попустительствую вредной идейной направленности уроков Яacobсона. Я тогда уже был настроен диссидентски (не без влияния Толи), и просто выставил этих дам из своего кабинета, заявив, что не позволю непрофессионально разговаривать об уроках моих учителей. Мне после этого грозило увольнение, но тогда это как-то обошлось. Что касается обстоятельств ухода Толи из школы, об этом надо спросить Владимира Фёдоровича. Помню лишь, что когда я спросил его, почему Толя должен уйти, он сказал, что речь идёт об альтернативе: или Толя останется и тогда разгонят школу, или Толя уйдёт и школа продолжит функционировать. Помню, что я сказал Владимиру Фёдоровичу, что и я, и многие учителя и ученики считают, что *Яacobсон и есть Вторая школа*. Но сам Толя признал, что такая альтернатива есть, и подал заявление об уходе.

*Baden-Baden, Germany*

<sup>1</sup> Письмо Александру Зарецкому 1 октября 2005 г.

*Наталья Тугова*<sup>1</sup>

## **Незаконченный разговор**<sup>2</sup>

**Наталья Васильевна, когда Вы стали преподавать Во Второй школе?**

Я стала преподавать на второй год после основания школы. Я старожил и, в общем, единственный, кто вместе с Владимиром Фёдоровичем оставался от начала до конца, до разгона 1971 года, пока нас четверых не выгнали: Владимира Фёдоровича, меня, Блюмину и Фейна.

**Когда Якобсон появился во Второй школе, как его принял и как к нему относился педагогический коллектив? Как Якобсон относился к коллективу? Были ли какие-либо конфликты, трения, ведь не бывает идеальных отношений?**

Это я могу Вам сразу ответить — я не помню года, когда он появился, — он пришёл и сразу вошёл в наш коллектив. Никаких трений и конфликтов с ним ни у кого не было. Он был любим всеми и был самым близким другом мне и моему мужу Фейну Герману Наумовичу. У нас он часто останавливался, приходил ко мне есть — я его кормила. Потом мы вместе с Якобсоном, его женой и сыном Санькой ездили в Жигули. Мы были очень близко знакомы, и потом я получила несколько писем от него, но, к сожалению, я их не сохранила, это уже было из Израиля.

**Не могли бы Вы прокомментировать, как Якобсон вёл уроки, методу его преподавания? Якобсон как учитель.**

Вы знаете, мне очень трудно сказать, потому что это не соответствовало никакой квалификации формального метода обучения. Он просто гениально рассказывал, сопереживая всему сюжету, который он излагал ученикам. Ученики ему внимали, верили — безусловно — и потом как-то умели всегда воспроизвести. В отличие от Исаака Семёновича Збарского. Вот он тоже очень хорошо говорил, очень много помнил наизусть, но ученики это воспроизвести потом не могли и отвечали очень плохо. А Якобсон как-то умел научить тому, что он говорил, главное — пониманию истории и сопереживанию тем событиям, о которых он рассказывал. Я помню такой эпизод, как однажды я шла по коридору — я была завучем — вдруг открывается дверь, там урок вёл Якобсон, и из класса вылетает ко мне в объятья ученик, которого Якобсон выкинул за шиворот... Это был класс, по-моему, 1969 года выпуска, где учился мой сын, Нейфах, Юра Шабат. Якобсон, когда я подхожу и говорю: «Толя!», — мне отвечает: «Ну ты представляешь,

я рассказываю о французской революции, а он в это время обернулся и что-то говорит». Это не педагогический метод, конечно, но я говорю просто о том, как он внутренне переживал и что для него значила история.

**Какие отношения были между Германом Наумовичем Фейном и Якобсоном?**

Очень дружественные, влюблённые. Он всегда бывал у нас, ходил по комнате и рассказывал мне всё что угодно по вопросам истории. И когда я ему говорила: «Толя, я же этого не понимаю», — он говорил: «Да всё ты понимаешь, всё ты понимаешь», — и продолжал говорить дальше. В общем, он у нас запросто бывал в доме, как родной человек, который входит не стесняясь.

**Ваше впечатление о факультативных лекциях Якобсона.**

Факультатив... Ответ — его книги. По Блоку он читал факультатив так, что мы все заслушивались, челюсть у нас отвисала, мы слушали его рассказы о Блоке, и потом это всё легло в его книгу о Блоке. И какие-то зарисовки о Цветаевой и Ахматовой, что вошли во второй том его книги. Эти книги лежат у меня на столе, под рукой. А Вы их читали?

**Да, конечно. Но мне хотелось услышать Ваше мнение. Может быть, кроме того, что «все рты открывали», — мы тоже рты открывали, мы просто были совсем «зелёные», птенцы. Не все, правда...**

Мы были не «зелёные», но всё равно, он говорил так захватывающе, так глубоко и эмоционально, что для нас, не «зелёных», это было необыкновенно интересно. Нам-то Блока ни в школе, ни в институте — нигде не преподавали, и мы о Блоке ничего толком не знали. И поэтому уж потом своим умом доходили, но так как моим мужем был Фейн, то я через Фейна очень многое узнала, ну и, конечно, Толя нам открывал очень много нового, чего мы не знали и не чувствовали.

**Причины, по которым Якобсон ушёл из школы?**

На это я отвечу определённо. Он, когда пришёл, сразу сказал Овчинникову. С Овчинниковым я вместе училась в институте, только он на историческом факультете, а я — на литературном, вместе с его женой. Мы были друзьями ещё в институтские годы, а потом, когда Володя стал директором школы, он меня сразу пригласил. И Якобсон, когда пришёл в школу (привёл его, по-моему, Раскольников), сказал сразу Володе: «Я — диссидент, занимаюсь вот такой-то литературой, если будет хоть какой-то намёк, что «органы» мной заинтересовались и я могу повредить школе, я в тот же день уйду». И когда его вызвали в первый раз [в КГБ], он сразу пришёл, написал заявление «по собственному желанию» и из школы ушёл.

**Может быть, у Вас сохранились какие-нибудь автографы, личные вещи, фотографии Якобсона?**

У меня были фотографии Толи, но они, к сожалению, все пропали, очень жалко. Личных вещей никаких не было. Он всегда появлялся с верёвочкой, которая у него была в кармане, и когда ходил по комнате, — он, когда говорил, всегда ходил, — крутил эту верёвочку. Вот верёвочка эта у меня была, но теперь нет уже.

**В этом году Второй школе исполняется 50 лет.**

Я вот только сейчас советовала учителю, который будет проводить праздник, отметить пять этапов школы, которые прошли на моём веку (кроме двух). Первый этап, когда школа была просто школой, где были ученики, переселённые из барачков, пятьдесят человек в классе. Это был первый и начало второго года. Потом она стала школой радиомонтажников. Была очень интересной школой, там училось очень много интересных ребят. Это был совершенно другой этап, тоже интересный. И третий этап — когда она стала физико-математической. Четвёртый — когда нас всех разогнали.

**С какого года школа стала математической?**

Точный год я не помню, но я учила два первых математических класса, тогда ещё пришёл профессор Гельфанд, он был основателем математической школы, а Дынкин был вторым. И вот о Дынкине и написана вся книга, которая вышла про Вторую школу, её дынкинские ученики писали. Гельфанд был немножко обособлен от общей школы, а так как я руководила всей воспитательной работой, то в моём ведении было около 600 учащихся, и Вы в том числе, и из них почти все были комсомольцами, ну и 50 учителей. И я двадцать лет этим занималась, поэтому у меня были очень тесные отношения со всеми учителями, у меня неконфликтный характер совсем. С другой стороны, я была в очень хороших отношениях с учащимися, с которыми поддерживаю до сих пор отношения. Мне звонят со всех концов Земли и помогают и материально, и морально, и как только могут.

**Наталья Васильевна, спасибо Вам за беседу.**

Я Вам благодарна очень, потому что для меня каждое упоминание о Второй школе — это прямо положительные эмоции такие, а уж о Толе Якобсоне — тем более. Так что спасибо Вам большое. Всего Вам доброго, счастливо.

*Москва  
2 апреля 2006*

1 Наталья Васильевна Тугова (1928–2006), окончила МГПИ им. Ленина (1950), учитель немецкого и русского языка, литературы, логики в шко-



лах г. Ялты (1950–55), учитель литературы, затем завуч Второй школы (1957–1971), преподаватель в московских школах (1971–1996). *Источник*: «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956–1983 гг. Составители Георгий Ефремов, Александр Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с. (Прим. А. Зарецкого)

- 2 «...24 декабря 2006 г. ушла из жизни Наталья Васильевна Тугова, бывшая заместителем директора Второй школы в 60-е годы. До середины 70-х она была женой Германа Наумовича Фейна. 2 апреля прошлого (2006) года я долго разговаривал с ней по телефону и обещал прислать дополнительные вопросы о Яacobсоне. Но, к сожалению, не успел довести это интервью до конца. Как всегда, надеялся, что ещё есть время, успею. Не успел...» (Из письма А. Зарецкого В. Емельянову).

## Три фрагмента

«Мы, все литераторы, были очень дружны: общие методические объединения, часто мы все встречались после уроков, как правило, у Н. В. Туговой и Г. Н. Фейна, иногда — у меня дома.

Лично у меня с Т. Я. были очень нежные, дружеские отношения. Но, к моему глубокому сожалению, я не помню всех наших разговоров, всех споров (а они были — бесконечны).

Одно могу сказать: чувство острой боли возникло в день, когда он вынужден был уйти из школы, когда вынужден был уехать из России, и больше не оставляло. Единственное место на земле, где он хотел и мог жить, — Россия. Его жизнь в чужой для него стране — горе для меня лично и для всех литераторов, потому что — постоянный страх за него, физическое острое ощущение: ему плохо там, ему одиноко, он не востребован там. Не разорвана пуповина со Второй школой, с Россией, со всеми, кто любил его.

И — кровоизлияние в глаз, бессонница и немереное горе, когда он погиб...»

### **Кусок из моего романа «Я вышла замуж в Америку»<sup>2</sup>**

Моя героиня — сорокалетняя женщина — выходит замуж в Америку. От её лица написан роман. Героиня училась во Второй школе.

«...Я успела услышать его — до его выступления против введения войск в Чехословакию, после чего его сразу выгнали из школы, а позже и из страны. Он поднял меня на высоту, с которой с его помощью я увидела и услышала Цветаеву, Блока, Мандельштама. Страстный проводник из души в душу, из века в век, из невежества в познание, Якобсон вёл меня от внешнего звука строки к волшебству, к тайне её сути. Толмач, толкователь слов... Каждый урок его и литераторов Второй — через поэзию, сбросившую запрет и вырвавшуюся из подполья, — ступенька к выздоровлению: от скверны века к новому ощущению жизни.

На лекции Якобсона в актовом зале сбегалась вся школа. Волокли столы, стулья из буфета. Сидели в четыре яруса: нижние — на полу, верхние — на стульях, установленных на столах. Гости — литературоведы, профессора университета, ученики и учителя из других школ, акkuratные старушки из прошлого века.

Глазастый, курносый, он вобрал в себя красоту страны, в которой родился и вырос, истинный голос которой постиг с младенчества. Плоть от плоти поэзии Пушкина, Тютчева, Мандельштама, Цветаевой,

плоть от плоти — русского языка, его дитя, — он жил мелодией поэтической русской строки, тайнописью и колдовством её.

Несколько сот человек, волею мага замороженные, потерявшие собственное «я», становились причастными к высшим сферам бытия, к поэзии тех, кто отмечен божественным знаком, и — понимали всё, о чём кричал Якобсон, и себя ощущали великими поэтами.

Ребята любили сдавать Якобсону экзамены. И — ненавидели. Скажет ученик первую фразу и подавится ею: как же он — перед Якобсоном! — обнаружит вялую жвачку негустых своих знаний, всё равно ответить так, чтобы соответствовать Якобсону, никогда не получится. А повторять попугаем — стыдно. Но Якобсон не замечал замешательства и мучений ученика, он уже жил в доставшемся тому вопросе и, закрыв глаза, начинал сам говорить о пушкинской юношеской лирике или о Лжедмитрии или Иване Грозном... Ученик ошеломлённо лицезрит, как оживают сжатые в вопросе билета события, он — свидетель заговоров и революций, процессов творчества. И только когда Якобсон выскажет всё, что бродит в нём, до конца, он пробуждается к «моменту», к экзамену, и говорит: «Молодец. Знаешь материал. Отлично».

### **Отрывки из очерка о Второй школе<sup>3</sup>**

«Началась Вторая школа с того, что Владимир Фёдорович Овчинников стал набирать ярких, образованных, интеллигентных и порядочных людей, и прежде всего пригласил в школу тех, с кем учился в институте и кто был духовно близок ему. Кроме Натальи Васильевны Туговой, пригласил Германа Наумовича Фейна, Феликса Александровича Раскольниковца, Зою Александровну Блюмину, Виктора Исааковича Камянова. Все они тоже, как наш директор и Н. Тугова, люди особые — творческие, постоянно ищущие, стремящиеся познать как можно больше и передать свои знания друзьям и ученикам.

А уже потом Овчинников пригласил тех, с кем дружили друзья его юности и кого рекомендовали они. Так попал в школу Анатолий Якобсон — его привёл Ф. Раскольников. Так попала в школу и я.

Привёл меня тоже Феликс Раскольников — мы вместе работали в 167-й школе, и на педсоветах нам с ним часто доставалось: то дети на уроках смеются, то мы говорим на уроках что-то, не запланированное Программой, то не выполняем распоряжений завуча. Овчинников задал мне всего один вопрос: «Любите ли вы детей?». За меня ответил Раскольников.

Программу преподавания я составляла сама. Помню, в седьмом классе у меня было две темы на год: в первом семестре — «Человек и общество» («Станционный смотритель» Пушкина, «Шинель» Гоголя, «Алое платье» О'Тенри, «Мисс Гарриет» Мопассана), во втором — «Человек и искусство» («Гамбринус» Куприна, «Зодчие» Кедрина и другие).

В программу сразу попали Достоевский и поэты Серебряного века, которые в те годы в программах ещё отсутствовали... Но, естественно, мы не ограничивались одним — программным — произведением. Кроме «Преступления и наказания», говорили о «Братьях Карамазовых», об «Идиоте» и о других романах, кроме «Войны и мира», разбирали «Анну Каренину», «Воскресение» и другие вещи Толстого, а уж о Пушкине и говорить нечего — читали почти всего: и «Маленькие трагедии», и «Бориса Годунова»! Никто не вмешивался ни в то, какие произведения я выбирала для изучения, ни в то, как строила уроки, ни в то, какие методы использовала при обучении и воспитании ребят. Свобода. Это слово не звучало в школе, никто не произносил его вслух — вообще никто и никогда не говорил громких слов, и вроде как бы шёл быт, а на самом деле творился праздник свободы: мы были свободны от советской идеологии, что казалось невозможным в те годы!»

«...Якобсон был глубоко знающим и очень свободомыслящим историком, блестящим литератором, замечательным переводчиком (переводил Гарсиа Лорку, Поля Верлена, Теофила Готье, Мигеля Эрнандеса и других), к тому же диссидентом, редактором «Хроники текущих событий» — он подписывал письма в защиту Ю. Даниэля, А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, А. Марченко и других, подписывал письма против ввода наших войск в Чехословакию, против ареста демонстрантов на Красной площади и т. д.»

«Часто в актовом зале устраивались лекции о поэзии. На эти лекции сбегались не только ученики и учителя нашей школы, приезжали гости — из Ленинграда, из других городов, литературоведы, писатели, учителя, директора школ.

Особенно популярны были лекции Анатолия Якобсона. Благодаря его лекциям стихи Блока, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака и других поэтов Серебряного века звучали в нашей школе, как голоса ребят, как классическая музыка по утрам и ха а переме ха. Это как дыхание. И до сих пор в каждом из нас живёт не погибший голос Якобсона, страстный, колдовской, и звучат стихи...»

*Hartford, Connecticut, USA  
19 Апрель 2005*

<sup>1</sup> Татьяна Львовна Успенская-Ошанина (р. 1937). Начала преподавать в 19 лет после окончания школы и двухгодичного педучилища. Работала в школе № 167 в экспериментальном классе под руководством профессора Л. В. Занкова. В 1962–71 преподавала литературу в школе № 2. После разгрома школы несколько лет работала в издательстве. С 1957 пишет книги. Написала 22 романа и повести, много рассказов, очерков,

статей. До *перестройки* вела от Союза писателей семинар начинающих поэтов и прозаиков. Переводила и рецензировала книги. *Источник*: «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956-1983 гг. Составители Георгий Ефремов, Александр Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с. (Прим. А. Зарецкого)

<sup>2</sup> Т. Л. Успенская-Ошанина. Я вышла замуж в Америку. Роман. Москва, АСТ, 2005. 445 с. — (Русский роман). ISBN 5-17-028211-7.

<sup>3</sup> Т. Л. Успенская-Ошанина. Очерк «Вторая школа». Второшкoльная газета № 1, 28 февраля 2004, <http://www.sch2.ru/gazeta/n1/oshani.php>

*Людмила Лобода-Ефремова<sup>1</sup>*

## **Об Анатолии Якобсоне**

В физико-математическую школу № 2 я пришла работать в сентябре 1967 года. Попала я в эту школу благодаря своему отцу<sup>2</sup>. В первый год после окончания педагогического института им. Ленина я была распределена в английскую школу № 7, где у меня не сложились отношения с директором. Я с трудом доработала до конца учебного года. Мой отец пошел в газету «Известия», где темой образования в школе занималась Ирина Овчинникова, и попросил у неё совета, как можно облегчить мою участь. И. Овчинникова ответила: «Я понимаю ситуацию, в которую попала Ваша дочь, и могу предложить школу, где ей будет хорошо. Там нужен биолог. Это школа моего мужа». Я сразу же позволила директору школы Владимиру Фёдоровичу Овчинникову и на следующий день познакомилась с ним и с завучем Германом Наумовичем Фейном. Меня взяли на работу, и на следующий же день мне вручили ведро с краской и каток, и я с воодушевлением красила пол в кабинете биологии.

Забегая вперёд, скажу, что мне в этой школе действительно было хорошо; хотя трудностей было много, отношение ко мне было хорошее, а это главное.

Первый педсовет был в конце августа, как обычно. Я уже познакомилась с некоторыми учителями, было удивительно, что много педагогов мужчин, но о Якобсоне ещё ничего не слышала. Педсовет вёл Герман Наумович, мы его внимательно слушали. Вдруг открылась дверь, и в кабинет вошёл мужчина. Я его приняла за рабочего или электрика. Одет он был в клетчатую ковбойку с короткими рукавами и помятые брюки (а все мужчины были при галстуках), лицо мне показалось простоватым. Я удивилась, увидев, что он, извинившись, сел за первую парту. Я спросила у соседки: «Кто это?». И услышала в ответ: «Это гениальный педагог Якобсон, он преподаёт историю».

Мне было 24 года, ровесников в школе почти не было. Нагрузка у меня была большая, я преподавала биологию во всех десятых классах, кроме 10 «Г». Я боялась не справиться, поэтому общаться с коллегами времени было мало. Дружеские отношения складывались постепенно. Ф. А. Раскольников уделял мне внимание, с Т. Л. Ошаниной общались.

Анатолий Якобсон сам проявил инициативу и первый заговорил со мной. Он мне часто потом говорил: «У нас с тобой разница всего 9 лет. Говори мне — «ты». Мне сначала было трудно, потом привыкла. На переменах всегда дежурили учителя, чтобы ученики не бегали по школе.

Когда выпадало дежурство Якобсона, он приходил в учительскую, брал меня под руку, и мы с ним ходили по этажу. Во время этих «прогулок» мы беседовали на разные темы, кроме политики. Было приятно.

Однажды он рассказал мне о своей статье о переводах Шекспира. Я заинтересовалась, и он сказал: «Приезжай ко мне домой, я покажу статью». Я приехала в первый же свободный день. Он угостил меня кофе и показал статью. В основном речь шла о переводах Шекспира Пастернаком<sup>3</sup>. Статья была очень интересная. Потом он показал мне листовку. В ней шла речь, кажется, о пикете, который устроили несколько человек на Красной площади, выразив так свой протест против ввода наших войск в Чехословакию. Я запомнила одну фразу «декабристы тоже начинали с малого...». Какой-то призыв к революции! Анатолий сказал, что даст мне эту листовку, если я пообещаю, что буду её распространять среди своих знакомых<sup>4</sup>. Политикой я не интересовалась, листовка мне не понравилась, и я отказалась. Я сказала, что этим заниматься бесполезно и опасно. Он сказал: «Милая моя, ты задумываешься о нашем строе...», — я подсказала: «раз в год». «А я, — продолжил он, — думаю об этом каждый день». «А сидеть плохо», — сказала я. — «Я знаю», — ответил Анатолий. На стене у него висела в рамочке фотография писателя Даниэля в лагере, он был в ушанке и телогрейке. Больше на эту тему мы не говорили.

Однажды в большом возбуждении Анатолий вбежал на перемене в учительскую и сказал мне: «У меня сейчас был такой урок! У тебя есть время?». У меня было «окно» между уроками, и я пошла к нему. Я уже много слышала о его уроках. Якобсон увлекательно и умело вёл диспут, ученики работали с азартом. Преподавал он историю до 1917 года. Я как-то слышала, как учительница-историк возмущалась: «Ну, а что остаётся рассказывать мне — о революции и компартии? Почему он не хочет об этом рассказывать?» Он не хотел<sup>5</sup>.

Кроме истории, Анатолий вёл после уроков ещё литературный лекторий. Народу всегда было много, потому что было очень интересно. Я тоже приходила, когда могла. Прослушала несколько лекций о поэтах «Серебряного века». Потом я заболела и неделю отсутствовала. За это время произошли неприятные события. На одной из лекций Якобсон увлёкся и говорил о Максиме Горьком всё, что думал. Сказал, что Горький не пролетарский писатель, и это было крамолой<sup>6</sup>. В общем, разразился скандал<sup>7</sup>. Среди учителей были «стукачи», мы об этом знали, знал и Якобсон, но уж очень жгло у него внутри, не удержался.

Вскоре после этого я зашла в кабинет директора по какому-то вопросу. Там были Фейн, Овчинников и Якобсон. Я услышала, как Овчинников сказал Анатолию: «Ну, ты понимаешь, что мы должны разобрать твой вопрос на партийном бюро?». «Да», — сказал Якобсон. Директор

предложил Анатолию написать заявление об уходе по собственному желанию. Он это сделал и ушёл<sup>8</sup>.

Вспоминаю очень странное открытое партсобрание, я о нём ничего не знала и уже уходила из школы, но кто-то меня перехватил и вернул. О Якобсоне не говорили. Говорили о нашей преданности партии и народу. Закончили пением «Интернационала». Теперь я понимаю, что администрация изо всех сил спасала школу. Было это, по-моему, весной 1968 года.

Через год я ушла из школы в институт защиты растений, но слухи о школе №2 ходили по Москве. Так я узнала, что Якобсона выслали за границу<sup>9</sup>. Он очень переживал, уезжать не хотел. Уехал с женой и сыном.

Ещё через несколько лет от поэта Семёна Липкина, который был знаком с моим отцом, я узнала о подробностях смерти Анатолия. Было больно и обидно. Школа №2, несмотря на все усилия Овчинникова и Фейна, всё-таки скоро распалась. Овчинникова уволили, многие учителя ушли сами. Это стала уже другая школа.

Коллектив школы №2, с которым я проработала два года, был неоднородным. Были очень интересные и увлечённые преподаватели, но были и какие-то «подводные течения», подсиживания, сплетни<sup>10</sup>.

Часто мы собирались в праздники с пирогами и танцами, было приятно и интересно. Но Якобсона на этих вечеринках я не видела ни разу. Хотя, казалось, что он со всеми был в хороших отношениях. Часто шутил, был приветлив, всегда в хорошем настроении. Теперь я понимаю, как ему было нелегко. Дирекция школы и многие учителя ценили его и хорошо к нему относились, но это его не спасло.

Москва  
Февраль 2006

- <sup>1</sup> Людмила Вячеславовна Лобода-Ефремова (р. 1943), окончила биохим. Факультет МГПИ отделение перевода, год проработала в английской школе №7, а затем преподавала биологию и английский язык во Второй школе (1967–68). Работала 10 лет в институте защиты растений, затем работала переводчиком, преподавала в школах и коммерческих вузах английский язык, год преподавала в школах зоологию. *Источник:* «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956-1983 гг. Составители Георгий Ефремов, Александр Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с. (Прим.А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Мой отец Вячеслав Иванович Лобода (1903–1980), по образованию историк, был другом Василия Гроссмана (1905–1964). Они вместе учились в киевской гимназии до переезда в Москву, где продолжили учёбу в Московском университете и вместе снимали комнату. В общем, эта была дружба на всю жизнь. И когда арестовали книгу Гроссмана «Жизнь и судьба», то Василий Семёнович передал один экземпляр моему отцу



на сохранение. И вот в нашем доме в Калужской области эта рукопись и хранилась. И об этом писали (в газетах), и немецкие кинодокументалисты приезжали к нам снимать фильм. Семён Липкин дружил с Гроссманом. Липкину Гроссман дал деловой экземпляр, который отпечата-ла машинистка, без всяких примечаний. А моему отцу он дал черновик с посвящением (своей) матери, и со всеми пометками, с его почерком — то есть рукопись совершенно бесценная. А. Д. Сахаров сделал с делового экземпляра микрофильм, который потом передали через В. Войновича за границу, и было много потерь. На основании рукописи, которая хранилась в нашей семье более двадцати лет, Книжная палата добавила в последнее издание романа посвящение автора: «Посвящается моей матери Екатерине Савельевне Гроссман». (Прим. Л. Лободы-Ефремовой)

- 3 По всей видимости, имеется в виду небольшая статья Якобсона «Два решения. Еще раз о 66-м сонете», опубликованная в сборнике «Мастерство перевода» за 1966 год (М.: «Советский писатель», 1968). Статья посвящена сравнению двух переводов одного и того же стихотворения — 66-го сонета Шекспира, сделанных соответственно С. Маршаком и Б. Пастернаком. (Прим. А. Даниэля)
- 4 Речь идет об одном из первых самиздатских текстов Якобсона, подписанных его именем, — коротком публицистическом отклике на известную «демонстрацию семерых» на Красной площади. Память здесь подводит мемуариста: визит Л. В. к Якобсону не мог произойти в первый год ее преподавания во Второй школе, т. е. в 1967/68 учебном году, поскольку «листочку» она могла увидеть не раньше конца августа 1968 (вторжение в Чехословакию произошло в ночь с 20 на 21 августа, «демонстрация семерых» — 25 августа; Якобсон в школе тогда уже не работал). Фразы про декабристов в этом тексте нет; есть цитата из Герцена: «Я нигде не вижу свободных людей, и я кричу — стой! — начнём с того, чтобы освободить себя». Видимо, слово «освободить» привело к тому, что Л. В. восприняла текст как революционный призыв. То, что речь идет о самоосвобождении, воспринято не было, как и весь «антиполитический» пафос текста, смысл которого — отнюдь не в «призыве к революции»; напротив, он посвящен праву людей совершать поступки, которые не приводят ни к каким политическим результатам. Ну, а Герцен превратился в декабристов из-за хрестоматийной школьной ассоциации (кто-то кого-то будил). Вообще, весь эпизод демонстрирует массовые стереотипы восприятия той эпохи: диссидентское поведение трактуется как «политика», открытая оппозиционность равна революционности, а любой самиздатский текст воспринимается как «листочка». Сомнительным представляется также адекватность воспоминания о предложении Якобсона дать мемуаристу «листочку» в обмен на обещание «распространять» её; в том диссидентском кругу, к которому принадлежал Якобсон, подобные предложения рассматривались как крайне неэтичные. Скорее всего, Якобсон сказал что-нибудь вроде: «Хочешь — возьми себе; если захочешь кому-нибудь показать — показывай». (Прим. А. Даниэля)
- 5 Нашему классу он объявил и объяснил свое нежелание заранее. Впрочем, под конец увлекся и всё-таки дал несколько уроков, относящихся к 1917–18 гг.; тогда и самым непонятливым стало понятно, почему он не хотел этого делать. (Прим. А. Даниэля)
- 6 Речь, по-видимому, идёт лекции А. Якобсона «О романтической идеологии», прочитанной им в марте 1968 г, в которой упоминался Горький: «Существует лозунг: «Кто не с нами — тот против нас». Этот принцип принимался и принимается у нас как нечто само собой разумеющее-

ся, как постулат, не нуждающийся в доказательствах. А почему, собственно говоря? Подлинно ли это аксиома? Почему человек, мыслящий не так, как я, мыслящий иначе, — непременно мой враг? Между тем гуманист Горький не только подхватывает этот лозунг, но развивает его своей известной формулой: «Если враг не сдается — его уничтожают». Это было сказано, когда под врагом имелся в виду не противник на поле боя, а все тот же анакомыслящий. Горький чуть-чуть не дожил до процессов 37–38 года. Как бы он отнесся к ним? Судя по его реакции на аналогичные явления конца 20-х — начала 30-х годов — вернее, судя по отсутствию публичной реакции — Горький и к предстоящему людоедству мог бы отнестись спокойно. Между прочим, тоже романтик был смолду. Толстовское, короленьковское: «Не могу молчать!» — к нему, Горькому, уже не относится. Он научился молчать и даже петь в унисон, когда этого требовала Историческая Необходимость, Высшая Целесообразность — как великий пролетарский писатель стал её понимать. При этом Горький до конца продолжал, вероятно, считать себя глашатая гуманизма. Так, бывает, идея отчуждается, не переходя по наследству, а в сознании одного человека. Отчуждение идеи совпадает с отчуждением личности...» (Прим. А. Зарецкого)

- <sup>7</sup> В. Ф. Овчинников утверждает, что такой скандал не мог бы пройти мимо него, но он такого не помнит. (Прим. А. Ковальджи). О Горьком помню только одно яacobсоновское высказывание, что поэтом он был плохим, читателем стихов тоже неважным (в смысле восприятия поэзии), но зато — отменным наблюдателем. Яacobсон мог походя бросить замечание о непролетарском происхождении Горького, но это не могло стать причиной его ухода из школы; в его лекциях попадались фразы и покруче. (Прим. А. Даниэля)
- <sup>8</sup> По словам Яacobсона, у них с Овчинниковым и Фейном была джентльменская договорённость: если вокруг него станет очень «горячо», то они ему об этом скажут, и тогда он подаст заявление по собственному желанию. Весной 1968 года так и произошло. Но В. Ф. и Г. Н., которым очень было досадно лишаться Яacobсона, предложили ему под занавес «порезвиться» и отвести душу: всё равно уходить, так уж высказаться на всю катушку (возможно, предложение исходило только от Г. Н.). Во исполнение этого, перед самым уходом, было два дополнительных публичных выступления А. А. в школе: диспут с Фейном об эстетической теории Чернышевского, где Г. Н. добровольно взял на себя роль мальчика для битья, и лекция о романтической поэзии первых послереволюционных лет, из которой он сделал потом статью «О романтической идеологии». (Прим. А. Даниэля)
- <sup>9</sup> «Выслали» — неточное слово: на Яacobсона не надевали наручники и не сажали насильно в самолет. Другое дело, что к концу 1972 г. перед ним замаячила перспектива ареста и лагеря; говорят, ему прямо передавали из КГБ предупреждения, что если он сам не уедет за рубеж, то его арестуют. Яacobсоны покинули СССР в начале сентября 1973 г. (Прим. А. Даниэля).
- <sup>10</sup> По мнению В. Ф. Овчинникова, таких было три человека, остальные вели себя совершенно нормально, порядочно. (Прим. А. Ковальджи)



*Александр Крауз<sup>1</sup>*

## **Записки о Второй школе**

Не думаю, что будет большим преувеличением, если я скажу, что мировоззрение, и, как сейчас модно говорить, менталитет многих выпускников Второй школы того периода, в основном определялся идеями, мыслями и чувствами, которые, наряду с блестящими преподавателями математики, физики, биологии вкладывали в нас учителя литературы и истории Овчинников, Збарский, Музылев, Якобсон, Фейн, Блюмина, Раскольников, Камянов, Ошанина и другие.

Фигура Якобсона заслуживает не одной книги, а в этих, весьма кратких, воспоминаниях, я попробую отразить лишь немногие, весьма отрывочные, воспоминания о нем в период, когда он был нашим учителем.

Кроме того, как раз в тот период, когда в школе появился Якобсон, к нам в класс пришел Сашка Даниэль, который сразу после ареста Юлия Марковича Даниэля переехал из Новосибирска, где он учился в математическом интернате, в Москву, к матери Л. И. Богораз. Ни одна московская школа не принимала его, пока Якобсон не привел его к Шефу, который взял его сразу (прекрасно понимая, какой резонанс это вызовет в соответствующих органах) ...

Из лекций, которые читали преподаватели, можно упомянуть лекции Анатолия Якобсона о русской поэзии, где, кроме собственно «поэтических» тем, естественно, затрагивались и «историко-поэтические», а история большинства русских поэтов первой половины XX века, да и сами их фамилии, были в эти времена предельно табуированы. Его «поточные» лекции по истории, хотя формально и лежавшие в рамках курса истории, также могли дать пищу «компетентным органам».

Обычно лекции заканчивались следующим:

*«Ну, так... осталось еще до звонка 5 минут... Ну, быстренько запишите, что обо всем этом вы будете говорить на экзаменах».*

Например, то, что хорошо помню сам:

*«Запишите: Штурм Зимнего дворца, которого, как вы теперь знаете, не было вовсе, произошел 25 октября 17 года...».*

Приход к нам в качестве учителя литературы (а затем и истории) Анатолия Якобсона в корне изменил направление наших литературных интересов. Мы начали читать, обсуждать и «изучать» поэзию, в основном русскую поэзию «серебряного века». Очень много читалось на уроках вслух, зачастую задания на дом звучали так: выучить и прочесть на уроке любое нравящееся вам стихотворение и попытаться объяснить, что вам в нем нравится. Помню, Яшка (Хейфец) так прочел

«Послушайте» Маяковского, что в классе установилась мертвая тишина, а обычно резкий и радостно иронизирующий по нашему поводу Якобсон долго молчал, а потом сказал «Обсуждений не надо...».

Однажды Якобсон прочитал нам на уроке два перевода знаменитого 66-го сонета Шекспира — широко известный перевод Маршака, и гораздо менее известный перевод Бориса Пастернака. Был на уроке и английский оригинал, но наших знаний английского явно не могло хватить для анализа «переводческой» адекватности того и другого текста. Весь урок (и, если мне не изменяет память, еще два занятия) был посвящен обсуждению, отнюдь не только литературоведческому, этих двух блестящих образцов русской поэзии, совершенно по-разному «истолковавших» гениальный оригинал. В основном обсуждался вопрос о том, насколько сильно собственная мировоззренческая позиция поэта проявляется при поэтическом «изложении» оригинала. Только потом мы узнали, что как раз в это время Анатолий Александрович готовил свою блестящую статью «Два решения: еще раз о 66-м сонете»<sup>2</sup>...

<sup>1</sup> Александр Яковлевич Крауз (1951–2005), окончил Вторую школу (выпускной класс 10 «Е», 1968) и МИРЭА, работал в области радиоэлектроники в НИИ «Пульсар» (1974–94), директор частной фирмы «ЭЛЕКОМ», зам. Генерального директора ЗАО «Каширский двор» (2002). Инициатор, автор, составитель и редактор первого выпуска «Записок о Второй школе». *Источник*: «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956–1983 гг. Составители Г. Ефремов, А. Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с.

<sup>2</sup> «Два решения», в сб. Мастерство перевода, 1966. Москва, «Советский писатель», 1968 и в книге А. Якобсон «Почва и Судьба». Вильнюс – Москва, «Весть – ВИМО», 1992 г

*Натasha Симонович<sup>1</sup>*

## **О такой школе**

Об Анатолии Александровиче написано, мне кажется, так много, что не решаюсь что-то добавить (честно говоря, и о других тоже).

Хотя было и кое-что личное, но очень мало: как он хвалил мои стихи, например. Не помню уже, кто ему их показал, но, прочтя, он поймал меня на лестнице и долго мне объяснял, чем они хороши. До сих пор не знаю, правда ли он так считал или просто увидел что-то в потенциале... Урок уже давно начался, а мы все стояли, и он мне все втолковывал, а что, уже, конечно, не помню.

### **Дополнения**

Когда книжка о Школе<sup>2</sup> уже вышла в свет, я все задумывалась: ну почему я не рассказала больше. Ведь на самом деле с Якобсоном меня связывала не только школа, но и общий круг. И встреч было очень много, и училась я у него русскому языку в частном порядке (безнадёжно, но не Анатолия Александровича в этом вина). И вдруг оказывается: из всего, что связывает с ним, так трудно выбрать что-то; так трудно свести к небольшому рассказу; что в результате написалось три строчки, и всё...

Но кое-что, все-таки, добавлю. Постараюсь внести еще маленький осколок в большую мозаику, которая нами складывается кусочек к кусочку. Беспорядочные мысли...

Якобсон очень быстро стал нам родным. Мне кажется, школа очень похожа на сцену, и каждый учитель что-то «играет», кто-то «строгого», кто-то «мудрого». Анатолий Александрович всегда оставался самим собой: необыкновенно, пронзительно искренним. Во Второй школе это намного чаще встречалось — честность и искренность учителей. Но Якобсон вообще производил впечатление человека без кожи. Его уроки как будто совсем не были рассчитаны на публику, на аудиторию, иногда казалось, что он говорит с самим собой.

Неподдельная, еле сдерживаемая страстность, широкая ладонь, взлохмачивающая короткие волосы, чуть дрожащий от напряжения мощный голос. Он мог негодовать, но никогда ни на кого не злился. Он гремел, но потом улыбался — так нежно и ласково.

Поразительным образом душа не может поверить в эту смерть, даже после стольких лет, так яростно в ней его образ.

Помню лекцию о Есенине, сложную, неоднозначную. И разгром стихотворения «Ты меня не любишь, не жалеешь...» Якобсон обрушился на Есенина со всей присущей ему страстностью, долго говорил,

как отвратительно ему это лицемерное мужское кокетство. А потом подпер голову рукой, улыбнулся и произнёс: «А может быть, всё не так? Вот послушайте: “ты меня не любишь, не жалеешь...”» И он прочел стихотворение так, что ничего пошлого и грубого в нём не осталось, только чистая грусть и жажда искренности и любви. И то и другое было правдой, и было естественно и просто.

В нашем классе единственный год Яacobсон преподавал литературу. Потом были по литературе только лекции, а он остался учителем истории. В этот год он придумал для нас совсем другую программу. Мы проходили Хемингуэя, Мопассана, Бабеля и Куприна. После его уроков иногда я понимала, что до этого почти не умела читать, так выпукло и ярко вдруг заиграли рассказы, которые и раньше были знакомы... Нам надо было прочесть какое-то стихотворение по выбору и разобрать его. Помню, я прочла стихотворение Кедрина «Пирамиды». Я начала высказывать какие-то свои мысли, но очень мало успела произнести. Яacobсон очень быстро меня перебил и всю оставшуюся часть урока говорил о поэзии вообще как способе пропустить мир через себя и об исторической поэзии в частности как опрокинутой в себя истории. Так это было однозначно, понятно и просто, что с этого момента только так я принимаю искусство.

Он устраивал диспуты, и никогда не оставался нейтральным. При сравнении двух переводов 66-го шекспировского сонета класс спорил с ним до хрипоты: всем нравился больше перевод номер один, а Яacobсон отстаивал перевод номер два. То, что первый принадлежит Маршаку, а второй — Пастернаку, мы поначалу не знали. Он спорил, метал молнии и громы, но никого не подавлял — вот ведь фокус.

Он был бескомпромиссным, но очень добрым, и любил нас.

Я уже мать и бабушка, и часто слышу споры о воспитании. Как можно воспитать, повлиять, направить? И всё больше я прихожу к выводу, что никак не повлияешь, никого не убедишь, а влияет только искренность и человечность, только тот, кто трогает твоё сердце. Какое счастье, что нам в детстве суждено было соприкоснуться с таким человеком, как Яacobсон.

<sup>1</sup> Наталья Борисовна Симонович (Нехама-Наталья Полонски) (р. 1951), окончила Вторую школу (Выпускной класс 10 «Б», 1968) и Московский институт электронного машиностроения, на её квартире в 1973-77 готовились «Хроники текущих событий», ныне проживает в Израиле (Бейт-Эль), преподаватель иудаизма, веб-мастер. (Источник: «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956–1983 гг. Составители Г. Ефремов, А. Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с.). Совместно с Василием Емельяновым участвовала в создании Мемориальной сетевой Страницы А. Яacobсона в октябре-ноябре 2003 г., разработчик её веб-дизайна. (Прим. А. Зарецкого).

<sup>2</sup> Записки о Второй школе. 2003 г. Москва.

*Александр Колчинский*<sup>1</sup>

## **Групповой портрет во второшкольном интерьере**

Существуют две выпускные фотографии нашего 10 «Д», сделанные весной 1969 г. Первую фотографию сняли без Якобсона, но минутой позже он неожиданно появился в школе. Он был очень любим и нами, учениками, и большинством своих коллег. Его затащили в класс, где еще стояли составленные для фотографирования стулья, пришли и другие учителя, не попавшие в кадр в первый раз, и была сделана вторая фотография.

Якобсон ушел из школы весной 1968 г., почти закончив курс истории СССР до 1917 г. Кроме этого, он время от времени читал свои знаменитые лекции о поэзии в набитом до отказа конференц-зале школы. Вместо привычного лозунга «Учиться, учиться и учиться» или чего-нибудь еще в этом роде, на стене зала долгое время висел длинный плакат со следующим текстом: «Конгрегация абстрактных идей в сфере духовной апластики есть то самодвижущее начало, которое движет всемирную идею». Происхождение этой заумной фразы было мне неизвестно, подписи под ней не было, но она вполне соответствовала духу второшкольного юмора.

На лекции Якобсона приезжали знакомые ребята из других школ, их родители, наши родители. За 1967-1968 учебный год Анатолий Александрович прочитал, кажется, пять лекций: о Пастернаке, о Блоке, о Есенине, «О романтической идеологии» и о Чернышевском. Лекции, как правило, кто-то записывал на магнитофон, их можно было попросить переписать и потом снова послушать.

Особенно блестящей была лекция «О романтической идеологии», которая потом стала статьей и распространялась в самиздате. Я не думаю, что даже второшкольная аудитория была в состоянии в полной мере ее оценить. Дело было не только в том, что в ней звучали имена, которые нам ничего не говорили: Джек Алтаузен, Михаил Голодный, Артем Веселый. Большинство упомянутых Якобсоном поэтов — Тихонов, Багрицкий, Светлов — были нам знакомы. Главное, что в обществе еще сохранялся определенный уровень исторического оптимизма, свойственный шестидесятникам, еще не было оккупации Чехословакии, с огромным успехом шли пьесы Шатрова о Ленине. А Якобсон обвинял поэтов, которые воспевали революционное насилие, в антигуманизме. Речь шла о «ленинской эпохе», и многие слушатели не были готовы взглянуть на нее критически. Одним из запомнившихся моментов



его лекции было описание сцены из спектакля «Десять дней, которые потрясли мир», поставленного на Таганке. В этой сцене крошечные, жалкие обыватели суеились у ног огромного революционного матроса с винтовкой (эта картина изображалась в виде теней на занавесе, в стиле окон РОСТА Маяковского). Мало того, что Якобсон решительно встал на сторону жалкого обывателя, что не совсем укладывалось в наше молодое романтическое сознание. Он к тому же обвинил создателей спектакля в романтизации насилия, а ведь Театр на Таганке воспринимался как средоточие всего передового, смелого, правдивого.

Разумеется, не все лекции Якобсона были равноценны. Две большие лекции о Пастернаке зал сначала слушал, затаив дыхание, потом стал отвлекаться. Обдумывая эти воспоминания, я просмотрел лекции о Пастернаке в опубликованном виде<sup>2</sup> и убедился: они мало подходили для публичного чтения, прежде всего, из-за своего объема. Анатолий Александрович, видимо, чувствовал усталость слушателей, пытался оживить лекцию шутками вроде: «Я позднего Пастернака люблю безумно, так что сильнее просто любить нельзя, а раннего — еще больше». В шестнадцать лет мне эта фраза нравилась своей открытостью, эмоциональностью, но сегодня смущает своей экзальтированностью.

А вот более компактная лекция о Есенине пользовалась успехом. Она была, по крайней мере на мой подростковый вкус, хорошо выстроена. К тому же Якобсон говорил о том, чего мы не знали: об образованности Есенина, о его взаимоотношениях с религией, о религиозных образах, скрытых в описаниях природы. По-видимому, эти материалы не сохранились; во всяком случае, они не вошли в книгу Якобсона «Почва и судьба».

Якобсон меня, как мне казалось, выделял. Как я узнал только много лет спустя, моя мать встречалась с ним в те годы в связи с изданием «Хроники текущих событий», выполняя какое-то поручение своей ленинградской подруги, активной участницы правозащитного движения Натальи Викторовны Гессе. Маме надо было позвонить Анатолию Александровичу и объяснить, кто она такая, но она не хотела по телефону ни называть фамилию Гессе, ни упоминать Ленинград. В конце концов она придумала кодовую фразу: «Я должна передать вам привет от Наташи из колыбели», которая прекрасно сработала. «Колыбель революции» для людей того поколения была настолько устойчивой метафорой Ленинграда, что Якобсон мгновенно понял, о ком идет речь.

Еще до моего прихода в школу Якобсона со скандалом сняли с преподавания литературы. Насколько я знаю, он ввел в школьный курс ряд западных авторов, и ему официально инкриминировали отклонение от программы. Конечно, главной причиной была его правозащитная деятельность, но никто нам этого, естественно, не говорил. Ирония заключалась в том, что ему по-прежнему разрешали преподавание

истории, а в девятом классе это была история России XIX и начала XX века, которая требовала особой идеологической выдержанности.

Свои уроки Якобсон строил, по сути, как лекции. Он прочитал нам, в частности, курс лекций о политических партиях предреволюционной России, приводя совершенно неизвестные не только нам, подросткам, но и нашим интеллигентным родителям цифры и факты. Так же захватываяще он рассказывал о Русско-японской и Первой мировой войнах.

Якобсон был человек увлекающийся и к истории России относился со страстью. Ему было трудно пассивно выслушивать учеников, проверяя, «выучили» они или «не выучили». На его уроках ни он, ни мы не думали об отметках. Вот как написал об этом Герман Наумович Фейн в своих воспоминаниях: «... Бывало, ученик изрекал поразившую Толю мысль и замолкал, не зная, как ее раскрыть, а Толя, метнувшись со своего учительского места, на целый урок раздражался блистательной лекцией, в которой развивал тезис, вряд ли столь глубоко осмысленный самим учеником...»<sup>3</sup>

Работа простого школьного учителя, очевидно, не соответствовала ни способностям, ни литературным амбициям Анатолия Александровича, но хотя бы отчасти удовлетворяла его острую потребность в доброжелательных, заинтересованных слушателях. Во Второй школе у него были такие слушатели, и даже иногда возникала возможность диалога, несмотря на нашу юность и относительную малообразованность.

Помню урок о военных действиях в Италии во время Первой мировой войны. Якобсон вдруг спрашивает: «Кстати, об этом написана стоящая книжка. Кто-нибудь читал?» Хемингуэя читали многие, и Регина Турецкая первой отвечает: «Прощай, оружие!»

Другой эпизод. Одна из якобсоновских лекций о поэзии, речь идет о Блоке. Якобсон говорит: «Ну, вообще-то великие русские поэты XX века практически белым стихом не писали». Из зала раздается голос Юли Розенфельд: «А Цветаева? «Я хотела бы жить с вами в маленьком городе...» — «Да, действительно...»

На уроки он приходил взлохмаченный, с вылезавшей из штанов рубашкой. Как я теперь понимаю, его крайняя небрежность к собственной внешности, которую отмечают мемуаристы, могла быть одним из симптомов его тяжелой психической болезни.

Во время уроков Якобсон часто шутил, иногда рассказывал анекдоты. Все его шутки, которые я помню, так или иначе вращались вокруг «алкогольной» темы. Например:

— Какой спиртной напиток начинается на букву «Е»? — «Еденатурат».

— Слово «алкаш» происходит не от слова алкоголик, а от слова «алкать».

— Пожар в публичном доме. Все бегают, кричат «Воды, воды!» Из одного номера высовывается помятая физиономия и говорит: «А в тринадцатый, пожалуйста, пивка».

И так далее.

Мнения Анатолия Александровича о литературе, в том числе и современной, пользовались в школе почти непререкаемым авторитетом. Насколько я понимаю, именно с его легкой руки возник своего рода «культ» Давида Самойлова, с которым Якобсон был очень близок и которого чрезвычайно ценил как поэта.

Зимой 1967–1968 учебного года Анатолий Александрович привел Самойлова выступить в школе. Аудитория, где он должен был выступать, вмещала два класса и заполнилась задолго до начала. Я сидел у прохода. Якобсон с Фейном с почтением провели мимо меня кумира большинства второшкольников. На меня дохнуло перегаром и показалось, что Самойлов несколько пьян. Я был так этим поражен, что даже не запомнил, что он, собственно, тогда читал.

Алкоголь, как я сейчас понимаю, играл в судьбе самого Якобсона не просто трагическую, но экзистенциальную роль. Это был своего рода заменитель «карнавала» в бахтинском понимании слова, то есть «временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временная отмена всех иерархических отношений, привилегий, норм, запретов».<sup>4</sup> Не случайно, как свидетельствует близкая приятельница Анатолия Александровича, ему было так важно познакомиться с Бахтиным, дать ему свою книгу о Блоке, задать, наконец, сакраментальный вопрос: «Пили Вы когда-нибудь?»<sup>5</sup> В своем дневнике Якобсон говорит о Бахтине: «он — не литератор, не критик, <...> он — великий мыслитель».<sup>6</sup>

При этом важно помнить, что «освобождение от господствующей правды» было нужно Якобсону не только для себя, но и для всех. Он боролся за это с помощью своих второшкольных лекций, своих статей и книг, и, главное, участвуя в правозащитной деятельности.

Обстановка свободомыслия во Второй школе приводила к тому, что учителя нередко забывали об осторожности, о том, что школа находилась под пристальным наблюдением РОНО и городского партийного начальства. В первую очередь об этом был склонен забывать Якобсон. В своих воспоминаниях Фейн рассказывает следующий эпизод (цитирую с сокращениями): «Однажды в день очередной Толиной лекции должна была состояться дискуссия об эстетической теории Чернышевского. Мы договорились с Толей, что после его разгромного анализа этого псевдофилософского примитива выступит один из коллег — словесников в качестве оппонента: надо было, чтобы «там» увидели, что был «дан отпор». Толя, по видимости, с полным понима-

нием отнесся к этой идее. Но когда его оппонент начал доказывать то, во что сам не очень верил, Толя не выдержал, ворвался на сцену и довел разгром материалистической эстетики до беспощадного финала»<sup>7</sup>.

Из воспоминаний Фейна о Якобсоне становится хоть немного понятно, каких усилий стоило администрации сохранять Вторую школу.

Весной 1968 г. Якобсон был окончательно отстранен от преподавания. Как вспоминает Фейн, у них существовала договоренность, что, если его присутствие будет угрожать школе, он подаст заявление об уходе.

- <sup>1</sup> Александр Маркович Колчинский (р. 1952), окончил Вторую школу (выпускной класс 10 «Д», 1969) и биофак МГУ, кандидат биологических наук, занимается консультативным сервисом в США. Автор книги «Москва, г. р. 1952». — М.: Время, 2008. — 224 с.: ил. — (Документальный роман). ISBN 978-5-9691-0263-7. *Источник*: «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956-1983 гг. Составители Г. Ефремов, А. Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с. (прим. А. Зарецкого, далее прим. А. Колчинского).
- <sup>2</sup> Анатолий Якобсон. «Почва и судьба». М. –Вильнюс, 1992 г., с. 59.
- <sup>3</sup> Герман Фейн. Памяти Толи Якобсона. «Континент», 1979 г., т. 20, с. 365.
- <sup>4</sup> М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле. М., 1965 г., с. 11.
- <sup>5</sup> Ю. Вертман. «Странички о Толе». В книге: Анатолий Якобсон. «Почва и судьба». М. –Вильнюс, 1992 г., с. 307.
- <sup>6</sup> Анатолий Якобсон. «Почва и судьба», М. –Вильнюс, 1992 г., с. 266.
- <sup>7</sup> Герман Фейн. Памяти Толи Якобсона. «Континент», 1979 г., т. 20, с. 363.

*Регина Турецкая*<sup>1</sup>

## **Тридцатилетний перерыв**

Во вторник была лекция для двух классов по истории, читал Яacobсон. Историю я впервые стала учить, читала не учебники, а то, что про данное время могла найти. За год учения он вызвал меня «к доске» один раз. Нужно было рассказать про Первую мировую войну. Я начала бубнить по учебнику, не зная, как вернуть про другое. И тут Яacobсону стало скучно, он вообще не любил опросов, и он поинтересовался, какие художественные произведения о войне я читала. Это был подарок: я сказала, что Хемингуэй прочитала, а Ремарка дочитываю.

На вопрос, каково мое мнение об этих произведениях, я ответила, что Хемингуэй чудесный писатель, а Ремарк хороший человек. Получила «садись». Отметки в журнал он ставил, когда было нужно заполнить журнал, всегда пятерки, и расставлял их по какой-нибудь несерьезной схеме, например, как в игре «крестики-нолики». Рассказывали, что девочка, не помню ее имени, рассказывая про Первую мировую, сказала «...и наши войска». А. А. остановил и указал, что войска были царские, не наши нынешние. Девочка помялась и продолжила. Еще раз употребила «наши войска», была остановлена, продолжила, и опять то же самое. После третьего раза А. А. рассвирепел и крикнул «Садитесь!!!...Четыре».

Я, конечно, тоже была в него влюблена. Как в божество. Через много лет, прочитав его книги, я обнаружила, что пишет он похуже, чем говорит, божеством моим он быть перестал. Потом я узнала, что он покончил с собой. Люблю я его и теперь, жалко его.

<sup>1</sup> Регина Борисовна Турецкая (р. 1952), окончила Вторую школу (выпускной класс 10 «Д», 1969) и биологический факультет МГУ, работает в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук. *Источник:* «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956-1983 гг. Составители Г. Ефремов, А. Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с. (Прим. А. Зарецкого)

## ЗАМЕТКИ

Я застал последний из трех лет пребывания в школе Анатолия Александровича Якобсона. Вначале он преподавал литературу и историю, а при мне только историю (так называемую «новую»: 1870–1918 гг.). Его еженедельные двухчасовые лекции читались для нескольких классов одновременно в большой 18-й аудитории на третьем этаже. Лекции были блестящими по форме и содержанию, почти всегда вызывая вопросы и дискуссии (споря и отвечая на вопросы, А. А. порой лишал себя и слушателей заслуженной перемены). Но особым успехом пользовались факультативные лекции Якобсона о русской поэзии XX века, периодически читавшиеся по субботам в переполненном актовом зале на первом этаже.

Эти лекции ожидались с нетерпением, к ним готовились, их пытались записывать на магнитофон и огорчались в случае отмены или переноса. В 1967–1968 учебном году, который для Якобсона окончился досрочно, были прочитаны 3 лекции о Блоке, 2 о Есенине и — «лебединая песнь» А. А. — лекция «Из поэзии 20-х годов» (9. III. 1968), породившая затем знаменитую статью «О романтической идеологии» («Новый мир» 1989, № 4; «Почва и судьба»). Тексты лекции и статьи не идентичны: в лекции, помимо стихов, анализировались 2 рассказа Бабеля. Кроме того, в октябре 1967 г. в том же актовом зале Якобсон прочитал доклад, содержащий разбор трактата Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Как раз в это время Чернышевский «проходил» по программе, и учителя решили устроить нам своего рода показательный спектакль под названием «диспут». Последовательно и аргументированно докладчик показал все убожество материалистической эстетики, продемонстрировал, как вульгарность мышления находит выражение в вульгарности стиля. Оппонировал Якобсону в тот вечер наш завуч и учитель литературы Герман Наумович Фейн (ныне профессор в университете Майнца, Германия, известный по публикациям как Герман Андреев). Не возражая по существу («Готов подписаться под каждым словом Анатолия Александровича»), он достаточно резонно заметил, что природу любого явления, в том числе такого, как Чернышевский и его идеи, мы лучше поймем в историческом контексте.

Диспут привлек большое внимание, бурно обсуждался, чего и добивались его устроители. Как я понимаю, они хотели продемонстрировать возможный уровень дискуссии, адекватный предмету. Мы тогда любили спорить, жаждали иметь обо всем «свое мнение», но далеко

еще не владели ни культурой полемики, ни искусством аргументации, ни умением держаться существа дела.

В предшествующие годы работы в школе (1965–1967), помимо тех же лекций о Блоке и Есенине, Якобсон прочел 3 лекции о Маяковском, 2 о Цветаевой, 2 о Пастернаке. Не осуществилось его намерение прочитать 2 лекции о Манделштаме. Сохранились немногочисленные магнитофонные записи: полторы лекции о Пастернаке (запись обрывается), фрагмент 3-й лекции о Блоке («Соловьиный сад»). Статья о поэзии Пастернака в сб. «Почва и судьба» основана на лекции.

Уроки истории у Якобсона также были пронизаны литературными реминисценциями. Рассказ о польском восстании 1830-1831 гг. сопровождался незабываемым чтением стихотворения Ю. Словацкого «Кулиг» в переводе Б. Пастернака. На одном из уроков по Первой мировой войне А. А. спросил, какие художественные произведения о ней мы знаем (лучшее, что мы могли назвать, — книги Ремарка, Хемингуэя и Гашека).

В 1968 г. Якобсон начал заниматься правозащитной деятельностью и, по договоренности с Фейном, заблаговременно оставил школу. После весенних каникул мы вдруг обнаружили, что любимого учителя нет. Было много слухов и толков разной степени горячности; учителя не могли сказать нам правду и ссылались на занятость А. А. переводческой работой... Короткая встреча состоялась в конце апреля следующего, 1969 г., когда Якобсон зашел в школу, чтобы сфотографироваться с выпускными классами.

Якобсон-правозащитник, «Хроника текущих событий», Инициативная группа, злосчастная эмиграция, болезнь и трагический конец в 43 года — все это отдельные большие темы, частично затронутые в публикациях. Не берусь здесь даже кратко рассказать о Якобсоне — писателе и переводчике.

Плохо это или хорошо, но в школе, безусловно, существовал своеобразный «культ Якобсона».

- 1 Анатолий Вадимович Сивцов (р. 1952), окончил Вторую школу (выпускной класс 10 «В», 1969) и геологический факультет МГУ (1974), работает в лаборатории электронной микроскопии (кристаллохимии) ИГЕМ РАН, специализируется в области просвечивающей электронной микроскопии, соавтор ~250 научных публикаций. *Источник:* «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956–1983 гг. Составители Г. Ефремов, А. Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с.

*Светлана Ганелина<sup>1</sup>*

## **«А еще Вторая школа!»**

Хотя после окончания школы я ни разу Яacobсона не видела, он был для меня самым главным Учителем. Для нашего класса он был и литератором, и историком, и классным руководителем. Классное руководство как ограничение нас какими-то рамками ему претило. «Неужели я должен следить за вашей дисциплиной?! Я что — жандарм?!» Мы успокоили его, пообещав, что за своей дисциплиной проследим сами. «А дневники?» Мы сказали, что отметки из журнала в дневники будут выставлять дежурные. «А я только расписываться?» — обрадовался Яacobсон. «Они и распишутся». Ему это понравилось, и до заступления на вахту классного руководства Блюминой мы сами справлялись с дневниками. У меня до сих пор хранится дневник, где почерком моего приятеля Леши Пригожина выведено: «замечание за разговоры на уроке».

Яacobсон был самым необычным и самым талантливым из учителей. Он был громадой, и, кажется, мы это быстро поняли, хотя первое, что бросилось в глаза — это его нервное состояние. Он совершенно не мог находиться в покое, ему труднее было сидеть и слушать, чем читать лекцию. Однажды, во время очень интересной лекции о поэзии, он как-то виновато сказал: «Потерпите, я скоро закончу, вы, наверно, устали слушать». Обычный учитель сказал бы: хорошо вам сидеть, а я тут шесть часов перед вами... Яacobсон же искренне считал, что нам труднее, чем ему. А мы сидели не шелохнувшись. Иногда во время этих общих лекций в актовом зале он стучал спичечным коробком по столу, что означало: выключите магнитофон. Потом стук повторялся, и магнитофон можно было включить снова. Таков был уговор с теми, кто хотел записать его лекции. «Выключались» наиболее крамольные места. А то, что на эти лекции можно было приводить кого угодно — под нашу ответственность — воспринималось как норма.

«Как он не боится?!» — поражались мои родители, когда я пересказывала дома его уроки. Он читал нам стихи из «Доктора Живаго». Обсуждал на уроке истории только вышедшую и тут же изъятую книгу Некрича о Великой Отечественной, где приводилась страшная статистика репрессий высшего и среднего состава к моменту начала войны. Из отдельных фактов складывалась картина чудовищной стратегической бездарности Сталина. Не то чтобы у меня дома ни о чем таком не говорили, нет, мои родители в оценках были близки к Яacobсону, но они не были диссидентами. Мы, разумеется, читали самиздатовскую литературу, но читали тихо, подпольно. Яacobсон же действовал, рис-



ковал, и это вызывало уважение. Он мог сказать на уроке, что вчера, в день рождения Сталина, был на Красной площади, потому что стало известно, что сталинисты хотят провести демонстрацию, и его «пригласили» на разговор. Якобсон был всегда естественным. Посреди урока он мог вдруг засмеяться собственным мыслям и сказать: «Хорошую частушку услышал:

На столе стоит графин,  
Рядом четвертиночка.  
Мой миленок — хунвейбин,  
А я — хунвейбиночка».

Или поделиться, как ему влетело дома за потерянный где-то в походе рюкзак. «Но представьте: на следующий день жена потеряла кошелек с месячной зарплатой!» Он был удовлетворен... Якобсон часто погружался в свои мысли и потому бывал рассеян. Как-то в троллейбусе он долго рылся в карманах, отыскивая 4 копейки (их надо было опустить в кассу и оторвать билетик). Отсчитав требующиеся копейки, он по рассеянности положил их в карман, а все свои деньги опустил в кассу. Вместе с ключами от квартиры, о чем со смехом рассказал нам.

Считалось, что Якобсон преподает нам три предмета: русский язык, литературу и историю. Русским языком он заниматься не стал, только выставлял за него оценки в сочинениях. Литературу вел потрясающе! Наплевав на школьную программу, он выстроил свою собственную. Начали с поэзии, а потом перешли к прозе. Он брал рассказы, небольшие новеллы, читал нам целиком вслух (благо уроки были сдвоенные или даже строенные) и предлагал высказываться. Последние пять минут оставлял себе. Он прочитал нам «Случай на станции Кречетовка» Солженицына, «Первый поцелуй» и «Ди Грассо» Бабеля, что-то Мопассана, «Кошку под дождем» Хемингуэя... Высказывания наши он выслушивал внимательно, никогда не подавлял своим авторитетом. Каким контрастом был урок литературы, проведенный заменявшим его Фейном! Герман Наумович предложил тему: зачем нужно искусство? Приученные Якобсоном не стесняться, мы доверчиво стали высказываться. Фейн осмелел каждого. Он бойко парировал, был очень остроумен, но его манеры, сама его поза словно говорили: ну-ну, послушаем, что за чушь вы несете. В конце урока нам было страшно интересно, что же думает он сам, но ... прозвенел звонок, и Герман Наумович, так и не высказавшись, вышел из класса.

Мой литературный вкус формировался во многом благодаря Якобсону. В 1965 г. вышел том Андрея Платонова. Якобсон посоветовал купить. Так я открыла для себя этого замечательного писателя. Я уже не говорю о поэзии: здесь для меня не было большего авторитета. Кто-то из ребят спросил, каково его мнение о Евтушенко. Он ответил

пословицей, известной в двух вариантах: *на безрыбье и рак — рыба*, или *в бесптичье и зад — соловей* (кажется, привел оба варианта). Потом поинтересовались, кого он считает лучшими из живых советских поэтов. Он назвал троих: Иосифа Бродского, Давида Самойлова и Владимира Корнилова. Пятнадцать лет спустя я рассказала это Самойлову. «Он был прав», — спокойно принял это Давид Самойлович. Еще через пятнадцать лет я передала это Корнилову. Тот не ответил ничего.

Как наш классный, Якобсон был обязан как-то надзирать за нами. Это был абсолютно не его вид деятельности. Помню, наш класс устраивал вечер. Анатолий Александрович, чтобы не мешать нам веселиться, сел в соседнюю комнату и что-то читал. Я зашла к нему с каким-то вопросом. Он заговорил об Ахматовой и протянул мне только что вышедший ее сборник «Бег времени» с авторской дарственной надписью. «Тоше и Майе» было написано ее рукой...

В девятом классе Якобсон перестал вести уроки литературы. Он объяснил это нам так: «я же иду с вами не по программе, а вам потом придется вступительные сочинения писать». Но какое-то время еще проводились его блистательные лекции в актовом зале: Есенин, Маяковский, Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Ахматова, Лорка. Запрещение читать лекции для него было ужасно. Он сказал мне это сам, стоя с папиросой на школьном крыльце: «Мне не разрешают делать то, что мне больше всего хочется».

Как учитель он был довольно деликатен, не иронизировал зло, никогда не свирепствовал. Помню, как Сережа Киселев, отвечая на уроке истории, несколько раз называл японского императора королем. Якобсон поправлял его, а потом не выдержал:

— Киселев, если ты еще раз скажешь «король Японии», я тебе «два» поставлю!

— Король Японии, — продолжал Киселев...

— Садись, Киселев. Четыре.

А мне он однажды поставил «четверку» со словами «за наивность»...

<sup>1</sup> Светлана Лазаревна Ганелина (ныне Новикова) (р. 1950), окончила Вторую школу (Выпуск 10 «А», 1968) и Московский авиационный институт, работала инженером, научным сотрудником, затем, сменив профессию, работала в газетах, на радио, служила в театрах. Автор очерков об актёрах. Член Союза Театральных деятелей, Заслуженный деятель культуры и искусства Польши. *Источник*: «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956-1983 гг. Составители Г. Ефремов, А. Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с. (Прим. А. Зарецкого)

**Виктор Тумаркин<sup>1</sup>**

## **Вспоминая школу**

Нам посчастливилось учиться у него почти 2 года. Еще в конце 7-го класса мы с завистью слушали рассказы восьмиклассников о том, что свободную программу по литературе в их классе он заполняет Буниным, Бабелем, Мопассаном (впрочем, по слухам, некоторые обеспокоенные родители жаловались по этому поводу в РОНО). У нас он с 8-го класса преподавал историю...

Занятия Якобсон вел по лекционно-семинарской системе (до него нам так преподавали только высшую математику). Школьная программа его абсолютно не стесняла. Он делил курс на темы, заслуживающие внимания, и второстепенные. Про последние говорил: «Это посмотрите в учебнике», и никогда не спрашивал. Тому же, что, по его мнению, представляло интерес, он отводил много времени и на лекциях, и на семинарах. И история партии становилась интереснейшей и поучительной, когда он рассказывал про различные группировки и разногласия между ними. Тут уж учебником не пахло! Действительно, в каком учебнике можно было, например, прочитать в 1968 г. о роли Троцкого в Октябрьском перевороте?!

Сталкиваясь с непониманием того, что он объясняет, Якобсон начинал нервничать. Как-то, прочитав лекцию по общественно-политическим формациям и устроив опрос на семинаре, он быстро убедился, что никто ничего не понял. Ученики выходили к доске, несли чушь, не к месту вставляя слова «базис» и «надстройка», и получали колы. Всё более возбуждаясь от ответа к ответу, Анатолий Александрович в конце концов не выдержал: «Кто еще хоть раз произнесет слово «базис», сразу получит кол!» Следующий отвечающий отнесся к угрозе серьезно, всячески пытался обойти запретное слово, но, в конце концов, потерял бдительность, произнес «ба...» и замолчал, обескураженный. После непродолжительной паузы Якобсон безнадежно махнул рукой: «Садись, кол». Впрочем, остыв, он всегда упрекал себя за несдержанность, искал причину непонимания в собственных промахах. И исправлял колы на четверки. На первом часе двухчасовой лекции, говоря о чем-то, он упомянул австралийские фунты. Боря Гнесин поправил: «Не фунты, а доллары». — «Фунты у них». — «Нет, доллары». — «Фунты!» — «Доллары!». Якобсон завелся: спор не по существу, время лекции уходит, да и ученик несет чушь. И последовало убийственное: «Не вякай!» Боря обиделся и замолчал. Лекция продолжилась. После перемены Якобсон появился обескураженный: «Я тут на перемене до-

звонился (!!!), навел справки, оказывается, эти австралийцы месяц назад перешли на доллары, продались американцам». И извинился перед Гнесиным.

На уроке он мог ни с того ни с сего залиться смехом и тут же сообщить классу только что вспомнившуюся забавную историю или анекдот. Обнаружив в классе ботинок на люстре, заметил: «Какая у вас убогая фантазия», и рассказал несколько историй из своей школьной жизни. Про ученика, плохо отвечавшего на уроке, говорил с удивлением: «Вроде ведь не дурак. Стихи пишет». По отношению к профессиональным литераторам это не было критерием. Поразительное добродушие сочеталось в нем с каскадом уничижающей желчи в адрес тупых и лицемерных оппонентов. Его язвительная реакция была неожиданна и экспансивна. На вечере Самойлова в ЦДЛ теще Смоленский забыл слово «льстец» и прочитал: «Был старик Державин... (пауза) ... и скаред». Тут же по залу пронесся громкий шепот Якобсона: «Был старик Державин б... и скаред».

Стараясь как можно больше передать ученикам, он в то же время не желал играть роль няньки-администратора. Когда заболела и ушла из школы Александра Аркадьевна, его назначили у нас классным руководителем. Возликовавших учеников он осадил при первом же появлении в новой должности. Смысл его обращения к классу сводился к следующему: пожалуйста, не делайте ничего такого, что требовало бы административного вмешательства, а я вас тоже трогать не буду. Он просил, чтобы его освободили от этой миссии. На свою бешеную популярность в школе реагировал с некоторым смущением: «Я одинаково не гожусь ни на роль вождя, ни на роль балерины». Внимательно относился к школьным поэтам. Наташа (Симонович) вспомнила, как он хвалил ее стихи. У меня есть свой эпизод. В 9-м классе я поместил в школьной газете большую подборку, где было типично юношеское стихотворение об одиночестве, необходимости быть нужным людям. Вероятно, Якобсон почувствовал в нем тревогу. Он остановил меня перед уроком и долго говорил что-то ободряющее, приводил в пример стихи на ту же тему своего школьного друга (может, это были его стихи?). Не помню уже, что он говорил, помню только напор. А также начало и конец стихотворения<sup>2</sup>:

Несчастье принесла зима:  
 Мой старый друг сошел с ума.  
 .....  
 Несчастье принесла зима:  
 Я скоро сам сойду с ума...

20 апреля 1968 г. мы с Олей Пивоваровой заспорили на лестничной площадке на животрепещущую тему: когда родился Гитлер — 20-го

или 21-го. Не убедив друг друга, начали спрашивать проходящих мимо. И спускающийся по лестнице Сережа Розеноер произнес: «Когда родился Гитлер, я не знаю, а вот 30 апреля — день рождения Якобсона». Новость ошеломила (не прошло еще и месяца с момента ухода Якобсона из школы, и его отсутствие ощущалось очень остро), ею тут же поделились с окружающими, и по всей школе начался сбор денег на подарок. Идею подарка предложил, кажется, Санька Даниэль, и в день рождения растроганный Якобсон получил пишущую машинку.

О его лекциях о русской поэзии, их месте в жизни школы говорилось и писалось много. Мне хотелось бы добавить несколько слов о зрительном восприятии этих лекций. Якобсон выходил на сцену с книгами, переполненными закладками, и начинал говорить и читать. Сразу же складывалось впечатление, что он и поэт находятся по одну сторону некоей условной черты, а мы — по другую. При тщательной подготовке лекция была импровизацией. Он жил в той поэзии, о которой рассказывал, время от времени только заглядывая в свои записи, чтобы ничего не упустить. Нервное напряжение его во время лекций было огромно. Жадные затяжки постоянной сигаретой, мучительный выбор самых нужных слов (его косноязычие, долгое «э», бросающиеся в глаза при записи с магнитофона на бумагу, совершенно не ощущались залом). Казалось, лекция была натянутой струной, готовой вот-вот оборваться от любого постороннего вмешательства...

Готовясь к лекции о романтической идеологии, Якобсон попросил учеников принести ему книги революционных романтиков. У него их не было. Мы принесли ему кучу книг, среди которых оказалось почти все, что ему требовалось (он перечислил авторов). Не нашли только Верку-вольную, о которой он неоднократно спрашивал. Конкретными примерами текстов он подкреплял свои идеи непосредственно перед прочтением лекции (точно не помню, но кажется, от получения книг до прочтения лекции прошло не более двух недель).

С какого-то момента Якобсон стал выбираться с нами за город. Вроде бы он тоже собирался ехать в Жигули. Пара Филиппыч<sup>3</sup> и Якобсон выглядела весьма странно: очень уж они были разными, однако обаяние Анатолия Александровича, видимо, распространялось и на Макеева, любившего отпускать едкие шуточки по поводу интеллигенции.

Следующие истории случились уже в походах с Якобсоном. Первая связана со мной лично. В одном из походов Макеев решил устроить очередной концерт художественной самодеятельности. Среди прочих номеров он потребовал, чтобы я читал стихи. Я всегда любил это занятие и с удовольствием читал, но здесь была одна особенность: Филиппыч заставлял присутствовать на этих концертах всех участников похода без исключения, вне зависимости от их желания. Участие в подобных концертах осточертело мне еще в Жигулях: не очень прият-

но, когда часть людей сидит по принуждению, и не только не слушает, но и разговаривает, мешая исполнителю. Я категорически отказался. Возникла перебранка: он требовал, я отказывался. Не понимающий, что происходит, Якобсон решил вмешаться. Он искренне не понимал, почему я отказываюсь. Аргументация его была примерно такова: «Ну, когда я читаю, меня же слушают». Не помню, чем закончилась та история, но параллель между лекциями Якобсона и самодеятельностью Филиппыча в памяти отложилась. Другая история снова связана с необузданным нравом Makeева. Как-то в походе один из учеников [...] совершил мелкую пакость, которая вывела Филиппыча из себя. Он схватил попавшуюся под руки дубину и погнался за нарушителем. Настиг он его быстро, занес дубину и уже собирался огреть ею ученика, как раздался негромкий предостерегающий возглас Якобсона: «Филипп-пыч! Филип-пыч!» Бешеный Makeев застыл на месте, затем бросил дубину и, улыбаясь, повернулся к Якобсону: «Эх, Толя! Поживем мы вместе месяц в Жигулях, я ведь и стихи читать начну». Как тут было не добавить: «А Вы, Анатолий Александрович, возьметесь за дубину».

- <sup>1</sup> Виктор Иосифович Тумаркин (р. 1952) окончил Вторую школу (выпускной класс 10 «А», 1969) и Московский институт электронного машиностроения (1975), работает в области информационных технологий. Составитель и комментатор книги стихотворений Д. Самойлова в серии «Новая библиотека поэта».
- <sup>2</sup> Стихотворение А. П. Тимофеевского из цикла «Красный пояс» (1953–56), посвященного Владимиру Гершуни:

Заботу принесла зима:  
 Мой лучший друг сошел с ума,  
 Идеей странной одержим,  
 Твердит он об одном...  
 Остерегайтесь встречи с ним  
 И не пускайте в дом.  
 Готов он всем наделать бед,  
 Рассудку вопреки,  
 И лучше на его привет  
 Не подавать руки.  
 Он вам в лицо уставит взгляд,  
 Он преградит вам путь,  
 Он так посмотрит, словно рад,  
 Смутить и упрекнуть.  
 Бегите прочь,  
 Прибавьте шаг,  
 Не подымайте глаз,  
 Не то, схвативши за пиджак,  
 Он станет мучить вас.  
 Он скажет, что пришел мороз  
 И небо взял в тиски,  
 И небо наземь сорвалось,

Разбившись на куски.  
Охвачен думою одной,  
Он крикнет вам вослед:  
И солнце есть, и шар земной,  
Лишь неба больше нет!  
Припомнив этот крик не раз,  
Мы погрустим тайком,  
Но нету времени сейчас  
Возиться с дураком.  
Про боль и неба пустоту  
Нам нечего плести  
Мы сами трудимся в поту  
С шести и до шести.  
Больного друга ждет кровать,  
Пускай лежит в тиши,  
Он мне мешает есть и спать  
И пропивать гроши.  
Мне ни к чему чужая злость,  
Не надо мне тоски  
О том, что небо сорвалось,  
Разбившись на куски.  
Несчастье принесла зима:  
Я скоро сам сойду с ума.

Источник: <http://nashaulitsa.narod.ru/Timof-2.htm>

- <sup>3</sup> Алексей Филиппович Макеев — школьный учитель географии и организатор туристических вылазок.

*Сергей Недоспасов<sup>1</sup>*

## **Случай на платформе**

Этот случай относится, скорее всего, к маю 1968<sup>2</sup> г. Мы были тогда свидетелями дружбы двух наших учителей: Алексея Филипповича Макеева и Анатолия Александровича Якобсона. Думаю, многие об этом не знают.

Трудно представить себе более непохожих людей, чем Филиппыч и Якобсон. Пожалуй, только две черты их объединяли — внутренняя сила (действительно, оба просто излучали внутреннюю силу) и личное бесстрашие. В походах и поездках я видел Филиппыча во многих сложных ситуациях, где его смелые и решительные действия предотвратили крупные неприятности (главным образом потому, что могли пострадать школьники). Хотя, конечно, все эти ситуации — ничто по сравнению с тем, через что он прошел во время войны и 16 лет лагерей (а забыть про это он не мог — в походе по Карпатам мы попали в скромную гостиницу в горах, и Филиппыч, увидев нары, на которых предстояло провести ночь, ...заплакал). А Анатолию Александровичу буквально через несколько месяцев предстояло выйти на Красную площадь и быть арестованным...<sup>3</sup>

Короче, хотите верить, хотите нет — они дружили (по крайней мере, в тот период), в походах шли рядом, жили в одной палатке, громко обсуждали все на свете (от поэзии до политики), глядели друг на друга ну просто полувлюбленными глазами. Присутствие Якобсона благотворно действовало на Филиппыча — шутки и солдафонский стиль, характерный для наших походов, сохранялись, но все это обретало веселую, непринужденную форму... Обратный эффект тоже был, и после одного из таких подмосковных походов с Филиппычем Якобсон произнес замечательную фразу: «Чувствую, скоро Филиппыч начнет стихи бормотать, а я... буду за палку хвататься». Почему за палку? Как раз об этом и рассказ.

Мы возвращались из двухдневного похода, подходили к одной из платформ по Ленинградскому направлению (названия не помню, но если меня сейчас провезти до Клина на электричке, то вспомню — остались кое-какие ориентиры). Всю дорогу Филиппыч и Якобсон шли рядом и увлеченно разговаривали, спорили. Группа растянулась, и уже перед самым подходом к платформе, откуда мы должны были на электричке вернуться в Москву, Филиппыч остановился, чтобы дожидаться отставших и еще раз всех пересчитать. В результате на платформу первыми поднялись какие-то малорослые представители из наших, несколько девчонок и с небольшим запозданием — Якобсон. На платфор-



ме почти никого не было, кроме трех подвыпивших парней лет 20, тех, кого принято собирательно именовать хулиганами. По-моему, один хулиган стоял в обнимку с девахой. А у другого в руках была бутылка. Короче, появление на платформе разрозненных представителей гнилой интеллигенции вызвало естественное желание покуражиться. Сначала начали задирать одного из ребят, по-моему, представителя некоренной национальности и, к тому же, с эмалированным ведром в руках (ведра мы носили с собой), а потом переключились на наших девчонок. Якобсон сразу поспешил в гущу событий, даже уже начал освобождать лямку рюкзака. В этот момент в конце платформы показалась голоа Филиппыча, поднимавшегося по ступенькам. Он был в белой широкополой шляпе из тонкого войлока, забыл, как их называли — они тогда были очень популярны у пенсионеров, Филиппыч ее носил потому, что его лысина быстро обгорала на солнце, даже под Москвой. Филиппыч мгновенно сориентировался в ситуации и зычным голосом объявил на всю платформу: «Так, слушай мою команду: отойти от них и не разговаривать!». Это высказывание показалось хулиганам обидным, и один из них произнес непечатное выражение, содержащее обращение к Филиппычу: «шляпа». К этому моменту Якобсон уже вошел в легкий клинч с одним из хулиганов, они теперь держали друг друга за руки, и было видно, как напряглись бицепсы у Анатолия Алескандровича, шансы которого против этого подвыпившего хулигана были явно внушительней (к тому же имелась информация, что Якобсон в юности боксировал). Однако до драки не дошло.

Я поднялся на платформу после Якобсона, но впереди Филиппыча, поэтому видел все дальнейшее очень хорошо, и несмотря на то, что двигался к месту основных событий быстрым шагом (а мы все тащили довольно тяжелые рюкзаки), Филиппыч, тоже с рюкзаком, меня легко обогнал. Точно помню, что он по-мальчишески задиристо произнес: «А, он еще и дразнится?!..»

Кто ходил с Филиппычем — знает, что тот не разрешал без нужды ничего рубить в лесу, и поэтому такие элементарные предметы туристского быта, как стойки для палаток, мы носили с собой (складных стоек то ли еще не было, то ли Филиппыч по каким то соображениям их «не разрешал»). Короче, в группе 5-6 человек несли стойки для палаток — такие струганые колья длиной около метра. Приблизившись к хулиганам (один из которых по-прежнему обнимал деваху, второй по-прежнему держал бутылку, а третий был частично обездвижен Якобсоном), Филиппыч произнес: «Толя, да что с ними разговаривать?». И, не снимая рюкзака, отвел руку немного назад. И, удивительным образом поняв его без слов, один из наших «туристов» вложил в руку Филиппыча деревянный кол. «Да что с ними разговаривать?» — повторил Филиппыч, и мгновенно размахнувшись и даже приподнявшись

на носки, ударил этим колом близстоящего хулигана прямо по голове. Я, да и все остальные, внутренне приготовился, как минимум, к разможенной голове, луже крови и т. д. Ничего этого не произошло — кол с треском сломался прямо посередине, но никаких видимых повреждений на голове хулигана не появилось (на самом деле, ничего удивительного в этом нет — колья были довольно тонкие и совершенно сухие). Тем не менее было заметно, что от удара у хулигана подкосились ноги, и он теперь продолжал стоять перед Филиппычем на полусогнутых. «Да что с ними разговаривать?» — громко повторил Филиппыч и вторично отвел руку назад. И вновь туда был услужливо вложен кол, и вновь раздался страшный треск, и кол был разбит о голову частично протрезвевшего уже хулигана. Эта история еще раз доказала: решительность и напор — залог победы: ни дружки — здоровые молодцы, пусть и подвыпившие — не успели прийти на помощь, ни асимметричный ответ бутылкой не был произведен.

С грохотом-скрежетом налетела электричка, открылись двери. Вся наша группа человек в 20 моментально втянулась внутрь, а хулиганы все стояли неподвижно там, где их оставили (сесть в электричку даже не пытались, а может, им никуда и не надо было ехать). Тот, о голову которого минуту назад сломали два деревянных кола, так и стоял на полусогнутых. Вдруг Филиппыч, уже без рюкзака, рискуя отстать, выскочил на платформу и, чертыхаясь, забрал забытое кем-то «казенное» эмалированное ведро. Пневматические двери закрылись, частично его придавив. Он их разжал стальными пальцами, высвободился, и, обращаясь к стоявшему прямо напротив двери хулигану, громко спросил: «Получил, сволочь?» Двери захлопнулись.

Электричка тронулась, понеслась, мы вошли из тамбура в вагон. Вагон был не то что битком, но люди уже стояли в проходе (воскресенье, вечер), и из наших всего несколько человек — девчонок — сидели. Хотя часть пассажиров через окно могла видеть инцидент на платформе, но большинство были явно в неведении и так «добренько» смотрели на группу школьников-туристов, сопровождаемую двумя странно-возбужденными учителями. «Толя, если какая-нибудь пьяная морда будет приставать, то надо взять палку — и по пьяной морде, нечего церемониться», — грохотал Филиппыч на весь вагон. «По ним тюрьма плачет и лагерь», — столь же сурово и громко заключил он. Люди стали сами собой продвигаться внутрь вагона, даже уступили места, как и вкладывание палки в руку, это казалось естественным. Филиппыч и Якобсон оба сели, расположились, возбуждение постепенно стало спадать. Потекла беседа: «Толя, я наше производство знаю, не надо ребятам идти на производство, даже после института. И в строительство не надо, знаю я строительство. И в армию не надо. Только наука и осталась, только наука. Да и то, надо быстро: закончил универси-

тет — аспирантура, дальше — сразу кандидатская, докторская...» Народ внимал. О хулиганах уже все забыли.

Две зарисовки. Первая. 8 класс, урок истории. Карта со схемами крестьянских восстаний. У доски с указкой...ская. Первая реплика А. А. Якобсона: «Ты что же это, ...ская, всю карту грудями загордила?». Смех. «Сначала Разин пошел вверх по Волге, потом — вниз по Волге. Потом вверх по Дону, потом — вниз по Дону». Вторая реплика А. А. Якобсона: «Что же это Разин у тебя — как дерьмо в проруби? То вверх, то вниз...»

- <sup>1</sup> Сергей Артурович Недоспасов (р. 1952), окончил Вторую школу (выпускной класс 10 «А», 1969) и МФТИ (1976). Кандидат наук (1980), доктор наук (1990), профессор (1998), член-корреспондент РАН по отделению биологических наук (2003). Занимается молекулярной биологией, генетикой, иммунологией. *Источник:* «Записки о Второй школе», Выпуск II, 1956–1983 гг. Составители Г. Ефремов, А. Ковальджи. — М.: «Новости», 2006. — 640 с. (Прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Несомненно, 1967 г., — «...23-30 марта 1968 г. у нас были весенние каникулы, а когда мы вернулись, — узнали, что Якобсон в школе больше не работает...» (прим. В. Тумаркина).
- <sup>3</sup> Если имеется в виду демонстрация августа 1968 г., то А. Якобсон в ней не участвовал и ни разу не был арестован. Якобсон участвовал в короткой демонстрации на Красной площади 21 декабря 1969 г., в день 90-летия Сталина, был тогда задержан милицией и оштрафован на 10 рублей (прим. В. Тумаркина).

## Юра Збарский (Георгий Ефремов) <sup>1</sup>

### Веха

*Зимой 2002 г. я перенёс на бумагу то, что помнил о Давиде Самойлове. В тех записках (получивших название «Желтая пыль») <sup>2</sup>, да и вообще в нашем времени и сознании, Анатолий Александрович — один из главных героев. Мне показалось возможным дополнить прежние воспоминания несколькими эпизодами.*

*Декабрь 2003 г.*

Моя подружка Ира, старше на класс, рассказывала в начале года:

— Слушай, к нам историк пришёл, чокнутый какой-то: волосы дыбом, глаза горят, ширинка нараспашку. Вечно в пальцах шнурок вертит. Отвечаем, а он, вроде, не слушает, в окно смотрит. И бормочет всё время.

Потом он стал всеобщим любимцем, персонажем фольклора. Все ломились на его лекции. Я тогда пытался изображать свободу и независимость от посторонних мнений: уроки Якобсона прогуливал, на лекциях был лишь дважды. И очень горевал, что Наташа Симонович (я за ней ухаживал) берёт у него частные уроки русского языка. Как-то я дождался ее на лестнице. Вдруг открывается дверь, на площадку выходит Якобсон (покурить). Видит меня:

— Ты чего тут уселся?

— Девушку жду.

— Ступай на кухню и там жди свою девушку.

Проявить несгибаемость я не смог. Поплёлся на кухню, где сам Анатолий Александрович напоил меня чаем. При этом он монотонно ворчал: «Девушку ждёт! Лучшего места не отыскал, где девушку ждать!...»

\* \* \*

Если я почему-то являлся на урок истории, Якобсон меня неукоснительно выгонял из класса. Просидеть академический час молча я не умел, а Толя не терпел разгильдяйства. Потом А.А. удивлялся, почему я успешно сдаю зачёты. Разгадка в том, что я после удаления с урока шёл курить в ближний туалет, где мощный голос Якобсона слышался вполне отчетливо.

\* \* \*

Однажды (в очередной раз) маму вызвали «на ковёр» к нашему директору — Шефу, Владимиру Фёдоровичу Овчинникову. После разбора

моих проказ мама рыдала в коридоре, и Якобсон подошёл, чтобы её утешить.

После он подолгу жил у нас в доме. Они с матерью расстались накануне его отъезда в Израиль.

Он-то и привёл к нам на Якиманку Самойлова.

\* \* \*

Это была осень 1968 г. Дезик пришел вместе с Галкой.<sup>3</sup> Первую жену — Лялю<sup>4</sup> — я знал и помнил. Она была яркая, рыжая, очень красивая, бескорыстно-обманная, совершенно московская. А Галя — прямая, с вызовом, какая-то не городская. Глазастая, всё крупное, всего много — голоса, жеста, волос. Им троим в нашей коммунальной комнате было тесно. Дезик навеселе, что-то неясное напевал под нос, не хотел о серьёзном. Толя топал, махал руками и кружился вокруг него, что-то такое втолковывал. Давид, припертый в углу, вдруг отвёл Якобсона ладонью и произнёс монолог:

— Утром встаю. Выхожу на крыльцо — пёс. Какой пёс! Гвардеец, в глазах — верность и благородство! Думаю: надо как-то его поощрить, приласкать, погладить... Делаю шаг — и сам удерживаю себя: что я в сравнении с ним? Чем утешу его? Кто я? Жалкий, бездарный, тупой неврастеник! А он! Приезжайте — и вы увидите! Какой это пёс! Морда! Спина! А лапы! А глаза! Да что тут!..

Толя с обидой: «Вы, Давид, даже о дамах не говорили с таким пietetом!»

Толе пришлось по вкусу некоторые мои стихотворные сочинения. «Покажем Дезику!» — решил он. И мы поехали к Давиду и Гале, в Опалиху. Поначалу я ездил в Опалиху только с Толей. Потом осмелел и стал выбираться один.

Мы с Якобсоном тогда разлучались редко, вместе бегали за продуктами для Толиной мамы, по делам, по знакомым. Когда его допрашивали, я «дежурил» в дверях 40-го гастронома. Толя выходил от следователя и на всю улицу провозглашал:

Не хочу я на Лубянку,  
А хочу на Якиманку!

Там, куда он хотел, мы обитали в тесноте, но уж точно не в обиде: в одном закутке Якобсон дописывал книгу о Блоке, в другом я вдохновенно кропал «детективную» повесть.

**Дневник Самойлова от 20.02.1971 г.:** «Приезжал Юра Ефремов с маленькой литовской женой. В его повести — сочетание политики с сексом. Сочетание делает и то и другое неприятным. Политическая незрелость и половая перзрелость. Такова общая формула

*юного суперменства. Желание свободы и непонимание народа, неуважение к нему».*

«Понимание народа» мне настолько не свойственно, что я даже не понимал — о чем они толкуют? Я пытался оборонять свое детище, упирая на то, что в повести всё — чистая правда.

«Голая правда» — поправлял Якобсон.

\* \* \*

В Вильнюс, где мы тогда жили, пришло письмо: «Учитесь, как люди слова находят!». И строчки Самойлова:

*Забудем заботы о хлебе,  
Глотнув молодого вина...*

Я гордо поправил: «Там наверняка не *глотнув*, а *хлебнув*». Потом Толя долго терзался, стучал себя кулаком по лбу и кричал:

— Старый я маразматик! Так ошибиться! И кто меня под руку пихнул!..

Ему тогда было 36.

\* \* \*

Как-то мы с Геной Лубяницким оказались у Якобсона во время обыска. Всё было спокойно и чинно, пока не стали изымать «тамиздатскую» книгу, в точности не помню — какую. Толя застонал:

— Боже мой! Что теперь будет, что будет! Что со мной сделают!

Даже следователь стал его успокаивать: «Ну, не надо, Анатолий Александрович, не стоит так уж переживать, мы ведь не изверги».

— Да хрен бы с вами! — заорал Якобсон. — Какое мне до вас дело! Эту книгу мне дали на ночь! Я её сегодня должен был вернуть!

\* \* \*

Тогда было больше тревоги, чем испуга.

Мне страстно хотелось быть «как взрослые». Я стал сочинять подметные письма. Давид недовольно молчал. Якобсон ругался:

— Знаешь, что сказал Маяковский Светлову? «Я умею писать агитки и я их пишу, а вы не умеете — и не пишете!»

Я очень обиделся.

\* \* \*

**Дневник Самойлова:** «Приехали Даниэль, Лариса<sup>5</sup> и верный Личарда их — Якобсон... Лариса понравилась. У нее ум, характер — личность. Некрасивое, измученное и немолодое лицо вдруг освещается изнутри. Забываешь о внешнем. Она хороша. Якобсон мучается

*бесплодным честолюбием и всё время тщится выбиться на первый план. Это раздражает и его и окружающих».*

Это беспощадное мнение о Толе Самойлов и не думал скрывать: говорил в лицо, повторял в стихах и письмах. Пожалуй, к Якобсону он был по-особому строг. Но ведь Тоше так и хотелось — чтобы всё по-особому! Он был человек, для которого «нормальное положение шлагбаума — открытое». У него всё было — наружу. Потому и его самоутверждение выглядело чрезмерным.

\* \* \*

В апреле 1973 г. мы с женой решили отметить трёхлетие нашей свадьбы. Об этом событии в дневнике Самойлова такая запись: «У Юры Ефремова (годовщина свадьбы) — «тот» свет.<sup>6</sup> Даниэль, старуха Олсуфьева,<sup>7</sup> прекрасная, как всегда с гитарой, старый, чудный Богораз,<sup>8</sup> Толя Якобсон. «Тот» свет мил».

Иосиф Аронович Богораз — отец Ларисы, дед моего однокашника. А старуха Олсуфьева — его жена. Для нас она была Алла Григорьевна, или Бабушка, или Аллочка. Её песни мы пели и поём. Может быть, даже чаще, чем Окуджаву.

Никогда я не понимал, где запрятана пружина успеха. Почему «не пошли в народ» песни нашей Аллы Григорьевны? Яркие строки, блистательные мелодии, страсть, мудрость и непоказная красота, — а про всё это знают сто, ну двести человек.

Тогда она пела про «руины, где на стенах, как мишень, — человеческая тень». И захмелевший Толя в восторге кричал:

— Слышишь? Вот как стихи нужно писать!

Это был последний такой день на Якиманке, последний день с Якобсоном. Оказывается, тогда и кончилась юность...

\* \* \*

На одном из самойловских вечеров в ЦДЛ я сидел с Якобсоном. Дело в том, что Толя признавал одного чтеца — самого Дезика. Когда на сцену вышел Яков Смоленский<sup>9</sup> и с выражением прочитал «Сороковые-роковые», Толя застонал. На Смоленском был черный смокинг с красной подкладкой. Якобсон шипел:

— Чтоб тебе провалиться! Чтобы у тебя ... на лбу вырос! Тоже мне — Воланд нашелся!..

\* \* \*

**Дневник Самойлова от 16.04.73:** «Очень хороший Якобсон. Учебник допроса. Дельные замечания о стихах — по строкам. Полностью не принимает “Ночного гостя”».

Толя тогда кипятился:

— Жалкая, раболепная копия ахматовской интонации — «Поэмы без героя»!

\* \* \*

Помню 1 июня того года — день рождения Самойлова.

Сначала устроили футбол, причём я по неведению встал в ворота. Якобсон пробил пенальти, после чего меня долго приводили в чувство. Потом была массовая прогулка по размокшей глине. Толя учил сына лазить по деревьям. Потом сидели под старой яблоней.

Помню сумбурный спор Давида и Толи. И слова Давида о том, что правота и сила не состоят в родстве.

Хмельные, но не слишком весёлые, мы возвращались на станцию. Компания была немаленькая; мы брели, растянувшись метров на 50. Якобсон шагал впереди, что-то бормоча сам себе. Я всю дорогу возбужденно объяснял одной растерянной барышне про вредоносность Андрея Вознесенского. Уже на платформе Толя отвел меня в сторону.

— Старик, нельзя так. Зачем ты так с женщиной разговариваешь?

Я в изумлении начал оправдываться: ничего грубого не говорил, только повторял мнение самого А. А. о Вознесенском.

— Да нет, я о твоём тоне. Не надо топтать человека. Она ведь ни в чём не провинилась, а ты распетушился. Нельзя так.

\* \* \*

Я ждал Давида на день рождения. Он не пришел. Телефона у нас на новой квартире не было, поэтому я лишь на завтра узнал про его визит к Лидии Корнеевне Чуковской и про трудный разговор, который они вели. Вот дневниковая запись об этом:

*11.02....Разговор все тот же — про отъезды. Отъезжающие воображают себя героями, а на самом деле пользуются щелью, приоткрытой для них, чтобы выдавить из страны оппозицию.*

Якобсон постоянно требует внимания и необычайно озабочен тем, чтобы московская «общественность» знала о его состояниях — каково ему пишется или не пишется и где он купается. Надоело всё это. А «общественность» всё суетится и, когда не проявляешь интереса к этой суете, — обижается. Я же твердо решил: настроения Якобсона в Иерусалиме меня не касаются. Точка».

Давид не признавал отъезда подвигом. В «Никто не хотел умирать», моём любимом фильме, смертельно раненный побеждённый шепчет не смертельно раненному победителю: «Не знаешь, какая боль!...»

— Не знаю, — бросает тот и отворачивается.



\* \* \*

**Дневник Самойлова:** «Поздно вечером звонок из Иерусалима. Толя. Возбужденный голос.

— Мэтр! Это я! — Сразу узнал.

Т. С. [мама] безнадежно больна. Книга о Пастернаке — «академическая, структурная». Собирается писать обо мне.

— Вы умнейший человек в России. С «девушкой» [Л. К. Чуковской] я отношения прекратил. Она защищает своих друзей, я — своих. (Имеется в виду А. И.) и т. д.»

\* \* \*

**Дневник Самойлова от 2.10.1978:** «29-го три телефонных звонка из Москвы <...>: повесился в Иерусалиме Толя Якобсон <...> Ночью не спится. Думы о Толе, тревога за своих. Отвык от одиночества».

**Дневник Самойлова от 3.10:** «...Толя был порождением атмосферы 60-х годов. Только в этой атмосфере, чисто русской, он и мог осуществляться. Из этого в 70-е годы возможны только два выхода: славный уход и уход бесславный. Толя думал, что выбирает второе».

Вдруг вспомнилось из Окуджавы: «Я клянусь, что это любовь была. Посмотри — ведь это её дела». Может быть, отношение Давида к Якобсону сродни ослепительной и ослепляющей первой любви. Она не знает оттенков, не ведаёт снисхождения. К живому Толе, не оправдавшему великих надежд, осталось чувство, похожее на оскомины. «У самого не вышло, — тогда не смей заглушать других». Так, наверное.

\* \* \*

Из Иерусалима я получил от него несколько писем. Ни одного не могу найти. Помню, последнее заканчивалось словами: «С червоточиной стал ваш покорный слуга...»

Из недавних стихотворений, связанных с Анатолием Александровичем:

28-е

Памяти А. Я.

День

на окраине сентября —  
веха, что все уже без тебя.

Соберется честная компания  
для ежегодного самокопания:

как мы прохлопали!  
как мы смогли!..

Водку хлещи,  
сигарету смоли.

Не понимаешь — не понимай.  
К стуже готовься  
и поминай  
как звали.

### ДЕВОЧКА ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ

Как-то я видел фильм с Артмане (кажется) в главной роли  
юной женщины, которой играли  
все, кому было не лень —  
непонятная радостная бездомность ее томила.

Слишком она хороша и плоха для этого мира,  
чтобы он мог ее одолеть.

Я вспоминаю сотню подобных историй  
и они почему-то вытягиваются в одну,  
о которой мы горевали и говорили с Толей  
Якобсоном по дороге ко дну.

Она  
ходила в Центральный парк или к вильнюсскому барбакану<sup>10</sup>.

В пятом классе ее изнасиловала шпана,  
и все ей стало по барабану.

У нее было пять собак,  
и во дворике рос душистый табак,  
и было семечек до отвала —  
лузгай так или сначала жарь,  
и себя ей не было жаль,  
потому она всем давала.

Как-то и я попался ей на глаза.  
Лет в 15 находит такая креза,  
что хочется улететь подальше,  
но уже налегла бессмысленная плита.  
А Она тишиной налита  
и ночью поет *улетай же*.

Этот чувственный шепот непереволим  
и может быть передан только песней.

Вдруг понимаешь, что ты один,  
если сталкиваешься в толпе с Ней.

Получается: и Она одна —  
не выпьешь и не наполнишь Ее до дна  
и не заставишь рожать детей нам.

Потом Она выйдет за полицейского,  
а мы все не вылетим из сада лицейского  
и вечно оказываемся на Литейном.

Сквозь решетки смотрю на осеннее озеро,  
а сверху летит небесная манка.

Тоже скажу: куда бы ни бросило,  
всё вокруг — моя Якиманка.

Те получают Нобеля, эти Оскара,  
но не умеют вернуть ни горечь, ни сладость —  
от Ивана Грозного до Иосифа Бродского  
никто не придумает, как с Ней сладить.

Плотнику, пахарю, бунтарю —  
всем, которые так обласканы и обляяны —  
говорю  
из предместья, а не с окраины:

*девочка — у нее крапленая кепочка  
зубы как лунный лед  
деточка — тоньше чем юная веточка  
а мир замирает если она поет*

2002

На крутых расходящихся тропах<sup>11</sup>  
оглядимся — и всюду земля:  
«Столько в сердце любимых и мертвых —  
ни забыть, ни расстаться нельзя.»

Чья дорога ведет на чужбину?  
Чья под землю уходит стезя?  
«Оттолкну, позабуду, покину,  
разлюбить не сумею тебя.»

1978

- <sup>1</sup> Георгий Ефремов (Юра Збарский) (р. 1952), учился во Второй школе (1965–68) и в Вильнюсском пединституте. Поэт, переводчик, прозаик, драматург, публицист. Был литературным секретарём Д. С. Самойлова (1973–1975). Переводил на русский язык стихи многих литовских и нелитовских поэтов и прозаиков, автор 6 стихотворных сборников и публицистической книги. Участник «поющей» революции, член совета Сейма «Саюдиса» в 1988–89 г. Издатель и редактор газет «Возрождение» и «Согласие». Один из создателей и директор издательства «Весть» (1986–96), впервые в России опубликовавшего книгу А. Якобсона «Конец трагедии» и сборник «Почва и судьба». Работал преподавателем Литературного института имени М. Горького (семинар переводчиков с литовского языка (1991–1995), менеджером в Институте молекулярной биологии РАН (1996–1998). Стал первым лауреатом премии Юргиса Балтрушайтиса (2006), награждён премией «Мэтр перевода», учреждённой Фондом первого президента России Б. Н. Ельцина (2007).  
*Источники:* Википедия, интернет сайт Г. Ефремова <http://www.jefremov.net/about.htm> (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Г. Ефремов. Жёлтая пыль. Заметки о Давиде Самойлове. «Дружба народов», № 10, 2003. См. также <http://www.jefremov.net/not-poems/y-d-0.htm> (прим. А. Зарецкого, далее все примечания Г. Ефремова)
- <sup>3</sup> Медведева Галина Ивановна (р. 1938) — киновед, вторая жена Д. Самойлова.
- <sup>4</sup> Фогельсон Ольга Лазаревна (1924–1977) — искусствовед, первая жена Д. Самойлова.
- <sup>5</sup> Лариса Иосифовна Богораз-Брухман (1929–2004) — правозащитница, первая жена Ю. Даниэля. Участница демонстрации протеста 25.08.68 г. на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию.
- <sup>6</sup> Люди, вернувшиеся из сталинских лагерей.
- <sup>7</sup> Ольга (Алла) Григорьевна Зимина (урожд. Олсуфьева) (1903–1986) — жена И. А. Богораз, театральная редактор, сценарист, актриса, узница сталинских лагерей.
- <sup>8</sup> Богораз Иосиф Аронович (1896–1985) — экономист, узник сталинских лагерей, отец Л. И. Богораз-Брухман. Автор рассказов и повестей (в основном на лагерно — тюремные темы), частично изданных за рубежом.
- <sup>9</sup> Яков Михайлович Смоленский (1920–1996) — тещ. Первым начал исполнять со сцены композиции по стихам Д. Самойлова.
- <sup>10</sup> Так в обиходе называется гряда старинных вильнюсских защитных сооружений.
- <sup>11</sup> Напечатано в сборнике «Почва и судьба», Вильнюс-Москва, 1992, с. 296.

*Николай Климонтович<sup>1</sup>*

## **И питается не щами...**

Приводимые ниже заметки Николая Климонтовича взяты нами — с разрешения автора — из книги: Николай Климонтович. «Далее — везде, записки нестрогого юноши». Москва, Вагриус, 2002 г. Текст воспроизводится с мелкой правкой пунктуации и единственным сокращением, сделанным по просьбе Александра Якобсона, сына Анатолия Александровича.

Н. Климонтович соглашается с нами в том, что ряд сведений, приводимых им в его заметках, — легендарного происхождения. Дабы не вводить в заблуждение простодушного или малоосведомленного читателя, — мы предваряем публикацию «Щей...» перепиской с автором.

### **Майя Улановская — Николаю Климонтовичу**

Уважаемый Николай!

К сожалению, я не имела возможности познакомиться прежде с Вашим очерком о Якобсоне «И питается не щами...», но сейчас, перед тем, как поместить его на Мемориальную страницу Анатолия Якобсона в интернете, мне хотелось бы высказать Вам несколько соображений. И надеюсь, от моего обращения будет польза для «общего дела».

Прежде всего — спасибо Вам за память о Якобсоне и за любовь к нему. Это очень чувствуется из всего тона Вашего талантливой очерка, место которого, безусловно, — на нашей Странице. Но — не без комментариев!

Не моё дело возражать против педалирования автором некоторых тем, хотя, по-моему, Якобсон не сказал бы так о Есенине и о высоко ценящих его пионерах. Не моё дело — ошибки в цитатах, но рекомендованный Якобсоном сонет Шекспира, вероятно, всё же 66-й (вернее, сравнение пастернаковского перевода сонета с переводом Маршака).

К Бабицкому в гости в ссылку мы действительно с сыном ездили, но не на Урал, а в Коми АССР, в посёлок Красный Затон. И оставить такую ошибку неотмеченной — неудобно. Как и упоминание Владимира Буковского и Ларисы Богораз как в то время не сидевших. Тем более, что Ларису судили за то же, что Бабицкого: за выход на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии. И тоже сослали.

Простительно не знать, что не пассия Ю. Даниэля написала роман из жизни диссидентов. Но непростительно, высказав достаточно спорное общее суждение: «диссиденты первого ряда чувствовали себя в те

годы на общественной сцене примамы», сравнивать Якобсона с теще-славной кинозвездой!

Обо мне — всё неверно. Вот эта страница с моими правками прямо по тексту.

Никогда Тоша не приводил к нам и свою жену Майю. Между тем это была легендарная (*среди кого? Кто тогда знал нашу историю?*) женщина, арестованная со школьной скамьи (*а вот и нет — с 1-го курса*) и сидевшая в знаменитой взбунтовавшейся женской зоне, раздавленной танками (*не сидевшая в Кенгире*), о чем написано у Гроссмана во «*Всё течет*» (*Гроссман, насколько помню, не писал о Кенгире ни тут, ни в другом месте. Вероятно, Солженицын в «Архипелаге» впервые об этом написал*). Тоша, её одноклассник (*не был он моим одноклассником, а принадлежал, что называется, к другому поколению*), дал обет дожидаться её освобождения и дождался, так что брак этот был в некотором смысле революционерский (*это кто на нас женился «за муки»? Как бы не так!*) — они разошлись сразу же, как ступили на землю обетованную (*ну да — по истечении революционной ситуации. А на самом деле — чтобы получить две отдельных квартиры*). Но все-таки однажды, по случаю, кажется, одного из родительских дней рождений, он пришел с Майей. Конечно же, за столом, как обычно, он премьерничал, она поджимала до поры губы, но не выдержала и одёрнула его: помолчи же, Тоша, дай другим слово сказать. Он обиженно поперхнулся, взвился было, но за общим столом было не место для семейных сцен, и, ссутулившись, отправился на балкон, где стал нервно прикуривать одну сигарету за другой. И для меня стало откровением, что есть на свете человек, пусть всего один-единственный, для которого Тоша не был кумиром, но лишь болтуном и пьянчужкой (*предложить «дать другим слово сказать» не значит считать кого-то лишь болтуном и пьянчужкой — если вообще такой эпизод имел место*), хотя я и знал уже наполеоновскую сентенцию, что для камердинера нет великого человека (*жена — не камердинер, даже и не легендарная!*).

Думаю, Вам интересно будет прочесть мои комментарии и к последним страницам, не обессудьте:

Но дураком был и сам Тоша, вместо перевода верленов всё гнавший диссидентскую волну и пёрший без удержу на баррикады: я думаю теперь, что у него был комплекс — перед друзьями, а ещё пуще перед женой, — так скажем, *непосадки* (*если и был какой-то комплекс, то не он толкал «гнать диссидентскую волну», а то, что он в том же «Интервью» назвал «совесть»: «...чего там гадать, совесть его привела (о Гарике Суперфине), как и всех нас...»*).

Не знаю, кто уж там в КГБ оказался таким изошрённым психоаналитиком, но Тошу упорно не сажали. Вокруг все авторы «Хроники» к 72-му уж давно крепко сидели, а этот напрашивался больше всех,

но гулял на свободе. В этом и был, наверное, расчет конторы — Галины Борисовны, как это тогда называлось, — его мариновать. Они, отлично изучив хроническую интеллигентскую паранойю и бабскую глупость, могли точно знать, что рано или поздно у Тоши за спиной завьётся шепоток: коли он всё на воле, уж не стукач ли он? Сейчас трудно представить весь ужас положения того, о ком так заспинно шепчутся: это случай славянина-брюнета, которого молва числит евреем, — чем больше оправдывается, тем крепче уверенность окружающих. Хождение к обедне уже мало кого переубедит, и сядь Тоша тогда в лагерь — кто знает, не пустила бы Галина Борисовна инспирированный ею же убийственный слухок и туда. *(Совершенно ложное толкование побудительных причин эмиграции Якобсона. Никакой роли в этом не играли воображаемые (Ваши, а не Якобсоном) шепотки за спиной. И Галина Борисовна пугала Якобсона не распространением про него слухов, а попросту посадкой).* Для Тоши же всё это оказалось истинно гибельным: припёртый к стенке КГБ, он согласился эмигрировать.

Прибыв в Израиль — Тоша вдруг с отчаяния, не иначе, вспомнил о своём еврействе, о котором никогда думать не думал, и в США ехать отказался *(и помнил о своём еврействе всегда, и ехать в США ему было ни к чему. Выбор был — остаться или ехать именно в Израиль)*. Он на первых порах отправился работать грузчиком на мельницу *(не на первых порах отправился работать грузчиком, а выйдя из больницы, не будучи пока в состоянии работать в университете, куда был определён ещё в Москве)*. По-видимому, это было воспоминанием о первых послестуденческих годах, когда его во времена борьбы с космополитами *(побойтесь Бога — когда были космополиты?!)* не брали *(не брали, но не тогда, а в конце 50-х)* на работу школьным учителем, и он подрабатывал по-студенчески в Южном порту *(не там, а на Заводе малолитражных автомобилей)*. Вскоре он засветился: принял участие в забастовке на стороне арабских грузчиков против еврея-нанимателя *(легенда!)*. Тем не менее его взяли ассистентом на кафедру славистики Иерусалимского университета. Но всё продолжало сыпаться: он разошёлся с женой, сын вдруг заделался израильским правым *(левым)*, завел датского дога *(сен-бернара)* и повесился в подвале своего дома жарким летним днем. Нашел его тело именно дог *(я его нашла)*.

Итак, Николай, очень прошу подумать, как дальше действовать.

*Жду Вашего ответа*

М. Улановская  
27.06.2004 Иерусалим

**Николай Климонтович — Майе Улановской**

Уважаемая Майя,

...и я сразу же спотыкаюсь, поскольку не помню Вашего отчества.

Я глубоко признателен Вам за Вашу благожелательность, которой я не заслужил.

Два слова. Якобсон для меня был не только школьным учителем, но наставником, другом нашей семьи и т. д. Именно он направил меня на путь писательства — после какого-то заданного им сочинения — и я действительно стал профессиональным литератором — то бишь, пером зарабатываю на хлеб. Пусть это не покажется Вам выпрепным, но его фотография и сейчас висит у меня над письменным столом. Он как-то надписал мне книжечку Верлена «Коле Климонтовичу от его читателя», она у меня на полке; он через меня сдружился с моими родителями, и отец-физик всегда держал для него бутылочку коньяка...

Теперь о сути. Конечно же, и его дошкольные (Вторая школа), и послеотъездные обстоятельства для меня носят характер мифологический. Он, по понятным причинам, не обсуждал со мной, своим учеником, обстоятельств своей былой личной жизни. Что же касается жизни израильской, то до метрополии в те годы доходили лишь слухи, даже письма писать остерегались, — впрочем, зачем я Вам это говорю. Незадолго до его гибели я посылал ему письмо с оказией — но теперь я понимаю, что в это время он болел, и ему было не до моих писем.

К величайшему сожалению, мне в руки попали Ваши воспомина-ния много позже того, как мои неловкие мемуары уже вышли из печати. Замечу в скобках, что это — не академический труд, а скорее беллетристика в мемуарной форме... Вышла уже и книга «Далее — везде» («Вагриус», 2002), частью которой является и глава о Якобсоне. Что можно сделать? Полагаю, греха не будет, если Ваше письмо ко мне и этот мой ответ появятся на сайте. А книгу, в которой обнаружилось — как во всяких воспоминаниях о давнем (замечу, Тошу, так называли его у нас в доме, я в последний раз видел тридцать лет назад!) — множество мелких и крупных ошибок, даже касательно моей собственной семьи, даст Бог, ждёт переиздание. И в него я, разумеется, внесу все необходимые исправления, которые содержатся в Вашем благосклонном письме.

*Искренне Ваш Н. Климонтович*

9.07.2004 Москва



### И питается не щами...

В тот день, когда горбоносая усатая учительница географии, наша классная руководительница, объявила моему отцу, что больше терпеть меня в школе не намерена, кончилось моё невесть какое радостное детство и начались счастливые отрочество, юность и университеты. Но — не она ли, Алевтина, ещё вчера под предлогом производства стенной газеты отзывала меня с урока, чтобы в пустой учительской взьерошить мне волосы и поведать, как несправедливы мужчины. А у меня уже торчали над углами губ пуки тёмной поросли, щемило соски; тридцатилетняя старая Алевтина не волновала, но однажды застала меня, созревающего, на перемене, в закоулке школьной лестницы, за вполне географическим занятием, а именно — за проникновением рукою под юбку и меж толстых, влажных от произведённого там переполоха ляжек моей одноклассницы, тоже профессорской дочки, соседки по дому, Ольги Прониной...

Мне было тринадцать. Географию, кроме пронинской, я не учил, наука не дворянская, контурные карты разрисовывал спустя рукава, да и то лишь потому, должно быть, что некоторые выпуклые очертания неясно волновали меня. Гонял в футбол. Читал под партой *Золотого осла*. Отец считал, что у меня должны быть способности к математике. И не он один: директор школы, по совместительству преподававший нам алгебру с геометрией, любил во время контрольной стать у меня над плечом и, стуча костяшкой согнутого указательного пальца по моему темени, молвить с искренним сожалением: хорошая голова, да не тому человеку досталась. Он же изредка отправлял меня на модные тогда школьные *олимпиады*. Помнится, на одной из них я довольно быстро отгадал какую-то геометрическую задачку об углах падения и отражения, применив приём мысленного продления бильярдного стола, за что получил почетную грамоту. И это вызвало взрыв неподдельного изумления — люди, я убеждался в этом потом часто, склонны упрощать другие, смежные им организмы, но, зачастую безосновательно, непомерно усложнять собственные. Я выступал также за школьную команду по шахматам, созданную всё тем же энтузиастичным директором, — за последней доской, заработав пятый разряд, вскоре упразднённый, что показалось мне не совсем справедливым, я уже острил в том духе, что пострадал от советской власти. Все эти вполне случайные достижения и вводили в заблуждение старших, и — вместо заведения для трудновоспитуемых, куда после упомянутой сцены на лестнице не считала чрезмерным определить меня географичка, — я оказался, пройдя кое-какое собеседование, в специальной математической школе № 2.

Школа действительно была математической. Это всякий, знающий советскую действительность, сочтет за подвох — и справедливо. Звалась она к тому же *экспериментальной* — эвфемизм для начальства: нельзя же было сказать *для званных*, тем более *для избранных*, поскольку при большевиках не могло быть детей, одаренных по-разному, и имелось в виду, наверное, что в светлом будущем и пролетарским детям, не только профессорским, — и дворянским, ежели выжили, — будут преподавать дифференциальное исчисление уже в восьмом классе. И всё-таки из этого лицея не вышло потом ни министра иностранных дел, ни национального поэта, лишь один депутат Московской думы, да и тот заведует культурой, предметом призрачным, как неравенство *больше бесконечности*, и один банкир, этот, впрочем, весьма изрядный, с чьей руки я даже одно время подкармливался, получая стипендию, учрежденную его банком, — хотя об этом он знать не мог.

Однако не вычисление дифференциалов волновало меня тогда, и лишь спустя годы мой отец смирился, что оно и впредь меня оставляло равнодушным, а звук трубы *братъ интеграл* и вовсе ввергал в оторопь, но — будоражили диковинные уроки словесности, ничем не похожие на те, что получал я прежде, следом за географией, по советскому учебнику, которым я тоже пренебрегал, так что мне не пришлось в своей жизни прочитать ни горькую «Мать», ни подслеповатую «Сталь», ни гладкий «Цемент», теперь уж, видно, никогда не придется, а из «Повести о настоящем человеке» меня впечатлило лишь, что безногий Мересьев, ползя по снежному лесу, съел живого ежа, за какое-то клеветническое наблюдение мою мать вызывали и учили воспитывать сына, — наша учительница начальной школы (дело было в третьем классе) так внимательно канон не читала.

В 8 «В» классе школы №2 вёл у нас словесность молодой человек по имени Анатолий Александрович Якобсон. То, что он был очень молод, ему не было тридцати, мне, конечно, тогда было невнятно по разнице наших лет, но его поведение во время урока ужасало и восхищало. Скажем, он был способен запустить в нас ластиком, ежели тот, пролетев мимо цели и отскочив от доски, падал перед его носом на учительский стол. Причём делал он это без педагогической истерики, но вполне осознанно и азартно, целясь в лоб отправителю. Мог пожаловаться классу, в котором были и девочки-ханжи, офицерского воспитания, что *штаны сползают*. Но прежде другого странна была программа — тем, что, собственно, никакой программы не было.

Вообразите, в конце 60-х в восьмой класс он притаскивал тексты Бёлля, «Конармию» Бабеля — и декламировал вслух: *её груди шевелились, как животное в мешке*, — искандеровского *Козлотура*, «Случай на станции Кречетовка», что-то ещё новомирское, любимого мною тогда Олешу терпеть не мог, третируя: *по утрам он поёт в клозете*,

и пойдите покушайте синих груш, и посторонний дядя ехал бить моего папу как литературную самодеятельность, но велел читать «Устрицы» Чехова и 56-й сонет Шекспира. Сам читал вслух «Кошку под дождем» (что подвигло меня позже на долгое вдохновенное хемингуэйничанье, но эти опыты навсегда, кажется, осели в анналах НКВД),<sup>2</sup> вопрошал желающих выговориться по поводу прочитанного, а затем произносил бурную порывистую речь — о подтексте, тексте (о контексте тогда ещё не говорили), Джойсе, Фицджеральде, Ахматовой, Серебряном веке и Блоке, Блоке, Блоке... Он мог поделиться с нами, четырнадцатилетними, что Маршак — детский поэт — это классик, *ты с ума сошла, коза, бьёшь десяткою туза*, а Маршак-переводчик — *полное говно*, и что *раннего Пастернака я люблю невозможно, но позднего ещё больше, поверх невозможного* (мне, кстати, это казалось тогда лишь фигурой речи, а нынче я думаю, что к смерти Пастернак и вправду нашёл больше, чем потерял). Соответственно, он вопрошал нас, что мы думаем, когда сравниваем строки:

Но как тебя покинуть, милый друг,

и:

Измучен всем, не стал бы жить и дня,  
Да другу будет плохо без меня, —

и так стенал и рычал, что и без подсказок было ясно, что чему следует предпочесть.

Он плевался и обзывался, утверждая, что друг всех советских мастурбирующих пионеров Есенин бывал пошляком («*скольким ты садилась на колени, а теперь сидишь ВОТ у меня*»), но тут же противоречил сам себе, предваряя, что строки, которые он сейчас прочтёт, не хуже знаменитых русских ямбов, не слабее: *все перепуталось, и некому сказать*, и даже, что, конечно, невероятно, «*мой дядя самых честных правил*», вполне на уровне *вошла ты резкая, как «нате»*, и, может быть, *и ваши кудри золотисты на пышных склонах белых плеч, и звёздный ход я примечаю, и слышу, как растёт трава*:

Напылили кругом, НАКОПЫТИЛИ,  
И умчались под дьявольский свист.  
А теперь ВОТ в лесной обители  
Даже слышно, как падает лист, —

и здесь ВОТ считалось к месту.

Блок же сыпался и трусился без перерывов, как и Ахматова, как за возом *бегущий дождь соломин*, как бесконечные вагоны, идущие *дрожащей линией*, Цветаева шла не таким сортом, но всё-таки:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,  
И всё — равно, и всё — едино.  
Но если у дороги — куст  
Встает, особенно — рябина...

И кажется, не напиши Марина Ивановна этого обрыва, заклёба, не было б её вовсе в якобсоновском ассортименте.

Впрочем, меня отвадил от амazonистой Цветаевой не он, но собственная бабушка. Однажды она подозрительно спросила: что это ты всё повторяешь «Цветаева, Цветаева», не та ли это самая? Я остолбенел и зажмурился. «Как же, — сказала бабушка, — однажды я была у неё в Борисоглебском. С Вахтанговым, кажется, но уже после переворота. Она всё обнимала свою подружку-заморыша, долго орала дурные стихи дурным голосом, а потом повела меня наверх, в детскую. Дети были такие неухоженные... — и бабушку брезгливо передернуло. — Неужели теперь она прославилась?»

Якобсон задавал нам сочинения на тему из разрядки РОНО (сами отгадывайте, раскрасьте и найдите охотника) «Моя любимая книга» и на сочинении вашего покорного слуги, посвященном Эдгару По, начертал *будет писать*, — так мои родители с ним и подружились, и дружили и я и они вплоть до его отъезда. Окрыленный, я накатал ему ещё пару *критических* опусов: о «Мусорном ветре» Платонова и «Смерти пионерки» Багрицкого. Первый он заставил меня переписать — не исправить, а перлюстрировать — и потащил тетрадку, гордясь ученичком, скульптору Федоту Сучкову, автору предисловия первого оттепельного платоновского избранного, — с ним, с Сучковым, мне ещё предстояло познакомиться. А за второй дал такую нахлобучку, что я запомнил урок на всю жизнь.

Дело в том, что слово *пионерка* было и в нашей школе, и в моей среде однозначно ругательным. А коли так, то и поэма была дерьмо, и над ней следовало потешаться. Кстати, ирония и *стёб* были неременны тогда, хоть второе слово и возникло позже, обязательны, как всякий нигилизм созревания и поллюций, и я с некоторым изумлением смотрю на нынешних 30–40-летних мужчин, с упоением предающихся этим приятным — как почитать газету в сортире или выпить с утра коньяку в ванне — занятиям, которым мы отдали должное в своё время, будучи вдвое моложе, но это в скобках. И дерьмо был автор, — если следовать логике тогдашнего моего сочинения, — хоть втайне я любил:

И звезды обрызгали кучу наживы,  
Коньяк, чулки и презервативы...

Думаю, любил за последнее, не совсем школьное, словцо, но и за романтический напор, конечно.

Итак, я получил бурный нагоняй. Мне было — раз и навсегда — сказано, что поэзия внеидеологична, как дождь: или идёт, или нет. И мне до сих пор стыдно, что в четырнадцать, когда Александр Сергеевич уж сокрушал старика Державина, я не понимал таких простых вещей, стремясь бежать впереди паровоза по пути либеральных ниспровержений. Впрочем, если это меня реабилитирует, сознаюсь, что и до сих пор, хандря, нет-нет да поймаю себя на том, что бормочу под нос:

Пусть звучат постылые, скудные слова  
Не погибла молодость, молодость жива!  
Нас водила молодость в сабельный поход,  
Нас бросала молодость на кронштадтский лёд, —

(и здесь не обошлось без Гумилева, конечно, не у меня — у Багрицкого) ...

Но главного о Якобсоне, о Тоше, ни я, ни мои соученики тогда, конечно, не знали. Эта его тайная для школы жизнь была, однако, продолжением явной, литературной и педагогической, а именно — он был, что потом назвалось *правозащитником*, причём из первачей. Начал он с того, что публично выступил в защиту Юлия Даниэля, своего друга и коллеги по так называемому комитету переводчиков, едва того арестовали. Закончил же редактированием подпольной «Хроники текущих событий» и вынужденной эмиграцией.

Здесь важен, как говорят записные мемуаристы, *запах эпохи*. Точнее, представление о том, как жила узкая прослойка столичной фрондирующей интеллигенции конца 60-х — диссиденты и сочувствующие, тогда же получившие кличку *диссида*. Вот хоть лёгкий пример, чтобы вы вошли в атмосферу тех лет и тех буден. Когда своему девятилетнему сыну Саше, пребывавшему в пионерском лагере, Якобсон написал, что скоро заберёт его, и они поедут на Урал к другу Тоши диссиденту Бабицкому, отбывавшему там ссылку, ребёнок отписал в ответ: «ура, ура, ссылка лучше, чем лагерь». Или вот ещё: у моего отца, человека вообще-то довольно замкнутого и ничего никогда не знавшего о *мужской дружбе*, был-таки многолетний товарищ, его коллега-физик со времён ещё университетской аспирантуры, по фамилии Силин. В отличие от отца он был деятелен, партиен, ездил в Америку на стажировку, откуда привёз отцу в подарок фотоальбом с измождёнными ню, сильно меня волновавшими, и с прекрасными изображениями нобелевского уже Пастернака на переделкинской даче (мрачный поэт в саду, мрачный поэт саморучно застилает свою солдатскую койку в кабинете и т. д.), альбом, кстати, по тем временам очень крамольный. Дружили семьями, вместе отдыхали на юге, мужчины играли в шахматы, моя мать и жена Силина Роза, простонародная толстушка, недо-

любливая друг друга, толковали о детях и варенье. И вот в один прекрасный день выяснилось, что этот самый Силин заделался парторгом в своём физическом институте — чин, между прочим, весьма высокий, почти директорский. Он был зазван в гости, и моя мать закатила ему грандиозный скандал с поминанием 37-го и предъявлением преступлений большевиков, приводя в пример судьбы обоих моих дедов. Отец, не только что не партийный, но всегда отказывавшийся от каких-либо должностей, мрачно молчал. Силин был изгнан из дома навсегда.

Изгнан из школы был и Якобсон, когда я перешёл в десятый. Ибо на конец 60-х и пришлось расцвет его правозащитной деятельности. Мне, пятнадцатилетнему, уже были известны такие истины, внушенные им: после обыска надо *проветривать помещение* (так Якобсон напутствовал кагебешников, когда они, наконец, выметались с мешками награбленного из его квартиры: мол, пора, а то у вас ноги пахнут); когда даёшь кому-то почитать что-нибудь собственное рукописное — срежь верх первой страницы с именем; осторожничай в телефонных разговорах; не читай самиздат в транспорте; на допросе как можно чаще говори *не помню и не знаю*, коли нет сил вообще молчать, и никогда не называй ни одного имени. Ну и так далее. Но самым главным уроком было то, что нет пуще злодеев, чем коммунисты, ничего более уродливого, чем советская власть, и никого презреннее и неприкасаемее, чем сотрудники КГБ и их *пособники-стукачи*.

Столь нехитрый ригоризм я исповедовал со всей страстью ранней зелёной юности. В этой диссидентской интеллигентской религии, в храме которой я оказался, был кодекс чести и жертвенности, хорошо был прописан дьявол, но не было онтологии, а значит — увы — не было Бога, как, впрочем, и в любом пылающем и парящем над повседневной живой жизнью революционерстве. Если говорить на политическом языке, то в этой духовно пёстрой среде доминировали социал-демократические идеалы, то бишь коммунистический ревизионизм, в котором так рьяно обвинял тогдашнюю КПСС председатель Мао, будто предвидевший неминуемый приход Горбачёва.

У нас в доме не переводился литературный самиздат, вообще говоря, относительно невинный: рукописные поздние стихи Волошина, «Воронежские тетради» Мандельштама, «Реквием» Ахматовой, «Всё течет» Гроссмана, «Котлован» Платонова, чуть позже потёк тамиздат: русскоязычный Набоков, Ходасевич, «Железная женщина» Берберовой. Бывали и забавные раритеты: скажем, повесть Кузнецова «Бабий яр», опубликованную в «Юности», я читал по рукописному экземпляру, подаренному автором Солженицыну, причём в ней были аккуратнейшим образом разноцветными карандашами помечены цензурные купюры, всякий цвет на всякий запрет: красным «про евреев», синим — «о партии» и т. п. (и сейчас зачем-то помню, что название

одной из главок «Грابتь хорошо, но надо уметь» цензурой было исправлено на «Воровать надо уметь», — глупость, конечно, помнить подобный вздор и мусор). Но все чаще появлялись и действительно опасные по тем временам вещи, которые шли чуть не по разряду революционных прокламаций: «Меморандум» Сахарова, «В круге первом» Солженицына и «Письмо вождям» Раскольникова, правозащитные статьи Чалидзе, первая книга Анатолия Марченко и — самый смертный криминал — оттиски «Хроники», которую зачитывали по глушащейся «Свободе», причём Якобсон, разумеется, ничего о своём авторстве не говорил, но между строк это маячило: в подпитии он излагал за столом то, что в следующем номере только должно было появиться. Моя мать при молчаливом попустительстве аполитичного отца регулярно платила дань — *на семьи заключённых*. Я изредка перестукивал на машинке по поручению Тоши те или иные текстике, что, кстати, было вопиющей неосторожностью: при обысках машинки забирали именно с целью идентификации шрифта. Короче, семейство наше было из *сочувствующих движению*, несколько даже и рисковало (именно тогда отца перестали выпускать за границу на конференции и мариновали лет десять, кажется, телефон слушали, даже университетскую научную корреспонденцию утаскивали в партком и вскрывали). Замечу, что в естественнонаучной среде это была в той или иной мере распространённая форма фрондерства, такая позиция пассивного сопротивления, считалось, приличествовала всякому *порядочному человеку*. Что, впрочем, не помешало *ни единому* учёному и неучёному — кроме физика Михаила Левина и лирика Ахмадулиной — *ни единым словом* протеста не вступить за Сахарова, когда тот был сослан под надзор в Горький. Но я забегаю вперед, на дворе — лишь шестидесятые.

Якобсон появлялся у нас раз в неделю-две. К его приходу неизменно бывала приготовлена бутылка коньяка, которую он — при слабом содействии отца — за вечер и высасывал. Развлекал он семейство, конечно, сплетнями о том, как тот или иной вёл себя на допросе, у кого был обыск, и что сам Тоша сказал *топтуну*, когда тот неосторожно наступил ему на пятку, — и всё это я с жадностью впитывал. Свойство памяти — помнить пустяки. Почему-то всплыло сейчас, как Тоша с возмущением рассказывал: топтун, оказавшийся с Тошей в лифте, сначала растерялся, а потом нагло обронил: да что же вы всегда такой грязный. «Ложь, — негодовал Тоша, — я каждое утро моюсь, как утка». Именно это как *утка* я и запомнил...

Здесь требуется ещё одно пояснение. Диссидентская жизнь тех лет напоминала опасный и весёлый карнавал. Скажем, когда становилось известно, что у кого-то из этого круга идёт обыск, то все заединчики мигом подхватывались и слетались на квартиру терпящего бедствие,



всячески мешаясь под ногами обыскивающих и над ними изгаляясь. При том, что в столице совершались время от времени посадки — и на нештучные сроки, — КГБ бояться было не принято. В кодекс поведения входили своеобразный шик презрения к властям и всяческая бравада. Конечно, всё это было в вопиющем контрасте с истинно паническим ужасом перед КГБ законопослушных обывателей: один вызов на Лубянку в качестве свидетеля представлялся обычному советскому служащему вселенской катастрофой. Так что, повторюсь, речь идёт о горстке, так сказать, диссидентов-профессионалов и их окружении: таких, может быть, было тысячи три-четыре в многомиллионных Москве и Ленинграде, но они-то и делали погоду в комментариях западных радиостанций о положении дел в России. Бытовая атмосфера в этом кругу тоже была как бы вечно праздничная: толком, конечно, никто из тех, кого ещё не выгнали с работы, всё равно не работал, много пили, царил промискуитет: *моральный облик* диссидентов тех лет всю муссировался КГБ, а сама атмосфера замечательно воспроизведена в романе Владимира Кормера «Наследство» и ещё в нескольких, так сказать, «бесах» — скажем, в романе о Даниэле какой-то его пассии «К вольной воле заповедные пути» (кстати, роман, за который самого Даниэля посадили, «Говорит Москва», начинается со сцены дачного группового секса интеллигентской компании тех лет, и как здесь не вспомнить социалистические фаланстеры, ирония над которыми некогда стоила репутации *порядочного человека* Лескову, безоговорочно записанному либералами в реакционеры). Тоша принадлежал к звёздам первой величины этого круга — сразу следом за Сахаровым, Щаранским и Буковским, наравне с Турчиным, Орловым, Ларисой Богораз, Юрием Айхенвальдом (я привожу лишь имена тех, кто в те годы, о которых речь, не сидел). Помню, однажды он ввалился к нам уже вполпьяна и возбуждённо стал рассказывать, что *поднимается уже и учащаяся молодежь*, что вчера на концерте во Дворце съездов какая-то девчонка-десятиклассница разбросала с балкона антисоветские листовки, — и много позже я сообразил, что это была Валерия Новодворская.

Но отнюдь не только диссидентскими байками пробавлялся Тоша, попивая коньяк в нашем доме. Он декламировал Давида Самойлова, с которым водил близкую и доверительную дружбу, и неопубликованный тогда стих «Пестель, Поэт и Анна» — кстати, вполне на диссидентскую тему, о соотношении мрачного идеологизма и жаркой живой жизни, — я услышал впервые из его уст; он шпарил наизусть всю Марию Петровых, восхищённо цитировал переводы Гелескула из Лорки («*и ветер серые руки сомкнул на девичьем стане*»), любил вспоминать Горбаневскую, посаженную в психушку за демонстрацию на Красной площади в год Чехословакии:



Шарманка пой, шарманка вой,  
Шарманка — в пропасть головой,  
Ах, в заколоченном саду  
Поёт шарманка раз в году...

Однажды он принёс только что вышедший том с «Житием протопопа Аввакума» и принялся читать вслух; дойдя до знаменитого разговора протопопа с матушкой по пешему сибирскому пути на поселение, он стал хлюпать носом — бутылка была уже пуста, — а потом не выдержал и разрыдался.

Я обожал его. Все его неврастенические *артистизмы* числил по ряду очаровательных чудачеств гения. Ещё бы, он знал всё на свете из того, что стоило знать, — и поощрял мои литературные опыты; он был смел, а на стене в его квартире в беспросветном Зюзине красовалась фотография Анны Андреевны, снятой на пленэре, с её автографом наискось *Тоше Якобсону — под вязами*<sup>3</sup> (не знаю, отчего *под вязами* — наверное, то был намёк, понятный только Тоше, но факт оставался фактом: помимо четырёх ленинградских *ахматовских мальчиков* были *мальчики* и московские, и Тоша состоял некогда одним из них). Помню, я был невероятно польщён, когда он поднёс мне томик Верлена со своими переводами и с надписью *Коле Климонтовичу от его читателя*, — эта книжечка и сейчас у меня на полке. Как-то мои родители подарили ему в день рождения байковую пижаму. Боже, как он дурачился и кокетничал, тут же и примерив её, заявил, что такого выходного костюма у него отродясь не было и что в этой-то пижаме он и отправится прямо от нас на вечеринку к Арсению Тарковскому, куда накануне был зван. И отправился, завернув свой наряд, в котором пришёл, в газету, — от этих штучек сердце мое обмирало, как у барышни.

Надо сказать, что и Валентин Турчин, напрямую связанный с Сахаровым, и Айхенвальд, в доме которого, в свою очередь, я видел и Якира, и Есенина-Вольпина, и Асаркана, и Наума Коржавина («лучше один микро Мандельштам, чем много макро Манделей»), небеззлобно острил Тоша, — Мандель была настоящая фамилия Наума), и опального Юлия Кима — тоже бывали у нас, но по неясным мне тогда причинам никогда не одновременно с Тошей. Сейчас я понимаю, что диссиденты первого ряда чувствовали себя в те годы на общественной сцене — примами, а попробуйте-ка направить объектив камеры одновременно на двух артисток-звезд, сидящих рядом хоть в курилке — одна уж непременно тут же вспорхнёт и приснет в сторону.

Никогда Тоша не приводил к нам и свою жену Майю. Между тем это была легендарная женщина, арестованная со школьной скамьи и сидевшая в знаменитой взбунтовавшейся женской зоне, раздавленной танками, о чём написано у Гроссмана во «Все течёт»; Тоша, её

одноклассник, дал обет дожидаться её освобождения и дождался, так что брак этот был в некотором смысле революционерский, — они разошлись сразу же, как ступили на землю обетованную. Но все-таки однажды, по случаю, кажется, одного из родительских дней рождений, он пришел с Майей. Конечно же, за столом, как обычно, он премьерничал, она поджимала до поры губы, но не выдержала и одёрнула его: *помолчи же, Тоша, дай другим слово сказать*. Он обиженно поперхнулся, взвился было, но за общим столом было не место для семейных сцен, и, ссутулившись, отправился на балкон, где стал нервно прикуривать одну сигарету за другой. И для меня стало откровением, что есть на свете человек, пусть всего один-единственный, для которого Тоша не был кумиром, но лишь болтуном и пьянчужкой, хотя я и знал уж наполеоновскую сентенцию, что для камердинера — нет великого человека.

Года через три последовал и ещё один толчок, который несколько охладил мою любовь к Тоше. В один прекрасный день я с гордостью сообщил ему, что исключён из университета. В каком-то смысле это был результат его же выучки: я вёл себя не просто независимо-вызывающе, толкался по общежитиям у иностранных стажёров, среди которых было немало стукачей, — я тогда в это не смог бы поверить, любой иностранец был для нас единомышленник в борьбе против коммунизма за светлый западный путь, — и произносил свободололюбивые речи; я подбивал сокурсников отправить поздравительную телеграмму ещё не высланному тогда Солженицыну, а на семинарах по марксистской философии запузыривал какие-то немыслимые доклады об избирательности *революционной морали*, противоположной христианской, приводя литературные примеры — хоть из Лавренёва. Короче, я мальчишествовал — на его же манер. Однако Учитель отнюдь не восхитился, даже не посочувствовал мне, но обронил холодное: *выгнали, ну и дурак*. Более всего обидно было, что, увы, это являлось беспримесной правдой, и никакие ссылки на происки КГБ — кстати, они имели место, много позже на Лубянке во время допроса один из следователей заметил: *вы у нас под колпаком с девятнадцати лет* — здесь не оправдание. Но *дураком был* и сам Тоша, вместо перевода верленов всё гнавший диссидентскую волну и пёрший без удержу на баррикады: я думаю теперь, что у него был комплекс — перед друзьями, а ещё пуще перед женой, — так скажем, *непосадки*.

Не знаю, кто уж там в КГБ оказался таким изошрённым психоаналитиком, но Тошу упорно не сажали. Вокруг все авторы «Хроники» к 72-му уж давно крепко сидели, а этот напрашивался больше всех, но гулял на свободе. В этом и был, наверное, расчёт *конторы* — *Галины Борисовны*, как это тогда называлось, — его мариновать. *Они*, отлично изучив хроническую интеллигентскую паранойю и бабскую глупость, могли точно знать, что рано или поздно у Тоши за спиной завьётся ше-

поток: коли он всё на воле, уж не стукач ли он? Сейчас трудно представить весь ужас положения того, о ком так заспинно шепчутся: это случай славянина-брюнета, которого молва числит евреем, — чем больше оправдывается, тем крепче уверенность окружающих. Хожение к обедне уже мало кого переубедит, — и сядь Тоша тогда в лагерь, кто знает, не пустила бы Галина Борисовна инспирированный ею же убийственный слухок и туда.

Для Тоши же всё это оказалось истинно губельным: припёртый к стенке КГБ, он согласился эмигрировать. На его проводах всё в той же утлой квартирке с двумя смежными комнатками в Зюзине пел Галич, демоничничал пьяный Вадик Делоне, стенали диссидентские подруги и пассии, расхватывали книги, — и рушился его многолетний мир (даже моего производства фотографии, копии с портретов наших кумиров, прикнопленные к стене, — и те расхватали). Двое бывших учеников преподнесли граненый стакан с гравировкой: *Говорят, что в дальних странах не найти нигде стакана*. Но Тоша был трезв, страшно печален, глядел пассажиром тонущего «Титаника». Я многократно соучаствовал в подобном отъездном обряде, но такого собачьего выражения брошенности не видел в глазах ни у одного *отъезжанта*. Прибыв в Израиль — Тоша вдруг с отчаяния, не иначе, вспомнил о своём еврействе, о котором никогда думать не думал, и в США ехать отказался, — он на первых порах отправился работать грузчиком на мельницу. По-видимому, это было воспоминанием о первых послестуденческих годах, когда его во времена борьбы с *космополитами* не брали на работу школьным учителем, и он подрабатывал по-студенчески в Южном порту. Вскоре он засветился: принял участие в забастовке на стороне арабских грузчиков против еврея-нанимателя. Тем не менее его взяли ассистентом на кафедру славистики Иерусалимского университета. Но всё продолжало сыпаться: он разошёлся с женой, сын вдруг заделался израильским правым, <...>, завёл датского дога и повесился в подвале своего дома жарким летним днем. Нашёл его тело именно дог...

В 90-м в Вашингтоне в доме Елены Якобсон, невестки знаменитого филолога и Тошиного однофамильца, я познакомился с писательницей Руфью Зерновой, женой Сермана, известного сидельца, а тогда иерусалимского профессора. И спросил её о Тоше. «Бедный мальчик», — только и вздохнула она. А я лишний раз вспомнил, что с Тошей меня связывало. И прежде другого — его книгу о Блоке, о «Двенадцати», названную им «Конец трагедии», мудрость которой портила политика, — Тоша и здесь не мог скрыть своей истинной, будто был эмигрантом первой волны, даже не брезгливости, но горячей, как сковородка, ненависти к большевикам. Писал он почти что на моих глазах: как-то объявил, что на месяц съезжает из Москвы и чтобы его не искали (позже мне

пришлось вычитывать экземпляры первой перепечатки). Он устроился в каком-то знакомом сарайчике недалеко от города — и сочинил за двадцать дней около пятисот страниц, материалы, конечно, у него были готовы. Он запретил кому бы то ни было приближаться, однако за стеной оказался крольчатник, так что кролики скрашивали его вдохновенное одиночество. В редкие минуты досуга он посвящал этим милым животным стихи. Позже он декламировал эти вирши с удовольствием. Помню лишь, что *кролик — он не человек*, так начинался этот ушастый цикл. А заканчивался:

И питается не щами,  
Но сырыми овощами.

Сам он тоже питался — не щами.

- <sup>1</sup> Николай Юрьевич Климонтович (р. 1951), окончил Вторую школу (выпускной класс 10 «В», 1968) и физический ф-т МГУ (1984), принял участие в неподцензурном альманахе «Каталог», печатался в эмигрантских изданиях, автор пьес, которые шли на сценах московских театров, книг прозы. Печатается как прозаик, критик и публицист в газетах и журналах. Произведения К. переводились на английский, польский, финский, шведский языки. Член СТД РФ (1984) и СП СССР (1988), Русского ПЕН-центра (1992). Премия ж-ла «Октябрь» (1999). *Источники*: <http://www.klimontovich.ru/>, <http://nklimontovich.ru/> (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Справедливости ради скажу, что на волне демократии 91-го года ОНИ мне предлагали прийти и забрать архив, но Я предложил ИМ привезти и положить что взяли — где взяли, на чём переговоры иссякли (прим. Н. Климонтовича).
- <sup>3</sup> В действительности — портрет тушью работы Н.А. Тырсы 1927 г. с надписью рукой А. Ахматовой на обороте: «Анатолию Якобсону / под соснами / 23 июля 1962 / Анна Ахматова» (прим. В. Емельянова).

*Владимир Рок*<sup>1</sup>

## Уроки литературы и истории

В процессе моей переписки с Майей Александровной Улановской и Василием Евгеньевичем Емельяновым мы пришли к согласию о том, что некоторые фрагменты моих писем, относящиеся к Анатолию Александровичу Якобсону, могут быть помещены на его Мемориальной странице. В основном эти фрагменты так или иначе связаны с другими материалами Страницы и в той или иной степени перекликаются с ними. Конечно, прошедшие годы отразились на наших воспоминаниях. Что-то забылось, что-то слегка затуманилось, а некоторые эпизоды, наоборот, кажутся очень яркими и даже приобрели новые краски в свете последующих событий. Я решил, что поместить эти фрагменты среди других материалов Страницы можно, не слишком заботясь об их связности между собой. В конце концов, их объединяет то, что речь идет о наших уже довольно далёких школьных годах и, в частности, о том, что нам посчастливилось во Второй школе встретить Анатолия Александровича и даже учиться у него литературе и истории.

\* \* \*

Жаль, что все мы теперь лишены возможности снова поговорить с ним. Всё-таки, когда он появился у нас в школе, ему только-только перевалило за тридцать, а теперь вот мне уже примерно на десять лет больше, чем ему, когда он ушёл из жизни, и, надеюсь, я за эти годы всё-таки чему-то ещё научился. Наверное, нашлось бы, что сказать друг другу... Я помню слова, которые на похоронах академика Леонтовича, он умер в 1981 г. в возрасте около 78 лет, произнёс другой, уже тоже покойный, академик, Я. Б. Зельдович. Он сказал примерно следующее: «Покойный был нравственным камертоном в академической среде, а для того, чтобы камертон звучал чисто, он должен звучать долго». Физик Зельдович имел в виду то, что затухание расширяет полосу частот осциллятора, то есть, чем затухание меньше — тем полоса уже, значит, основной тон звучит чище. Если воспользоваться этим образом, то Анатолий Александрович был скорее набатом или гонгом. С широким спектром и взрывной интенсивностью, быстро «высвечивающий» весь свой запас энергии. Я думаю, что его главная роль оказалась в том, чтобы возбудить и заставить зазвучать «камертоны» в душах тех, с кем ему пришлось в жизни повстречаться. Ну, а, уж частота и чистота звучания этих «камертонов» — дело каждого из нас. Наверное, мы не вправе осуждать его за сделанный им в 78-м году

выбор, но всё-таки боль от этого непоправимого решения навсегда остаётся. То, что мы её ощущаем — сигнал о том, что мы ещё живы. От боли тоже есть польза!

\* \* \*

Оказавшись во Второй школе, Анатолий Александрович с большим уважением и интересом относился к нашим «естественным и точным наукам». Причём, когда разговор заходил о каких-то проблемах из этой области, он сразу превращался из учителя в ученика, с интересом расспрашивал о каких-нибудь заинтересовавших его деталях, внимательно выслушивал ответы и искренне восхищался, когда узнавал что-то новое для себя из этих далёких от истории и литературы областей. Что-то детское и очень непосредственное появлялось в выражении его лица. Никакой игры в «учителя», никакого стремления «держат дистанцию», без которого, наверное, не могли бы даже представить себе общения с учениками (по любому поводу) миллионы его советских (да и не только советских) коллег. Кстати, как-то он на уроке сказал, что общаться с «физиками-математиками» ему гораздо интереснее, чем со многими «гуманитариями», поскольку ему до сих пор неприятно вспоминать некоторых студентов, поступавших на историко-филологический факультет только из-за того, что они были не в состоянии освоить школьный курс математики. Он ещё передразнил слова одной из таких студенток, которая про школьную математику говорила: «Ох уж этот мне синус-конус!»

\* \* \*

Часто, в том числе и в материалах, помещённых на Мемориальной странице А.А. Якобсона, встречаются сравнения Второй школы с Царскосельским лицеем, причём иногда с почти противоположными интонациями (ср. очерк Н. Климонтовича «И питается не щами...»<sup>2</sup> и «От составителей» в книге «Записки о Второй школе», Выпуск I. Москва, 2003) ... Тут мне хотелось бы кое-что уточнить...

Сравнивать Вторую школу с Царскосельским лицеем, который был специально создан царём для подготовки будущих высших государственных чиновников в малограмотной России начала XIX века, где вообще-то даже мало-мальски образованные люди были наперечёт, по совершенно особой атмосфере интеллектуальной «Кастальи» с некоторыми оговорками, наверное, можно, но по дальнейшим карьерам выпускников совершенно неправильно. То, что сами основатели Второй школы ориентировались на Царскосельский лицей как на образец учебного заведения — другой вопрос. Ведь в реальной жизни за Владимиром Федоровичем Овчинниковым никогда не было поддержки Государя императора. Наша школа существовала вопреки желанию совет-

ских властей, преследовалась и, в конце концов, была разогнана в 72-м году. Поэтому упрекать её в том, что из неё не вышло ни одного Пушкина и ни одного государственного министра, а только один банкир и один депутат мосгордумы (как написано у Николая Климонтовича), некорректно. Кстати, несмотря на разгон, *репутация* (теперь можно было бы сказать «бренд»), созданная нашей школой до 1972 г. Владимиром Фёдоровичем Овчинниковым, замечательными учителями и преподавателями, работавшими в ней, среди которых, конечно, исключительную роль сыграл Анатолий Александрович, продолжала работать и привлекать в школу (во всяком случае в то, что от неё осталось) талантливых людей. Это — совершенно уникальное явление. В 60-е годы (прошлого уже, XX века) в Москве, на волне моды на точные науки, было создано довольно много математических школ (№№ 7, 52, 101, 444, 18-й интернат при МГУ и пр.). Ни одна из них не «пережила» своего создателя в том виде, в котором появилась и существовала в те годы, но наша школа, несмотря ни на что, своей репутацией продолжала привлекать и учеников, и учителей на протяжении десятков лет *после* изгнания Владимира Фёдоровича и изгнания, ухода, даже отъезда из страны многих ведущих учителей.

Теперь уже можно сказать, что даже просто по числу кандидатов и докторов наук, которые выросли из учеников Второй школы, она может конкурировать практически с любой кафедрой самого престижного университета. Нельзя же сравнивать начало XIX века, когда ученых-специалистов высшей квалификации можно было буквально сосчитать по пальцам, с концом XX — началом XXI веков, когда наука превратилась в мощную и дорогостоящую индустрию! Да и те, кто «не пошёл в науку», на всю жизнь получили в школе хорошую прививку уважения к знаниям, уму и творчеству в самых разных областях. Любителям «рекордов» можно напомнить, что Филдсовская золотая медаль и премия 2002 г. была присуждена математику Владимиру Воеводскому, работающему ныне в Принстоне, который, примерно за двадцать лет до этого события, учился во Второй школе. Правда, он был «выгнан из Второй школы за непонимание роли XXVI съезда КПСС», как указано на вторшкольном сайте, но это уже — свидетельство того, что ранее сложившаяся репутация школы и её реальная сущность к началу 80-х уже очень сильно отличались друг от друга. Но поступал-то он в школу не для изучения роли XXVI съезда КПСС! Хорошо известно, что Филдсовская медаль (и премия) присуждаются раз в четыре года математикам в возрасте до 40 лет на Всемирных математических конгрессах за работы в области теоретической математики. В силу этих ограничений получить её труднее, чем Нобелевскую премию (которая по математике не присуждается).



\* \* \*

Жанр воспоминаний, к которому относятся и эти мои записки, заставляет мозг включать цепочки ассоциаций, звенья которых могут цепляться друг за друга довольно неожиданным образом. Нобелевские премии и Филдсовские медали часто сравниваются по их *престижности*, но при этом, к сожалению, совершенно ложно утверждается, что вот Альфред Нобель математиков-де не любил, потому и премию для них не учредил. Часто при этом ещё повторяют не имеющий ничего общего с реальностью анекдот, что поводом для такого отношения послужила личная обида, нанесенная ему одним математиком (наиболее часто встречавшийся мне вариант — Миттаг-Леффлер, якобы отбивший у Нобеля жену или невесту). Это полная чушь. Альфред Нобель никогда не был женат, и был слишком серьёзным, умным и ответственным человеком для того, чтобы на всю науку математику (на долгие годы после своей собственной кончины!) переносить личную обиду. Пошлый анекдот про «отбитую жену» очевидно диссонирует с логикой и образом жизни и действий Альфреда Нобеля, учредившего свои знаменитые премии. Объяснение того, что Альфред Нобель не учредил премию по математике, гораздо проще и, конечно, его решение имело совершенно другие мотивы. Я напишу об этом ниже, потому что в ссылке, которая дана на сайте Второй школы по поводу награждения Филдсовской медалью её бывшего ученика, эта глупая байка опять повторяется.

Расскажу об эпизоде, связанном с Анатолием Александровичем, который мне вспомнился по этому поводу. Речь идёт об одном простом примере искажения поэтического текста, на который как-то указал нам на лекции Якобсон. Собственно, он проиллюстрировал мысль о том, что вмешательство в поэтический текст, например, цензора, приводит к разрушению образа, созданного автором, и это — ложь, какими бы мотивами она ни оправдывалась. Анатолий Александрович привёл пример:

— Вот в большинстве советских изданий Маяковского напечатано «...где вор с хулиганом и сифилис...» Ну, подумайте только, что может делать *вор с хулиганом*? Ведь на самом деле у Маяковского было «...где блядь с хулиганом и сифилис...»! Им-то друг с другом есть чем заниматься!

Произнеся грубое, но точное, слово, Анатолий Александрович коротко ткнул куда-то перед собой торчавшим вверх из его сжатого кулака тупым концом карандаша (или ручки?) и посмотрел в эту точку так, будто хотел пригвоздить слово к тому месту, на которое его поставил автор поэтической строки, чтобы оно уже не улетело и никем никогда не было украдено со своего места.



Из этого примера виден и «рецепт» обнаружения (и, возможно, исправления) подобных искажений — просто надо следовать логике образа и ясно видеть те места, где образ разрушается.

«Вот и у птичек так же», то есть и с Альфредом Нобелем и математикой. Каждый, кто знаком с биографией Альфреда Нобеля и читал его завещание, знает, что был он химиком-экспериментатором, изобретателем и бизнесменом. Научные премии учредил за изобретения и открытия в физике, химии, физиологии и медицине, то есть в тех областях, которые считал непосредственно влияющими на развитие технологии, условия и качество жизни людей. К этому он добавил ещё премию по литературе за произведения «идеалистического характера» — не в марксистском смысле этих слов, а в буквальном — утверждающие высокие нравственные идеалы, и пятую премию — за миротворческую деятельность. То есть все пять премий по его завещанию направлены на поддержку конкретных действий по улучшению материальных и духовных условий жизни человечества. Понятно, что умершему в 1896 г. Альфреду Нобелю никак не могло пригрезиться, что наступят времена, когда достижения в области математики смогут оказывать непосредственное влияние на повседневную жизнь людей, а основанные на них алгоритмы и программы станут объектом патентования, основой рыночных продуктов, как в его время конструкции машин или химические технологии. Выделить дополнительно премию по экономике по поводу своего 300-летия в 1968 г. предложил Шведский банк, и называется она уже «премия памяти Альфреда Нобеля», а присуждается с 1969 г. Сам Нобель такого тоже придумать не мог! Кстати, по этой номинации довольно часто премии достаются профессиональным математикам, разработавшим методы решения задач в области исследования экономических и финансовых проблем.

\* \* \*

На Мемориальной странице А. Якобсона помещён уже упоминавшийся очерк Николая Климонтовича об Анатолии Александровиче («И питается не щами...»). Отец Коли, Юрий Львович Климонтович, — замечательный физик, ученик Н.Н. Боголюбова, профессор физфака МГУ, прекрасно вёл у нас в классе семинары по физике, а в конце десятого класса принимал выпускные экзамены вместе с нашим учителем Наумом Матусовичем Сигаловским и другими преподававшими у нас профессорами и доцентами московских ВУЗов. Эти экзамены сдавали те, кто в десятом классе прослушал факультативный курс по физике, который читал Вальдемар Петрович Смилга. Я позволю себе описать здесь первую встречу Коли Климонтовича с Анатолием Александровичем так, как она запомнилась мне. Если участники описанных собы-

тий захотят что-либо добавить к моему рассказу или внести исправления, — я буду им благодарен.

Дело в том, что в начале 8-го класса (я поступил в школу осенью 65-го года в 8-й класс «В») литературу и русский язык у нас преподавал А. В. Музылёв. Он уже успел увлечь нас своими оригинальными методами преподавания русской грамматики, а также необычным для школьников, только что пришедших из обыкновенных московских школ, подходом к преподаванию литературы и тем, что к каждому из нас обращался на «Вы». Когда его, ещё совсем молодого человека, забрали служить на год в армию, у нас и появился Анатолий Александрович. На первом же его уроке в нашем классе возникло некоторое напряжение, как часто бывает у подростков, уже принявших прежнего учителя, и воспринимающих нового педагога как «узурпатора», захватившего место их любимца. Анатолий Александрович очень увлечённо и темпераментно стремился установить контакт с классом, но чувствовал, что его «не принимают». Больше всего Анатолия Александровича, видимо, раздражали разговоры, смешки и реплики Коли и ещё одного моего одноклассника — Бори Ерухимова (он сейчас живёт в Торонто). В какой-то момент Анатолий Александрович, будучи холериком, взорвался, схватил их обоих за шиворот и буквально вышвырнул за дверь. Боря был небольшого роста, а Коля был довольно рослым и хорошо развитым физически юношей, выглядел лет на 17 «с плюсом», чем и пользовался, знакомясь с девушками. (Напомню, что по возрасту школьников наш 8-й класс соответствовал нынешнему 9-му.) За дверью был довольно широкий рекреационный зал. Когда урок закончился, оба удалённых вернулись в класс к следующему уроку, и с восторгом и сияющими улыбками наперебой рассказывали о том, какие ощущения пережили, когда летели за дверь, и показывали, как далеко от неё приземлились. Во всяком случае, их восторг от Анатолия Александровича и его удивительной физической силы был настолько велик, что на следующем уроке уже никто не посмел ему мешать, а потом быстро обнаружилось, что он прекрасный человек и замечательный учитель. Ни Коля, ни Боря и не подумали обижаться на Анатолия Александровича — они прекрасно понимали, что получили то, на что напрашивались, а когда ещё откуда-то пошли слухи, что он — бывший боксер, успешно выступавший в прошлом на серьёзных соревнованиях, то и вовсе удивляться этому его «броску» перестали. Мне кажется, что оба героя этого инцидента потом даже некоторое время гордились в душе тем, что их вышвырнул из класса «настоящий боксёр». Потом, когда мы с ним познакомились ближе, а сами немного повзрослели, это уже перестало играть сколько-нибудь существенную роль. Всё-таки ум, душевные качества и темперамент Анатолия Александровича были намного ярче и важнее его физической силы. Не знаю, помнят ли теперь они сами этот эпизод,

но у меня он до сих пор стоит перед глазами. Я даже вижу ту улыбку, которая была на лице у Климонтовича, когда он вернулся на перемене в класс и рассказывал о своих ощущениях. Эта улыбка выражала вначале смесь смущения с восторгом, а потом, после рассказа о «полёте», уже чистый восторг.

\* \* \*

В 9-м классе я был членом школьного комитета комсомола. Собственно, я и в комсомол-то вступил только во Второй школе, когда мне было уже почти 15 лет, а не в 14, как это полагалось при Советской власти благополучному ученику (не двоечнику и не хулигану), когда я учился ещё в обычной районной школе. Там мне с «комсомолом» ничего общего иметь почему-то не хотелось, а в нашей школе комсомольская организация была существенной частью школьной системы самоуправления, к которой с уважением относился и во многих случаях реально считался сам Шеф, Владимир Фёдорович Овчинников.

Поскольку в школе были только старшие классы (осенью 1965 г. были, правда, набраны два 6-х и два 7-х класса, но основную массу составляли 9-е и 10-е, а в 1965–1966 учебном году и последние, надолго отменённые потом, 11-е классы), то наша комсомольская организация была настолько многочисленной, что нам полагался «освобождённый», то есть профессиональный комсомольский работник, получавший зарплату, — секретарь школьного комитета комсомола. Его «рекомендовал», то есть фактически назначал, райком комсомола, а школьная комсомольская конференция своим голосованием только утверждала эту кандидатуру. Тем не менее, и комитет, и школьные комсомольские конференции могли открыто дискутировать с администрацией школы, что, конечно, способствовало росту нашего самоуважения и чувства ответственности за школу. Вероятно, это и было главной педагогической целью этой администрации.

Как член комитета комсомола в конце апреля я был направлен во Дворец пионеров на Ленинских горах на заседание «городской школы комсомольского актива». В первый день было общее собрание (уже не помню, то ли в конференц-зале отдела астрономии и космонавтики, то ли в концертном зале), потом работа по секциям, потом концерт лучших коллективов школьной самодеятельности Москвы (и действительно были очень удачные номера). К сожалению, второй день был омрачён известием о катастрофе космического корабля, в которой погиб Владимир Комаров (24 апреля 1967 г.). Утром, когда разошлись по секциям «школы» в разные помещения Дворца пионеров, мы этого ещё не знали. Я выбрал секцию «учебной работы» и терпеливо слушал выступления заранее подготовленных «ораторов» о том, как они привлекают своих комсомольцев к учёбе и способствуют повышению успеваемо-

сти. Всё это происходило довольно казённо и скучно, как и полагалось на подобном мероприятии, а те «достижения», о которых рассказывали докладчики, казались мне довольно бледными на фоне активной учебной и внеучебной жизни моей родной школы. В конце концов, мне это слушать надоело. Я попросил слова и стал взхлёб рассказывать о том, какая у нас замечательная школа, как интересно в ней учиться, какие прекрасные у нас учителя, и сколько всего в ней можно делать и узнать не только на уроках, но и после — в литературно-театральном коллективе (ЛТК), на факультативах и дополнительных семинарах и лекциях. Причём, хоть школа и считается физико-математической (тут важно заметить, что юридически школа была ещё не «физико-математической», а простой районной школой, в которой были разрешены «экспериментальные математические классы»), но у нас прекрасно преподают все предметы, включая историю и литературу, а один из преподавателей литературы вот уже почти целый год по субботам читает нам очень интересные лекции по русской поэзии. Из «зала» (на самом деле эта была комната размером примерно в половину или две трети типового школьного класса) меня спросили, а можно ли на такую лекцию прийти. Поскольку всего передо мной сидело человек 25, то я совершенно простодушно ответил, что можно — ведь актов́ый зал в школе на первом этаже, можно войти просто с улицы, и если придёт несколько гостей, то место для них наверняка найдётся, а следующая лекция будет в субботу, кажется, ближайшую. После окончания рабочего дня мы пошли к эскалатору станции метро «Ленинские горы» и разъехались по домам. Двум девушкам оказалось по пути со мной, и мы ещё в дороге продолжали разговаривать о нашей школе. Одна из них вообще проехала со мной всю дорогу, поскольку жила в нескольких автобусных остановках от моего дома. Я тогда жил на 3 Хорошевской, а она в районе Октябрьского поля. Это я пишу для того, чтобы было понятно, как далеко было добираться до школы, тем более, что в те годы ещё не была построена ветка метро от Баррикадной.

До следующей лекции Анатолия Александровича я благополучно забыл об этой «школе». Как приятное воспоминание остался только заключительный концерт и три дня (вернее два — первый день «мероприятия» пришёлся на воскресенье) законно пропущенных занятий. А когда наступило время очередной его лекции, оказалось, что зал переполнен, мест не хватает, и ещё довольно много людей толпится в школьном дворе, но их уже не впускают в школу. Перед началом лекции на сцену поднялся рассерженный директор, Владимир Федорович, и сказал примерно следующее (по крайней мере, по смыслу): «Мы всегда рады гостям, но хотелось бы, чтобы гости приходили по приглашению или хотя бы договаривались заранее о своём визите, а иначе мы их принять не сможем». Тем не менее на сцене был установлен микро-

фон и включена ретрансляция лекции Яacobсона на улицу через громкоговоритель, установленный над входом в школу, так что её смогли слушать и те, кого в школу не пустили. Лекция, как я помню, была посвящена поэтам — революционным романтикам, воспевавшим героя «в кожанке с маузером на боку». Не стоит говорить о том, что этот герой не был особенно симпатичен самому Анатолию Александровичу.

Это была последняя лекция. По крайней мере из тех, что открыто читались по субботам после уроков.

Я, конечно, далёк от мысли, что моё нечаянное выступление во Дворце пионеров послужило причиной столпотворения непрошенных гостей. Скорее, это просто совпадение. Ведь не только я рассказывал о замечательных лекциях Анатолия Александровича разным людям, знакомым и случайным. Помимо просто любопытных слушателей, к нашей школе, проявляли интерес и специальные «наблюдатели» из различных организаций (просвещения, партийных, гэбэшных). Тем не менее, несколько лиц, что я видел перед собой во Дворце пионеров, я вновь увидел тогда в нашем актовом зале. Была там и девушка, с которой мы проехали всю дорогу из Дворца вместе. Я с ней поздоровался, и она показала мне нескольких своих товарищей, с которыми пришла на лекцию. Помнится, я даже помог им разместиться в зале. Они пришли минут за 30-40 до начала лекции, когда в школу ещё можно было войти, ведь они приехали издалека и времени на дорогу отвели с большим запасом. Вполне возможно, что весна, тёплая погода, конец учебного года многих побудили к тому, чтобы съездить, наконец, и послушать одну из лекций Анатолия Александровича, на которые было некогда или лень выбраться зимой или ранней весной. Очевидно, что слухи о лекциях Яacobсона распространились по Москве уже очень широко. Моя невольная «реклама» тоже несколько человек добавила...

Во всяком случае, «кумулятивный эффект» получился потрясающий!

Помню, что на той последней лекции, задолго до начала, место во втором или третьем ряду занял какой-то серьёзный дядечка с блокнотом, которого я не видел в школе ни прежде, ни потом. Может быть, это был безобидный любитель поэзии, а может быть, и «искусствовед в штатском». Уж очень по-хозяйски он держался и строго глядел на Яacobсона во время лекции, хотя, кажется, не произнёс ни слова. Возможно, Владимир Фёдорович что-то ещё мог добавить. Ведь если в школу пришли тогда какие-то «официальные гости», то они были, наверное, как-то ему представлены.

О моём выступлении во Дворце пионеров в апреле 1967 г. я никому тогда не рассказывал. Лекции Анатолия Александровича были прекращены. В 10-м классе (1967–1968 учебный год) Анатолий Александрович у нас уже ничего не преподавал: он не читал историю после

17-го года, а тем более обществоведение, а литературу нам вначале преподавал вернувшийся из армии ещё ко второму полугодю моего 9-го класса А. В. Музылёв, а во втором полугодии 10-го класса — Зоя Александровна Блюмина.

Когда лекции Якобсона прекратились, у меня было некоторое время ощущение, как у пятилетнего ребёнка, который оказался перед сброшенной кошкой с буфета банкой варенья, разбившейся у его ног, когда мамы в комнате не было. И вот в голове крутятся мысли о том, что кошка-то убежала, а мама придёт и не поверит, что банку разбил не я. Лет мне было уже шестнадцать, но никаких определенных сведений о «кошке» и её отношениях с Анатолием Александровичем я в то время не имел. Мог только смутно догадываться, что что-то там между школой (и её отдельными представителями) и властями происходит. Мы же прекрасно понимали, что наша школа — бельмо на глазу Советской власти. Другое дело, что всю сложность, глубину и серьёзность этого противостояния я тогда представить себе не мог. Тем более, что об издании Якобсоном «Хроники» узнал уже после его отъезда. Последний раз я видел Анатолия Александровича, наверное, году в 69-м. Сейчас мне трудно сказать, было ли это весной, в начале лета или (что менее вероятно) в начале осени. Просто помню, что было по-летнему тепло. Я с друзьями был в гостях у Аллы Минеевой (по мужу Крупник, живут они с конца 80-х в Вашингтоне), которая проучилась в нашем 8 «В» классе один год, а из 9-го ушла в свою прежнюю школу, в районе метро «Молодёжная», где она жила. Тем не менее, у нас было несколько общих друзей, и мы общались довольно долго и после школы. Так вот, помню, мы вышли на балкон её серой кирпичной «хрущёвской» пятиэтажки и увидели внизу Анатолия Александровича, идущего по дорожке мимо дома, слегка наклонив вперёд голову. Мы его окликнули, поздоровались, пригласили подняться к нам на третий этаж, но он, подняв голову и узнав нас, радостно улыбнулся и ответил, что спешит, и бросил фразу о том, что «живёт теперь в сплошном детективе». Кажется, он шёл «из гостей» и был слегка «навеселе». Мы поняли, что Анатолий Александрович имеет в виду свои отношения с ГБ.

\* \* \*

Из-за выступления в защиту Гинзбурга и Галанскова был, кстати, изгнан с мехмата и, конечно, уже не избран в членкоры Евгений Борисович Дынкин (он заведовал там кафедрой теории вероятностей и математической статистики), который фактически создал Вечернюю математическую школу при мехмате и очень активно в 1964-1967 гг. сотрудничал с нашей школой. Он был руководителем потока, в котором, в частности, учился Володя Гордин. Три класса потока, который набрал и которым руководил Евгений Борисович, окончили школу в 1966 г.,

примерно полтора класса — с медалями, что привело, как я знаю, к неприятностям для Владимира Федоровича. С тех пор такого количества «медалистов» школа не выпускала.

\* \* \*

Яркость сохранившегося в моей памяти зрительного образа определяет связь ассоциаций и воспоминаний. Анатолий Александрович, конечно, был очень колоритным человеком, поэтому я хорошо помню его облик, жесты и мимику, иногда ассоциированные с какими-то его особенно характерными движениями слова. Помню, как он, в то время очень увлечённый Солженицыным, говорил мне, что «это ведь — новый Толстой!», и, слегка приподнимал при этом брови, делал движение подбородком вверх и всей головой вперёд, заглядывая мне в глаза. Казалось, что он как бы подталкивает свою мысль через мои глаза поглубже в мой мозг, чтобы она там получше укоренилась, и, одновременно, заглядывая в глаза, проверяет: «дошло или не дошло?» Очевидно, что истинную причину своего тогдашнего восхищения Солженицыным (конечно же, связанного с самим фактом начала публичного литературного разоблачения сталинского Гулага) он не мог до конца высказать вслух, вот и «компенсировал» недосказанное своей мимикой. Я, честно говоря, ни тогда, ни тем более теперь, с такой оценкой не соглашался, при всём уважении к роли, которую сыграл Александр Исаевич в 60-е — 70-е годы, но аргументов для возражения в 1966-1967 гг. не имел. Теперь было бы проще. Насколько я понимаю, Анатолий Александрович позже уже и сам несколько переоценил Александра Исаевича. За прошедшие годы я часто ловил себя на том, что, встречаясь с информацией о Солженицыне или читая его статьи и книги, задавал себе мысленно вопрос, который отличался от фразы Анатолия Александровича только интонацией: «Это — новый Толстой?», — и перед моими глазами возникал Анатолий Александрович, когда-то утверждавший это. Получалось, что этот мой вопрос всегда был обращён к нему.

Склонность Анатолия Александровича к излишне категоричным суждениям и оценкам, конечно, была одним из органических проявлений его характера и темперамента. Кажется, он на всё реагировал с 200% избытком энергии. Положительным эффектом этого было то, что он ярко и убеждённо высказывал свою точку зрения, побуждая собеседников или оппонентов конструктивно возражать, искать аргументы, «проверять на прочность» собственную позицию. За это, безусловно, мы, все те, кому посчастливилось с ним разговаривать или даже спорить, должны быть ему очень благодарны. Открытая и искренняя позиция, с которой он выступал в любом споре, всегда импонировала и не оставляла сомнений в том, что он отстаивает то, во что действительно верит, а не спорит ради «самоутверждения». Во всяком случае,



его публичные диспуты с Германом Наумовичем психологически всегда привлекали симпатии большей части аудитории на сторону Якобсона. Услышав какой-нибудь неожиданный и сильный аргумент противника, он мог совершенно не скрывать свою растерянность и искать его подтверждения или опровержения. Даже если эти диспуты были «игрой», то Якобсон увлекался ей настолько, что быстро переставал играть, а выражал свою позицию со всей силой своих убеждений, аргументов и темперамента. При этом видно было, что ему важно только найти истину, а не разгромить оппонента. Главное, что Анатолий Александрович всегда выслушивал с интересом и уважением слова собеседника, и любой разговор или спор с ним получался очень конструктивным.

Собственно, попыткой возразить на одно категоричное высказывание Анатолия Александровича на одном из его первых уроков литературы было и моё, кажется первое, написанное для него сочинение. Говоря о литературе, Якобсон мимоходом бросил, что «фантастика — это вообще не литература». Я, естественно, очередное своё сочинение по литературе на свободную тему целиком построил на фантастическом романе «451 по Фаренгейту» Рея Брэдбери. Собственно, я не думаю, что написал что-то действительно интересное, просто это было способом напомнить Анатолию Александровичу о существовании такого писателя и его романа. Помню, что, когда Анатолий Александрович раздавал нам проверенные тетрадки с сочинениями, он сказал, что моё сочинение ему понравилось, но «Брэдбери — это не фантастика, а настоящая литература!» Ну, я возразил, что это уже дело определений. Если «по определению» считать фантастами только Казанцева, Немцова и Адамова (того, который написал «Тайну двух океанов» и т. п.), а не Лема, Брэдбери или, хотя бы, Стругацких (находившихся тогда ещё в начале своего творчества), то можно утверждать всё, что угодно. В общем, каждый, как будто, остался при своём мнении, но после этого, насколько я помню, Якобсон, по крайней мере при мне, таких категорически отрицательных суждений о «фантастике вообще» не высказывал. Собственно, мне и теперь кажется очевидным, что литературная форма и жанр, выбранные писателем, и его талант — вещи совершенно разные.

\* \* \*

Магнитофонные записи лекций Анатолия Александровича о русской поэзии в основном делал на своём магнитофоне мой одноклассник Борис Голембо, потом у него появились последователи. Он же помогал Якобсону в расшифровке сделанных записей. Впоследствии, в начале 80-х, незадолго до его эмиграции в Австралию, Борис мне сказал, что плёнок у него нет. Мне было трудно смириться с этой утратой.<sup>3</sup> Я надеюсь, что обо всём, что связано с этими записями и работой



над их расшифровкой, сам Борис расскажет на этой страничке. Ведь для того, чтобы догадаться, что эти лекции не просто ещё один урок, а событие, далеко выходящее за рамки школьной повседневности, надо было проявить огромную проницательность! Некоторые копии и записи других лекций всё-таки сохранились, как теперь известно, у других людей. К сожалению, далеко не все!

\* \* \*

К истории с А. Локшиным, помещённой в материалы Мемориальной странички А. Якобсона, хотелось бы добавить несколько мелких штрихов.

После появления Анатолия Александровича в нашем классе Саша (Шурик) Локшин как-то весело срифмовал: «Мне приснился страшный сон: мне приснился Якобсон!» Чрезмерно экспрессивная манера поведения, небрежность в одежде и постоянно всклокоченные вьющиеся волосы Анатолия Александровича всем в первую очередь бросались в глаза при первых встречах с ним (потом мы просто переставали обращать на это внимание), и, очевидно, вдохновили Шурика на это сочинение. Это было ещё до его болезни и тех событий, которые описаны во фрагментах его книги «Гений зла» и книги Майи Александровны «История одной семьи». Он тогда ещё не мог знать о роли, которую, по его словам, сыграло в его жизни это знакомство. Должен заметить, что мы, ничего об этой истории не зная, видели, что Анатолий Александрович уделяет Шурику особенное внимание, очень с ним дружелюбен и как-то особенно деликатен. Да и Шурик относился к нему с уважением и, возможно, даже любовью. Во всяком случае чувствовалось, что этих людей связывают какие-то особые отношения, которые вряд ли объяснялись только абсолютной грамотностью (очень ценный для школьника дар!) и литературной эрудицией Локшина. Но мы, повторяю, не знали тогда об истинных причинах этих отношений.

После того, как в октябре 1994 г. за чаем в библиотеке Иерусалимского университета я услышал версию Майи Александровны, мне стало жаль Шурика, который, очевидно, всю жизнь страдал от перенесённой психологической травмы, вне зависимости от того, произошёл или нет в жизни его отца тот эпизод, о котором идёт речь. К этому времени (точнее, с декабря 1993 г.) мои отношения с Шуриком прекратились по совершенно другим причинам. Относительно недавно, в 2002 г., когда я виделся с нашим однокласником Никитой Богомоловым, я спросил его о Шурике (они с Никитой дружили в конце школы и после её окончания): оказалось, что с Никитой Шурик тоже давно прекратил общаться. То же самое мне сказал и ещё один наш одноклассник, Андрей Гоголин, с которым Шурик тоже часто виделся и общался в студенческие и аспирантские годы. Я, получается, поддерживал с ним контакт

с осени 1965 г. до декабря 1993 г., ничего не зная о его переживаниях! Тем не менее, очевидно, что эта травма сильно повлияла на характер Шурика, его поведение и отношения с окружающим миром.

\* \* \*

Вот уже почти сорок лет прошло со времени нашей встречи с Анатолием Александровичем Якобсоном, но мы всё ещё получаем уроки Литературы и Истории, а он остаётся нашим учителем.

Москва  
2004

- <sup>1</sup> Владимир Ефимович Рок (р. 1951) окончил Вторую школу (выпускной класс 10 «В») и МГПИ им. Ленина с отличием, в настоящее время — доктор физ.-мат. наук, заведующий лабораторией в одном из московских Государственных научных центров и по совместительству профессор в университете «Дубна».
- <sup>2</sup> Из книги: Николай Климонтович. «ДАЛЕЕ — ВЕЗДЕ», Записки нестроного юноши. ВАГРИУС, Москва, 2002 (прим. А. Зарецкого).
- <sup>3</sup> Из письма Бориса Голембо Александру Зарецкому, 4-го октября 2004 г. *«...Относительно магнитофонных записей. Я никогда не стирал эти записи. Как я писал тебе ранее, Якобсон просил меня передать все плёнки ему, поскольку он собирался использовать их в своей работе над книгой. Он приходил ко мне домой много раз, и мы перевели несколько аудиозаписей на бумагу (поскольку в то время у него не было своего магнитофона). Я передал все ленты ему, и помогал ему позже у него дома»* (прим. А. Зарецкого).

*Александр Даниэль<sup>1</sup>*

## **Из истории правозащитного движения. А. А. Якобсон**

*Кто устоял в сей жизни трудной,  
Тому трубы не страшен судный  
Звук безнадежный и нагой.  
Вся наша жизнь — самосожженье,  
Но сладко медленное тленье  
И страшен жертвенный огонь.*

Это стихи поэта Давида Самойлова, посвященные Анатолию Якобсону<sup>2</sup>. 20 с лишним лет назад Анатолий Александрович Якобсон покончил с собой в Иерусалиме. Повесился в подвале своего дома. Так завершились пять лет его жизни в Израиле. Так в 43 года завершилась его жизнь. Пять лет чудовищной, переходящей в душевную болезнь тоски по Родине. Родине, которая вытолкнула его в эмиграцию. Из Израиля он писал друзьям в Москве:

«Ностальгия — дело естественное, и болезнь многих, но каждый организм болен по-своему. Уезжая, я чувствовал, что совершаю почти самоубийство. Оказалось, что без всяких «почти».

Но я хотел говорить не о смерти Якобсона, а о нем самом. Творческое, моцартианское, пушкинское начало в этом человеке выступало так сильно и так явно, что никакая смерть не могла быть ему впору, разве что — смерть в бою или на пиру. Он был давним и близким другом нашей семьи. Внешне дело обстоит так, как если бы это и сыграло решающую роль в его судьбе. Когда посадили Андрея Синявского и моего отца, Якобсон яростно кинулся в драку и даже пытался добиться того, чтобы его допустили на суд в качестве общественного защитника. Его, конечно, никуда не допустили, но текст его несостоявшегося выступления стал одним из самых заметных документов кампании протеста 66 года. Так Анатолий Якобсон стал правозащитником. Но я предполагаю, что даже если бы он не был другом моего отца, ему было бы не миновать ввязаться в эту историю. Ни бойцовский темперамент, ни рыцарское чувство чести не дали бы ему остаться в стороне. Да еще дело касалось русской литературы, главной страсти его жизни.

Это был первый шаг. Вскоре последовали другие. В 68 году, через несколько дней после знаменитой «демонстрации семерых» на Красной площади, Анатолий Якобсон в коротком и выразительном обра-

щении формулирует смысл всего тогдашнего движения в защиту прав человека.

«Демонстрация 25 августа — явление не политической борьбы, а борьбы нравственной. Сколько-нибудь отдаленных последствий такого движения учесть невозможно... Исходите из того, что правда нужна ради правды, а не для чего-либо еще, что достоинство человека не позволяет ему мириться со злом, даже если он бессилён это зло предотвратить. С 66 года ни один акт произвола и насилия властей не прошел без публичного протеста, без отповеди. Это драгоценная традиция. Начало самоосвобождения людей от унижительного страха, от причастности ко злу.»

Яacobсон безоглядно и самозабвенно помогал создавать эту традицию. И его участие в Инициативной группе защиты прав человека, и работа в бюллетене «Хроника текущих событий» не противоречили, а органически продолжали его литературную работу. Переводы из Верлена, Лорки, Эрнандеса, ряд блистательных эссе о русской поэзии 20-го века завершили главным трудом его жизни — книгой «Конец трагедии» об Александре Блоке. После того, как эта книга была издана — за рубежом, разумеется, — Яacobсон, едва ли не первым из советских литераторов, был принят в члены европейского Пен-клуба. А еще он был гениальным педагогом. Я могу уверенно это утверждать, потому что мне посчастливилось учиться в школе, где он преподавал историю и литературу. И я точно знаю, что любой из яacobсоновских учеников согласится со мной. Вся наша жизнь — самосожжение. Воистину так.

- <sup>1</sup> Из передачи Радио Свобода Андрея Бабицкого и Ильи Дадашидзе «Человек имеет право» от 21 апреля 1999 г.
- <sup>2</sup> Комментарий к стихам «Жертвенный огонь» из «Новой библиотеки поэта»: «...Посвящение: Каминская Дина Исааковна (1920–2006) — адвокат многих правозащитников на процессах 1960–1970 гг. Близкий друг Самойлова, ... По воспоминаниям современников, общавшихся с А. Яacobсоном до его эмиграции в 1973 г., он был уверен, что стихотворение посвящено ему. Возможно, по этой причине в ряде публикаций, связанных с правозащитным движением, стихотворение ошибочно цитируется с посвящением Яacobсону» (прим. Г. Ефремова).

*Николай Байтов<sup>1</sup>*

**А. А. Якобсон**

***Мои детские впечатления***

...что я могу сейчас фиксировать? Я же был мальчишкой, очень глупым, — и мне сейчас очень хорошо видно — насколько и в чём я был глупым...

Мне кажется, — это минус всех воспоминаний, — что люди мнят себя если не вполне непрерывными личностями, то, во всяком случае, мнят себя законными наследниками своего детства. В отказе от непрерывности приходится преодолевать какой-то животный страх, и на это не все решаются...

А ведь наша непрерывность — это иллюзия. Нашу жизнь проживают не два, а три — иногда даже четыре — разных человека. Законность их наследования одному другому весьма сомнительна. И впечатления предыдущего вспоминает совсем другой! А когда мы сейчас вспоминаем Якобсона, то это оказываются воспоминания даже не второго, а третьего...

\* \* \*

Якобсон в нашем классе вёл историю один год. Это была история первой мировой войны и русской революции. Вёл он её потрясающе. Его рассказы врезались мне в память на всю жизнь — со многими подробностями. Например, трагедия в Восточной Пруссии, — задолго до Солженицына я уже знал, как это происходило...

Что же касается его общешкольных лекций о поэзии, я на них ходил прилежно, прослушал его курс о Блоке, о Цветаевой и ещё, по-моему, о Есенине, но воспоминание об этих курсах у меня почему-то осталось расплывчатое.

Живо помню только его диспут с Фейном по поводу эстетической диссертации Чернышевского. Фейн спорил с Якобсоном так формально, нехотя, по обязанности, что это было очень смешно. И, конечно, Фейн ясно обозначил всю правду того разгрома, который Якобсон учинил чернышевскому утилитаризму...

\* \* \*

Коснусь моего собственного восприятия А. А., а также одной детали, которая мне кажется очень существенной и интересной — и никем не отмеченной.

Вспоминая Якобсона, я вижу его как человека, обладавшего удивительной, может быть, уникальной, энергетикой. Это можно на-

звать аурой, можно назвать «невербальным информационным полем». То есть он создавал вокруг себя атмосферу, позволявшую ему многое передавать помимо слов. Причём на это «помимо» ложилась основная информационная (и эмоциональная) нагрузка. Записи его лекций, его статьи выглядят довольно бледно по сравнению с тем, что, по моим воспоминаниям, творилось на его лекциях о поэзии. Он мог почти ничего не объяснять — просто читать стихи, молчать над ними, хмыкать и т. п. — я не могу перечислить весь его арсенал, да он, наверное, и не разделялся на отдельные приёмы. Это был какой-то континуальный аппарат, напрямую связанный с его душой, с континуумом её состояний. И, конечно, его речь, связанная, как всякая речь, с дискретным набором понятий, играла в его лекциях скромную (может быть, только вспомогательную) роль — на неё ложилось, пожалуй, меньше 50% информационной нагрузки, а может быть и всего-то процентов 20... Лишь спустя много лет после лекций Якобсона мне пришла мысль о том, что поэзия, пожалуй, призвана передавать непрерывный, так сказать, «поток сознания». А комментировать её обычными вербальными средствами, как это принято у филологов, — значит аппроксимировать её дискретными приближениями, т. е. пропускать сквозь некую сетку ячеек. И чем тоньше организована поэзия, тем большая её доля ускользает при этом. Стало быть, комментировать её следует так, как это делал А. А.: в основном с помощью мычаний, щёлканья языком, выпячивания губ и пр. — попросту говоря, с помощью прямого эмоционального контакта с аудиторией, в котором вне слов непосредственно передаётся поэтическое переживание...

А вот пример из истории — области, по-видимому, более «дискретной», чем поэзия. Я приведу его, чтобы мои замечания о «сверхвербальных» способностях А. А. не выглядели голословными.

Случай поистине поразительный. Шёл урок истории в нашем классе. Якобсон рассказывал о перипетиях заключения Брестского мира. Конечно, эти перипетии сами по себе были захватывающими — в изложении А. А. Но к концу урока я совершенно определённо и отчётливо знал, что у Ленина были обязательства перед германским генеральным штабом. Хотя Якобсон, разумеется, нам этого не говорил! Этот итог урока был для меня каким-то потрясающим открытием. Я никогда раньше об этом не слышал и не думал. Якобсон сумел мне точно и убедительно передать совершенно новую и непривычную информацию (даже сенсационного характера — для меня!) — как он это сделал? Это остаётся загадкой, как было загадкой и тогда, в момент непосредственного ощущения... По-моему, после урока я обсуждал эту «новость» с несколькими друзьями из класса, — оказалось, что все они поняли Якобсона точно так же...

И ещё вот что хочу отметить. В воспоминаниях [помещённых на Мемориальной странице], кажется, дважды, а то и трижды встречается частушка:

На столе стоит графин,  
Рядом четвертиночка  
Мой милёнок — хунвейбин,  
А я — хунвейбиночка.

Интересно, вспоминают ли это ученики разных классов или одного? Я, например, определённо могу заявить, что слышал от него эту частушку на уроке в нашем классе. А это означает уже кое-что иное и примечательное. Это означает, что данная частушка являлась А. А. не спонтанно, по наитию, а представляла собой элемент или компонент некоего, как сейчас говорят, художественного проекта, последовательно и сознательно осуществляемого... Отсюда следует, по-моему, естественная гипотеза: уж не сам ли он её сочинил?

\* \* \*

Честное слово, я очень жалею, что не родился в поколении Якобсона и не мог с ним общаться «на равных»... Но это неверно: я не жалею, что я родился в своём времени, мне только жаль, что я не могу сейчас встретиться с Якобсоном и разговаривать с ним, так сказать, поверх времён. Вот это была бы очень интересная (и важная для меня!) беседа. Разговаривал бы с ним не тот мальчик, которым я был, а тот — уже третий — человек, который во мне пророс...

И почему-то меня (после чтения всех этих воспоминаний) преследует образ стакана с чаем. Кажется, об этом стакане так никто ни разу и не упомянул. А ведь этот стакан выставлялся на стол в актовом зале ещё задолго до того, как там появлялся Якобсон. (Я имею в виду лекции о поэтах). Зал был полон. Все сидели и ждали, когда Якобсон выйдет на сцену. А там на столе долго торчал одинокий стакан с чаем — очень крепким, тёмным. И мне казалось, что этот чай должен был уже совсем остыть, когда Якобсон, наконец, выходил и садился за стол. Если не считать этого стакана, стол был пуст. Возможно, там ещё стояла пепельница. Якобсон выходил и доставал папиросы (или сигареты, я не помню... нет, это были сигареты, наверное, без фильтра, короткие..., наверное, «Шипка») ...

И когда он начинал говорить, этот стакан чая — в его руках, губах — играл очень важную, чуть ли не основную роль в том, что я называю «сверхсловесным контактом». Манипуляции с этим стаканом (и с сигаретами при их закурировании) задавали внутренний темп — подоплёку его речи, и вместе с тем придавали речи дополнительное измерение (вектор, перпендикулярный «вербальному» пространству). Сейчас

я понимаю, что это было то, что сейчас называется «перформансом». Но тогда никто такого слова не знал. И Якобсон тоже не знал — ни слова, ни техники. Он делал это интуитивно — и очень вдохновенно, выразительно... Во всяком случае, это мне врезалось в память на всю жизнь.

*Москва  
Ноябрь 2005 г.*

- <sup>1</sup> Николай Владимирович Байтов (р. 1951) — российский поэт, прозаик, бук-артист. Окончил Вторую школу (выпускной класс 10 «Ж», 1968) и Московский институт электронного машиностроения. Во второй половине 80-х редактор-издатель (вместе с Александром Барашом) одного из ведущих московских самиздатских проектов — альманаха «Эпсилон-салон». С 1993 г. вместе со Светой Литвак выступает организатором многочисленных литературных акций (ежегодный «Праздник рифмы», «Литературный карнавал», ряд выставок бук-арта и авторской книги) и перформансов (под эгидой учреждённого Байтовым и Литвак «Клуба литературного перформанса»). В 1997–2005 гг. куратор литературного салона «Премьера» с еженедельными выступлениями поэтов и прозаиков. Лауреат Сетевого литературного конкурса «Тенёта» (1998, I место в номинации «Рассказы»). Автор двух книг стихов и двух книг прозы, многочисленных публикаций в журналах и альманахах. Шорт-лист Премии Андрея Белого (1999). *Источники: <http://www.vavilon.ru/texts/baitov0.html> и Википедия (прим. А Зарецко-го).*



**Александр Зарецкий<sup>1</sup>**

## **Открылась бездна...**

Сорок лет тому назад мне выпала удача познакомиться с человеком, который открыл для меня сокровища русской и мировой словесности, а своей высокой нравственной позицией и мужественной общественной деятельностью обозначил достойную линию поведения в государстве, попирающем права человека.

Мне несказанно повезло, когда я поступил в 8-й класс московской Второй математической школы, где преподавал Анатолий Александрович Якобсон. Повезло вдвойне, что это случилось в первой половине перенасыщенного событиями 1966 года. В это время Якобсон преподавал в нашем классе русский язык, историю и литературу.

Мы познакомились на уроке русского языка. На дом получено огромное домашнее задание по учебному пособию Д.Э. Розенталя. На следующем уроке — диктант из «Войны и мира», за который я получил весьма плачевную оценку. У соседа по парте, сына польского атташе, оценка была вообще со знаком минус. На следующий день — захватывающе интересный урок истории; речь учителя была насыщена афоризмами. После перерыва — изумительная лекция по математике о пределах, которую читал профессор МГПИ Виктор Иосифович Левин.<sup>2</sup> Именно по его рекомендации меня приняли в школу. В конце занятия Виктор Иосифович рассказал о числе Непера  $e=2,718281828\dots$ , дав остроумное (и знаменательное!) мнемоническое правило, как запомнить первые девять знаков после запятой: «2,7 и далее два раза год рождения Льва Николаевича Толстого». Перемена, звонок на урок литературы. «Ну, подумаешь литература», — говорю про себя, открывая дверь в класс, — «Опять кого-то будем проходить». Оказалось: на уроках литературы можно узнать о существовании пространств, для которых *никаких пределов не существует*. Это были литературные чтения лучших произведений мировой литературы и их обсуждения.

С тех пор в моей памяти навсегда запечатлелось, *ка к* тексты прочитывались Якобсоном вслух, неслыханный уровень объяснений и комментариев, демократичная реакция на наши выступления, сама личность Учителя...

Вначале были «Учитель словесности» и «Устрицы» Чехова, рассказ Тургенева из «Записок охотника», затем «Гамбринус» Куприна и «Захар Воробьёв» Бунина. Поэзию Блока представляли «Двенадцать», «Соловьиный сад», «Незнакомка», верлибр «Она пришла с мороза...», «На железной дороге», «Девушка пела в церковном хоре...» и «Чёрный человек». На уроках Якобсона я впервые узнал о стихах и романсеро

Федерико Гарсия Лорки. Спустя какое-то время, уроки литературы «переехали» в другое помещение, рядом с лестничной площадкой. Здесь мы слушали новеллы Мопассана, а затем чудо из чудес — Исаака Бабеля: «Король», «Первая любовь», «Ди Грассо», «История одной лошади», «Соль», «Карл-Янкель» и «Нефть»; жемчужину Эрнеста Хемингуэя — «Кошку под дождём» и гениальную повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Затем последовали «Случай на станции Кречетовка» Солженицына, «Судьба Человека» Шолохова, «Возвращение» и «Мусорный ветер» Андрея Платонова, «Молчание доктора Мурке» Генриха Бёлля, и «Созвездие козлотура» Фазиля Искандера.

Читатель, Вы, наверно, уже обратили внимание на некую странность в приведённом выше перечне. Почему Якобсон включил Шолохова? Спустя годы, сопоставляя уроки литературы Якобсона, его жизнь и творчество с историческими событиями, происходившими в СССР в период с сентября 1965 по май 1966 г., отчасти становится понятна система «литературных чтений» Анатолия Александровича: почему он включал в программу те или иные произведения и в каком порядке. Хотя, быть может, это только моя догадка.

Итак, историческая канва:

- Сентябрь 1965 года — арест Андрея Синявского и Юлия Даниэля, последний — близкий друг Якобсона;
- Ноябрь 1965 г. — болезнь Анны Ахматовой (инфаркт), она на три месяца попадает в Боткинскую больницу;
- 5 декабря 1965 г. — проведена демонстрация в Москве у памятника Пушкину в защиту арестованных под лозунгами «Уважайте конституцию», «Требуем гласного суда над Синявским и Даниэлем», в которой участвовал Якобсон. Эта дата становится точкой отсчёта правозащитного движения в СССР;
- 20 ноября — 10 декабря 1965 г. — обращения деятелей культуры Европы, Америки и Азии, включая Нобелевского лауреата Франсуа Мориака, к Нобелевскому лауреату Шолохову с просьбой о заступничестве;
- 10 декабря Нобелевскую премию по литературе вручают Шолохову;
- 31 января 1966 г. «Таймс» публикует открытое письмо 49 западных писателей, в том числе Генриха Бёлля, в защиту Синявского и Даниэля;
- 9 Февраля 1966 г. — открытое письмо Якобсона в Мосгорсуд в защиту Юлия Даниэля и Андрея Синявского;
- 10-14 февраля 1966 г. — неправый суд над литераторами и суровые лагерные сроки. Впервые с 20-х годов подсудимые отказались признать себя виновными по предъявленным обвинениям;

- 5 марта 1966 г. — смерть Анны Андреевны Ахматовой в подмосковном санатории;
- 1 апреля 1966 г. — позорная речь Шолохова<sup>3</sup> на XXIII съезде КПСС;
- 16 мая 1966 г. в Китае началась «культурная революция»;
- 25 мая 1966 г. — письмо Лидии Корнеевны Чуковской о выступлении Шолохова, где, в частности, говорится о том, какая судьба уготована нашему Нобелевскому лауреату.<sup>4</sup>

Произведения Бабеля, Платонова, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, Бунина и Есенина были в начале 60-х опубликованы или переизданы после долгих десятилетий заточения в спецхранах. Нынешнее поколение 15-летних, наверное, не сможет оценить в полной мере всю прелесть открытия этих «запретных» авторов. Сейчас все эти книги свободно продаются в книжных магазинах, лежат на полках библиотек, «выложены» в Интернете. В литературных чтениях Якобсона присутствовали шедевры, в основном прозаические, как правило, никогда не попадавшие в стандартные школьные программы. Поэзии — главному пристрастию Анатолия Александровича — были посвящены впоследствии циклы факультативных лекций. Из современной литературы были прочитаны тогда только произведения Солженицына, Бёля и Искандера.

Можно только догадываться, о чём хотел поведать своим, в основном не искушённым в литературе юным слушателям Якобсон, читая приведённые выше произведения. Как минимум, задача была «заставить» подростков, сосредоточенных на математике и физике, в своём большинстве далёких от словесности, полюбить литературу.

Сейчас, спустя 40 лет после тех знаменитых уроков Анатолия Александровича уже трудно вспомнить детали его глубоких оригинальных комментариев и критических замечаний, однако помнится, что, читая то или иное произведение, он выделял интонационно те или иные фразы или строфы.

Рассказ А. П. Чехова «Устрицы» ошеломил меня. Это была «артподготовка» Якобсона. Эй, пробудитесь! Идёт в наступление настоящая литература. Вас ожидает прозрение. Смотрите, как мастерски описано острое чувство голода, помутившее рассудок мальчика «восьми лет и трёх месяцев», чьи «пять чувств напряжены и хватают через норму», и он «начинает видеть то, чего не видел ранее». Многие испытывают чувство «голода» от отсутствия *настоящей литературы*, а их кормят «устрицами» — «лягушками в раковинах» (в памяти сразу всплывает шолоховское варево с «вустрицами»).

В замечательном «Гамбринусе» А. Куприна прозвучала идея о том, что «в стране, отягощенной вечным рабством... Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит». До подтекста тут

не надо было доходить своим умом — Куприн всё объяснил напрямую. Поэтому «Гамбринус» был прочитан в числе первых: то была первая стадия приобщения. Главный герой рассказа скрипач Сашка — художественный образ человека творчества («В сём христианнейшем из миров // Поэты — жида». М. Цветаева) — был искалечен не погромщиками, а государством, точнее охранкой. Причём «сдал» Сашку выкрест, в переводе — «творческий человек» на службе у охраны. На фоне феерического описания пляски свободных английских моряков тема противостояния творческой интеллигенции и охраны воспринималась особенно рельефно.

До сих пор помню, как Якобсон читал в классе «Захара Воробьёва» И. Бунина: «На днях умер Захар Воробьёв из Синовых дворов. Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь, — ему было 40 лет, — не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества: в старину, называют, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть ещё один вроде меня, говорил он порою, — да тот далеко ...»

Но тогда на уроке, мысленно представляя себе исполинскую личность Захара, погибшего в тоске одиночества и непонятости, я слушал, да не услышал, ключевой момент рассказа: как Захар Воробьёв присутствовал на несправедливом суде и хотел об этом рассказать другим, да тем не интересно было.

В середине февраля 1966 г., на перемене в коридоре после урока литературы Якобсону, окружённому учениками, кажется, Борис Голембо, задает вопрос: «Что Вы думаете о процессе Синявского и Даниэля?». «Их судят несправедливо, они не виновны», — последовал ответ. Именно в это время Якобсон направил открытое письмо в защиту Юлия Даниэля — Якобсон «заговорил вслух».<sup>5</sup>

На уроках, посвящённых Александру Блоку, после чтения чудесного верлибра «Она пришла с мороза...» Якобсон рассказал о мелодических особенностях стихотворений поэта. Так в строках «Незнакомки» «... дыша духами и туманами...» слышится протяжный ударный звук «а». А в последующей строке «...и веют древними поверьями...» — ударный звук «е».

В стихотворении «На железной дороге» в строфах

Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели,  
Молчали жёлтые и синие,  
В зелёных плакали и пели...

только два существительных, остальное глаголы и прилагательные. Этот приём позволяет, читая или слушая стихотворение, представить случившееся наяву, визуально, почувствовать цвет и звук.

Якобсон объяснил нам, что в жёлтых и синих вагонах ездили пассажиры, а в зелёных вагонах в царское время транспортировали заключённых на каторгу и в ссылку. Возможно, читая нам это стихотворение, Якобсон думал о Юлии Даниэле, который тогда этапировался или готовился к этапированию в вагонзак в Дубравлаг.<sup>6</sup>

Исаак Бабель... Имя этого писателя я никогда до того не слышал. Якобсон начал читать рассказ «Король» и уже после первого абзаца у всех «отвалились челюсти». Мне хорошо запомнилось, как Якобсон особенно выразительно читал то место, где «...налётчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека». И ещё: «Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что её соседи покачнулись. — Маня, вы не на работе, заметил ей Бенья, — холоднокровней, Маня...». Здесь Якобсон не мог сдержать улыбку, он весь светился, выговаривая «холоднокровней», почему-то «окая» и озорно оглядывая класс.

В рассказе «Ди Грассо», опубликованном в 1937 г., на основе юношеских впечатлений 15-летнего Бабеля о потрясающей необыкновенной игре итальянского актёра, который в порыве ревности «перегрыз горло» сопернику, Якобсон любовался фразой «...привёл с собой жену, ... женщину, ... длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес. — Босьяк, выходя из театра сказала она... — теперь ты видишь, что такое любовь.»

Когда Якобсон читал нам «Историю одной лошади» из «Конармии», его просто распирало от удовольствия: «Начальник штаба наложил на прошение резолюцию: «Возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние...» А мне показалось, что в рассказе промелькнули мотивы гоголевской «Шинели», и запомнилась завершающая фраза: «Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Говоря о творчестве Бабеля, Якобсон высказался об А. М. Горьком. Пока Алексей Максимович был жив, он защищал Бабеля и многих других литераторов от нападок и расправы. В этом была главная заслуга Горького, которая должна быть оценена историей, а не собственно его творчество. После смерти Горького, Бабеля уже некому было защищать...

Чтобы продемонстрировать, как о многом можно сказать, не говоря напрямую, в коротком рассказе, буквально в нескольких предложениях, один из уроков был посвящён «Кошке под дождём» Эрнеста Хемингуэя. Конечно, в полной мере всю прелесть этого рассказа можно

понять только имея достаточный жизненный опыт: что есть подтекст, любовь, и как проза смыкается с поэзией. Ведь в сущности, в этом рассказе выражено отчасти то же, что и в «Ди Грассо», и в «Анне Карениной», но совсем по-другому.

Волшебному поэтическому творчеству Федерико Гарсия Лорки был посвящён один из уроков. Якобсон прочитал несколько романсеро и стихи. Мне запомнился «Сомнамбулический романс» и романсеро «Неверная жена» в раннем переводе Анатолия Гелескула: «...испуганно бёдра бились, как пойманные форели». В конце 80-х годов я купил книгу Ф. Лорки и увидел другой вариант перевода. В телефонном разговоре со мной Анатолий Михайлович Гелескул, в частности, сообщил, что им было сделано пять вариантов перевода этого романсеро... Думается, Лорка появился у нас на уроке, поскольку Якобсон приступал к собственным переводам выдающегося испанского поэта. Почему он выбрал Лорку, Эрнандеса и Верлена? Какова была «по гамбургскому счёту» оценка этих поэтов самим Якобсоном? Стоит внимательно прочесть проникновенное эссе Анатолия Гелескула о своём друге — «Русская поэзия была его пристанищем на земле» (быть может, вообще лучшее из всего, что написано о Якобсоне!), чтобы подступиться к пониманию поэта-переводчика по имени Анатолий Якобсон.

Пятого марта не стало Анны Андреевны Ахматовой. Видимо, под впечатлением этой утраты, не сразу, возможно, на девятый день после её ухода, на уроке была прочитана повесть Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». Не случись смерти Ахматовой, был бы прочитан «Хаджи Мурат», который, как я полагаю, был любимым толстовским произведением нашего учителя. Якобсон на том уроке был печален и тих и не поднимал головы от книги.

В повести явственно чувствуется, как смерть стоит у изголовья и наблюдает за предсмертной агонией своей очередной жертвы. Что есть смерть? Борьба человека со смертью и то, как он может выстоять в этой схватке, физические и нравственные страдания перед смертью, — всё это темы для глубоких размышлений. Тогда я запомнил, как гениально Толстой описывал силу боли, мучавшей Ивана Ильича: чтобы облегчить свои страдания он «стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги» всю ночь и «любил говорить с ним».

Военную тематику на уроках представляли «Случай на станции Кречетовка» (*Кочетовка* — в первоначальной редакции) Солженицына и «Возвращение» Андрея Платонова.

В рассказе Солженицына действие «метаастазов сталинщины» было показано, как бы на клеточном уровне только *они* продолжают функционировать, как ни в чём не бывало, среди трагедии войны, хаоса и неразберихи, убивая здоровые клетки («Раковый корпус» был ещё впереди).<sup>7</sup> Описан переходный процесс потери людьми свободы

и жизни: отставший от поезда артист Тверитинов, хлебнувший лиха в 1937 г., добровольцем ушедший в ополчение (одна трёхлинейка на десять человек) и чудом выбравшийся из вяземского «котла», запомывал (тут было в пору и с ума сойти!), что за город такой — Сталинград. И этот пустяк порушил ему судьбу.

А винтик этой адской машины — лейтенант Зотов — по ночам в своей каморке истово конспектирует «Капитал» Маркса, на Богом забытой, заметаемой дряпнёй железнодорожной станции. Дело было в конце октября 1941 г., слухи о панике и грабежах в Москве уже распространились по стране, немцы прорвали фронт и вышли к пригородам столицы. Никто ещё не знал, чем всё кончится, как далеко будет Красная Армия отступать. Авторитет «лучшего друга физкультурников» был, мягко говоря, «не того», вот Зотов и пытался найти ответ на главный вопрос в марксистской «библии». Правду сказать, Зотов был не «совсем пропащий», совесть его мучила о содеянном.

Запомнилось мне употребление Солженицыным исконных русских слов, например, слова «дряпня» (мокрый снег), которое при чтении было выделено Якобсоном.

К месту здесь вспомнить о высказываниях самого Анатолия Александровича на одном из уроков о предложенной реформе русского языка («заяц — заец, здание — зданье»),<sup>8</sup> упоминания им академика В. В. Виноградова в этой связи и о том, что Ф. М. Достоевский гордился тем, что придумал и ввёл в русский язык одно единственное новое слово — «стусеваться».

«Судьбу человека» Шолохова Якобсон в классе не читал. На предыдущем занятии было дано домашнее задание — прочесть текст к следующему уроку. Якобсон просил высказаться желающих. Таня Грязнова сказала, что рассказ плохой, ей не понравился. Никто больше не хотел выступать, повисло молчание. К уроку я был не готов, первоисточник так и не прочёл, но, как большинство, видел фильм-экранизацию С. Бондарчука, (Ленинская премия 1960 г.). И вот то, как Бондарчук сыграл роль Соколова, мне понравилось. Я встал и сказал, что рассказ не так уж и плох. Якобсон потемнел лицом, его взгляд стал жестким. Далее последовал его комментарий «Судьбы», в котором давалась негативная характеристика текста, включавшая что-то вроде «наличия компиляций», «имитации диалогов», «непрофессионализм». Под конец — несколько слов «о скупой мужской слезе», которой заканчивался рассказ,<sup>9</sup> а также краткая оценка всего творчества Шолохова: первые две части и некоторые главы из третьей части «Тихого Дона» (Нобелевская премия 1965 г.) — это литература, всё остальное, включая, разумеется, «Поднятую целину» (Ленинская премия 1960 г.) — ниже критики.

О том, что на одну изображённую Шолоховым «судьбу человека» пришлось сотни тысяч, если не миллионы, судеб солдат, попавших



и вырвавшихся из окружения или переживших немецкий плен, а затем оказавшихся в аду советских концлагерей или в кровавых мясорубках штрафбатов, Якобсон тогда ничего не сказал.

Вроде бы те же персонажи в рассказе Платонова «Возвращение» — вернувшийся с войны солдат и дети, но жизненная правда не искажена — и это высокая литература. Выразительно показано, как оживает очерстневшее на войне солдатское сердце и как возвращается детство к неизведавшим его детям.<sup>10</sup>

На одном из следующих уроков Якобсон познакомил нас с небольшим шедевром — сатирой Генриха Бёлля «Молчание доктора Мурке». Редактор западногерманского радио доктор Мурке, словно реликвии, коллекционирует вырезанные при монтаже кусочки аудиоплётки с молчанием, а в свободное от работы время записывает молчание на магнитофон. Оболванивание страны, начатое во время войны, возобновляется в послевоенное время. Люди так устали от публичного вранья, но по радио звучат голоса тех же «деятелей», верно служивших прежнему режиму и успешно адаптировавшихся к послевоенной жизни. Мы слышим предостережение одного из персонажей: «Бегите от радио: это просто нужник, нарядный, разукрашенный, напмаженный нужник! Радио всех нас загонит в гроб!». И только «лубочная картинка с изображением сердца Христова», тайком повешенная доктором Мурке в ультрасовременном здании из стекла и бетона, напоминает об истоках и правде жизни.

Не надо было обладать большой проницательностью, чтобы провести параллель с советской действительностью. Заканчивалась «оттепель» — и государство принимало традиционные звероподобные очертания. К тому времени мой тогдашний приятель Давид Осман дал мне прочесть ходившие в списках знаменитые стихи Осипа Мандельштама:

Мы живём под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны...<sup>11</sup>

Насколько мне известно, «Молчание доктора Мурке» было опубликовано, в то время только один раз, в конце 50-х годов в «Иностранке», однако Якобсон запомнил рассказ и включил его в свою программу для иллюстрации того, как писатель использует «сатирические приёмы повествования». Но именно за сатиру только что советским судом были осуждены двое литераторов.

На последнем уроке литературы в той школьной четверти мая 1966 г. Якобсон прочитал нам «Созвездие козлотура» Фазиля Искандера. Буквально три года назад я стоял в длинных очередях за хлебом и мукой в результате «кукурузации». И вот весёлая сатира о «козлотуризации всей страны». Самое интересное, что Якобсон читал повесть



Искандера, которая ещё не была опубликована! Она появится только в августовском номере «Нового мира». Якобсон спешил поделиться с нами новым талантливым **сатирическим** произведением. Афоризмы из повести мгновенно стали популярны: «Интересное начинание, между прочим», «Нэнавидит». Тогда, на уроке, когда Якобсон читал «Козлотура», все просто стонали от смеха. Но сквозь авторский смех была отчётливо слышна позиция Фазиля Искандера: «Я думаю, что настоящие люди — это те, что с годами не утрачивают детской веры в разумность мира, ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости» Год и семь месяцев прошло с тех пор, как «сняли» Н. С. Хрущёва. При поверхностном восприятии повести могло показаться, что подвергался критике «субъективизм и волюнтаризм» на примере сельскохозяйственной политики. На самом деле, в обобщённом виде высмеивались советские «кампании-реформы», лишённые здравого смысла, с их «шумихой, неразберихой, наказанием невиновных и награждением непричастных». «Созвездие Козлотура» дважды выдвигалась А. Т. Твардовским на Государственную премию, но безрезультатно. Следующая сатирическая повесть Ф. Искандера «Кролики и Удавы» появится почти через 20 лет: новых «Гоголей и Щедриных» опять перестали печатать. «Сатира — это оскорбленная любовь: к людям ли, к родине; может быть, к человечеству в целом» — скажет Фазиль Искандер впоследствии.

Я думаю, что повесть тогда разрешили опубликовать, потому что Искандер замахнулся всего лишь на свергнутого вождя, а не на строй и священную корову «социалистического реализма», как Синявский и Даниэль.

Один из моих знакомых Р., которому я с восторгом рассказывал об уроках литературы во Второй школе, попросил меня показать Якобсону свои стихи. К моему удивлению, Якобсон взял их. Через несколько дней перед уроком он подозвал меня к окну рекреационного зала и посмотрев в упор спросил: «Это точно не твои стихи? Тогда передай своему знакомому, что это жалкое подражание плакатному Маяковскому». Иногда «срочное хирургическое вмешательство» приносит несомненную пользу одарённому творческому человеку.

Экзамены по русскому языку и литературе за 8-й класс проводились Якобсоном одновременно. К литературной части экзамена нужно было приготовить разбор стихотворения или поэмы. Я прочитал «Рассвет» А. Блока:

Я встал и трижды поднял руки.  
Ко мне по воздуху неслись  
Зари торжественные звуки,  
Багрянцем одевая высь.

Казалось, женщина вставала,  
Молилась, отходя во храм,  
И розовой рукой бросала  
Зерно послушным голубям.

Они белели где-то выше,  
Белея, вытянулись в нить  
И скоро пасмурные крыши  
Крылами стали золотить.

Над позолотой их заёмной,  
Высоко стоя на окне,  
Я вдруг увидел шар огромный,  
Плывущий в красной тишине.

Выслушав чтение, Якобсон, оценивая стихотворение, произнёс: «Гениально». Затем я изложил своё мнение о стихотворении. Он нахмурился, скептически хмыкнул: «Нет, совсем не о том», — вскочил из-за стола, и, жестикулируя в присущей только ему манере, прошаживаясь между партами, начал сам комментировать.

Мой однокашник Н. подготовил к экзамену разбор поэмы «Песнь о Гайавате» Лонгфелло. Во время подготовки он воспользовался, кажется, помощью знакомого преподавателя литературы из другой школы. На экзамене Якобсон мгновенно это понял и страшно разгневался...

С сентября 1966-го года Якобсон преподавал для нашего класса только историю. Литературу у нас стал вести Александр Владимирович Музылёв,<sup>12</sup> вернувшийся с армейской службы.

Той осенью Якобсон начал чтение своих знаменитых субботних факультативных лекций о поэзии. К моему изумлению, школьный актовый зал был переполнен: Якобсон, как мессия, увлёк словесностью всю Вторую школу. Все слушали Анатолия Александровича, затаив дыхание. Я присутствовал только на двух поэтических лекциях: «Соловьиный сад» Блока и «О поэзии трагической и гармонической». На одной из них Якобсон прочитал лучшие на его взгляд восьмистишия Пушкина, Цветаевой, Блока и Ахматовой. Запомнилось мне стихотворение Анны Андреевны Ахматовой «Подражание армянскому», опубликованное (в том же 66-м) в журнале — никем, вероятно, не читаемом:<sup>3</sup>

Я приснюсь тебе черной овцою  
На нетвердых, сухих ногах.  
Подойду, заблею, завою:  
«Сладко ль ужинал, падишах?»

Ты вселенную держишь как бусу,  
Светлой волей аллаха храним...  
И пришелся ль сынок мой по вкусу  
И тебе, и деткам твоим?»

Это восьмистишие мгновенно врезалось мне в память на всю жизнь.

Уроки литературы в 8-м классе были прелюдией к этим лекциям, на которых Якобсон демонстрировал своего рода филигранный «математический анализ» поэтических произведений, о результатах которого он позднее популярно говорил: «Научиться понимать стихи Мандельштама трудно, нужно к ним пробиваться словно сквозь стену, но когда эту толстую корку пробьешь, открывается бездонная глубина. А вот Пушкин, Ахматова те, напротив, кажутся понятными и прозрачными до самого дна, но чем больше углубляешься, тем яснее видишь, что на самом деле дна — нету».<sup>14</sup>

Борис Голембо приносил в зал магнитофон и записывал эти уникальные лекции.

Я хорошо помню одухотворенное выражение его лица, когда он включал запись.

Позднее я присутствовал на лекции, посвящённой Чернышевскому, которая сопровождалась полемикой нашего завуча Германа Наумовича Фейна с Якобсоном. После окончания лекции, когда зал наполовину уже опустел, Якобсон, продолжая спорить с Фейном, «костерил» Чернышевского. В связи с чем-то «всплыл» Алексей Толстой со своим романом «Хлеб» (1937 г.), последний был охарактеризован Якобсоном, как полное...

Из уроков истории мне запомнился только один афоризм Якобсона — «Демократия вещь хорошая, но нельзя её пускать на самотёк». Помню также его крайне негативную оценку того, что происходило в то время в Китае во время «культурной революции» — обольванивания великой страны, совершаемого при участии хунвейбинов.

Вспоминается также урок о восстании в Ирландии и Ирландском революционном братстве — «фениях», о которых упоминается в «Оде школе № 2» Николая Климонтовича, отпечатанной на пишущей машинке и распространявшейся в нашем классе в 1967-м г.:

...Все эти Ваши фении,  
Товарищ Якобсон,  
И химико-гонения,  
Давно уж нам до фени,  
Как неприятный сон...

Как это ни странно, уроки истории, хотя и были замечательные, мне совершенно не запомнились.

В мае 1967-го года неожиданно вместо урока истории Якобсон провёл сразу для нескольких девярых классов лекцию, посвящённую анализу двух переводов 66-го сонета Шекспира. Тексты обоих переводов, а также оригинала (на английском языке) были заранее написаны им мелом на доске. Фамилии переводчиков были обозначены, как «А» и «Б». Объявив тему лекции, Якобсон уже начал вступительное слово, когда Александр Локшин, сидевший впереди, вслух назвал имена обоих переводчиков, Маршака и Пастернака. Якобсон, который рассчитывал на непредвзятые мнения большинства слушателей, разгневался и чуть было не выгнал его из класса за срыв урока.

На той лекции я впервые узнал о профессии литературного переводчика, о существовании подстрочника, с которым может работать литератор, даже не зная языка оригинала. Это обстоятельство тогда меня очень удивило.

В сонете, переведённом Пастернаком, говорилось:

...И знать, что ходу совершенствам нет,  
И видеть мощь у немощи в плену,  
И вспоминать, что мысли заткнут рот,  
И разум сносит глупости хулу...

Эта неожиданная лекция, содержание которой, как потом стало известно, годом ранее было опубликовано в книге «Мастерство перевода» «Два решения (ещё раз о 66-м сонете)», хронологически была приурочена к открытию IV Всесоюзного съезда союза советских писателей 22 мая 1967-го г. С открытым письмом к съезду и редакциям основных газет обратился А. И. Солженицын. Письмо распространялось в самиздате с 16 мая 1967-го г. Я слушал его по радио «Свобода», сквозь треск глушилок: «...Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век!», «...их было более 600 — ни в чём не виновных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе».

Когда урок закончился и почти все вышли из класса, я задержался, чтобы задать какой-то вопрос Якобсону, а он прошёл в дальний от двери конец аудитории, где о чём-то говорил с Борисом Голембо. Я подошёл ближе и невольно услышал обрывок разговора и увидел, как Анатолий Александрович передал Борису текст письма Солженицына. Обернувшись и увидев меня, Якобсон сурово поглядел мне в глаза и сказал что-то вроде: «Это очень серьёзное дело, и я надеюсь, что ты об этом никому не расскажешь». Этот факт свидетельствовал о том, что с некоторыми из учеников у Якобсона были более доверительные отношения. Возможно, когда-нибудь Борис сам расскажет о былом. Это был последний разговор Якобсона со мной.

«Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется...» — много лет спустя присутствовавший на той же лекции Исаак Розовский публикует свой вольный перевод 66-го сонета.<sup>15</sup>

Кажется, в конце мая 1967-го г. у Аллы Минеевой (ныне Крупник) — нашей одноклассницы — была вечеринка по случаю окончания девятого класса. Ребята, куrivшие на балконе, увидели проходившего мимо Якобсона. Мы высунулись в окно и стали звать его зайти, он улыбнулся, сослался на занятость и пошёл к себе домой. Больше я никогда не встречался с ним. А зимой 1978-го г. кто-то из однокашников сообщил мне, что Анатолий Александрович ушёл из жизни в Иерусалиме, и его отпевали в одной из московских церквей.

Литературные чтения А. Якобсона послужили для меня мощным стимулом к познанию литературы, а имена авторов, прозвучавших на его уроках и лекциях, стали ключами от сокровищницы. И это было одним из моих самых неожиданных и сильных потрясений и главных открытий во Второй физико-математической школе.

Посещения юношеского зала Ленинской библиотеки и других библиотек, чтение толстых литературных журналов, поиски редких книг в букинистических магазинах, охота за новыми дефицитными книгами, — все эти «последствия» были результатом «первичного взрыва» — воздействия Якобсона.

Годы спустя я узнал об активной правозащитной деятельности Якобсона, его друзей и соратников. О том, что он был редактором знаменитой «Хроники текущих событий», а также автором монографии о Блоке «Конец Трагедии», за которую удостоился принятия в П. Е. Н. клуб. Одним из тех, кто дал рекомендацию Якобсону, был профессор политической философии Морис Крэнстон,<sup>16</sup> основополагающие работы которого легли в основу Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948-го г.

У Булата Окуджавы есть обжигающее душу стихотворение:

Совесть, Благородство и Достоинство  
Вот оно святое наше воинство.  
Протяни ему свою ладонь,  
За него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен  
Посвяти ему свой краткий век.  
Может, и не станешь победителем,  
Но зато умрешь, как человек.

В рядах этого «святого воинства» и состояли Анатолий Якобсон, Петро Григоренко, Илья Габай, Анатолий Марченко, Лариса Богораз, Ирина Якир, Алик Гинзбург, Татьяна Великанова, Леонард Терновский

и их соратники по правозащитному движению, которые не утрастились выступить в защиту прав человека, в защиту «униженных и оскорблённых» против мощного репрессивного государства.

«Совесьть, Благородство и Достоинство» проповедовал своим ученикам Анатолий Якобсон на своих уроках и лекциях.<sup>17</sup>

\* \* \*

В нынешнем 2006-м году исполняется 50 лет со дня основания Второй школы. И мы, бывшие ученики, благодарим её основателя и директора Владимира Фёдоровича Овчинникова<sup>18</sup> за талант и мужество, за то, что он создал уникальный педагогический коллектив лучших учителей России, среди которых блистал Анатолий Александрович Якобсон.

Благодаря открытиям учёных Крымской астрофизической обсерватории, именами почти всех литераторов, чьи произведения упоминаются в моих воспоминаниях, названы малые планеты. Возможно, когда-нибудь на небосклоне появится и планета, носящая имя Якобсона.

В череде лет и событий пропал единственный хранившийся у меня автограф Анатолия Александровича — его комментарий на моём сочинении о рассказе Чехова. Заканчивалась та минирецензия фразой «...что же касается подтекста, о котором ты пишешь, и который, как тебе кажется, ты постиг, что же касается подтекста, то ты к нему и не приблизился...».

Бостон, США

Июль 2006.

<sup>1</sup> Александр Наумович Зарецкий (р. 1950), учился в 8 и 9 «В» классах Второй школы (1966–1967), окончил Московский институт электронного машиностроения (1974), работал на машиностроительных предприятиях. С 2004 сотрудничал с Василием Емельяновым, помогая составлять Мемориальную Сетевую Страницу (МСС) Анатолия Якобсона при интернет-журнале «Иерусалимская Антология», ныне — редактор МСС <http://www.antho.net/library/yacobson/index.html>

<sup>2</sup> Виктор Иосифович Левин (1909–19??) — замечательный математик и педагог, профессор, заведующий кафедрой Математической физики МГПИ им. Ленина.

<sup>3</sup> М. А. Шолохов: «...Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием» (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (аплодисменты)» См. Цена метафоры или Преступление и Наказание Синявского и Даниэля. Москва, СП «ЮНОНА», 1990. С. 501

<sup>4</sup> Л. К. Чуковская: «Литература уголовному суду неподсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря. Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы, и в самом деле, поднялись на трибуну как представитель советской литературы. Но Вы дер-

- жали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей. А литература сама Вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, — к творческому бесплодию...» См. Цена метафоры или Преступление и Наказание Синявского и Даниэля. Москва, СП «ЮНОНА», 1990. С. 505
- <sup>5</sup> Анатолий Якобсон. В Московский Городской суд. Открытое письмо. А. Гинзбург. «Белая книга», Франкфурт-на-Майне. Посев, 1967 с. 148-152
- <sup>6</sup> Первое письмо Юлия Марковича Даниэля из «фольклорно-этнографической экспедиции» в Мордовию датировано 2 марта 66-го г. В зелёных вагонах, естественно, не только пели и плакали, а вели долгие беседы, возможно, читали стихи. Но, как пронизательно заметил А. Блок, стоящему на обочине слышны только высокие ноты пения и плача, поскольку низкочастотные стук колёс и дребезг вагонов заглушают обычную речь. Плач и пение — замечательный художественный образ искусства.
- <sup>7</sup> Примерно в это же время наша классная руководительница И. А. Чебоксарова пригласила на урок биологии доктора медицинских наук Льва Самойловича Ерухимова (1922–2003). Он прочёл нашему классу лекцию о борьбе с онкологическими заболеваниями, продемонстрировав в качестве иллюстраций фотографии удалённых внутренних органов, поражённых раком.
- <sup>8</sup> А. Якобсон. «Глазами Учителя», «Русский язык в школе». 1964 г. № 6
- <sup>9</sup> В дневнике А. А. Якобсона находим такую запись: «Котлован и фрагменты из «Великой Криницы» Бабеля («Кольвушка», «Гапа Гужва»). «Джан», «Судьба человека», «Чевенгур» — полуфабрикат, подступы к «Котловану».» Там же: «Платонов и Бабель равногениальны, но по осуществлению, по самореализации Платонов выше. Бабеля раньше и более молодого убили.» В 1967-м году в мартовском номере «Звезды Востока» была впервые опубликована чудом сохранившаяся гениальная новелла Бабеля «Кольвушка». Это был безгонорарный номер журнала, который московские и ленинградские литераторы подготовили в помощь пострадавшим от восьмибального землетрясения в Ташкенте, происшедшего 26 апреля 1966-го г. Страшное стихийное бедствие ослабило на мгновение цензуру — новеллу тогда напечатали. «Великая Криница» канула в недрах Лубянки и мы, наверное, никогда не узнаем какие шедевры создал Бабель. Творчество двух гениев — Платонова и Бабеля — интересовали Якобсона, и это понятно. Остаётся только гадать: в каком контексте была упомянута «Судьба человека» в этой краткой дневниковой записи? См. А. Якобсон. Почва и Судьба. Из дневников, Тетрадь 3 (14 августа — 5 сентября 1974)
- <sup>10</sup> Почти сорок лет спустя имена Шолохова и Платонова встретятся на страницах «Литературного котлована» Зеева Бар Селы (Владимира Назарова). См. Зеев Бар-Села. Литературный котлован: Проект «Писатель Шолохов». Москва, РГГУ, 2005 (II), с. 480.
- <sup>11</sup> Двадцать лет спустя в фильме «История Аси Клячиной» видим, как колхозники разговаривают между собой во время обеда на полевом стане, но не слышим — о чём. Их речь заглушает голос диктора из транзисторного радиоприёмника. Эпизод снимался летом того же 1966 года. Фильм был запрещён к показу на два десятилетия.
- <sup>12</sup> Когда в девятом классе мы изучали творчество Гоголя, Музылёв предложил в качестве одной из тем для сочинения «Приезд Чичикова в современную Москву». Как тут было не вспомнить строфу из песни В. Высоцкого, созданную в начале 1966-го г.:

И рассказать бы Гоголю  
Про нашу жизнь убогую, —  
Ей-богу, этот Гоголь бы  
Нам не поверил бы...

- <sup>13</sup> Впервые опубликовано в журнале «Радио и телевидение» 1966, № 13. Стихотворение Ахматовой (1937) отсылает нас к четверостишию Ованеса Туманяна, написанного под впечатлением геноцида 1915-го года:

Во сне одна овца  
Пришла ко мне с вопросом:  
«Бог храни твоё дитя,  
Был ли вкусен мой ягненок?»

В мае 1960 года Ахматова прочла «Подражание армянскому» Л. Чуковской. «Время было страшное, потому и стихи страшные», — сказала Анна Андреевна.

- <sup>14</sup> Виктор Каган. Воспоминания. Статьи и Рецензии. МАХАНАИМ. Иерусалим, 2007.
- <sup>15</sup> Исаак Розовский. «Пособие для беззаботных». Издательство Гешарим. Иерусалим, 2000. В интернете создан сайт, посвящённый переводам 66 сонета Шекспира <http://libelli.narod.ru/sonnet66/index.html>
- <sup>16</sup> Maurice Cranston (1920–1993) профессор политических наук Лондонской школы экономики.
- <sup>17</sup> Юлий Ким охарактеризовал «блистательный ряд знаменитых московских словесников 60–70 годов», к которому принадлежали Юрий Айхенвальд, Илья Габай, Анатолий Якобсон и другие: *«Для них человечность и гражданственность были синонимы, и более всего их волновала нравственная красота литературы и искусства вообще, а русской — особенно. Преподавание литературы в старших классах — захватывающее дело. Завести класс на диспут, на анализ, на мысль, разбирая сокровища прозы и поэзии. Добиться, чтобы восчувствовали, прониклись, чтобы сами открыли... Сегодня я не знаю поприща благороднее»*. А слова сказанные об Айхенвальде — «человек с горячей натурой правдоискателя и проповедника» — всецело можно отнести и к Якобсону. Ю. Ч. Ким, Послесловие к книге Ю. А. Айхенвальд «Стихи и поэмы разных лет». Москва, «Мемориал», 1994, с. 207.
- <sup>18</sup> Международный биографический центр, Кембридж, Великобритания (The International Biographical Centre, Cambridge, UK) внес имя Владимира Фёдоровича Овчинникова в список людей, чьи заслуги в области образования в двадцатом столетии признаны мировым сообществом. Наум Матусович Сигаловский, наш учитель физики, назвал В. Ф. Овчинникова «гордостью России».



*Владимир Шаров*<sup>1</sup>

## **Якобсон и Вторая школа**

С течением времени хорошо понимаешь, где больше недобрал, прошел мимо, в лучшем случае — по касательной. Моя школьная жизнь сложилась так, что я никогда не входил в число учеников, близких Анатолию Александровичу Якобсону и он не преподавал мне русскую литературу, которую, несомненно, и любил, и знал куда лучше курса истории.

Пересечений, особенно вне рамок школы, было много, но они были несамостоятельными, связанными по большей части с моим отцом.<sup>2</sup> Отец был очень дружен с Корнеем Ивановичем и Лидией Корнеевной Чуковскими, и Анатолий Александрович тоже несколько лет поддерживал с ними нежную дружбу. Одним из самых близких нам людей на протяжении многих лет была Надежда Марковна Улановская, мать Толиной жены Майи, даже по меркам российского XX в. человек с фантастической и в не меньшей степени трагической судьбой, редкая умница, равно внимательная и к отдельному человеку, и к устройству жизни. Дом ее на Садовой-Черногрязской давал приют многим замечательным людям, без влияния которых я плохо представляю себе свою нынешнюю жизнь.

Бывал я и дома у Анатолия Александровича, несколько месяцев занимаясь русским языком и литературой, но в совершенно ущербном, утилитарном виде — для подготовки к вузовскому экзамену. Репетиторство было ему безмерно скучно, но результаты обнадеживали: в короткое время со своих обычных шестидесяти ошибок на страницу я спустился до двадцати. Однако занятия, не помню уж почему, прервались, и в итоге я так и остался малограмотным.

К сожалению, моё знакомство с Анатолием Александровичем ограничилось лекциями, испанскими переводами и статьями (некоторые из них тоже благодаря отцу я читал еще в школе). Настоящего Якобсона увидеть не удалось. И дело не в одном запрете на преподавание литературы.

Учителя Второй школы при всей естественной человеческой разнообразности были на редкость единомышленны, когда пытались на бесплодной советской почве вырастить нечто подобное пушкинскому Лицею. В этом виновато, скорее всего, время, но так сложилось, что в общем они оказались лучше, чище, честнее, чем те, кого они набрали себе в ученики. Есть знаменитая второшкольная история о том, как на платформе Ленинградской железной дороги за учеников дрались географ Алексей Филиппович Макеев и Анатолий Александрович Якобсон. Приходит на память, как мы висели на руках Анатолия Алек-

сандровича, прибежавшего нас защитить, когда возле гаражей рядом с футбольным полем все шло к тому, что нам надают по шее. Сейчас я вспоминаю эти происшествия с печалью. Мы и дальше куда хуже наших учителей умели постоять за себя, а тем более за других, часто оказываясь конформистами.

Это — общий абрис, сводная картинка, но мир устроен так, что правд в нем много, даже тогда, когда люди до последнего готовы друг друга поддерживать. По мере того как во второй половине 60-х годов наша школа на общесоветском фоне все решительнее отличалась от нормы, делалась все более одиозной, покровительство Университета и Академии наук помочь могло уже мало. Давление власти быстро возросло, и наши учителя остались с ней один на один. Здесь и прошла трещина. Большая часть до последнего пыталась школу сохранить, хотя бы по видимости удержаться в формально-советском поле. Они думали (и здесь с ними трудно не согласиться), что ученики должны были быть не только высокодуховными личностями, но и быть отлично подготовленными к дальнейшей жизни: к сдаче экзаменов и поступлению в вуз, по возможности, первостатейный. Иначе вся работа, вообще суть того, что они начали, окажется потерянной: те, кого они приняли в школу, не впишутся, как из гнезда выпадут из окружающей жизни и не оставят потомства — своих собственных учеников.

Это была правда не только учителей, но в первую очередь многих сотен из тех, кто поступал во Вторую школу, кто в ином случае мог опуститься, погибнуть. Дело во времени, в длине шага, в том, насколько ты сам, по своей природной конституции умел ждать, держал удар.

Толя эти вещи признавал не хуже коллег, но изнутри был «смонтирован» жестче. И вот, понимая, что то, что он может и хочет дать школе, лишь разрушает ее, стал терять интерес к преподаванию. Это сделалась как бы не его работа. Уровень несвободы, который здесь возник, стал представляться неволей, и он естественным образом начал мигрировать, уходить туда, где подобных ограничений было меньше: диссидентское движение, литературоведение, переводы.

Лично для меня свобода, такт, отсутствие давления сейчас, когда я вспоминаю свои второшкольные годы, — ключевые понятия. Расти по собственным законам и в своем ритме три года, с 15 до 17 лет, оказалось неслыханным подарком. Охладев к математике и безбожно прогуливая, я тем не менее до конца жизни буду благодарен, что меня не только никто не пытался сломать, но наоборот, каждый и всеми возможными силами объяснял, что мы независимы, равны и должны быть на «вы», как достойные и уважающие друг друга собеседники.

Я благодарен Анатолию Александровичу Якобсону за то, что он, классный руководитель, в своем классе разрешал дежурным выставлять отметки и расписываться за него в дневниках. Туда же для поряд-

ка они, уже по собственной инициативе, добавляли и дисциплинарные замечания.

Благодарен Владимиру Федоровичу Овчинникову за то, что когда по всем законам справедливости пришла пора меня отчислять, он вызвал моего отца, но никак не мог подобрать слов, чтобы его не огорчить, и в конце концов, отчаявшись, спросил: «Александр Израилевич, ну почему он не может хотя бы не опаздывать?». И тут отец в восторге, что нашлось хотя бы одно оправдание, отрезал: «Не может. Ровно когда он выходит из дома, нам в ящик кидают «Правду». Ему надо хотя бы пять минут, чтобы ее просмотреть». Владимир Федорович, бывший инструктор ЦК партии, покатылся от хохота, и вопрос о моем отчислении был окончательно закрыт.

Я благодарен Израилю Хаимовичу Сивашинскому за то, что в аудитории, где с трудом помещался один класс, а формально, по расписанию должны были находиться два, а то и три, он разрешал во время урока прямо под окнами школы играть в футбол. Благодарен, что тот же Сивашинский вызывал к доске только наших немногочисленных девочек и, совершенно не интересуясь, что они там писали, часто даже отвернувшись от доски, вместе со словами: «Иди, дай тебе Бог хорошего мужа» — ставил в журнал обязательную пятерку; за оригинально решенную задачу щедро отвешивал пять, а то и двадцать пятерок, после чего ты, ничем не рискуя и со спокойной совестью до конца семестра мог заниматься другими делами.

Благодарен Герману Наумовичу Фейну за то, что когда мы, двое-трое, опоздав и бесплодно потыкавшись во все двери с его сыном Андрюшей, тоже опоздавшим, устраивались в их квартире в здании школы играть в преферанс, ему и в голову не приходило, что он может нас выставить. Найдя нас сдающими карты, он лишь сообщал, что и на следующей перемене нам в школу не попасть. А за сколько опозданий отчисляют, мы знали и сами.

Советская власть едва ли не с первых шагов пыталась превратить страну в одно ровное серое поле, не знающее различий и отклонений. Ради сей «высокой» цели были погублены миллионы. Противостоять этому было немислимо трудно, и, похоже, когда Владимир Федорович Овчинников собирал вокруг себя учителей, главной его задачей было объяснить, показать нам, что вопреки политике партии люди все же разные; что каждый имеет «лица необщее выраженье».

Школе удалось привить нам вкус к подобного рода людям; я помню и буду помнить всех, кто входил в аудитории, — они не смешиваются и не мешают друг другу.

Что же до Анатолия Александровича Якобсона, то он, как был, так и останется одним из самых значительных, самых ярких людей из встреченных мной в жизни.

- <sup>1</sup> Владимир Александрович Шаров (р. 1952, Москва), сын писателя А. И. Шарова, закончил Вторую школу (выпускной класс 10 «В», 1969), исторический факультет Воронежского университета, канд. ист. наук (1984). Работал грузчиком, рабочим в археологической партии, литературным секретарем. Дебютировал как поэт в 1980 г. Пишет художественную прозу, автор романов, эссе. Произведения Ш. переведены на итальянский, французский, китайский языки. Отмечен премиями журнала «Знамя» (1998, 2002). *Источники*: <http://magazines.russ.ru/authors/s/sharov/> и <http://www.booksite.ru/department/center/writ/sharov.htm> (прим. А. Зарецкого).
- <sup>2</sup> Александр Шаров (настоящее имя — Шер Израилевич Нюренберг; 1909–1984) — русский писатель-фантаст и детский писатель. Окончил биологический факультет МГУ по специальности генетика. Работал специальным корреспондентом отдела науки газеты «Известия». Начал печататься с 1928 года. Член СП СССР с 1942 года. Награжден орденами Боевого Красного Знамени и Отечественной войны II степени, медалями. *Источник*: Википедия (прим. А. Зарецкого)

*Алексей Семёнов<sup>1</sup>*

## **С большой буквы...** **Частные уроки**

Личных воспоминаний о Якобсоне у меня очень немного. Хотя я учился во Второй школе, но пришёл в неё, когда Анатолия Александровича уже выгнали (то есть формально он ушёл сам, но все знали, что фактически это было частью разгрома школы, который РОНО и вышестоящие инстанции Минобразования учинили в начале 70-х). У меня литературу преподавала Татьяна Львовна Ошанина. А у Анатолия Александровича в 9-м классе (весной 1972 г.) я брал частные уроки, но не литературы (что, наверное, было бы очень интересно), а русского языка, с упором исключительно на правописание. В основном мы занимались диктантами на разные правила. Продолжались эти уроки месяца четыре. Кажется, об этих уроках договорилась мама,<sup>2</sup> я к переговорам отношения не имел (кроме того, что согласился ходить на уроки). По-видимому, имело значение не только то, что мне были нужны уроки (я был и остаюсь на удивление неграмотным), но и то, что А. А. нуждался в работе (если не ошибаюсь, он уже был на положении отказника,<sup>3</sup> то есть официальной работы не имел). Наверное, уроки помогли, — на устном экзамене я умудрился получить пять.

Общением эти уроки назвать никак нельзя. Со мной вместе к А. А. ходил Павлик Чупров, один из самых «ортодоксальных» учеников в моём классе, с удовольствием вступавший в политические споры, защищая советскую власть от нападок всяческих «отщепенцев» вроде меня. Несмотря на острые политические разногласия, мы по инерции продолжали с ним общаться, поскольку жили в одном районе, вместе ходили в ВМШ в 7-м классе, вместе поступили во Вторую школу, ездили на одном автобусе. Конечно, я не думаю, что А. А. как-то маскировался от Павлика, но ему явно было неинтересно вступать в дискуссии с петушившимся учеником, который в литературно-историческом плане отличался особой ограниченностью, в отличие от большинства в нашем классе, «самиздат» не читал и осуждал любую литературу кроме той, что входила в школьную программу. Так что уроки проходили довольно формально, разговоров «о вообще» почти не было. Вполне возможно, так было бы, даже если бы я приходил один. А. А. в то время производил впечатление человека если не в депрессии, то, по крайней мере, подавленного: думаю, это было связано с предстоящим отъездом (или с перспективой быть долгосрочным отказником). Если у него и была потребность общаться с молодёжью, то он удовлетворял

её со своими старыми учениками, новые были не нужны. Собственно уроки проводились по жёсткому образцу: разбор домашнего задания, лекция по новому материалу, диктант, разбор. А. А. очень легко находил примеры на любое правило, чаще всего стихотворные, — больше всего из Блока и Некрасова, но были также примеры из Мандельштама (которого я уже хорошо знал) и из Ходасевича (которого я тогда вообще не знал, но впоследствии, лет десять спустя, многие строчки узнавал как фразы из диктантов или примеров А. А.). Только один «учебный» эпизод помню детально: разбирая правила об использовании заглавных букв, А. А. сказал, что, строго говоря, с большой буквы пишут только имена, географические названия и слово «Бог». Как атеиста меня это поразило. В последовавшем диктанте я по ошибке, не обратив внимания, написал «бог» и намеренно Родина, считая это авторской орфографией (кажется, это была цитата то ли из Маяковского, то ли из кого-то ещё, с очень подчеркнутым патриотизмом). А. А. усмехнулся и сказал: «Ну, это в прямую полемику со мной...». Я был очень смущён, потому что совсем не хотел с ним спорить.

Бостон  
Июль 2007

- <sup>1</sup> Алексей Семёнов — сын Елены Георгиевны Боннэр, учился во Второй школе в 1970–72 гг.
- <sup>2</sup> См. интервью с Еленой Боннэр, проведенное А. Семёновым для Мемориальной сетевой страницы А. Якобсона и публикуемое в данном сборнике.
- <sup>3</sup> Якобсону положение отказника никак не грозило — отпустили его с большой готовностью (прим. М. Улановской).

## **Интервью Мемориальной странице**<sup>2</sup>

### **Расскажи о Якобсоне.**

Я уже много чего не помню, но почти всё, связанное с Якобсоном, помню абсолютно, как бы «вживую». Я бы хотел начать со своего первого впечатления, с его появления у нас в классе. Это, насколько я помню, был ноябрь 1965 г., и этому предшествовали всякие драматические события типа того, что любимого мною Музылёва<sup>3</sup> «забрили» в армию. Надо сказать, что после первого шока, который у нас с Музылёвым произошёл в связи с его системой оценок, большинство в нашем классе относилось к нему очень хорошо. Я так просто был в него влюблён. И вдруг его «забрили», и должен был прийти новый человек. Понятное дело, что мы, во всяком случае я, к этому человеку заведомо относились настроенно и недоброжелательно.

И вот появился Якобсон, который выглядел полной противоположностью эlegantному, красивому, лёгкому, складному и очаровательному Музылёву. Первое моё впечатление было шоковое. У меня ощущение было, что появилось какое-то существо, как бы всё бутри-стое: всклокоченные волосы, какая-то вельветовая чёрная куртка... И вот-то, чему я и сам не верю, но что запомнил: вместо ремня у него была какая-то бечёвка. Я не уверен, что это было так, но так мне тогда показалось. Словом, в сравнении с Музылёвым Якобсон выглядел таким угрюмым уголовником. Это моё первое впечатление. И мне кажется, что он ожидал, что его могут встретить недоброжелательно, и был как-то очень насторожён.

По-моему, в тот раз была сдвоенная пара уроков. В первой паре периодически вспыхивали какие-то смешки в разных концах класса. Якобсон как-то по-звериному разворачивался, смотрел, ничего не гово-

---

<sup>1</sup> Исаак Розовский родился в Москве (1951). Учился во Второй школе в 1965–68 гг. Окончил Психологический факультет МГУ, затем работал в психиатрических больницах Москвы. Был режиссёром психологического театра. Эмигрировал в Израиль в 1990 г., где занимается психотерапией, социологией и политикой. Автор книги «Пособие для беззаботных», М., Мосты культуры, 2000 г.

<sup>2</sup> Интервью подготовлено и проведено по телефону А. Зарецким. Отредактировано Ю. Китаевичем.

<sup>3</sup> Музылёв Александр Владимирович (1941), учитель русского языка и литературы Второй школы в 1963–68 гг.

рил сначала. А потом, когда Борис Ерухимов<sup>4</sup> то ли что-то сказал, то ли засмеялся, то ли разговаривал с кем-то, Якобсон схватил его за штаны и головой вперёд кинул в дверь, которую тот таким образом и открыл. На второй паре был урок русского языка. Он вызвал к доске Елфимова. Тот написал что-то очень смешное, с ошибками, так что я рассмеялся. И вдруг почувствовал, что некая страшная сила меня поднимает. Я обернулся и увидел скрюченные пальцы, направленные в мою сторону, и горящие, как мне показалось, злобой глаза. Я ничего не сказал, не стал ждать дальнейших распоряжений, а быстренько засеменяю к выходу, периодически оглядываясь. Мне казалось, что он гнался за мной огромными шагами, как Карабас-Барабас за Буратино. Я выскочил из класса. Всё было хорошо. Я остался жив, но пребывал в сильном недоумении.

Надо сказать, что через три или четыре дня мы все полностью оказались под властью его обаяния. Не знаю, как ему этого удалось добиться, но это было так. Это было почти волшебство. После мы все его полюбили, и о нём стали ходить всякие легенды. Я помню, как-то раз, на перемене, мы с Улиничем боксировали. Проходивший мимо Якобсон сказал: «Хороший хук слева». Мы тут же его спросили, что такое хук и откуда он всё это знает. Он сказал нам, что занимался боксом. По этому поводу у нас сразу возникла легенда — пошёл слух, что он призёр первенства СССР по боксу в полусреднем весе. Думаю, что до этого дело не доходило, но боксом он действительно занимался.

Что ещё? Якобсон был, конечно, очень взрывчатый человек. Я помню эпизод, когда он что-то говорил вдохновенно о Шекспире, а в это время Боря Айзенбуд, по привычке рисуя танки, вдруг стал громко сообщать об относительных достоинствах американского и советского оружия. И тут возникла тишина... Мы даже не очень поняли, что произошло. Вернее, я-то видел, что Якобсон окаменел, а потом дрожащим от гнева голосом произнёс: «Ну, Айзенбуд, хана тебе!». Я чувствовал, каким невероятным усилием воли Якобсон заставил себя сидеть на месте, а не уничтожить немедленно этого дегенерата, которому танки интереснее Шекспира.

Что сказать ещё? Я пришёл во Вторую школу совершенно дремучим человеком. Я к тому времени прочёл огромное количество книг — совершенно не систематически, — и гордо заявлял в начале восьмого класса, что мой любимый писатель Джек Лондон. Это было правдой. А поэзия вообще была исключена из списка чтения, и я к ней относился в высшей степени презрительно. По сути дела, Якобсон для меня и многих

---

<sup>4</sup> Борис Львович Ерухимов (18 октября 1951 — 4 марта 2007, Торонто), окончил Вторую школу (1968), Московский институт связи (1973). Работал в Зеленчукской астрофизической обсерватории АН СССР, к. т. н. Разрабатывал системы программного обеспечения в компьютерных компаниях Израиля и Канады.



из нас открыл эту сферу — поэзию. И не просто открыл, а научил этим по-настоящему интересоваться. А главное, глядя на Якобсона, который в некотором смысле был для меня по очень большому числу вопросов абсолютным авторитетом, и видя его не просто трепетное, а благоговейное отношение к поэзии, я вдруг понял, какая это важная, невероятно важная вещь. Хоть я раньше и слышал имена Пастернака, Цветаевой и других, но до этого момента не открывал ни одной их страницы.

Когда он огласил список литературы, которую собирался с нами «проходить»: Хэмингуэй, Солженицын, Мопассан, я страшно обрадовался, потому что, как и большинство из нас, ненавидел школьную программу по литературе. В списке названных был Бабель. А что из Бабеля? — «Конармия». И у меня такое внутреннее разочарование: «Ага, всё-таки какую-то идеологему он тут решил нам подсунуть, потому что там, где «Конармия», там и Гражданская война». Я ничего раньше не слышал про Бабеля, и, по-моему, в классе образовалось какое-то лёгкое недоумение. Тогда он сказал: «Поднимите руки, кто вообще Бабеля читал?». И поднялась, по-моему, одна рука — это был Саша Локшин. Все остальные о Бабеле не имели никакого представления. И Якобсон сказал... Тут надо заметить: при такой сумрачной и, как мне казалось, грубой внешности он периодически улыбался, и это была улыбка, которая была абсолютно противоположна обычному выражению его лица: такая детская беспомощная улыбка, совершенно обезоруживающая любого человека. Он сказал: «Какое счастье, как я вам завидую. Боже мой, какое же наслаждение — вы же впервые прочтёте Бабеля». Многие вещи, ряд его сентенций, которые сейчас, может быть, воспринимаются как общие места, тогда для меня были откровением. Например, на том знаменитом уроке о переводе 66-го сонета Шекспира Маршака и Пастернака. Якобсон тогда сказал, что хороший переводчик имеет право переводить только хорошего поэта, потому что великий поэт в его изложении, в его переводе, становится просто хорошим. Помню, тогда был сдвоенный урок в связи с отменой у нас физкультуры. Тема поначалу показалась мне совершенно странной и неинтересной: чего там сравнивать два перевода каких-то авторов? Но тогда я впервые понял, какая это потрясающе интересная вещь — поэтический перевод.

Я, мне кажется, был почти на всех его лекциях о поэзии. Меня потрясло, какое огромное количество взрослых приходило туда с такими «бандурами», которые тогда назывались магнитофонами. Он совершенно меня потряс тогда поэзией и Цветаевой (по-моему, он её ставил выше всех), и Пастернака, и замечательной лекцией о советской романтической литературе 20-х годов. В сущности, он сформировал нас. Я бы сказал, что он был тем самым *Учителем* с большой буквы, который так редко попадает на пути юношества и без которого «юноше, обдумывающем житьё», на самом деле бывает очень трудно. Я думаю,

что для меня и для очень многих из нас он был *Учителем* и *Событием*, оказавшим влияние на всю нашу последующую жизнь: и на наши взгляды, и на наши отношения.

Тогда я впервые столкнулся с человеком, который был ярким олицетворением диссидентства. До этого ничего, кроме полунинтеллигентских разговоров, не было. Я помню, как на переменах в коридоре вспыхивали диспуты о процессе Синяевского и Даниэля, и Якобсон всегда ярко и не подбирая слов высказывал своё отношение. Я помню его нежную опеку Саши Даниэля, который учился в параллельном классе. Мы, я во всяком случае, относились к нему и ко всему, что им было сказано, достаточно некритично. Я всё воспринимал как последнюю истину.

Думаю, что в политических вопросах его позиция была пусть и несколько экстремистской, но правильной, хотя многое было неоднозначно. В частности, когда я только что узнал о событиях, связанных с отцом Локшина, в изложении Локшина-младшего, мне показалось, что поведение Якобсона было, мягко говоря, неоднозначно. Результатом этого могла стать, и я думаю — стала, та тяжелейшая душевная травма, которая была нанесена Локшину-младшему. И вот эта мысль, что это, в сущности, — дело рук Якобсона, была для меня сильным откровением. Пусть даже и не ведал, что творит.

Но это несколько не изменило моего отношения к Якобсону как к учителю, как к человеку, как к *сверхъявлению*, которое мне посчастливилось наблюдать и, даже, в некотором смысле, находиться в сфере его притяжения. По отношению к Якобсону я бы сказал так, как, по другому поводу, сказал Бродский: «пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет только лишь благодарность».

Надо сказать, что он был физически невероятно мощный. Я помню одну историю, которую мне в свое время, давась от смеха и восхищения, рассказал Айзенбуд. После какого-то лыжного похода они ехали в метро. В вагоне было всего несколько человек, и какой-то полупьяный тип что-то сказал по поводу одной из учениц — типа «жидовочка» и прочее... И тогда Якобсон поднял его за шиворот и выставил из вагона. В ту же секунду двери закрылись, и поезд отъехал.

Потом я оказался в Иерусалиме и встретился со многими людьми, которые его знали. Интересно, что с его сыном — Сашей Якобсоном, который сейчас профессор истории в Иерусалимском университете, мы какое-то время довольно тесно общались. Саша немного похож на отца, даже, может быть, и много похож, но мои воспоминания о Якобсоне, возможно, не вполне соответствуют реальности.

### **Разбор каких произведений литературы тебе запомнился?**

Это — как раз то, мне кажется, что я помню хорошо. Читая, он голосом подчёркивал слова и фразы, которые его приводили в восторг.

Слушать в его чтении Бабеля было невероятным наслаждением. А потом, после чтения, состоялась очень интересная полемика. Рассказ Бабеля назывался «История одной лошади». Я тогда специализировался на попытках эпатажа и сказал нечто вроде того, что вообще всё это, конечно, хорошо, лошадь лошадыю, но зачем же стулья ломать, зачем из партии выходить? Он посмотрел на меня очень неодобрительно, а Локшин тут же объяснил мне и всему классу подлинный смысл этого рассказа, что «лошадь — не только средство передвижения». Потом, я помню, Мопассана он нам читал. Про то, как дядюшка, не помню его имени, высиживал яйца. Удивительно любовно и как-то очень хорошо он об этом говорил. Ну, и Солженицына «Случай на станции Кречетовка». Якобсон ерошил волосы, осыпая себе плечи перхотью (эта деталь тоже была), и говорил: «Он тут достигает... в этой сцене он достигает поистинне шекспировской мощи». А про Хэмингуэя он сказал: «Его рассказы напоминают сухой порох. Всё убрано в подтекст, всё очень коротко и очень сжато». А Климонтовичу он сказал, когда тот ему дал почитать свои первые рассказы: «Ты умеешь писать короткими фразами, а я этого делать не умею совершенно».

В конце года нам надо было сдавать зачёт. Надо было выбрать себе стихотворение, прочесть его и разобрать. Якобсон сидел в классе, а мы к нему по одному заходили. Улинич выбрал стихотворение Цветаевой «Вот опять окно, где опять не спят...». Только он начал читать, как Якобсон вскрикнул: «Гениально!» — и сказал, — «Иди, иди, иди, иди...». А я, дурак, из выпендрёжа, а может быть, по глупости, выбрал стихотворение Лонгфелло. Оно довольно красивое было, но бессмысленное и длинное. После Цветаевой, как только я сказал «Лонгфелло», глаза его сразу потухли, и, по-моему, он потерял ко мне всякий интерес, но зачет поставил. С этим проблем не было.

Он читал нам несколько своих переводов: Верлена и Лорки.

**Помнишь, что он читал Лорку в переводе Гелескула? «Сомнамбулический романс», «Неверная жена»...**

Да, это он читал, сам не переводил этих стихотворений. Он перевёл каких-то пару стихотворений Лорки и читал их очень трепетно, был, как бы, не уверен в себе, как и подобает поэту. Это нормально, это правильно. Но, главное, на мой взгляд, — это его личность, никогда до Якобсона я не встречал подобной. Масштаб и сила, то, что он показал нам, как надо относиться к поэзии. Показал это на работах лучших её представителей. Открыв для нас поэзию, он, в сущности, задал камертон на всю жизнь. Он просто открыл нам иной мир, который оказался совершенно не тем, каким казался раньше. После пребывания в этих широтах и высотах погружаться в нашу обыденную действительность было неприятно, трудно. Главное, что мы, или многие из нас, уже этого и не могли. Ужасающая разница между миром, который он нам приоткрыл,

и тем, который нас окружал, — это противоречие — явилось для многих из нас камнем преткновения.

Рассказывая, он периодически прерывался, говорил: «гениально, гениально» и начинал в волнении бегать по классу, ероша свои жесткие волосы. Я в жизни мало встречал более обаятельных людей.

### **Афоризмы Якобсона, которые тебе запомнились.**

Чем не афоризм: «великого поэта не должен переводить хороший поэт, великого поэта должен переводить великий переводчик, иначе всё становится одинаково средне». А по поводу Бабея: «какое это счастье, что ты ещё что-то не читал и тебе ещё предстоит это наслаждение». Для меня это очень значимая мысль, я очень часто её использую.

**Николай Климонтович писал, что никакого плана проведения уроков не было. Была ли на самом деле какая-то сверхзадача у Якобсона? Все эти произведения, которые он читал и разбирал, были ли они как-то связаны с действительностью? То есть, была программа или никакой программы не было?**

Я думаю, что программы осознанной не было, и, по-моему, это очень хорошо. Он читал то, что любил, то, что казалось ему важным, и это, бесспорно, было некоторым олицетворением *его* гуманистических принципов. Мне как раз кажется, что эта спонтанность была не отсутствием плана, потому что отсутствие плана звучит как-то негативно, а была той самой гениальной учительской спонтанностью, с помощью которой только и можно преподавать и вообще говорить о литературе. Через себя. Через собственную любовь. Через собственное понимание. Если бы это было не так, он оказал бы куда меньшее влияние на нас. У меня не было ощущения продуманности и плана.

**Якобсон начал свои уроки литературы с рассказа Чехова «Учитель словесности». Не было ли тут какой-то заявки: вот как учитель словесности показан у Чехова и что на самом деле есть учитель словесности?**

Сейчас я был бы готов с тобой согласиться, но сам бы я этого раньше не сказал, и, честно говоря, я не помню, чтобы он начал с этого. Но, если начал, очень похоже на то, что в этом был некоторый намёк, некоторая метафора. Но, ещё раз повторяю, безотносительно к тому, что он там думал. Мне кажется, что он был идеальным учителем словесности для идеального мира.

**Упомянул ли Якобсон самиздат и произведения, ходившие в самиздате?**

Во-первых, во время жарких дискуссий на переменах по поводу Синявского и Даниэля неизбежно возникал вопрос о самиздате. Я помню, что он говорил нам, что это — абсолютно неподсудное дело, то есть Синявский не может быть привлечён к суду за Абрама Терца.

На уроках ничего подобного я не помню, хотя он был человеком, которому трудно было бы сдержаться, если бы тема возникла.

Такого рода бурными дискуссиями, не столько даже дискуссиями, сколько монологами на переменах о конце оттепели и всём происходящем Якобсон, конечно, ставил школу под удар. Я имею в виду не атмосферу в школе, а атмосферу вокруг школы. Но это не обвинение, это — констатация задним числом.

**С осени 1966 г. Якобсон стал преподавать историю. Об уроках истории тебе что-либо запомнилось?**

Уроки истории для меня — полного неуча — были интересными, но как бы поданными немного с другой стороны по сравнению с уроками литературы. Впечатление от них было гораздо слабее. Я думаю, что это была большая удача, что он у нас — нескольких восьмых классов — вёл и историю, и литературу. Ну, и русский язык, само собой.

**В девятом классе литературу преподавал вернувшийся из армии Музылёв. А как бы её вёл Якобсон, если бы ему пришлось проходить с нами Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Чернышевского и т. д.?**

Я не знаю, но думаю, что всё было бы замечательно. Мне вообще очень трудно представить себе Якобсона, встроенного в какую-то запланированную систему, поэтому я и говорю, что, с моей точки зрения, *спонтанность* — отличительный принцип его преподавания. Не знаю, я не могу их сопоставлять. Музылёв был тоже замечательный учитель. Общение с ним включало даже какие-то игры — бросание мячиком от стенки к стенке: я, Вольфсон, Улинич и Музылёв. Это были, как бы, отношения.

Якобсон нас бесконечно превосходил, то есть была очевидная дистанция между нами, а Музылёв для меня был как бы старшим другом. И Якобсон, и Музылёв для меня очень много значат, но Якобсон для моего формирования — более важная фигура. Несравненно более важная фигура.

**Ещё несколько штрихов к портрету Якобсона. Как он относился к разным ученикам в классе?**

Ему нравилось, когда кто-то говорил что-нибудь забавное, соответствующее его представлениям. Мне кажется, что он очень заметно выделял Локшина. И на то были основания, потому что Локшин действительно обладал знаниями и понимал такие вещи в литературе, о которых большинство из нас просто не слышало, и, кроме того, очень любил поэзию. Я не запомнил какого-то специального отношения, положительного или отрицательного, к кому бы то ни было ещё. Честно говоря, думаю, что такого и быть не могло. Ну, вот Климонтовича он похвалил за умение писать короткими фразами. Про Елфимова, у которого были большие круглые голубые глаза и пшеничные волосы, сказал как-то: «Наш Есенин».

И ярость его к тем же Айзенбуду, Ерухимову, или ко мне была мгновенной. Она вспыхивала и, я полагаю, гасла без следа.

**Расскажи о факультативных лекциях Якобсона о поэзии Серебряного века. Запомнились ли тебе подробности, атмосфера в зале? Как Якобсон вёл себя на этих лекциях? Как он владел аудиторией? Кто сообразил приносить магнитофоны в актёрский зал?**

Насчёт магнитофонов: может быть Герман Фейн принёс первый магнитофон, чтобы записать. Думаю, что магнитофоны приносили люди со стороны. Ведь тогда, в период окончания оттепели, уже была привычка у московской интеллигенции ходить на любые незаурядные события. Я думаю, что это оттуда и пошло. Взрослые дяденьки и тётеньки с собой приносили магнитофоны. Не то, чтобы их было слишком много, — в зале, конечно, преобладали школьники, — но они были заметны, их было немало. Магнитофон приносил также наш одноклассник Борис Голембо.

На лекциях Якобсон себя вёл точно так же, как вёл себя в классе — спонтанно и обаятельно. Ходил по сцене, заламывал руки, кричал: «Гениально!». Было видно, что, читая, он снова заряжается. Это поразительно, я даже не могу сказать, хорошо ли он говорил или плохо, потому что для меня это не имело никакого значения. Если, например, мне сейчас скажут, что он часто запинаясь, я с лёгкостью соглашусь. Нет, я ничего не могу сказать о приёмах. Не думаю, что он внимательно читал книгу Станиславского или что-то об ораторском искусстве. Он не был актёром, и этим был интересен.

#### **Якобсон и учителя Второй школы.**

Что касается Владимира Федоровича Овчинникова, то я, как и многие, его просто боялся и полагал, что для нашей свободолобивой школы такой директор не подходит. Это доказывает мой тогдашний полный идиотизм. Я знаю, что Овчинников держал Якобсона, несмотря на то, что это оказывало на властей действие красной тряпки на быка.

А что касается учителей, то их отношения были очень хорошие. Помню, я как-то заглянул в учительскую, и там стоял Якобсон в новом костюме, может, не в новом, но в первом. Не знаю. До этого на нём всегда была какая-то куртка. Его обхаживала, оглаживала Наталья Васильевна Тугова. Видно было, как они рады друг другу, как она к нему хорошо относится.

#### **Якобсон вне уроков.**

Он с Филиппычем<sup>5</sup> очень хорошо взаимодействовал. Я понимаю, что в школе на уроках и вне уроков он может быть очень разным, но ведь я-то видел его в, основном, на уроках и иногда на переменах.

---

<sup>5</sup> Макеев Алексей Филиппович (1913–1979) — учитель географии.

Я был с ним однажды в пешем походе, но ничего не запомнилось, а на лыжах я не ходил. Я, практически, не видел его во внешкольной обстановке.

**Был ли ты на знаменитой лекции Якобсона «О романтической идеологии», после которой он покинул Вторую школу? Отличалась ли она от других его лекций?**

Да, да. Тема той лекции была несколько иной, это не был разбор особенностей поэзии Цветаевой, чему он посвятил пять лекций, или Пастернака, о чём было тоже пять лекций. Это была отдельная лекция, где он говорил, и говорил довольно недоброжелательно о всей этой литературе — о Багрицком и других. Я помню, что в конце он улыбнулся и сказал: «Вам, наверняка, показалось, что я литературу революционных романтиков страшно не люблю, но это не так, потому что есть же Бабель, который, несомненно, тоже относится к этой литературе». Лекция была очень яркая, но не могу сказать, что она чем-то принципиально отличалась от других его лекций. Наверное, она могла явиться каким-то поводом для *орзвыводов*, но тогда мне это в голову не приходило.

Да, кстати, я вспоминаю, что Якобсон сказал тогда, что его сейчас более всего волнует проблема существования неотчуждаемых идей.

**Это Критерий Анатолия Якобсона «проверка идеи относительно пределов ее возможной отчуждаемости»?**

Да, А, что касается нравов, то ты помнишь, что в актовом зале, где Якобсон читал лекции, всегда висели всякие лозунги. К 7 ноября повесили такой: вверху — красное полотнище, а на нём белыми буквами: «Да здравствуют наши братья, томящиеся в застенках!». Это было из призывов Компартии в газете «Правда». Только там были обрезаны последние слова, типа «в Никарагуа». В этом смысле мне не запомнилось что-либо вопиющее в этой лекции, хотя в ней можно было найти много криминала, если слушать внимательно и с определённой целью. Таковые наверняка были.

**Приглашал ли Якобсон в школу литераторов?**

Если не ошибаюсь, Якобсон приводил в школу Коржавина, который читал лекции. Коржавин был тогда персоной почти нон-грата. Помню, как он распорол себе штанину гвоздём, торчащим из стола, за которым он сидел.

**Я знаю, что ты сам переводишь, что перевёл 66-й, 74-й и другие сонеты Шекспира. Твоё мнение о творчестве Якобсона как поэта-переводчика?**

Я необъективен. Когда я читал переводы Якобсона, вследствие своей пристрастности я сразу же оценивал их на несколько порядков выше, чем их, возможно, оценил бы объективный эксперт. Я думаю, что он очень хороший переводчик.



Другое дело — его книга о Блоке. Я взял её в руки, полагая, что я сейчас столкнусь с чем-то абсолютно великим. Однако почувствовал некоторое разочарование. Мне кажется, что он, как живой человек, как человек, который мне запомнился, был интереснее, чем автор «Конца Трагедии», даже его лекции о Блоке, кстати сказать, были более интересными. То есть книга очень хорошая, но, с моей точки зрения, не великая.

**Как оцениваешь ты вклад Якобсона в правозащитную деятельность как редактора «Хроники Текущих Событий»?**

Разумеется, люди, которые тогда это делали, были героями, мужественными людьми. По-моему, он стал этим заниматься, когда разгромили первую волну. Огромное мужество надо было иметь, чтобы в этом участвовать, и это, конечно, добавляет очень многое к его образу: не просто человек, который публично на школьных переменках произносил правильные слова о свободе, но и сам за неё боролся.

**Что о Якобсоне знает русскоязычная община в Израиле?**

Когда он сюда приехал, здесь было очень ограниченное количество русских. Они, по крайней мере иерусалимцы и тель-авивцы гуманитарного направления, конечно, были с ним знакомы, знают, помнят и любят его. А те, кто приехал сюда позже (за исключением второшкольников), о нём просто ничего не знали и не знают. Насколько я помню, специальных вечеров памяти, вроде бы, не было. О нём не говорит никто, кроме тех, кто его знал. Так что всё тихо, и, к сожалению, быльём поросло...

**Исаак, ты психолог, чтобы поставить точку в интервью: кем он был по своему психологическому типу?**

Психопат. Но я должен тебе заметить, что это слово у психологов имеет несколько иной оттенок, чем в обыденной речи. В частности, один из самых лучших преподавателей на психологическом факультете МГУ специально подчеркнул в одной из лекций, что с точки зрения диагноза все они (он назвал Цветаеву и ещё тысячу имён) — психопаты. И ещё он сказал следующую вещь: «То, что мы ещё не одичали вконец, это благодаря тому, что психопаты вокруг нас ходят и занимаются своим делом».

*Иерусалим  
5 июля 2008*



**М. Кларин, Г. Лубяницкий, А. Сивцов, С. Тиходеев**

## **Афоризмы А. А. Якобсона из сборника «Крупичицы золота»<sup>1</sup>**

- Если это белое не влезает в мою концепцию, значит, это не белое, а черное.

*Ироническая характеристика многих концепций, претендующих на истину.*

- Гораздо большим влиянием на рабочих, чем социал — демократы, пользовался поп Гапон. Что это такое, поп Гапон? Знаете, есть анекдот. Как отличить зайца от зайчихи? Нужно опустить ЭТО на землю. Если побежал — заяц, если побежала — зайчиха.
- Если все продавцы шнурков с Дорогомиловской улицы договорятся продавать шнурки не дешевле 15 копеек, то, поймите, это еще не будет промышленной корпорацией.

*Тема урока — монополизация промышленности и торговли в пресловутую «эпоху империализма» и создание корпораций — картелей, синдикатов, трестов. (Несколько поколений заучивало эту триаду, как считалочку).*

- Депутатов от большевиков в IV Думе было шестеро. Но у нас принято называть пятерых, потому что один из них — Малиновский — «при ближайшем рассмотрении» оказался провокатором, агентом царской охранки. Знаете, как в «В истории одного города» один из градоначальников «при ближайшем рассмотрении оказался девицею».

*Р.В. Малиновский (1876–1918) — член ЦК РСДРП, любимец Ленина. В 1917 г. добровольно вернулся из эмиграции, был судим и расстрелян. Другие депутаты-большевики: А.Е. Бадаев, М.К. Муранов, Г.И. Петровский, Ф.Н. Самойлов, Н.Р. Шагов. Упомянутый щедринский градоначальник — виконт Дю Шарри.*

- Было известно, в каком московском трактире люди каких взглядов собираются. Так, например, отличались крайне реакционными убеждениями ломовые извозчики.
- Этот мутный поток — черносотенное движение — начался в 1905 году, а закончился... не знаю когда.

*Привет из 2003 года!*

- Что русскому мужику армянин?! Он, может, армянина и в глаза не видел. А еврея видел!

*То есть евреи, в отличие от других «инородцев» живущие в расеянии (диаспоре), всегда под рукой как «виновники всех бед».*

- Крестьяне приезжали в город с пустыми телегами и ждали конца погрома.
- Столыпинская реформа укрепляла капитализм...  
Да, но это настолько абстрактно, что даже не интересно. Всякая реформа направлена на укрепление существующего строя. Вот у нас обложили налогом на бездетность 18 — летних девиц — укрепляют социализм.
- Бои под Нарвой — легендарная страница нашей истории. Вообще, в нашей истории много легендарного... Некоторые героические товарищи действительно стреляли, это верно, но серьезно сопротивления немцам они оказать не могли.  
*См. также В. Кардин «Легенды и факты» («Новый мир», 1966, №2).*
- М. Н. Покровский был в опале долгое время, потому что он писал в те годы, когда принципиальное извращение русской истории не котировалось, а котировалось только беспринципное.  
*М. Н. Покровский (1868–1932) — историк. «Школа Покровского» толковала исторические факты извращенно, вопреки историческому материализму. («Краткий курс истории ВКП(б)»)*
- Сказать вместо «Красная гвардия» просто «гвардия» — это то же самое, что вместо «член партии» сказать просто «член».
- ...Тогда я спросил: «Не помните ли Вы, какова была позиция Соединенных Штатов Америки?» И тут он твердо и уверенно сказал: «Америка была за Гитлера!» Я не выдержал, расписуховался и убежал... Я своими глазами увидел, что пропаганда может сделать с идиотом.  
*А. А. Якобсон вспоминает экзамен по истории, который он принимал в Таманской дивизии. Первоначально им был задан вопрос об участниках антигитлеровской коалиции.*
- Великие поэты никогда не были холуями, так же как и холуи никогда не были великими поэтами.  
*Комментарий к стихотворению А. Вознесенского «Мы противники тусклого, мы приучены к шири...» Соответствующий фрагмент предназначался для книги А. А. Якобсона «Конец трагедии», но не вошел в нее.*
- Кстати, в спектакле Театра на Таганке именно так и есть: капиталисты ползают в ногах у колосса пролетариата. Но, ей — Богу, Джон Рид не имеет к этому ни малейшего отношения.  
*См. соответствующее место в статье А. А. Якобсона «О романтической идеологии». Книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» А. А. Якобсон рекомендовал в качестве пособия по истории.*

- Светлов любил старушек. А всякого рода сверхчеловеки и подражающие им, вроде Раскольникова, убивали старушек.  
*См. А. А. Якобсон «О романтической идеологии». Эта статья первоначально (9 марта 1968 г.) была прочитана в школе в виде лекции «Из поэзии 20-х годов».*
- Эти строки из послереволюционных изданий были изъяты, потому что Брюсов вступил в партию...  
*Брюсов: «Никому не сочувствуй. Сам же себя полюби беспредельно...» и т. д. См. «А. Блок. Соловьиный сад» в книге А. А. Якобсона «Почва и судьба».*
- Иногда кажется, что у Чернышевского так же отсутствует орган восприятия искусства, как у кастрата — любви.
- Если кто в русской литературе и писал бедным, безжизненным языком, то это Николай Гаврилович Чернышевский.
- Вот видите, сколько у меня накопилось идилических воспоминаний о Второй школе. Когда десятый класс был восьмым... Когда я преподавал литературу... Когда я был классным руководителем...  
*А. А. Якобсон пришел в школу в 1965 году. В 1965-66 годах преподавал, наряду с историей, литературу и был классным руководителем.*
- У поэта — все не так, как у людей. Он берет смиренно, а отдает яростно. Люди же обычно поступают по-другому. Как раз наоборот.  
*К стихотворению Б. Пастернака «Что почек, что клейких заплывших огарков...»*
- Марина Ивановна разъясняет это нам, как в школе для дефективных детей. Недоумственно недоразвитых. И мы действительно таковыми являемся в области поэзии.  
*Речь идет о статье М. И. Цветаевой «Световой ливень», посвященной Б. Пастернаку.*
- Маяковский — Есенину: «Мы крепки, как спирт в полтавском штофе. (Ну а что, вот, Безыменский — так). Ничего себе: морковный кофе».  
*Что же делать? Кто к чему привык. Кто привык пить спирт, кто морковный кофе. Только не примите это как какой-то призыв к алкоголизму. Это аналогия, чистая аналогия.*
- Здесь немалая концентрация образов. Немалая. О качестве образов я сейчас не говорю. Но если такая концентрация образов для вас предел, потолок, то что же вам делать с таким... Горький — это «Российское полусладкое» по сравнению с этим вот спиртом.

Сопоставляются описания бури на море в «Песни о Буревестнике» Горького и «1905 годе» Пастернака. «Российское полусладкое» напоминало нынешнее белое «Арбатское».

- Представим себе физика ньютоновской школы. Ему для решения любых задач нужно такое понятие, как «масса покоя». Без нее он не может. И вдруг оказывается, что никакой массы покоя нет, а есть сгусток энергии, квант... Представьте себе состояние этого физика. Так вот «световой ливень» стихов Пастернака для читателя — то же, что для физика XIX века квантовая механика.

*Преподавание в физико — математической школе явно сказалося на А. А. Якобсоне. См. также следующий фрагмент.*

- Скоропись Пастернака и то, что он пишет «при себе», приводит к выпадению логических звеньев в его стихах. Я опять не удержусь от аналогии. Начинаящий математик, решая алгебраический пример, должен последовательно записывать все преобразования. Если он не будет записывать, он потеряет нить рассуждений. Опытный же математик сразу пишет конечное выражение, преобразования для него очевидны, само собой разумеются, иначе для него и быть не может.
- Владимира Владимировича Маяковского чрезвычайно трудно было удивить метафорой. Потому что он по этой части не то, что собаку съел. Он и крокодила съел.

*Далее А. А. Якобсон сказал, что даже метафорически искусственного Маяковского всегда восхищало четверостишие Пастернака «В тот день всю тебя от гребенок до ног...» («Марбург»).*

- Маяковский гениален, когда он говорит только для себя. Тогда он и для нас говорит, а вот когда он начинает говорить для нас, тогда... грустно получается.
- Шаблонное соединение сработало: где сумрак, там и ночь. «Сумрак ночи» — непристойное выражение для Пастернака.

*А. А. Якобсон оговорился, читая строку «Весь сумрак рожи собща их разбирает на перчатки» («Ландыши»). См., однако, у Пастернака «На меня наставлен сумрак ночи...» («Гамлет»).*

- Я люблю раннего Пастернака так сильно, что сильнее любить невозможно. А позднего люблю еще сильнее, через невозможное.
- ...Когда религия — не личные убеждения, а общественная мода. *Еще одно высказывание о духовной атмосфере общества во время т. н. «столыпинской реакции».*
- Каждая страна называет своих шпионов разведчиками, а чужих разведчиков шпионами.
- То, что Блоку удалось сказать в четырех строках, у Есенина рассказано на двадцать пять.

*Трудно установить, какие строки имелись в виду.*

- Вам не место в советской школе!  
— Если речь идет о том, кому где место, то Вам — на базаре семечками торговать.  
*Хрестоматийный ответ А.А. Якобсона члену комиссии, «проверявшей» школу.*
- Встречаю бывшего ученика. Он уже сам историк и директор школы. Вот, говорит, а Вы мне больше четверки никогда не ставили. И тут я вспомнил, что больше тройки ему никогда не ставил. Я так смутился, что пробормотал какую-то бестактность вроде того, что Жан Жак Руссо тоже в детстве был идиотом.
- Настоящий поэт пишет не для чего-то, а от чего-то.
- «Великая Коммунистическая партия» — это же абсурд! Если, скажем, в Англии повесить плакат «Да здравствует великая партия лейбористов», — их просто за сумасшедших считают.
- Вы уж поверьте, что девушку соблазнить гораздо труднее, чем Бисмарку обмануть всю Европу.  
*А. Якобсон неточно приводит афоризм В. О. Ключевского, впервые опубликованный в 1968 г.*

<sup>1</sup> Из сборника «Афоризмы и шутки выдающихся (и прочих) деятелей Второй школы 1967–1969. Составители: М. Кларин, Г. Лубяницкий, А. Сивцов, С. Тиходеев. Комментарии: Анатолий Сивцов.

## **Конец Второй школы<sup>1</sup>**

К 1 сентября 1972 года фактически прекратила свое существование московская физико-математическая школа №2, бывшая прежде одной из самых популярных в городе.

На протяжении 8 лет учителя школы работали по экспериментальной программе, давая детям, наделенным заметными способностями к математике, повышенные знания в области физико-математических дисциплин. Сверх обычных классных занятий ученики посещали лекции университетских профессоров и специальные семинары, руководимые аспирантами и студентами старших курсов МГУ. Видные ученые — математики, физики, психологи — безвозмездно работали со школьниками, одновременно решая ряд вопросов, связанных с проблемой форсированного развития учащихся. Дело, однако, не сводилось ни к эксперименту, ни к узкой специализации.

Руководители школы, заботясь о всестороннем развитии ребят, стремились доверить преподавание всех предметов наиболее сведущим, чутким к запросам ребят педагогам. В результате школа приобрела широкую известность. Количество заявлений о приеме росло из года в год, превышая наличные вакансии в три-четыре раза. Ученики ездили в школу из самых отдаленных районов Москвы, а некоторые — из пригородов. Учеников школы стали отличать в вузах. Но не только по признаку их высокой физико-математической подготовки, а по любви к литературе, по остроте интереса к общественным проблемам, по характеру вопросов, задаваемых преподавателям идеологических дисциплин, по привычке не принимать на веру недоказанное. Сведения о «духе» школы №2 постепенно скапливались в кабинетах ответственных лиц вплоть до начала 1971 года, когда бывший учитель школы И. Х. СИВАШИНСКИЙ подал заявление о выезде в Израиль, а его дочь — десятиклассница — о выходе из комсомола. С этого момента партийные власти района и города стали готовить практические шаги.

Около 4 месяцев (с марта по июнь) школу обследовали десятки инспекторов. Старательно выискивались упущения. При составлении сводного акта проверки главные причины недовольства школой — причины идеологические — были спрятаны. За ширмой самых обыч-

ных «недочетов руководства», имевших или якобы имевших место в школе № 2, уволили директора и трех его помощников. В знак протеста школу покинуло несколько учителей. Профессорские лекции постепенно сошли на нет. Ученики из отдаленных районов перешли в обычные школы. Но еще оставались в школе учителя, мешавшие проведению нового курса. И в феврале 1972 года начался новый этап чистки. Школу вновь наводнили группы инспекторов. В центре их внимания оказались еще не выжитые историки и словесники старого состава. В результате все историки (кроме одного, работавшего лишь год при старой администрации) и все словесники принуждены были оставить школу.

К сентябрю 1972 года число поступающих в школу №2 резко сократилось. Появились открытые вакансии. Просвещенческие власти взяли на себя заботу о вербовке учеников. Кандидатов на освободившиеся учительские места стал утверждать райком.

Многих приходилось агитировать. Агитация часто подкреплялась обещанием новых квартир. Есть сведения, что участников обследования школы №2 и составителей протоколов уже поощряют (в частности, заграничными командировками). Действиями по ликвидации «элитарной» школы персонально руководили: ЯГОДКИН — один из секретарей МГК КПСС, ПЕРОВА — завотделом школ МГК КПСС, АРХИПОВА — первый секретарь Октябрьского райкома КПСС, ЦВЕТКОВА — завотделом Октябрьского РОНО<sup>2</sup>, АГЕЕВА — учительница. В процессе ликвидации школы за нее пытались вступить (в форме частных просьб) многие влиятельные лица, включая министра просвещения СССР ПРОКОФЬЕВА, но все оказалось тщетным.

<sup>1</sup> Этот выпуск «Хроники» редактировал Анатолий Якобсон.

<sup>2</sup> Районный отдел народного образования.

## Послесловие

Уважаемый читатель, Вы перевернули последнюю страницу книги, прочитав почти 200 тысяч слов об Анатолии Александровиче Якобсоне.

Если у Вас после этого возникло желание прочитать или перечитать его работы, милости просим на Мемориальную сетевую страницу А. Якобсона при интернет-портале «Иерусалимская антология» по адресу <http://www.antho.net/library/yacobson/index.html>, где собрано огромное количество информации.

Книги А. Якобсона, последний раз изданные почти 20 лет тому назад, разошлись и стали библиографической редкостью. Их переиздание ждёт своего часа. Понимая, что произведения А. Якобсона займут не один том, мы поставили себе скромную задачу собрать в этом сборнике только воспоминания о нём.

Закончить же мы хотим очень *необычным* и *важным* для нас стихотворением «Впечатления», написанным в 1897 г. армянским поэтом Ованесом Туманяном и переведённым Анатолием Якобсоном.

*Необычность* его в том, что оно дважды автобиографично: как по отношению к автору (что не удивительно), так и (может быть, даже в большей степени) к переводчику.

*Важность* этого стихотворения в понимании личности А. Якобсона трудно переоценить.

### Впечатления<sup>1</sup>

*Хоть я и лёгким нравом наделён,  
Нередко и со мной бывает так:  
Смеюсь, тяжёлый подавляю стон,  
Я — с сокрушённым сердцем весельчак.*

*Моя душа, как небеса весной:  
То солнечно и тихо всё кругом,  
То вдруг голубизну закроет тьмой  
И тишину расколет близкий гром.*

*Моя душа болит во всякий час,  
Она на протяженьи многих лет  
Невольно и неведомо для вас  
Свидетель ваших радостей и бед.*



*Всё видеть — верить — это нелегко,  
Но всё ж мне откликаться суждено  
На то, что близко или далеко,  
На то, что бело или же черно.*

*Тысячеокий взор всевидящ мой,  
Он видит свет, он видит тьму вокруг.  
Я слышу то, что скрыто тишиной:  
И шёпот ваш, и сердца тихий стук.*

*И даже слабый шорох или стон  
Воспринимает слух тревожный мой,  
Я слышу всё, я в звуки погружён,  
От них — моё волнение, мой покой.*

*Мой слух, как сердце, для всего открыт.  
Вот чей-то крик призывный слышу я,  
И в сердце кровь кипит, оно болит,  
В бессилье извиваясь, как змея!*

*И где-то стон печальный в тишине  
Звучит, и я готов бежать на зов...  
Когда бы знали вы, как больно мне  
От стольких ваших разных голосов!*

Составители

<sup>1</sup> Ованес Туманян. Избранное: пер. с арм. — М.: Художественная литература, 1988 г., с. 283. — 388 с. ISBN 5-280-00218-6. Перевод выполнен А. Яacobсоном, по-видимому, в 1969 г., когда в России отмечали 100-летие О. Туманяна. Тогда в газете «Литературная Россия» были опубликованы переводы его стихов; два перевода принадлежат А. Яacobсону: «В Кошакаре» и «Видение». См. <http://www.antho.net/library/yacobson/translations/tumanjan.html> (прим. А. Зарецкого).

# Фотографии





### ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ АВТОЭПИТАФИЯ

*Под камнем сим вкушает хладный сон  
Раб Божий Анатолий Якобсон.  
Не избежал он в этой жизни драк.  
И выпить был покойный не дурак.  
Девчонкам шею целовал и грудь —  
Самозабвенно, а не как-нибудь.  
Но более всего любил стихи.  
Всевышний да простит ему грехи.*

*Анатолий Якобсон, 1965 г.*



Кладбище на Масличной горе,  
где похоронен Анатолий Александрович Яковсон.  
*Иерусалим, Израиль.*



Некролог на обложке журнала «22», №4  
октябрь-ноябрь 1978



Из последних фотографий. 1978 г.



*С Леной и Сашей. Израиль, 1978*



С сыном Сашей



С Томиком



Толя и Лена на прогулке  
с Томиком и Глебом

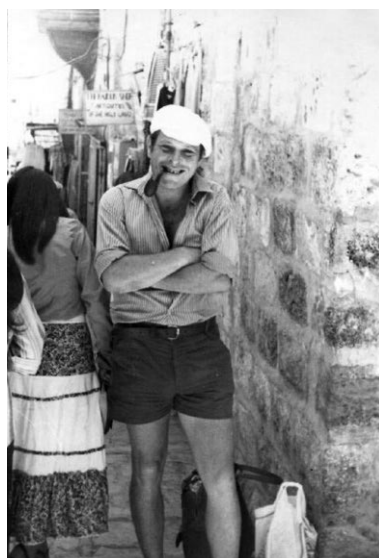




С Леной



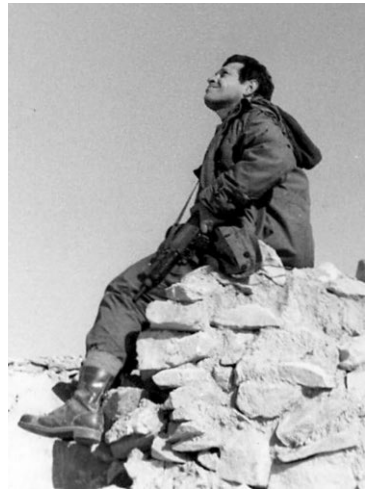
1976 год



Иерусалим, Старый Город



В гостях в танковой части с Гришей Люксембургом



В гостях в танковой части



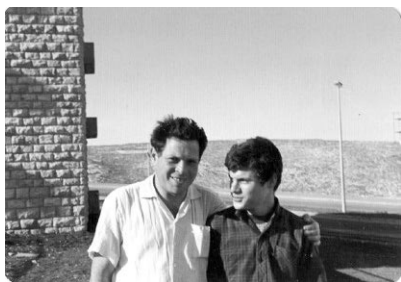
1976 г. (?)



С Н. Белинковой



1975 г. (?)



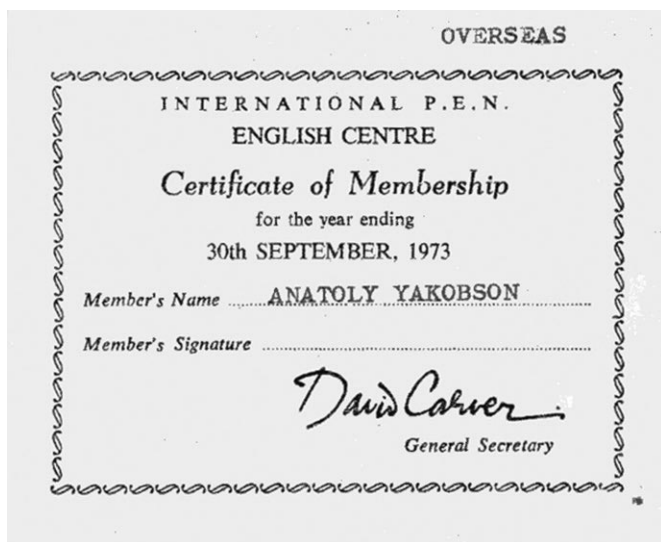
С сыном Сашей у дома в Неве-Якове,  
прибл. 1975 г.



Слева направо: Анатолий Якобсон, Донит Яфе,  
Владимир Гершович, Майя Улановская,  
Саша Якобсон. 1974 г.



Слева направо: Владимир Фромер, Майя Улановская,  
Анатолий Якобсон, Эли Люксембург. Июнь 1974 г.



Удостоверение Пен Клуба



Слева направо: Людмила Терновская, Александр Недоступ,  
Анатолий Якобсон, Леонард Терновский



Перед отъездом из России, 1973.



Перед отъездом из России, 1973.  
Фото из архива В. Гершовича.





*С Юлием Даниэлем. 1973 г. Фото из архива В. Гершовича.*



*Слева направо: Алла Зими́на, Анатолий Якобсон,  
Зинаида Григоренко, Иосиф Богораз*



С Аллой Зиминой и Нинель Воронель



С Игорем Рацким. 1973 г.





*Слева направо: Юлий Ким, Анатолий Якобсон, Илья Габай, Гера Копылов, Юрий Гастев, Ирина Якир. 1972 или 1973 г. Фото из архива Г. Габай.*



*С Алиной Ким, начало 70-х. Фото из архива Э. Думаниса*



На заработках в Якутии летом 1972.  
Слева направо: Константин Бабицкий,  
Игорь Хохлушкин, Анатолий Якобсон.

*Якутские  
фотографии  
из архива  
Л. Лозовского.*



С Леонидом Лозовским.  
Якутия, лето 1972 г.



Безрадостные вести из Москвы.  
Якутия, лето 1972 г.



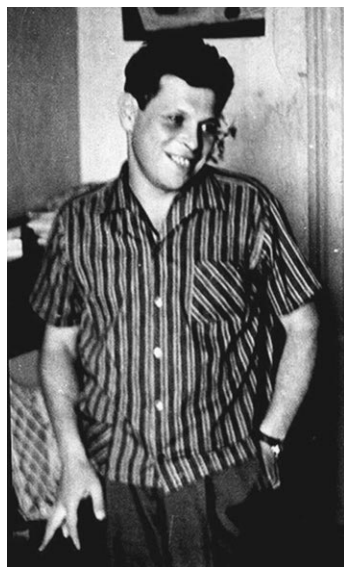
Задержание А. Якобсона на Красной площади  
21 декабря 1969 г. во время демонстрации  
против реабилитации Сталина.

Фото из «*Columbia Journalism Review*», Volume XVII, # 3,  
September/October 1978, p. 35.

Автор снимка и держатель копирайта не установлены.



С Музой и Юрой Ефремовыми. 1969 г.  
Фото из архива М. Ефремовой



1969 (?)



У закрытых дверей «открытого суда» над участниками демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 г.

*Слева направо:* Татьяна Великанова, Людмила Кушева, Екатерина Великанова (в центре), Майя Литвинова.

У дверей — Михаил Максимович Литвинов, справа от него Иосиф Аронович Богораз. Анатолий Якобсон — крайний правый сзади с букетом цветов для адвоката Д. Каминской, защищавшей Л. Богораз и П. Литвинова

*Снимок из коллекции фотографий Пупера Рэддауэя (MS Russ 78), Houghton Library, Harvard University.*





С учителями и выпускниками 10 «В» класса  
Второй школы. 29 апреля 1969 г. Якобсон второй слева.



С директором Второй школы  
Владимиром Овчинниковым  
и завучем Германом Фейном,  
часть группового снимка. 1968 г.



А. Якобсон на субботнике  
во Второй школе.

А.А. Якобсон, 1967 (?).

Фотография предоставлена Музеем  
и общественным центром  
имени Андрея Дмитриевича Сахарова,  
Москва.



Перед спектаклем  
«Эй, кто-нибудь!»  
Вторая школа,  
25 апреля 1970 г.



Впереди: Юна Вертман, Галина Белая,  
Майя Улановская и Лев Шубин.  
Сзади них: Анатолий Якобсон и Татьяна Леви.  
Коктебель, 1963. Фото из архива В. Емельянова.



*С Татьяной Червонской, Коктебель.  
Сфотографировано Юной Вертман.  
Фото из архива В. Емельянова.*



*Анатолий Якобсон.  
Начало 60-х*



*Учитель 689 школы, г. Москвы.  
1961 г.*





С сыном Сашей. 1962 г. (?)  
Из архива М. Улановской



Сыну полгода, 1960.



С Майей Улановской  
Из архива М. Улановской



В педиституте. Слева направо: Анатолий Якобсон и Игорь Рацкий. Крайний справа не опознан. Прибл. 1956 г.



Анатолий Якобсон. 1955 г.  
Из архива М. Улановской



Анатолий Якобсон (справа) с неизвестным.  
Фото из архива В. Гершовича.



*Дата не установлена*



В Московском государственном педагогическом институте им. Ленина.  
Первый или второй курс



Лето в деревне Коноплянка,  
Тамбовской области.  
*Начало 50-х.*



9 «Б» класс 135-ой школы г. Москвы. А. Якобсон — крайний слева.  
*Фото из архива В. Ротштейна*



Толе два года. 1937 г.



Толе два года. 1937 г.  
*Фото из архива Г. Трухачёвой.*



Мать Анатолия — Татьяна  
Сергеевна, начало 70-х.  
*Фото из архива Г. Трухачёвой.*



Отец Анатолия — Александр  
Григорьевич Якобсон.  
*Фото из архива Г. Трухачёвой.*





Эдвард Клайн, Президент Издательства им. Чехова, впервые опубликовавшего книгу А. Якобсона «Конец Трагедии». Фото из архива Фонда «Благодарность», Нью-Йорк.



Макс Хэйуорд — главный редактор Издательства им. Чехова. Фото публикуется с разрешения библиотеки St. Anthony's College (Oxford, UK)



Юна Давидовна Вертман  
(1931–1983),  
*фото середины 60-х.*  
*Фото из архива В. Емельянова.*



Основатель Мемориальной Сетевой  
Страницы Анатолия Якобсона  
Василий Евгеньевич Емельянов  
(1945–2008) в день 60-летия  
20 января 2005 г.  
*Фото из архива В. Емельянова*



Юна Вертман и Василий Емельянов, *конец 70-х.*  
*Фото из архива В. Емельянова.*



1935–1978

**M-Graphics PUBLISHING**

[www.mgraphics-publishing.com](http://www.mgraphics-publishing.com)  
[info@mgraphics-publishing.com](mailto:info@mgraphics-publishing.com)

ISBN 978-1-934881-31-6



9 781934 881316